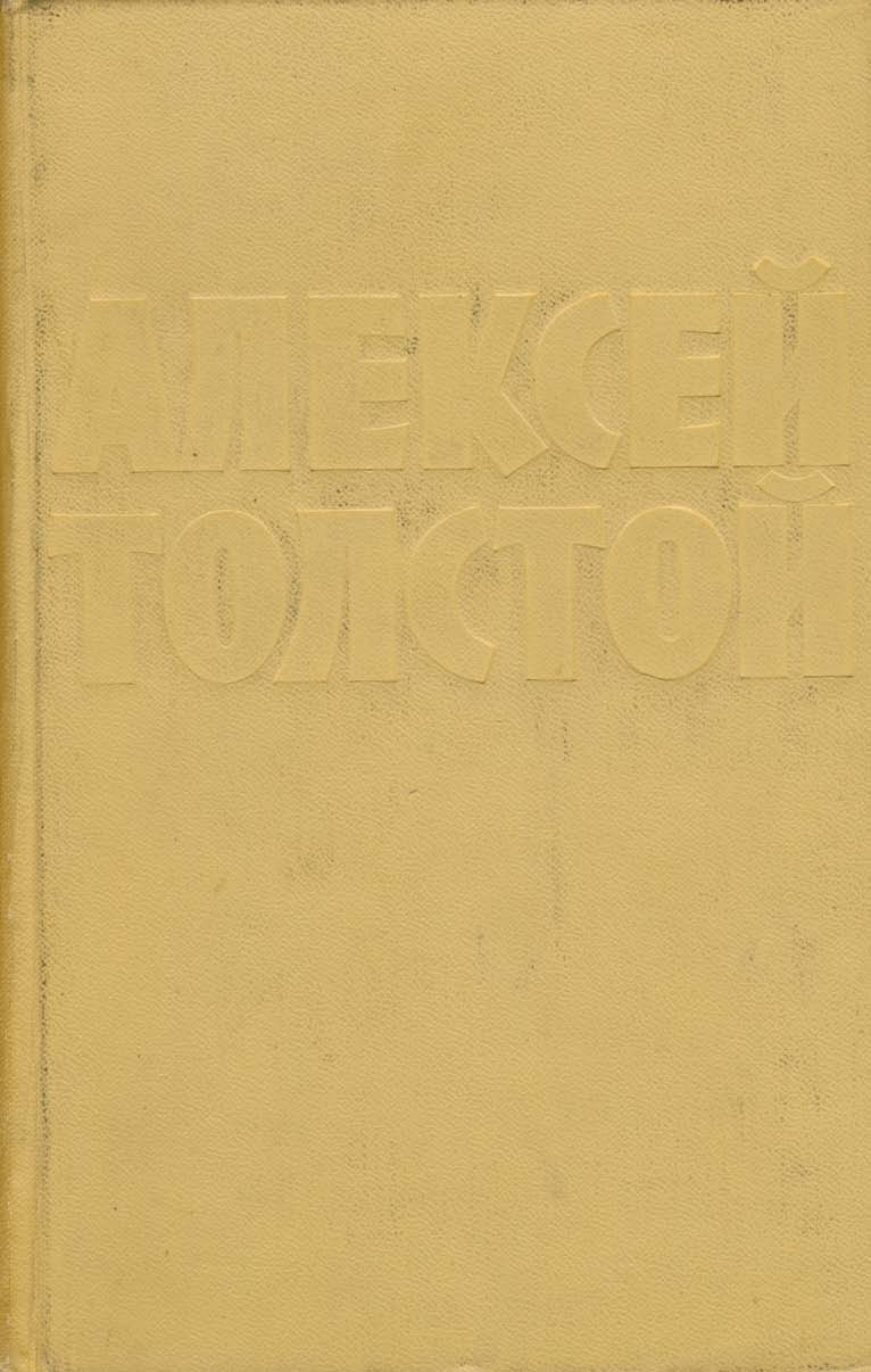

АЛЕКСЕЙ
ТОЛСТОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в десяти томах

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1959

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том четвертый

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
1925—1928

ГИПЕРБОЛОИД
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА
Роман

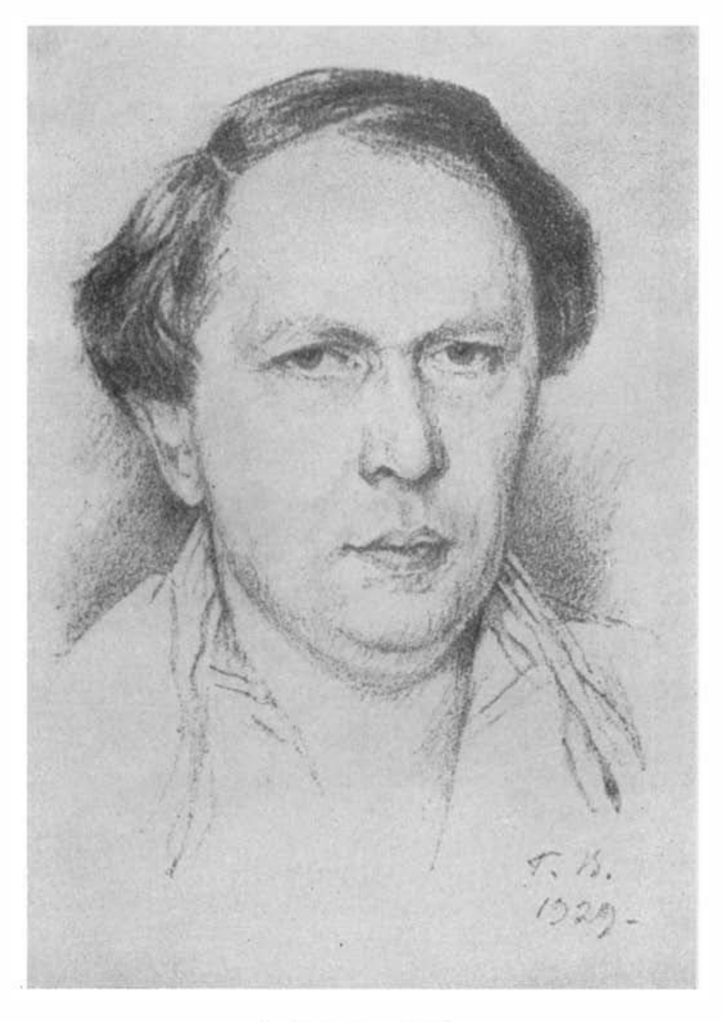
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1958

Под редакцией
А. В. АЛПАТОВА, Ю. А. КРЕСТИНСКОГО,
А. С. МЯСНИКОВА, В. О. ПЕРЦОВА,
Л. И. ТОЛСТОЙ, В. Р. ЩЕРБИНЫ

Комментарии *Ю. А. Крестинского*

Подготовка текста *А. Л. Сокольской*

Оформление художника
В. МАКСИНА



А. Н. ТОЛСТОЙ

Портрет работы художника
Г. Верейского

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

СОЮЗ ПЯТИ[1]

1

Трехмачтовая яхта «Фламинго», распустив снежнобелые марселя, косые гроты и трепетные треугольники кливеров, медленно прошла вдоль мола, повернулась, полоща парусами, приняла ветер и, скользнув, полетела в голубые поля Тихого океана.

В журнале начальника порта отметили: «Яхта «Фламинго», владелец Игнатий Руф, восемнадцать человек команды, вышла в 16.30, в направлении юго-запад».

Несколько зевак равнодушно проводили стройные паруса «Фламинго», утонувшие за горизонтом. Да еще два сероглазых парня-грузчика, сопя трубками за столиком кофейни на набережной, сказали друг другу:

— Билль, если бы «Фламинго» пошла на увеселительную прогулку, то были бы дамы на борту.

— Я тоже так думаю, Джо.

— Билль, а ведь недаром целая шайка репортеров вертелась с утра около яхты.

— Я такого же мнения,— недаром.

— А знаешь, вокруг чего они больше всего вертелись?

---

[1] Все астрономические и физические данные в этом рассказе, включая также прохождение кометы Биелы в 1933 году, вполне отвечают действительности.

— Ну-ка, скажи.

— Вокруг этих длинных ящиков, которые мы грузили на «Фламинго».

— Это было шампанское.

— Я начинаю убеждаться, что ты глуп, как пустой бочонок, Билль.

— Не нужно, чтобы я обижался, Джо. Ну-ка, потвоему, что же было в длинных ящиках?

— Если репортеры не могли разнюхать, что было в ящиках, значит никто этого не знает. А кроме того, «Фламинго» взяла воды на три недели.

— Тогда, значит, Игнатий Руф что-то задумал. Не такой он человек, чтобы даром болтаться три недели в океане.

Так поговорив, оба парня отхлебнули пива и, опираясь голыми локтями о столик, продолжали насасывать пенковые трубки.

«Фламинго» под всеми парусами, слегка накренясь, летела наискосок сине-зеленым волнам. Матросы в широких холщовых штанах, в белых фуфайках и белых колпачках с кисточками лежали на полированной палубе, поблескивающей медью, поглядывали на поскрипывающие реи, на тугие, как струны, ванты, на прохладные волны, разлетающиеся под узким носом яхты на две плены.

Рулевой, крепколицый швед, сутуло стоял на штурвале. Огненно-рыжую бороду его, растущую из-под воротника, отдувало ветром вбок. Гнались несколько чаек за яхтой и отстали. Солнце клонилось в безоблачную, зеленоватую, золотую пыль заката. Ветер был свеж и ровен.

В кают-компании у прямоугольного стола сидело шесть человек, молча, опустив глаза, сдвинув брови. Перед каждым стоял запотевший от ледяного шампанского широкий бокал. Все курили сигары. Синие дымки наверху, в стеклянном колпаке, подхватывало и уносило ветром. Зыбкие отблески солнца сквозь иллюминаторы играли на красном дереве. От качки мягко вдавались пружины сафьяновых кресел.

Следя за пузырьками, поднимающимися со дна бокалов, пять человек — все уже немолодые (кроме од-

ного, инженера Корвина), все одетые в белую фланель, сосредоточенные, с сильными скулами и упрямыми затылками — слушали то, что вот уже более часа говорил им Игнатий Руф. Никто за это время не прикоснулся к вину.

Игнатий Руф говорил, глядя на свои огромные руки, лежавшие на столе, на их блестящие плоские ногти. Розовое лицо его с огромной нижней частью выразительно двигалось. Грудь была раскрыта, по морскому обычаю. Короткие седые волосы двигались на черепе вместе с глубоко вдавленными большими ушами.

— ...В семь дней мы овладеем железными дорогами, водным транспортом, рудниками и приисками, заводами и фабриками Старого и Нового Света. Мы возьмем в руки оба рычага мира: нефть и химическую промышленность. Мы взорвем биржу и подгребем под себя торговый капитал...

Так говорил Игнатий Руф, негромко, но с уверенностью выдавливая сквозь зубы короткие слова. Развивая план действия, он несколько раз возвращался к этой головокружительной картине будущего.

— ...Закон истории — это закон войны. Тот, кто не наступает, нанося смертельные удары, тот погибает. Тот, кто ждет, когда на него нападут,— погибает. Тот, кто не опережает противника в обширности военного замысла,— погибает. Я хочу вас убедить в том, что мой план разумен и неизбежен. Пять человек из сидящих здесь (исключая Корвина) богаты и мужественны. Но вот назавтра эскадра германских воздушных крейсеров бросит на Париж тысячу ипритовых бомб, и через сутки весь земной шар окутается смертоносными облаками. Тогда я не поставлю ни одного цента за прочность стальных касс — ни моей, ни ваших. Теперь даже детям известно, что вслед за войной тащится революция.

При этом слове четверо из сидящих за столом вынули сигары и усмехнулись. Инженер Корвин не отрываясь глядел матовыми невидящими глазами в длинное, как в изогнутом зеркале, лицо Игнатия Руфа.

— ...Несмотря на эту опасность, немало находится джентльменов, которые считают войну основным потре-

бителем промышленного рынка. Эти джентльмены — шакалы. Они трусливы. Но есть другие джентльмены: они видят в войне неизбежного разрядителя промышленного кризиса, в своем роде пульсирующее сердце мира, которое периодическими толчками гонит фабрикаты по артериям рынков. Эти джентльмены очень опасны, так как они консервативны, упрямы и политически могущественны. Покуда они стоят, непосредственно или через рабочие правительства, на руле государственного корабля, мы ни одной ночи не можем спать спокойно. Мы всегда на волосок от промышленного кризиса, от войны и революции. Итак, мы должны вырвать инициативу из рук консервативно мыслящей промышленной буржуазии. Эти джентльмены, рассуждающие, как лавочники эпохи франко-прусской войны, эти допотопные буржуа, эти собственные гробокопатели должны быть уничтожены. Мы должны овладеть мировым промышленным капиталом. Покуда коммунисты только еще мобилизуют силы, мы неожиданным ударом бросимся на буржуазию и овладеем твердынями промышленности и политической власти. А тогда мы легко свернем шею и революции. Если мы так не поступим — в спешном, в молниеносном порядке,— лавочники не позже апреля будущего года заварят химическую войну. Вот копия секретного циркуляра, написанного в Вашингтоне,— о скупке за океаном всех запасов *индиго.* Как вам известно, из индиго приготовляется *горчичный газ*...

Инженер Корвин вынул из портфеля бумагу. Игнатий Руф положил ее на стол, прикрыл ладонью. На лбу его надулась поперечная жила, углы прямого рта опущены, розовое лицо приняло выражение решительности и свирепости.

— ...Идея нашего наступления такова: мы должны *поразить мир невиданным и нестерпимым ужасом*...

Четверо сидящих за столом опять вынули сигары, но на этот раз не усмехнулись. Глаза инженера Корвина медленно мигнули. Игнатий Руф сильно потянул воздух ноздрями.

— ...Мы должны произвести столбняк, временный паралич человечества. Острие ужаса мы направим на биржу. В несколько дней мы обесценим все ценности.

Мы скупим их за гроши. Когда через семь дней наши враги опомнятся — будет уже поздно. И тогда мы выпустим манифест о вечном мире и о конце революции на земле.

Игнатий Руф взял бокал шампанского и сейчас же поставил обратно. Рука его несколько дрожала.

— ...Каким же способом мы достигнем нужного эффекта — мирового ужаса? Сэр,— он грузно повернулся к инженеру Корвину,— покажите ваши чертежи...

Покуда в рубке происходил этот странный разговор, солнце опустилось за помрачневший край океана. Рулевой, следуя данному еще на берегу приказанию, повернул к югу.

«Фламинго», выбрав гроты и штурмовые кливера, весело летела под сильным креном, то зарываясь до палубы между черными волнами, то сильно и упруго взлетая и встряхиваясь на их гребнях. Доброе было судно.

Пена в свету иллюминаторов кипела, стремительно уносясь вдоль бортов его. За кормой оставалась волнующаяся голубоватая дорога морского свечения. В темноте вспыхивали гребни волн этим холодноватым светом.

Рулевой, швед, навалился грудью на медный штурвал. Ветром выдуло искры у него из трубки. Ветер крепчал. Пришлось «взять рифы» и убрать марселя. Матросы побежали по вантам и, скручивая паруса, раскачивались на мачтах, как грачи в непогоду.

За океаном поднималась луна — медным огромным шаром выплывала из тусклого сияния. Свет ее посеребрил паруса. Тогда на палубу вышли Игнатий Руф и пятеро его гостей. Они остановились у правого борта, подняли бинокли и глядели, все шестеро, на лунный шар, висящий над измятой пустыней океана.

Рулевой, с изумлением следивший за этим праздным занятием, которому предались столь почтенные и деловые джентльмены, услышал резкий голос Игнатия Руфа:

— Я отлично различаю это в бинокль. Ошибки быть не может...

. . . .

В третьем часу ночи был разбужен кок: в рубку потребовали холодной еды и горячего грога. Гости все еще продолжали разговаривать. Затем, перед рассветом, шесть человек опять смотрели на лунный шар, плывший уже высоко между бледных звезд.

На следующий день Игнатий Руф и четверо его гостей отдыхали в парусиновых шезлонгах на палубе. Инженер Корвин ходил от носа до кормы и хрустел пальцами. День прошел в молчании.

Наутро из-за края океана, из солнечной чешуи, поднялся островок. Игнатий Руф и гости молча глядели на его скалистые очертания. Корвин стоял в стороне, скромный, молчаливый и бледный.

«Фламинго» вошла в серпообразную бухту, бросила якорь и спустила гостей в шлюпку, полетевшую по зеленоватой, прозрачной, как воздух, воде лагуны. Ленивая волна выбросила ее на песчаный берег.

Здесь между осколков базальта покачивались тонкие стволы кокосовых пальм, за ними весь склон был покрыт вековым буковым лесом, дальше возвышалась отвесная гряда скал. Игнатий Руф указал на них рукой, и он и гости пошли по недавно проложенной просеке в глубь острова.

— Я заарендовал остров на двадцать пять лет с правом экстерриториальности,— сказал Игнатий Руф.— Здесь достаточное количество пресной воды и строительного материала. Мастерские мы построим в горах. Эти горы образуют правильное кольцо, окружая остатки потухшего вулкана. Его кратер,— полтора километра в диаметре,— превосходное место для сборки аппаратов. Придется лишь очистить от камней дно,— лучшей площадки нельзя придумать. Части аппаратов заказаны на заводах Америки и Старого Света. Пароходы заарендованы и частью уже грузятся. Если сегодня мы подпишем договор — с будущей недели работа пойдет полным ходом.

Просека подвела к плоскому озеру пресной воды. На берегу стояли дощатые новенькие бараки. У одной двери сидел на корточках китаец-рабочий и курил длинную трубку, другой мыл белье в озере. Вдалеке слышался стук о деревья многих топоров. Между скал ка-

рабкалась вереница осликов, навьюченных мешками с цементом. Инженер Корвин объяснил, что сейчас идет прокладка дорог и установка фундаментов для мастерских. Он указал тростью на седловины в горах, где можно было различить ползающие человеческие фигурки.

Гости,— четверо крупнейших промышленников, друзья Игнатия Руфа,— со сдержанным волнением слушали объяснения инженера. Подбородки их каменели. Вчерашний фантастический план, предложенный Игнатием Руфом, сегодня казался твердым предприятием, рискованным, но дьявольски дерзким. Вид работ в горах, самый массив гор, принадлежащих Игнатию Руфу, его уверенность, точные объяснения инженера, реальность всего этого острова, залитого пылающим солнцем, шумящего волнами прибоя и вершинами пальм, даже китаец, мирно полощущий белье,— все это казалось убедительным. И, кроме того, было ясно, что Игнатий Руф не отступится от дела и пойдет на него даже один.

Промышленники вошли в пустой барак и долго совещались, Игнатий Руф в это время сидел на пне и бросал в озеро камешки. Когда компаньоны вернулись к нему из барака, вытирая платками черепа и затылки, он дико взглянул в их багровые лица, огромная челюсть его отвалилась.

— Мы идем с вами до конца,— сказали они,— мы решили подписать договор.

2

Люди, которым платят деньги за то, чтобы они совали нос туда, куда их не просят,— репортеры американских газет,— разнюхали о плавании «Фламинго», о законтрактованных Игнатием Руфом пароходах, о работах на острове и начали запускать сенсации.

Все эти газетные заметки вертелись вокруг любопытнейшей тайны — трех длинных ящиков, погруженных на «Фламинго». «Тайна трех ящиков». «Таинственные ящики Игнатия Руфа». «В ближайшую пятницу

наша газета ответит на волнующий весь мир вопрос: что было в ящиках на «Фламинго». Собачьи носы журналистов попали на верный след: содержимое ящиков представлялось ключом к разгадке грандиозных и непонятных работ, начатых на острове Руфа.

Матрос из команды «Фламинго» рассказал репортерам, что в день прибытия яхты на остров ящики были выгружены и на ослах увезены в горы, куда направились также Игнатий Руф и его гости. Но вот что было странно: в горах джентльмены оставались всю ночь, днем вернулись на яхту, выспались, а на вторую ночь и на третью снова уезжали на ослах в сторону потухшего кратера.

Захудалая газетка, которой нечего было терять, выпустила экстренный номер:

«Тайна раскрыта. В ящиках Руфа были упакованы три чудовищно обезображенные трупа танцовщиц из нью-йоркского Мюзик-Холл-Хаус».

Ураган статей, телеграмм, заметок пронесся по американской прессе. В редакциях фотографировали местных дактилографисток и печатали их портреты под видом жертв таинственного преступления.

Другая ничего не теряющая газетка решительно выступила против версии о танцовщицах. Она опубликовала снимок с трупов трех агентов Коминтерна, замученных и убитых членами ку-клукс-клана. Три еврея, потерпевшие аварию на житейском океане, дали себя снять для этой цели в ящиках из-под канадских яиц.

Киносиндикат спешно подремонтировал старую итальянскую ленту из быта кровавой Каморры. Чарли Чаплин, уступая давлению злободневности, выступил в сильно комической картине: «Чарли боится длинных ящиков». В конце «недели о ящиках Руфа» произошли грандиозные митинги. В Филадельфии линчевали двух негров.

Но Игнатий Руф вернулся на материк и не был арестован. Во всех газетах появились его портреты и краткая биография. Вздор о трупах был решительно опровергнут. В ящиках находились всего-навсего астрономические инструменты. «Игнатий Руф,— сообща-

лось,— увлечен за последнее время астрономией и строит на острове Небесную лабораторию».

Так чья-то опытная рука привела в порядок газетную суматоху и направила ее по определенному руслу. Возбуждению в стране не давали улечься. Имя Игнатия Руфа снова начало подергиваться тайной. Писали о стодвадцатидюймовом гигантском рефракторе, установленном в горах на острове Руфа. Сообщалось о необычайной силе и чувствительности астрономических приборов.

Все это интересовало только обывателей. Биржа и финансовые круги оставались спокойными. При всей осторожности нельзя было отыскать ни малейшей связи между астрономией и экономикой. Хотя люди, близко знавшие Руфа, недоумевали: каким это чудом человек, интересовавшийся только нефтью и химической промышленностью, начал вдруг шарить глазами по небу, где уже наверное не найдешь ни одного цента?

Так прошло около полугода. Игнатий Руф, наконец, нанес подготовленному общественному мнению первый удар.

8

От скал, острых, как хребет дракона, легли угольно-густые тени,— они тянулись вниз до середины кратера. Кое-где между расселинами поблескивали лунным светом стекла в бараках. Вырисовывались ажурные очертания железных мачт канатной дороги. Сухо трещали цикады. Бесшумно летала сова — обитательница горных щелей. Сюда едва доходил сонный шум океана.

На краю ровной площадки стоял инженер Корвин и глядел вниз, откуда слышалось тяжелое дыхание и хруст камешков. Это шел Игнатий Руф. Череп его был покрыт фуляром, жилет расстегнут. Он взобрался на площадку, отдышался и поднял голову к лунному диску.

Яркая луна, казалось, притягивала и воды океана, прорезанного сверкающей дорогой, и невероятные замыслы Руфа.

— В порядке? — спросил он и повернулся к приземистому каменному зданию. По шершавым стенам его

скользили тени ящериц. Сквозь полукруглый купол высовывалась в небо огромная металлическая труба.

Инженер ответил, что все в порядке: новый рефрактор установлен и, движимый часовым механизмом, ползет вслед за луной. Увеличение чудовищное: различимы площади до квадратного километра.

— Я хочу это видеть,— сказал Руф.

Они вошли в темную обсерваторию. Руф сел на лесенку перед массивным окуляром. Корвин остановился у второго инструмента, привезенного некогда на «Фламинго». В тишине тикал часовой механизм. Корвин сказал:

— Объектив наведен на Море Дождей. Сядьте удобнее, без напряжения. Снимите колпачок со стекла.

Игнатий Руф приблизил глаз к медной трубке окуляра и сейчас же отдернул голову: ослепительный серебряный свет ударил ему в зрачки. Руф издал одобрительное мычание и опять потянулся к стеклу.

Застилая все поле зрения, лунная поверхность казалась такой близкой, что хотелось коснуться ее. Это была северная часть лунного шара — застывшая, пустынная равнина Моря Дождей. С северо-западной стороны Радужного Залива входили в нее последние отроги Лунных Альп. Далеко на юге лежали гигантские, таинственного происхождения, цирки Архимеда и Тимохариса.

— Вы видите, направо от кратера — борозда, с юга на север. Это так называемая Поперечная Альпийская Долина. Ширина ее около четырех километров и длина сто пятьдесят километров,— сказал Корвин.— Эта трещина произошла от удара большого мирового тела о лунную поверхность.

— Да, я вижу эту трещину,— проговорил Игнатий Руф.

— Теперь смотрите южнее. В области цирка Коперника находится система трещин. Они мелкие и извилистые, происхождение их иное. Вторая система трещин, Триснекера,— на запад от Океана Бурь. Третья — в области цирка Тихо. Всего обычно насчитывают триста сорок восемь трещин. Но в наш рефрактор за одну вчерашнюю ночь я насчитал их более трех тысяч.

— Вы уверены, что эти трещины не имеют отношения к горным образованиям?

— Да. Несомненно, они — позднейшего происхождения. Кроме того, они увеличиваются в длине, число их умножилось за полустолетие. В течение четырнадцати лунных дней видимая нам поверхность луны накаливается солнцем. Так как теперь там нет атмосферы, то жар достигает огромных температур. Затем солнце закатывается, и лунное полушарие погружается в четырнадцатидневную ночь, в эфирный холод, наступающий мгновенно после заката. Возьмите каменный шар, накалите его добела и бросьте в ледяную воду...

— Он треснет на мелкие куски, черт его возьми! — воскликнул Руф и долго еще затем дышал, у него билось сердце.

— Так же точно трескается лунный шар. В имеющиеся трещины попадает либо влага, еще оставшаяся на луне, либо углекислота. Затем, застывая, они значительно углубляют трещины.

— Они раздирают ее до самого центра...

— Да. Луна состоит из легких сравнительно материалов, не обладающих большой вязкостью. Рано или поздно планета должна распасться. Если в ней еще имеется раскаленное ядро — тем лучше: в случае слишком быстрого проникновения холода сквозь расширенные трещины оно взорвется, как бомба...

— Дай-то бог, дай-то бог,— прошептал Игнатий Руф. Он с жадностью осматривал изрытые впадинами и будто следами от лопнувших пузырей унылые пространства лунных равнин. Этот труп далекого мира будет брошен в свалку страстей, воль и честолюбий, сыграет решающую роль в задуманной игре!

С перегоревшим вздохом Руф оторвался от окуляра.

— Я нахожу необходимым привести сюда журналистов и показать им трещины, но нужно быть уверенным, что эта сволочь увидит только то, что им нужно увидеть, и не сунет носа в наши работы.

— Мы проведем их в обсерваторию ночью,— ответил Корвин,— собранные аппараты и все, что должно быть скрыто, мы поместим в лунную тень — она ложится до половины кратера.

Руф и Корвин снова вышли на площадку. Действительно, в этот час скалистые горы казались пустынными. Глубоко под ногами виднелся лишь хаос камней. Густая тень покрывала толевые крыши мастерских на дне кратера, склады материалов и «собранные аппараты».

Работы производились в величайшей тайне. Никто из работающих на острове не имел права отлучиться. Письма просматривались. Пароходы выгружались на открытом рейде, откуда материалы подавались по канатной дороге в горы. С борта ни один человек не спускался на берег.

— Очень хорошо,— сказал Игнатий Руф, раскуривая сигару.— На рассвете я отплываю на континент. Я сам привезу журналистов. Приготовьте нужные материалы для статей и ведите работы полным ходом. Помните, если мы ошибемся в вычислениях,— полный разгром и гибель... На карту поставлены миллиарды долларов. Если провал, то...

Огонек сигары в его руке описал сложную восьмерку.

4

«Страшное открытие в обсерватории Игнатия Руфа»,— таков был заголовок статьи, которая 14 мая появилась во всех североамериканских газетах и в тот же день была передана по радио в Европу.

Обстоятельно и научно рассказывалось в этой статье о роковом приближении конца земного спутника. Процесс его растрескивания идет с ужасающей быстротой. За короткое время наблюдения в рефрактор Руфа на поверхности луны появилось несколько тысяч новых трещин. Распадения лунного шара возможно ожидать каждую минуту. «Мы не поручимся,— говорилось,— что завтра в ночь наши юные мечтательницы увидят вместо древней покровительницы влюбленных раскиданные по ночному небу осколки. Но мы будем все же надеяться, что бог по своему милосердию не допустит гибели нашего прекрасного мира — гибели, так как *почти вероятно,* что осколки будут притянуты землей...»

«...Согласно нашему взгляду на образование мира,— говорилось далее,— в свое время вблизи земной орбиты должны были обращаться, кроме луны, и другие массы довольно больших размеров. Часть их была притянута луной и упала на ее поверхность,— следы этих ужасных столкновений мы видим в виде лунных цирков. Другая часть столкнулась с землей. Последнее такое столкновение произошло в сравнительно недавние времена. Изменение климатов в геологические эпохи, в особенности существование тропической растительности в тех местах, где ныне область полярной ночи, указывают с несомненностью на то, что существовал второй спутник, упавший на землю в конце палеозойской эры и отклонивший земную ось. Наблюдаемые колебания полюсов — не что иное, как последние следы, оставшиеся от такого удара в форме постепенно замедляющихся движений земной оси по поверхности конуса. Ныне, быть может, нам придется быть свидетелями окончательного осиротения земного шара среди небесных пространств...»

Статья произвела ожидаемое впечатление. Сердце человечества сделало перебой в этот день. Телеграф перепутал адресатов и содержание депеш, от чего случилось множество житейских неприятностей. Телефон превратился в сумасшедшую кашу номеров, и много телефонных барышень нервно заболело от бешеной ругани абонентов. Трамваи пошли не по тем линиям. Было множество задавленных всеми системами экипажей. Магазины закрылись, так как никто ничего не покупал в этот день, кроме общедоступных книг по астрономии.

Правительственные аппараты застопорились. Из многих тюрем бежали арестанты. Поезда уходили пустыми — и к счастью: за один этот памятный день двадцать процентов паровозов и поездного состава наехало друг на друга, свалилось под откосы. И, наконец, из страны проклятых большевиков раздалось (по радио) уже окончательно ни к селу ни к городу злорадное: «Ага... Дождались...»

Одним словом, в день 14 мая на всем земном шаре произошел неописуемый переполох. С ужасом, в исступлении ждали ночи. Головы всех были задраны к звезд-

ному небу. Когда над крышами, над железными мостами, над шпилями колоколен, над гигантскими кранами заводов поднялась мирным и старим диском обыкновенная луна — пронесся вздох облегчения и разочарования. Стало даже по-мещански скучно.

Так несколько дней ждали гибели мира. Держали пари. Луна продолжала тихонько плыть по небу. Настроение улучшалось. На улицах стали продавать «карманные телескопы» и закопченные стекла. Огромным успехом пользовались булавки и броши с изображением луны, подмигивающей глазом. Газеты пестрели адресами хиромантов, точно предсказывающих «день, которого нужно бояться».

Мисс Сесиль Эспер, единственная дочь анилинового короля, появилась на банкете яхт-клуба в лунного цвета платье, в бесцветном ожерелье и в диадеме из лунных камней. Дамы ахнули. Владельцы домов готового платья ахнули. Великие портные и модные ювелиры ахнули. Лунный шелк и лунный камень *объявлены были модой.*

Писались стихи о луне. Выгонялись химическими составами голубые цветы. В шикарных ресторанах появилось даже лунное мороженое, чрезвычайно обременяющее желудок. Имя Игнатия Руфа облетело все земные широты. Но биржа, мудрая и осторожная, не ответила на эту суматоху колебанием ни на один цент.

5

Стеклянной равниной лежал бесцветный океан под косматым пылающим солнцем. От гор струилось марево. Поникла листва на деревьях. Высокие метелки пальм, казалось, предали себя зною — распустились в синегорячем небе. Трехмачтовый «Фламинго», как призрак, висел над прозрачной лагуной. Нестерпимо блестели стальные канаты, по которым в воздухе, по направлению зубчатых скал, ползли вагонетки.

Остров казался пустынным. Но по ту сторону гор, в кратере, шла напряженная работа. Туда по белому шоссе, спугивая ящериц и змей, поднимался автомо-

биль. Правил Руф. Оборачиваясь к четырем своим компаньонам, задыхавшимся от жары, он говорил:

— Мы работаем теперь в четыре смены, и то рабочие едва выдерживают: вчера упало пятнадцать человек от солнечного удара. Кратер накаляется, как печь. Китайцы целыми толпами требуют расчета. Пришлось на перевалах поставить пулеметы. Еще хуже с американскими мастерами. Они грозят судом. Черт возьми, на острове нет ни женщин, ни развлечений. Я приказал выстроить кабак около ручья — еще хуже: за неделю выпито сто ящиков виски и ликеров. Инженер Корвин ходит на работы с заряженным револьвером. Завтра прибывает, наконец, пароход с проститутками. Я очень надеюсь, что это оздоровит остров.

Компаньоны посапывали, вытираясь платками. Эти две недели после опубликования знаменитой статьи вселили в них величайшую надежду и величайшую тревогу. Общественное мнение реагировало сильнее, чем ожидали. Биржа никак не ответила на удар. Работы подвигались успешно, и пробные опыты удались, но все это стоило огромных денег, и, кроме того, Руф пренебрегал, видимо, уголовным законодательством.

На перевале открылся вид работ на дне кратера. Дымила труба электрической станции. Снопы света шли от стеклянных щитов солнцеприемников. Желтые и розовые клубы дыма резкими облаками возносились из-за черепичных крыш химической лаборатории. По узкоколейным путям двигались вагонетки с материалами и подъемные краны, похожие на виселицы. Под косыми навесами трещали пневматические пробойники, и воздух сокрушали металлические удары молотов. Среди свалок, бунтов железа и гор из бочек и мешков бродили голые люди в конусообразных шляпах.

В стороне, там, куда по ночам падала лунная тень, лежали рядами десятиметровой длины металлические яйца с многогранным острым бивнем на одном конце и широким раструбом на другом.

— Шестьдесят аппаратов уже готово,— сказал Игнатий Руф, указывая кивком головы на яйца,— их остается только зарядить. Мы должны довести число их до двухсот, хотя по расчетам хватило бы и полови-

ны.— Он пустил автомобиль по извилистой дороге вниз и через несколько минут остановился у приземистого здания из неотесанных камней. На плоской крыше его стояло два пулемета. Инженер Корвин подошел к автомобилю и, как всегда, без улыбки, молча приподнял тропический шлем.

— Джентльмены пожелали ознакомиться с готовыми аппаратами,— сказал Руф,— джентльмены хотят задать вам несколько технических вопросов.

Все вышли из машины и вслед за Корвином направились к аппаратам. Перебежавший дорогу голый китаец обернулся и оскалил желтые зубы. Трое белых рабочих неподалеку начали было рычать, поводя плечами, но Корвин взглянул на них темным взором, и они, ворча, отошли.

Аппараты лежали каждый в конце подъездного рельсового пути, который вел в центр кратера, к бетонной площадке с установленным на ней металлическим наклонным диском. Инженер Корвин, чертя тростью на песке, постукивая ею по заклепкам стальных яиц, говорил:

— Впервые подобный снаряд, приспособленный для двоих пассажиров, был построен в Петрограде в тысяча девятьсот двадцать первом году инженером Лосем. Он покрыл на нем пятьдесят миллионов километров междупланетного пространства и возвратился на землю. К сожалению, чертежи его пропали. Второй аппарат, начиненный сильно дымящим веществом, был отправлен три года тому назад из Южной Америки на луну и достиг ее поверхности. Принцип весьма прост. Это — ракета. Внутри яйца — камера с запасом ультралиддита. Здесь,— Корвин указал на цилиндрический хвост яйца,— ряд отверстий, куда устремляются газы взрывающегося постепенно, частями, ультралиддита. В верхней части, там, где инженер Лось устраивал жилую камеру, мы помещаем пять тонн нитронафталина. Ужасающая взрывчатая сила этого вещества вам известна. Затем,— он ударил тростью о литые грани пирамидального бивня на другом конце яйца,— это бронебойная головка. Она из сибирской молибденовой стали. Если предположить, что снаряд подойдет к поверхно-

сти луны со скоростью пятидесяти километров в секунду, то при ударе он должен проникнуть в лунную почву на чрезвычайную глубину.

Промышленники, плотно упираясь ногами в землю, слушали. Один из них, низенький, тучный, с крючковатым носом, сказал:

— Все-таки как же, черт его возьми, оно полетит?

— Так же, как ракета: толкающим действием газов, образующихся при длительном взрыве,— ответил Корвин.— При поднятии ракеты воздух не участвует в действии, он лишь тормозит скорость. В безвоздушном пространстве ракета летит, по закону свободно движущихся тел, с постоянным ускорением. Теоретически ее скорость должна достичь предела, то есть скорости света. Но при больших скоростях вокруг тела развиваются магнитные поля, которые могут даже остановить тело в пространстве. Этих магнитных влияний особенно боялся инженер Лось, хотя ему удалось достичь скорости в тысячу километров в секунду.

Тогда второй из промышленников, метис, мрачный и свирепый, сказал:

— Двести снарядов! Но этого мало, чтобы взорвать проклятую луну! Мы ее только исковыряем.

— Снаряды попадут математически все в одну точку,— ответил Корвин,— каждый, войдя в сферу притяжения луны, получит направление к ее центру, даже если бы мы отправили их с различных точек земной поверхности. По моим расчетам, снаряды упадут в область Океана Бурь. Один за другим, через промежутки в семь — десять минут, они будут вонзаться в глубь лунного шара. Мы будем долбить его как бы чудовищным долотом. И с каждым снарядом — взрыв пяти тонн нитронафталина. Я бы не хотел в это время там курить мою трубку.

Эта тонкая шутка была принята снисходительными улыбками. Третий из промышленников сказал, впившись ногтями в подбородок:

— Очень хорошо. Но мы знаем по опыту европейской войны, что ядра даже самых больших пушек делали ничтожные воронки. А ведь нам нужно разломать

шар величиной всего лишь в тридцать с половиной раз меньше земного.

— Живая сила ядра большого морского орудия равна приблизительно десяти миллионам килограммов,— ответил Корвин.— Если принять вес нашего яйца за десять тонн и скорость в пятьдесят километров в секунду, то живая сила, то есть давление при ударе нашего яйца о поверхность луны, выразится в семьдесят пять *триллионов килограммов*. Я боюсь одного: что снаряды станут пронизывать луну, как лист картона.

Промышленники плотно поджали губы. Четвертый, маленький, в очках, похожий на старого сверчка, пристально стал смотреть на Корвина седыми глазами:

— Я хотел задать существенный вопрос, сэр,— проскрипел он высоким голосом,— мы собираемся устроить «неделю ужаса», иными словами — одурачить умнейших и хитрейших людей во всем мире, сэр... Но среди нас возникло сомнение: а что, если мы ошибаемся? А что, если эта шутка с луной превратится в серьезную опасность? Мы заработаем, но луна шлепнется на землю, сэр... Вы уверены, что она не шлепнется, сэр?

Инженер Корвин молчал. Под сухой смуглой кожей его на скулах двигались желваки.

— Очень хорошо,— сказал он коротко,— на это я вам отвечу через час.

6

В рубке «Фламинго» в конце обеда, когда подали кофе и ликеры, инженер Корвин отодвинул несколько свой стул, положил на острое колено листок бумаги, исписанный математическими формулами, и начал говорить:

— Луна — так же как Земля, так же как все планеты нашей системы, как пояс астероидов, кометы и потоки падающих звезд — образовалась из гигантского кольца, некогда вращавшегося вокруг солнца. Части кольца распались, уплотнились, образовали пылающие миры — небольшие солнца.

Вокруг каждого из этих миров в свою очередь стало вращаться кольцо раскаленной, но хладеющей мате-

рии, подобно кольцу Сатурна, последнего остатка этого почти закончившегося процесса.

Маленькое светило — Земля — также было охвачено системой колец, вращающихся с различной скоростью. По мере охлаждения кольца разрывались, части их уплотнялись, образуя малые планеты, или небесные тела. Самым крупным из таких тел была Луна; она притягивала близко проносящиеся массы, они падали и поддерживали ее в раскаленно-жидком состоянии.

То же происходило и с Землей. Она втягивала в сферу своего притяжения остатки разорванного кольца и,— может быть, не раз уже потухнув,— под действием этих чудовищных ударов снова и снова вспыхивала звездой.

Понемногу процесс собирания материи окончился. Близ Земли оставались еще два свободные мира — Луна и второй, упавший во времена палеозойской эры, спутник. Земля овладевала их движениями силой тяготения. Оба тела постепенно падали по спиральной кривой на Землю.

Луна, еще жидкая, вращалась вокруг своей оси. Но при каждом обороте под действием земного притяжения по ней пробегала огромная волна прилива — судорога умирающего, попадающего в плен мира. Вращение Луны тормозилось этими приливами, замедлялось. Луна принимала форму яйца, обращенного толстым концом к Земле.

Наконец ее вращение вокруг оси прекратилось, и она застыла и стала спутником Земли, подойдя к ней на расстояние трехсот восьмидесяти четырех тысяч километров. Так как скорость Луны равна одному километру в секунду,— я беру цифры приблизительно,— то, по закону Ньютона, $x = \frac{v^2}{2r}$, икс, то есть величина, на которую каждую секунду Луна приближается к Земле, падает на Землю, равна одному и трем десятым миллиметра. Но напряжение силы тяжести на расстоянии Луны также равно одному и трем десятым миллиметра. Таким образом, согласно закону мирового тяготения, Луна кажется вполне уравновешенным телом. И это

было бы, если бы Земля и Луна представляли математические тела в идеальном пространстве.

«Но закон Ньютона требует поправок: в формуле

$$x=\frac{v^2}{2r}$$

отброшен квадрат одной малой величины, который является роковым для судьбы Земли. Принимая эту поправку, принимая затем влияние лунного притяжения на воды земных океанов—приливы—и вызываемое ими замедление движения самой Земли, Ч. Дарвин показал, что Луна приближается к Земле, стремясь войти с ней в твердую связь, то есть, согласно третьему закону Кеплера, приблизиться настолько, чтобы время ее обращения вокруг Земли было равно земному дню. Только тогда, как бы скрепленные невидимыми связями, оба тела установят между собою полное равновесие.

Но и этот закон — чисто математический; влияние тяготения кометы Биелы, увеличение плотности земного ядра, возмущение магнитных полей под влиянием солнечных пятен, затем вторая поправка закона Ньютона приводят нас к выводу, что оба тела должны окончательно сблизиться.

Инженер Корвин оглядел собеседников, затаивших дыхание. Его щеки порозовели, на всегда жестких губах неожиданно легла усмешка.

— Пятьдесят тысяч лет, в худшем случае, отделяют нас от последнего часа Земли. (Игнатий Руф и четверо его компаньонов свободно выдохнули воздух, вытерли черепа, налили золотые, зеленые, розовые ликеры в рюмочки.) Падение лунного шара на Землю вызовет выделение такого громадного количества тепла, что обе планеты вспыхнут, расплавятся и сольются в новое тело. И, быть может, вторичная жизнь, которая возникнет на новой Земле, увеличенной в размерах и обогащенной пожаром, будет лучше нашей. В это я также верю. Вот вам все данные. Что же касается нашего предприятия, то мы действительно несколько приблизим срок падения осколков Луны на Землю...

— То есть мы это именно и желаем от вас услышать: на какой приблизительно срок...

— Я подсчитал: тысяч на десять лет...

— Во всяком случае, сорок тысяч лет в нашем распоряжении! — громогласно крикнул Игнатий Руф и в первый раз за все течение этого рассказа рассмеялся, откидывая преувеличенно большую челюсть.

7

Руф и его компаньоны остались удовлетворенными объяснениями инженера. В тот же день, 26 мая, были пересмотрены и утверждены списки фабрик, транспортных компаний, нефтяных приисков и химических заводов, которыми решено было овладеть в «неделю ужаса».

Во все страны света были посланы агенты — вести переговоры с намеченными в списке предприятиями. Переговоры были маской. «Союз пяти», подготовляя ограбление целого мира, осторожно и тщательно исследовал состояние биржи и рынка: открывал онкольные счета, сажал на места своих маклеров, перекупал газеты и основывал новые, раздавал чудовищные авансы ученым-популяризаторам и писателям, обладающим хотя бы каплей фантазии.

На книжный рынок полились потоки астрономических рассказов, утопий, мрачной мистики, апокалиптических поэм. В Швейцарии возродилась теософская община. Члены ее разъезжали по городам, говорили о наступающем дне страшного суда и учреждали ложи борьбы с антихристом.

В конце июля вышла небольшая заминка: по обыкновению, в это время года с Балкан потянуло трупным запахом, пошли тревожные слухи, и истерическая стрелка биржевого барометра подвинулась к «буре».

Тогда Игнатий Руф бросился в Европу, как кабан в тростники. Он устроил заем Италии. Свалил в Югославии министерство. С чудовищной ловкостью, нажимая тайные пружины, созвал конференцию Малой Антанты. Надавал приятных обещаний Германскому союзу. Опубликовал поддельный документ Московского реввоенсовета, чем вызвал в Польше бешеный взрыв ненависти и отвлек ее внимание от дел на Балканах.

В какие-нибудь пять недель он предотвратил очередную опасность войны и вернулся на воздушном корабле в Нью-Йорк. Тогда появилась во всех газетах вторая статья за подписью астронома Ликской обсерватории:

Возвращение кометы Биелы.

«Как известно, ежегодно 30 ноября земля проходит через орбиту кометы Биелы. Об этом свидетельствуют потоки падающих звезд — малых небесных тел, разбросанных по всему пути кометы. Каждые двадцать три года Биела проходит близко от земли, почти в точке пересечения орбит. Тогда звездные потоки, выходя из созвездия Льва, огненной метлой раскидываются по всему небу и представляют восхитительное зрелище.

Известен в истории случай, когда в 1783 году, вследствие неточности вычисления, ожидали столкновения земли с Биелой. Людей охватил ужас. В Париже были случаи смерти от страха. Недостойные представители духовенства, предлагая за хорошие деньги полное отпущение грехов, недурно обделывали свои дела. Великий геометр Лаплас писал в то время:

...Действие подобного столкновения нетрудно себе представить: положение оси и характер вращения земли должны измениться, море покинуло бы свое теперешнее лоно и устремилось бы к новому экватору, люди и животные погибли бы в этом всемирном потопе, все народы были бы уничтожены, все памятники человеческого ума разрушены...»

Но столкновения не произошло и не могло произойти, так как земля *опаздывает на несколько часов* в точку пересечения орбит и настигает только хвост кометы в виде потоков падающих звезд.

Столкновение, однако же, возможно, но лишь тогда, когда прохождение кометы через перигелий, то есть ближайшую к солнцу точку ее орбиты, придется на 28 ноября. Подобный случай бывает только раз в 2500 лет. *Нынешний 1933 год как раз является этим годом.*

Но опасаться, как это было раньше, нам нет основания. Масса головы кометы слишком ничтожна и раз-

режена, чтобы наделать нам бед, воздушная оболочка земли — слишком надежная броня. Быть может, пронесутся магнитные бури, и мы будем свидетелями великолепнейшего из мировых фейерверков.

По-другому ожидаемое столкновение может отозваться на нашем спутнике. Луна не защищена атмосферой. Шар ее прорезан трещинами. Бомбардировка луны метеорами Биелы начнется 29 ноября. На этот раз мы с уверенностью не поручимся за благополучную судьбу нашего спутника».

Статья произвела нужное впечатление. В Вашингтоне был сделан парламентский запрос о «безответственной лунной литературе». Игнатий Руф понял, что биржа на этот раз клюнула. И действительно, биржевые ценности испытали ничем не обоснованное колебание вниз и вверх и повисли в неустойчивом равновесии.

Наступило время решительных действий.

8

Утром 28 ноября Игнатий Руф прибыл на стопятидесятитонной моторной полуподводной лодке в бухту острова и, не сходя на берег, передал инженеру Корвину приказ от «Союза пяти» начать сегодня же в ночь бомбардировку лунного шара.

Затем лодка стала на внешнем рейде и опустилась так, что над волнами виднелась только овальная коробка капитанского мостика с задраенными люками.

Дул сильный ветер порывами. Низко летели тучи над мрачным морем. Кипели буруны, и океанские волны разбивались о скалы острова. Дождь, не переставая, лил. Вдали в горах пенились водопады.

Игнатий Руф стоял один в рубке, поглядывая сквозь заливаемый зелеными волнами иллюминатор на мотающиеся общипанные пальмы, на тускнеющие облака, которые рвались и крутились среди скал над кратером. Наступал вечер. Снизу, из лодки, погруженной в воду, доносились голоса механиков, не подозревающих дурного.

Руф близко к глазам поднес хронометр. Сейчас же вытер рукавом потеющее стекло иллюминатора. Теперь

он слушал, как медленно бьется сердце. Тридцать секунд оставалось до назначенного срока.

От качки ли, от масляно-жаркого воздуха закупоренной лодки, от переутомления последних дней — в тридцать этих последних секунд Игнатий Руф почувствовал такой внезапный разлад с самим собой, что это почти превысило его душевные силы. Горло было схвачено железной спазмой. Тучное тело ослабло, он привалился к железной обшивке. В тридцать секунд — он это понял — он не успеет спуститься в каюту и по радио приказать инженеру Корзину оставить безумное, непомерное, чудовищное предприятие...

И вот наискосок из-за скал,— он увидел это только на мгновение сквозь иллюминатор,— скользнула в рваные облака овальная тень... Красноватый след от нее погас в небе.

Игнатий Руф налег всею тяжестью на бронзовый анкер люка, отвинтил, откинул его и до пояса высунулся из лодки. В лицо хлестнула волна, и ветер, танцуя по пенным гребням, засвистел у него между крахмальным воротником и ушами. В сумерках слышался только тяжелый грохот прибоя.

Затем ахнуло, раскатилось где-то в горах и затарактакало... Чаще, проворнее... Громовые удары слились в рев чудовищной сирены, и, шипя, из-за зубчатых скал метнулся в небо второй снаряд.

Игнатий Руф потряс над седой головой кулаками и вне себя закричал:

— Гип, гип, ура!

Но голос его потерялся среди шума волн и ветра, как писк комара.

9

Тем временем на дне кратера, где раскачивались на столбах электрические фонари и тени от клубов желтого дыма и от двигающихся кранов мотались по скалам, инженер Корвин распоряжался отправкой междупланетных снарядов. Лицо его покрывала свиным рылом противогазовая маска. Несколько десятков отборных рабочих, также в противогазах, одни зацепляли крюч-

ком подъемного крана стальное яйцо, другие подводили похожий на виселицу кран с висящим яйцом к полетной площадке, третьи осторожно опускали снаряд, жерлом вниз, на стальной, слегка наклоненный диск площадки и спешили отойти дальше.

Инженер Корвин приближался к стоящему дыбом яйцу, поворачивал массивные винты диска, ставя его на нужный угол, и ломал взрывной капсюль... Секунду сыпались искры, затем раздавался громоподобный удар, гигантское яйцо подскакивало на несколько метров в воздух и там, крутясь, как бы начинало бороться, не взлетая и не падая, все учащеннее стреляя и взрываясь,— еще секунда, и, подхваченное ураганом взрывов, оно взвивалось тяжело,— шипящий след от него исчезал за тучами...

Так, один за другим, через промежутки в две-три минуты, снаряды уносились в междупланетное пространство.

Густой и едкий дым наполнял кратер. Настала ночь, а было отправлено всего еще только шестьдесят яиц. Люди изнемогали. Один, другой, шатаясь, брели к ручью, чтобы опустить вспухшую голову в воду. Другие брали из разбитых ящиков бутылки и, отшибив горлышко, глотали водку.

Корвин торопил, подбегая к изнемогающим, выхватывал из кармана пачки долларовых бумажек, обещал огромную премию за каждое отправленное яйцо. В последующий час удалось послать двадцать пять яиц. Но затем несколько человек содрали с себя маски и упали, задыхаясь. Одно из яиц, подведенное к диску, сорвалось с крана и откатилось. В ужасе все легли. Но инженер вскочил на клепаную обшивку снаряда и написал на нем мелом: «Отправка — полторы минуты — 1000 долларов».

Бурный дождь, пролившийся над кратером, освежил ненадолго воздух, и число «разрушителей луны» перевалило за сотню. Во втором часу ночи дождевые тучи разорвались на мгновение, и появился лунный диск. Он был ослепительно ярок.

В эту ночь население острова — с лишком четыре тысячи рабочих — было удалено от места работ в ба-

раки на побережье. Люди стояли в темноте толпами. Глядели на извивающиеся из кратера огненные хвосты ракет. Никто не знал, для чего строились эти снаряды и куда улетали они в эту бурную ночь. Чувствовали только, что делается недоброе дело.

Суеверные шептали молитвы. Озлобленные сговаривались опубликовать в газетах,— как только получат свободу и вернутся на материк,— все беззакония и преступления, совершенные на проклятом острове. Трусливые прятались между приморских скал, затыкали уши, когда нестерпимый вой снаряда заглушал грохот прибоя и шум толпы. Немногие из сознательных говорили между собой, мрачно и злобно, что снаряды бомбардируют в эту ночь через Атлантический океан города Советских республик.

В середине ночи зажгли кое-где костры и варили еду. Многие радовались концу утомительных работ и хорошим деньгам, которые они привезут домой, на родину.

А в это время на юго-западе, над океаном, из-под низу туч, идущих грядами, начал разливаться кровяно-красный, неземной свет. Это хвостом вперед из эфирной ночи над землей восходила комета Биела.

10

Игнатий Руф, как это ни странно, крепко заснул в железной капитанской рубке. Разбудил его резкий удар над головой по обшивке. Он прислонил большое лицо к иллюминатору и увидел на странно освещенных волнах танцующую шлюпку; в ней стоял человек и размахивал веслом.

Руф откинул люк. Человек выскочил из шлюпки, проскользнул сквозь люк, сел рядом с Игнатием Руфом и одними губами проговорил:

— Немедленно!.. Полный ход в открытое море!

Это был инженер Корвин. Он взял из ящика сигару и чиркнул спичкой. Платье его было прожжено, руки, шея, лицо, кроме белого кружка — следов маски,— черно, обуглено. Когда лодка, гудя от мощи моторов, двинулась на северо-восток от острова, Руф вполголоса спросил:

— Дело сделано?

— Нет еще, не все сделано.— У инженера так сверкали глаза, что Руф отвернулся.

— Что же еще осталось?

— Успокойтесь, осталось то, чего через десять минут не останется.

— Я не понимаю, Корвин.

— Врете, Руф.

Задрожавшая челюсть у Игнатия Руфа начала отваливаться. В неясном свете кометы лицо его казалось синевато-бледным. Корвин сказал отрывисто, с омерзением:

— Имейте мужество признать, что вы этого хотели, об этом постоянно мне намекали и сейчас этого ждете.

— Остров?

— Да! Со всеми обитателями. Со всеми следами преступления...

Корвин быстро взглянул на часы, кинулся к капитанскому рупору.

— Алло! Полный, самый полный, до отказа!— Он повалился на кожаную банкетку и закрыл глаза. Руф, сутулясь, глядел в иллюминатор. Мрачен и дик был океан, изрытый бурей, озаренный сиянием кометы, раскинутой петушьим хвостом на полнеба.

— Снаряды достигнут луны завтра в полночь,— сказал Корвин,— готовьте бумажник.

Вдруг Руф попятился и сел на пол. На юго-западе, на том месте, где лежал остров, из океана поднялся огромный косматый столб праха. Зеленоватые молнии быстро прорезали его во всех направлениях. Блеснул ослепительный свет.

Через минуту лодку ударило тяжестью воздуха. Раздались громовые раскаты. Большая волна покрыла капитанский мостик.

11

Третью ночь население большого города собиралось весело встречать восхождение кометы Биелы. Где-нибудь в деревенской глуши или в степях среди остатков кочевников люди трепетали и молились, служили в ста-

реньких церквах милостивые молебны или садились в круг слушать колдунов и шаманов, потрясающих бубном навстречу огненным перьям кометного хвоста. Африканские негры устраивали пляски и били в тамтамы. Желтолицые мудрецы на плоскогорьях Памира вычисляли им одним важные сроки судеб и улыбались улыбкой Будды потокам падающих звезд. Дети и животные были охвачены тоской. Но в больших городах играли всю ночь оркестры. Под открытым небом, среди столиков и осенних цветов, в полутьме потушенных улиц смеялись нарядные женщины, пелись злободневные песенки о комете, о луне, об Игнатии Руфе, пугающем весь свет.

Едва только закатилось солнце, по небу из точки — из созвездия Андромеды — помчались стремительные линии падающих звезд. Их, как угли, словно швыряла чья-то рука. Они неслись к зениту и исчезали. Иные устремлялись к земле, вспыхивали зеленоватым светом и рассыпались в хлопья. Казалось — в высоте бушует огненная метель. Отсветы ее играли в бокалах с вином, в изумленных, смеющихся, взволнованных глазах, в драгоценностях на непокрытых волосах женщин.

Часов около десяти по улицам побежали газетчики. «Небывалая катастрофа в Тихом океане. Гибель острова Руфа со всеми обитателями».

Это известие придало еще больше остроты дивному и жуткому зрелищу. Многие и многие в первый раз сегодня глядели на седые созвездия. Оркестры играли похоронный марш Шопена. Над головой беззвучно бушевала метель небесных тел. На облетевших аллеях бульваров, в скверах, где пахло вянущими листьями, на чисто подметенных улицах и площадях мужчины в вечерних цилиндрах и женщины в мехах, веющих духами, испытывали острое и небывалое влечение.

С изумлением глаза вглядывались в глаза. Женские руки, плечи, видные сквозь приоткрытый мех, душистые волосы обещали, казалось, неиспытанное и головокружительное наслаждение. И женщины глядели с нежностью и волнением на своих спутников. С переполненным сердцем откидывались в плетеных креслах, улыбались восходящему свету кометы. Легонький озноб неожиданно и всеми желанно-принятого влечения веял в эту

ноябрьскую ночь на площади, полуосвещенной разноцветными абажурами лампочек на ресторанных столах.

Потоки звезд все гуще бороздили небо. Началось падение аэролитов. Извиваясь, как змеи, раскаляясь до ослепительно-зеленого цвета, они силились пробить воздушную броню земли и распадались в пыль. Их встречали криками, как борцов, идущих к финишу. Вот один, другой, третий аэролит устремились со страшной высоты прямо на площадь. Испуганно кое-где вскочили люди. Площадь затихла. Но, не долетев, разорвались воздушные камни, и только издалека громыхнул гром. Между столиками закрутились серпантиновые ленты. Негритята-бои разносили корзины с фруктами.

И вот над крышами начал вставать сияющий хвост Биелы. Она возносилась все выше, раскидывалась все шире. Наконец появилась ее голова, похожая на тупую голову птицы. Оркестры заиграли туш. К небу поднялись руки с бокалами шампанского. Через двенадцать часов, по точнейшим вычислениям обсерваторий всего мира, Биела должна была пройти всего в тысяче километров над пустынной южной областью Великого океана. Ожидались бури, большие приливы, усиление деятельности вулканов и даже падение в океан крупных осколков, из которых составлен зыбкий окутанный раскаленными газами, головной шар кометы.

Все это было необычайно, красиво и волновало, в особенности женщин. Множество глупостей было сказано и еще больше наделано в эту ночь.

Неожиданно на площадь, в широкий проход между столиками, вылетел мотоциклет. Бестактно и нагло ослепительный луч его фонаря скользнул по глазам. Мотор стал. Седок в кожаном шлеме что-то хрипло прокричал. Закутался вонючим дымом, затрещал и вихрем унесся в боковую улицу.

Сейчас же засуетилось несколько человек. Что-то, видимо, произошло. Начался ропот. Возвысились тревожные голоса. Оркестры настойчиво замолкали. Всюду вставали на стулья, вскакивали на столики. Зазвенело разбиваемое стекло. Вся площадь поднялась. Еще не понимали, не знали, из-за чего тревога. И вдруг среди глухого говора раздался низкий, дурной женский крик.

В сотне мест ответили ему воплем. Пошли водовороты по толпе. И так же внезапно площадь затихла, перестала дышать.

Вдалеке, из-за безобразной островерхой башни восьмидесятиэтажного дома выплыла луна. Она была медного и мутного цвета. Она казалась больше обычного размером и вся словно окутана дымом. Самое страшное в ней было то, что *диск ее колебался,* подобно медузе.

Прошло много минут молчания. Стоявший на столе высокий тучный человек во фраке, в шелковом цилиндре набекрень, зашатался и повалился навзничь. После этого началось бегство, давка, дикие крики. Люди с поднятыми тростями наскакивали на кучу мужчин и женщин и били по головам и плечам. Пролетели стулья в воздухе. Захлопали револьверные выстрелы.

Луна, это ясно теперь было видно, развалилась на несколько кусков. Комета Биела действовала на их неравные части, и они отделялись друг от друга. Это зрелище разбитого на осколки мира было так страшно, что в первые часы много людей сошло с ума — бросались с мостов в каналы, накладывали на себя руки, не в силах подавить ужаса.

. . . .

Улицы осветились. Отряды полиции и войск заняли перекрестки и площади. Кареты скорой помощи подбирали раненых и убитых. В ту же ночь многие города были объявлены на военном положении. Вместо музыки и веселого смеха слышались грузные шаги идущих частей, колючие крики команды, удары прикладов о мостовую.

. . . .

Игнатий Руф и инженер Корвин лежали в креслах салон-вагона специального поезда, мчавшегося по озаренным кометой прериям западных штатов. Оба курили сигары, глядели из темноты вагона на дымный, зыбкий разрушенный ими лунный шар. Время от времени Руф брал трубку радиотелефона, слушал, и рот его одним углом лез вверх. Инженер Корвин сказал:

— Когда я был ребенком, меня преследовал сон, будто я бросаю камешки в луну,— она висела совсем

низко над поляной,— я не знал тогда, что этот сон означает преступление.

— Возьмите себя в руки,— сказал Руф, нахмурившись,— нам предстоит не спать несколько ночей, через неделю я даю вам отпуск на лечение.

12

«В ночь на 29-е Луна разбита кометой Биелой», «Пожар Луны», «Возможность падения Луны на Землю», «Выдержит ли земная атмосфера удары лунных осколков?» — таковы были заголовки газет от 30 ноября.

Из Ликской обсерватории сообщалось, что лунный шар распался на семь основных кусков и все они окутаны тучами пепла. Дальнейшая судьба Луны пока еще не определена. Телеграммы о бедах, которые на Земле натворила Биела, никем не читались. Приморские города, затопленные и унесенные в море огромной волной прилива, землетрясения, несколько населенных островов, уничтоженных аэролитами кометы, отклонение теплых течений — эти мелочи никого не интересовали. Луна! Последние доживаемые дни мира! Внезапная гибель человечества или — чудо, спасение? Вот о чем говорили, шептали, бормотали в телефоны в течение двенадцати часов 30 ноября. А ночью все окна, балконы и крыши были усажены жалкими, боящимися смерти людьми.

На улицах, куда запрещено было выходить с закатом солнца, разъезжали патрули велосипедистов, перекликались пикеты. Стояла небывалая тишина в городах, лишь кое-где с крыши доносился плач. Облака, закрывавшие луну, редели, и зрелище осколков, все еще собранных в неправильный, потускневший диск, наводило смертельную тоску.

В ночь на 1 декабря Руф созвал «Союз пяти». Подсчитали разницу, которую за истекший день дала биржевая игра на понижение. Суммы барыша оказались так чудовищно велики, что Руф и его компаньоны испытали чувство едкой радости. Действительно, паника на бирже перешла границы разума. В редакциях газет на-

бирались длинные колонки знаменитейших фамилий, объявленных банкротами.

Под утро стали поступать радио от маклеров из Европы, Азии и Австралии: коротко сообщалось о неописуемой панике, о черном дне биржи, о гибели капиталистов, крахе банков, о самоубийствах денежных королей. Были и нехорошие известия о массовых помешательствах, о начавшихся пожарах в европейских столицах.

Неуважительное, беспомощное, детски-жалкое было в этой человеческой растерянности. Деньги, власть, уверенность в прочности экономического строя, в незыблемости социальных слоев, всемогущество — все то, к чему шел «Союз пяти»,— во всем свете вдруг потеряло силу и обаяние. Миллиардер и уличная девка лезли на крышу и оттуда таращили глаза на расколотую луну. Неужели вид этого разбитого шара, не стоящего одного цента, способен лишить людей разума? Член «Союза пяти», старичок, похожий на старого сверчка, потирая сухие ладошки, повторял:

— Я ожидал борьбы, но не такой капитуляции. Прискорбно в мои годы стать мизантропом.

Инженер Корвин ответил ему на это:

— Подождите, мы всего еще не знаем.

На заседании «Союза пяти» было решено часть добытых миллиардов снова бросить на биржу, играя на этот раз на повышение, и начать скупку предприятий, обозначенных в списке 28 мая.

13

Игнатий Руф остановил автомобиль у подъезда многоэтажного универсального магазина и долго глядел на оживленную толпу женщин, мужчин, детей. Многое ему начинало не нравиться,— за последнее время в городе появились дурные признаки,— и вот сейчас, всматриваясь в этих девушек, беспечно выбегающих из дверей «Торгового дома Робинсон и Робинсон», Руф захватил всей рукой подбородок, и на большом лице его легли морщины крайней тревоги.

Прошло три месяца со дня, когда лунный шар, многие тысячелетия служивший лишь для бредней поэтов, был, наконец, использован с деловыми целями. За семь дней ужаса «Союз пяти» овладел двумя третями мирового капитала и двумя третями индустрии.

Победа далась легко, без сопротивления. «Союз пяти» увидел себя распорядителем и властелином полутора миллиардов людей.

Тогда им была передана в газеты крайне жизнерадостная статья «О сорока тысячах лет», в которых земля может спокойно и беспечно трудиться и развиваться, не боясь столкновений с останками луны.

Статья как будто произвела благоприятное впечатление. Крыши были покинуты созерцателями, открылись магазины, и понемногу снова заиграла музыка в ресторанах и скверах. Но какая-то едва заметная тень печали или рассеянности легла на человечество.

Напряженная озабоченность, борьба честолюбий, воль, железная хватка, дисциплина, порядок — весь обычный, удобный для управления организм большого города понемногу начал превращаться во что-то более мягкое, расплывающееся, трудно уловимое.

На улицах все больше можно было видеть без дела гуляющих людей. Тротуары и мостовые стали плохо подметаться, размножились уличные кофейни, иные магазины стояли по целым дням закрытые, к иным нельзя было протолкаться,— и в этой сутолоке, среди болтающих чепуху девчонок, встречали директоров банков, парламентских деятелей, солидных джентльменов.

В деловых кварталах города, где раньше не слышалось иной музыки, чем шум мотора, треск пишущей машинки да телефонные звонки, теперь с утра до утра на перекрестках играли маленькие оркестры, и лифтовые мальчишки, клерки, хорошенькие машинистки отплясывали шимми и фокстрот, и из окон деловых учреждений высовывались деловые люди и беспечно перекликались с танцующими.

Полиция,— это было уже совсем тревожно,— ничего не имела против беспорядка, благодушия и беспечного веселья на улицах. У полисменов торчали цветы в

петлице, трубки в зубах; иной, подойдя к перекрестку, где на составленных столах бородатый еврей пиликал на скрипке, и багровый германец трубил в корнет-а-пистон, и плясали растрепанные девушки, поглядев и крякнув, сам пускался в пляс.

В деловых учреждениях, на железных дорогах, на пароходах наблюдались те же беспечность и легкомыслие. Замечания встречались добродушными улыбками, нагоняй или расчет — грустным вздохом: «Ну, что ж поделаешь»,— и не успеет человек выйти за дверь — слышишь, уже засвистал что-то веселенькое.

«Союз пяти» начинал чувствовать себя как бы окруженным мягкими перинами и подушками. Он усиливал строгости, но они никого не пугали. Он печатал приказы, декреты, громовые статьи, но газет никто больше не читал. А в то же время в кофейнях и на улицах, собирая толпу, какие-то юноши с открытыми шеями декламировали стихи туманного и тревожного содержания.

На заводах, фабриках, рудниках пока еще все обстояло благополучно, но уже чувствовалось замедление темпа работы, как будто система Тейлора стала размыкать стальные кольца... «Союз пяти» решил не медлить: в ближайшие дни произвести политический переворот, стать во главе правительства, объявить диктатуру и — пусть даже брызнет кровь — призвать человечество к порядку и дисциплине.

Игнатий Руф, вглядываясь внимательно в посетителей магазина, внезапно понял, что было необычайного в этой толпе веселых покупателей. Он вышел из автомобиля и стал в дверях. Все — мужчины и женщины — выносили свои покупки не завернутыми в бумагу. Перекинув через руку или набив ими карманы, они спокойно проходили мимо полисмена, добродушнейшего великана с цветком за ухом.

Игнатий Руф вместе с толпой продвинулся в магазин. На прилавках лежали горы материй, вещей, предметов роскоши. Мужчины и женщины рылись в них, брали то, что им нравилось, и уходили довольные. Магазин расхищался. У Игнатия Руфа стиснуло горло железной спазмой. Он тяжело шагнул к улыбающейся нежно-сероглазой, в шляпке набок, девушке и сказал

громогласно, так, что слова его прокатились под гигантским куполом магазина:

— Сударыня, вы занимаетесь воровством.

Девушка сейчас же моргнула, поправила шляпку.

— Разве вы приезжий? — сказала она кротко.— Разве вы не знаете, что мы уже три месяца все берем даром?

Руф обвел кровавыми глазами шумную толпу расхитителей, крупный пот проступил у него на лице.

— Сумасшедшие! Город сошел с ума! Мир сошел с ума!— проговорил он в исступлении.

14

Пять тысяч суданских негров — огромных, зубастых, с гранатами за поясом и скорострельными двадцатифунтовыми ружьями на плече — без сопротивления прошли от вокзала до площади Парламента.

В середине наступающих колонн двигался открытый белый автомобиль. На замшевых подушках сидел Игнатий Руф в закрытом до шеи черном пальто и в черном цилиндре. В петлице мотала увядшей головкой белая роза.

Игнатий Руф оборачивал направо и налево бледное, страшное лицо, как бы ища ввалившимися глазами встревоженных толп народа, чтобы знаком руки в белой перчатке успокоить их. Но прохожие без изумления, будто видя все это во сне, скользили взглядом по тяжело идущим рядам суданских войск. В городе не было ни страха, ни возбуждения, никто не приветствовал совершающийся политический переворот и не противился ему.

Суданцы окружили парламент и залегли на площади перед ним. Игнатий Руф, стоя в автомобиле, глядел на зеркальные окна большой залы заседаний. Горнист, великан-негр, вышел перед цепями на площади и на рожке печально заиграл сигнал сдачи. Тогда с мраморной лестницы парламента сбежало несколько человек, пытаясь скрыться; их сейчас же арестовали. Игнатий Руф, подняв руку и помахав ею, как тряпкой, продвинул

цепи вплотную к зданию. Сквозь окно было видно теперь, как в зале на скамьях амфитеатра сидят члены парламента: кто облокотился, кто подперся сонно, на трибуне оратор бормотал что-то по записке, за председательским столом на возвышении дремал полный седой спикер, положив руку на колокольчик.

Игнатий Руф пришел в ярость. Надвинул цилиндр на глаза и коротко, лая, отдал приказ. Передние цепи суданцев подняли тяжелые ружья, заиграл рожок, и площадь содрогнулась от залпа. Зеркальные стекла покрылись трещинами, посыпались, зазвенели.

Через десять минут парламент был занят, депутаты, как будто с величайшим облегчением воспринявшие эти события, были отведены в тюрьму. Затем Игнатий Руф с небольшим отрядом суданцев окружил Белый дом, вошел в него с револьверами в обеих руках и сам арестовал президента, с вежливой улыбкой сказавшего по этому поводу исторические слова: «Я уступаю силе».

Через час отряды мотоциклов и аэропланы разбросали по городу извещение «Союза пяти» о государственном перевороте. Вся власть в стране переходила к пяти диктаторам. (В тот самый день, в тот самый час они с отрядами выведенных из Африки войск занимали города Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию, Сан-Франциско.) Новые парламентские выборы назначались через полгода. Страна объявлялась на военном положении. Закрывались все рестораны, театры, кино, запрещалась музыка в общественных местах, а также бесцельное гуляние по улицам. Извещение было подписано председателем «Союза пяти» Игнатием Руфом. Переворот был решительный и суровый.

«Союз пяти» отныне безраздельно, бесконтрольно владел всеми фабриками, заводами, транспортом, торговлей, войсками, полицией, прессой, всем аппаратом власти. «Союз пяти» мог заставить все население Америки стать кверху ногами. Со времен древних азиатских империй мир не видал такого сосредоточения политической и экономической власти.

Над этим странным миром по ночам поднималась разбитая луна большим неровным диском, разорванным черными трещинами на семь осколков. Ее ледяной

покой был потревожен и обезображен человеческими страстями. Но она все так же кротко продолжала лить на землю серебристый свет. Все так же ночной прохожий поднимал голову и глядел на нее, думая о другом. Все так же вздыхал и приливал к берегам океан. Росла трава, шумели леса, рождались и умирали инфузории, моллюски, рыбы, млекопитающие.

И только пять человек на земле никак не могли понять, что в круговороте жизни они пятеро, диктаторы и властелины, никому ни на что не нужны.

15

В кабинете свергнутого президента спиной к горящему камину, раздвинув фалды, чтобы греть зад, стоял Игнатий Руф. Перед ним сидели диктаторы. Он говорил:

— В первые дни еще можно было заметить подобие страха, но сейчас они ничего не боятся... Вот ваши полумеры... (Они, то есть люди, население.) Они без сопротивления отдали нам свои деньги, они не сопротивлялись, когда мы брали власть, они не желают читать моих декретов, как будто я их пишу тростью на воде... Но, черт возьми, я предпочел бы иметь дело с бешеным слоном, чем с этой сумасшедшей сволочью, которая перестала любить деньги и уважать власть. Что случилось, я спрашиваю? Они пережили несколько часов смертельного страха. Все. Мы вывернули их карманы, правда, но после этого они должны были еще больше преклониться перед идеей концентрированного капитала...

Один из диктаторов, похожий на старого сверчка, спросил:

— Уверены ли вы, сэр, что мы так богаты, как мы это думаем, сэр?

— Девять десятых мирового золота лежит в подземельях здесь,— Руф ударил ногой по ковру,— ключ от этого золота здесь,— он хлопнул себя по жилетному карману,— в этом никто не сомневается.

— Я удовлетворен вашим объяснением, благодарю вас, сэр,— ответил диктатор, похожий на сверчка.

Руф продолжал:

— Они продолжают существовать как ни в чем не бывало. Заводы работают, фермеры работают, чиновники и служащие работают. Очень хорошо,— но при чем же мы, я спрашиваю? Мы — хозяева страны, или мы сами себя выдумали? Вчера в парке я схватил за воротник какого-то прохожего. «Понимаете ли вы, сэр,— крикнул я ему,— что вы весь мой — с костями и мясом, с вашей душонкой, которая стоит двадцать семь долларов в неделю?» Негодяй усмехнулся, будто он зацепил воротником за сучок, освободился и ушел, посвистывая. Мы взорвали проклятую луну, мы овладели мировым капиталом, мы взяли на себя чудовищную власть только для того, чтобы к нам относились как к явлению природы: дует ветер — подними воротник. Я запретил музыку в общественных местах — весь город ходит и насвистывает. Я закрыл кабаки и театры — в городе стали собираться по квартирам,— они развлекаются бесплатно. Мы — мираж. Мы — боги, которым больше не желают приносить жертвы. Я спрашиваю: мы намерены зарываться по шею в наше золото или перед этим камином надуваться от гордости, в упоении, что мы — власть, которой еще не видал мир? Я спрашиваю: каков практический вывод из нашего могущества?

Диктаторы молчали, глядя на кровавые угли камина. Руф отхлебнул минеральной воды.

— Если вы будете бить кулаками в воздух, в конце концов вы упадете и разобьете нос. Нужно создать сопротивление среды, в которой действуешь, иначе действия не произойдет. Мы на краю пропасти,— я утверждаю. Человечество сошло с ума. Нужно вернуть ему разум, вернуть его к естественной борьбе за существование, со всеми освященными историей формами, где в свободной борьбе личности с личностью вырастает здоровый человеческий экземпляр. Мы должны произвести массовый отбор. Направо и налево.

— Ближе к делу, что вы предлагаете? — спросил другой из диктаторов.

— Кровь,— сказал Руф.— Всех этих с неисправимо сдвинутыми мозгами, всех этих свистунов, мечтателей, без двух минут коммунистов — в расход! Мы

объявим войну Восточноевропейскому союзу,— это поднимет настроение; мы объявим запись добровольцев в войска,— вот первый отбор наиболее здоровых личностей... Мы объявим войну всех против всех, мы будем руководить этой бойней, где погибнет слабый и где сильный приобретет волчьи мускулы... И тогда мы наденем железную узду на возрожденного зверя...

Руф нажал кнопку электрического звонка. За стеной в тишине затрещало. Прошла минута, две, три. Руф поднял брови. Диктаторы переглянулись. Никто не шел. Руф сорвал с камина, с телефонного аппарата, трубку, сказал сквозь зубы номер и слушал. Понемногу лицо его темнело. Он осторожно положил трубку на аппарат, подошел к окну и приподнял тяжелую шелковую портьеру. Затем он вернулся к камину и снова отхлебнул глоток минеральной воды.

— Площадь пуста,— хриповато сказал он,— войск на площади нет.

Диктаторы, глядя на него, ушли глубоко в кресла. Было долгое молчание. Один только спросил:

— Сегодня были какие-нибудь признаки?

— Да, были,— ответил Руф, стукнув зубами,— иначе бы я вас не собрал сюда, иначе бы я не говорил так, как говорил.

Опять у камина долго молчали. Затем в тишине Белого дома, издалека, раздались шаги. Они приближались, звонко, весело стуча по паркету. Диктаторы стали глядеть на дверь. Без стука широко распахнулась дверь, и вошел плечистый молодой человек с веселыми глазами. Он был в шерстяной белой рубашке, широкий бумажный пояс перепоясывал его плисовые коричневые штаны на крепких ногах. Лицо у него было обыкновенное, добродушное, чуть вздернутый нос, пушок на верхней губе, девичий румянец на крепких скулах. Он остановился шагах в трех от камина, слегка кивнул головой, открыл улыбкой зубы:

— Добрый день, джентльмены!

— Что тебе нужно здесь, негодяй? — спросил Руф, медленно вытаскивая руки из карманов.

— Помещение нам нужно под клуб; нельзя ли будет очистить?

ГОЛУБЫЕ ГОРОДА

ДВА СЛОВА ВСТУПЛЕНИЯ

Один из свидетелей, студент инженерного училища Семенов, дал неожиданные показания по наиболее туманному, но, как это выяснилось в дальнейшем, основному вопросу во всем следствии. То, что при первом знакомстве с обстоятельствами трагической ночи (с третьего на четвертое июля) казалось следователю непонятной, безумной выходкой или, быть может, хитро задуманной симуляцией сумасшествия, теперь стало ключом ко всем разгадкам.

Ход следствия пришлось перестроить и вести его от финала трагедии — от этого куска полотнища (три аршина на полтора), приколоченного на рассвете четвертого июля на площади уездного города к телеграфному столбу.

Преступление было совершено не сумасшедшим — это установили допрос и экспертиза. Вернее всего, преступник находился в состоянии крайнего умоисступления. Приколачивая на столб полотнище, он спрыгнул неловко, вывихнул ногу и лишился чувств. Это спасло ему жизнь,— толпа растерзала бы его. На допросе предварительного следствия он был чрезвычайно возбужден, но уже следователь губсуда застал его успокоившимся и отдающим себе отчет в совершенном.

Все же из его ответов нельзя было составить ясной картины преступления,— она распадалась на куски. И только рассказ Семенова слепил все куски в одно целое. Перед следователем развернулась страстная повесть мучительной нетерпеливой и горячечной фантазии.

ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВАСИЛИИ АЛЕКСЕЕВИЧЕ БУЖЕНИНОВЕ

В стороне от станции Безенчук, Пугачевского ныне уезда, тянулся по широкой грязище красноармейский обоз. Кругом бурая степь, мокрые тучи над ней, вдали — тусклая, как трехсотлетняя тоска земли российской, щель просвета над краем степи да телеграфные столбы с подпорками в стороне от дороги. Было это осенью 1919 года.

Головная конная часть, сопровождавшая обоз, наткнулась в этой ветреной пустыне на следы недавнего боя: несколько дохлых лошадей, опрокинутая телега, десяток человеческих трупов без шинелей и сапог. Головной отряд, покосившись, проехал было мимо, но командир вдруг повернулся в седле и указал мокрой варежкой на телеграфный столб. Отряд остановился.

У столба, привалившись, сидел человек с пунцово-красным лицом и, не шевелясь, глядел на подъехавших. С обритого черепа его свисала окровавленная тряпка. Запекшиеся губы шевелились, будто он шептал про себя. Видимо, он делал страшные усилия, чтобы подняться, но сидел, как свинцовый. На рукаве у него была нашита красная звезда.

Когда двое всадников тяжело соскочили с коней и пошли к нему, разъезжаясь по грязи, он быстро-быстро задвигал губами, безусое лицо сморщилось, глаза расширились, белые от ужаса, от гнева.

— Не хочу, не хочу,—едва слышно, поспешно бормотал этот человек,— отойдите, не застилайте... Мешаете смотреть... Ну вас к черту... Мы же вас давно уничтожили... Не топчитесь перед глазами, не мешайте... Вот опять... С того холма через реку... Глядите же вы,

собаки белогвардейские, обернитесь... Видите — мост над полгородом, арка, пролет — три километра... Из воздуха? Нет, нет,— это алюминий. И фонари по дуге на тончайших столбах, как иглы...

Человек бредил в жестоком сыпняке и, видимо, принимал своих за врагов. От него так и не добились, что это был за отряд, десять человек из которого валялось у дороги. Сам он остался жить только оттого, что во время боя лежал раненый в телеге, валяющейся сейчас кверху колесами.

Его положили на воз с овсом. Вечером на станции Безенчук сделали перевязку и с ближайшим санитарным эшелоном отправили в Москву. Документы его были на имя Василия Алексеевича Буженинова, уроженца Смоленской губернии, двадцати одного года.

Человек этот остался жить. К весне он встал на ноги, а летом его снова бросили на фронт. С сотнями других, таких же как он, Буженинов входил и уходил из разоренных городов Украины; хоронился по орешникам и вишенникам, отстреливаясь от белых и зеленых; сиживал в звездные ночи у костра над Доном; месил грязь в степях под осенним ветром, воющим уныло между ушами коня да по телеграфным проводам; бился в лихорадке в палящих песках Туркестана; ходил под Перекоп и в Польшу.

Все это впоследствии вспоминалось ему как сновидение: стычки, песни голодного брюха, перетянутого красноармейским кушаком, полуразбитые теплушки, мчавшиеся по равнинам, пылающие на горизонте крыши деревень, товарищи — то горластые и беззаботные, то бешено злые в бою, то присмиревшие с усталости и голода. Товарищи, как бегущие мимо вагона столбы и деревья, уходили из памяти, из зрения, уходили «домой», в землю. Разного человека в те годы не было,— были братишки. Вот он, братишка, обмотавший кусками ковра ноги — вместо сапог, таскает ложкой из котла кашу так, что желваки катаются на скулах, а к вечеру, гляди, лежит, уткнувшись, запустив окоченевшие пальцы в землю.

Вот отчего те годы вспоминались как сон.

Сведения о жизни Василия Алексеевича расплываются в тумане этих лет. Болен и ранен не был, в отпуску не бывал. Однажды Семенов встретил его в пограничном городке, в корчме, и за самогоном провел несколько часов в горячей беседе. Впоследствии Семенов рассказывал так об этой встрече:

— С Василием Бужениновым мы окончили одно училище, он был классом старше. Затем он поступил на архитектурные курсы в шестнадцатом году, а я в семнадцатом — в инженерное.

В корчме мы стали вспоминать прошлое. Вдруг Буженинов вскочил, перекривился. «Чего старье переворачивать, давай о другом. Сто лет прошло с тех пор. Я вот помню, как бабушка у нас в доме, в провинции, спички колола вместе с головкой на четыре части для экономии,— из одной коробки четыре коробки выгоняла. Вот так сэкономили! Две с половиной тысячи паровозов валяются под откосами. Я спрашиваю: война кончена, значит опять теперь спички на четыре части колоть? Возврата нет, старое под откос! Либо нам погибнуть к дьяволу, либо мы построим на местах, где по всей земле наши братишки догнивают,— построим роскошные города, могучие фабрики, посадим пышные сады... Для себя теперь строим... А для себя — великолепно, по-грандиозному...»

После демобилизации Василий Алексеевич поступил снова на архитектурные курсы и пробыл в Москве до весны 1924 года. Семенов рассказывает, что все это время Буженинов работал с каким-то даже исступлением. Питался впроголодь. Одно время, говорил, он ночевал в склепе на Донском кладбище. Женщин, разумеется, дичился. И носил на костлявых, сутулых плечах все ту же красноармейскую шинелишку, простреленную, в бурых пятнах, в которой его когда-то нашли в степях Пугачевского уезда.

В начале апреля Буженинов заболел нервным переутомлением. Семенов приютил его у себя на диване. Тогда же Буженинов получил из уездного города, со своей родины, какое-то письмо и часто перечитывал его,

будто оно было написано на мало понятном ему языке. Письмо страшно его волновало. Несколько раз он говорил, что должен побывать на родине, иначе во всю жизнь не простит себе. Очевидно, воображение его было также не в порядке.

Семенов собрал деньги между товарищами и купил Буженинову железнодорожный билет. Дня за два до его отъезда по случаю весенних дней была вечеринка, на которой Буженинов, захмелев, в крайнем возбуждении рассказал товарищам удивительную историю.

Рассказ его приводится здесь в том именно виде, каким был воспринят товарищами, плотно набившимися в комнату Семенова, когда за открытым окном над московскими крышами, над полосатыми от рекламных лент узкими улицами, над древними башнями, над прозрачными ветвями бульварных лип разлился синеватый свет вечера и пренебреженный поэтами всего Союза весенний месяц узким ледяным серпом стоял в вечерней пустыне.

ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ

«Четырнадцатого апреля 2024 года мне стукнуло сто двадцать шесть лет... Подождите скалиться, товарищи, я говорю серьезно... Я был ни стар, ни молод: седой, что считалось весьма красивым,— волосы отлива слоновой кости; угловатое свежее лицо; сильное тело, уверенное в движениях; легкая одежда, без швов, из шерсти и шелка; упругая обувь из кожи искусственных организмов — так называемой «сапожной культуры», разводимой в питомниках Центральной Африки.

Все утро я работал в мастерской, затем принимал друзей, и сейчас, в сумерки, вышел на террасу уступчатого дома, облокотился и глядел на Москву.

Полстолетия тому назад, когда я уже умирал глубоким стариком, правительство включило меня в «список молодости». Попасть туда можно было только за чрезвычайные услуги, оказанные народу. Мне было сделано «полное омоложение» по новейшей системе: меня

заморозили в камере, наполненной азотом, и подвергли действию сильных магнитных токов, изменяющих самое молекулярное строение тела. Затем вся внутренняя секреция была освежена пересадкой обезьяньих желез.

Действительно, заслуги мои были значительны. С террасы, где я стоял, открывалась в синеватой мгле вечера часть города, некогда пересеченная грязными переулками Тверской. Сейчас, уходя вниз, к пышным садам Москвы-реки, стояли в отдалении друг от друга уступчатые, в двенадцать этажей, дома из голубоватого цемента и стекла. Их окружали пересеченные дорожками цветники — роскошные ковры из цветов. Над этой живописью трудились знаменитые художники. С апреля до октября ковры цветников меняли окраску и рисунок.

Растениями и цветами были покрыты уступчатые, с зеркальными окнами, террасы домов. Ни труб, ни проволок над крышами, ни трамвайных столбов, ни афишных будок, ни экипажей на широких улицах, покрытых поверх мостовой плотным сизым газоном. Вся нервная система города перенесена под землю. Дурной воздух из домов уносился вентиляторами в подземные камеры-очистители. Под землею с сумасшедшей скоростью летели электрические поезда, перебрасывая в урочные часы население города в отдаленные районы фабрик, заводов, деловых учреждений, школ, университетов... В городе стояли только театры, цирки, залы зимнего спорта, обиходные магазины и клубы — огромные здания под стеклянными куполами.

Такова была построенная по моим планам Москва двадцать первого века. Весенняя влажность вилась в перспективах раскрытых улиц, между уходящими к звездам уступчатыми домами, и их очертания становились все более синими, все более легкими. Кое-где с неба падал узкий луч, и на крышу садился аэроплан. Сумерки были насыщены музыкой радио — это в Тихом океане на острове играл оркестр вечернюю зорю.

Всего одно столетие отделяло нас от первых выстрелов гражданской войны. На земле шел сто седьмой год нового летосчисления. Демобилизованные химические

заводы изменили суровые и дикие пространства. Там, где расстилались тундры и таежные болота,— на тысячи верст шумели хлебные поля. Залежи тяжелых металлов на севере, уран и торий, были, наконец, подвергнуты молекулярному распадению и освобождали гигантские запасы радиоактивной энергии. От северного к южному полюсу по тридцатому земному меридиану была проложена электромагнитная спираль. Она обошлась в четверть стоимости мировой войны четырнадцатого года. Электрическая энергия этой полярной спирали питала станции всего мира. Границ между поселениями народов больше не существовало. В небе плыли караваны товарных кораблей. Труд стал легким. Бесконечные круги прошлых веков борьбы за кусок хлеба — эта унылая толчея истории — изучались школьниками второй ступени. Мы свалили с себя груз, который тащили на кривых спинах. Мы выпрямились. Людям прошлого не понять этих новых ощущений свободы, силы и молодости.

Да, уверяю вас, жить стало большим счастьем, и земля стала желанным местом жизни. Так думал я, глядя с террасы на построенный мною город. В воздухе возник тонкий звук, как бы от лопнувшей струны. Сигнал. И весь город залился светом электрических огней: убегающие к Москве-реке ряды круглых фонарей, фонари на террасах, и — потоки света с плоских крыш в лиловое небо. Мерцающим светлым яйцом возвышался на площади Революции стеклянный купол клуба. Низко и бесшумно ночной птицей нырнул сверху вниз мимо террасы аэроплан, и женский голос оттуда крикнул...»

. . . .

Буженинов оборвал рассказ и, смущенно, почти жалко улыбаясь, оглядел товарищей. В руке у него дрожал стакан с пивом...

— А что?.. Разве не за это мы пошли в восемнадцатом году умирать, товарищи? — проговорил он глуховатым голосом.— Помню, этим городом я в сыпняке бредил... В какой-то степи сижу у столба... Дождь... Мертвяки валяются... А за дождиком, из мокрых бурья-

нов просвечивают купола, дивные арки, вырастают дома уступами... Сейчас—закрою глаза и вижу... Эх! А мы время теряем, пиво пьем...

Не отхлебнув из стакана, он прилег на кровать, закрыл глаза. Землистое лицо его подергивалось. Начался спор. Буженинову говорили:

— Горячишься, Вася... С такой горячкой дела не сделаешь... Новую жизнь строить — не стихи писать. Тут железные законы экономики работают. Тут надо поколения перевоспитывать. А с утопсоциализмом, покуда рот разинул, тебя живо колесами переедут... Держи курс на мировую революцию, а дни пока — все понедельники. С понедельником справиться потруднее, чем твой город построить...

На все эти разумные слова Буженинов, не открывая глаз, отвечал сквозь зубы:

— Знаю... Знаю...

Товарищи пошумели и разошлись на рассвете. Шестнадцатого утром Буженинов уехал на родину. Весь багаж его состоял из папки с чертежами и ящика с чертежными принадлежностями.

НАДЕЖДА ИВАНОВНА

Письмо, взволновавшее Буженинова, было от воспитанницы его матери, Надюши — Надежды Ивановны. Сидя у окна в вагоне, он еще раз перечел его.

«Дорогой Вася, мы недавно узнали, что ты жив и даже учишься в Архитектурной академии. Мы очень обрадовались, главное тому, что ты жив. А ведь три года от тебя не было никаких вестей. Мне уже двадцать два года, я служу в Древтресте. Домик нам вернули в прошлом году, но пришлось сделать ремонт. Теперь у нас — корова, куры и даже индейки. Непременно пришли по почте семян для огорода. Мама очень плоха, оглохла и ничего не видит. С ней очень трудно — все сердится, все не так. На днях простудилась и теперь лежит. Ты бы приехал, а то боюсь, что больше не увидишь ее. Ко мне на масленицу сватался Утевкин, наш

конторщик, но я отказала, потому что он ненадежный элемент. Мечтаю пойти на сцену, но, пока мама жива, это невозможно. Хотя Утевкин все повторяет, что у меня талант, но я считаю, что это одни подходы с его стороны. Так хочется жизни. Весна у нас в полном разгаре. Любящая тебя Надя».

Странное было письмо. Вроде сырой айвы: и как будто бы вкусное и скулы вяжет. Буженинов глядел, как за окном, за опускающимися и поднимающимися проволоками, лежали плоские озера вешней воды. Утро было мглистое, солнце висело оранжевым шаром над разливами. Приминая прошлогоднюю траву, текли ручьи из озера в озеро. Вдали из вод росли деревья, стога. На островках бродил скот, вертелись обтрепанные ветрами крылья мельницы...

Буженинов вышел на площадку вагона и глубоко, зажмурясь от острого наслаждения, вдохнул запах весенней земли и половодья. Подувал свежий ветерок. Проезжали станции, где в голых еще, высоких тополях кричали грачи, кружась над гнездами. Грачи кричали так тревожно, что больно стало сердцу. Он опять зажмурился, улыбаясь: казалось ужасно смешно, что Наде двадцать два года. А была подросток — милое лицо, голубые глазки, каштановые, как шелк, волосы, заплетенные в косу с бантом. Когда разговаривает — подходит близко, доверчиво, опустив худые руки,— глядит прямо в глаза.

Поезд, замедляя ход, проходил железнодорожным мостом. Глубоко внизу, через вздувшуюся, мутную реку двигалось на шестах древнее судно, полное скота, телег и баб. По всей видимости, корабль достался мужикам от варягов и плавал скоро уже две тысячи лет, развозя жителей в разлив по деревенькам.

Буженинов глядел в окно на рюриковы корабли, на озеро, на грачиные гнезда, на табунки овец, на топкие черные дороги — и мир представлялся ему прекрасным.

Как человек с повышенной чувствительностью, он видел в окружающем лишь то, что страстно хотел увидеть. Это была почти галлюцинация наяву.

Нам здесь нет надобности подробно рассказывать о немощеных уличках, о гнилых заборах и воротах с лавочками для грызения подсолнухов, о заплатанных досками домишках, где на подоконниках цветут герани в знак того, что, «мол, как хотите, граждане, а насчет герани в конституции ничего прямо не сказано...»

Все знают, что такое уездный городок на берегу реки: базарная площадь, хлюпающая навозом, сенные весы, балаганы, вывеска кооператива над кирпичной лавкой; поп в глубоких калошах, пробирающийся, подобрав рясу, в проулок; милиционер, или, как выражаются на базаре сердитые бабы, «снегирь», стоит, поглядывает непонятно; старый сад бывшего предводителя дворянства,— теперь городской сад,— с гнездами на липах и тучей грачей, волнующих весенними криками некоторых девиц; ну, да еще пожарная каланча... И над тишиной, над этой бедностью — издалека долетающий свист поезда.

Идя пешком со станции, Василий Алексеевич на минуту — быть может, черт его знает, каким-то завитком— подумал: «Вот житье глухое!» — но продолжал быть все в том же восторженном настроении.

Деревянный домик матери, в четыре окна на улицу, врос за эти годы в землю, покривился, облупился. Но за пузырчатыми стеклами в горшочках стояли герань и кактусы. Василий Алексеевич отворил калитку. Дворик был чистенький. На солнцепеке лежали рябенькие куры, и глядел на солнце голенастый петух, видимо очень глупый. У сарайчика старая женщина в солдатской шинели вешала кухонные полотенца. Она молча поклонилась Буженинову. Он взбежал по изгнившим ступеням на крыльцо, в темные сени, пропахшие плесенью и капустой, открыл знакомую дверь,— рогожа на ней висела клочьями,— отворил ее и в освещенном пролете двери, ведущей из крошечной, с половичком, прихожей в низенькую столовую, где мещанским голосом щелкала ручная птица,— увидел Надю.

На ней была нагольная овчинная куртка, короткая юбка, белая косынка.

— Что вам нужно, гражданин? — спросила она, нахмуривая бровки.

Он назвал ее по имени,— от волнения ничего больше не проговорил. У нее задрожали выпущенные из-под косынки локончики. Брови разъехались. Всплеснув руками, она подошла к Буженинову, и сейчас же не то изумление, не то жалость скользнули по ее хорошенькому личику.

— Вася, неужели ты? — спросила она тихо.

Он поцеловал ее в холодноватую щеку. Прислонил к стене папки и ящик, размотал шарф, расстегнул крючки шинели,— пальцы его дрожали.

— А мама здорова?

— Мама сейчас спит.

— Ты собиралась куда-то уходить?

— На службу. Тебя чаем надо напоить. Я скажу Матрене.

Блеснув синими глазами, она убежала. Буженинов услышал ее голос на дворе, затем она прошла наискосок через улицу, выбирая, где ступить посуше, обернулась, морща нос от солнца, и юбка ее махнула за углом.

Василий Алексеевич перевел дух и сел у окна под клеткой, где шуршала семенем птица и снова, снова принималась от скуки нащелкивать все одну и ту же песенку про то, какая теперь Надя стала красивая, не подросток, а женщина, про то, какие у Нади тревожные глаза, кудрявые височки, как она махнула сейчас юбкой за углом. Птичий язык темен, всякий может толковать его по-своему. Буженинов глядел на пустырь, заборы, домишки, курил и вздыхал, как человек, осужденный на скверном полустанке ждать курьерского поезда... Он оглядывал комнату. Вот под этой висячей лампой он учился когда-то читать и писать. Вот пожелтевшая фотография: он — семи лет, Надя — девочка, и мать — в шляпке, с необыкновенно сердитым лицом. Вот, в шали и в тальме, сморщенная бабушка — та, что колола спички. От окна до облезлого комода, где Надины зеркальце, пудреница и баночка с кремом «метаморфоза»,— шагов пять. Смешно. А казалось — гораздо просторнее было дома. Под окном — бутылки, в которые стекает с подоконника вода по шерстяной

нитке. Да, механика устарелая. Много придется затратить сил, чтобы на этом убожестве вырос голубой город.

За стеной похрапывала мать. Затем вошла баба в шинели, поклонилась, сказала смирно: «С приездом, батюшка-красавец». Накрыла стол, внесла знакомый, помятый, но страшно бойкий самовар. Василий Алексеевич пил чай, курил папиросы. Весь этот мещанский мирок был окутан волшебной песенкой птицы. За облаками самоварного пара она пела Буженинову о несказанном будущем.

ПОДОШВЫ КАСАЮТСЯ ЗЕМЛИ

Василий Алексеевич был ужасно молод. Ну, что же: семнадцати лет влез в броневик, мчавшийся вниз по Тверской к площади Революции. Воевал три года. Потом — академия, чертежные столы, склеп на Донском кладбище, сны наяву о голубых городах. Житейского опыта не было ни на грош.

И вдруг фантастический бег времени остановился. Подошвы царапнули и стали на землю. Заскрипела калитка, заговорили будничные голоса, запахло навозцем. Столетняя лохматая ворона прилетела из неподвижного неба, села против окна на забор: «Карр, здрравствуйте, Василий Алексеевич, что думаете прредпрринять?»

Что же тут можно было предпринять? Вставать к одиннадцати часам, напиться чаю с топлеными сливками. Посидеть около глухой и слепой матери, которая все добивалась, не большевик ли он, Вася. Потом — погулять до обеда, посидеть над рекой. К пяти — вернуться, скрипнув калиткой... вытереть ноги о рогожку на крыльце... и у окна поджидать Надю, стараясь и виду не подать, что весь день он думал об этой радости: вот она прошла мимо окна, пошаркала ботиночками о рогожку, звонко крикнула: «Матрена, собирай обедать». Вошла с неизменной фразой: «Фу, как устала». Повесила на гвоздь в прихожей полушубочек, оправила платье, подставила прохладную щеку для поцелуя.

— Как ты себя чувствуешь? Лучше?

Матрена вносит чугун со щами. Надя говорит:

— Ты ешь, не стесняйся, тебе надо поправляться.

После обеда Надя исчезала либо к подруге, либо в кинематограф, приглашенная «так, одним, ты его не знаешь». Василий Алексеевич садился в сумерках на диван под заклеванные мухами фотографии и грыз ногти, другим чем-нибудь трудно было заняться: Надя очень экономила керосин и просила возможно дольше не зажигать лампы. Курить пришлось бросить по двум причинам: для здоровья (Надя в первый же день сказала, что табак вреден) и за полным отсутствием денег. Дом содержался на скудное Надино жалованье. Она говорила: «Просто в отчаяние можно прийти, если ты, Вася, не начнешь скоро зарабатывать, посылать нам с мамой». Василий Алексеевич никак не мог забыть у Нади гримаски удивления и разочарования при первой встрече.

«Вид у меня паршивый, конечно, больной, зубы не в порядке,— раздумывал он в сумерках,— но разве это именно важно?.. Приятнее, если бы этакий молодчина ввалился в крепких сапогах, веселый, полон карман червонцев... Не было бы сразу разочарования... Ах, глупости, мелочи... К маю отъемся, зубы вылечу — вот вам, Надежда Ивановна, и вид. Зато ваши молодчики из кинематографа городов строить не будут — лобики узки».

Василий Алексеевич несколько раз пытался заговорить с Надей о своих работах, о перестройке Москвы по новому плану, о величии задач, брошенных в человечество русской революцией. Не было сомнения — Надя поймет, оценит его, и весь житейский вздор, безденежье покажутся ничтожными.

Надя не уклонялась от разговоров, но едва он занесется — у нее личико сделается озабоченное: «Ах, прости, Вася, совсем забыла... скоро приду...» И — нет ее, убежала со двора. И Буженинов опять сидит в темноте, старается привести мысли в порядок.

Однажды выручил дождь — хлынул потоком. Надя поахала у окна, вздула лампу, села штопать чулки. Особенно хороши были у нее глаза: голубые, покойные, с

мягкими ресницами — темной каймой. Василий Алексеевич глядел в них, покуда не закружилась голова.

— Вот ты архитектор, Вася, скажи,— заговорила Надя, откусывая нитку на чулке, надетом на деревянную ложку,— неужели, правда, за границей в каждом доме ванна? Вчера в кинематографе видела — чудная фильма! Аста Нильсон каждый день берет ванну, моется. Правда ли это? Ведь соскучишься.— Она покачала головой, усмехнулась.— Со мной был один,— ты его не знаешь, бывший военнопленный,— так он рассказывал, будто в частных квартирах за границей все кровати под балдахинами. Вот выстрой такой дом в Москве. Прославишься. Хотя я что-то не верю. Я жизнь знаю по кинематографу. Конечно, артисты в кинематографе стараются показать себя в лучшем свете, а на самом деле все такие же, как у нас.

— Надя,— спросил Буженинов из темноты, с дивана,— скажи мне открыто,— это очень важно... понимаешь... ты любишь кого-нибудь?..

Надя подняла брови. Штопальная игла остановилась. Надя вздохнула, и снова потянулась нитка.

— Вот что я тебе скажу, Вася... Какое там — любовь. Прожить бы!.. Ох-хо-хо!.. Думаешь, выходят замуж оттого, что влюбились? Это только в кинематографе. Какая уж там любовь! Встретишь человека случайно, посмотришь: если чем-нибудь может улучшить твое положение — выбираешь его... Ко мне сватался один из Минска. Так мне захотелось в Минске побывать — все-таки столица. Там, говорят, магазины, трехэтажные дома на главной улице... Едва не согласилась. Ну, а выяснилось, что он просто проходимец, ни из какого не из Минска.

— Нет, Надя, нет, ты — комик, чудачка. Я тебя лучше знаю... Ты не можешь так говорить. У тебя это навеянное... Жизнь на самом деле прекрасна, увлекательна... Нужно строить, бороться, любить...

Буженинов проговорил до позднего часа, покуда хватило керосину в лампе. Надя слушала, откусывала нитки, опускала низко голову, улыбаясь. Прелесть молодой девушки, как весенний воздух, пьянила Василия Алексеевича. Заснул он, не раздеваясь, на диване, кам-

нем провалился в сладкую темноту. А наутро выглянул в окно: сидит ворона, нахохлилась; все тот же забор; серое небо; на дороге ржавое ведро валяется. Ничего не изменилось за эту ночь. И от вчерашних разговоров остались досада и недоумение.

БЫТ, НРАВЫ И ПРОЧЕЕ

Мелочи жизни, сами по себе не стоящие внимания, стали принимать болезненные размеры в сознании Василия Алексеевича. Вот почему мы предлагаем пробежать эти строки. Они уясняют многое.

В городе заинтересовались буженинихиным сыном. Пошли разные предположения. Конторщик Утевкин, говорят, даже побледнел, узнав о его приезде, и сказал более чем многозначительно:

— Ах, так... Ну, теперь мне многое понятно.

Когда сутулая фигура Василия Алексеевича появлялась в дневные часы на улице Карла Маркса, упиравшейся в торговую площадь, прохожие с ужасным любопытством оглядывали «академика». Даже милиционер благосклонно улыбался ему.

Однажды лавочник Пикус снял у дверей лавки защитного цвета картузик, попросил зайти и спросил контрреволюционным шепотом:

— Ну, скажите, что в Москве? Как нэп? Говорят — безнадежно? Ужасное время. Мы катимся в пропасть. Я дошел до такого нервного расстройства, что по ночам кричу благим матом. Ну, очень рад познакомиться. А Надежда Ивановна вас таки заждалась.

Пикус намекнул на то, о чем говорили по городу. В провинции не любят непонятного, причиняющего беспокойство фантазии. Действительно, за каким дьяволом было Буженинову тащиться в это захолустье? Ясное дело — приехал жениться. Но тут оказывались разные «ямки-канавки»: Буженинов разлетелся не на совсем свободное место,— так по крайней мере посмеивались.

В магазине у Пикуса с ним познакомился Сашок — румяный молодой человек в поддевке и плюшевом кар-

тузе, сын хлебного оптовика Жигалева. Стал расспрашивать о столице, о лекциях и кабаре, о женщинах с Кузнецкого и завел Василия Алексеевича в пивную «Ренессанс», во втором этаже, на площади.

Угощая папиросами, Сашок щурил смехом карие глаза,— плотный, смелый, со сросшимися бровями:

— Между прочим, Надежда Ивановна девушка что надо. Заносится только зря. В наше время чересчур о себе много думать не приходится. Так-то, Василий Алексеевич. Новый быт идет, как говорится. Конечно, с ее внешностью — в Москву, на сцену или машинисткой в крупный трест,— карьеру сделать можно. Но здесь...

Шевельнув бровями, Сашок бросил в рот моченую горошину, ухватил ее крепкими зубами, посмеялся.

— Да, здесь интересной девушке делать нечего — гроб... Самое благоприятное — выйдет замуж: у мужа червонцев восемь жалованья, у самой червонца три с половиной... Бесцветно... Или уж тогда, знаете, шла бы в комсомол. Что ж...

Сквозь густые ресницы он хитровато блеснул зрачками на Буженинова.

— ...Это я пойму. А то ни два ни полтора. Я вот в Англию собираюсь, между прочим, по папкиным делам. Предложил в виде шутки Надежде Ивановне попутчицей, вроде секретаря. Робеет: что скажут. Это у нас-то испугаться общественного мнения! Смехотища!

Василий Алексеевич дико глядел на собеседника: что такое он несет? За такие слова в сущности бить сейчас надо. Но Сашок, не задумываясь, перескочил на другую мысль, сыпал витиеватыми фразами:

— Одно скажу, как интеллигентному человеку: остерегайтесь Утевкина. Этот подлец на все способен. После того как Надежда Ивановна сделала ему поворот, он в экономотдел бегал, в ГПУ. Ну что ж, знаете, глупо. Не произвел полового впечатления, и он бежит на девушку с доносом. Хорошо, что там его послали к сучке. Знаете, что он про вас сказал, только что вы приехали? «Буженинова, говорит, к нам выслали в административном порядке, за некрасивые дела; но вопрос — долго ли он будет у нас на шее сидеть паразитом...»

Фельетон, а не человек, этот Утевкин... Кроме шуток, без политики,— долго думаете погостить?

— Не знаю. Должен лечиться. Нужен отдых.

— Венерическое заболевание какое-нибудь, конечно?

— Нервное переутомление,— сердито ответил Буженинов и застучал ногтями о жестяной подносик.

— Так вот оно что, хи-хи,— сказал Сашок и бойко пошел в уборную.

Буженинов хотел тоже уйти, но пиво отяжелило его, и он остался сидеть, угрюмо повесив голову. Дверь пивной поминутно теперь отворялась. День был базарный. Входили крестьяне, перекупщики, лавочники, мещане, заключавшие мелкую сделку. За столиками журчали деловые разговоры, негромкие и бедные, как это серенькое небо над площадью, над рогожными палатками, над выпряженными возами, над грачиными гнездами на липах. Дым крепкой махорки колебался слоями по длинному помещению «Ренессанса». На дощатый пол натащили сапогами навозу с площади. Василию Алексеевичу представилось, что сидит он на дне глубочайшего колодца, и только пестрые плакаты Добролета, Доброхима, красный силуэт рабочего между красных труб на штукатуренной стене над головами чаепийц и курителей махорки напоминают о далекой-далекой Москве, где гремит жизнь.

Вернулся Сашок из уборной и сказал, кивнув на стойку:

— Из-за этой вон дамочки тоже у нас ноги кое-кому перешибли, дел двадцать в народном суде из-за нее разбиралось. Знаменитость.

Действительно, за стойкой лениво стояла полногрудая «дамочка» в ситцевом полосатом платье, широколицая, напудренная, с маленьким носиком, с гребенками в туго завитых волосах.

С ней разговаривал, навалясь локтем на стойку, низкорослый человек в черных брюках и в штатском френче. Длинный нос его только что заехал в блюдо с жареной печенкой, нюхал из горшка с селедками.

— Пожалуй, съем,— сказал этот человек и поволоко поглядел на дамочку за стойкой.— Положите мне пече-

ночки и положите мне половину селедочки. Какую половину? А какую сами захотите — хоть с хвоста, хоть с головы.

Он сел за столик, положил ногу на ногу, закусил зубом папироску, прищурил глаз от дыма.

Дамочка небрежно поставила перед ним тарелки с печенкой и селедкой, отвернулась равнодушно. Но он пригласил:

— Садитесь, Раиса Павловна, за стол. Вы мне не помешаете, а даже наоборот.

Вместо ответа она выпятила нижнюю губу, стала поправлять гребенки.

— А я вчера в кинематографе три сеанса высидел на «Молчи, грусть, молчи»,— вы не изволили явиться; вопрос — почему?

Роковая дамочка дернула плечиком, ушла за стойку. Он оборотил к ней длинный свой волнистый нос и, вытаскивая из зубов селедочную косточку, сказал насмешливо:

— Ну-ка, сознайтесь, а ведь я вас вчера-таки смутил немножко.

— Чем это вы меня смутили? Оставьте ваши подходы.

— Своими песнями, гражданочка.— И, очень довольный, он изо всей силы принялся резать печенку.

Сашок сказал Буженинову:

— Это Утевкин. Ухажер, первый фокстротист. У него расчет, что вы сестре про его фигли-мигли расскажете. А Надежда Ивановна с этой Раисой лютейшие враги: одного летчика в прошлом году не поделили.

К Сашке подошли двое неизвестных в романовских полушубках, забрызганных дорожной грязью, и они втроем отсели за соседний столик, совещаясь по хлебному делу. Буженинов вышел из пивной.

Ветер на площади покачивал баранки и связки вяленой рыбы в рогожных палатках, задирал ухо собачонке, сидевшей на возу с сеном. Визжал поросенок, которого мужик тащил за ногу из мешка. Крепко пахло соленым салом, дегтем, навозом. На сухом тротуаре, около кучи банных веников сидела здоровенная баба в ватной юбке и, повернувшись к площади голой спиной, искала вшей

в рубашке. Седой человек в старом офицерском пальто с костяными пуговицами остановился, посмотрел бабе на спину и спросил уныло:

— Почем веники?

— Два миллиарда,— сердито ответила баба.

Вот старый еврей, тряся головой, молча тащил за шею гусенка из-под мышки у худого страшноглазого мужика. Гусенок был жалкий, со сломанным носом. Еврей скорбно осматривал лапки и крылья, дул ему в нос, давал цену. Мужик запрашивал:

— Это — гусь, его раскорми — кругом сало.

И тащил гусенка за шею к себе.

— Он и кушать не может, у него нос отломан. Зачем мне больной гусь? — говорил еврей и опять тащил гусенка.

— У тебя нос отломан! — кричал мужик нутряным голосом.— Ты гляди, как он жрет.— И он совал корку, и гусенок жадно давился хлебом.

У телеги с глиняными горшками закричали две бабы, поссорясь. Милиционер с каменным лицом шел к ним не спеша, и бабы замолчали, уставились на красноголового, как крысы.

— В чем дело, гражданки? Пожалуйте в отделение.

Вот почтенный старичок в очках, продавец львов из бумажного теста с зелеными рылами и расписных свистулек, не обращая внимания на суету и шум, читал книжицу. Перед его лотком стоял пьяный человек, перекинувший через плечо грязные валенки, видимо принесенные на продажу, и повторял зловеще:

— Предметы роскоши — не дозволяется. Это мы сообщим кому следует.

Василий Алексеевич обогнул по тротуару базарную площадь, миновал сад, где от рассвета до ночи неугомонно кричали грачи над гнездами да на зазеленевшем лугу играла в мяч стайка мальчиков, и вышел на обрыв к реке.

Здесь он сел на скамейку и глядел на разлив, на полоски лесов вдали. Оттуда в вечереющем небе летели птицы. Мгла поднималась на широкой равнине над озерами, над полузатопленными деревнями.

Засунув руки между колен, сжав рот, Василий Алексеевич думал:

«Вековая тоска, бедность, житье-бытье... Пивная с дамочкой, Утевкин, Сашка... Дрянные разговоры... Пристроились, приспособились... Утевкин фокстрот пляшет... Живут, живут... Зачем?.. Здесь, что ли, вырастет великое, прекрасное, новое племя...»

В это время какой-то человек сел рядом с Василием Алексеевичем. Снял очки, протер их, высморкался.

— А мы с вами были знакомы, товарищ Буженинов,— сказал он дружески.

ПОКАЗАНИЯ ТОВ. ХОТЯИНЦЕВА

Во время производства следствия товарищ Хотяинцев рассказал о своей встрече с Бужениновым в сумерках на обрыве. (Хотяинцев находился в городе проездом по служебному делу.)

Показания его были таковы:

Следователь. Когда вы знали Буженинова?

Хотяинцев. В двадцать первом году. Я был политруком в дивизии.

Следователь. Вы замечали за ним какие-нибудь странности, вспышки гнева — словом, что-либо выходящее из нормы?

Хотяинцев. Нет. Он был на хорошем счету. Одно время работал в клубе в полку. О нем тепло отзывались товарищи.

Следователь. Тогда, при встрече на обрыве, вы также не заметили ничего особенного?

Хотяинцев. Мне показалось, что он был мрачен и возбужден. Мы поспорили.

Следователь. Его настроение носило личный характер или причина его возбуждения была более общая — например, социальная неудовлетворенность?

Хотяинцев. Я думаю — и то и другое. Он был удручен своим нездоровьем, невозможностью в ближайшее время продолжать ученье, работу. Кроме того, причины общего характера. Я был изумлен, когда услы-

шал от него резкое и непримиримое отношение к той обстановке, куда он попал. Он начал разговор так приблизительно:

«Помните, товарищ Хотяинцев, работу в клубе, доклады, спектакли, концерты? Какие были ребята! Как все горели! Незабываемое, счастливое время».

Мы стали вспоминать товарищей, походную жизнь. Горячо вспоминали. Он отвернулся и, как мне показалось, вытер глаза рукавом. «Упал я с коня в грязь, в колею, полк ушел, а я сижу в грязище — вот мне так представляется,— сказал он с большой горечью.— За один день сегодня такой гадости нахлебался — жить неохота. Мещанство. Житьишко. Семечки грызут за воротами. Да, да, товарищ Хотяинцев, отстучали копыта наших коней. Улетели великие годы. Счастливы те, кто в земле догнивает...»

Я, помню, посмеялся тогда над ним. «Вы, говорю, товарищ Буженинов, стихи, что ли, пишете? Уж очень у вас жалобно выходит». Он мне тогда с еще бо́льшим напором: «Взрыв нужен сокрушающий... Огненной метлой весь мусор вымести. Тогда было против капиталистов да помещиков, а теперь против Утевкина... Я, говорит, вам расскажу, как Утевкин сегодня печенку ел». И стал в лицах представлять какого-то своего знакомого.

Я вижу — действительно у него пошло на серьез. «Ваши, говорю ему, настроения, товарищ Буженинов, у нас под категорию подведены, это не ново, так рассуждать не годится. Пока вы в седле, в руках винтовка, за холмом зарево пылает,— этот час революции весь на нервах, на эмоциях, на восторге. Скачи, руби, кричи, во весь голос — романтика! Взвился рыжий конь и понес. А вот впряги коня, скакуна, в плуг — трудно: полета нет — будни, труд, пот. А между тем это и есть плоть революции, ее тело. А взрыв — только голова. Революция — это целое бытие. От взятия Зимнего дворца до тридцати двух копеечек за аршин ситца. Вы представляете, какой это чудовищный размах, какой пафос должен быть, чтобы заставить боевого товарища с четырьмя орденами Красного Знамени торговать баранками

на базаре, где ваш Утевкин печенку ел? Больше мужества нужно в конце концов эти баранки продавать, чем с клинком наголо пролететь в атаку. Мещанство метлой не выметешь — ни железной, ни огненной. Оно въедчиво. Его ситцем, и книгой, и клубом, и театром, и трактором нужно обрабатывать. Перевоспитать поколения. И пройдут мучительные года, покуда у вашего Утевкина в голове не просветлеет. Для вас, поэтов,— если хотите, соглашусь,— наше время трагическое...»

Я старался говорить с ним на его же языке. Он молчал, вздыхал, и мне показалось, что я убедил его. Во всяком случае, прощаясь, он сказал: «Спасибо. Если у меня хватит здоровья, мужества, силы — постараюсь повоевать на мирном фронте. Вы правы, это — трагедия: войти в будни, раствориться в них не могу, и быть личностью, торчать одиноко тоже не могу».

ЗА РЕКОЙ

Слякоть кончилась. Настали майские лучезарные дни; по влажно-синему небу поплыли снежные горы с синеватыми днищами. В городе уже пылило из переулков, от заборов螺 пованивало. Зато за рекой стало очень хорошо — зелено.

Василий Алексеевич за эти недели отъелся, окреп, не сутулился больше. Чувствовал себя много спокойнее, не то что раньше, когда кончики нервов раскалялись и трепетали при малейшем пустяке. Казалось, еще немного — и прежнее здоровье вернется.

Тяжело было только безденежье. Хотя Надя и не намекала даже, но чувствовалось, что в доме сидит дармоед. Подавай ему и щи каждый день, и хлеб, и молоко, и сахар. Про дармоеда кричала однажды Матрена соседской стряпухе через забор.

Надя могла бы купить себе ситчику к весне на кофточку, а вот — не купила. Кофту съел Василий Алексеевич. Работы в городе достать было нельзя — все учреждения набиты, все говорили о сокращениях. Единственное разумное оказывалось не терять времени и гото-

вить к осени зачеты. Василий Алексеевич с некоторым страхом начал работать. Надя похвалила:

— Я уже сказала на службе, что ты начал чертить, а то все смеются.

Поднимался Василий Алексеевич теперь на заре. Матрена во дворе давала ему умыться из ковшика: «Ты уж молочка-то выпей парного, я не скажу». Он садился за стол — за чертежи, почесывая босой ногой ногу, которую щекотали мухи. Он весь вдруг настораживался, когда за стеной просыпалась Надя. Обернув голову, раскрыв рот, стиснув карандаш, глядел на стену. И ловил себя на этом: «Фу, как глупо, неуместно». Когда в столовую входила Надя, умытая, свежая, с локончиками,— кровь у него начинала биться и прыгать, как розовая жидкость в стеклянной трубочке с шариком, что продают на вербах.

Он показывал ей проект вокзала, Надя кивала головой:

— Хорошо, мне нравится, Вася. Но уж очень как-то малопрактично. Я люблю маленькие домики, с палисадником. Качели, на лужке — шар. Резеда, душистый горошек... Вот моя мечта...

Василий Алексеевич не спорил,— улыбался. Он решил «открыть, наконец, ей глаза». Она должна увидеть голубой город. Глупо было о нем рассказывать. Нужно показать. Она поймет. Дармоеда не зря кормили четыре недели.

Василий Алексеевич достал у матери из сундука холст, загрунтовал его и осторожно, не спеша, начал работать в часы, когда Надя на службе. Он закрывал глаза, и в воображении развертывалась перспектива уступчатых домов, цветочные ковры улиц, стеклянные купола, мосты — точно радуги над городом счастливого человечества.

Когда слишком уж горела голова от работы и дрожали руки, он прятал холст под диван, брал картуз и шел за реку, не замечая ни пыли, ни гнилых заборов, ни приветливо кланяющегося Пикуса в дверях лавки. На той стороне реки шагал некоторое время по низине в мокрой траве и ложился на зеленый пригорок — на спину, скрещенные руки под голову.

Голубой свет неба лился в глаза, солнцем припекало щеку, на медовой метелке возилась пчела. Налетал ветер, шумя осинами, собирая с земли островатый запах трав, меда, влаги. Все это было очень хорошо. Глаза слипались, мягкий толчок блаженно потрясал тело — и вот он спал...

. . . .

...Сверху вниз, как ночная птица, скользнул аэроплан, и женский голос оттуда крикнул: «Жду, приходи...» Прозвенел: «Жду!..» Наконец-то... И он идет по широким блестящим лестницам уступчатого дома — вверх, вниз, мимо зеркальных окон. За ними — ночь, прорезанная синеватыми мечами прожекторов. Мерцают светом изнутри круглые крыши.... Огни, огни... Снова — лестница вниз. Он бежит— захватывает дыхание. И вот необъятная зала, посреди — бассейн. Тысячи юношей и девушек плавают, ныряют... Сверкают зубы, глаза, розовые плечи... Он скользит по мраморному краю, ищет, всматривается: где она, та, кто позвала?.. Милое, милое лицо... И он чувствует — синие глаза вот, где-то сзади, где-то сбоку...

Василий Алексеевич приподнимался, садился на пригорке, дико оглядывая луга, разлив, осины, играющие с ветром, серенький городок за рекой. И лицо его, должно быть, в эти минуты пробуждения овеяно было светом фантастических огней.

МЕЛКИЕ СОБЫТИЯ

В сумерки Василий Алексеевич проходил по переулку имени Марата. Через забор в щель кто-то крикнул ему страшным голосом:

— Мы тебя разнавозим!

И затопали ноги, убегая по пустырю.

Когда он пришел домой, Надя сидела у стола и сморкалась в свернутый шариком платочек, вытирала глаза. Она сердито отвернулась от Василия Алексеевича. Он пришипился на диване. Она заговорила:

— Как не понять, что ты меня компрометируешь...

Бог знает что говорят по городу. Сегодня утром эта дрянь Раиса заявляет,— нагло глядит на меня: «Вы, душечка, пополнели». Утевкин — тот просто хамски стал держаться, едва здоровается. Хоть не живи... Очень тебе благодарна...

У нее припухли губы, висели волосы перед глазами. Василий Алексеевич, потрясенный, сказал тихо:

— Надя, я не понимаю.

Она обернулась и так поглядела покрасневшими глазами, что он сейчас же опустил голову.

— Я заранее знала, что ты так ответишь: «Не понимаю...» А чего ты понимаешь?.. Ходишь по городу, как лунатик... На базаре уж все знают: «Вон жених пошел...» Со смеху прямо катаются... Жених!

— Надя, мне казалось, что это само собой должно выйти...

— Что?.. Замуж, за тебя?.. В самом деле не мешало бы тебе серьезно полечиться...

Надя оттолкнула тарелку с недоеденным, ушла к себе, легла. У Василия Алексеевича в голове началась такая толкучка, что пришлось посидеть на крыльце. Голову стискивало свинцовым обручем, он прирастал к ступенькам, не решаясь кинуться к Наде, разбудить и сонной сказать: «Надя, люблю, Надя, страдаю, Надя, сжалься, хочу тебя... Гибну...» В темноте подходила собака Шарик, нюхала Василию Алексеевичу коленку и вдруг, царапая по земле лапами, завивалась и щелкала старыми зубами блох в задней ляжке. За низенькими крышами, за скворечнями разливался еще мертвенный оранжевый свет зари. Небо было непроглядное. В холодке за плетнем у соседа шелестели листья. Разумеется, Василий Алексеевич ничего не решил и не понял в эту ночь.

Назавтра он ждал продолжения разговоров. Но день прошел обычно — жаркий, с мухами. Ветер гнал пыль по переулку. Надя появилась к обеду мимолетом; что-то укусила, в глаза не взглянула ни разу, убежала.

Томиться, ждать ее было невыносимо. И в первый раз Василия Алексеевича укололо сомнение — здорово, как иголкой, запустило под мозговые извилины: а куда, собственно говоря, Надя уходит каждый вечер?

Он выскочил на двор, нагнув лоб, пошел на Матрену; она колола лучинки.

— Куда Надя ушла?

— Милый, не знаю. Чай, к Масловым, все к ним.

— Кто такие?

— Масловы-то? Лавошники. Раньше богатеи были и теперь, слава богу, с достатком. Слетай, они недалеко.

Прежние сады Масловых тянулись версты на три вдоль реки. Теперь остался трудовой участок, огороженный новым забором, а где — колючей проволокой, запутанной по зарослям акации. Около этих акаций Василий Алексеевич и остановился. Взялся руками за пояс, глядел в пыль.

...Он очутился здесь, как во сне: после слов Матрены уже стоял около этих акаций. Промежуточного ничего не было. «Войду и, если она там, скажу, что...» В это время за акациями засмеялись. Он нагнулся и между стволами увидел Надю и какую-то полную краснощекую девушку. Они лежали на лужку, на одеяле, на ситцевых подушках. Перед ними стояла пожилая, на низком ходу женщина, на руке держала платье,— видимо, портниха. Большие губы ее вытянулись, улыбались добродушно, глуповато. Краснощекая девушка проговорила, мотаясь по подушке:

— Ох, умереть! Так отчего же вы, Евдокия Ивановна, замуж не вышли?

— Порфирий Семеныч ужасно сколько раз умолял, плакался: «Евдокия Ивановна, измените ваше решение». Но я: «Порфирий Семеныч, как я пойду замуж, когда я щекотки боюсь, не переношу».

— Ох, не могу... Ну, а он что же?

— Да что ж тут поделаешь, я — непреклонно. Ну, он с горя и присватался к Чуркиной, Настасье. Настасья — рада-радешенька,— приданое справила, подвенечное платье сшила. Вот — свадьба, а вечером Порфирий Семеныч является к невесте пьяный, конечно, и все платье ей облювал подвенечное. «Я, говорит, первую любовь не могу забыть...»

Портниха насмешила и ушла. Девушки кисли от смеха и жары на подушках. Порыв предвечернего горячего ветра пронес над садом облако пыли. Краснощe-

кая Зоя Маслова приподнялась и, оправляя голыми до плеч руками рассыпавшиеся волосы, сказала:

— Что же он не идет в самом деле, дурак несчастный.— И опять легла, обняла Надю за талию.— Цыпочка моя, котинька, не обращай внимания, наплюй — пусть языки чешут, кому не лень. Живи, заинька, как тебе подсказывает молодое сердце. Валяй вовсю, покуда валяется.— Она засмеялась и куснула Надю за шею.— Старая будешь — так не заваляется, кукушечка.

Помолчав, повертев травинку, Надя ответила:

— Тебе хорошо, с деньгами. А мне своим горбом старуху корми да этого блаженного. Надеялась, выписала — поможет, облегчит... Ужасное разочарование, Зоечка. И при этом влюбился в меня, можешь себе представить.

Зоя всплеснула руками. Надя продолжала сдержанно:

— Я решила: если отдамся человеку, то по законному браку, пусть обеспечит мне материальное существование. Тогда, может быть, в Москву поеду, в театральную школу.

— Вот и верно говорят,— с горячностью крикнула Зоя,— у тебя в голове зонтиком помешали. Найди сейчас богатого дурака — законным браком... Сто раз тебе повторяла: Санька не может жениться, ему отец не велит, нельзя. Так ты весь век и просидишь вороной в переулке...

Зоя вдруг обернулась и толкнула Надю. К ним подходил Сашок в палевой вышитой рубашке, в полосатых брюках, в желтых полуботинках. Под мышкой он держал гитару. Снял клетчатую кепку — московской моды «комсомолка»,— опустился перед девушками и поздоровался за руку:

— Томитесь, гражданочки?

— Во всяком случае, по вас меньше всего томимся,— бойко ответила Зоя, смехом прищурила глаза.

Надя оправила юбку на ногах, слегка выпятила нижние зубки. Сашок поглядел на небо, где снова пронеслось пыльное горячее облако.

— Жарковато, гражданочки. И до чего эта температура может довести молодого мальчишку — с ума сойти...

— А до чего довести, примерно? — спросила Зоя.

Сашок кивнул на Надю, мигнул, тронул струны гитары и запел вполголоса, хриповато:

Люблю измятого батиста
С ума сводящий аромат...

Между куплетами на мотив «Алла верды» Сашок острил, говорил приговорочки, остро поглядывал на Надю. Когда музыка прискучила, все трое захватили одеяло и подушки и пошли пить чай.

Василий Алексеевич как присел тогда у акации, так одним глотком и проглотил эти ядовитые разговоры. Внутри у него все дрожало; он побрел к реке и там сел на глинистом обрыве.

Что случилось? Ничего не случилось. Как и в первые дни приезда, с ужасной остротой увидел, услышал мелочи жизни. Сегодня — ничего нового. Хотя нет: эти выпяченные зубки, головка набок, голое плечико, будто нечаянно вылезающее из ситчика... Это — новое... И про «блаженного» — новое... Хотяинцев говорил: «Больше мужества баранки продавать, чем с клинком наголо пролететь в атаку...» Мужество нужно, спокойствие, воля. А впечатлительным — смерть. Вздор, две девчонки и балбес с гитарой наплели вздору с три короба, так уж и мрак опустился на душу и свинцовый обруч на голове... Хорош строитель. Вздор, вздор! С завтрашнего дня по двадцати часов работать, через две недели — в Москву...

Все же, если бы случайный прохожий со стороны посмотрел на Василия Алексеевича, ему бы представился сутулый, в выцветшей рубашке, с нечесаными отросшими волосами несчастный человек... Впавшие щеки, заострившийся длинный нос, лицо такое отчаянное, что вот еще одно какое-то умозаключение сделает этот молодой человек — и, полон противоречий, махнет с обрыва в речку...

Но этого не случилось. Когда за потускневшими лугами погасла заря и зажглись кое-где костры на покосе,

Василий Алексеевич пошел домой. В переулке имени Марата со свистом мимо его носа пролетел камень, и опять чьи-то шаги, убегая, воровски затопали по пустырю.

ЖАРКИЕ ДНИ

«Всего хотеть — хотелок не хватит»,— говорила Надя. Она была очень благоразумна. Но дни становились все жарче, по ночам жгла даже простыня. И поневоле каждый день Надя попадала в сад к Масловым, на подушки под яблоню. Благоразумие было само по себе, а жаркий вечер, сухие пилочки кузнечиков в скошенной траве, зацветшие липы да пчелы, истома под батистовым капотом (подарок Зои) и нахальный Сашка — все это было само по себе.

Лукаво шептала Зоя про свою «даже неестественно страстную любовь с молодым женатым доктором». Надя крепилась, хотя подумает: «А ведь засасывают меня в омут июньские дни»,— и отчего-то — не страшно.

Давно не помнили горожане такого пекла в конце июня. Деревья начали вянуть. На лугах за рекой стояла мгла. Говорят — горел хлеб. От сухости по ночам трещали стены. В учреждениях служащие пили воду, вялые, как вываренное мясо.

Буженинов заканчивал зачетные работы. От зари до сумерек в раскаленной комнате под жужжание мух он мерил, чертил, рисовал, красил. Поддерживало его неимоверное напряжение. Полотно с планом голубого города он приколотил на стену и работал над ним в минуты отдыха. С каждым днем город казался ему совершеннее и прекраснее.

На будущей неделе он решил ехать в Москву. У матери оказались припрятанными три золотых десятирублевика ему на дорогу. («Возьми, Вася; берегла себе на похороны, да уж люди как-нибудь похоронят... Не говори Надьке-то».) И он действительно уехал бы, исхудавший, восторженный, в лихорадке фантазии и работы, если бы не толчок со стороны. Напряжение неожиданно вырвалось по другому направлению.

Жизнь, по всей вероятности, не прощает уходящих от нее фантастов, мечтателей, восторженных. И цепляется за них и грубо толкает под бока: «Будя дремать, продери глаза, высоко занесся...»

Назвать это мудростью жизни — страшно. Законом — скорее. Физиологией. Жизнь, как злая, сырая баба, не любит верхоглядства. Мудрость в том, чтобы овладеть ею, посадить бабу в красный угол в порядке, в законе,— так по крайней мере объяснял в сумерки на обрыве товарищ Хотяинцев.

Случилось вот что. Надя, как всегда, в половине девятого, с портфелем, в белом платочке, заглянула перед службой в столовую, где лежал животом на столе Буженинов, равнодушно скользнула глазами по голубому городу, занимавшему половину стены, и молча вышла. Скрипнула калитка, и сейчас же послышался болезненный негромкий крик Нади. Она побежала по сеням, рванула дверь и упала среди книг на диванчик, схватившись за голову.

— Негодяй, негодяй! — закричала она, топая ногами, и заплакала на голос.

На дворе шумела Матрена, ругалась:

— Ах, паршивцы, ах, разбойники!

— Уезжай, слышишь — уезжай сию минуту от нас! — повторяла Надя сквозь брызгающие слезы.

Оказалось, ворота в трех местах были измазаны дегтем, и написано дегтем же, аршинными буквами, матерное слово. Матрена уже отвела во двор обе половинки ворот и смывала деготь щелоком. Надя на службу не пошла, заперлась у себя. У Василия Алексеевича так тряслись руки, что он швырнул карандаш и попытался постучаться к Наде.

— Убирайся, ты один виноват в моем позоре! — еще злее крикнула Надя.— Уезжай в Москву, дармоед блаженный!..

Руки дрожали все сильнее. Дрожало, било тревожным пульсом в середине груди. Василий Алексеевич некоторое время стоял в комнате, мухи ползали по его лицу. Затем — как-то так вышло — он очутился на площади. (Опять из сознания выпал кусок.) Над ним в горячей мгле жгло белое солнце. На площади завился

пыльный столб и шел кругом по сухому навозу. Василий Алексеевич глядел на окна «Ренессанса». Кое-какие посетители уже пили пиво. И вот в окне из-за стены выдвинулся длинный волнистый нос. За Бужениновым наблюдали.

Он стиснул зубы и взбежал по лестнице в трактир. Но волнистый нос исчез. Из-за стойки с ужасным любопытством глядела пышная, напудренная Раиса, и ротик ее, как ниточка, усмехался многозначительно. Буженинов схватился за стойку и спросил (на следствии Раиса показывала: «Заревел на меня, вращая глазами»):

— Был здесь Утевкин?

Раиса ответила, что «почем она знает, посетителей много».

— Врете! Это он, я знаю...

— Вы, гражданин, полегче кричите.

Но Буженинов уже опять стоял на площади под мглистым раскаленным солнцем. Оглядывался. По горячей пыли бродили только сонные куры. Раиса видела, как он поднял кулаки к вискам и так, сжимая голову, зашагал к речке.

К вечеру его видели в лугах, сидящим на кургане. Там он и остался на ночь.

ИЗ ОПРОСА НАДЕЖДЫ ИВАНОВНЫ

Следователь. Почему Буженинов был убежден, что ворота вымазал Утевкин и что им же брошен камень в переулке Марата?

Надя. Не знаю.

Следователь. А вы уверены, что это сделал Утевкин?

Надя. Кому же еще? Конечно он.

Следователь. Какая была цель? Утевкин ревновал вас, что ли?

Надя. И это отчасти. Да, ревновал.

Следователь. Какие же у него были основания ревновать вас к Буженинову?

Надя. Над ним шутили... Александр Иванович (Жигалев) говорил мне как-то, что встретил Утевкина и смеялся над ним, будто Утевкин остался с носом... Я тогда рассердилась, но Жигалев успокоил, что все это только шутки...

Следователь. Жигалев, говоря Утевкину «с носом», имел в виду Буженинова, не себя, конечно?

Надя. Да.

Следователь. Стало быть, Утевкин был убежден, что вы живете с Бужениновым?

Надя. Я ни с кем не жила.

. . . .

Следователь. Прошлое ваше показание было несколько иное.

Надя. Я ничего не знаю... Не помню... У меня все смешалось...

Следователь. Буженинов имел обыкновение носить при себе спички?

Надя. Нет, он не курил.

Следователь. Вы не можете указать, каким образом у Буженинова третьего июля оказались спички?

Надя. Когда он побежал — он схватил их с буфета.

Следователь. Вы это видели и помните, как он схватил спички? Это очень важный пункт в показаниях.

Надя. Да, да, вспоминаю... Дело в том, что, когда у нас испачкали ворота, на другой день,— мне было очень тяжело,— я пошла к Масловым. По дороге встречаю его... Глаза белые, ну весь — ужасный. Подошел ко мне: «Ты куда?» — «Тебе какое дело, иду к подруге». Он: «Я им отомщу, я этот городишко сожгу...» И кулаком погрозил. Так что, когда он схватил спички, я вспомнила угрозу...

Следователь. Куда он пошел после этого?

Надя. Домой, Матрена подала ему щей. Рассказывала: он съел две ложки и не то задумался, не то заснул у стола. Потом пошел ко мне в комнату и рассматривал мою фотографию, лег даже на постель, но сейчас же вскочил и ушел.

С л е д о в а т е л ь. Это было в вечер убийства?

Н а д я. Да.

С л е д о в а т е л ь. Затем вы его видели, когда он вбежал, показывая окровавленные руки, и тогда же схватил спички?

Н а д я. Нет, не сейчас же... Я забыла...

УБИЙСТВО УТЕВКИНА

Повышенное настроение, напряженная работа, сборы в Москву — оказались чистым обманом.

Все его тощее тело, все помыслы жаждали Надю. Буженинов просыпался на заре с оглушающей затаенной радостью. Весь день за работой радость пенилась в нем и была так велика, так опьяняюща, что даже разговор, подслушанный в саду у Масловых, утонул в ней пылинкой. Какие мелочи! Ну не любит — полюбит... Надя — еще не жившая, не раскрытая, ей еще не время.

По всей этой фантастике мазнули дегтем матерное слово. Он не сразу понял весь чудовищный смысл дегтя на воротах. Ночью в лугах, на скошенном кургане, охватив голову, опущенную в колени, он глядел закрытыми глазами на вереницы дней своей жизни. В нем поднималась обида, злая горечь, мщение.

Утром, возвращаясь из лугов, он увидел Надю у сада Масловых. Она показалась ему маленькой, пронзительно жалкой,— припухшие синие глазки! Он сильно взял ее за руку и зарычал, что отомстит. Она не поняла, испугалась.

Дома, перед тарелкой со щами, он думал о мщении. Мысли обрывались — было слишком много передумано за ночь. Он пошел к матери, но она скучно похрапывала в духоте с завешенным окошком. Тогда, как вор, он прокрался в Надину комнату, схватил ее фотографию с комода, и в нем все сотряслось. Он даже прилег на минуту, но сейчас же вскочил и вышел из дома. Военным движением подтянул пояс. Теперь он был спокоен. Оперативное задание дано, мысли работали по рельсам: точно, ясно.

В переулке Марата он перелез через забор и пошел по пустырю, заросшему между ямами и кучами щебня высокой лебедой. Он пересек едва заметную в бурьяне тропинку, сказал: «Ага»,— и свернул по ней к развалинам кирпичного сарая.

Было уже темно. Лунная ночь еще не начиналась. Буженинов обогнул развалины и шагах в пятидесяти увидел два освещенных окошка деревянного домика, выходившего задом на пустырь. Свет падал на кучу щебня, ржавого мусора, битой посуды. Буженинов обогнул ее и в окне увидел Утевкина, набивавшего папиросы,— видимо, он куда-то спешил. Он был в фуражке с чиновничьим околышем, без кокарды и с парусиновым верхом. Губы его, помогавшие набиванию папирос, улыбались под волнистым большим носом, с угла на угол ходила самодовольная усмешка.

Утевкин ловко заворачивал кончики набитых папирос, укладывая их в портсигар, последнюю закурил от лампы, поправил фуражку, взял тросточку со стола, взмахнул ею и дунул в пузырь лампы.

Буженинов отскочил от погасших окон, кинулся за угол дома — забор был выше роста... Кинулся направо — забор... За ним бойко простучали шаги Утевкина.

Впоследствии, на допросе, Буженинов с чрезвычайным старанием припоминал все подробности этой ночи. Он оборвал показания, изумился, пришел в крайнее волнение от простого вопроса следователя: какие реальные данные были у него, Буженинова, чтобы предполагать, что именно Утевкин вымазал ворота? Уверенность — только.

— Если бы вы сами видели, как он набивал папиросы, усмехался... Ну конечно он... Нет, вы меня не собьете, товарищ следователь... Три года воевать, чтобы увидеть, как Утевкин в фуражечке стоит... Нет, нет... Какие там реальные данные... Он во все время гражданской войны у себя на пустыре отсиживался и теперь мажет ворота, папиросы набивает... Не только я уверился, что это он, но просто увидел, как он тогда подхихикивал, когда мазал... Я побежал вдоль забора, перелез на ту сторону улицы. Утевкина не видно. Я был в «Ре-

нессансе», на бульваре, в городском саду — нигде его нет... Товарищ следователь, преступление мое заранее обдумано... Там, где начали мостить площадь, я выбрал из кучи булыжник и с этим оружием искал Утевкина...

. . . .

Буженинов появлялся в разных частях города. К некоторым обывателям, носившим белые фуражки, он подходил с таким странным видом, что они в ужасе отшатывались и долго ворчали, глядя на сутулую, с прилипавшей рубашкой спину убегавшего «академика».

Ночь посветлела: за лугами из июльской мглы взошла половинка луны, в городе легли невеселые тени от крыш. Наконец Буженинов нашел Утевкина. Тот стоял у сада Масловых — фуражка на затылке, задом упирался на трость... Рот у него был раскрыт, будто он подавился...

— Ну и чепуха,— в величайшем удивлении проговорил Утевкин не то самому себе, не то Буженинову, подходившему (в лунной тени от акации) со стиснутыми зубами, с отведенной за спину рукой,— ну и стерва эта Надька... А я-то дурак, ах, трах-тарарах... А с ней Сашка, оказывается, очень просто голяшки заворачивает...

Буженинов резко кинулся вперед и со всей силой ударил Утевкина камнем в висок...

КОРОБКА СПИЧЕК

В этот день Сашок ездил по отцовским делам в уезд и появился в саду у Масловых поздно. Весь он был еще горячий от полевого солнца, обгоревший и веселый. Карманы у него были набиты стручками, горохом, уворованным по дороге.

В саду под яблоней на подушках лежала одна Надя. От огорчений этого дня, истомленная духотой, вся влажная, растревоженная, она заснула, подсунув ладонь под щеку. Такою ее нашел Сашок,— очень мила, конфеточка... Он подкрался, отвел у Нади локон от лица и поцеловал ее в губы.

Надя ничего сначала не разобрала, раскрыла глаза и ахнула. Но куда уж там благоразумие. Руки не согнуть — такая истома. От Сашки пахло дорожной полынью, колосьями, свежим горохом. Он прилег рядом и зашептал в ухо про сладкие вещи.

Надя покачивала головой — только и было ее сопротивления. Да и к чему — все равно уж опозорена на весь город... А Сашка шептал что-то насчет Гамбурга, модных платьев... Про шелковые чулки бормотал в ухо, проклятый. Он уж и руку положил Наде на бочок.

В это как раз время голос Утевкина из-под акаций проговорил:

— Ах, трах-тарарах!

Надя взвизгнула, побежала. Сашок догнал ее, стал божиться, что женится. Она дрожала как мышь. И они не слышали ни короткого разговора Утевкина с Бужениновым, ни удара, ни вскрика, ни возни.

Надя повторяла:

— Пустите, да пустите же, мне нужно домой.

Сашок сказал многозначительно:

— Домой? Ну хорошо,— и отпустил ее вспотевшие руки. Надя ушла, но не переулками, как обычно, а обходом через выгон, где под луной чернели тени холмиков давно заброшенного кладбища. Сашок следовал за ней издали.

Дома Василия Алексеевича не было. Матрена спала на погребице. Надя заперлась у себя на крючок, разделась и сидела на кровати, кулачками подперев подбородок. Странный свет от половинки луны падал через окно. Надя смотрела на крючок, и легкая дрожь не переставая пробегала по спине. Не напрасно смеялись по городу, что у нее «в голове помешали зонтиком».

Через небольшое время скрипнула калитка. Потрогали дверь в сенях, вошли. Надя проворчала:

— Не пущу.

В ее дверь поскребли ногтем.

— Нельзя же,— прошептала Надя.

Сашкин палец просунулся в щель, нащупал крючок и поднял его. Надя только пошевелила губами. Вошел

Сашок; лунный свет упал ему на белые большие зубы. Он молча живо присел рядом на кровать, и Надя ртом почувствовала костяной холодок этих зубов.

Сашок был ловок обращаться с девушками. Вдруг руки его быстро разжались, он откачнулся в сторону; Надя раскрыла глаза и задохнулась от испуга: в дверях стоял Буженинов... глаза без зрачков, руками схватился за косяки, руки — в темных пятнах, в пятнах рубаха. Сашок, головой вперед, молча кинулся на Буженинова, сбил его с ног и выскочил на двор — бухнул калиткой. Все это в несколько секунд. Надя нырнула под одеяло, сжалась в комочек. Что-то кричали, топали,— она под одеялом, под подушкой зажмурилась, заткнула уши.

. . . .

Вопрос, которому следователь придавал важное значение: когда и при каких обстоятельствах у некурившего Буженинова появилась в кармане коробка спичек,— оставался темным. Сам Буженинов отвечал и так и этак,— из памяти выпала мелочь. Хотя он хорошо помнил половинку луны — низко в окошке — в Надиной комнате, Надю и Жигалева в густой тени на постели. (Он даже не сразу и сообразил, кто на постели.) Помнил, как крикнул: «Я убил Утевкина». (Ни Надя, ни Сашок этого не слыхали.) Он не мог оторвать рук от косяков двери и затем опрокинулся навзничь, сбитый Сашкиной головой в живот. Он помнил даже, как пронеслось в мозгу слово «осквернитель», и оно-то и кинуло его к дальнейшим неистовствам.

Видимо, он не сразу выбрался из темного, заставленного скарбом коридорчика. Он что-то ломал и швырял, покуда не выскочил в кухню. В темноте зажужжали разбуженные мухи. Он ударился коленом об угол плиты и ощупью схватил небольшой утюжок. Когда почувствовал в руке тяжесть — выругался матерно и выбежал на улицу. Когда бежал,— помнит отчетливо,— в кармане были спички: постукивали в коробке.

. . . .

Следователь. Вы утверждаете, что до того момента, когда вы с утюгом преследовали Жигалева, у вас не было мысли о пожаре?

Буженинов. Может быть, я и говорил раньше: «Хорошо бы этот городишко сжечь»,— наверно, говорил...

Следователь. Значит, и раньше ваши мысли вертелись около пожара?

Буженинов. Я очень страдал от внутреннего разлада, то есть разлада между собой и обстановкой, куда попал. Мои навыки были только одни — война. Я мыслил, как боец: негодное — смести. Но после разговора с товарищем Хотяинцевым я успокоился. Начал работать, стремился подавить себя. Это мне удалось. Если бы тогда сказали: «Перестань существовать, так нужно обществу, революции, будущему»,— я бы не дрогнул... Но меня поймали на удочку.

Следователь. Яснее.

Буженинов. Можно подавить в себе страх смерти, честолюбие, жажду жить... Животное благополучие... Все, что хотите... Воля верховодит надо всем... Я доказал это моею жизнью, товарищ следователь. Но сколько бы я ни хотел — сердце мое будет биться так, как само хочет... Жизнь моего тела, вся до последних тайн, не подвластна мне... Когда мне вырывают сердце с жилами — все летит к черту... Вы спрашиваете: на какой я попался крючок?.. Любовь... На то, что мне не подвластно. Взбунтовались во мне соки жизни. Не знаю уж, какие там железы, какие токсины отравили мой мозг... Может быть, и так... Не знаю, я не физиолог... От меня отдирали с кровью, с мясом женщину, которую я любил; я даже не сознавал, как хотел ее. Начался бунт, я уже не управлял собой. Я ударил камнем Утевкина и почувствовал облегчение. Не знаю, правду ли пишут поэты про любовь,— того я не испытывал. Я горел три года в гражданской войне... Я горел и мучился два года в институте — видел во сне голубые города... Может быть, это была тоже любовь... не знаю... Но когда камень вонзился Утевкину в висок — мне на минуту стало легко... Если это — любовь, это — от любви, тогда будь она проклята. Простите, товарищ следователь, вы все хотите допытаться, откуда у меня в кармане очутились спички... Так вот, когда я увидел то, что происходило в комнате у Надежды Ивановны,— не знаю, как вам рассказать: в

глазах у меня все заплясало, в глазах стало красно... И когда я с утюгом бежал за Сашкой, за осквернителем, и услышал, как дребезжат спички, этот красный свет превратился в мысль — сжечь все, сию минуту... Ах да, вы все про спички... Черт их знает, откуда они завелись... Должно быть, на дороге поднял... Когда Утевкин упал, рука отлетела, и в руке была коробка спичек. Я схватил. Зачем? Зажег спичку и смотрел ему в лицо, долго смотрел, пока не обгорели пальцы...

Следователь. Итак, вы утверждаете, что подняли спички на дороге с целью осветить лицо убитого вами Утевкина,— показание весьма существенное,— и что заранее обдуманного намерения поджечь город у вас не было? Так?

Буженинов. Видите ли, товарищ следователь, все это частности. Теперь я думаю, что так или иначе — катастрофы было не избежать. Не Утевкин — так другой... Не пожар — так что-нибудь другое... Судите по существу, судите меня, а не какие-то там случайные поступки.

Следователь. Это вы будете говорить на суде. Теперь я прошу рассказать, что произошло с того момента, как вы выбежали из дома, держа в руке вот этот утюжок...

НОЧЬ С ТРЕТЬЕГО НА ЧЕТВЕРТОЕ ИЮЛЯ

Рассказ Буженинова запутан и противоречив. Беспомощны его попытки обосновать свое поведение. Здесь все нелогично. Он выбегает из ворот, размахивая утюжком, и уже через тридцать шагов не думает больше об осквернителе. Он во власти нового, огромного желания. Страсть в нем набегает волнами, покрывающими одна другую, все плотины прорваны,— теперь все возможно. Это начинается от мысли о спичках.

Буженинов останавливается с разбегу. Он даже завертелся в пыли на дороге и, насколько можно было разглядеть при неясном освещении, широко оскалился.

Луна в это время закатывалась в конце переулка. Желтоватый, над самой землей, свет ее падал на Сашку Жигалева, стоявшего на перекрестке, шагах в тридцати от дома. Тогда мысли Буженинова снова вернулись к осквернителю, и он стал подходить к нему, но уже не с гневом, а скорее с каким-то диким любопытством.

Сашка был очень зол и, когда увидел у Буженинова утюжок, решил расправиться без пощады. Он первый кинулся на Буженинова, свернул ему руку, вырвав и швырнув в сторону утюжок, и так плотно въехал Василию Алексеевичу кулаком в глаз, что тот зашатался.

— Не лезь не в свою кашу, сопляк проклятый, выкидыш, здесь все равно тебе не жить,— сказал Сашка и вторым ударом сбил Буженинова с ног. После чего пошел по переулку не оглядываясь.

Василий Алексеевич на секунду потерял сознание от чугунного кулака. Но сейчас же приподнялся на руках и глядел, как в узком переулке, между двумя глянцевитыми заборами, по длинным теням от репейников уходила черная Сашкина фигура, застилая луну. Поднимался ветер порывами, душный, как из печки, бросал Буженинову в лицо пыль и мусор. За рекой в непроглядной тьме мигнуло белое око молнии. Сашка обернулся и погрозил кулаком. Тогда Василий Алексеевич, прикрыв ладонью разбитый глаз, пошел за Сашкой по направлению к площади.

Это было опять-таки совершенно бессмысленно. (Следователю он объяснил так: «Если бы у меня обе ноги были переломаны — и тогда бы пополз за Сашкой».)

Ветер усилился. Зловеще, по-грозовому, в темноте зашумели деревья. Облако пыли закутало переулок.. Сашка скрылся по направлению к площади.

Назавтра предстоял большой базарный день. Множество палаток с вечера уже было разбито вдоль городского сада, где махали ветвями, грачиными гнездами, гнулись вековые липы. Ближе к реке стояли воза с сеном. Пыль, сено и листья крутились над площадью.

Буженинов опять увидел Сашку на тротуаре под освещенными окнами «Ренессанса». Несколько человек, в том числе два милиционера, о чем-то с ним возбу-

жденно разговаривали. «Это он Утевкина убил,— долетел Сашкин голос,— я его сейчас видел, у него вся рубашка в крови». Люди зашумели. Из окошек трактира высовывались головы любопытных, прикрываясь от пыли. Снова облако закрыло и людей и трактир.

Несколько секунд Буженинов стоял за углом. Быстро соображал, оценивал обстановку. История с Сашкой снова покрылась волной неистового желания. Он стучал зубами от нетерпения. Сквозь пыль багровая молния упала за речкой. Раскололось небо от грохота. Буженинов, нагнувшись, побежал через площадь к возам с сеном. В спину ему затрещали свистки. Ветер кинул обрывки голосов. «Вот он... Лови!.. Лови!..» Пронеслось над головой, должно быть, грачиное гнездо. «Ну и буря, гнезда летят»,— мелькнуло в сознании. Он нырнул между возами, продираясь, рвал руками сено, лез под телегами. Присел, слушал, придерживая сердце... Справа, слева верещали свистки. Голосов было все больше... «Здесь он... не уйдет... шарь под телегой... сюда, ребята... забегай...» Должно быть, весь трактир кинулся в погоню, рыскал, порскал, шарил между возами.

Тогда Буженинов чиркнул спичку и сунул в сено. Загорелось несколько невинных стебельков и сухой листочек. Буженинов коротко вздохнул, протиснулся несколько дальше и справа и слева от себя поджег сено. Подполз под телегами до наветренной стороны, где кончались воза, и там сунул в сено последний пучок спичек.

Между возами повалил белый дым. Буженинов отбежал, обернулся. Вырвалось пламя. Завыли голоса преследующих. В трех местах сразу поднялись огненные шапки. Ветер примял их, разнес, и огромным столбом красного огня занялись десятки возов. Огонь бросался в тьму бешено летящего ветра и развеивался. Искры, пучки горящего сена полетели над городом. Забил набат. Осветились размахивающие вершинами деревья и туча грачей над ними.

Буженинов стоял на скамейке, на бульваре над обрывом, и глядел на то, что сделал. По городу уже в нескольких местах выбросилось пламя. Деревянные

крыши, заборы, одинокие деревья, скворечни выступали все яснее из темноты, заливались диким светом. По всей торговой площади плясало пламя. Как живые, шевелились, пылая, лотки и палатки, свертывались, падали. Сквозь крышу «Ренессанса» просвечивали раскаленными угольями стропила. Густой дым валил от пожарной каланчи.

По бульвару бежали женщины с узлами, плачущие дети. На Буженинова не обращали внимания. Дурным голосом кричала женщина, плача упала на землю. Пробежал, подняв руки, бородатый человек в подштанниках. Кого-то пронесли, положили под деревом. Все это происходило перед глазами Василия Алексеевича будто не настоящее, будто его фантазия, будто цветные картинки на полотне кинематографа. Несомненно, ум его в эти минуты помутился.

Город пылал теперь целыми кварталами. Бульвар опустел — здесь от жара нельзя было оставаться. Но Буженинов стоял на скамье и глядел.

. . . .

. . . .

Во всех показаниях Буженинова в этом месте — провал, пустота. Он ничего не может вспомнить, кроме мучительного чувства какой-то боли в мозгу при виде телеграфного столба, с висящими по обеим сторонам проволоками, на площади среди догорающих балаганов.

Им овладевает настойчивая идея. Трудно понять, как он мог пробраться через пылающие кварталы к своему дому. Здесь он помнит, как влез через окно в столовую и сорвал со стены план голубого города. Крыша дома уже пылала.

Через выгон и старое кладбище он вернулся на бульвар. Это было уже под утро. Вместо базарной площади — широко кругом дымилось черное пожарище, торчали обгоревшие трубы, валялись листы железа, и одиноко над пеплом стоял телеграфный столб с повисшими проволоками.

— Товарищ следователь, уверяю вас, в эту минуту меня охватило чувство восторга и острой печали: я был один среди пустыни. Страшное ощущение себя, лич-

ного своего Я — этой буквы, стоящей лапками на горячих угольках и круглым завитком — в тучах, в утренней заре. Иногда теперь мне жутко сознавать: всегда казалось, что себя утверждаешь в творчестве, в созидании... Я же — вы видите, в чем... Или я чего-то не понимаю?.. Винта у меня какого-то нет?.. Или живу я в иное время — неизведанное, незнакомое, дикое?.. Или прав товарищ Хотяинцев?.. Не знаю... Но я честно вам все рассказал... А план голубого города я должен был утвердить на пожарище — поставить точку...

Держа полотнище в зубах, Буженинов полез на столб, но сорвался и потерял сознание. Дальнейшее известно. Следствие по этому беспримерному делу закончено.

Буженинов Василий Алексеевич предстает перед народным судом.

СЛУЧАЙ НА БАССЕЙНОЙ УЛИЦЕ

На первый взгляд происшествие на Бассейной улице ничем особенным не отличалось от десятка подобных же нарушений уголовного кодекса. Любопытство к этому делу появилось, когда следователь, прокурор и судьи увидели лица участников преступления, услышали их откровенные показания, вникли в детали и от них поднялись к самым широким обобщениям. Решение губсуда прошло под несомненным впечатлением речи защитника. Он начал так:

«Нити преступления нужно искать там, откуда была привезена фильма, которую с таким, я бы сказал, религиозным вниманием пять раз смотрели подсудимые... Позвольте отойти немного назад и нарисовать истинную картину всего этого происшествия...»

. . . .

В черных, как ночь, широких и мокрых тротуарах отражалась бессонная жизнь Больших бульваров. По асфальту, отраженным огням, по кровавым от огней лужам летело множество женских ног, и летели в бездонных зеркалах тротуаров опрокинутые эти ноги, короткие юбочки, шелковые плащи. Казалось, вся жизнь, как мрачный, возбуждающий сон, перевернута кверху ногами. Во всяком случае, так воспринимал ее Жиль

Боно, тащившийся сбоку тротуара, опустив голову, засунув руки в бархатные штаны.

По профессии Жиль Боно был негодяй. Если бы не полицейские, если бы в особенности не полицейские на велосипедах — он бы многое мог позволить себе в этом городе, несмотря на расшатанное здоровье (хроническая гонорея, катар кишок и нервная чесотка). Но Боно был не глуп и отважен. Он получал пенсию (сто пятьдесят франков) за ранение на войне, и эти гроши позволяли ему не кидаться очертя голову на слишком рискованные предприятия.

Хотел он многого — всей этой роскоши, которая проносилась в длинных машинах по озаренным, как бальные залы, бульварам Парижа. Но больше всего хотел женщин. Надушенные, нежно-розовые, в драгоценных мехах, сучьеглазые женщины мучили его до потери сознания. Он знал, сколько стоит любовная судорога с любой из этих красоток, и только шуршал осколками зубов, глядя с края тротуара, как лезет из машины длинноногая полуголая девка, мотающая сегодня ночью доллары или фунты. Жиль был уверен, что и болен-то он тремя болезнями только оттого, что кровь в нем вся в сгустках, вся сдохшаяся от желаний. Он шел, подергивая спиной от озноба, втягивая ноздрями запахи толпы. Брел без цели, без определенного плана, как зверь, пробирающийся тропической ночью в джунглях.

Впереди разливалось розовое сияние. В его свете изнемогали, бледнели все огни. Женщины, проходившие сквозь этот свет множества ртутных ламп у вестибюля кинотеатра, казались восковыми, глаза их сверкали, как стеклянные. С боков входа стояли два щита с пестрыми афишами: «Убийство на улице Вожирар». Фильма — как фильма, не гвоздь сезона. Но почему-то Жиль остановился перед щитом и, помигивая воспаленными веками, долго рассматривал рисунок — господина во фраке и в полумаске: с окровавленным ножом этот франт перешагивал через труп лысого старика. «Забавно,— подумал Жиль, позвенев деньгами в кармане штанов,— забавный сюжет». Он вытащил горсть меди и вошел в вестибюль.

Стоит ли описывать эту кинокартину? Сын банкира и его жена — образец приличной женщины, склонной к слезливости. Затем — таинственный красавец нефранцузского происхождения; он хочет обольстить жену сына банкира, чтобы завладеть капиталом. Затем — куртизанка, которая живет среди сумасшедшей роскоши. В сценах домашнего быта этой куртизанки французская индустрия напустила золотой пыли в глаза,— в полутемном зале только поахивали. Таинственный красавец, конечно, сводит сына банкира с куртизанкой. Жена сына банкира отказывается от пищи и при среднем сочувствии зала тает в слезах. Сын банкира, конечно, проигрывается в карты и на скачках,— где опять громко заявляют о себе дома больших портных и индустрия-люкс. Он готов на преступление. И вот — преступление совершается. Вначале все уверены, что лысого старика, ростовщика, убил сын банкира. Но это было бы нехорошо со стороны сына банкира, и выясняется, что убийца — тот самый таинственный красавец.

Когда это окончательно стало ясно, Жиль громко засмеялся.

— Чепуха! — сказал он соседке справа.— Это просто шикарная реклама: перекачивать кружочки из Америки и Лондона. Но здесь ни слова правды, кроме того, что парень, пришивший старичка на улице Вожирар, ушел от руки полиции. А вот заснять в кино историю, какой она была на самом деле,— вы помните, мадемуазель, в ноябре прошлого года весь Париж кричал о «кровавой работе» на улице Вожирар,— о, изобразить все те подробности — получилось бы гораздо смешнее. А это — для иностранцев...

До конца сеанса Жиль издевался над картиной. Выходя из театра, он закурил сигарку и с минуту постоял в широком подъезде, залитый ослепительным розовым светом. Пусть девочки, бегущие в телесных чулочках по зеркально-черному асфальту, обернутся восковыми мордашками, скользнут стеклянными глазами по его штанам, по его кепке, по его выдавшемуся подбородку... Вот он, Жиль Боно, никому неведомый человек, о котором, несмотря на это, сочинена чепуха в двенадцати частях и трех сериях из жизни банкиров. Это он, Боно

(направо и налево), на афишах перешагивает во фраке и полумаске через труп, и вот он стоит живой перед вами... Хе-хе...

Боно действительно имел некоторые основания погордиться на подъезде театра, потому что в ноябре прошлого года на улице Вожирар он, Жиль Боно, без сообщников, зарезал бритвой одинокого старика консьержа, ограбил его на десять тысяч франков и с тончайшим искусством замел следы.

Да, это была минута славы, но одинокой. И в кармане осталось от славы четыре су, то есть не хватит и на рюмку водки. Эти буржуа, эти мировые шакалы в конце концов просто ограбили его, Жиля Боно. Выплюнув сигарку, он сошел с поезда и втерся в самую толщу человеческого потока, чтобы по крайней мере подышать запахом женщин.

Жиль Боно пропал в толпе. Дальнейшая судьба его нас не интересует. Он дал великолепную тему, не получив за нее ни сантима, его обокрали — он больше не нужен. А роскошная фильма «Убийство на улице Вожирар» пошла гулять по свету, прославляя индустрию-люкс, дорогих женщин, волнуя элегантными ужасами и возбуждая адскую жажду.

Год спустя фильма попала в Ленинград, на Петербургскую сторону, в кинематограф «Леший». Надписи были переделаны, особо вредные места вырезаны, фильма называлась теперь «Великосветские бандиты Парижа».

И вот в июньский вечер смотреть великосветских бандитов пришли Мария Осколкина и Михаил Цибриков. Марии было шестнадцать лет, Михаилу — семнадцать. Оба они этой весной бросили школу: Мария — потому, что уже вышла из того возраста, когда учат уроки, Михаил — потому, что весь свет заслонила ему Мариина коротенькая юбочка. Жили они пока еще — Михаил у отца, державшего в Апраксином рынке галантерею, Мария, сирота,— у тетки, промышлявшей на дому трикотажем. Поселиться отдельно не хватало денег. К тому же, у Марии, или Мери (так она приказы-

вала себя называть), после того как она продала на барахолке все учебники и письменные принадлежности, с непостижимой быстротой стал развиваться вкус к мелочам женского обихода. Откуда она доставала деньжонки на подвязочки с бантиками, чулочки, коробочки с пудрой, флакончики духов и так далее — Михаил не знал; тайна, все — тайна, сплошной секрет. «Если хочешь, чтобы я тебя любила,— ни о чем не спрашивай»,— говорила ему Мери.

Итак, Михаил и Мери, зайдя в «Леший» и усевшись на тридцатикопеечные места, разинули рты и перестали дышать, когда озарившийся экран увлек их головокружительным водоворотом на улицы Парижа. Так вот он, Париж!.. Так вот как живут настоящие люди — красавицы, кокотки, великосветские бандиты, элегантные сыновья банкиров...

Мери взяла руку Михаила и запустила в нее ногти. Он не пикнул. Куда ему было соваться со своими джимми за восемнадцать рублей, с большим ртом и цыплячьей грудью!.. У Мери странно блестели глаза, когда таинственный красавец (будущий убийца) надевал перед роскошным зеркалом фрак такой, какие бывают только на картинках... А какие носки, какой жилет, какой он весь, от пробора до туфель, восхитительный мужчина!..

Михаил с тоской думал: этот франт будет Мери сниться... Вот он спрыснул себя духами, надел сверкающий цилиндр, крылатку, вдруг усмехнулся криво, вынул клинок кинжала и пристально стал глядеть полуаршинными глазами с экрана в душу Мери...

— Миша, я должна ехать в Париж...

— Мери, милая, мы конечно поедем... Когда-нибудь...

— Но как можно скорее, покуда у меня тонкая фигура и божественный цвет лица...

— Откуда же деньги-то? Ну, я продам пальто, револьвер... Ты еще откуда-нибудь достанешь... Не хватит, вот чего боюсь...

— Да ты — мужчина или ты — мальчишка? Мужчине не достать денег — фу...

Мери оглянула Михаила прозрачными глазами, презрительно наморщила приподнятый носик... (Мери была самой красивой девушкой в Ленинграде. Даже на улице постоянно замечали: «Смотрите — хорошенькая блондиночка, совсем Мери Пикфорд».)

— Это хорошо им в Париже доставать деньги: там небось частную инициативу не душат,— проворчал Михаил.

— Смотри, как бы с такими разговорами ты меня не потерял.

— Так что же — украсть, ограбить? Только ведь остается...

— Знаешь, Миша, кажется, напрасно ты за мной тянешься... Рот у тебя какой-то желтый... Такие мальчишки не внушают большой уверенности...

Разговор этот происходил в антракте, и снова погас свет в зале и по озаренному экрану продолжали мчаться тени волшебной жизни. Мери вышла из театра «Леший» спотыкаясь, ничего не видя; Михаил — мрачный, надутый — ступал своими джимми, не разбирая, прямо в лужи.

Над Ленинградом прошел ночной дождь, прибил пыль; тянуло сладким и свежим запахом тополей из Кронверкского парка. Мери дошла до остановки трамвая, подала Михаилу холодные кончики пальцев:

— Прощай. Я одна.

— Куда?

— Не твое дело...

Пять раз Мери смотрела фильму «Великосветские бандиты».

С каждым разом (приходя в кино, где ее ждал Михаил) Мери становилась все шикарнее. Обрезала юбку на полтора вершка выше колен, завела шляпку кирпичного цвета, шелковые чулки. Михаил боялся даже смотреть на нее, мрачнел с каждым разом.

— Мери, как же это: опять новые туфли?

— Немного жмут, знаешь, прямо беда...

— Ради бога, не мучай... Кто тебе делает подарки?

— Безусловно это не твое дело... Будь доволен и тем, что мной обладаешь.

Михаила мучила неопределенная ревность. У него трещала голова — так много он думал, откуда бы раздобыть денег на поездку в Париж? Поскорее увезти Мери из Ленинграда, окружить роскошью, осыпать драгоценностями. Самому ходить в крылатке, в цилиндре с восемью отблесками.

Он продал зимнее пальто, все книжки, радиоприемник (собственной работы), коньки, валенки, занял у товарищей по мелочам полтора червонца и ночью пошел в игорный дом. У денег за зеленым столом вырастают крылышки — в несколько минут деньги выпорхнули у него из кармана. Проигрался. Хотел повеситься на подтяжках в клозете, но как-то обошлось. В три часа утра он громко рыдал, сидя на набережной Васильевского острова под египетским сфинксом. На той стороне реки пылали в утренней заре окна дворцов. Дымная, лазоревая Нева плескалась у ног огорченного мальчишки. Мери в эту ночь шаталась неизвестно где — кто-то ее, вне всякого сомнения, обнимал в эту минуту, когда еще прохладное солнце поднималось за крепостью из-за длинных малиновых утренних облаков.

Страдать было невыносимо. Михаил пошмыгивал, слезы капали на дешевенький пиджачок. «Да, нужно решиться, нужно сделаться бандитом и с карманом, полным червонцев, с ножом в руке потребовать от Мери, чтобы она не торговала своим телом».

На следующий день он так и заявил Мери:

— Я все испробовал. Мне не повезло в карты. Ты видишь, Мери, как я тебя люблю: вопрос о том, чтобы сделаться бандитом, решен мной в положительном смысле...

На это Мери сказала:

— Ты дурак... Вот в баре на Михайловской я видала настоящих бандитов. Смелые, как черти, и шикарные.

— Хорошо, хорошо, Мери, кто смелее — мы это еще посмотрим.

— А что? Разве ты уже придумал что-нибудь? — спросила она с любопытством. Такой ответ большеротого Мишки ей, видимо, понравился.

— Может быть,— проговорил он,— там увидим.

Некоторое время он играл на Мерином любопытстве: говорил туманные слова. Но в конце концов надо было действовать. Тогда он сказал, что один нэпман, за которым он ходил (хотя тот был вооружен до зубов резиновой палкой, тростью со стилетом и револьвером), внезапно уехал за границу, и дело сорвалось. Мери всему поверила.

— Миша, а много у него было денег?

— Тысячи две червонцев всегда при себе носил, в портфеле...

Она молча всплеснула руками и совсем уже растерялась, когда подсчитала, сколько можно было купить всяких вещей на две тысячи червонцев. С этой минуты горячая голова ее стала работать в том же направлении: проследить нового нэпмана с двумя тысячами червонцев. Отношение ее к Михаилу изменилось,— он сразу почувствовал все выгоды быть бандитом.

— Миша, ты меня, главное, не ревнуй,— говорила теперь Мери,— если я бываю с мужчинами, то это для нашей общей выгоды. А люблю я одного тебя. И мы уедем, уедем в Париж.

Дожидаясь Мери в Адмиралтейском парке, Михаил еще издали увидел, как летело по аллее в полосах солнечного света розовое платье, розовая шляпка. Румянец заливал щеки Мери. Не здороваясь, шлепнулась на скамью. Оглянулась направо, налево:

— Нашла. Есть один.

— Ну? Кто?

— Нэпман. Богач. Колоссальные деньги. Женатый, интересуется женщинами и страшный дурак. Его все девочки зовут «Тыква»... Ну, Миша... (У нее расширились синие глаза.) Ну, Миша, зевать нельзя...

— Пускай только попадется мне в руки. Выпотрошу.

Мери повела Михаила в бар — показать «Тыкву». При одном взгляде на нэпмана у Михаила завалилось сердце черт знает куда: «Тыква» оказался огромного роста, тучным мужчиной с сизо-бритым жирным лицом, в котором было что-то бабье. Лоб у него зарос волосами почти до бровей. Одет шикарно, во все новое, заграничное. На мизинце — большой бриллиант. Окруженный девицами, он благополучно пил боржом.

Мери зашептала Михаилу:

— Семья у него в Москве. Здесь он наездом, ворочает делами. И все удивляются, почему он не в Соловках. Так что вдвойне надо торопиться.

Она встала и особой походочкой (у Михаила сразу защемило в животе от ревности) прошла мимо «Тыквы», покачивая бедрами. Он протянул к ней руку — на весь бар брызнули лучи из перстня.

— Цыпка, блондиночка, садись...

— Я занята,— строптиво ответила Мери.

Он все же поймал ее руки, привлек к себе и долго о чем-то шептал на ухо. Мери освободилась, пожала плечами, отошла. Михаил видел, как «Тыква» вытащил платок и вытер жирное лицо и шею под шелковым воротником.

Этот нэпман в баре казался видением из далекой и волшебной жизни великосветских бандитов. Все дальнейшее было делом одной Мери, Михаил исполнял только приказания. Она отыскала комнату с отдельным ходом и ключом на Бассейной улице, где могла бывать не прописываясь. (Хозяйка комнаты жила в Сестрорецке.) Она заставила Михаила ходить по следам за «Тыквой» из банка в банк — собирать точнейшие сведения о его денежных операциях. Михаил видел за окошечками в банках толстые связки червонцев: очевидно, все эти несметные богатства принадлежали «Тыкве». Мери и Михаила трясла лихорадка. Нэпман каждый вечер приходил в бар и интересовался Мери. Но она ни разу не подсела к его столику — дразнила издали.

И вот, когда все было готово, Мери сказала Михаилу:

— Сегодня приходи на Бассейную к десяти часам. Не забудь — захвати револьвер... Голыми руками не справишься.

Михаил по пути домой купил сороковку и выпил ее в парке. Думал, что подействует, но мороз продолжал драть по коже. Он валялся на кровати, курил, прятал голову под подушку, хрустел пальцами. Когда в столовой, где отец читал газету, пробило девять, Михаил сорвался с постели, вынул из стола револьвер и мелко-мелко закрестился...

К десяти часам он был на Бассейной. Мери открыла ему дверь. Зашептала, втаскивая в комнату:

— На лестнице никого не встретил? Тише, тише, молчи, ни слова. Почему от тебя водкой несет? Струсил?

— Ничего подобного... Сама трусишь...

— Не гуди... Не стучи каблуками. Слушай меня внимательно... Ты здесь останешься... Я уйду... Когда услышишь, что я его привела, что я отворяю дверь,— ты станешь вот за эту портьеру. И ты там стой, не дыши, не шевелись, что бы я ни делала... Когда увижу, что он уже пьяный,— я хлопну в ладоши. Ты, значит, и выскакивай с револьвером...

Мери надела розовую шляпку, живо напудрилась, взбила височки перед зеркалом и убежала. Михаил остался один. Что он переживал за эти два часа до появления нэпмана? Никогда впоследствии он не мог толково рассказать об этом; установлено только, что выпил большой графин воды и часть воды из умывальника.

Ровно в двенадцать часов послышалось на лестнице кошачье хихиканье Мери, зашуршал ключ в замке. Михаил, как привидение, ускользнул за портьеру, прикрывавшую дверной вырез в капитальной стене, и там стоял, обливаясь потом, смертно боясь чихнуть.

Первой в комнату вошла Мери, за ней нэпман с шампанским и фруктами. Он посапывал от одышки и

сейчас же повалился в кресло. Мери не переставая говорила, хихикала, как-то особенно ходила по комнате: «Тыква» старался поймать ее, посадить на колени, она со смешком увертывалась. Тогда он хлопнул пробкой:

— Ну, пить — так пить... Хотя я и не большой охотник. Я скоро пьянею.

— Ах, как я люблю шампанское, вы поверить не можете! — пищала Мери.— Я могу выпить три бутылки.

— За что же мы пьем?

— За ваше будущее.

— Ишь ты, как подковырнула... За лучшее будущее! Эх, черт возьми, девчонка, тебе и во сне не увидать, как мы раньше жили. В Вилла-Родэ на серебряной посуде кушали, а какие были женщины — с ума сойти... А теперь вот таким огрызочком довольствуюсь, как ты... Ну, ну, не сердись.

— Нет, рассержусь... Во всяком случае, пейте.

— Иди ко мне!.. Какая ты вертлявая!

— Сяду, но только выпейте.

— За что еще?

— За наши отношения в дальнейшем.

— Вот куда гнешь... Отчего же, посмотрю, какая ты сладенькая...

Он откупорил вторую бутылку. Мери сидела у него на коленях, брыкая ногами. Он захмелел и целовал Мери... Она же все не подавала знака — смеялась, пила, бросала в зеркало апельсинные корки...

Михаил, оглушенный, несчастный, боясь дышать, стоял за портьерой. Кинуться бы, избить нэпача, вытолкать за дверь! Как он смеет целовать Мери, жирно хохоча, раскачивать ее на коленях... Но Михаил не смел даже пошевелиться. Выпитая водка с огромным количеством воды отбила у него последнее мужество. Сейчас, он чувствовал, должно совершиться страшное...

— Нет, нет, не нужно, подождите... Пустите меня,— прозвенел жалобный голос Мери.

Тогда Михаил от всего отчаяния, от всей своей униженности громко всхлипнул за портьерой, револьвер выскользнул из руки, тяжело стукнул о паркет. Сразу стало тихо.

— Кто там у вас? — хрипло спросил «Тыква».

— Подлец, трус! — Мери сорвалась с его колен, распахнула портьеру. Лицо ее пылало гневом и возбуждением.— Плакса! — Она изо всей силы ударила по вспухшему большеротому лицу.— Ну же, дурак! — Схватила револьвер, повернулась к нэпману и стала подходить. Он сразу осел в кресле, развел руки. Челюсть у него отвалилась. Выкаченными глазами глядел в черную дырку револьвера.

— Денег... Я стреляю,— сказала Мери.

— У меня нет с собой денег,— захлопнув челюсть, проговорил «Тыква».— Не стреляйте, слушайте...

— Денег! Если крикнете, то...

— У меня деньги дома, у компаньона... Я же не ношу с собой денег...

Такого оборота вещей не ожидали ни Мери, ни Михаил, стоявший сзади нее со сжатыми кулаками и перекошенной мордой. Револьвер заходил ходуном в Мериной руке. «Тыква» совсем струсил и сам помог выйти из затруднительного положения:

— Не вертите им, он так непременно выстрелит. Черт с вами! Дам я, дам денег, но за ними нужно съездить...

Немедленно Мери стащила с себя панталоны, приказала Михаилу разорвать на ленты. «Тыква» протянул ноги, их связали. Кряхтя, косясь на револьвер в Мериной руке, он написал записку. (Примечательно, что Мери не сказала цифру, и «Тыква» сам указал ее в записке.) Михаил сейчас же ушел по указанному адресу. Сорок минут Мери выдерживала нэпмана под дулом револьвера, иногда только брала апельсин из корзинки, зубами сдирала кожу.

— Тихо, не шевелиться,— повторяла она, выплевывая косточки.

«Тыква» пробовал ее улещать, стыдил вкрадчивым голосом, вспомнил даже о своих детках в Москве — Мери была неумолима, как настоящая бандитка. Наконец вернулся Михаил с деньгами. Привез тридцать червонцев...

— Да ей-богу, больше нет! — завопил «Тыква».— В следующий раз как-нибудь, с большой радостью...

Что? Вам этого мало? Ну, стреляйте в таком случае, сволочи, если не верите!

Мери пересчитала деньги. Сунула их за чулок. Зло надвинула шапочку:

— Хорошо. Мишка, развяжи его! Теперь слушайте, нэпман... Мы выйдем. Если вы сейчас же побежите за нами, мы вас застрелим на лестнице... Можете уходить только через десять минут.

— Пока! — сказал «Тыква» вслед уходящим и, засопев, потянулся за бутылкой.

Через несколько дней Мария Осколкина и Михаил Цибриков были арестованы в Севастополе. Они сейчас же во всем сознались. Михаил ревел и раскаивался. Мери держалась равнодушно-презрительно. Их отвезли в Ленинград. И вот на суде защитник окончил свою речь следующими словами:

«...Товарищи судьи, взгляните на потерпевшего, оцените его большую физическую силу, огромную сообразительность, которую он проявляет обычно в деловых операциях... (При этих словах «Тыква» стал протискиваться к двери, в зале захихикали.) Теперь взгляните на этих подростков, обманутых соблазнами Запада... Эти два романтика новой формации, два посетителя кино, связывают человека, который одним движением руки мог бы их обоих раздавить, как мух. И что самое главное — что я особенно подчеркиваю: револьвер, игравший основную роль во всем этом происшествии, был не заряжен. (Мери с бешенством взглянула на Михаила, он опустил голову.) Из этого револьвера никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя выстрелить, потому что это заржавленный и сломанный револьвер...»

. . . .

Суд приговорил Марию Осколкину и Михаила Цибрикова на пять лет условно.

ВАСИЛИЙ СУЧКОВ

(Картинки нравов Петербургской стороны)

1

— Я так скажу: дети наши, имей они понятия, как мы, старики,— и на том слава богу.

— Нельзя теперь «слава богу», Тимофей Иванович.

— Ну, слава труду... Не придирайся — я старый человек... Скажи: мы боролись? Правильно я говорю?

— Боролись, Тимофей Иванович. Собственно, у меня служба тихая, я не боролся, а вы действительно боролись.

— Мне нравится, как вы отвечаете, Иван Иванович; вы человек прямой. Таких нам надо... Официант, еще парочку и два бутерброда с ветчиной... Так вот, мы страдали. Верно, Иван Иванович?

— Ну еще бы...

— Когда Путиловский завод зажигалки делал, вы представляете, каково было нам, старым мастерам, это видеть! Кто в ответе? Ссылайся, пожалуй, на Антанту... Так-то, мол, так... А кто заводил? За этим все ниспровергли, чтобы лучший в Союзе завод зажигалки точил? Хорошо теперь — на верфи лесовозы строим.

Все цехи работают... А в то время бывало, что и не верится... Так бы взял, лег среди разрушения и заплакал... Это разве не страдание? А кто восстановил завод? Видел эти руки? И кости-то на них — просмоленные машинным маслом: гляди, какие пальцы черные... Значит, я имею право говорить... И я говорю. Дети наши ни к черту не годятся... Они боролись? Нет. Они страдали? Нет. Они пенки собирают. А мы для них — устарелое племя. Мишка мой — комсомолец. Хорошо. Его трогать нельзя. Ему слово, он — десять. Ладно, ладно... Учись, выходи в первые ряды. Хотя потрепать-то следовало, но — обомнется... Ведь гавкать дерзко на каждое тебе слово еще не означает, что отец — дурак. Ладно, говорю, ладно... Мишка — честный парень. А вот Колька мой... Ну, этот... Тут я не могу. Завел он себе морские штаны, финский ножик... День работает, другой — с девками по заливу гуляет... И заметьте, Иван Иванович, его я тоже не могу ни палкой урезать, ни за волосы его взять... А какие у него волосы? Священные? И он сейчас же идет на меня жаловаться — и мне выговор, в лучшем случае за истязание... А Кольке на роду написано — десять лет с изоляцией. Знаете, что он мне отвечает? «Ты мне докажи, старый хрен, почему я должен работать, когда я хочу гулять? Это в какой, хрен, книжке написано, чтобы я удовольствий лишался? Почему?» И он, сволочь Колька, говорит это так уверенно, будто он — правящий класс. «А будешь драться, говорит, я тебе дырку в животе сделаю...» И вертит ножом и глазами блистает...

— Отчаянное ваше положение, Тимофей Иванович.

— Хорошо. Я не доживу до конечного торжества. Я старый человек. Но я хочу, чтобы дети мои, внуки мои говорили на трех языках, Иван Иванович... Чтобы летали они на воздушных кораблях кругом всей земли, как у себя дома... Чтобы ручки их знали тонкую и умную работу... Я плачу, Иван Иванович, оттого что не вовремя родила меня мать... Родили меня — стену головой прошибать... Мы — героическое поколение, Иван Иванович... За нами идут дети и внуки... Черную-то работу мы сделали... Но каковы они? Вот мучительный

вопрос. К примеру... У нас за Нарвской заставой строят рабочие кварталы — дома по заграничному образцу, с балконами и ваннами. Значит, есть намек, что теперь рабочий не будет жить, как свинья. Я прихожу с верфи. Я помылся, я сажусь обедать в строгом порядке, с моими домашними... Едим в опрятной комнате, и разговор у нас возвышенный, симпатичный... Верно ведь, да? А теперь — какова действительность? Этой весной я переезжаю на новую квартиру. Хорошо. И вот, я иду с верфи домой, и покуда я иду — с меня пальто снимают в переулке,— это раз... Налетают с финскими ножами, здорово живешь, походя кишки выпустят,— два... И если я, скажем, уберегусь от этих двух происшествий, прихожу цел-невредим домой, за моим опрятным столом уже сидит Колька... Конопатая морда так вся и пропитана матерщиной... Нет, Иван Иванович, много мы ждали бед, а эта беда нежданная.

Тимофей Иванович отодвинул пивные бутылки, перегнулся через круглый столик к самому лицу Ивана Ивановича, поднял негнущийся палец:

— Затаенное. Еще никому не говорил. И близкие мои не знают. Василия Алексеевича Сучкова, зятя моего, Варварина мужа, стал я бояться. Не верю ему. Темный он человек.

— Бросьте вы, Тимофей Иванович! В самом деле, вам уже не знаю что мерещится...

— Верно. Никаких оснований. Но стану я о нем думать — и во рту у меня горько.

Разговор этот происходил в июне месяце на Петербургской стороне, в пивной. Разговаривали два старинных приятеля: Жавлин Тимофей Иванович, рабочий Путиловской верфи, и Иван Иванович Фарафонов, служащий по речному ведомству хранителем затона на Петровском острове.

День был безветренный, солнечный — воскресенье. В пивной было пустовато, пахло кислым и раками. О зеркальное окно, на котором шиворот-навыворот стояло: «Пиво Стенька Разин», звенели мухи, навевая полдневную скуку.

Приятели допили пиво. Покурили. Расплатились и вышли на улицу. Синее небо раскинулось летней

тишиной над бедными улицами Петербургской стороны.

— А все-таки,— Тимофей Иванович поднял опять палец,— а все-таки зять мой — непроницаемый человек.

После этого они пошли рядом по выбитому тротуару, засыпанному подсолнечной шелухой. В вышине плыл аэроплан. Плыли белые, как снег, облака. Тишина, воскресная скука. В окнах — горшочки с цветами. На пустыре, среди кирпичных развалин, дети играют в мяч, и самый маленький плачет, сидя в лебеде.

Навстречу приятелям шла девушка в ситцевом светлом платье. Молодая шея ее, плечи, худые руки были покрыты золотым загаром. Вьющиеся русые волосы лежали шапкой на милой голове.

Все шире улыбались приятели, поглядывая на подходившую девушку. И день был хорош, и от выпитого тепло на душе, и приятно поглядеть было на осмугленную солнцем молодость.

— Дочь у тебя — по первому разряду, одобряю,— сказал Тимофей Иванович.

Довольный Иван Иванович спросил:

— Настюша, ты куда ударилась?

Она подняла синие глаза, и лицо ее стало еще милее. Остановилась. Легко вздохнула:

— К Варваре Тимофеевне обещалась зайти сегодня.

— Я сегодня у дочери был,— Тимофей Иванович, вдруг насупившись, стал глядеть под ноги,— был и часу не высидел... Теперь через полгода только к ним приду... И вам, Настя, там делать нечего.... Слушать рассуждения гражданина Сучкова?.. Незачем. Так-то...

Настя подняла тонкие брови, пожала плечиком. Непонятно было, почему Тимофей Иванович рассердился. Молча все трое постояли с минуту. Настя улыбнулась отцу и пошла своей дорогой, пряменькая, так и видно было, что в ней все в порядке.

— Чистенькая девочка,— глядя ей вслед, проговорил Иван Иванович.

— Вот то-то, что чистенькая... И к Варваре ей не надо ходить, доброго там ничего не получится...

2

Скучно в воскресный полдень на Петербургской стороне, в улицах, где не прозвенит трамвай. Пустынно, бедно. И чудится — за пыльными окошечками, за покосившимися воротами, в деревянных домиках на поросших травою дворах, в домишках, глядевших одним чердачным окошком из-за кирпичных каких-то развалин, так бы и задремала навеки эта сторона, оставь ее в покое.

Вот розовый дом в три этажа. Его недавно покрасили, починили водосточные трубы, на окнах еще не смыты длинные кляксы штукатурки. На нем — синяя вывеска: «Петрорайрабкооп». А дальше, до самой реки — облупленные непогодами стены, заборы, развалины, табачный ларек с задремавшим от скуки инвалидом, у водосточной трубы — баба с конфетами по копейке и семечками... Семечки, семечки... Неужели земля и солнце создавали человека только затем, чтобы грызть ему эти окаянные семечки, шатаясь без дум, без страсти?

Вот забор из ржавых листов кровельного железа. За ним на пустыре несколько грядок с картошкой, и кругом — кучи щебня, поросшие крапивой. Бродит коза. Сидит на камне женщина с грудным ребенком на коленях, подперлась, глядит пустыми глазами.

Вот еще пустырь. Сбоку тротуара три ступени — все, что уцелело от подъезда. И чудится — по этим ступеням можно войти в невидимый дом. Его очертания еще заметны: направо, на глухой стене соседнего дома виден треугольник — след исчезнувшей крыши, а ниже — остатки голубых обоев с цветочками. Налево еще торчат кирпичные своды, и в них — дверь прямо в небо.

Если спросить у старика дворника, что сидит на другой стороне улицы у ворот, он скажет, что действительно три ступени крыльца вели в двухэтажный дом. Хороший был дом, деревянный. Жильцы иные пропали без вести, иные умерли, иные живут сейчас на Васильевском. И хозяином невидимого сейчас дома был он сам, старичок, ныне дворник.

Так он и днюет напротив у ворот, глядя в минувшее. А над ним в раскрытом окне сидит, подняв худые колени, стриженая девушка, читает книгу. Через улицу идет с чайником гражданин в трикотажных коричневых штанах со штрипками и, загнув нос, ёрничает глазами на девицу в окошке.

Гражданин этот, увидев Настю, вдруг дрыгнул ляжками и загнул нос в ее сторону.

— Извиняюсь... Почему одна гуляете?

— Вас это меньше всего касается,— проходя, ответила Настя, строптиво оглянула трикотажные штаны.

— Насчет юбочек меня всегда касается... Куда же вы бежите? Все одно на то же самое наткнетесь, зачем искать журавля в небе?..

Настя свернула за угол и вошла во двор, где жила Варвара Тимофеевна. В одном из открытых окон ее квартиры, во втором этаже, видна была спина Сучкова (в серой рубашке и велосипедном поясе). Он играл на гитаре, напружив крепкий затылок.

8

С Василием Сучковым Варвара познакомилась в прошлом году в кинематографе «Леший». Он показался ей интересным мужчиной. Был очень вежлив, холодный, чисто одет. Бритое узкое лицо, небольшие глаза, шрам на щеке около рта. Во время антракта он пристально глядел на темноволосую, круглолицую, несколько полную Варвару, пересел в кресло рядом с ней и предложил программу. Затем сказал, что не курит по причине гигиены здоровья, и предложил леденцов. Варвара грызла леденцы белыми зубами, должно быть с лица ее не сходила веселая и нервная улыбка. Сучков с холодной жадностью глядел на ее рот.

Ей понравилось, что он поспешил установить свое социальное положение: он служил инструктором в топографической школе. Такой подход в разговоре показывал серьезность его видов. Варвара сказала, что она служит на шоколадной фабрике упаковщицей,— ему это, видимо, тоже было приятно: работа чистая, и

девушка, значит, опрятна. До конца сеанса они обменивались впечатлениями,— шла картина «Бандиты Парижа». Сучков проводил Варвару до трамвая, и в следующее воскресенье они опять встретились в кинематографе на Невском. По окончании сеанса он предложил зайти в кавказский ресторан. Варвара покраснела и отказалась. Она отдалась ему только после третьего посещения кино, взбудораженная приключениями Мери Пикфорд.

Сучков сам предложил оформить связь в загсе (от жизни он требовал порядка прежде всего),— и Варвара переехала к нему на Петербургскую сторону. С тех пор прошел год. Родным Варвара говорила, что живет хорошо и дай бог всякому. Но стали замечать, что она худеет, вянет,— пропал ее веселый нрав. Оказалось, что она неистово ревнует мужа и боится показать ему это; и ревнует его потому, что за год жизни не узнала его, не узнала о нем больше, чем в первый вечер знакомства.

4

Стол был накрыт. Через открытую дверь было видно, как на кухне в чаду примуса суетилась Варвара. Сучков наигрывал на гитаре. Около него на стуле плотно сидел Андрей Матти, финский подданный, чисто вымытый блондин с коровьими ресницами. Одет он был в новенький серый костюм и розовый галстук. Прямой, как щель, рот его добродушно улыбался. Так он мог сидеть сколько угодно — помалкивать.

Варвара, летая по кухне, нет-нет да и поглядывала пронзительно на мужа и Матти. Чего молчат? Ну чего? Без дела, здорово живешь, Матти не втерся бы в их дом, и Сучков не стал бы с улыбочкой играть ему на гитаре. Вот уже которое воскресенье тащится финн с цветком для Варвары или с шоколадной плиткой, и у Сучкова — сразу эта непонятная кривая усмешечка (так бы и швырнула в рожу ему кастрюлю с горячими щами). Неистовым сердцем Варвара чувствовала, что они сговариваются, финн подбивает мужа, опутывает,

уводит... И муж не прочь... Еще бы... Разве бы так улыбался?.. Полечку с ёрническими коленами наигрывает. Утром ногти обстриг, чтобы за струны не цеплялись. Ах, и сомнения нет: присмотрел ему финн девчонку...

— Варя,— вполголоса позвал Сучков,— как у тебя с котлетами? А то мы сядем водку пить.

Варвара загремела кастрюлями, горло перехватило злобой. И это было не вовремя, потому что Матти, пользуясь шумом на кухне, сказал наставительно:

— Это большой неудобство, когда нет кухарка. Такой приличный дом, конечно, должен иметь прислуг. Человек с вашими вкусами должен иметь деньги.

5

Когда Настя вошла в столовую, мужчины уже пили водку под миноги в горчице. Сучков изумленно поднял брови, рыжие зрачки его беспокойно заметались. Матти бросил салфетку, поспешно встал и несколько раз, сгибая весь корпус, поклонился Насте,— видимо, по-заграничному. Когда Сучков, снова холодный и непроницаемый, здоровался с девушкой, Варварины расширенные глаза появились в чаду в темном коридорчике, ведущем из кухни в столовую. Варвара внесла блюдо, вытерла фартуком руки и поцеловала ледяными губами Настю. Ей предложили рюмку водки. Матти воскликнул с каким-то финским — хэ-хэ — хохотком:

— Современный девушка должен пить водка.

Настя выпила — главное для того, чтобы побороть в себе неловкость. После мягкого света дня, и морского ветерка, и тишины над Петербургской стороной, и тишины в самой себе, которой не мог даже нарушить гражданин в трикотажных штанах, ей колюче и непокойно было под взглядами этих людей.

Но ведь прийти надо было — Варвара несколько раз обижалась: «Почему нас знать не хотите?» А сейчас она кожей чувствовала Варварину неприязнь. Ей вдруг стало неловко от того, что вся шея и грудь — голые, и руки голые до плеч. И хоть бы не пялились так эти двое!.. Опустив голову, пробуя кусочек миноги, она пре-

увеличенно поморщилась от горчицы. Сучков сказал отчетливо:

— У вас красивый загар, Настасья Ивановна. Физкультурой несомненно занимаетесь?

— Да!

— Посмотри, Варя, какой приятный загар и как приятно женское тело, хорошо тренированное. Ведь вы, Настасья Ивановна, всего года на три моложе Вари? А посмотрите, какая разница. Да, Варя, тут нужно понять, что не тряпьем, не помадами себя красит женщина, а содержанием тела в физической тренировке.

— Это большое значение имеет,— сказал Матти.— Варваре Тимофеевне тоже не поздно заняться гимнастикой. Я видел в Або, один старый женщина в пятьдесят лет бегал и прыгал очень хорошо.

— Спасибо за сравнение,— только и ответила Варвара. Губы ее дрожали. Не знала, куда отвести глаза. Мужнин уверенный скриповатый басок бил ее каждым словом, будто кирпичом в темя. Обычно Сучков многозначительно помалкивал. Сейчас, упираясь локтем в стол, наливая рюмки, вертя вилкой, говорил, говорил не переставая. Даже в тот первый вечер, в кино, он не разговаривал с такой охотой.

— Отношение полов — это острый вопрос современности. Я знакомлюсь с женщиной, которая меня зовет, влечет. Я сближаюсь с ней, и венерическое заболевание обеспечено. Каждая женщина — ловушка... Отсюда — неприятный страх, отсюда тяга к уверенности, к семейному очагу.

— Семейный очаг имеет также свои недостатки,— качая как будто глуповатым лицом, вставил Матти.

— Да. Семейный очаг дает мне некоторую уверенность. Но он же отнимает часть моей личности. Он подрезает мне крылья. Я намекаю не на тебя, Варя,— у нас теоретический разговор, не сверкай глазами. Я получаю сто тридцать пять рублей жалованья за скучную и неинтересную работу. Я только не умираю с голоду. Разве это жизнь, я спрашиваю?

Все так же, с застывшей улыбкой, Матти внимательно покосился на него из-под коровьих ресниц.

— Бедность — это главный несчастье человека...

Шрам около рта у Сучкова резко обозначился, опустились углы губ.

— Мои желания принуждены дремать. Я не вижу этому конца, вот в чем дело. У моей матери не было средств. До восемнадцати лет я учился, в то же время добывал жалкие гроши тяжелым трудом... (Варя остановилась в дверях с пустым блюдом и с этой минуты жадно слушала.) Но я был упрям; если бы не мировая катастрофа, я бы дождался своего часа... Только я кончаю техническое училище — война. И меня гонят на фронт. Там, в дерьме, во вшах, я узнал, какие бывают желания. А хотите, расскажу, как я снял золотые часы и бумажник с одного с оторванной головой? Может быть, это было; может быть, выдумано для Настасьи Ивановны... ха-ха... В месткоме на днях мне сделали замечание — почему я увиливаю от общественной работы. Да, увиливаю, сохраняя свою личность от размена на копеечки. Эту личность ели вши в империалистическую войну, ели вши в гражданскую войну. И теперь за сто тридцать пять рублей месячного оклада я буду еще способствовать развитию социализма в этой стране... Данке шен... Я не идеалист. И прежде всего — я не верю в Россию. Нас обманывали — такого даже и народа нет... И язык-то сам хваленый русский — не язык, а простонародное наречие. А каждая уважающая себя личность должна разговаривать по крайней мере по-немецки. Россия, извиняюсь,— это историческое недоразумение, мираж. Человек существует только там, за пограничной линией.

— Вы большой философ,— сказал Матти, наливая рюмки.

— Меня насильственно заставляют быть философом. Вот — водочка, закуска. Но я не люблю пить, об этом мало кто знает. Я пью только потому, что это — единственное, что материально доступно мне как личности. Нет, граждане, нельзя так играть с человеком. Желания во мне таятся, но не умирают, и они когда-нибудь громко заявят о себе. Но вернемся к началу темы... Женский вопрос... Вот, если вы хотите строить

социализм, хотите, чтобы я вам помогал, прежде всего обезопасьте меня от венерических заболеваний и разгрузите мой семейный очаг. Половые переживания я должен отправлять с такой же легкостью и свободой, как грудь моя дышит воздухом. Что делают для этого в Европе? А вот что, граждане. Город разбивают на районы, в каждом районе — особый кабинет врача-венеролога, открыт круглые сутки. Бесплатно. Каждому гражданину обоего пола выдается карточка. Каждый должен не позже чем через два часа после полового акта явиться к своему районному врачу, подвергнуться обезвреживанию и прижиганию и проштемпелевать карточку. Если он не явился и заболел — пять лет каторжной тюрьмы. Не пройдет двух-трех лет, как болезни исчезнут в Европе... И к женщине мы сможем подходить без страха, срывать ее, как полевой цветок.

Едва Сучков произнес эти слова, Варвара, белая, как бумага, поставила блюдо на стул, подошла, неловко, по-детски, размахнулась и ударила мужа в длинное лицо.

— Уходи, уходи, иди к ним, иди,— зашептала она. Расширенные глаза ее остекленели. Сучков схватил ее за обе руки и, должно быть, больно сжал. Она все повторяла: — Уходи, уходи...

Матти отошел к окну и там закуривал, ломая спички. Настя хотела было обнять ее за плечи, увести из столовой, но Варвара, быстро повернув голову, так взглянула молча в самые глаза, что у Насти затошнило в сердце.

— Ну что, успокоилась теперь? — проговорил Сучков, и рот его полез совсем криво.— Драться больше не будешь? — Он выпустил руки Варвары, и она сейчас же ушла на кухню, затворила дверь.

— У вас, в Финляндии, тоже мужей по мордасам лупят? А у нас, как видите... Так сказать, на сладкое после обеда,— сказал Сучков и, откинувшись на стуле, улыбался зло и криво.

Настя ушла, не простившись с Варварой. Подумала на улице: куда? Светлый день был уже не светел. Она встряхнула волосами, отгоняя неприятное, и вернулась домой, на Петровский остров.

6

На Петровском острове, в шагах тридцати от озера, стоит небольшая мыза. Ветхий забор ее одной стороной выходит на травянистый берег Малой Невы, откуда на яликах перевозят на Васильевский, к устью речки Смоленки. Другим краем забор спускается в тихий затон — гавань и кладбище землечерпалок. Из затона в круглое озеро, затененное столетними липами, ведет узкий проток с горбатым мостиком. Подойти к мызе можно только через этот мостик. Здесь всегда закрыты ворота. За ними — рябина, кусты, лопухи, грядки с картошкой, и поблескивают от отсветов воды три пузырчатых окошка деревянного домика.

Здесь живет Иван Иванович Фарафонов, хранитель этой мызы и всего казенного имущества затона — заржавленных землечерпалок, пароходных котлов, перевернутых кверху килями старых баркасов, якорей, железного хлама, валяющегося на берегу. Из окон видна Малая Нева, где пробегает, надымив под Тучковым мостом, буксирчик «Кропоткин», и от его волны тяжело поскрипывают дровяные баржи, стоящие караваном. Дальше видны мачты финских лайб, пришедших с дровами или с камнем, крыши Васильевского острова, выцветшие купола. Дальше на восток — колоннады корпусов Академии наук, рогатая ростральная колонна, и за туманами — все неяснее, все голубее — арки мостов, купол Исаакия, игла над крепостью, поблескивающая, как щель в небе.

С севера Петровский остров обтекает речка Ждановка. За ней — Петербургская сторона. Днем в будни, когда пустеет стадион (у самого Тучкова моста) и по Ждановке еще не плавают лодки гребного клуба,— на острове тихо, поют птицы. Пасется несколько коз. Возятся дети на берегу озера. Гуляет со старой собачкой бедно одетая увядшая женщина и, наверное, не вспоминает даже, как под этими липами когда-то мчались на Петровское шоссе затянутые в мундиры всадники, черные амазонки и вереницы блестящих колясок. Здесь проходила веселая дорога — днем на Стрелку, ночью — к певичкам на Крестовский. Тогда еще не было стадио-

на, и Ждановка не кишела простонародьем в лодках; канатные и металлические заводы вдоль шоссе были закрыты от глаз глухими и высокими заборами; черные трубы заводов на Голодае и на Васильевском дымили в то время где-то, казалось, очень далеко, усугубляя мрачную красоту закатов. Нет, дама с собачкой не вспоминала того прошлого, оно было загромождено (все равно как на пустырях Петербургской стороны) грудами развалин, поросших крапивой.

С пяти часов в будни — а в праздники с утра — на Петровском острове начиналось оживление. Стреляли мотоциклетки на виражах стадиона. Валом валил народ на трибуны, на парапеты виражей, лез на деревья, плыли через Ждановку, держа над головой одежу, ломились через заставы с Тучкова моста: это с шести часов начинался великий бой между ленинградской сборной и сборной из Европы, и тысяч десять свирепых ленинградских патриотов ревели львами, когда наш бек, Червяков-второй, вбивал головой гол в ворота Европе. «Даешь сухую!»

Трепались паруса вдоль зеленых берегов острова, скользили, проплывали вереницами шлюпки: разлатые обывательские, и узкие, как ножи,— спортивные, с голоногими девушками и юношами. Проходил с песней двадцатичетырехвесельный военный вельбот: на голых моряках одни белые бескозырки, спины — как ошпаренные кипятком. Ревя, в водяной пыли проносилась аэролодка. В мягкую синеву влажного неба летел вальс медных труб.

На мызе у затона, за покосившимся забором, Настя полола грядки. Долетали звуки труб, взрывы криков, плеск, и голоса и смех на озере. Этой весной Настя окончила вторую ступень, и наступающее лето казалось ей огромным простором, где вьется в солнечной мгле и ее дорожка. Что-то будет, когда опадут листья в парке? Вместе с дождями начнется служба (где-то), новые люди, встречи, меняющие жизнь, незнакомые волнения, быть может — счастье. И Настя мечтательно выпалывала лебеду на грядке с салатом и редиской. Сегодня была суббота, и часов уже с трех на острове — куда ни глянь — лежали люди под липами, звенели гитары в

траве. На озере слышался плеск и взвизги. С востока, из-за лип, с вышки стадиона чей-то великаний голос кричал в рупор: «Товарищи... мы должны победить... понадобится напряжение всех сил...» Настя бросила полоть редиску. С синего неба лился свет хрустальными глыбами. Настя сняла белую косынку, взяла с куста полотенце и вышла за ворота.

7

Посреди озера вертелась огромная деревянная катушка из-под электрического кабеля. На нее лезли, как лягушата, мальчишки. Настя плыла по синей воде, по солнечным отсветам. Ей хотелось залезть на катушку, но увидела, что мальчишки не пустят. Она повернула.

Под столетними деревьями на низком берегу, казалось, собралось какое-то шумное многочадное племя. Лежали вповалку в траве, закусывали яичком, колбасой. Спали, подставив морду под солнце. Молодые люди, прикрыв только срам, играли на гитарах и балалайках девушкам, сонным от света и зноя и водяных зайчиков, скользивших по их лицам. Возились, плакали, смеялись дети, разбрызгивая ногами воду. Снюхивались собаки. Мальчики-подростки висели на сучьях, на склоненных ивах, засматривая сверху на купающихся женщин. На мели, на пленке воды, лежали, выставляя пышные зады, две проститутки. Бегал по песку журавлем на единственной ноге волосатый инвалид, гоготал от удовольствия. Неугомонные старички в белых картузиках бродили около распаренных в траве женских тел. Налетел ветерок, шелестел листьями. Над озером, над парком плыли прозрачные звуки труб. Варварин брат Колька вместе с кучкой матерщинников шатался здесь же, надоедая всем хуже горькой редьки,— но поди его прогони!

Мельком Настя заметила на берегу узкобедрого человека без штанов. Он поспешно тащил через голову серую рубашку. Настя отвернулась. Он побежал в воду, бросился, поплыл. Настя повернула к дальнему берегу,

к мызе. Человек, дыша со свистом, сильно выкидывая руки саженками, догнал Настю на середине озера.

— Нет, Настасья Ивановна, не уйдете...

Это был Сучков. Длинное, без румянца, лицо его разрезало воду, приближалось со страшной быстротой. Вдруг он вскинулся, вильнул спиной и, нырнув, проплыл глубоко бледной тенью под розовым Настиным телом. Ее охватил такой непонятный страх, что она вскрикнула, выскочила по пояс из воды. Загоготали парни на берегу, пронзительно засвистали мальчишки на мокрой катушке.

Сучков вынырнул, отфыркнувшись, отсморкнувшись, сказал:

— Я всю неделю мечтал с вами встретиться...

Настя медленно плыла к мызе. Плохо слушались руки, ноги. Он плыл сбоку, как водяной конь,— казалось, вода кипит вокруг его ошпаренного тела...

— Я искал встречи... Вы произвели на меня незабываемое впечатление...

— Слушайте, оставьте, Василий Алексеевич...

— Не вспоминайте, что было в прошлое воскресенье... Я совершенно переродился... С Варварой — ничего общего... Я понял, кому отдавал мои силы... Хочется много-много говорить вам о моих настроениях... То, что мы так разделены, чертовски бесит меня, моментами схожу с ума... Хочется синих глаз... Хочется вашей ласки...

— Слушайте,— проговорила Настя, задыхаясь,— поворачивайте, здесь женский пляж...

— Завтра приду опять,— сказал Сучков почти что зловеще.— Оставьте всякий страх, отдайтесь красивому зову.

Он поплыл назад так уверенно, будто и на самом деле был Настиной судьбой. Настя вышла из воды, встревоженная и рассеянная, накинула платьишко и босиком пошла на мызу. Вот так начало лета, вот так начало жизни!.. Хотя, помимо всего прочего, по молодости и глупости ей было также и приятно, когда вспоминала, как по синей-синей воде, под потоками солнца плыл водяной конь.

8

Искупавшись, Сучков пошел через Тучков мост на Васильевский. Здесь на углу, у самого моста, в старинном подвале была пивная. Место известное. У хлопающей поминутно двери играл на цитре бородач с мертвыми глазами. Звенение цитры, несвязные крики, стук кулаков по столикам, грохот пивных ящиков — все эти звуки перекатывались под низкими и потными сводами. Дышали здесь одним махорочным дымом. Видимо, без того, чтобы въехать в голову пивной бутылкой, трудно было обойтись в этом месте.

Сучков прошел в дальнюю комнату и сейчас же увидел Матти.

— Давно ждете?

— Ничего,— не спеша сказал Матти.

— Ну что же, парочку?

— Но здесь чересчур много публика.

— Делу не мешает. Лучше места не найти.

Сучков сел, забарабанил ногтями. Ело глаза. Матти нагнулся к его уху:

— Я больше ожидать не в состоянии. Я есть лицо, которое бескорыстно взял на себя труд привлечь вас к высоко идейному делу. Вы в душе европеец. Вы должны нам помочь. Но если вы сегодня же не скажете «да» — сегодня же я ушел через границу.

— Конкретно, реально: сколько денег?

— Задатку пятьсот рублей.

— Мало,— быстро сказал Сучков.

— Хорошо, там посмотрим. Повторяю: я бескорыстно выполняю инструкции. Я буду говорить об увеличении задатка. Затем, по доставлении нам сведений...

— Тише с такими словами,— сказал Сучков.

— ...вы получаете за каждое вполне законченное сведение по сто рублей...

— Мало...

Молочное лицо Матти начало краснеть, побагровели уши, налилась потная жила поперек лба.

— Я бы не хотел, чтобы вы надо мной смеялись. На ваше жалованье вы не сможете сшить даже хороший пиджак, вы ходите в скверный пиджак, в Европе

над такой пиджак будут смеяться... Вы курите паршивый папирос и кушайте в будни один блюд. (От возмущения он говорил все хуже по-русски.) А я вам предлагай колоссальные деньги... Я предлагай сто рублей за каждый сведений... За месяц вы можете дать много сведений...

— Тише орите... ну вас к черту!

Сучков оглянулся. Стало холодно спине. У стены сидела Варвара в розовой шляпке, надвинутой на глаза, сжимала обеими руками зонтик (из кладовых князей Юсуповых, приобретенный на аукционе). За столиком Варвары спал щекой в луже пива горько напившийся какой-то кустарь-одиночка.

Варвара не шевелилась, сжимала только зонтик, не разглядеть было ее глаз за тенью, губы стиснуты. Наконец увидел ее и Матти. Вскочил, протягивая руки:

— Какое счастливое совпадение!..

— Это что еще за новые штучки? — выговорил наконец Сучков.

Варвара не отвечала. От духоты ли, или от чего другого ей, видимо, было совсем плохо. Сучков и Матти повели ее под руки из пивной. За столиками закричали вдогонку:

— Двое бабу поволокли... Эй, браточки... возьмите нас, мы подможем.

На улице Варвара, еще слабая, с томительной пытливостью стала глядеть на мужа. Закивала-закивала головой и пошла одна через мост.

9

Сучков пришел домой в сумерки, злой как черт. У самой двери его остановил управдом Шапшнев и попросил заплатить недоимочку (тридцать рублей). Попросил только для порядка, потому что была середина месяца и у Сучкова, очевидно, не могло иметься денег.

Управдом впоследствии показывал, что несказанно был удивлен, когда Сучков, ни слова не говоря, перекривился, полез в карман пиджака, там пошарил, как

человек, у которого большие деньги в кармане и он не хочет показывать, вытащил три бумажки и подал управдому. И сейчас же оба заметили: одна из бумажек была достоинством в десять червонцев.

«Сразу меня вроде как кирпичом ударило,— показывал управдом,— откуда у него такие деньги?» Сучков еще страшнее перекривился, сунул десять червонцев в карман и вместо них вытащил другую бумажку, которая оказалась тоже десятью червонцами. Тогда он прошептал какое-то слово, кинулся в дверь и затворил ее за собой на крюк.

Управдом остался на площадке лестницы с двумя червонцами в руке и в великом смущении.

10

Варвара лежала в постели, закрывшись с головой. Сучков не спеша разделся, лег рядом с нею на спину и начал курить папироски. За окном, испачканным кляксами извести, за непромытыми стеклами светила белая ночь. Варвара лежала как мертвая. Тикали часы на комоде. В них что-то заскочило, захрипело, как будто и им стало невыносимо в затихшей спальне, где думал Сучков,— но хрипнули, оправились и опять пошли отрезать секунды жизни, угонять их трупики черт знает куда и зачем... Сучков соскочил с постели, зло наступая на завязки подштанников, пошел в столовую, достал из ящика письменного стола тетрадку (школьную, с портретом Калинина и таблицей умножения) и, присев у подоконника, записал:

«17 июня. Утром ушел со службы под предлогом невыносимой зубной боли. Пошел в Петровский парк. Купался. Встретил Н. Волнующие формы ее тела оправдали ожидания. Говорил с ней, очень удачно подготовил почву для будущего свидания. Вечером покончил с М., хотя еще не знаю, как задастся работа. Но уже вырастают крылья. Между прочим, М. предложил отделаться от Вари. Конкретного ничего не предлагает. Может быть, она сама поймет, что надо отойти...»

Заперев тетрадь в ящик и ключик положив в портмоне, Сучков вернулся в спальню. Сказал, глядя на маятник часов:

— У меня бессонница. Может быть, ты поставишь чайник на примус?

Тогда Варвара сорвала с себя простыню, села на постели, в расстегнутом платье, растрепанная, со спущенными чулками. Ей теперь было все равно — пусть его смотрит на опухшее, на мокрое лицо.

— Я ведь была, голубчик, в Петровском парке сегодня... Видела, как ты плавал с этой дрянью... Эх, ты... мерзавец! — Она потрясла головой.— Мерзавец...

— Не ругайся,— сказал он ледяным голосом.— За ругательство, и вообще — бить по лицу, и за «мерзавца» недолго очутиться у народного судьи... Кроме того, я тебе не давал обещаний, что ограничу свои потребности одной женщиной...

— Знаю... знаю... Вот что для тебя плохо: то, что я тебя поняла, Василий Алексеевич... Глаза вдруг открылись... Ты — зверь... Скотина бритая...

— В последний раз — прекрати...

— Да хоть голову оторви, не перестану. Думаешь, хоть столечко мне страшно? Ты поганый... Тебе любая посудина хороша... Зачем же ты со мной целый год жил? Ведь я женщина все-таки... Ты бы лучше козу завел. Или эту Настьку, под которую сегодня нырял. Я все видела... За год я от тебя человеческого слова не добилась... Нет, милый, ты их не умеешь говорить. Да будь они прокляты, твои поганые тряпки, твои подарки!.. (Она рванула до самого подола платье на себе.) До тебя я знала мужчин. Троих. С нашей фабрики. Тебе неизвестно про это? Так вот — знай... Они миленькой меня звали, душечкой... дорогим товарищем. Третьего я перед тобой бросила. Он меня и до сих пор жалеет...

— Ну, точка,— брезгливо сказал Сучков.— Подробности меня не интересуют...

Варвара опустила голову. Помолчала. И снова взглянула на мужа,— лицо ее беззвучно задрожало:

— Пользоваться тебе придется другой теперь посудиной, дружок... Конечно, чтобы ты как-нибудь не за-

разился... Только я тебе должна сказать про два секрета... (Сучков быстро покосился, она это заметила и вдруг усмехнулась.) Я беременная, Василий Алексеевич, на третьем месяце... Младенца убивать не стану, рожу его, и ты будешь платить алименты...

— Ага! — Сучков свернул нос, начал ходить по спальне.— Ну, это мы еще посмотрим... Если ты действительно беременная — это еще не значит, что я отец... Это еще вопрос — кто отец...— Он наступил, наконец, на завязки, с остервенением дернул ногой, оборвал их и заорал: — А шантажа не допущу!.. На алименты не очень-то рассчитывай...

Тогда Варвара потянула на грудь разорванное платье, прикрылась до горла, подобрала под себя голые ноги. Она будто боялась теперь глядеть на мужа, мотающегося в подштанниках по спальне; глядела в окошко. Облизнув губы, сказала:

— Теперь — второе, Василий Алексеевич... Если ты так мне сказал... Я тебе тоже скажу... Не хотела... Нет, нет, нет... Все-таки муж мне был... Василий Алексеевич, я на тебя донесу...

Сучков сразу остановился. Длинное лицо его с проступившей тенью небритых щек казалось от бессонницы и света белой ночи мертвенно-зеленоватым. Варвара сказала тихо, горестно:

— Василий Алексеевич, ты — шпион.

На этом разговор окончился. Варвара опять легла, закрылась с головой. Сучков ушел в столовую. Затем он кипятил себе на примусе чай. В седьмом часу он зашел в спальню за одеждой и вскоре вышел из дому.

11

По праздникам Тимофей Иванович Жавлин любил обедать рано, как только поспевали пирог или пшеничные лепешки на коровьем масле. Жил он сейчас же за Нарвскими воротами (великолепной аркой с каменными мужиками и со «Славой», летевшей на четверке коней навстречу российскому воинству, припершему пешком

из Парижа), в одноэтажном деревянном домике, подпертом бревнами со стороны пустыря.

На этом-то пустыре достраивалась первая группа рабочих домов, про которые Тимофей Иванович рассказывал в пивной Ивану Ивановичу. Это была уходящая изгибом от Петергофского шоссе на восток улица трехэтажных, песочного цвета, построек с плоскими крышами, балконами, вытянутыми в ширину окнами. Дома соединялись друг с другом высокими полуарками. Улица напоминала несколько урбанические пейзажи городов будущего, еще так недавно снившихся художникам-графикам школы Добужинского.

Три группы таких построек расположены были по шоссе. Между ними на пустырях догнивали домишки едва ли не времени Петра — какие-то почерневшие от непогоды хуторки с недоброй жизнью. Дальше раскинулись прокопченные корпуса Путиловских заводов, дымящие трубы, подъездные пути, стелющиеся к земле дымки паровозиков, стеклянные крыши, и вдали — Северная верфь с эллингом и решетчатыми кранами, видными далеко с моря, с Лахты и Ораниенбаума. И тут же между речонкой Таракановкой, черной от угля, и заливом верфи, на пологом берегу, где опрокинуты лодки и сушатся сети,— примостилась рыбачья деревенька Ермолаевка, петровских же времен, дворов с полсотни. Здесь ловят весной корюшку, по осени — миног и во всякое время гонят дешевую самогонку. Отсюда, проспавшись по шинкам, выходят баловаться нарвские богатыри-поножовщики. Место темное.

Сегодня Тимофей Иванович сел обедать один. Мишка — комсомолец — чуть свет ушел на парусной лодке. Колька всю ночь пьянствовал где-то, вернулся домой весь вывалянный в грязи, хотя и дождя-то не было,— значит, искал эту грязь специально,— сейчас посапывал за стеной в чулане.

Кухня, где сидел Тимофей Иванович у золоченого, в стиле Людовика XV, стола (полученного по ордеру в 1921 году со складов Тучкова буяна), была совсем ветхая, обои отлупились, пол сгнил, через стены дуло, посреди стояло бревно, поддерживая прогнувшийся потолок. Двадцать лет прожил здесь Тимофей Иванович.

Сюда приволокли его раненного пулей (девятого января), на этой лавке сиживали вожди (в пятом году и в семнадцатом), из этой гнилой избенки вылетали когда-то огненные слова.

Года отшумели, отлетели. Пришлось Тимофею Ивановичу и воевать, и заседать в Советах, и бродить с винтовкой по полям в поисках запрятанного хлеба, и замерзать в снегах Поморья, и трястись в туркестанской лихорадке. Но когда стало можно, вернулся он на верфь, к любезной работе. И пошли дни — будни, от которых с ума стали сходить иные горячие головы. В этих случаях Тимофей Иванович говаривал: «В особенности русскому надо учиться работать день за днем, как поршень».

Держа наготове вилку, Тимофей Иванович весело поглядывал на тетку Авдотью (двоюродную сестру покойной жены). Она вынимала из печи пирог с морковью. По несознательности больше топталась, чем дело делала. Тимофей Иванович любил иногда над ней посмеяться.

— Авдотья,— говорил он вразумительно,— Авдотья, отдам я тебя обучать по системе Форда. Разве так можно с пирогом обращаться? Должна разумные движения делать, а ты топчешься.

— Да бог его знает, Тимофей Иванович, как я его далеко в печь закинула, а кругом чугуны.

— Конечно, богу одна забота о твоем пироге. Куда уж мне с советом соваться! Однако сомневаюсь: а вдруг бога-то нет? Тогда как же ты с пирогом? Ведь, пожалуй, он и пригорит...

— В праздник хотя бы помолчали об этом, Тимофей Иванович.

— Не могу. Мне из ячейки ударное задание — тебя обратить в безбожницу.

Авдотья не отвечала, только незаметно под фартуком перекрестилась. Наконец пирог она вытащила из печки, обмахнула крылышком, подала:

— Кушайте на здоровье, Тимофей Иванович.

Посмеиваясь, Тимофей Иванович отрезал дымящийся кусок. В это время на черном крыльце стукнула дверь, и вошла Варвара, в шляпке, с зонтиком. Тимо-

фей Иванович взглянул на дочь и сейчас же опустил вилку. В глазах у него пропал смех.

Варвара сняла шляпку, села на скамью к отцу и положила ему голову на плечо.

— Папынька,— сказала она,— папынька родной, я проститься пришла.

12

Осторожно Тимофей Иванович стал выспрашивать у дочери:

— Дома, что ли, нехорошо?

— Нет, папынька, дома все благополучно.

— Уезжаешь?

— Нет, папынька, никуда не уезжаю. Только, может быть, не увидимся больше. Хотела проститься, в родные глаза посмотреть.

Варвара говорила с такой тоской, без слез, тихо, что Тимофей Иванович слушал ее, слушал и отвернулся к окну, волосы у него на затылке стали торчком.

— Умирать собралась, скажи пожалуйста... Вот глупая! Это оттого — что глупая...

Тетка Авдотья то же самое — слушала-слушала, бросила ухват на пол, залилась слезами:

— О-ой, Варвара-а-а...

Невеселый вышел обед в это воскресенье у Тимофея Ивановича. Варвара ничего толком так и не рассказала. Отошла, отогрелась на отцовском плече. Уехала домой.

13

В столовой, поджав под стул босые ноги, Сучков записал:

«18 июня. Час ночи. Был на озере... Н. на свиданье не пришла. Напрасно прождал до семи часов. Ходил около мызы и видел на двери замок. Если это вызов со стороны Н., то я не из тех, кто отступает перед намеченной целью. Вечером говорил с М., откровенно высказал опасения насчет Вари. М. настаивает. Дал слово быть товарищем. Вместе обсуждали план. Да, М. прав,

говоря, что нужно быть европейцем: ясно видеть цель и сокрушать все на пути».

Эту ночь Сучков спал в столовой, прикрывшись старой военной шинелью. Он не слышал, как Варвара осторожно подходила к двери и долго глядела на него. Не погрозила даже пальцем ему,— глядела как будто с горестным изумлением...

14

Двадцатого июня Сучков вернулся раньше обычного со службы и сам жарил свиные котлеты. Варя приходила с шоколадной фабрики в половине шестого. Отворив ей парадную дверь, он сказал с улыбочкой:

— Варя, надо кончить нашу бузу. Ты не поняла меня, я не понял тебя. Ты бросила мне обвинение, оно меня глубоко обидело. Но теперь я понял, что мы оба не виноваты. Нам нужно серьезно объясниться... Раз и навсегда.

Варвара глядела на его рот, покуда он говорил. Затем повторила, опустив голову: «Раз и навсегда». Сучков принес из кухни котлеты. Позвал:

— Иди шамать, сегодня я — кухарка за повара.

Он выпил несколько рюмок водки, с усмешкой нюхая черную корочку, и даже рассказал анекдот (из «Бегемота») про тещу и фининспектора. Варвара сидела за столом настороженная. Наконец, катая хлебные шарики, он приступил к самому главному:

— Ты подслушала мой разговор с Матти. Вышло вроде как в кинематографе: жена открывает, что муж ее шпион. Ха-ха-ха... Понятно твое настроение... Ах, Варя, Варя... Дело объясняется гораздо проще. Матти — представитель одной крупной фирмы. И, понимаешь, они очень осторожны... Покуда они собирают предварительные сведения для ориентировки, сметы и прочее... Пока все это в строжайшем секрете... Так вот, какой я шпион! Ха-ха... Вчера, наконец, я умолил Матти, и он разрешил тебе все рассказать, чтобы успокоить. (Он весело потрепал Варварину руку.) Ну, а что касается этой девочки, Насти,— будь благоразумна, Ва-

ря... Тут даже не увлечение... А просто игра с котенком... Я не люблю невинных...

Варвара столько настрадалась за эти дни, что рада была поверить,— не хотела, а поверила мужу. А что, если действительно ей все это только представилось? Прикрыв ладонью глаза, она сказала:

— Ты же сам сказал, что не давал обещания ограничить потребности одной женщиной...

— Брось, Варя. Не такие слова говорят со зла.

— Разговор этот в прошлое воскресенье никогда не забуду... Главное — и Настя тут же и этот твой приятель... И всем ясно, что я тебе опостылела, не знаешь уж, на кого и кинуться...

— Нервы, нервы, Варя... Женская фантазия... Я говорил теоретически, чтобы поддержать интересный разговор за столом... Ну ведь и ты хороша — смазала меня по морде...

Варвара глубоко вздохнула от последней горечи. Ей было не под силу больше страдать. Не доев котлеты, пошла в спальню. Припудрилась, поправила волосы. Подумала и переменила платье. И вдруг стало как будто совсем легко. Сучков, едва она ушла, опустил голову и весь сморщился, стуча ногтями по клеенке. Затем выпил подряд три рюмки водки, не закусывая. Повернулся на стуле и смотрел на стену, за которой ходила Варвара.

— Варя,— позвал он тихо и хрипло, откашлялся и — громко: — Варя, знаешь, чтó я придумал... (Она вернулась в столовую.) Пойдем на воздух. Мы с тобой давно не гуляли... (Варвара вдруг улыбнулась доверчиво и готовно, совсем как год назад, в кинематографе. Сучков скользнул по ней взглядом и еще налил водки.) Погуляем, поговорим... У одного знакомого лодка стоит на Голодае, неподалеку от Смоленского кладбища... Ну, одевайся... Шляпку не надевай... Лучше — платочек...

В прихожей он стал тереть лоб, досадливо махнул рукой:

— Досада, забыл совсем. Ты иди к Большому, к остановке шестерки, дожидайся меня, я на минутку зайду в правление.

Варвара ушла. Сучков, приоткрыв дверь, слушал, как она спускалась по лестнице. Кажется, она ни с кем не встретилась, не заговорила.

Затем долго перед зеркалом надевал фуражку. Посмотрел, взяты ли папиросы, спички. На цыпочках — не замечая этого — вышел из квартиры, неслышно притворил за собой дверь. Крадучись, спустился в домовую контору и там уже очень громко сказал управдому Шапшиеву:

— Жена ушла куда-то, забыла взять ключ от парадного. Передайте, пожалуйста, ей ключик, когда вернется. А я — на вечерние занятия; вернусь, должно быть, поздно...

15

За Смоленским кладбищем на запад лежит пустынная, голая и низменная земля, остров Голодай, или так называемый Новый Петербург. Здесь некогда замыслили строить фантастически прекрасный город, весь из мрамора и гранита, новую Пальмиру северных морей. Но успели поставить только несколько пятиэтажных корпусов, которые хмуро глядят огромными окнами на море, на илистые берега с вытащенными кое-где лодками, на заколоченную дачу Григория Григорьевича Ге (натерпевшегося однажды ночью, сидя на крыше, великого страха во время наводнения), на канавы, кучи щебня и железа, разбросанные по острову, на торчащие из травы остатки фонтана. В одиноких домах живут, но места эти мало посещаемы, в особенности юго-западная часть острова.

Туда-то и шли сейчас Сучков — впереди, сунув руки в карманы, широко шагая, и Варвара, отстававшая несколько от него. Вдали низко над зеркальным морем висели облака, уже окрашенные вечерней зарей. Красноватый, золотой, зелено-водянистый свет зари мирно разливался за полосками фортов Кронштадта, за лесистыми берегами Лахты, повисшими, как мираж, над заливом.

— Вася, не беги, куда ты торопишься? — задыхаясь, повторяла Варвара.

Всю дорогу до кладбища Сучков простоял на площадке трамвая. Сойдя, он взял Варвару под руку. И шел быстро, все быстрее. Маленькие глаза его бегали по сторонам, по лицам редких прохожих. Когда за поворотом открылось зеркальное море и вечерняя заря над ним и Варвара прижалась к мужу за лаской — он выдернул руку из руки Варвары и побежал вперед.

Он остановился у невысокого обрыва. Внизу ленивая пленка воды набегала на песок, на осколки пивных бутылок, на камни...

— Вот черт, нет лодки,— сказал Сучков, глядя в море, где дремали паруса заштилевших яхт.— Вот черт, придется подождать...

Он спрыгнул на песок и, не оборачиваясь:

— Ну... прыгай... Сядем...

У Варвары горячо забилось сердце. Она прыгнула, села на песок; опираясь руками — откинулась, зажмурилась на зарю. От движения синее в полоску платье вздернулось выше колен. Не поправила, так и оставила. Так ей хотелось счастья в этот теплый вечер, что с той минуты, когда убежала в спальню напудриться, и до самого конца была в обмане, ничего не поняла.

Присев на корточки, Сучков курил. Оглядываясь по сторонам, повторял: «Сейчас, сейчас, подожди немного...» Вдали на стадионе (Голодайостровском) играла музыка, но это было версты за две, а здесь берег пуст.

— Вася,— проговорила, все еще жмурясь, Варвара,— мне ведь многого не нужно... Я не как другие — ревновать, мучить... Если я знаю, что ты меня жалеешь, любишь... Что же еще-то?

— Молчи, молчи,— сказал Сучков сквозь зубы. Наверху на обрыве заскрипели шаги, и голос Матти торопливо проговорил:

— Кончай скорей!

Варвара выпрямилась, раскрыла рот — захватить воздуху. Крикнула. Страшнее всего было землистое длинное лицо мужа. Глядел с такой неистовой злобой, как черт... Варвара было рванулась с песка, он схватил ее за ногу, опрокинул, живо вскочил на грудь, обхватил шею ледяными пальцами. Душил, работая плечами. Отпустил одну руку, вытащил из песка кирпич и ударил

им несколько раз Варвару по голове,— бил, покуда кирпич не разломился. Потом слез с Варвары, оглянулся на лицо ее, залитое кровью, и пошел вдоль воды. Матти уже шагал далеко по пустырю к кладбищу.

16

Во втором часу утра Сучков быстро прошел в воротах мимо дворника, который долго еще нюхал после него пивной запах. Без десяти два он позвонил к управдому Шапшневу и в сильном волнении сказал:

— Варвара Тимофеевна не приходила разве? Не брала ключа?

— Нет, ключ у меня,— ответил управдом, почесывая босой ногой ногу. Он также отметил сильный запах пива от Сучкова.

— Я начинаю тревожиться... Не случилось ли чего? А? Или у отца она заночевала? А? Ведь люди такие теперь — заманят, да и задушат... А?.. Как вы думаете?

Управдому стало жутко от этих вопросов. Сучков лез к самому лицу, глядел в глаза — не то пьян был вдребезги, не то возбужден до того, что едва собой владел. Прижав управдома в полутемной прихожей к стене, он дрожал всем телом. Наконец взял ключ и, шатаясь, вышел на лестницу.

Поднявшись к себе, Сучков наложил цепочку на дверь. На цыпочках прошел в спальню, где смутно белела неубранная Варварина постель, и перед зеркальным шкафом тщательно причесался, припудрил лицо пуховкой. После этого лег на свою кровать навзничь и некоторое время лежал как труп. Вскочил, тяжело дыша, и дрожащей от бешенства рукой остановил маятник часов. Ушел в столовую и там ходил и курил. Останавливаясь, прислушивался. Вполголоса, с каким-то даже берущим за сердце чувством повторил несколько раз: «Да, вот я и один». Затем снял сапоги и сел у окна писать:

«21 июня. Задуманное выполнил. Тотчас поехал на Невский... М. уже ожидал на углу. Вместе зашли в бар. Почистился. В уборной М. передал еще триста. Ужи-

нали. М. много рассказывал о загранице. После ужина познакомился с проституткой, которую мне указал М. Поехали к ней. Провел время очень удачно. По возвращении домой вопрос с ключом прошел как по маслу...»

Сучков почесал переносицу концом вставочки. Зрачки его остановились, расширились. Он осторожно положил вставочку. Лицо его сморщилось, как печеное. «Ну тебя к черту!» — прошептал он. И опять — ходил и курил.

Зачем он писал этот дневник? Почему, так тщательно обдумывая подробности убийства, он не уничтожил его в первую голову? Видимо, не будь дневника, точных записей — Сучков растерялся бы, заблудился бы, потерял самого себя. Дневник его был скелетом, его личностью. Короткие записи и даты служили вехами, по которым в пустоте, в темноте брела его страшная душа.

Он тщательно завернул дневник в газету, перевязал ленточкой и положил в уборной на бак с водой. Сделав это, лег спать, как и все эти дни — в столовой на диване, прикрывшись старой шинелью.

17

Около четырех часов следующего дня Настя встретила Сучкова в парке на Петровском острове: он шел, поглядывая через плечо, точно уходил от кого-то. В свете безоблачного дня, льющегося сквозь листву, лицо его казалось болезненно-серым, сморщенным, старым. Он шел от мызы: Настя поняла, что он искал ее.

Внезапно, должно быть отделившись от дерева, к нему подошел Матти. Сучков сейчас же поджался, как собачонка при виде собачищи. Опустил голову. Матти на ходу сказал ему что-то, решительно резанул воздух ладонью. Когда он скрылся между липами, Сучков стал закуривать, сунув папироску в рот не тем концом,— сжег несколько спичек и с тихим бешенством растоптал папироску.

Настя видела все это, сидя после купанья на стволе наклонившейся над озером ивы. Купающихся было еще

мало,— только дети да няньки да старички с собаками бродили по берегу. Насте стало страшновато: почувствовала, что сейчас будет решительный разговор. Она нагнулась над книжкой с оторванным концом и началом, неизвестного автора, по старой орфографии — про любовь. Сучков подошел неслышно. Чуть задыхаясь, сказал:

— Что же, избегаете меня, Настасья Ивановна? Я не болен, я не импотент... В чем, собственно, дело?

Настя подняла голову от книжки, откинула волосы с лица, прищурилась на солнечную воду:

— Я вас не избегаю, чего же избегать-то? Просто — безразлично...

— Врете, врете, врете,— надвинувшись, зашептал Сучков. От него шел особенный, какой-то прогорклый запах, на углах губ сбилась пена.— Врете, трусите... Не хотите дать волю естественным инстинктам... Что за обывательщина!.. Я пойду на все, не отступлю ни перед чем... Я в таком состоянии — все эти дурацкие предрассудки к черту!.. Такого темперамента, такого первоклассного мужчины не найдете в Ленинграде... Черта вам искать!..

Разумеется, Настя могла бы легко уклониться от объяснения, и впоследствии она лгала, рассказывая, будто Сучков налетел на нее, как бешеный. Все это так. Но вначале она и волосы откинула, и глазки у нее были изумленно-хорошенькие, и ножкой болтала, сидя на изгибе ивы. Еще бы: даровое развлечение, переживание, посильнее, чем в театре. Сучков же так странно повернул разговор, так заспешил, точно от смертного голода готов был вонзить зубы в Настино загорелое плечо,— и у нее пропало всякое любопытство, стало страшно. Она слезла с дерева и легонько помахивала на Сучкова книжкой по старой орфографии.

— Слушайте, оставьте! Слушайте, я милиционера позову,— бормотала она, сама еще не зная, отчего такой страх идет от воспаленных, как угольки, мутных глаз Сучкова. Он видел, что она готова убежать, и не шевелился, говорил тихим баском, и только ногти его вцепились в ивовую кору:

— Я понимаю — вы опасаетесь Варвары, серной кислоты и прочее... Конечно... С Варварой все кончено... Да не бойтесь вы меня, боже мой... слушайте... Она ушла вчера... Мы расстались... Мирно, без скандала... Самка не поладила с самцом... Органическое отталкивание... Кроме того — у нее любовники... С шоколадной фабрики... Я начинаю новую жизнь... Этой осенью непременно уезжаю за границу... Ненавижу Россию, здесь можно сойти с ума... (Точно от приступа боли он заскрипел зубами.) Я предлагаю роскошную жизнь... А здесь вам что предстоит? Стукать на машинке в советском учреждении... Эх, все равно первый попавшийся мерзавец изомнет вам юбчонку...

И тут, в забытьи, Сучков забормотал шепотом о таких бесстыдных подробностях, что у Насти похолодело сердце от омерзения. Она побежала по берегу к мызе. Сучков зашагал было за ней. Она закричала:

— Гадина!

Сучков споткнулся, закрутил головой, схватился за голову и вдогонку девушке захрипел страшными ругательствами...

. . . .

Еще издали Настя увидела, что в огороде стоят отец и Тимофей Иванович. Настя, разгневанная, запыхавшаяся, подошла. Оба, отец и Жавлин, замолчали. У Тимофея Ивановича картуз был надвинут на странно побелевшие глаза. И лицо у него было странное — проваленные щеки, синие губы, острый костяной нос, борода в каком-то мусоре. Он вертел и ломал сухую палочку. Настя взглянула на отца, он сказал вполголоса:

— Большое несчастье у Тимофея Ивановича. Варвару нашли утром на Голодае. Вся голова разбита.

— Так били ее по лицу, голове — ничего не осталось... По сережкам узнал,— проговорил Тимофей Иванович.— У меня дома лежит сейчас Варя...

Иван Иванович всхлипнул, обхватил дочь:

— Кто, ну — кто? Ну кто это сделал?.. Настя, не ходи ты одна... Не ходи никуда... Не люди же, не люди — звери...

И когда отец это сказал, перед Настей взвилась туманная пелена. Перехватило дыхание — так вдруг все стало ясно и понятно...

— Убил Василий Алексеевич,— сказала она, дрожа всем телом. —Режьте меня, он убил Варю... Он здесь, по парку ходит... У него на рукаве пятно крови...

Тимофей Иванович медленно повернул костяной нос к парку, переспросил:

— Там ходит?

И пошел пудовыми шагами из ворот через мост к озеру. Уж не Насте, не Ивану Ивановичу было его остановить. Он только повторял бегущим с боков Насте и Ивану Ивановичу:

— Оставьте меня. Это мое дело...

Сучков действительно был еще в парке, сидел на пне и курил. Жавлин подошел к нему спереди, кашлянул, спросил просто:

— Ты убил?

Сучков вскочил. У него задрожало лицо. Но не успел ответить. Тимофей Иванович протянул к нему руки, как ветви, взял его за плечи, подтащил к себе, глядел ему в лицо белыми от сухих слез, невидящими глазами:

— Зачем ты убил мою дочь?

И казалось, он недоумевает, что ему делать с этим, которого он обхватил ветвями,— зверь не зверь, не человек — взбесившееся живородное, но уж места ему нет на свете... А в парке уже слышались свистки милиционера, позванного Иваном Ивановичем, чтобы не допустить до новой беды... Между липами бежали люди к месту происшествия. Тимофея Ивановича насилу оторвали от зятя. Кругом шумно дышали любопытные, лезли на плечи. Сучков возмущенно разводил руками:

— Старика надо изолировать: налетел, понимаете ли, кричит — я убил его дочь... Он, может быть, сам ее убил... Почем я знаю...

— Убил, убил! — горестно повторял Жавлин. — Берите его, ведите его, этот человек страшнее сыпнотифозной вши.

. . . .

Ловко все было подстроено у Сучкова. Оказалось, что улик нет никаких. Этим утром им было заявлено в милицию о пропаже жены. Весь вчерашний день по минутам он мог установить, где был и что делал. Его видели даже в топографической школе, куда он направлялся, по словам управдома, на вечерние занятия: он проходил по чертежной и у одного сослуживца попросил прикурить. После допроса его выпустили. Он ушел, удовлетворенно усмехаясь. И сейчас же начал колесить в трамваях по городу. В одиннадцатом часу вечера он осторожно вылез у Смоленского кладбища и пошел к морю. Остров был пустынен в этот бледно-светлый час, неугасаемая заря отражалась в молочном зеркале моря. Рубашка на Сучкове была мокрая, пот лил по лицу. Он шел, низко пригибаясь, разыскивая что-то. Вот, наконец, то место, где вчера он спрыгнул к воде. Он оглянулся и прыгнул. На откосе, на песке, лежали двое в кожаных куртках. Они сейчас же поднялись и взяли Сучкова за руки, загнули их за спину. Один из агентов сказал:

— Вы стеклышко от часов-браслета разыскиваете? Вот оно, гражданин. А мы заждались, думали — не придете.

Такова была первая улика. Вторая — выдуманное Настей, но действительно оказавшееся, при тщательном исследовании, замытое пятно крови на правом рукаве у Сучкова, около локтя. Третьей — решающей уликой послужил найденный при обыске дневник. В тюрьме Сучков пытался вскрыть себе гвоздем вену, но неудачно. И на третьем допросе, раздавленный, растерявшийся, он рассказал все, вплоть до сношений со шпионской организацией Матти.

ДРЕВНИЙ ПУТЬ

Темной весенней ночью по отвесному трапу на бак океанского парохода поднялся высокий человек в военном плаще. Поль Торен поднимался медленно, со ступеньки на ступеньку — с трудом. От света мачтового фонаря поблескивали на его кепи три золотых галуна. Он обогнул облепленную илом якорную цепь и остановился на самом носу,— облокотился о перильца и так застыл, не шевелясь. Лишь край его плаща отдувался встречным слабым движением воздуха.

На пароходе светили только отличительные огни — зеленый и красный — да два топовых на мачтах терялись вверху, в незаметной пелене тумана. Задернутыми были и звезды. Ночь темна. Внизу, на большой глубине, железный нос с тихим плеском разрезал воду.

Прислонившись к перилам, Поль Торен глядел на воду. Лихорадка жгла глаза. Ветерок проходил сквозь все тело — и это было не плохо. О каюте, горячей койке, о заснувшей под колючей лампочкой сестре милосердия — болезненно было подумать: белая косынка, кровавый крест на халате, пергаментное лицо унылого спутника страдающих. Она провожала Поля Торена на родину, во Францию. Когда она задремала, он потихоньку вышел из каюты.

В черной, как базальт, воде проплыло светящееся животное — какой-то длинный розоватый крючок с го-

ловой морского конька. Лениво шевеля плавниками, оно с юмором поглядывало на надвигающееся днище корабля, покуда встречные струи не увлекли его в сторону. Вода была прохладна, глубина блаженна... Пусть сестра с кровавым крестом сердится... Бытие,— Поль чувствовал это с печальным волнением,— скоро окончится для него, как тропинка, обрывающаяся в ночную пропасть, и оттого неизмеримо важнее микстур, койки, безвкусной еды была эта ночная тишина, где плыли величественные воспоминания.

Путь, которым шел пароход, был древней дорогой человечества из дубовых аттических рощ в темные гиперборейские страны. Его назвали Геллеспонтом в память несчастной Геллы, упавшей в море с золотого барана, на котором она вместе с братом бежала от гнева мачехи на восток. Несомненно, о мачехе и баране выдумали пелазги — пастухи, бродившие со стадами по ущельям Арголиды. Со скалистых побережий они глядели на море и видели паруса и корабли странных очертаний. В них плыли низенькие, жирные, большеносые люди. Они везли медное оружие, золотые украшения и ткани, пестрые, как цветы. Их обитые медью корабли бросали якорь у девственных берегов, и тогда к морю спускались со стадами пелазги, рослые, с белой кожей и голубыми глазами. Их деды еще помнили ледниковые равнины, бег оленей лунной ночью и пещеры, украшенные изображениями мамонтов.

Пелазги обменивали на металлическое оружие животных, шерсть, сыр, вяленую рыбу. Они дивились на высокие корабли, украшенные на носу и корме медными гребнями. Из какой земли плыли эти низенькие носатые купцы? Быть может, знали тогда, да забыли. Спустя много веков ходило предание, будто бы видели пастухи, как мимо берегов Эллады проносились гонимые огненной бурей корабли с истерзанными парусами, и пловцы в них поднимали руки в отчаянии, и будто бы в те времена страна меди и золота погибла.

Правда ли это было? Должно быть, что так: память человеческая не лжет. Передавали в песнях, что с тех пор стали появляться в пустынной Элладе герои, закованные в медь. Мечом и ужасом они порабощали пе-

лазгов; называя себя князьями, заставляли строить крепости и стены из циклопических камней. Они учили земледелию, торговле и войне. Они сеяли драконовы зубы, и из них рождались воины. Они внесли дух тревоги и жадности в сердца голубоглазых. Над Элладой поднималась розовоперстая заря истории. Медный меч и золотой треножник, где дымилось дурманящее курево, стояли у колыбели европейских народов.

Потомок пелазгов, Поль Торен, на тех же берегах Средиземного моря был пронзен пулей в верхушку легкого, отравлен газом, брошенным с воздушного корабля, и, умирая от туберкулеза и малярии, возвращался из пылающей Гипербореи в Париж тою же древней дорогой купцов и завоевателей — дорогой, соединяющей два мира — Запад и Восток,— дорогой, текущей между берегов, где под холмами лежат черепки исчезнувших царств,— дорогой, где глубоко на дне дремлют среди водорослей ладьи ахейцев, триремы Митридата, пышные корабли Византии, а на отмелях у глинистых обрывов валяются заржавленные днища подорванных и выбросившихся пароходов.

Казалось,— это казалось Полю,— он завершает сейчас круговорот тысячелетий. Его ум, растревоженный лихорадкой и ощущением своей близкой смерти, силился охватить всю борьбу, расцвет и гибель множества народов, прошедших по этому пути. Воспоминания вставали перед ним, как ожившее бытие. Через несколько дней, быть может, погаснет его мозг, вместе с ним погибнет то, что он нес в себе,— погибнет мир. Какое ему дело — будет ли мир существовать, когда не будет Поля Торена? Мир погибнет в его сознании — это все. Прислонясь к перилам, покрытым росой, глядя в темноту, он заканчивал круговорот.

Прозвенели склянки. Сменялась вахта. Наверху, над капитанским мостиком, стояла бессонная фигура рулевого. Освещалось только его широкое лицо, склоненное над колонкой, где трепетала душа корабля — черная стрелка компаса. Темнота ночи густела. Воды внизу не было уже видно. Теперь казалось, что корабль летит в бесплотном пространстве. Это был предутренний мрак.

Лицо и руки Поля покрылись росой. Он содрогнулся. Сколько рук человеческих, раскинутых по земле с последней судорогой смерти, в эту ночь,— во все эти ночи,— будут покрыты такой же росой... Каждый, вонзая зубы в землю, смешанную с кровью, железом и калом, унесет с собой тысячелетия отжитого, в каждом простреленном черепе с унылым грохотом рухнут и исчезнут тысячелетия культуры. Какая нелепость! Какое отчаяние! Если бы голубоглазому пращуру показать книгу жизни, перелистать все страницы грядущего, все цветные картинки: «Это просто глупая и жестокая книжка,— сказал бы веселый пращур, почесываясь под бараньей шкурой.— Здесь какая-то ошибка: смотрите, сколько хорошего труда затрачено, сколько развелось народу, сколько построено отличных городов; а на последней картинке все это горит с четырех концов и трупов столько, что можно неделю кормить рыбу в Эгейском море...»

«Где-то ошибка, где-то допущен неверный ход в шахматной партии,—думал Поль Торен,—история свернула к пропасти. Какой прекрасный мир погибает!»

Он закрыл глаза и с отчаянной жалостью вспомнил Париж, свое окно, голубоватое утро, голубые тени города, аллею бульвара и полукруглые крыши, теряющиеся в дымке, непросохшие капли дождя на подоконнике, внизу понукание извозчика, везущего тележку с морковью, веселые голоса тех, кто счастливы тем, что живут в такое прекрасное утро. Вспомнил свой стол с книгами и рукописями, пахнущими утренней свежестью, и свой опьяняющий подъем счастья и доброты ко всему... Какую превосходную книгу он писал тогда о справедливости, добре и счастье! Он был молод, здоров, богат. Ему хотелось всем обещать молодость, здоровье, богатство. И тогда казалось — только идеи добросердечия, новый общественный договор, обогащенный завоеваниями физики, химии, техники, протянет эти дары всему человечеству.

Какой сентиментальный вздор! Это было весной, накануне войны. Сгоряча и вправду показалось, что немцы — черти, дети дьявола, идущего приступом на божественные твердыни гуманизма. Сгоряча показалось,

что над Францией развернуто старое знамя Конвента и за права человека, за свободу, равенство и братство гибнут скошенные пулеметами французские батальоны.

Как хотелось Полю снова поверить в то утро, когда он от избытка счастья открыл окно на туманный Париж! Но если это счастье растоптано солдатскими сапогами, разорвано снарядами, залито нарывным газом, то что же остается? Зачем были Эллада, Рим, Ренессанс, весь железный грохот девятнадцатого века? Или удел всему — холм из черепков, поросший колючей травкой пустыни? Нет, нет,— где-нибудь должна быть правда. Не хочу, не хочу умереть в такую безнадежную ночь!

. . . .

— Мосье, вы опять вышли на воздух. Мосье, вам будет хуже,— проговорил за спиной заспанный голос сестры.

Поль вернулся в каюту, лег не раздеваясь. Сестра заставила его принять лекарство, принесла горячего питья. В глубине мягко постукивала машина. Позвякивали пузырьки с микстурами. Пожалуй, это было даже приятно, точно какая-то надежда на спасение,— теплый свет абажура, мягкая койка, куда, как в облако, ушло его костлявое тело, горящее в лихорадке. Поль задремал, но, должно быть, на минуту. И снова горячечной вереницей поползли мысли. Бессонница сторожила его: нельзя спать, осталось немного часов, слишком драгоценно то, что проходит в его мозгу...

Одно из воспоминаний задержалось дольше других. Поль беспокойно заворочался, всунул холодные пальцы в пальцы, хрустнул ими. Два месяца назад, в Одессе, он получил знакомый длинный конверт. Писала Люси, кузина, его невеста:

«Дорогой и далекий друг, мне бесконечно одиноко, бесконечно грустно. От вас нет вестей. Вы пишете матери и брату, но никогда — мне. Я знаю ваше угнетенное состояние и потому еще раз пытаюсь писать. Тяжело вам, тяжело мне. Четыре года разлуки — четыре вечности пролетели над моей бедной жизнью. Только мысль о вас, надежда, что, быть может, вам еще будут нужны остатки моей молодости, моего истерзанного

сердца и вся моя огромная любовь,— заставляют меня жить, двигаться, делать все то же, все то же: лазарет, ночи около умирающих, вязание солдатских напульсников, чтение по утрам списков убитых... Франция — сплошное, великое кладбище, где погребено целое поколение молодости, разбитых сердец, несбывшихся ожиданий... Мы, живые,— плакальщицы, монахини, провожающие мертвых. Париж становится чужим. Поль, вы помните, как мы любили старые камни города, они рассказывали нам величественную историю? Камни Парижа замолчали, их попирают какие-то новые, чужие люди... И только старики у каминов еще воинственно размахивают руками, рассказывая о былой славе Франции... Но мы их плохо понимаем...»

В воспоминании оборвался текст письма, тысячу раз прочитанного Полем. Но он так и не ответил Люси. Не мог. О чем бы он написал девушке, все еще пытающейся отдать ему свою печальную любовь? Что бы он стал делать с этой любовью? Что бы стал делать труп, которому в скрюченные руки всунули букет роз? Но почему-то его преследовала память о жалко, как у ребенка, дрожащих губах глупенькой Люси. Год тому назад он был в Париже (на один день) и тогда же, муча себя и ее, обидел Люси. Он сказал: «Вы видели когда-нибудь, как с лестницы парижской биржи спускается буржуа, потерявший в одну минуту все состояние? Предложите ему букетик фиалок в виде *компенсации*... Вот!.. Ужасно, Люси. Я разорен, мне остается вернуться к погасшему костру в палеолитическую пещеру и отыскать среди хлама мой добрый каменный топор...» Тогда-то и задрожали еще невинные губы Люси... Но жалеть ее — вздор, вздор... Жалость — все тот же вздор из той же неоконченной книги, которую писало слепое счастье, а перелистывал весенний ветер... И жалость выжжена военным газом...

Под утро Поль снова ненадолго задремал. Разбудил его хриплый рев парохода. Нервы натянулись. В иллюминатор бил столб света, и отвратительными в нем казались желтые складки на лице сестры. Она взяла плед и повела Поля на палубу, усадила в шезлонг, прикрыла ему ноги.

Ревя всею глоткой, пароход выходил из Дарданелл в Эгейское море. На низких глиняных берегах виднелись обгоревшие остатки казарм и взорванных укреплений. На отмели лежал с утопленной кормой заржавленный пароход. Война была прервана на время — силы, ее вызвавшие, перестраивались, народам дано разрешение ликовать и веселиться. Чего же лучше!.. Утро было влажно-теплое. Пароход, немного завалившись на левый борт (реквизированный у немцев и перевозивший войска, беженцев и портящиеся грузы, пароход южноамериканской линии «Карковадо» в шесть тысяч тонн), все дальше уходил от земли в лазоревую пустыню. За его кормой косматое солнце все выше взбиралось на ужасную высоту безоблачного неба. Впереди вылетела колесом из солнечной воды черно-блестящая, с ножом плавника, спина дельфина. «Мама, мама, дельфин!» — по-русски закричал белокурый ребенок, стоя у борта и указывая худенькой ручкой на море. Перед кораблем резвилось стадо дельфинов. И стало понятно, что именно в такое утро в Эгейском зеркальном море под пляску дельфинов из белой пены поднялась, раскрывая светлые глаза, краса жизни — Афродита. «Ну что же, попробуем ликовать и веселиться»,— подумал Поль.

Белокурый ребенок висел на перилах, наслаждаясь водяными играми спутников Афродиты; его поддерживала мать в пуховом грязном платочке на плечах, в стоптанных башмаках. На ее исплаканном лице застыл ужас пожаров России. В руке, давно не мытой, она сжимала морской сухарик. Какое ей было дело до того, что в солнечном мареве прищуренные глаза Поля как будто увидели тень «Арго», крутобокого, с косым парусом, сверкающего медью щитов и брызгами с весел дивного корабля аргонавтов — морских разбойников, искателей золота... Он пронесся по тому же древнему пути из ограбленной Колхиды...

По широкой палубе прошла пожилая женщина в поддельных соболях поверх капота, сшитого из кретоновой занавески. Лицом и движениями она напоминала жабу. За ней бежали две чрезвычайно воспитанные болонки с розовыми бантами. Эта ехала тоже из

Одессы, везла в третьем классе четырех проституток, обманув их золотыми горами: «Доберитесь, цыпочки, только до Марселя». Вот она заспешила, нагнула голову к плечу и показала фальшивые челюсти, приветствуя знакомца — высокого, дрянно одетого мужчину с глупым лицом и закрученными усами. Этот сел в Константинополе, говорил по-польски, гордо разгуливал, куря длинную трубку, по которой текла слюна, и стремился найти аристократических партнеров, чтобы засесть в картишки. Проходя мимо Поля, он затрепетал ляжками из почтительности.

«Перед гибелью дома изо всех щелей выползают клопы»,— подумал Поль. Пароход поворачивал на юго-запад. Направо из-за моря поднимались острые лиловые вершины. Над ними клубились тучи. Грядою гигантских гор поднимался остров. Кругом — зеркальное море, пронизанная солнцем лазурь, а вдали гребнистый остров весь был покрыт мраком. Грозовые тучи висели над ним, опускалась пелена дождя, и — как будто там и вправду был трон Зевса — разорванной нитью по тучам блеснула молния... До парохода долетел вздох грома.

— Это Имброс, курьезный островок, над ним всегда грозы,— проговорил за спиной Поля небритый черномаз в феске. Он еще вчера в порту предлагал Полю разменять любые деньги на любые или устроить знакомство с жабой, везущей четырех девочек, и советовал, между прочим, не садиться играть с усатым поляком в карты.

Поль закрыл глаза, чтобы костлявое лицо в феске не заслонило видения славы бога богов — Зевса. С левого борта приближался низкий берег Малой Азии, где каждый холм, каждый камень воспет гекзаметром,— земля героев, Троада. За прибрежной полосой песка расстилалась бурая равнина, изрезанная руслами высохших потоков. Вдали, на востоке, облачной грядой стояли вершины Иды, кое-где еще покрытые жилами снега.

Поль встал с шезлонга, подошел к борту. На этой равнине шумели некогда поля пшеницы и маиса, благоухали сады, бесчисленные стада спускались с Фри-

гийских гор. Вот — кремнистое устье Скамандра: желтый ручей уходит полосой далеко в море. Налево — курганы, могилы Гектора и Патрокла. Здесь были вытащены на песок черные корабли ахейцев, а там — на выжженной равнине, где изрыта земля и курится дымок бедной хижины,— поднимались циклопические стены Трои с нависшими карнизами, квадратными башнями и золотой многогрудой статуей Афродиты азиатской.

С незапамятных времен эолийские греки плыли к берегам Троады, селились там и занимались земледелием и скотоводством. Но скоро сообразили, что место хорошо, и стали строить крепость Трою у ворот Геллеспонта, чтобы захватить путь на восток. И Троя стала сильным и богатым царством. В торговые дни на базар — перед высокими стенами города — ехали скрипучие арбы с хлебом и плодами; вероломные славяне с границ Фракии вели бешеных коней, знаменитых быстротой бега; приезжали на богатых колесницах хетты из Богазкея с товарами, сделанными по лучшим египетским образцам; фригийцы и лидийцы в кожаных колпаках гнали стада круторунных баранов; финикийские купцы с накладными бородами, в синих войлочных одеждах подгоняли бичами черных рабов с тюками и глиняными амфорами; почтенные морские разбойники, вооруженные обоюдоострыми секирами, приводили красивых рабынь и соблазнительных мальчиков; жрецы раскидывали палатки и ставили алтари, выкрикивая имена богов, грозясь и зазывая приносить жертвы. Со стен на суету базара глядели воины, охранявшие ворота. В городе были собраны неисчислимые сокровища, и слух о них шел далеко.

Эллада в те времена была бедна. Давно миновали пышные времена Микен, Тиринфа и Фив, построенных героями. Циклопические стены поросли травой. Земля неплодная; население редкое — пастухи, рыбаки да голодные воины. Цари Ахеи, Арголиды, Спарты жили в мазанках под соломенными крышами. Торговать было нечем. Грабить у себя нечего. Торговля шла мимо Эллады. Оставались — легендарная слава прошлого, кипучая кровь, кидающаяся в голову, и необыкновен-

ная предприимчивость. Цель была ясна: ограбить и разбить Трою, овладеть Геллеспонтом и повернуть купеческие корабли в гавани Эллады. Стали искать предлога к войне, а найти его, как известно, нет ничего проще. Впутали Прекрасную Елену. Подняли крик по всему полуострову. Позвали Ахиллеса из Фессалии, налгав, что отдадут половину добычи. Спросили Додонского оракула и поплыли на черных кораблях, чтобы начать медными звуками гекзаметра трехтысячелетнюю историю европейской цивилизации...

С тех пор и поныне не нашлось, видимо, иного средства поправлять свои дела — кроме меча, грабежа и лукавства. Герои Троянской войны были по крайней мере великолепны в гривастых шлемах, с могучими ляжками и бычьими сердцами, не разъеденными идеями торжества добра над злом. Они не писали у открытого окна книг о гуманизме.

Пароход повернул к западу, низкий берег стал отдаляться. Поль снова сел в шезлонг. «Суррогат,— подумал он и повторил это слово, —ложь, которой больше не хотят верить... Гибель, гибель неотвратима... Историю нужно начинать сызнова... Или...»

Он усмехнулся, слабо пожал плечом,— это «или» давно уже навязывалось в минуты раздумий. Но за «или» следовало противоестественное: мир выворачивался наизнанку, как шкура, содранная со зверя.

На палубе появилась кучка русских эмигрантов. Один, молодой, с наглыми, страшными глазами, дергаясь и почесываясь, следил за игрой дельфинов.

— Попаду. Пари — хочешь? — спросил он хриповатым баском и потащил из кармана ржавый наган.

Другой, бледный, с раздвоенной бородкой, остановил его руку:

— Брось. Здесь тебе не Россия. И вообще, брат, брось шпалер в море.

— Эгэ, брось... Сто двадцать душ отправлено им к чертовой матери... Его в музей надо...

Двое захохотали невесело, третий зашипел:

— Не орите... Капитан, кажется, задремал...

Русские офицеры оглянулись на Поля и на цыпочках отошли подальше. Солнце легло на палубу, на ли-

цо,— Поль задремал. Сквозь веки спящие глаза его видели красноватый свет... Как странно, куда же девалось море?.. (Так подумалось.) Как жалко, как жалко... (И он увидел...) Унылая осенняя равнина, телеграфные столбы, оборванные проволоки... Налетает зябкий ветерок... А лицу жарко... Внизу под горкой горят крытые соломой хаты — без дыму, беззвучно, как свечи. Беззвучно стреляет батарея по деревне, — ослепительны вспышки из жерл. Мрачны лица у артиллеристов... Это все свои — парижане... Дерутся за права человека... «О, черт!» (Поль слышит, как скрипят его зубы...) «Вы должны исполнить свой долг!» — кричит он солдатам и чувствует, как лошадь под ним прогибается, спина ее — будто сломанная, без костей... И тут же, на батарее, между людьми вертится этот — с наглыми, страшными глазами, с наганом... Невыносимо лебезит, все чешется, похохатывает... И вдруг руками начинает быстро, быстро рыть землю — по-собачьи. Вытаскивает из земли, встряхивает двоих в матросских бескозырках, подводит под морду прогнувшейся лошади:. «Господин капитан, вот — большевики...» У них — широкие лица, странной усмешкой открыты зубы, а глаза... Ах, глаза их таинственно закрыты... «Ты застрелил их, негодяй!» — кричит Поль наглому вертуну и силится ударить его стеком, но рука будто ватная... Неистово бьется сердце... Если бы только матросы открыли глаза, он впился бы в них, разгадал, понял...

Поля разбудил обеденный звонок. И снова сияло молочно-голубое море. Вдали проходили гористые острова. Изодранный за войну ржавый «Карковадо» плыл, как по небесам, накренившись на левый борт, по этой зеркальной бездне. Солнце клонилось к закату. Редко из-за края воды и неба поднимался дымок. Под вечер лихорадка отпускала Поля и слабость наваливалась на него стопудовым тюфяком. Холодели руки, ноги. Это было почти блаженно.

. . . .

Ранним утром «Карковадо» бросил якорь у Салоник в грязно-желтые воды залива. Город, видный как на ладони между бурыми и меловыми холмами, был сожжен. Развалины древних стен четырехугольником огра-

ничивали унылое пожарище, где иглами поднимались белые минареты. Жарко пекло солнце. Меловые холмы, казалось, были истоптаны до камня подошвами племен, прошедших здесь в поисках счастья. От набережной отделилась барка с солдатами. Маленький буксирчик, пыхтя в солнечной тишине, подвел к «Карковадо» барку. Со скрипом опустили трап. И попарно побежали наверх зуавы в травяного цвета френчах, красных штанах, красных туфлях. Смеясь и кидая мешки и фляжки, они легли на теневой стороне верхней палубы. Запахло по́том, пылью, пополз табачный дым. Зуавам было на черта наплевать: их пытались было перебросить в Россию, на одесский фронт. В Салониках они заявили: «Домой!» — и выбрали батальонный совет солдатских депутатов. Тогда сочли за лучшее отправить их по домам. «Вот это — дело! — ржали зуавы, катаясь от избытка сил по палубе.— К черту войну! Домой, к бабам!..»

До полудня грузили уголь. Сгибаясь под тяжестью корзин, поднимались по зыбкому трапу оборванцы, головы их были обвязаны тряпками,— греки, турки, левантинцы,— все они были одинаково черны от угольной пыли, каплями ваксы капал пот с их аттических носов. Пустые корзинки летели вниз, в барку. С мостика ругался в рупор помощник капитана. Лениво висели пассажиры на бортах. Наконец «Карковадо» заревел, запенилась грязная вода за кормой, зуавы замахали фесками берегу. И — снова лазурь, древняя тишина.

Вдали, справа, проплыл Олимп снеговой шапкой с лиловыми жилками. Зевс был милостив сегодня — ни одно облачко не затеняло сверкающей вершины. Вот и Олимп ушел за море. Зуавы храпели в тени под висящими лодками. Иные играли в кости, выбрасывая их из кожаного стаканчика на палубу. Один, широкоплечий, с бровями и ресницами светлее загара, посадил на колени маленького русского мальчика и нежно, лапой гладя его волосы, расспрашивал на незнакомом и дивном языке о существенных событиях жизни. Мать издали с тревогой и радостной улыбкой следила за первым успехом сына среди европейцев... Нет, нет, ни один

из этих людей не хотел вместе с Полем лезть в могилу, кончать историю человечества.

Близко теперь — то с правого, то с левого борта проплывали острова высокими караваями, с каменистыми проплешинами, покрытые низкорослым леском. Море у их подножия было зеленое, они зеркально отражались в нем, и там не было дна — опрокинутое небо. У одного островка прошли так близко, что были видны черноголовые дети, копошившиеся у порога хижины, сложенной из камней и прислоненной к обрыву. Женщина, работавшая на винограднике, заслонилась рукой — глядела на пароход. Полосы виноградников занимали весь склон. С незапамятных времен здесь кирками долбили шифер, чтобы из каменной пыли, впитавшей свет и росу, поднималась на закрученной лозе золотистая гроздь — сок солнца. Вершина горы была гола. Бродили рыжие козы, и стоял человек, опираясь на палку. На нем была войлочная шляпа, какую рисовали кирпично-красным на черных вазах гомеровские греки. И пастух, и женщина в полосатой юбке, и дети, играющие со щенком, и беловолосый старик внизу в лодке проводили равнодушными взглядами истерзанный войною пароход, где постукивал зубами от лихорадки и озноба смертных мыслей Поль Торен, лежа под пледом в шезлонге.

Когда раздался звук трубы — тра-та-та-таааам, — зуавы горохом посыпались с палубы на корму. Там у открытого дощатого камбуза высокий негр в белом колпаке черпал из дымящихся котлов, разливал суп в солдатские котелки. «Полней, горячей!»— кричали зуавы, смеясь и толкаясь. Вонзали зубы в хлеб, со звериным вкусом хлебали бобовую похлебку, запрокинув голову, лили красной струей в рот вино из манерок. Еще бы: в такой горячий лазурный день можно съесть гору хлеба, море похлебки! За камбузом, привязанный к стреле подъемного крана, стоял рыжий старый бык, взятый в Салониках. Он мрачно озирался на веселых солдат. «Съедят,— очевидно, думалось ему,— завтра непременно съедят...» Зуав с пушком на губе, с длинными глазами, взмахнув манеркой, закричал ему: «Не робей, старина, завтра принесем тебя в жертву Зевсу!..»

На солдатский обед смотрело с верхней палубы семейство сахарозаводчика, бежавшее из Киева. Здесь были сам сахарозаводчик, похожий на лысого краба в визитке; его сын, лирический поэт с книжечкой в руке; мама в корсете до колен и в собольем меху, из которого торчал седоватый кукиш прически; модно одетая невестка, боящаяся грубостей; трое детей и нянька с грудным ребенком. Папа-краб негромко хрипел, не вынимая изо рта сигары:

— Мне эти солдаты мало нравятся, я не вижу ни одного офицера, у них мало надежный вид.

— Это какие-то грубияны,— говорила мама,— они уже косились на наши сундуки.

Сын-поэт глядел на полоску пустынного берега Эвбеи. «Хорошо бы там поселиться с женой и детьми, не видеть окружающего, ходить в греческом хитоне»,— так, должно быть, думал этот богатый молодой человек с унылым носом.

Зуавы снизу отпускали шуточки:

— Смотри, вон тот, пузатый, наверху, с сигарой...

— Эй, дядя-краб, брось-ка нам табачку...

— Да скажи невестке, чтоб сошла вниз, мы с ней пошутим...

— Он сердится... О, ля-ля! Дядя-краб, ничего, потерпи — в Париже тебе будет не плохо.

— Мы напишем большевикам, чтобы вернули тебе заводы...

Шумом, хохотом, возней зуавы наполнили весь этот день. Горячая палуба трещала от их беготни. Им до всего было дело, всюду совали нос — будто взяли «Корковадо» на абордаж вместе с пассажирами первого класса. Папа-краб ходил жаловаться капитану, тот только развел руками: «Жалуйтесь на них в Марселе, если угодно...» Дама с собачками, сильно обеспокоенная за участь своих четырех девушек, заперла их на ключ в каюте кочегара. Русские офицеры не показывались больше на палубе. Поляк, возмущенный хамским засилием, тщетно искал приличных партнеров. Выполз из трюма русский общественный деятель, англофил — в пенсне, с растрепанной бородой, где засела солома,— и стал наводить панику, доказывая, что среди зуавов —

переодетые агенты Чека и не миновать погрома интеллигенции на «Карковадо».

Ночью огибали Пелопоннес — суровую, каменистую Спарту. Над темным зеркалом моря сияли крупные созвездия, как в сказке об Одиссее. Сухим запахом полыни тянуло с земли. Поль Торен припоминал имена богов, героев и событий, глядя на звезды, на их бездонные отражения. Снова ночь без сна. Он измучился дневной суетой. Но странное изменение произошло в нем. Глаза поминутно застилало слезами. Какое величие миров! Как мала, быстролетна жизнь! Как сложны, многокровны ее законы! Как он жалел свое сердце — больной комочек, отбивающий секунды в этой блистающей звездами вселенной! Зачем вернулось желание жить? Он уже примирился, уходил в ничто печально и важно, как развенчанный король. И вдруг — отчаянное сожаление... Зачем? Какие чары заставили снова потянуться к солнечному вину? Зачем это нагромождение мучений?.. Он старался сызнова восстановить ткань недавних мыслей о гибели цивилизации, о порочном круге человечества, о том, что, уходя, он уносит с собой мир, существующий постольку, поскольку его мыслит и одухотворяет он, Поль Торен... Но ткань порвалась, лохмотья исчезали, как туман. А в памяти перекликались веселые голоса зуавов, стучали их варварские шаги. Вспомнил пастуха на вершине острова, женщину, срезающую виноград, черных грузчиков, с хохотом швыряющих вниз угольные корзинки...

«Так будь же смелым, Поль Торен! Тебе терять нечего. Есть твоя культура, твоя правда, то, на чем ты вырос, то, из-за чего считаешь всякий свой поступок разумным и необходимым... А есть жизнь миллионов. Ты слышал топот их ног по кораблю?.. И жизнь их не совпадает с твоей правдой. Они, как те синеглазые пелазги, смотрят с дикого берега на твой гибнущий корабль с изодранными парусами. Взывай с поднятыми руками к своим богам. В ответ с неба только огонь и грохот артиллерийской канонады...»

. . . .

Эту ночь Поль провел на палубе. Утренняя заря разлилась коралловым, розовым сиянием, теплый и

влажный ветер заполоскал солдатское белье на вантах, замычал рыжий бык, и из воды, как чудо, поднялся шар солнца. Ветер затих. Пробили склянки. Раздались хриповатые голоса просыпающихся. Начался жаркий день. Зуавы босиком, подтягивая штаны, побежали мыться, с диким воем обливали друг друга из брандспойта. Задымился дощатый камбуз. Высокий негр в белом колпаке скалил зубы.

Сквозь пелену бессонницы Поль Торен увидел, как за кормой парохода потянулся густой кровавый след, окрашивая пену. Это в жертву Зевсу был принесен бык. Он лежал на боку с раздутым животом, из перерезанного горла текла кровь по желобу в море. Туда же бросили его синие внутренности. Ободранную тушу вздернули на мачте. Размахивая огромной ложкой, негр держал зуавам речь о том, что на реке Замбези — его родине — еду называют кус-кус, и что эта туша — великий кус-кус, и хорошо, когда у человека много кус-куса, и плохо, когда нет кус-куса!..

— Браво, шоколад!.. Свари нам великий кус-кус! — топая от удовольствия, кричали зуавы.

Пылало солнце. Через море лежал сверкающий путь. Воздушные волны зноя колебались на юге. Казалось — там, у берегов Африки, бродят миражи. В полдень из раскаленного нутра парохода послышался короткий, пронзительный женский крик. Затем засмеялось несколько мужских голосов. Жаба с собачками, выкатив глаза, перекосившись, пробежала по палубе, за ней — собачки с бантами. Оказывается, зуавы пронюхали, где сидят четыре девчонки, и пытались сломать дверь в кочегарке. Были приняты какие-то меры. Все успокоилось. Первый класс казался вымершим. Зуавы лежали в одних тельниках на раскаленной палубе. Поль Торен мучительно хотел согреться, но солнце не прожигало озноба, постукивали зубы, красноватый свет заливал глаза.

— Плохо, старина? — спросил за спиной чей-то голос, негромкий, суровый.

Не удивляясь, не оборачиваясь, Поль пошевелил ссохшимися губами:

— Да, плохо.

— А зачем заваривали кашу? А зачем варите эту кашу? Теперь понимаешь — что такое ваша цивилизация? Смерть...

Ледяной холодок перебегал по сухой коже, гудело в ушах, как будто гудели маховые колеса. Полю показалось, что от его шезлонга кто-то отошел... Быть может, почудилось, потому что хотелось услышать звук человеческих шагов. Но нет, он даже чувствовал запах солдатского сукна того человека, кто сказал ему дерзкие слова... Значит — правда, что на пароходе агенты Чека... Жаль, что прервался разговор...

И сейчас же на глаза Поля спустилась зыбкая картина воспоминаний. Он увидел...

...Глиняные стены жаркой хаты, большая белая печь с нарисованными на углах птицами и цветками. На земляном полу лежит на боку человек в коротком полушубке, руки завязаны за спиной. В кудрявых волосах запеклась кровь. Лицо, бледное от ненависти и страдания, обращено к Полю. Он говорит по-французски с грубоватым акцентом:

— Откуда приехал, туда и уезжай... Здесь не Африка; мы хоть и дикие, да не дикари... Свободу свою не продадим. До последнего человека будем драться... Слышишь ты — России колонией не бывать! Врешь, брат, под твоими красивыми словами — плантатор.

— Какой вздор! — Поль страшно искренен.— Какой вздор! Мы не о колониях думаем. Мы спасаем величайшие ценности. Однажды было нашествие гуннов, мы их разбили на Рейне. Теперь разобьем их на Днепре.

Лежащий нагло усмехнулся:

— Ты что же — из идеалистов?

— Молчать! — Поль стучит перстнем по дощатому столу.— Говорить вежливо с офицером французской армии!

— Чего мне молчать, все равно расстреляешь,— говорит связанный человек.— И напрасно... Ох, пожалеешь... Лучше развяжи мне руки, я уйду. А ты уезжай во Францию, да револьвер — не позабудь — по дороге брось в море... Все равно ваше дело проиграно. Нас — полмиллиарда. Твои руки — это мы, твои ноги — мы,

брюхо твое — мы, голова — мы... А что твое? Ценности? Культура? — Наша... Хранителей других поставим, и — наша. (Раненый подполз к столу. Глаза его — расширенные, дикие, страшные — овладевали, давили...) Я вижу — ты честный человек, ты, может быть, один из лучших... Зачем же ты на их стороне, не на нашей?.. Они отравили тебя газом, заразили лихорадкой, пронзили твою грудь... Они растлили все святыни... Так зачем же ты с ними? Кусок хлеба и мы тебе обещаем... Проведи рукой по глазам, сними паутину веков... Проснись... Проснись, Поль...

Поль Торен со стоном открыл глаза. Когда кончится эта пытка? Колючие, перепутанные осколки воспоминаний, дневная суета перед глазами, гул стеклянных маховиков в ушах... Скорее бы темнота, тишина, небытие!

Погас и этот день. Снова над морем — пылающие миры, потоки черного света, в фокусах их скрещений возникающие из квантов энергии клубки первичной материи, и, гонимые светом из конца в конец по чечевице вселенной, летят семена жизни. Из одной такой микрожизни возник Поль Торен. И снова, когда-нибудь, его тело, его мозг, его память раскинется пылью атомов в ледяном пространстве.

В эту ночь, как в предыдущую, сестра не могла увести его в каюту. Когда она от досады заплакала, он поднял дрожащий, сухой, как сучок, палец к звездам:

— Это мне нужнее ваших микстур.

. . . .

Ранним утром проходили мимо Калабрии: дикий берег, острые зубья скал, нагромождения лилово-серых камней. Редкие кусты в трещинах. Выше — террасы бурых плоскогорий. Кое-где кучки овец. На мысу — такой же, как камни, замок — башня, развалины стен: старое разбойничье гнездо, откуда выезжали грабить корабли, заносимые штормом к этому чертову месту. Налево в мглисто-солнечном тумане курился дым над снежной вершиной Этны, голубели берега Сицилии. «Корковадо» несся по коротким волнам пролива, которого так боялся Одиссей. На палубу вышло семейство сахарозаводчика — все в спасательных поясах. Оказывается, здесь была опасность встретиться с блуждающей ми-

ной. Зуавы плевали в пролив. Но стремнину миновали благополучно. Ржавым носищем «Карковадо» резал теперь бирюзово-голубые воды Тирренского моря.

Общественный деятель с соломой в бороде, пройдя по палубе, громко сказал, ни к кому не обращаясь:

— Барометр падает, господа!

Действительно, жара усиливалась. Небо было металлического оттенка. На юге воздух ходил мглистыми волнами, как будто там кипятили воду. От праздности, от зноя, от нестерпимого света на пароходе стало твориться неладное. Говорили, что одну из жабиных девчонок этой ночью отвели наверх, в каюту капитана. Со вчерашнего дня капитан не показывался на мостике. Обнаружилось, что остальные девочки удрали из кочегарки. Одну удалось отыскать в трюме, где она ходила по рукам, кричала и царапалась. Ее заперли в аптеке под надзором фельдшера. Зуавы волновались, перешептывались. То один, то другой вскакивал с раскаленной палубы и исчезал где-нибудь в черных недрах парохода, где пахло крысами, плесенью и железные стены скрипели от вздохов машины.

Барометр падал. Под лодкой сидела русская дама пригорюнясь. Мальчик спал, положив мокрую от пота голову на ее колени. Затих даже стук ножей в камбузе. И вдруг где-то внизу произошла короткая возня — удары, рычание... На палубе появились двое — с волосами торчком, голые по пояс, в замазанных парусиновых штанах. Оглянувшись, они побежали. Передний показывал вытянутую окровавленную руку.

— Откусил палец, откусил палец,— повторял он надрывающимся глухим голосом. Остановился, неистово стащил с ноги деревянный башмак (другая нога — босая), швырнул его в море. Легко побежал дальше.— Откусил палец!

Другой, выше его ростом, бежал за ним молча. На жилистой спине его под лопаткой был виден кровавый желвак со следами зубов. Едким потом и кровью пахнуло по палубе. Сейчас же за этими двумя выскочил на палубу третий — с узким лицом, черноволосый, в разорванной бязевой рубашке. Раздвинув ноги, он пронзительно свистнул, как будто ночью на пустыре. Зуавы

вскочили. Глаза их дичали, усы топорщились. Быстро, плотно они окружили раненых кочегаров. Шумно дышали груди. Высокий, с желваком на спине, проговорил душераздирающе:

— Обе девчонки у него в каюте...

— У кого?

— У шоколада...

С откушенным пальцем крикнул:

— У него нож... У него огромный нож и вертел... Откусил мне палец... Наших всех зарежут здесь... Живым не доехать...

Снова свист. И тогда все — и солдаты и кочегары — побежали по трапам вниз. Немного спустя там грозно загудели голоса. На палубу выскочила из кают-компании жаба с обеими собачонками на руках, заметалась, как слепая. В каютах первого класса захлопали опускаемые жалюзи. Пробежал с испуганным лицом помощник капитана.

Кок-негр появился, наконец, в крутящейся толпе. Он здорово отбивался длинными руками. Белая куртка на нем — в клочьях, в пятнах крови. Он пятился к трапу. Вдруг фыркнул, зашипел на наседающих, в два прыжка взлетел на палубу и помчался по ней, выкатив белки глаз, как лупленые яйца. «Лови, лови!» — кричали зуавы, устремляясь за ним. Он вскарабкался еще выше, на капитанский мостик, и оттуда — головой вниз — мелькнуло его лакированное тело, упало в воду. Далеко от корабля, отфыркиваясь, вынырнула черная голова.

На «Карковадо» остановили машину. В море полетели спасательные круги. Негр подплыл к борту и ухватился за конец. Весело скалясь, он посматривал на свешенные через перила головы зуавов. Было ясно, что бить его уже больше не станут.

А барометр продолжал падать. Небо нависло раскаленным свинцом. Задыхаясь, стучала пароходная машина, стучала кровь в головы. И на палубе снова закружился вихрь: солдаты перешептывались, перебегали, сбивались в кучу. Раздался повышенный, певучечеткий (видимо, парижанина) панический голос:

— На нас идет шторм. Все, кто на палубе, будут

смыты в море. Нас не пускают даже в кают-компанию. А в первом классе пружинные койки для спекулянтов, серебряные плевательницы, чтобы им рвать. Неужели нам и здесь еще умирать за буржуа?.. В трюм спекулянтов!

— В трюм спекулянтов! — закричали голоса.— Богачей, буржуа — в трюм!

Зуавы, завывая, кинулись через обе двери в кают-компанию. Но там никого не было. На столе — неоконченный обед. Двери кают заперты. Здесь было душно, как в духовом шкафу, где жарят гуся. Иные из солдат повалились на диваны, вытирая ручьи пота. Те, кто позлее, стали стучать в двери кают:

— Алло! Эй, вы, детки,— в трюм, в трюм! Очистить каюты!

Из одной каюты, куда грохнули кованым башмачищем, высунулся папа-краб с прыгающими лиловыми губами, весь в поту:

— Ну? В чем, собственно, дело? Что вы так шумите?

Уже чья-то чумазая рука сгребла его за визитку, десятки пышущих лиц, расширенных глаз приблизились к нему... Не сдобровать бы папе-крабу с его семейством и сундуками... Но в это время раздались пронзительные боцманские свистки. Свистали: «Все наверх!» И сейчас же треснуло, раскололось небо над пароходом, ударил такой гром, что люди сели. Полыхнула молния во все иллюминаторы. И жалобно запели ванты, снасти, «Карковадо» сильнее повалило на левый борт. Налетел шторм. Стало темно. Пятнами различались испуганные лица.

Рваные тучи мчались над самой водой. Море стало гривастым, свинцово-мрачным, и волны все злее, все выше били в ржавые борта. Вода уже хлестала на палубу. Раскачивало шлюпки на стрелах. Одну запарусило, рвануло, сорвало, и она унеслась, кувыркаясь среди бешеной пены. Тут бы надо бочку с сокровищами бросить морскому царю, заколоть ему быка, чтобы смилостивился! Невдомек! Трещал, зарываясь, валился, гудел винтами, густо дымил «Карковадо». Ураган шел с юго-востока, гнал его к родным берегам.

Поль Торен, возбужденный, сидел на койке в подушках. Свирепо бил трезубцем Нептун в задраенный иллюминатор. Какой великолепный конец пути! Глаза Поля блестели трагическим юмором. Вот удар так удар — в борт! Корабль содрогнулся, тяжело начал валиться. Попадали склянки, покатились вещи и вещицы к каютной двери. Как на качелях на последнем взмахе — каюта становится торчком. Замирает сердце. Не выпрямится.

— Мы погибли, погибли! — закричала сестра, схватившись за столик у койки.

Нет, оправилась старая посудина. Каюта поползла вверх. Выпрямилась. Сестра, опустившись на колени, плача, подбирала разбитые склянки. И — снова бьет в борт трезубец морского царя.

— Сестра,— говорит Поль, улыбаясь обтянутым, как у трупа, лицом,— это ураган времен обрушился на нас...

Больше суток мотало «Карковадо». Изломало и смыло все, что было на палубе. Унесло в море двух зуавов. Унесло собачек несчастной жабы и кожаные сундуки — большой багаж — киевского сахарозаводчика. Кто-то хватился общественного деятеля с соломой в бороде — так и не нашли.

Настал последний вечер. Поль сказал сестре:

— Попросите солдат, чтобы вынесли меня на палубу.

Пришли зуавы, покачали головами в красных фесках, пощелкали языками. Подняли Поля вместе с тюфячком и отнесли в шезлонг на палубу. Он сказал:

— Желаю вам счастья, дети.

Там, на западе,— куда, поднимаясь и опускаясь, устремлялся тяжелый нос корабля,— в оранжевую пустыню неба опускалось солнце, еще гневное после бури. Опускаясь, оно проходило за длинными полосами вуалевых облачков, раскаляя их, багровело. Снизу вверх по его диску пробегали красноватые тени.

Море было мрачно-лиловое, полное непроглядного ужаса. По верхушкам волн скользили красноватые, густые на ощупь отблески солнечного шара. Гребень каждой волны отливал кровью.

Но это длилось недолго. Солнце село. Погасли отблески. И в закате стали твориться чудеса. Как будто неведомая планета приблизилась к помрачневшей земле, и на той планете в зеленых теплых водах лежали острова, заливы, скалистые побережья такого радостно алого, сияющего цвета, какого не бывает,— разве приснится только. Какие-то из огненного золота построенные города... Как будто крылатые фигуры над зеленеющим заливом.

Поль стиснул холодеющими пальцами поручни кресла. Восторженно билось сердце... Продлись, продлись, дивное видение!.. Но вот пеплом подергиваются очертания. Гаснет золото на вершинах. Разрушаются материки... И нет больше ничего... Тускнеющий закат...

Такова была последняя вспышка жизни у Поля Торена. Долго спустя равнодушным взором он различил белую звезду низко над морем: она то вспыхивала, то исчезала. Это был марсельский маяк. Древний путь окончен. Зуавы мурлыкали песенки от удовольствия, навьючивали мешки на спины, переобувались... Один, проходя мимо Поля, сказал вполголоса:

— А по этому заплачет кто-то...

Поль уронил голову. Потом холодноватый тяжелый тюфяк начал ползти на него — снизу, с ног на грудь. Дополз до лица. Но еще раз пришлось ему почувствовать дыхание жизни. Над ним кто-то наклонился, его губ коснулись чьи-то прохладные дрожащие губы, и женский голос, голос Люси, звал его по имени. Его подняли и понесли по зыбким ступеням, по скрипучим доскам на шумный берег, пахнущий пылью и людьми, залитый огнями...

МОРОЗНАЯ НОЧЬ

Помните самое начало, первые недели гражданской войны? Еще до корниловского ледяного похода... Занятное было времечко!.. Первые формировки красных отрядов... Суета, беспорядок, саботаж, никто ничего не знает, кругом измена... Тогда офицерство, юнкера, студенты, полицейские начали слетаться в Новочеркасск, под крыло к атаману Каледину, и обозначился первый колеблющийся, зыбкий фронт. Войск у них было тысяч до десяти, главная сила — офицерская бригада. Действовали они по-разбойничьи — налетами. Особенно отличался отряд есаула Чернецова. Громил шахты, рабочие поселки, узловые станции. Наводили страшную панику. Под самое рождество Чернецов налетел на крупный железнодорожный узел Дебальцево: обшарили весь поселок, выволакивали на снег коммунистов, тут же рубили их шашками. Уничтожили и взяли заложниками двадцать семь человек. Напугали население до смерти. Погрузили сахар и спирт. У вагона Чернецова выстроили всех железнодорожников и станционных лакеев и велели им кланяться, покуда поезд не скроется. Словом, набезобразничали — больше некуда.

Так... Главком Антонов приказывает мне из Харькова: идти с отрядом в Дебальцево и там держать фронт... А у меня отряд свеженький, необстрелянный, я его только что сформировал в Костроме. Были такие

желторотые богатыри, у кого рукава шинели болтались по колена, и главная забота — добраться до белого ситника на Дону. Услышали, что идем на Дебальцево,— заволновались в теплушках. Я отдаю приказ: по пути следования выделить дежурную роту, подсумков не снимать и не спать, — еще хуже волнение, обида... Политработники — тоже мальчишки, неумелые — день и ночь моих бойцов успокаивают, подбадривают, целыми страницами чешут по Энгельсу... Батюшки, думаю, университет, а не эшелон...

Прибыли в Дебальцево. К нашим вагонам так и рванулась толпа женщин — плач, вопли: глядите, мол, что с нами сделали... Действительно, картина отвратительная... В поселке в домах разбиты окна, на снегу — лужищи крови, мозги... В пожарном сарае лежат двадцать изуродованных трупов... Мы их в этот же день и похоронили с отданием воинских почестей. Тут же на могиле многие поклялись отомстить, и до ста человек — родственники убитых, свидетели расправы — записалось в отряд добровольцами... Вот на этих я уже мог рассчитывать.

Выгрузив отряд, одну роту я оставил при эшелоне, три — в резерве на станции, остальными занял фронт по всей территории железнодорожных путей и предмостные укрепления. Станция забита народом — едут беженцы, демобилизованные, разные шпионы, провокаторы... Сколько я этих ни вылавливал, ни сажал — просачивались, нашептывали. Двух-трех дней не прошло — отряд как сглазили. Настроение подавленное. Командиры трусят. Политические работники растерялись, жмутся... Начнешь говорить с бойцами — угрюмое молчание... Ну, думаю, ох... И слухи — один тревожнее другого: и там-то восстали казаки, и оттуда-то собирается туча белых войск с самим Алексеевым во главе... А у меня всего два пулемета и хоть бы пушчонка какая завалящая была! Патронов по полсотне штук на бойца... Я телеграфирую Антонову в Харьков, прошу прислать артиллерию и пулеметы. По прямому проводу отвечает начальник штаба Муравьев, тот самый, впоследствии знаменитый командарм, кого через семь месяцев в Симбирске в Троицкой гостинице застрелили

латыши за предательство... Муравьев отвечает: «Хорошо, немедленно вышлем». Жду... На следующий день — это было тридцатого декабря — получаю протокол за № 1: «Общее собрание делегатов от каждой роты... Начальнику отряда. Постановление. До прибытия артиллерии и пулеметов никаких постов не занимать. Второе: просить вас немедленно отправить отряд в тыл, просить также немедленно удовлетворить наше требование. Делегаты: Суворов, Зыраянов, Беляков, Аркцопов, Ловкой, Крутиков» — и больше нет... Ах сволочи! Я — резолюцию: «Срочно. Делегатов взять в оборот. Внушить — отступления быть не может»...

Всю ночь не спал. Сидел на телеграфе. Мороз жестокий. Подышу на стекло, погляжу — луна в радужном круге, кругом мертвая пустыня, и на путях под луной блестит стекло. Жалко стало, что вчера погорячился: в проходящем поезде нашли ящики с коньяком, и я приказал все бутылки побить о колеса... Люди плакали, глядя на это разорение... А сейчас в самую бы пору было хватить глоток... Вдруг, смотрю, —под дверью записка, каракулями: «Уводи в тыл, а то убьем». Подписи нет. Хорошо... Продолжаю ходить по телеграфному помещению, курю. Аппараты стучат. У телеграфиста глаза — как говядина, красные. Оборачивается ко мне и без голоса говорит:

— Принято со станции Зверево (то есть с белого фронта): «Мы тебе, подлец, христопродавец, красная сволочь, устроим встречу Нового года. Жди. Есаул Чернецов».

Ладно, думаю, буду ждать. И — вторую телеграмму в Харьков Муравьеву: «Спешите артиллерией, пулеметами...» Только рассвело — я выслал трубачей и объявил осадное положение: за неподчинение приказам — расстрел без суда, равно солдат и населения. Это отчасти подействовало. Посты, окопы заняли без разговоров... А морозище пуще прежнего, солнце маленькое, туманное, воздух так весь скрипит, звенит, как стекло, шаги за версту слышно. Над поселком, по всем путям — белые дымы. И у меня из головы нейдет: какую они мне удерут встречу?

В третьем часу пополудни Зверево сообщает по телеграфу: «На Дебальцево вышел ростовский № 3»... Ну, вышел, вышел,— обыщем, пропу́стим... Через четверть часа — из Зверева: «Ростовский № 3 бис вышел»... Эге, думаю, это, кажется, не пассажиры едут... Через пятнадцать минут опять: «Ростовский № 3 два бис вышел»... И опять: «№ 3 три бис вышел»... И так подряд семь поездов...

Тут и дураку ясно: семь эшелонов белых войск дуют на Дебальцево... Вот она — встреча! Кидаюсь к аппарату, телеграфирую в Харьков. Оттуда успокаивают: поезд с артиллерией в пути. Запрашиваю станции в сторону Харькова: где наша артиллерия? Запрашиваю в сторону Зверева: где эшелоны? Развернул карту, слежу за движением поездов... Проклятые эшелоны летят на крыльях в Дебальцево, а поезд с моей артиллерией тащится на немазаных колесах... Высчитываю — не поспеет... Белые — ну самое меньшее часа на три — явятся раньше...

А в голове от бессонных ночей стоит трескотня, как на ткацкой фабрике,— ничего не могу сообразить. Смотрю — у телеграфиста нос повис и губы висят. Разбудил, показал ему наган: «Что это? Саботаж?» Вытаращил он на меня говяжьи глаза и мятым шепотом: «Подбадривающего, а то опять засну...» Я побежал на пути, наковырял шашкой куски из лужи замерзшего коньяку, принес в шапке телеграфисту... Он сразу одушевился... Принимает депешу: эшелоны в двух перегонах от Чернухина, а Чернухино — последняя остановка. Меня так и ошпарило... Выскакиваю. Солнце уже зашло за дымы. Мороз еще крепче. Хоть бы две пироксилиновых шашки — взорвать мост! Ничего нет у нас, кроме патронов. Вызываю командира батальона: «Немедленно взять взвод пехоты, взять железнодорожных рабочих с инструментами, идти к станции Чернухино и развинтить все стрелки!..»

Совсем уже стемнело, луны не видно — затянута мглой. Стою на перроне, рву зубами варежку. Наконец — пошли огоньки фонариков в сторону Чернухина... Но как ползут! Ноги им, что ли, перешибло... И в морозной тишине все чудится мне гул колес. Я даже при-

лег на рельсы: чудится — гудит земля... Приказал погасить огни на станции и на путях, затоптать костры. И такая настала жуть — собака не тявкает в тишине. Только сапоги мои визжат, плачут...

Не помню, сколько времени прошло,— скачет верховой. Осветил его электрическим фонариком: «Стой! Куда?» На свет лезет в облаке пара заиндевелая лошадиная морда, соскакивает командир батальона: «Беда!» — «Что случилось?» — «Не можем стрелки развинтить».— «Как не можете? — Я выхватил револьвер.— Сволочь!» Наган у меня в руке пляшет, кричу как-то уж даже не по-человечески. Лошаденка рвет морду. «Подожди орать,— спокойно говорит командир батальона,— я тебе объясню: рабочие все ключи поломали на этом морозе, не пальцами же отвинчивать, черт!»

Я так и осел. «Что ж теперь нам делать?» Он молчит. И мы слышим: жаааалобно, далеееко, дииииико закричал паровоз. В мертвой степи под лунным бельмом завыли паровозы наших врагов...

В это время голос: «Товарищ командир, разрешите — я живо пути разберу...— Оборачиваюсь — стоит в легонькой курточке, в фуражечке машинист Шляпкин, и от него коньячный дух...— Разрешите мне двадцать вагонов порожняку...»

Вот где началась горячка! Собрали мы с полсотни пустых вагонов, прицепили их к мощному сормовскому паровозу. Батальонный, человек пять охотников-красногвардейцев вскочили на паровоз, и Шляпкин погнал состав под гору на Чернухино... Ночь загудела... А когда затих вдали стук колес — явственнее стали слышны протяжные свисты семи эшелонов противника... Успеет Шляпкин? Жизнь трех тысяч человек сейчас в том, успеет ли он разбить пустой поезд на стрелках! Все, кто был на станции, выскочили, слушают... Только сердце бьет в полушубок, отбивает невероятные секунды...

Наконец... Треск, лязг, скрежет... Высоко вскинулось пламя за холмами... Го-го-го — прокатился грохот... Я вскочил на лошадь батальонного, поскакал на линию войск. Часовые все на местах. Из окопов поднимаются деды-морозы. Я громко поздравляю: «С Новым годом, товарищи! Желаю встретить этот час, как подобает во-

оруженному пролетарию — победителем... Предупреждаю — враг может подойти каждую минуту. За линию секретов никого не пускать, стрелять в лоб... К двенадцати часам прибывает поезд с артиллерией и пулеметами. Победа обеспечена!..» Всюду в ответ — ура... И я, конечно, показываю вид, что вполне уверен в их боевом пыле. Но пушек, пулеметов все-таки еще нет... Завалив чернухинские стрелки, мы только получили отсрочку... Это все понимали...

Возвращаюсь на станцию. Там меня уже давно вызывает Чернухино к аппарату. Телеграфист — веселый, косорылится. Хватаю ленту, читаю: «Говорит Чернухино. У аппарата начальник головного отряда полковник Кузьминский. Командир корпуса приказал доложить: на каком основании вы портите народное достояние, уничтожаете вагоны?»

Отвечаю я: «Дебальцево. У аппарата начальник войск Дебальцевского района Иванов [1]. Передайте корпусному, что в своих действиях буду отчитываться перед рабочим правительством, а вашему корпусному до этого дела нет».

Чернухино: «А, так ты — говорить мне дерзости?.. Я сейчас наступаю: посмотрим, где вы будете с вашим рабочим правительством».

Дебальцево: «Разрешите узнать, по какой дороге намерены наступать, потому что темно, я хочу осветить вам путь огнем артиллерии».

Ответа на это нет. Телеграфист молча трясется от смеха. Через пять минут меня вызывает Колпаково — станция между Чернухиным и Зверевым: «У аппарата командующий экспедиционным корпусом генерал-от-кавалерии».

Я отвечаю: «Дебальцево. У аппарата командир Красной гвардии солдат Иванов. Разрешите узнать вашу фамилию».

Колпаково: «Фамилия не играет роли, товарищ московский комиссар. Когда вы попадете в мои руки, то сразу ответите за все безобразия, за издевательство над народом, за порчу путей и вагонов, за свое вероломм-

---

[1] Фамилия вымышленная.

ство и трусость. Несмотря на ваши баррикады, мы к вам придем — вы, красный генерал без чина,— и сдерем с вас кожу, тогда вы станете настоящим красным генералом. А теперь отвечайте мне, прохвост, мерзавец: разве так воюют честные воины? Ты, жидовская образина, прячешься за груды сломанных вагонов. Спрашиваю тебя еще раз: когда ты перестанешь препятствовать свободному передвижению поездов? Когда кончатся все ваши безобразия?»

Дебальцево: «Православный генерал, украшенный многими орденами! Вольно вам ругаться и храбриться, будучи за сотню верст. А что будет, если не я вам, а вы мне попадетесь в руки? Тогда действительно фамилия не сыграет роли: всех попавшихся генералов и полковников лично перестреляю. А наше безобразие кончится, когда в Республике Советов не будет больше генералов и прочей офицерской сволочи. Я кончил. Относительно очистки пути мое решение непреклонно. На Дебальцево не пущу. Пусть разговаривают пушки».

Колпаково: «Ты был чистильщиком сапог в Ростове на Садовой и опять будешь им, если только уйдешь от моих рук. А мы, генералы, всегда были на Руси и будем. Хочешь войны — будешь иметь ее, тудыть твою, сукиного сына, в не мать и не так...»

И тут генерал начал загибать такие простые слова, что у меня затылок вспотел от ярости. Все-таки ввязываться не стал, закурил, ушел из аппаратной, а его стал ругать телеграфист. Время уже подходило к двенадцати. Каждую минуту ждали: мигнет ослепительная зарница в стороне Чернухина, начнется артиллерийский обстрел. Неужели не подоспеют харьковские поезда?

На станции огни были тщательно потушены и скрыты, окна телеграфа завешены попонами. Но мутное бельмо в небе все яснело, расходилось: присмотреться — заметны уже очертания крыш и деревьев... И я гляжу на проклятую луну: погасни, сука, закройся облаками, пропади, не устраивай мне контрреволюции!..

И вдруг, совсем просто, будто где-нибудь на подмосковной дачной станции, не торопясь идет старичок в тулупище до пят, подходит к колоколу и — дын-дын-дын-дын... Я кидаюсь: «Обалдел? Что ты звонишь?»

Он мне из морозной бороды спокойным баском: «Харьковский вышел со станции Хацепетовки...» А Хацепетовка в семи верстах... Я схватил его за воротник, притянул к себе: «С Новым годом, дед!» Побежал к телефонам, вызвал музыкантскую команду и дежурную роту. Захлопали, заскрипели двери, завизжал снег, замелькали ручные фонарики. Выстроились. И тут уже ясно слышим: идет — поют морозные рельсы...

С гулом, грохотом, обдавая жаром, ворвался на станцию курьерский паровоз, замелькали ярко освещенные классные вагоны. Завыли трубы «Интернационал» — кто в лес, кто по дрова от радости... На ходу соскочил начальник отряда, вручил мне пакет, рапортовал: «Двадцать пулеметов, сто тысяч патронов. При пулеметах команда — москвичи...»

Вылезли эти москвичи-пулеметчики,— я, прямо как во сне, смотрю на них,— расторопные, с шуточками, ловко одетые: «Указывайте позицию, мы до этих генералов давно добираемся!..» И бегом потащили пулеметы на линию войск... А минут через десять подошел и второй поезд с артиллерией... Перед рассветом наши цепи двинулись в наступление на Чернухино...

ГОБЕЛЕН МАРИИ-АНТУАНЕТТЫ

Прошли гуськом последние посетители дворца-музея — полушубки, чуйки, ватные куртки. Малиновое солнце склоняется за дымы в зимнюю мглу. Северный день недолог. Я еще вижу узоры на стеклах: высокие окна покрыты морозными листьями, как будто воспоминанием о древних лесах, некогда шумевших на земле.

Узоры исчезают в голубоватых, серых сумерках. Вдали хлопает дверь. Отскрипели на тропинке валенки сторожа, и наступает зимняя тишина во дворце и в снежном парке.

Иногда из страшной высоты луна посылает бледный свет в незанавешенное окно, но это бывает редко; бегут, бегут безнадежные туманы над парком, посвистывает метель голыми ветвями. Холодно и пустынно. Я развлекаюсь, перебирая в памяти минувшие годы. Их много. Иные озарены блеском празднеств, иные страшны.

Я не старею и не увядаю, как женщины, проходящие в моих воспоминаниях, как те две повелительницы народов, которым я принадлежала. Я все так же, как полтораста лет тому назад, прекрасна; на мне высокий пудреный парик и пышное платье цвета крови. Я нахожусь в большой гостиной, налево от входа, у окна. В глубине, против света, над камином висит портрет моей хозяйки. Она изображена во весь рост — юная,

гордая, слишком, по-солдатски, прямая,— такой она была в первые годы замужества.

Когда лунный свет поблескивает на золоченых креслах, я часто стараюсь вглядеться в ее лицо. Но глаза императрицы упрямо и зло отведены от меня. Она думала, что я — причина всех ее несчастий: она мрачно суеверна, как средневековая женщина.

Во всяком случае президент Лубе сделал бестактность, привезя на броненосце в подарок русской императрице гобелен казненной французской королевы. Меня вынули из цинкового ящика, принесли в эту гостиную, развернули и положили на ковер. Императрица, мало сведущая в искусстве, спросила: «Что это такое?» (Она стояла предо мной, выпрямив, как гувернантка, грудь, стиснув на животе чисто вымытые, холодные пальцы.) Толстенький Лубе, хрустя крахмальной фрачной рубашкой, с живейшей готовностью ответил: «Ваше величество, это редчайший гобелен, изображающий портрет Марии-Антуанетты. Случайно революция пощадила его. Франция приносит к вашим стопам одно из своих национальных сокровищ». Тогда на увядающем лице царицы выступили шелушащиеся пятна, тонкие, как ниточка, губы поджались в волевом движении — скрыть испуг. Но я прочла безумный ужас, на мгновенье промелькнувший в ее голубых круглых, немецких глазах. «Почему она в красном платье?» — спросила царица. На это президент ничего не мог ответить и только снова расшаркался, поскрипывая буржуазными сапожками.

Меня повесили на стене у окна. Не помню, чтобы царица когда-либо останавливала на мне взгляд. Ее раздражало красное платье. В ее вкусе были блеклые, лиловатые, болотные тона. Мария-Антуанетта тоже не могла терпеть ничего яркого — только нежное, успокаивающее. Действительно, история этого красного цвета необычайна. Вот она.

Полтораста лет тому назад в Париже проживала Елизавета Рох, девица необыкновенной красоты. Ее отец работал ткачом на королевской шпалерной фабрике и считался лучшим мастером во Франции. За сутки он мог соткать четверть дюйма, но зато линии ри-

сунка и цвета были так подобраны, что его гобелены соперничали с живыми красками природы и даже превышали их.

Елизавета Рох, работавшая на фабрике с восьми лет, обладала столь же совершенным вкусом. Когда ей минуло девятнадцать, ее перевели в отделение макетов, где она должна была из кусков шелка и шерсти воспроизводить с картины примерный макет, с которого ткался уже самый гобелен.

От природы Елизавета была пылкого нрава, но поведения строгого, потому что, кроме девственной красоты, у нее не было никаких надежд на лучшую жизнь. Изнурительная работа, четырнадцать часов, проводимых за тряпьем и иглой, убивали в ней все желания, свойственные юности. Впрочем, та же суровость нравов замечалась и во всей Франции, непосильно, в раздирающей нищете трудящейся для того, чтобы король, королева, принцы и весь двор в Версале проводили время в непрерывных празднествах: балеты, фейерверки, балы, блестящие охоты на вытоптанных хлебных полях, по ночам фантастические сражения за карточными столами при свете сотен восковых свечей. Всем этим они заглушали в себе ужас неминуемо близившейся гибели: казна была пуста, страна нищала, дворянство разорялось, парижский народ рычал вслед грохочущим золоченым каретам, буржуа с восторгом распускали дерзкие памфлеты на королеву, на развратную жизнь двора. Богатели одни ловкие предприниматели, ростовщики, фабриканты роскоши.

На шпалерную фабрику поступил из канцелярии королевского кабинета срочный заказ — выткать портрет королевы по оригинальному портрету, приложенному при сем, работы великого Буше.

В то время королева была по уши в хлопотах на деревенской игрушечной ферме, в версальском парке. Королеве приходилось самой доить корову с позолоченными рогами и надушенную пачулей, самой стряпать омлет с шампиньонами, ловить удочкой китайских рыбок на обед, между делом танцевать с дамами на берегу ручья пастушеские танцы. Среди этих забот Буше удалось лишь мимолетом зарисовать королеву, и то —

только лицо. Платье он написал от себя, цвета сливок, во вкусе времени. Он не совсем был доволен рисунком.

Этот картон поступил к Елизавете Рох, и она начала копировать с него макет для гобелена. Стояли жаркие дни, работать приходилось, то ползая по полу, то взбегая на лесенку, чтобы взглядывать на работу с высоты; на Елизавете было легонькое платье, открывавшее грудь и до колен ее стройные ноги.

Такой ее увидел директор фабрики, разорившийся дворянин, тучный и неряшливый мужчина — несмотря на года, чрезвычайно чувствительный к женской прелести. Расставив икры в плохо натянутых чулках, он страшно округлил глаза. Пот из-под паричка полз по его бритым щекам. В этот знойный день, когда мухи звенели о пыльные стекла мастерской, он заметил, что девчонка вкусна, как наливное яблоко. Он присел около мольберта и вытащил табакерку, сыпля табак на кружева. Подагрические глаза его выкатывались. Елизавета, думая только о работе, ползала на коленях у его ног, то протягивая руку, чтобы взять ножницы, то низко нагибаясь, чтобы откусить нитку. Директор переживал почти что гурманское наслаждение: прелесть девчонки ударяла ему в раздутые ноздри. Когда она досадливо выпрямилась и закинула голые руки, чтобы сколоть лезущие в лицо пушистые волосы, он внезапно почувствовал нечто вроде «конжексьон», то есть удара, готового разорвать кровеносные сосуды, и, чтобы поскорее освободиться от волнения, тяжело со стула упал на Елизавету, обхватил ее и принялся целовать в лицо, в шею и в грудь.

Она громко вскрикнула, так как в первый раз ее коснулась рука мужчины. Она вскочила, начала бороться и, освободив правую руку, хлестнула директора по щеке. Дальнейшее происходило в молчании, если не считать нескольких тяжелых ударов директорского кулака и слабого стона девушки.

Когда за хлопнувшей дверью затихли шаркающие шаги, в мастерскую вошли женщины. Они увидели Елизавету в изорванном платье, лежавшую без сознания на макете. Платье королевы цвета сливок было залито

кровью. У Елизаветы было разбито лицо. Ее унесли. В тот же день контора вышвырнула ее с фабрики.

Происшествие не заслуживало как будто бы внимания, но когда Буше увидал испорченный макет, он пришел в ярость: кончик вздернутого носа его вспыхнул под пудрой, он наговорил кучу дерзостей по адресу распорядителей фабрики, затем взглянул еще раз, прищурился и щелкнул пальцами. Напоминаю: он не был удовлетворен своим картоном, и вот ему пришло на мысль использовать этот цвет пятен крови. Он выбрал подходящий багровый шелк и велел им заменить на макете платье королевы. «Очаровательно»,— сказал он и послал макет в ткацкую мастерскую к старому Роху.

Так я появилась на свет. Старик Рох день и ночь ткал меня. Часто горькие слезы ползли по его морщинам: но что́ доподлинно сталось в дальнейшем с Елизаветой — я не знаю. Он начал ткать меня с головы, и долгие месяцы я лежала в его станке перевернутая. Его торопили, и он работа́л с молчаливым ожесточением.

Наконец я была готова. Буше имел счастье сам поднести меня королеве. При дворе знали мою историю, и он, оправдывая красное платье гобелена, сказал, что это цвет девственницы. Это был каламбур во вкусе времени. Королева воздушно улыбнулась ему.

Гобелен повесили в королевской спальне в Трианоне — одноэтажном маленьком дворце, служившем для любовных развлечений королевской семьи. Несомненно, была доля правды в том, что писали в памфлетах. Королева была легкомысленна. Красота ее увядала. Король не часто посещал ее в спальне. Да и то, появляясь в китайском халате и туфлях, тучный, мягкий, с двойным подбородком, он больше разговаривал не о тонкостях любви, а об удачном выстреле на охоте или о своих достижениях в токарном мастерстве. После его бесплодного ухода королева приказывала подать венецианское зеркало и, лежа, вся в кружевах, все еще соблазнительная при свете свечей, с некоторым изумлением вглядывалась в свое изображение, затем нижняя губа ее — непременная принадлежность Габсбургского дома — начинала выпячиваться, и тут-то веселые дамы, окружавшие ее широкую кровать, придумывали какую-

нибудь ночную затею, после которой королева крепко засыпала.

Утро в Версале всегда начиналось праздником. Гремели резные колеса подъезжавших карет, гудели веселые голоса. Дамы, похожие на живые цветы, в пышных юбках, благоухающие амброй и пачулей, толпились в спальне королевы, щебеча по-птичьи, или соблазнительно мелькали сквозь деревья в парке. Журчали, шумели фонтаны, лебеди били крыльями, золоченые лодочки покачивались на поверхности искусственного озера. Там — развалины в греческом вкусе, там — мраморные торсы с игрой солнечных зайчиков уносили пустое воображение в аркадские страны. Женственные кавалеры, отбивавшие духами крепость естественного запаха, походили больше на существ из идеального мира, чем на дворян с заложенными и перезаложенными зáмками и протянутой за королевским подаянием рукой.

Природа была щедра к этой выдуманной жизни. На лужайках пахло горячим сеном, толклись пестрые бабочки, летние облака отражались в озере, и даже ветерки, казалось, с учтивостью шелестели деревьями. Дни летели за днями, легкомысленные и ослепительные. Королева гнала прочь от себя мрачные мысли; король, вытачивая на станке черепаховые табакерки, думал, что все в конце концов образуется: памфлетистов посадят в Бастилию, казначейство откуда-нибудь раздобудет денег, добрые буржуа снова полюбят своего короля, добрые поселяне перестанут огорчаться из-за налогов, а там, бог даст, удачная война вернет истраченные богатства...

Известно, чем кончилось все это беззаботное веселье в Версале. Свирепая красавица со сросшимися бровями, в красном платье, в красной шляпе с красными перьями, куртизанка Териен де Мерикур верхом на лошади, размахивая кривой саблей, а за ней тысяч тридцать женщин из парижских предместий пришли по версальской дороге, завывая: «Хлеба, хлеба, хлеба...» Король улыбался им с балкона, королева старалась улыбнуться, держа на руках наследника. Их посадили в карету и отвезли в Париж. Никому было уже не до смеха.

Теперь лишь осенний дождь постукивал в высокие, до самого пола, окна Трианона. Парк облетел, и груды листьев, неубранные, гнили на дорожках. Сквозь оголенные ветви бесстыдно белели античные божества. Надвинулись зимние туманы, и только шаги сторожа нарушали безмолвие покинутого дома. На потолке спальни расплывалось мокрое пятно, и капля за каплей падали на паркет.

С первыми весенними днями появились гуляющие; они с любопытством оглядывали причуды королевского парка. Мужчины были в некрасивой темной суконной одежде, без париков, женщины — в скромных косынках и простых юбках из шерстяной материи. Они несли корзинки с провизией и вели за руку детей. Рассаживаясь прямо на траве, они завтракали, оставляя после себя засаленные клочья памфлетов, куда завертывалась еда. Благопристойные буржуазки стыдливо отводили глаза от голых статуй и шумно охали, осматривая сквозь окна пышную кровать королевы. Заслонившись с боков ладонями, сплющив нос о стекло, они злобно глядели мне в лицо, иногда грозя зонтиком...

Миновало лето. Зимняя буря выбила несколько стекол. И снова, в апреле, забегали черные дрозды под кустами. Дорожки парка зарастали лопухами, затягивались ряской бассейны с замолкшими фонтанами. Коровы, бродя на свободе, клали лепешки у подножия статуй. В праздники все больше появлялось народу, но теперь уже не чинные буржуа, а какие-то неведомые молодые люди в длинных, по щиколотку, штанах, с голой грудью и засученными рукавами, и их подружки, румяные и смешливые, кое-как прикрытые ситцевыми платьишками,— веселились как дети, утомясь — засыпали на копнах сена. Целовались и хохотали, ссорились и мирились. С визгом разбрызгивая радуги, кидались с каменных берегов в озеро, и их загорелые тела были не хуже, чем у мраморных богов с отбитыми носами. В сумерки складывали из обломков золоченых лодок, догнивавших за ненадобностью, великолепные костры и, подобно первобытным существам, отплясывали, озаренные пламенем, чертовскую карманьолу.

Но миновало и это лето. Все озабоченнее, суровее становились лица людей,— в их темных глазах я читала страдания голода и дикую решимость. Было срублено на дрова много деревьев в парке. Исчезли обе коровы,— сторожа, должно быть, их съели,— пропал и сам сторож. Однажды у моего окна остановились двое: плечистый юноша с темным пушком на щеках и молодая женщина; оба были босы; он влюбленно держал ее рукой за плечи, едва прикрытые лохмотьями. Она была прекрасна — пышноволосая, стройная, сильная. Она что-то сказала, юноша рванул за скобку, гнилая рама окна-двери затрещала, посыпались стекла. Они вошли, и в нищей красавице я признала Елизавету Рох. Она долго смотрела на меня, поднялась на цыпочки и плюнула мне в лицо. Тотчас же юноша сорвал меня со стены и швырнул на голую постель.

Так я валялась среди запустения, покуда почтенный буржуа, колбасник из Парижа, не подобрал меня как хозяйственную вещицу. Он приехал в Версаль в надежде поживиться какой-нибудь клячей со сломанной ногой. Я была аккуратно сложена и сунута под козлы, хозяин уселся на меня; сзади, прикрытая рогожей, лежала освежеванная лошадь. В таком виде я прибыла в Париж. Мной занавесили разбитое пулями окошко в колбасной лавке. И там, на площади Революции, я еще раз, в последний раз, увидала королеву, но при каких жалких обстоятельствах!..

Полтораста лет прошло с того дня. Было бы утомительно рассказывать о всех превратностях судьбы, кидавшей меня из рук в руки. Когда над ратушей в один мглистый ветреный день плеснуло черное знамя Коммуны, колбасника моего повесили в дверях лавки, нацепив на грудь доску: «Мы требуем твердых цен!» Чья-то закопченная порохом рука сорвала меня с окна, и я оказалась в виде плаща на голых плечах рослого детины, потрясавшего копьем с красным колпаком на острие. Весь день в виде пылающего пламени, под свист пуль, я развевалась на его плечах. Когда настала ночь, он пошел к ратуше, озаренной внизу факелами, тогда как острые башенки ее тонули в тумане. Вместе с толпой, размахивающей саблями и пистолетами, мы ва-

лились в дымный от чада масляных ламп огромный зал. На досках, на ящиках сидели, непрерывно заседая, члены Парижской коммуны с темными от бессонницы лицами. Рабочие и ремесленники из секции требовали у них голов аристократов и буржуа, они рычали: «Разогнать Конвент! Смерть предателям! Вся власть Коммуне! Хлеба и предельных цен!» Мой хозяин пристроился спать тут же в зале, под окном, завернувшись в меня с головой.

Но, видимо, я, созданная лишь для услады глаз, плохо грела его в ту ветреную ночь: он швырнул меня в угол, в кучу мусора. Там я валялась некоторое время. Кто-то, догадавшись, развернул, встряхнул и покрыл мною сосновый стол президиума. С тех пор на мне валялись бумаги, гусиные перья, куски черствого хлеба. Упершись мне в грудь продранными локтями, сидел, весь содрогаясь от бешенства, длиннолицый человек с черными кудрями, прилипшими к выпуклому бледному лбу. Если не изменяет память, его звали Гебер; он был воплощением воли полуголых людей, каждый вечер после работы появлявшихся в ратуше, чтобы кричать о справедливости, о своих требованиях, о своей ненависти, о последней свободе.

Ему, как и всем «неистовым», отрубили голову. В тот день перед угрюмыми людьми из секций говорил маленький человек, с костяным острым носом, чисто одетый, в белом паричке. Вдавив слегка запрокинутый затылок в плечи, касаясь меня кончиками холодных пальцев, он говорил режущим голосом об умеренности и добродетели, он клялся отрубить голову всем, кто ведет безнравственную жизнь, всем, кто помышляет о контрреволюции, и также всем, кому кажется, что он, Робеспьер, недостаточный революционер и патриот. Лавочники в якобинских колпаках приветствовали его. Но, увы, буржуа утомились, хуже редьки им надоели революции, неистовство черни, лохмотья и бумажные деньги.

И вот однажды за стол, который я все еще покрывала, поспешно сели пятеро, опоясанные трехцветными шарфами. Среди них был Робеспьер; он положил перед собой пистолет со взведенным кремнем. Они молчали,

не мигая глядели на черные окна,— там, на ночной площади, свирепо гудела толпа. Единственная свеча на столе, тихо колебля пламя, не могла разогнать сумрак огромной пустой залы.

В эту ночь кончалась Революция. Стихало рычание толпы на Гревской площади. Гремели колеса пушек, заскрежетала военная команда. На лестнице ратуши раздались неумолимые шаги национальной гвардии. Они вошли. Зрачки пятерых террористов, неподвижно сидевших у стола, расширились угрозой. Но еще страшнее закричали национальные гвардейцы. Сен-Жюст, юный и женственный, спокойно встал, чтобы самому отдаться в руки. Разбитый параличом Кутон закрыл лицо рукой. Пылкий Леба схватил пистолет и всунул его в руку Робеспьеру,— маленький человек нехотя поднес его к виску. Но гвардеец кинулся, толкнул под локоть. Раздался выстрел, и голова Робеспьера с разбитой нижней челюстью упала мне на грудь. Пальцы его стиснули неисписанные листки бумаги; пытаясь остановить кровь, он размазал ее по лицу.

Дальнейшие мои воспоминания относятся к унылым годам среди пыльного хлама в лавке старьевщика. За меня не давали и ста франков, покуда Наполеон разгонял штыками по всей Европе помещичьи армии. Но он слишком много выпустил крови у добрых буржуа, и они предали его, высчитав, что выгоднее променять меч на бухгалтерскую книгу. Революция описала бешеный круг и на минуту замкнулась: на французский престол вошел Людовик Восемнадцатый, и меня, приведя в порядок, повесили, как священную реликвию, в Тюильрийском дворце. Ах, с какою возвращенной пылкостью танцевали в его заново позолоченных залах знакомые мои версальские дамы, увядшие за двадцать лет эмиграции! Пудра облаками сыпалась с их нарумяненных морщин. Меланхолическое зрелище!

Последующие революции и реставрации я провела спокойно в Луврском музее. Такова история моей жизни вплоть до того часа, когда меня поместили в Александровском дворце, что в Царском Селе,— в гостиной царицы Александры Федоровны, повелевавшей несметными миллионами народов.

После столь разнообразных впечатлений здесь было ужасно скучно. Царь и царица не любили развлекаться на людях,— им и дома было хорошо. Кроме как по делу, у них мало кто бывал: придет любимая фрейлина, поцелует ручку; или позвонит по телефону, попросится приехать один бродяга из бывших конокрадов, духовный мужичок: явится — в поддевке, в лаковых сапогах,— поцелуется со щеки на щеку, сядет и врет, что в голову влезет, щуря продувные зенки, а царь и царица молитвенно глядят ему на масленую бороду, не смеют моргнуть.

Когда хотелось выпить, царь шел в офицерское собрание. Звали полковых трубачей, пили, закусывали, а на следующий день он потихоньку от царицы вздыхал, держась за голову. Правда, он не вытачивал табакерок подобно Людовику французскому, но зато удачно занимался фотографией, или, мурлыкая что-нибудь однообразное, играл сам с собой на бильярде, или почитывал рассказы Аверченки, прыская со смеху. Он любил в час сумерек стоять с папиросой у окна и смотреть, как льет мелкий дождик на елки и кусты, за которыми сидели, боясь обнаружиться, веснушчатые сыщики из охранки, в котелках, надвинутых на уши.

Царица на своей половине вышивала салфеточки и думала, думала, сдвинув брови, о многочисленных врагах, о нераскрытых кознях против ее семьи, о неблагодарном, распущенном, скандальном народе, доставшемся ей в удел, о несчастном характере мужа, не умеющего заставить себя уважать и бояться. Иногда, опустив вышивание, она зло постукивала наперстком по ручке кресла, и невидящие глаза ее темнели. За ширмой на столике стояла чудотворная икона с колокольчиком; часто, опустившись перед ней на колени, она молилась, ожидая чуда, когда сам собой зазвонит колокольчик.

Согласитесь сами — не весело летели годы в Александровском дворце. И совсем уже стало мрачно, когда царь и наследник уехали на войну, а царица надела полотняную косынку и серое платье с кровавым крестом на груди. В Версале весело по крайней мере пожили перед смертью — было чем помянуть прошлое, когда

палач на помосте гильотины скручивал руки и резал волосы на затылке. А здесь? Будь у меня скулы — свернула бы их со скуки. Стоило этим людям мазаться миром, чтобы существовать в таком унынии и всеобщей ненависти!

И вот, с некоторого времени я заметила, что царица стала как-то дико на меня коситься. Остановится, стиснув на животе руки, и низенький лоб ее собирается в гневные морщины, будто она силится что-то понять и что-то преодолеть. За переплетами окон сыплет снегом декабрь, на котелках сыщиков, дующих в кулаки под кустами, белеют сугробчики. И царица ходит, ходит, раздувая ноздри от бессильного гнева. Увы, у нее не было власти повесить хотя бы даже председателя Государственной думы. Враги — повсюду; все ощетинилось против нее.

В одну из таких минут она получила известие, которое сломило ее: духовный мужичок, ее единственный друг и руководитель, был найден под мостом в проруби — связанный и с проломанным черепом. Об этом сообщила ее любимая фрейлина, упав в отчаянных слезах на ковер. Царица мертвенно побледнела, пошатнувшись — прислонилась негнущейся спиной к моему багровому платью: «Мы погибли, некому больше предстоять за нас перед богом»,— сказала она. В сумерки, одетая в черное, в черном платке, опущенном на лицо, она незаметно пробралась между сыщиками, и я долго видела на снегу ее удаляющуюся фигуру: она шла рыдать над гробом духовного мужичка, тайно привезенного из Петербурга в уединенное место, в деревянную часовенку.

В последний раз я видела царицу глубокой ночью, когда отдаленное зарево светило в замерзшие окна, багровый свет дышал над вершинами елей: где-то что-то горело. В гостиной было темно и тепло, во дворце все спали. Вдруг скрипнула половинка высокой двери, и я увидела царицу; она была в белом халате. «Что это горит, что это горит?»— по-немецки спросила она пустоту и подошла к окнам. Листья мороза на них, то багровые, то черно-синие, лежали фантастическим узором.

Ее лицо было искажено, в глазах мерцал суеверный ужас. И мне и ей привиделось в эту минуту одно и то же воспоминание...

...Десятки тысяч голов шумели и волновались вдоль решетки и террас Тюильри и по всей широкой площади Революции, где над щетиной штыков возвышался помост со взнесенным треугольником лезвия между двумя стойками. Из окна колбасной лавки мне были видны островерхие башни тюрьмы Консьержери. Мимо них двигалась двухколесная тележка. Она завернула на мост и переехала на эту сторону реки. Головы волновались, будто по ним ходил ветер. Повозка, окруженная солдатами и барабанщиками, поплыла в это море голов. Рев толпы покрывал трескотню барабанов. Повозка поравнялась с моим окном, я увидела в ней королеву, сидящую спиной к лошади. Руки ее были связаны назади, отчего спина вытягивалась особенно прямо. Под измятым черным шерстяным платьем не было корсета и обрисовывались старые ее груди,— о них когда-то писали придворные поэты мадригалы, по их форме была сделана янтарная чаша, из которой король пил вино. Желтая шея была обнажена, голова опущена, и презрительно, с гордым омерзением выпячена нижняя губа. Из-под высокого чепца висела прядь волос. «Смерть проклятой австриячке!» — кричали простоволосые старые женщины; по четыре в ряд они шли за тележкой, и все не переставая вязали чулки для армии. Это были «вязальщицы Робеспьера». Я видела, как тележка остановилась. Стало тихо. На помосте произошла короткая суета, метнулся белый чепец. Надрываясь, все громче, страшно затрещали барабаны, и бликом света скользнул вниз по перекладинам треугольник топора. Над толпой в чьей-то вытянутой руке повисла голова королевы...

«Проклятые, сумасшедшие, бесы, бесы!» — хриповато, по-русски, проговорила царица, все еще глядя в зернисто-лапчатое, залитое заревом окно... Затем она начала мелко-мелко креститься и кланяться одной головой, не сгибая шеи... Нижняя губа ее вытянулась и слегка отвисла...

В эту ночь ее дети захворали корью. В эту ночь она в последний раз переступила порог гостиной, где я нахожусь по сей день, налево от окна. Посетители дворца-музея, в парусиновых туфлях поверх валенок, на минуту останавливаются передо мной, и руководитель говорит:

— А это образец продукта крепостного производства, относящийся к самому началу борьбы между земледельческим капиталом и капиталом торгово-промышленным.

ГАДЮКА

1

Когда появлялась Ольга Вячеславовна, в ситцевом халатике, непричесанная и мрачная,— на кухне все замолкали, только хозяйственно прочищенные, полные керосина и скрытой ярости, шипели примусы. От Ольги Вячеславовны исходила какая-то опасность. Один из жильцов сказал про нее:

— Бывают такие стервы со взведенным курком... От них подальше, голубчики...

С кружкой и зубной щеткой, подпоясанная мохнатым полотенцем, Ольга Вячеславовна подходила к раковине и мылась, окатывая из-под крана темноволосую стриженую голову. Когда на кухне бывали только женщины, она спускала до пояса халат и мыла плечи, едва развитые, как у подростка, груди с коричневыми сосками. Встав на табуретку, мыла красивые и сильные ноги. Тогда можно было увидеть на ляжке у нее длинный поперечный рубец, на спине, выше лопатки, розовоблестящее углубление — выходной след пули, на правой руке у плеча — небольшую синеватую татуировку. Тело у нее было стройное, смуглое, золотистого оттенка.

Все эти подробности хорошо были изучены женщинами, населявшими одну из многочисленных квартир большого дома в Зарядье. Портниха Марья Афанасьевна, всеми печенками ненавидевшая Ольгу Вячесла-

вовну, называла ее «клейменая». Роза Абрамовна Безикович, безработная,— муж ее проживал в сибирских тундрах,— буквально чувствовала себя худо при виде Ольги Вячеславовны. Третья женщина, Соня Варенцова, или, как ее все звали, Лялечка,— премиленькая девица, служившая в Махорочном тресте,— уходила из кухни, заслышав шаги Ольги Вячеславовны, бросала гудевший примус... И хорошо, что к ней симпатично относились и Марья Афанасьевна и Роза Абрамовна,— иначе бы кушать Лялечке чуть не каждый день пригоревшую кашку.

Вымывшись, Ольга Вячеславовна взглядывала на женщин темными, «дикими» глазами и уходила к себе в комнату в конце коридора. Примуса у нее не было, и как она питалась поутру — в квартире не понимали. Жилец Владимир Львович Понизовский, бывший офицер, теперь посредник по купле-продаже антиквариата, уверял, что Ольга Вячеславовна поутру пьет шестидесятиградусный коньяк. Все могло статься. Вернее — примус у нее был, но она от человеконенавистничества пользовалась им у себя в комнате, покуда распоряжением правления жилтоварищества это не было запрещено. Управдом Журавлев, пригрозив Ольге Вячеславовне судом и выселением, если еще повторится это «антипожарное безобразие», едва не был убит: она швырнула в него горящим примусом,— хорошо, что он увернулся,— и «покрыла матом», какого он отродясь не слыхал даже и в праздник на улице. Конечно, керосинка пропала.

В половине десятого Ольга Вячеславовна уходила. По дороге, вероятно, покупала бутерброд с какой-нибудь «собачьей радостью» и пила чай на службе. Возвращалась в неопределенное время. Мужчины у нее никогда не бывали.

Осмотр ее комнаты в замочную скважину не удовлетворял любопытства: голые стены — ни фотографий, ни открыток, только револьверчик над кроватью. Мебели — пять предметов: два стула, комод, железная койка и стол у окна. В комнате иногда бывало прибрано, шторка на окне поднята, зеркальце, гребень, два-три пузырька в порядке на облупленном комоде, на

столе стопка книг и даже какой-нибудь цветок в полубутылке из-под сливок. Иногда же до ночи все находилось в кошмарнейшем беспорядке: на постели, казалось, бились и метались, весь пол в окурках, посреди комнаты — горшок. Роза Абрамовна охала слабым голосом:

— Это какой-то демобилизованный солдат; ну разве это женщина?

Жилец Петр Семенович Морш, служащий из Медснабторга, холостяк с установившимися привычками, однажды посоветовал, хихикая и блестя черепом, выкурить Ольгу Вячеславовну при помощи вдутия через бумажную трубку в замочную скважину граммов десяти йодоформу: «Живое существо не может вынести атмосферы, отравленной йодоформом». Но этот план не был приведен в исполнение — побоялись.

Так или иначе, Ольга Вячеславовна была предметом ежедневных пересудов, у жильцов закипали мелкие страсти, и не будь ее — в квартире, пожалуй, стало бы совсем скучно. Все же в глубь ее жизни ни один любопытный глаз проникнуть не мог. Даже постоянный трепет перед ней безобиднейшей Сонечки Варенцовой оставался тайной.

Лялечку допрашивали, она трясла кудрями, путала что-то, сбивалась на мелочи. Лялечке, если бы не носик, быть бы давно звездой экрана. «В Париже из вашего носа,— говорила ей Роза Абрамовна,— сделают конфету... Да вот, поедешь тут в Париж, ах, бог мой!..» На это Соня Варенцова только усмехалась, розовели щеки, жадной мечтой подергивались голубые глазки... Петр Семенович Морш выразился про нее: «Ничего девочка, но дура...» Неправда! Лялечкина сила и была в том, чтобы казаться дурой, и то, что в девятнадцать лет она так безошибочно нашла свой стиль, указывало на ее скрытый и практический ум. Она очень нравилась пожилым, переутомленным работой мужчинам, ответственным работникам, хозяйственникам. Она возбуждала из забытых глубин души улыбку нежности. Ее хотелось взять на колени и, раскачиваясь, забыть грохот и вонь города, цифры и бумажный шелест канцелярии. Когда она, платочком вытерев носик, пряменько садилась за

пишущую машинку, в угрюмых помещениях Махорочного треста на грязных обоях расцветала весна. Все это ей было хорошо известно. Она была безобидна; и действительно, если Ольга Вячеславовна ненавидела ее, значит тут скрывалась какая-то тайна...

. . . .

В воскресенье, в половине девятого, как обычно, скрипнула дверь в конце коридора, Соня Варенцова уронила блюдечко, тихо ахнула и помчалась из кухни. Было слышно, как она затворилась на ключ и всхлипнула. В кухню вошла Ольга Вячеславовна. У рта ее, сжатого плотно, лежали две морщинки, высокие брови сдвинуты, цыганское худое лицо казалось больным. Полотенце изо всей силы стянуто на талии, тонкой, как у осы. Не поднимая ресниц, она открыла кран и стала мыться — набрызгала лужу на полу... «А кто будет подтирать? Мордой вот сунуть, чтобы подтерла»,— хотела сказать и промолчала Марья Афанасьевна.

Вытерев мокрые волосы, Ольга Вячеславовна окинула темным взглядом кухню, женщин, вошедшего в это время с черного хода низенького Петра Семеновича Морша с куском ситного в руках, бутылкой молока и отвратительной, вечно дрожащей собачонкой. Сухие губы у него ядовито усмехнулись. Горбоносый, похожий на птицу, с полуседой бородкой и большими желтыми зубами, он воплощал в себе ничем не поколебимое «тэкс, тэкс, поживем — увидим...». Он любил приносить дурные вести. На кривых ногах его болтались грязнейшие панталоны, надеваемые им по утренним делам.

Затем Ольга Вячеславовна издала странный звук горлом, будто все переполнявшее ее вырвалось в этот не то клекот, не то обрывок горестного смеха.

— Черт знает что такое,— проговорила она низким голосом, перемахнула через плечо полотенце и ушла. У Петра Семеновича на пергаментном лице проступила удовлетворенная усмешечка.

— У нашего управдома с перепою внезапно открылось рвение к чистоте,— сказал он, спуская на пол собачку.— Стоит внизу лестницы и утверждает, что лестница загажена моей собакой. «Это,— он говорит,— ее кало. Если ваша собака будет продолжать эти выступ-

ления на лестнице — возбужу судебное преследование». Я говорю: «Вы не правы, Журавлев, это не ее кало...» И так мы спорили, вместо того чтобы ему мести лестницу, а мне идти на службу. Такова русская действительность...

В это время в конце коридора опять послышалось: «Ах, это черт знает что!» — и хлопнула дверь. Женщины на кухне переглянулись. Петр Семенович ушел кушать чай и менять домашние брюки на воскресные. Часы-ходики на кухне показывали девять.

. . . .

В девять часов вечера в отделение милиции стремительно вошла женщина. Коричневая шапочка в виде шлема была надвинута у нее на глаза, высокий воротник пальто закрывал шею и подбородок; часть лица, которую можно было рассмотреть, казалась покрытой белой пудрой. Начальник отделения, вглядываясь, обнаружил, что это не пудра, а бледность,— в лице ее не было ни кровинки. Прижав грудь к краю закапанного чернилами стола, женщина сказала тихо, с каким-то раздирающим отчаянием:

— Идите на Псковский переулок... Там я натворила... и сама не знаю что... Я сейчас должна умереть...

Только в эту минуту начальник отделения заметил в ее посиневшем кулаке маленький револьвер — велодок. Начальник отделения перекинулся через стол, схватил женщину за кисть руки и вырвал опасную игрушку.

— А имеется у вас разрешение на ношение оружия? — для чего-то крикнул он. Женщина, закинув голову, так как ей мешала шляпа, продолжала бессмысленно глядеть на него.— Ваше имя, фамилия, адрес? — спросил он спокойнее.

— Ольга Вячеславовна Зотова...

2

Десять лет тому назад в Казани загорелся среди бела дня на Проломной дом купца второй гильдии, старообрядца Вячеслава Илларионовича Зотова. Пожарные обнаружили в первом этаже два трупа, связанные электрическими проводами: самого Зотова и его жены,

и наверху — бесчувственное тело их дочери Ольги Вячеславовны, семнадцатилетней девицы, гимназистки. Ночная рубашка на ней была в клочьях, руки и шея изодраны ногтями; все вокруг указывало на отчаянную борьбу. Но бандиты, по-видимому, не справились с ней или, торопясь уходить, только пристукнули здесь же валявшейся гирькой на ремешке.

Дом отстоять не удалось, все зотовское имущество сгорело дотла. Ольгу Вячеславовну отнесли в госпиталь, ей пришлось вправить плечо, зашить кожу на голове. Несколько дней она пролежала без сознания. Первым впечатлением ее была боль, когда меняли повязку. Она увидела сидевшего на койке военного врача с добрыми очками. Тронутый ее красотой, доктор зашикал на нее, чтобы она не шевелилась. Она протянула к нему руку:

— Доктор, какие звери! — и залилась слезами.

Через несколько дней она сказала ему:

— Двоих не знаю — какие-то были в шинелях... Третьего знаю. Танцевала с ним... Валька, гимназист... Я слышала, как они убивали папу и маму... Хрустели кости... Доктор, зачем это было! Какие звери!

— Шш, шш,— испуганно шипел доктор, и глаза его были влажны за очками.

Олечку Зотову никто не навещал в госпитале — не такое было время, не до того: Россию раздирала гражданская война, прочное житье трещало и разваливалось, неистовой яростью дышали слова декретов — белых афишек, пестревших всюду, куда ни покосись прохожий. Олечке оставалось только плакать целыми днями от нестерпимой жалости (в ушах так и стоял страшный крик отца: «Не надо!», звериный вопль матери, никогда в жизни так не кричавшей), от страха — как теперь жить, от отчаяния перед этим неизвестным, что гремит и кричит и стреляет по ночам за окнами госпиталя.

За эти дни она, должно быть, выплакала все слезы, отпущенные ей на жизнь. Оборвалась ее беспечальная, бездумная молодость. Душа покрылась рубцами, как заживленная рана. Она еще не знала, сколько таилось в ней мрачных и страстных сил.

Однажды в коридоре на лавку рядом с ней сел человек с подвязанной рукой. Он был в больничном халате, подштанниках и шлепанцах, и все же горячее, веселое здоровье шло от него, как от железной печки. Едва слышно он насвистывал «Яблочко», пристукивая голыми пятками. Серые ястребиные глаза его не раз перекатывались в сторону красивой девушки. Загорелое широкое лицо, покрытое на скулах никогда не бритой бородкой, выражало беспечность и даже лень, только жестки, жестоки были ястребиные глаза.

— Из венерического? — спросил он равнодушно.

Олечка не поняла, потом вся залилась возмущением:

— Меня убивали, да не убили, вот почему я здесь.— Она отодвинулась, задышала, раздувая ноздри.

— Ах ты батюшки, вот так приключение! Должно быть, было за что. Или так — бандиты? А?

Олечка уставилась на него: как он мог так спрашивать, точно о самом обыкновенном, ради скуки...

— Да вы не слыхали, что ли, про нас? Зотовы, на Проломной?

— А, вот оно что! Помню... Ну, вы бой-девка, знаете,— не поддались... (Он наморщил лоб.) Этот народ надо в огне жечь, в котле кипятить, разве тогда чего-нибудь добьемся... Столько этого гнусного элемента вылезло — больше, чем мы думали,— руками разводим. Бедствие. (Холодные глаза его оглянули Олечку.) Вот вы, конечно, революцию только так воспринимаете, через это насилие... А жалко. Сами-то из старообрядцев? В бога верите? Ничего, это обойдется. (Он кулаком постукал о ручку дивана.) Вот во что надо верить — в борьбу.

Олечка хотела ответить ему что-нибудь злое, безусловно справедливое, ото всей своей зотовской разоренности; но под его насмешливо-ожидающим взглядом все мысли поднялись и опали, не дойдя до языка.

Он сказал:

— То-то... А — горяча лошадка! Хороших русских кровей, с цыганщинкой... А то прожила бы как все,— жизнь просмотрела в окошко из-за фикуса... Скука.

— А это — веселее, что сейчас?

— А то не весело? Надо когда-нибудь ведь и погулять, не все же на счетах щелкать...

Олечка опять возмутилась, и опять ничего не сказалось,— передернула плечами: уж очень он был уверен... Только проворчала:

— Город весь разорили, всю Россию нашу разорите, бесстыдники...

— Эка штука — Россия... По всему миру собираемся на конях пройти... Кони с цепи сорвались, разве только у океана остановимся... Хочешь не хочешь — гуляй с нами.

Наклонившись к ней, он оскалился, диким весельем блеснули его зубы. У Олечки закружилась голова, будто когда-то она уже слышала такие слова, помнила этот оскал белых зубов, будто память вставала из тьмы ее крови, стародавние голоса поколений закричали: «На коней, гуляй, душа!..» Закружилась голова — и опять: сидит человек в халате с подвязанной рукой... Только горячо стало сердцу, тревожно,— чем-то этот сероглазый стал близок... Она насупилась, отодвинулась в конец скамейки. А он, насвистывая, опять стал притопывать пяткой...

. . . .

Разговор был короткий — скуки ради в больничном коридоре. Человек посвистал и ушел. Ольга Вячеславовна даже имени его не узнала. Но когда на другой день она опять села на ту же скамейку, и оглянулась в глубь душного коридора, и старательно перебирала в мыслях, что ей нужно высказать убедительное, очень умное, чтобы сбить с него самоуверенность, и он все не шел,— вместо него ковыляли какие-то на костылях,— вдруг ей стало ясно, что она ужасно взволнована вчерашней встречей.

После этого она ждала, быть может, всего еще минутку,— слезы навернулись от обиды, что вот ждет, а ему и дела мало. Ушла, легла на койку, стала думать про него самое несправедливое, что только могло взбрести в голову. Но чем же, чем он взволновал ее?

Сильнее обиды мучило любопытство — хоть мельком еще взглянуть: да какой же он? Да и нет ничего в нем... Миллион таких дураков... Большевик, конечно...

Разбойник... А глаза-то, глаза — наглые... И мучила девичья гордость: о таком весь день думать! Из-за такого сжимать пальцы!..

Ночью весь госпиталь был разбужен. Бегали доктора, санитары, волокли узлы. Сидели на койках испуганные больные. За окнами гремели колеса, раскатывалась бешеная ругань. В Казань входили чехи. Красные эвакуировались. Все, кто мог уйти, покинули госпиталь, Ольга Вячеславовна осталась, про нее не вспомнили.

На рассвете в больничном коридоре громыхали прикладами грудастые, чисто, по-заграничному, одетые чехи. Кого-то волокли,— срывающийся голос помощника заведующего завопил: «Я подневольный, я не большевик... Пустите, куда вы меня?..» Двое паралитиков подползли к окошку, выходящему во двор, сообщили шепотом: «В сарай повели вешать сердешного...»

Ольга Вячеславовна оделась,— на ней было казенное серенькое платье,— бинт на голове прикрыла белой косынкой. Над городом плыл праздничный звон колоколов. Занималась заря. Слышалась — то громче, то замирая — военная музыка входящих полков. Вдали за Волгой раскатывался удаляющийся гром пушек.

Ольга Вячеславовна вышла из палаты. На завороте в коридоре ее остановил патруль — два на низком ходу усатых чеха, пршикая и шипя, потребовали, чтобы она вернулась. «Я не пленница, я русская»,— сверкая глазами, крикнула им Ольга Вячеславовна. Они засмеялись, протянули руки — ущипнуть за щеку, за подбородок... Но не лезть же ей было грудью на два лезвия опущенных штыков. Она вернулась, раздувая ноздри, села на койку, от мелкой дрожи постукивала зубами.

Утром больные не получили чаю, начался ропот. В обеденный час чехи взяли пять человек ампутированных красноармейцев. Паралитики у окна сообщили, что сердешных повели в сарай. Затем в палату вошел русский офицер, высоко подтянутый ремнем, в широких, как крылья летучей мыши, галифе. Больные потянули на себя одеяла. Он оглядел койки, прищуренные глаза его остановились на Ольге Вячеславовне. «Зотова? — спросил он.— Следуйте за мной...» Он точно летел на

крыльях галифе, звонкие шпоры его наполняли чоканьем пустоту коридора.

Нужно было проходить через двор. В это время из подъезда, куда ее вели, вышел кудрявый юноша в русской вышитой рубашке, как-то мимолетом, надевая картуз, взглянул на нее и поторопился к воротам... Ольга Вячеславовна споткнулась... Ей показалось... Нет, этого не могло быть...

Она вошла в приемную и села у стола, глядя на военного с длинным, искривленным, как в дурном зеркале, лицом. Глядел и он на нее разноглазыми глазами.

— И вам не стыдно, дочери уважаемого в городе человека, интеллигентной девушке, связаться со сволочью? — услышала она его укоризненный голос, презрительно налегающий на гласные.

Она сделала усилие понять — что он говорит. Какая-то настойчивая мысль мешала ей сосредоточиться. Вздохнув, она сжала руки на коленях и принялась рассказывать все, что с ней случилось. Офицер медленно курил, навалившись на локоть. Она кончила. Он перевернул лист бумаги,— под ней лежала карандашная записочка.

— Наши сведения не совсем совпадают,— сказал он, задумчиво морща лоб.— Хотелось бы услышать от вас кое-что о вашей связи с местной организацией большевиков. Что? — Угол рта его пополз вверх, брови перекривились.

Ольга Вячеславовна со страхом наблюдала ужасающую асимметрию его чисто выбритого лица.

— Да вы... Я не понимаю... Вы с ума сошли...

— К сожалению, у нас имеются неопровержимые данные, как это ни странно. (Он держал папиросу на отлете, покачиваясь, пустил струйку дыма — нельзя было придумать ничего более салонного, чем этот человек.) Ваша искренность подкупает... (Колечко дыма.) Будьте же искренни до конца, дорогая... Кстати: ваши друзья, красноармейцы, умерли героями. (Один пегий глаз его устремился куда-то в окно, откуда видны ворота сарая.) Итак, мы продолжаем молчать? Ну что ж...

Взявшись за ручки кресла, он обернулся к чехам:

— Битте, прошу...

Чехи подскочили, приподняли Ольгу Вячеславовну со стула, провели по ее бокам, по груди, удовлетворенно поводя усами,— щупали, искали под юбкой карманы. Он глядел, приподнявшись, расширив разные глаза. Ольга Вячеславовна задохнулась. Румянец, пожар крови залил ее щеки. Вырвалась, вскрикнула...

— В тюрьму! — приказал офицер.

. . . .

Два месяца Ольга Вячеславовна просидела в тюрьме, сначала в общей камере, потом в одиночке. В первые дни она едва не сошла с ума от навязчивой мысли о воротах сарая, припертых доской. Она не могла спать: во сне ее горло опутывалось веревкой.

Ее не допрашивали, никто ее не вызывал, о ней точно забыли. Понемногу она начала размышлять. И вдруг точно книга раскрылась перед ней: все стало ясно. Тот, кудрявый, в вышитой рубашке, был действительно Валька, убийца: она не ошиблась... Боясь, что она донесет, он поторопился оговорить ее: карандашная записочка была его доносом...

Ольга Вячеславовна могла сколько угодно метаться, как пума, по одиночной камере: на ее страстные просьбы (в глазок двери) видеть начальника тюрьмы, следователя, прокурора угрюмые тюремные сторожа только отворачивались. В исступлении она все еше верила в справедливость, придумывала фантастические планы — раздобыть бумаги и карандаш, написать всю правду каким-то высшим властям, справедливым, как бог.

Однажды ее разбудили грубые, отрывистые голоса, грохот отворяемой двери. Кто-то входил в соседнюю камеру. Там был заключен человек в очках,— про него она знала только, что он надрывающе кашляет по ночам. Вскочив, она прислушалась. Голоса за стеной поднимались до крика — нестерпимые, торопливые. Надорвались, затихли. В тишине послышался стон, будто кому-то делали больно и он сдерживался, как на зубоврачебном кресле.

Ольга Вячеславовна прижалась в углу, под окном, безумно расширив глаза в темноту. Ей вспомнились рассказы (когда сидела в общей) о пытках... Она, казалось, видела опрокинутое землистое лицо в очках, дряблые щеки, дрожащие от муки... Ему скручивают проволокой кисти рук, щиколотки так, чтобы проволока дошла до кости... «Заговоришь, заговоришь»,— казалось, расслышала она... Раздались удары, будто выколачивали ковер, не человека... Он молчал... Удар, снова удар... И вдруг что-то замычало... «Ага! Заговоришь!..» И уже не мычанье — больной вой наполнил всю тюрьму... Будто пыль от этого страшного ковра окутала Ольгу Вячеславовну, тошнота подошла к сердцу, ноги поехали, каменный пол закачался — ударилась о него затылком...

Эта ночь, когда человек мучил человека, закрыла тьмой всю ее робкую надежду на справедливость. Но страстная душа Ольги Вячеславовны не могла быть в безмолвии, в бездействии. И после черных дней, когда едва не помутился разум, она, расхаживая по диагонали камеры, нашла спасение: ненависть, мщение. Ненависть, мщение! О, только бы выйти отсюда!

. . . .

Подняв голову, она глядела на узкое окошечко; пыльные стекла позванивали тихо, высохшие пауки колебались в паутине. Громовыми раскатами вздыхали где-то пушки. (Это на Казань двигалась Пятая красная армия.) Сторож принес обед, сопнув, покосился на окошечко: «Калачика вам принес, барышня... Если что нужно — только стукните... Мы завсегда с политическими...»

Весь день звенели стекла. За дверями вздыхали сторожа. Ольга Вячеславовна сидела на койке, охватив колени. К еде и не притронулась. Било в колени сердце, били громом пушки за окном. В сумерки опять на цыпочках вошел сторож и — шепотом: «Мы подневольные, а мы всегда — за народ...»

Около полуночи в тюремных коридорах началось движение, захлопали двери, раздались грозные окрики. Несколько офицеров и штатских, грозя оружием, гнали вниз толпу заключенных человек в тридцать.

Ольгу Вячеславовну выволокли из камеры, бегом потащили по лестницам. Она, как кошка, извивалась, силилась укусить за руки. На минуту она увидела ветреное небо в четырехугольнике двора, холод осенней ночи наполнил грудь. Затем — низкая дверь, каменные ступени, гнилая сырость подвала, наполненного людьми; конусы света карманных фонариков заметались по кирпичной стене, по бледным лицам, расширенным глазам... Исступленная матерная ругань... Грохнули револьверные выстрелы, казалось — повалились подвальные своды... Ольга Вячеславовна кинулась куда-то в темноту.... На мгновение в луче фонарика выступило лицо Вальки... Горячо ударило ей в плечо, огненным веретеном просверлило грудь, рвануло за спину... Споткнувшись, она упала лицом в плесень, пахнущую грибами...

. . . .

Пятая армия взяла Казань, чехи ушли вниз на пароходах, русские дружины рассеялись — кто куда, половина жителей в ужасе перед красным террором бежала на край света. Несколько недель по обоим берегам Волги, вздувшейся от осенних дождей, брели одичавшие беглецы с узелком и палочкой, терпели неслыханные лишения. Ушел из Казани и Валька.

Ольга Вячеславовна, наперекор здравому смыслу, осталась жива. Когда из тюремного подвала были вынесены трупы расстрелянных и рядом положены на дворе под хмуро моросящим небом, над ней присел и тихонько поворачивал ее голову кавалерист в нагольном тулупчике.

— А девчонка-то дышит,— сказал он.— Надо бы, братцы, до врача добежать...

Это был тот самый зубастый, с ястребиными глазами. Он сам перенес девушку в тюремный лазарет, побежал разыскивать в суматохе завоеванного города «непременно старорежимного профессора», ворвался на квартиру к одному профессору, сгоряча арестовал его, напугав до смерти, доставил на мотоциклетке в лазарет и сказал, указав на бесчувственную, без кровинки в лице, Ольгу Вячеславовну: «Чтоб была жива...»

Она осталась жива. После перевязки и камфары приоткрыла синеватые веки и, должно быть, узнала наклонившиеся к ней ястребиные глаза. «Поближе,— чуть слышно проговорила она, и, когда он совсем придвинулся и долго ждал, она сказала непонятно к чему: — Поцелуйте меня...» Около койки находились люди, время было военное; человек с ястребиными глазами шмыгнул, оглянулся: «Черт, вот ведь»,— однако не решился, только подправил ей подушку.

. . . .

Кавалериста звали Емельянов, товарищ Емельянов. Она спросила имя и отчество,— по имени-отчеству звали Дмитрий Васильевич. Узнав это, закрыла глаза, шевелила губами, повторяя: «Дмитрий Васильевич».

Полк его формировался в Казани, и Емельянов каждый день навещал девушку. «Должен вам сказать,— повторял он ей для бодрости,— живучи вы, Ольга Вячеславовна, как гадюка... Поправитесь — запишу вас в эскадрон, лично моим вестовым...» Каждый день говорил ей об этом, и не надоедало ни ему говорить, ни ей слушать. Он смеялся, блестя зубами, у нее нежная улыбка ложилась на слабые губы. «Волосы вам обстригем, сапожки достану легонькие, у меня припасены с убитого гимназиста; на первое время, конечно, к коню ремнем будем прикручивать, чтобы не свалились...»

. . . .

Ольга Вячеславовна действительно была живуча, как гадюка. После всех происшествий от нее, казалось, остались только глаза, но горели они бессонной страстью, нетерпеливой жадностью. Прошлая жизнь осталась на дальнем берегу. Строгий, зажиточный дом отца; гимназия, сентиментальные подруги, снежок на улицах, девичьи увлечения заезжими артистами, обожание, по обычаю, учителя русского языка — тучного красавца Воронова; гимназический «кружок Герцена» и восторженные увлечения товарищами по кружку; чтение переводных романов и сладкая тоска по северным,— каких в жизни нет,— героиням Гамсуна, тре-

вожное любопытство от романов Маргерита... Неужто все это было? Новое платье к рождественским праздникам, святочная влюбленность в студента, наряженного Мефистофелем, его рожки из черной саржи, набитые ватой... Запах цветов, замерзших на тридцатиградусном морозе... Грустная тишина, перезвон великого поста, слабеющие снега, коричневые на торговых улицах... Тревога весны, лихорадка по ночам... Дача на Верхнем Услоне, сосны, луга, сияющая Волга, уходящая в беспредельные разливы, и кучевые облака на горизонте... Все это теперь вспоминалось, может быть, только во сне, в теплоте влажной от слез больничной подушки...

В эти сны,— так ей представлялось,— разъяренной плотью ворвался Валька с пятифунтовой гирей на ремешке. Этого Вальку Брыкина выгнали за хулиганство из гимназии, он ушел добровольцем на фронт и через год опять появился в Казани, щеголяя уланской формой и солдатским георгием. Рассказывали, что его отец, полицейский пристав Брыкин (тот самый, кто издал знаменитый приказ, чтобы «городовым входить в храм божий без усилий»), подал прошение командующему войсками округа, умоляя сына своего Вальку услать на самые передовые позиции, где бы его убили наверное, так как для родительского сердца лучше видеть этого негодяя мертвым, чем живым... Валька был всегда голоден, жаден до удовольствий и смел, как черт. Война научила его ухваткам, он узнал, что кровь пахнет кисло и — только, революция развязала ему руки.

Пятифунтовая гиря его вдребезги разбила радужный ледок Олечкиных снов. До ужаса тонок оказался ледок, а на нем мечталось ей построить благополучие: замужество, любовь, семью, прочный, счастливый дом... Под ледком таилась пучина... Хрустнул он — и жизнь, грубая и страстная, захлестнула ее мутными волнами.

Ольга Вячеславовна так это и приняла: бешеная борьба (два раза убивали — не убили, ни черта она теперь не боялась), ненависть во всю волю души, корка хлеба на сегодня и дикая тревога еще не изведанной

любви — это жизнь... Емельянов садился у койки, она подсовывала под спину подушку, сжимала худыми пальчиками край одеяла и говорила, с невинным доверием глядя ему в глаза:

— Я так представляла себе: муж — приличный блондин, я — в розовом пеньюаре, сидим, оба отражаемся в никелированном кофейнике. И больше — ничего!.. И это — счастье... Ненавижу эту девчонку... Счастья ждала, ленивая дура, в капоте, за кофейником!.. Вот сволочь!..

Емельянов, упираясь кулаками в ляжки, смеялся над ее рассказами. Олечка, сама того не понимая, силилась вся перелиться в него... У нее было одно сейчас желание: оторвать тело от постели больничной койки. Она обстригла волосы. Емельянов доставил ей короткий кавалерийский полушубок, синие с красным кантом штаны и, как обещал, козловые щегольские сапожки.

В ноябре Ольга Вячеславовна выписалась из больницы. В городе не было ни родных, ни знакомых. Северные тучи неслись над пустынными улицами, заколоченными магазинами, хлестали дождем и снегом. Емельянов бойко месил по грязи из переулка в переулок в поисках жилого помещения. Олечка плелась за ним на шаг позади в промокшем пудовом полушубке, в сапожках с убитого гимназиста; дрожали коленки, но лучше умереть — не отстала бы от Дмитрия Васильевича. Он получил в исполкоме ордер на жилую площадь для товарища Зотовой, замученной белогвардейцами, и подыскивал что-нибудь необыкновенное. Наконец остановился на огромном, с колоннами и зеркальными окнами, особняке купцов Старобогатовых, брошенном хозяевами, и реквизировал его. В необитаемом доме через разбитые окна гулял ветер по анфиладе комнат с расписными потолками и золоченой, уже ободранной мебелью. Позванивали жалобно хрусталики на люстрах. В саду уныло шумели голые липы. Ударом ноги Емельянов отворял двустворчатые двери.

— Ну гляди, навалили, дьяволы, прямо на паркет, в виде протеста...

В парадном зале он разломал дубовый орган — во всю стену — и дерево снес в угловую комнату с диванами, где жарко натопил камин.

— Здесь и чайничек можете вскипятить, и тепло и светло,— умели жить буржуи...

Он доставил ей жестяной чайник, сушеной моркови — заваривать, крупы, сала, картошки — все довольствие недели на две, и Ольга Вячеславовна осталась одна в темном и пустом доме, где страшно выли печные трубы, будто призраки купцов Старобогатовых надрывались от тоски, сидя на крыше под осенним дождем...

У Ольги Вячеславовны было сколько угодно времени для размышлений. Садилась на стульчик, глядела на огонь, где начинал запевать чайник, думала о Дмитрии Васильевиче: придет ли сегодня? Хорошо бы — пришел, у нее как раз и картошка сварилась. Издали она слышала его шаги по гулким паркетам: входил он — веселый, страшноглазый,— входила ее жизнь... Отстегивал револьвер и две гранаты, скидывал мокрую шинель, спрашивал, все ли в порядке, нет ли какой нужды.

— Главное, чтобы грудной кашель прошел и в мокроте крови не было... К Новому году вполне будете в порядке.

Напившись чаю, свернув махорочку, он рассказывал о военных делах, картинно описывал кавалерийские сражения, иногда до того разгорячался, что жутко было глядеть в его ястребиные глаза.

— Империалистическая война — позиционная, окопная, потому что в ней порыва не было, умирали с тоской,— рассказывал он, расставив ноги посреди комнаты и вынув из ножен лезвие шашки.— Революция создала конную армию... Понятно вам? Конь — это стихия... Конный бой — революционный порыв... Вот у меня — одна шашка в руке, и я врубаюсь в пехотный строй, я лечу на пулеметное гнездо... Можно врагу вытерпеть этот мой вид? Нельзя... И он в панике бежит, я его рублю,— у меня за плечами крылья... Знаете, что такое кавалерийский бой? Несется лава на лаву без выстрела... Гул... И ты — как пьяный... Сшиб-

лись... Пошла работа... Минута, ну — две минуты самое большее... Сердце не выдерживает этого ужаса... У врага волосы дыбом... И враг повертывает коней... Тут уж — руби, гони... Пленных нет...

Глаза его блистали, как сталь, стальная шашка свистела по воздуху... Ольга Вячеславовна с похолодевшей от волнения спиной глядела на него, упираясь острыми локтями в колени, прижав подбородок к стиснутым кулачкам... Казалось: рассеки свистящий клинок ее сердце — закричала бы от радости: так любила она этого человека...

Зачем же он щадил ее? Неужели в нем была одна только жалость к ней? Жалел сироту, как подобранную на улице собачонку? Иногда, казалось, она ловила его взгляд искоса — быстрый, затуманенный не братским чувством... Жар кидался ей в щеки, не знала, куда отвести лицо, метнувшееся сердце валилось в головокружительную пропасть... Но — нет, он вытаскивал из кармана московскую газету, садился перед огнем читать вслух фельетон — нижний подвал, где «гвоздили» из души в душу последними словами мировую буржуазию... «Не пулей — куриным словом доедем... Ай, пишут как, ай, черти!» — кричал он, топая ногами от удовольствия...

Наступила зима. Здоровье Ольги Вячеславовны поправлялось. Однажды Емельянов пришел к ней рано, до света, велел одеться и повел ее на плац, где преподал первые законы кавалерийской посадки и обращения с конем. На рассвете падал мягкий снежок, Ольга Вячеславовна скакала по белому плацу, оставляя песчаные следы от копыт. Емельянов кричал: «Сидишь, мать твою так, как собака на заборе! Подбери носки, не заваливайся!» Ей было смешно,— и радостью свистел ветер в ушах, пьянил грудь, на ресницах таяли снежинки.

3

В слабой девочке таились железные силы: непонятно, откуда что бралось. За месяц обучения на плацу в конном и пешем строю она вытянулась, как струна,

морозный ветер зарумянил лицо. «Поглядеть со стороны,— говорил Емельянов,— соплей ее перешибешь, а ведь — чертенок...» И как черт она была красива: молодые кавалеристы крутили носами, задумывались матерые, когда Зотова, тонкая и высокая, с темной ладной шапочкой волос, в полушубке, натуго перехваченном ремнем, позванивая шпорами, проходила в махорочном дыму казармы.

Худые руки ее научились ловко и чутко управлять конем. Ноги, казалось пригодные только к буржуазным танцам да к шелковым юбкам, развились и окрепли, и в особенности дивился Емельянов ее шенкелям: сталь, чуткость, как клещ сидела в седле, как овечка ходил под ней конь. Обучилась владеть и клинком — лихо рубила пирамидку и лозу, но, конечно, настоящего удара у нее не было: в ударе вся сила в плече, а плечики у нее были девичьи.

Не глупа была и по части политграмоты. Емельянов боялся за «буржуазную отрыжку»,— время было тогда суровое. «Товарищ Зотова, какую цель преследует рабоче-крестьянская Красная Армия?..» Ольга Вячеславовна выскакивала и — без запинки: «Борьбу с кровавым капитализмом, помещиками, попами и интервентами за счастье всех трудящихся на земле...» Зотова была зачислена бойцом в эскадрон, которым командовал Емельянов. В феврале полк погрузился в теплушки и был брошен на деникинский фронт.

Когда Ольга Вячеславовна, стоя с конем в поводу на грязно-навозном снегу станции, где выгрузились эшелоны, глядела на мрачное, в ветреных тучах, угольно-красное и синее зарево весеннего заката и слушала отдаленные раскаты пушек — все недавнее прошлое незабываемой обидой, мстительной ненавистью поднялось в ней. «Бро-о-сай курить!.. На коней!..» — раздался голос Емельянова. Легким движением она села в седло, шашка ударила ее по бедру... Теперь не попробуешь рвать рубашку, грозить пятифунтовой гирей, не потащишь под локти в подвал! «Ры-сью марш!..» Заскрипело седло, засвистал сырой ветер, глаза глядели на багровый мрак заката. «Кони сорвались с це-

пей, разве только у океана остановимся»,— упоительной песней припомнились ей слова любимого друга... Так началась ее боевая жизнь.

. . . .

В эскадроне все называли Ольгу Вячеславовну женой Емельянова. Но она не была ему женой. Никто бы не поверил, обезживотили бы со смеху, узнай, что Зотова — девица. Но это скрывали и она и Емельянов. Считаться женой было понятнее и проще: никто ее не лапал — все знали, что кулак у Емельянова тяжелый, несколько раз ему пришлось это доказать, и Зотова была для всех только братишкой.

По обязанности вестового Зотова постоянно находилась при командире эскадрона. В походе ночевала с ним в одной избе и часто — на одной кровати: он — головой в одну сторону, она — в другую, прикрывшись каждый своим полушубком. После утомительных, по полсотне верст, дневных переходов, убрав коня, наскоро похлебав из котла, Ольга Вячеславовна стягивала сапоги, расстегивала ворот суконной рубашки и засыпала, едва успев прилечь на лавке, на печи, с краю кровати... Она не слыхала, когда ложился Емельянов, когда он вставал. Он спал, как зверь,— мало, будто одним ухом прислушиваясь к ночным шорохам.

Емельянов обращался с ней сурово, ничем не выделял среди бойцов, цепляясь к ней, пожалуй, чаще, чем к другим. Она только теперь поняла силу его ястребиных глаз: это был взор борьбы. Добродушие, зубоскальство сошли с него в походе вместе с лишним жиром. После ночного обхода, найдя коней в порядке, бойцов спящими, заставы и часовых — на местах, Емельянов входил в избу усталый, крепко пахнущий пóтом, садился на лавку, чтобы последним усилием стащить набухшие сапоги, и часто так сидел в изнеможении с полустянутым голенищем на одной ноге. Подходил к кровати, и на минуту засматривался в пылающее во сне, обветренное, и женское и детское лицо Ольги Вячеславовны. Глаза его затуманивались, нежная улыбка ложилась на губы. Но за провинность он бы не пощадил.

. . . .

Зотова везла пакет в дивизию. Над степью, то зеленой, то серо-серебристой от полыни, безоблачное майское небо пело голосами жаворонков. У коня играла селезенка,— совсем как иноходец, шел он мягкой рысью. Перебегали желтенькие суслики дорогу. В такое утро можно было забыть, что есть война, враг теснит и обходит, пехотные дивизии, не принимая боя, ломают вагоны, уходят в тыл, в городах — голод, по деревням — бунты. А весна, как и прежде, убирала красой землю, волновала мечтами. Даже конь, весь потный от худого корма, пофыркивал, подлец, косил лиловым глазом, интересовался — побаловаться, поиграть.

Дорога шла мимо полузаросшего осокой пруда, в нем отражался, весь в складках, меловой обрыв. Конь перебил шаг и потянул к воде. Зотова спешилась, разнуздала его, и он, войдя по колено, стал пить, но только потянул воду — поднял лысую морду и, весь сотрясаясь, громко, тревожно заржал. Сейчас же из лозняков в конце пруда ему ответили ржанием. Зотова живо взнуздала, вскочила в седло; вглядываясь, потянула из-за спины ложе карабина. В лозняках заныряли две головы, и на берег выскочили всадники — двое. Остановились. Это был разъезд. Но чей? Наш или белый?

У одного лошадь нагнула голову, сгоняя слепня с ноги, всадник потянулся за поводом, и на плече его блеснула золотая полоска... «Текать!» Ольга Вячеславовна ударила ножнами коня, пригнулась,— и полетели кустики полыни, сухие репья навстречу... За спиной послышался тяжелый настигающий топот... Выстрел... Она покосилась — один из всадников забирал правее, наперерез ей. Конь его, рыжий, донской, махал, как борзая собака... Опять выстрел сзади... Она сорвала со спины карабин, бросила поводья. Всадник на донце скакал шагах в пятидесяти. «Стой, стой!» — страшно закричал он, размахивая шашкой... Это был Валька Брыкин. Она узнала его, толкнула шенкелем коня — навстречу ему, вскинула винтовку, и жгучей ненавистью сверкнул ее выстрел... Донской жеребец, мотая башкой, взвился на дыбы и сразу грохнулся, при-

давив всадника... «Валька! Валька!» — крикнула она дико и радостно,— и в эту минуту на нее сзади наскочил второй всадник... Увидела только его длинные усы, большие глаза, выпученные изумленно: «Баба!» — и его занесенная шашка вяло звякнула по стволу карабина Ольги Вячеславовны. Лошадь пронесла его вперед. В руках у нее уже не было карабина — должно быть, швырнула его или уронила (впоследствии, рассказывая, она не могла припомнить); ее рука ощутила позывную, тягучую тяжесть выхваченного лезвия шашки, стиснутое горло завизжало, конь разостлался в угон, настиг, и она наотмашь ударила. Усатый лег на гриву, обеими руками держась за затылок.

Конь, резко дыша, нес Ольгу Вячеславовну по полынной степи. Она увидела, что все еще сжимает рукоять клинка. С трудом, не попадая в ножны, вложила его. Потом остановила лошадь; меловой обрыв, озерцо остались влево, далеко позади. Степь была пустынна, никто не гнался, выстрелы прекратились. Звенели жаворонки в сияющей синеве, пели добро и сладко, как в детстве. Ольга Вячеславовна схватилась за рубашку на груди, сжала пальцами горло, испуганно стараясь сдержаться, но — ничего не вышло: слезы брызнули, и, плача, она вся затряслась на седле.

Потом, по пути в штаб дивизии, она еще долго сердито вытирала глаза то одним кулачком, то другим.

. . . .

В эскадроне сто раз заставляли Зотову рассказывать эту историю. Бойцы хохотали, крутили головами, с ног валились от смеха.

— Ой, не могу, ой, братцы, смехотища! Баба угробила двух мужиков!..

— Постой, ты расскажи: значит, он на тебя налетает с затылка и вдруг закричал: «Баба!»

— А велики ли усы-то у него были?

— Глаза вылупил, удивился.

— И рука не поднялась?

— Ну, известное дело.

— И ты его тут — тюк по затылку... Ой, братишки, умру... Вот тебе и кавалер — разлетелся.

— Ну, а потом ты что?

— Ну что «потом»? — отвечала Ольга Вячеславовна.— Обыкновенно: клинок вытерла и побежала в дивизию с пакетом.

. . . .

Одно существенное неудобство было в походной жизни: Ольга Вячеславовна не могла преодолеть стыдливость. В особенности досадно ей бывало, когда в жаркий день эскадрон дорывался до реки или пруда; бойцы нагишом, в радугах водяной пыли, с хохотом и гиканьем въезжали в воду на рассёдланных конях. Зотовой приходилось выбирать местечко отдельно, где-нибудь за кустом, за тростниками. Ей кричали:

— Дура девка, ты обвяжись портянкой, айда с нами.

Емельянов строго следил за чистоплотностью и опрятностью. «Если у конника прыщ на ягодице — вон из строя; это не боец,— говаривал он.— Конник, пуще всего береги ж... Если позволяют обстоятельства, летом и зимой обливайся у колодца — четверть часа физических упражнений».

Обливание у колодца тоже бывало затруднительно для нее: приходилось вставать раньше других, бежать по студеной росе, когда в слоистых облаках и туманах еще только брезжило утро пунцовой щелью. Однажды она вытащила жалобно заскрипевшим журавлем ведро ледяной пахучей воды, поставила его на край колодца, разделась, пожимаясь от сырости,— и что-то будто коснулось неслышно ее спины.

Обернулась: на крыльце стоял Дмитрий Васильевич и пристально и странно глядел на нее. Тогда она медленно зашла за колодец и присела так, что видны были только ее немигающие глаза. Будь это любой из товарищей, она бы прикрикнула просто: «Что ты, черт, уставился, отвернись!» Но голос ее пересох от стыда и волнения. Емельянов пожал плечами, усмехнулся и ушел.

Случай был незначительный, но все изменилось с той поры. Все вдруг стало сложным — самое простое. Эскадрон остановился на ночевку на горелых хуторах, для спанья пришлась одна кровать, как это часто бывало. В эту ночь Ольга Вячеславовна легла на самый

краешек, на попону, пахнущую конем, и долго не могла заснуть, хотя и сжимала веки изо всей силы. Все же она не услышала, когда пришел Емельянов. Когда петухи разбудили ее — он, оказывается, спал прямо на полу, у двери... Исчезла простота... В разговорах Дмитрий Васильевич хмурился, глядел в сторону; она чувствовала на его лице, на своем лице одну и ту же напряженную, притворную маску. И все же это время она жила как пьяная от счастья.

До сих пор Зотова не бывала в настоящем деле. Полк вместе с дивизией продолжал отходить на север. Во время мелких стычек она неизменно находилась при командире эскадрона. Но вот где-то на фронте случилась большая неприятность,— о ней тревожно и глухо заговорили. Полк получил приказ — прорваться через неприятельскую линию, пройти по тылам и снова прорваться на крайний фланг армии. Впервые Ольга Вячеславовна услышала слово «рейд». Выступили немедленно. Эскадрон Емельянова шел первым. К ночи стали в лесу, не разнуздывая коней, не зажигая огня. Теплый дождь шумел по листьям, не было видно вытянутой руки. Ольга Вячеславовна сидела на пне, когда ласковая рука легла на ее плечи; она догадалась, вздохнула, закинула голову. Дмитрий Васильевич, нагнувшись, спросил:

— Не заробеешь? Ну, ну, смотри... Ближе ко мне держись...

Потом раздалась негромкая команда, бойцы беззвучно сели на коней. Ольга Вячеславовна свернула наугад и коснулась стременем Дмитрия Васильевича. Долго пробирались шагом. Под копытами чавкало, тянуло грибами откуда-то. Затем в непроглядной темноте появились мутные просветы — лес редел. Справа, совсем близко, метнулись огненные иглы, гулкие выстрелы покатились по чернолесью. Емельянов крикнул протяжно: «Шашки вон, марш, марш!..» Мокрые сучья захлестали по лицу, кони теснились, храпели, колени задевали о стволы. И сразу серая, дымная, уходящая вниз поляна разостлалась перед глазами, по ней уже мчались тени всадников. Берег оборвался.

Ольга Вячеславовна вонзила шпоры, конь, подобрав зад, кинулся в речку...

Полк прорвался в неприятельский тыл. Скакали во тьме под низкими тучами; степь гудела под копытами пяти сотен коней. На скаку, срываясь, запели трубы горнистов. Приказано было спешиться. По эскадронам роздали погоны и кокарды. Емельянов собрал в круг бойцов.

— В целях маскировки мы теперь — сводный полк северо-кавказской армии генерал-лейтенанта барона Врангеля. Запомнили, курьи дети? (Бойцы заржали.) Кто там смеется,— в зубы, молчать; я вам теперь не «товарищ командир», а «его высокоблагородие господин капитан». (Он чиркнул спичкой, на плече его блеснул золотой погон с одним просветом.) Вы теперь не «товарищи», а «нижние чины». Тянуться, козырять, выкать. «Мо-о-ол-чать, руки по швам!» Поняли? (Весь эскадрон грохотал; вытягивались, козыряли, к «ваше высокоблагородие» пристегивали разные простые словечки.) Пришивайте погоны, звезду в карман, кокарду на фуражку...

Три дня мчался замаскированный полк по врангелевскому тылу. Столбы черного дыма поднимались по его следам — горели железнодорожные станции, поезда, военные склады, взлетали на воздух водокачки и пороховые погреба. На четвертые сутки кони приустали, начали спотыкаться, и в глухой деревеньке был сделан дневной привал. Ольга Вячеславовна убрала коня и тут же, не перешагнув через ворох сена, повалилась, заснула. Разбудил ее громкий женский смех: свежая бабенка в подоткнутой над голыми икрами черной юбке сказала кому-то, указывая на Зотову: «Какой хорошенький...» Бабенка вешала на дворе вымытые портянки.

Когда Ольга Вячеславовна вошла в избу, у стола сидел Емельянов, заспанный, веселый, в волосах пух, ноги босые. Значит — его портянки были стираны.

— Садись, сейчас борщ принесут. Хочешь водки? — сказал он Ольге Вячеславовне.

Та же свежая бабенка вошла с чугуном борща, отворачивая от пахучего пара румяную щеку. Стукнула

чугуном под самым носом у Емельянова, повела полным плечом:

— Точно ждали мы вас, уж и борщ...— Голос у нее был тонкий, нараспев,— бойка, нагла...— Портяночки ваши выстирала, не успеете оглянуться — высохнут... — И сучьими глазами мазнула по Дмитрию Васильевичу.

Он одобрительно покрякивал, хлебая,— весь какой-то сидел мягкий.

Ольга Вячеславовна положила ложку; лютая змея ужалила ей сердце,— помертвела, опустила глаза. Когда бабенка вывернулась за дверь, она догнала ее в сенях, схватила за руку, сказала шепотом, задыхаясь:

— Ты что: смерти захотела?..

Бабенка ахнула, с силой выдернула руку, убежала.

Дмитрий Васильевич несколько раз изумленно поглядывал на Ольгу Вячеславовну: какая ее муха укусила? А когда садился на коня, увидел ее свирепые потемневшие глаза, раздутые ноздри и из-за угла сарая испуганно выглядывающую, как крыса, простоволосую бабенку, и — все понял, расхохотался — по-давнишнему — всем белым оскалом зубов. Выезжая из ворот, коснулся коленом Олечкиного колена и сказал с неожиданной лаской:

— Ах ты дурочка...

У нее едва не брызнули слезы.

. . . .

На пятый день было обнаружено, что целая казачья дивизия преследует по пятам замаскированный красный полк. Теперь уходили полным ходом, бросая измученных коней. Когда настала ночь, завязался арьергардный бой. Полковое знамя было передано первому эскадрону. Не останавливаясь, влетели в какое-то, без огней, темное село. Стучали рукоятками шашек в ставни. Выли собаки, все кругом казалось вымершим, только на колокольне бухнул колокол и затих.

Привели двух мужиков,— нашли их в соломе, лохматых, как лешие. Оглядываясь на конников, они повторяли только:

— Братцы, голубчики, не губите...

— За белых ваше село или за советскую власть? — нагнувшись с седла, закричал Емельянов.

— Братцы, голубчики, сами не знаем... Все у нас взяли, пограбили, все разорили...

Все же удалось от них допытаться, что село пока не занято никем, что ждут действительно казаков Врангеля и что за рекой, за железнодорожным мостом, в окопах находятся большевики. Полк снял погоны, нацепил звезды и перешел через мост на свою сторону. Здесь выяснилось, что по всему фронту белые наступают как бешеные и этот мост велено защищать — хоть сдохни; а воевать нечем: пулеметные ленты к пулеметам не подходят, в окопах — вши, хлеба нет, красноармейцы от вареного зерна распухли до последней степени, как ночь — разбегаются; агитатор был, да помер от поноса.

Командир полка соединился по прямому проводу с главковерхом: действительно — было велено защищать мост до последней капли крови, покуда армия не выйдет из окружения.

. . . .

— Живыми отсюда не уйдем,— сказал Емельянов.

Он зачерпнул из реки два котелка, один подал Ольге Вячеславовне и, присев около нее, вглядывался в неясное очертание дальнего берега. Мутная желтоватая звезда стояла над рекой. Весь день врангелевские батареи частым огнем разрушали окопы большевиков. А вечером пришел приказ: форсировать мост, отбросить белых от реки и занять село.

Ольга Вячеславовна глядела на мутноватый неподвижный след звезды на реке,— в нем была тоска.

— Ну, пойдем, Оля,— сказал Дмитрий Васильевич,— надо поспать часик.— В первый раз он назвал ее по имени.

Из кустов на крутой берег выползали с котелками воды крадущиеся фигурки бойцов: весь день к реке не было подступа, никто не пил ни капли. Все уже знали о страшном приказе. Для многих эта ночь казалась последней.

— Поцелуй меня,— с тихой тоской сказала Ольга Вячеславовна.

Он осторожно поставил котелок, привлек ее за плечи,— у нее упала фуражка, закрылись глаза,— и стал целовать в глаза, в рот, в щеки.

— Женой бы тебя сделал, Оля, да нельзя сейчас, понимаешь ты...

. . . .

Ночные атаки были отбиты. Белые укрепили мост, запутав конец его проволокой, и били вдоль него из пулеметов. Серое утро занялось над дымящейся рекой, над сырыми лугами. Земля на обоих берегах взлетала поминутно, будто вырастали черные кусты. Воздух выл и визжал, плотными облачками рвалась шрапнель. От грохота дурели люди. Множество уткнувшихся, раскинутых тел валялось близ моста. Все было напрасно. Люди не могли больше идти на пулеметный огонь.

Тогда за железнодорожной насыпью восемь коммунаров съехались под полковое знамя; разорванное и простреленное, оно на рассвете казалось кровавого цвета. Два эскадрона сели на коней. Полковой командир сказал: «Нужно умереть, товарищи»,— и шагом отъехал под знамя. Восьмым был Дмитрий Васильевич. Они обнажили шашки, вонзили шпоры, выехали из-за насыпи и тяжелым карьером поскакали по гулким доскам моста.

Ольга Вячеславовна видела: вот конь одного повалился на перила, и конь и всадник полетели с десятисаженной высоты в реку. Семеро достигли середины моста. Еще один, как сонный, свалился с седла. Передние, доскакав, рубили шашками проволоку. Рослый знаменосец закачался, знамя поникло, его выхватил Емельянов, и — сейчас же конь его забился.

Горячо пели пули. Ольга Вячеславовна мчалась по щелястым доскам над головокружительной высотой. Вслед за Зотовой загудели, затряслись железные переплеты моста, заревело полтораста глоток. Дмитрий Васильевич стоял, широко раздвинув ноги, держал древко перед собой, лицо его было мертвое, из раскрытого рта ползла кровь. Проскакивая, Ольга Вячеславовна выхватила у него знамя. Он шатнулся к перилам, сел. Мимо пронеслись эскадроны — гривы, согнутые спины, сверкающие клинки.

Все прорвалось на ту сторону; враг бежал, пушки замолкли. Долго еще над лавой всадников вилось по полю и скрылось за ветлами села в клочья изодранное знамя; с ним теперь уже скакал, колотя лошадь голыми пятками, широкомордый парень-красноармеец,— размахивая древком, кричал: «Вали, вали, бей их!..»

Ольгу Вячеславовну подобрали в поле; она была оглушена падением и сильно поранена в бедро. Товарищи по эскадрону очень жалели ее: не знали, как ей и сказать, что Емельянов убит. Послали депутацию к командиру полка, чтобы Зотову наградили за подвиг. Долго думали — чем? Портсигар — не курит, часы — не бабье дело носить. У одного конника нашли в вещевом мешке брошку из чистого золота: стрела и сердце. Командир полка без возражения согласился на эту награду, но в приказе выразился с оговоркой: «Зотову за подвиг наградить золотой брошью — стрела, но сердце, как буржуазную эмблему, убрать...»

4

Как птица, что мчится в ветреном, в сумасшедшем небе и вдруг с перебитыми крыльями падает клубком на землю, так вся жизнь Ольги Вячеславовны, страстная, невинная любовь, оборвалась, разбилась, и потянулись ей не нужные, тяжелые и смутные дни. Долгое время она валялась по лазаретам, эвакуировалась в гнилых теплушках, замерзала под шинелишкой, умирала с голоду. Люди были незнакомые, злые, для всех она была номер такой-то по лазаретной ведомости, во всем свете — никого близкого. Жить было тошно и мрачно, и все же смерть не взяла ее.

Когда выписалась из лазарета, наголо стриженная, худая до того, что шинель и голенища болтались на ней, как на скелете,— пошла на вокзал, где жили и мерли в залах на полу какие-то, на людей не похожие, люди. Куда было ехать? Весь мир — как дикое поле. Вернулась в город, на сборочный пункт к военкому, предъявила документы и наградную брошь-стрелку и вскоре с эшелоном уехала в Сибирь — воевать.

Стук вагонных колес, железный жар печурки в сизом дыму, тысячи, тысячи верст, долгие, как путь, песни; вонь и загаженный снег казармы, орущие буквы военных плакатов и черт знает каких афиш и извещений — клочья бумаги, шелестящие на морозе, мрачные митинги среди бревенчатых стен в полумраке коптящей лампы — и опять снега, сосны, дымы костров, знакомый звук железных бичей боя, стужа, сгоревшие села, кровавые пятна на снегу, тысячи, тысячи трупов, как раскиданные дрова, заносимые поземкой... Все это путалось в ее воспоминаниях, сливалось в один долгий свиток нескончаемых бедствий.

Ольга Вячеславовна была худа и черна; могла пить автомобильный спирт, курила махорку и, когда надо, ругалась не хуже других. За женщину ее мало кто признавал, была уж очень тоща и зла, как гадюка. Был один случай, когда к ней ночью в казарме подкатил браток, бездомный фронтовик с большими губами — «Губан» — и попросил у нее побаловаться, но она с внезапным остервенением так ударила его рукояткой нагана в переносье, что братка увели в лазарет. Этот случай отбил охоту даже и думать о «Гадючке»...

Весной занесло ее во Владивосток. В жизни в первый раз она увидела океан — синий, темный, живой. Бежали, стремились к берегу длинные гривы пены, поднимались волны еще на горизонте и, добежав, били в мол, взлетали жидким облаком. Ольга Вячеславовна захотела уйти на корабле... Ожили в воспоминаниях картинки, над которыми мечталось в детстве: берега с невиданными деревьями, горные пики, луч солнца из необъятных облаков и тихий путь кораблика... Проплыть мимо мыса Бурь, посидеть, пригорюнясь, на камешке у реки Замбези... Все это был, конечно, вздор. Никто не принял на корабль, только в портовом тайном кабачке старый лоцман, приняв ее за проститутку и с пьяными слезами пожалев за погибшую молодость, нататуировал на ее руке якорь: «Помни, сказал, это надежда на спасение...»

Потом — кончилась война. Ольга Вячеславовна купила на базаре юбку из зеленой плюшевой занавески и пошла служить по разным учреждениям: машинисткой

при исполкоме, секретаршей в Главлесе или так, писчебумажной барышней, переезжающей вместе с письменным столом из этажа в этаж.

На месте долго не засиживалась, все время передвигалась из города в город — поближе к России. Думалось: проехать бы по тому мосту, над тем берегом, где, зачерпнув в реке котелок, в последний раз сидел с ней Дмитрий Васильевич... Нашла бы и тот куст ракитовый и место примятое, где сидели...

Прошлое не забывалось. Жила одиноко, сурово. Но военная жесткость понемногу сходила с нее,— Ольга Вячеславовна снова становилась женщиной...

5

В двадцать два года нужно было начинать третью жизнь. То, что теперь происходило, она представляла как усилие запрячь в рабочий хомут боевых коней. Потрясенная страна еще вся щетинилась, глаза, еще налитые кровью, искали — что разрушить, а уже повсюду, отгораживая от вчерашнего дня, забелели листочки декретов, призывающих чинить, отстраивать, строить.

Она читала и слышала об этом, и ей казалось, что это труднее войны. Города, где она проживала, были разрушены с неистовой яростью, все покривилось и повалилось, крапивой заросли пожарища,— человек жил под одной рогожкой. Человек ел и спал, и во сне все еще грезились ему видения войны. Творчество выражалось в производстве банных веников и глиняной посуды — такой же, как в пращуровские времена.

Листочки декретов звали восстанавливать и творить. Чьими руками? Своими же, вот этими — все еще скрюченными, как лапа хищной птицы... Ольга Вячеславовна в часы заката любила бродить по городу,— вглядывалась в недоверчивые, мрачные лица людей с неразглаженными морщинами гнева, ужаса и ненависти,— она хорошо знала эту судорогу рта, эти обломки, дыры на месте зубов, съеденных на войне. Все побывали там — от мальчика до старика... И вот бродят по загаженному городу, в кисло пахнущей одежде

из мешков, из буржуйских занавесок, в разбитых лаптях, взъерошенные, готовые ежеминутно заплакать или убить...

Листки декретов настойчиво требуют — творчества, творчества, творчества... Да, это потруднее, чем пироксилиновой шашкой взорвать мост, в конном строю изрубить прислугу на батарее, выбить шрапнелью окна в фабричном корпусе... Ольга Вячеславовна останавливалась у покосившегося забора перед пестрым плакатом. Кто-то уже перекрестил его куском штукатурки, нацарапал похабное слово. Она рассматривала лица, каких не бывает, развевающиеся знамена, стоэтажные дома, трубы, дымы, восходящие к пляшущим буквам: «индустриализация»... Она была девственно впечатлительна и мечтала у нарядного плаката,— ее волновало величие этой новой борьбы.

Закат мрачнел; последнее неистовство его красок, пробившись из-под свинцовой тучи, зажигало осколки стекол в зияющих пустынных домах. Изредка брел прохожий, грызя семечки, плюя в грязь разъезженной улицы, где валялись ржавые листы и ощеренная кошачья падаль. Семечки, семечки... Досуг человека заполнялся движением челюстей, мозг дремал в сумерках. В семечках был возврат к бытию до каменного топора. Ольга Вячеславовна сжимала кулачки — она не могла мириться с тишиной, семечками, банными вениками и огромными пустырями захолустья...

Ей удалось получить командировку в Москву; она приехала туда в зеленой юбке из плюшевой портьеры, полная решимости и самоотвержения.

. . . .

К житейским лишениям Ольга Вячеславовна относилась спокойно: бывало с ней и похуже. Первые недели в Москве ютилась где попадется, затем получила комнату в коммунальной квартире, в Зарядье. После заполнения анкет и подачи многочисленных заявлений, сразу притихшая от величайшей сложности прохождения всех ее бумаг, от шума многоэтажных, гудящих, как улей, учреждений, она поступила на службу в отдел контроля Треста цветных металлов. У нее было

чувство воробья, залетевшего в тысячеколесный механизм башенных курантов. Она поджала хвост. Минута в минуту приходила на службу. Присматривалась и робела, потому что никакими усилиями ума не могла определить степень пользы, которую приносила, переписывая бумажки. Здесь ни к чему были ее ловкость, ее безрассудная смелость, ее гадючья злость. Здесь только постукивали ундервуды, как молоточки в ушах в сыпнотифозном бреду, шелестели бумаги, бормотали в телефонные трубки хозяйственные голоса. То ли было на войне: ясно, отчетливо, под пение пуль — всегда к видимой цели...

Затем, разумеется, она попривыкла, обошлась, «разгладила шерстку». Побежали дни, рабочие, однообразные, спокойные. Чтобы не утонуть с головой в этом забвении канцелярий, она стала брать на себя общественную нагрузку. В клубную работу она внесла дисциплину и терминологию эскадрона. Ее пришлось удерживать от излишней резкости.

Первый щелчок она получила от помзава, сидевшего сбоку от нее, по другую сторону двери, ведущей в кабинет зава. Произошло это по случаю курения махорки. Помзав сказал:

— Удивляюсь вам, товарищ Зотова: такая, в общем, интересная женщина и — провоняли все помещение махоркой... Женственности, что ли, в вас нет... Курили бы «Яву».

Должно быть, это пустячное замечание пришлось как раз вовремя. Ольге Вячеславовне стало неприятно, потом больно до слез. Уходя со службы, она остановилась на лестничной площадке перед зеркалом и, впервые за много лет, по-женски оглядела себя: «Черт знает что такое — огородное чучело». Протертая плюшевая юбка спереди вздернута, сзади сбита в махры каблуками, мужские штиблеты, ситцевая серая кофта... Как же это случилось?

Две пишбарышни в соблазнительных юбочках и розовых чулочках, пробегая мимо, оглянулись на Зотову, дико стоящую перед зеркалом, и — ниже площадкой — фыркнули со смеху; можно было разобрать только: «...лошади испугаются...» Кровь прилила к прекрасному

цыганскому лицу Ольги Вячеславовны... Одна из этих пишбарышень жила в той же квартире на Зарядье — звали ее Сонечка Варенцова.

. . . .

Спустя несколько дней женщины, населявшие квартиру на Псковском переулке (что на Зарядье), были изумлены странной выходкой Ольги Вячеславовны. Утром, придя на кухню мыться, она уставилась блестящими глазами, как гадюка, на Сонечку Варенцову, варившую кашку. Подошла и, указывая на ее чулки: «Это где купили?» — задрала Сонечкину юбку и, указывая на белье: «А это где купили?» И спрашивала со злобой, словно рубила клинком.

Сонечка, нежная от природы, испугалась ее резких движений. Выручила Роза Абрамовна: мягким голосом подробно объяснила, что эти вещи Ольга Вячеславовна сумеет достать на Кузнецком мосту, что теперь носят платья «шемиз», чулки телесного оттенка и прочее и прочее...

Слушая, Ольга Вячеславовна кивала головой, повторяла: «Есть. Так... Поняла...» Затем схватилась за Сонечкину светленькую кудряшку, хотя это была и не конская грива, а нежнейшая прядь:

— А это — как чесать?

— Безусловно стричь, мое золотко,— пела Роза Абрамовна,— сзади — коротко, спереди — с пробором на уши...

Петр Семенович Морш, зайдя на кухню, прислушался и отмочил, как всегда, самодовольно блестя черепом:

— Поздненько вы делаете переход от военного коммунизма, Ольга Вячеславовна...

Она стремительно обернулась к нему (впоследствии он рассказывал, что у нее даже лязгнули зубы) и проговорила не громко, но внятно:

— Сволочь недорезанная! Попался бы ты мне в поле...

. . . .

В управлении Треста цветных металлов все растерялись в первую минуту, когда Зотова явилась на службу в черном, с короткими рукавами, шелковом

платье, в телесных чулках и лакированных туфельках; каштановые волосы ее были подстрижены и блестели, как черно-бурый мех. Она села к столу, низко опустила голову в бумаги, уши у нее горели.

Помзав, молодой и наивный парень, ужасно вылупился, сидя под бешено трещавшим телефоном.

— Елки-палки,— сказал он,— это откуда же взялось?

Действительно, Зотова до жути была хороша: тонкое, изящное лицо со смуглым пушком на щеках, глаза — как ночь, длинные ресницы... руки отмыла от чернил, —одним словом, крути аппарат. Даже зав высунулся, между прочим, из кабинета, уколол Зотову свинцовым глазом.

— Ударная девочка! — впоследствии выразился он про нее.

Прибегали глядеть на нее из других комнат. Только и было разговоров, что про удивительное превращение Зотовой.

Когда прошло первое смущение, она почувствовала на себе эту новую кожу легко и свободно, как некогда — гимназическое платье или кавалерийский шлем, туго стянутый полушубок и шпоры. Если уж слишком пялились мужчины, она, проходя, опускала ресницы, словно прикрывала душу.

. . . .

На третий день, в пять часов, когда Зотова оторвала кусок промокашки и, помуслив ее, отчищала на локте чернильное пятно, к ней подошел помзав Иван Федорович Педотти, молодой человек, и сказал, что им «нужно поговорить крайне серьезно». Ольга Вячеславовна чуть подняла красивые полоски бровей, надела шляпу. Они вышли.

Педотти сказал:

— Проще всего зайти ко мне, это сейчас за углом.

Зотова чуть пожала плечиком. Пошли. Жарким ветром несло пыль. Влезли на четвертый этаж, Ольга Вячеславовна первая вошла в его комнату, села на стул.

— Ну? — спросила она.— О чем вы хотели со мной говорить?

Он швырнул портфель на кровать, взъерошил волосы и начал гвоздить кулаком непроветренный воздух в комнате.

— Товарищ Зотова, мы всегда подходим к делу в лоб, прямо... В ударном порядке... Половое влечение есть реальный факт и естественная потребность... Романтику всякую там давно пора выбросить за борт... Ну — вот... Предварительно я все объяснил... Вам все понятно...

Он обхватил Ольгу Вячеславовну под мышки и потащил со стула к себе на грудь, в которой неистово, будто на краю неизъяснимой бездны, колотилось его неученое сердце. Но немедленно он испытал сопротивление: Зотову не так-то легко оказалось стащить со стула,— она была тонка и упруга. Не смутившись, почти спокойно, Ольга Вячеславовна сжала обе его руки у запястий и так свернула их, что он громко охнул, рванулся и, так как она продолжала мучительство, закричал:

— Больно же, пустите, ну вас к дьяволу!..

— Вперед не лезь, не спросившись, дурак,— сказала она.

Отпустила Педотти, взяла со стола из коробки папиросу «Ява», закурила и ушла...

. . . .

Ольга Вячеславовна всю ночь ворочалась на постели... Садилась у окна, курила, снова пыталась зарыться головой под подушки... Припомнилась вся жизнь; все, что казалось навек задремавшим, ожило, затосковало... Вот была чертова ночка... Зачем, зачем? Неужели нельзя прожить прохладной, как ключевая водица, без любовной лихорадки? И чувствовала, содрогаясь: уж, кажется, жизнь била ее и толкла в ступе, а дури не выбила, и «это», конечно, теперь начнется... Не обойтись, не уйти...

Утром, идя мыться, Ольга Вячеславовна услышала смех на кухне и голос Сонечки Варенцовой:

— ...Поразительно, до чего она ломается... Противно даже смотреть... Тронуть, видите ли, ее нельзя, такая разборчивая... При заполнении анкеты прописала вот такими буквами: «девица»... (Смех, шипение приму-

сов.) А все говорят: просто ее возили при эскадроне... Понимаете? Жила чуть не со всем эскадроном...

Голос Марьи Афанасьевны, портнихи:

— Безусловный люис... По морде видно.

Голос Розы Абрамовны:

— А выглядывает — что тебе баронесса Ротшильд.

Басок Петра Семеновича Морша:

— Будьте с ней поосторожнее, гадюку эту я давно раскусил... Она карьеру сделает — глазом не моргнете...

Возмущенный голос Сонечки Варенцовой:

— Вы уж, знаете, и брякнете всегда, Петр Семенович... Успокойтесь,— не с такими данными делают карьеру...

Ольга Вячеславовна вошла на кухню, все замолкли. Взор ее остановился на Сонечке Варенцовой, и проступившие морщинки у рта изобразили такую высшую меру брезгливости, что женщины заклокотали. Но крика никакого не вышло на этот раз.

. . . .

После случая с Педотти, возненавидевшим ее со всей силой высеченного мужского самолюбия, вокруг Зотовой образовалась молчаливая враждебность женщин, насмешливое отношение мужчин. Ссориться с ней опасались. Но она затылком чувствовала провожающие недобрые взгляды. За ней укреплялись клички: «гадюка», «клейменая» и «эскадронная шкура»,— она расслышивала их в шепотке, читала на промокашке. И — всего страннее, что весь этот вздор она воспринимала болезненно... Будто бы можно было закричать им всем: «Я же не такая...»

Недаром когда-то Дмитрий Васильевич назвал ее цыганочкой... С темной тоской она начинала замечать, что в ней снова, но уже со зрелой силой, просыпаются желания... Ее девственность негодовала... Но — что было делать? Мыться с ног до головы под краном ледяной водой? Слишком больно обожглась, страшно бросаться в огонь еще раз... Это было не нужно, это было ужасно...

. . . .

Ольга Вячеславовна всего минуту глядела на этого человека, и все существо ее сказало: *он*... Это было не-

объяснимо и катастрофично, как столкновение с автобусом, выгромыхнувшим из-за угла.

Человек в парусиновой толстовке, рослый и, видимо, начинающий полнеть, стоял на лестничной площадке и читал стенгазету. Мимо, из двери в дверь, вниз и вверх по лестнице, бегали служащие. Пахло пылью и табаком. Все было обычно. Человек с ленивой улыбкой рассматривал в центре стенгазеты карикатуру на хозяйственного директора Махорочного треста (помещавшегося этажом выше). Так как Ольга Вячеславовна тоже задержалась у газеты, он обернулся к ней и, указывая на карикатуру (кисть руки его была тяжелая, большая, красивая):

— Вы, кажется, в редакции, товарищ Зотова? (Голос его был сильный и низкий.) Изображайте меня в хвост и в гриву, я не против... Но это же никому не нужно, это — мелочь, это не талантливо!

На карикатуре его изобразили со стаканом чая между двумя трещащими телефонами. Острота заключалась в том, что он в служебные часы любит попивать чай в ущерб деятельности...

— Больно укусить побоялись, а тявкнули — по-лакейски... Ну что же, что чай... В девятнадцатом году я спирт пил с кокаином, чтобы не спать...

Ольга Вячеславовна взглянула ему в глаза: серые, холодноватые, цвета усталой стали, они чем-то напоминали те — любимые, навек погасшие... Чисто выбритое лицо — правильное, крупное, с ленивой и умной усмешкой... Она вспомнила: в девятнадцатом году он был в Сибири продовольственным диктатором, снабжал армию, на десятки тысяч верст его имя наводило ужас... Такие люди ей представлялись — несущие голову в облаках... Он тасовал события и жизни, как колоду карт... И вот — с портфелем, с усталой улыбкой — и мимо бежит порожденная им жизнь, толкая его локтями...

— Так все мельчить неумело,— опять сказал он,— можно всю революцию свести к дешевеньким карикатуркам... Значит, старики сделали дело и — на свалку... Жалованье получили, теперь пойдем пиво пить... Молодежь-то хороша, да вот от прошлого отрываться

опасно. Сегодняшним днем только эфемериды живут, однодневки... Так-то...

Он ушел. Ольга Вячеславовна глядела ему на сильный затылок, на широкую спину, медленно поднимающуюся по каменным ступеням в помещение Махорочного треста, и ей казалось, что он делает большое усилие, чтобы не согнуться под тяжестью дней... Ей пронзительно стало его жалко... А как известно, жалость...

. . . .

При первом случае, с бумажкой от месткома, Ольга Вячеславовна поднялась в мрачные комнаты Махорочного треста и вошла в кабинет хозяйственного директора. Он мешал ложечкой в стакане с чаем, на портфеле его лежала сдобная плюшка. У окошка шибко стучала пишбарышня. Ольга Вячеславовна так волновалась, что не обратила на нее внимания, видела только его стальные глаза. Он прочел поданную ею бумажку, подписал. Она продолжала стоять. Он сказал:

— Все, товарищ... Идите.

Это было действительно все... Когда Ольга Вячеславовна затворяла за собой дверь, показалось, что пишбарышня хихикнула. Теперь оставалось только сходить с ума... Ведь гирькой второй раз уже не стукнут, не расстреляют в подвале, он не вынесет ее на руках, не сядет у койки, не пообещает сапожки с убитого гимназиста...

Эту ночь провела так, что лучше не вспоминать. Наутро жильцы разглядывали ее комнату в замочную скважину, и тогда-то именно Петр Семенович Морш предложил дунуть из трубочки граммов десять йодоформу: «Бесится наша гадюка-то»,— сказали на кухне. Сонечка Варенцова загадочно усмехнулась, в голубеньких глазках ее дремало спокойствие непоколебимой уверенности.

Преодолеть застенчивость труднее, чем страх смерти; но недаром Ольга Вячеславовна прошла боевую школу: надо — стало быть, надо. Ожидать случая, счастья, действовать по мелочам — где мелькнуть телесными чулочками, где поспешно выдернуть голое

плечико из платья,— было не по ней. Решила: прямо пойти и все сказать ему: пусть что хочет, то и делает с ней... А так — жизни нет...

Несколько раз она сбегала вслед за ним по лестнице, чтобы здесь же, на улице, схватить его за рукав: «Я люблю вас, я погибаю...» Но каждый раз он садился в автомобиль, не замечая Зотовой среди других служащих... В эти как раз дни она запустила в Журавлева горящим примусом. Коммунальная квартира насыщалась грозовым электричеством. Сонечка Варенцова нервничала и уходила из кухни, заслышав шаги Зотовой... Шутник Владимир Львович Понизовский проник при помощи подобранного ключа в комнату Зотовой и положил ей под матрац платяную щетку, но она так и проспала ночь, ничего не заметив.

Наконец он пошел пешком со службы (автомобиль был в ремонте). Ольга Вячеславовна догнала его, резко и грубовато окликнула,— во рту, в горле пересохло. Пошла рядом, не могла поднять глаз, ступала неуклюже, топорщила локти. Секунда разлилась в вечность, ей было и жарко, и зябко, и нежно, и злобно. А он шел равнодушный, без улыбки,— строгий...

— Дело в том...

— Дело в том,— сейчас же перебил он с брезгливостью,— мне про вас говорят со всех сторон... Удивляюсь, да, да... Вы преследуете меня... Намеренье ваше понятно,— пожалуйста, не лгите, объяснений мне не нужно... Вы только забыли, что я не нэпман, слюней при виде каждого смазливого личика не распускаю. Вы показали себя на общественной работе с хорошей стороны. Мой совет — выкиньте из головы мечты о шелковых чулочках, пудрах и прочее... Из вас может выйти хороший товарищ...

Не простившись, он перешел улицу, где на тротуаре около кондитерской его взяла под руку Сонечка Варенцова. Пожимая плечами, возмущаясь, она начала что-то ему говорить. Он продолжал брезгливо морщиться, высвободил свою руку и шел, опустив тяжелую голову. Облако бензиновой гари от автобуса скрыло их от Ольги Вячеславовны.

. . . .

Итак, героиней оказалась Сонечка Варенцова. Это она подробно информировала хозяйственного директора Махорочного треста о прошлой и настоящей жизни эскадронной шкуры Зотовой. Сонечка торжествовала, но трусила ужасно...

В воскресное утро, уже описанное нами выше, когда скрипнула дверь Ольги Вячеславовны, Сонечка бросилась к себе и громко заплакала, потому что ей стало невыносимо обидно жить в постоянном страхе. Вымывшись, Ольга Вячеславовна произнесла неизвестно к чему: «Ах, это — черт знает что» дважды — на кухне и возвращаясь к себе в комнату,— после чего она ушла со двора.

На кухне опять собрались жильцы: Петр Семенович в воскресных брюках и в новом картузике с белым верхом. Владимир Львович — небритый и веселый с перепою. Роза Абрамовна варила варенье из мирабели. Марья Афанасьевна гладила блузку. Болтали и острили. Появилась Сонечка Варенцова с запухшими глазками.

— Я больше не могу,— сказала она еще в дверях,— это должно кончиться, наконец... Она меня обольет купоросом...

Владимир Львович Понизовский предложил сейчас же настричь щетины от платяной щетки и каждый день сыпать в кровать гадюке,— не выдержит, сама съедет. Петр Семенович Морш предложил химическую оборону — сероводородом или опять тот же йодоформ. Все это были мужские фантазии. Одна Марья Афанасьевна сказала дело:

— Хотя вы и на редкость скрытная, Лялечка, но признайтесь: с директором у вас оформлена связь?

— Да,— ответила Лялечка,— третьего дня мы были в загсе... Я даже настаивала на церковном, но это пока еще невозможно...

— Поживем — увидим,— блеснув лысиной, проскрипел Петр Семенович.

— Так этой гадине ползучей,— Марья Афанасьевна потрясла утюгом,— этой маркитантке вы в морду швырните загсово удостоверение.

— Ой, нет... Ни за что на свете... Я так боюсь, такие тяжелые предчувствия...

— Мы будем стоять за дверью... Можете ничего не бояться...

Владимир Львович, радостный с перепою, заблеял баранчиком:

— Станем за дверью, вооруженные орудиями кухонного производства.

Лялечку уговорили.

. . . .

Ольга Вячеславовна вернулась в восемь часов вечера, сутулая от усталости, с землистым лицом. Заперлась у себя, села на кровать, уронив руки в колени... Одна, одна в дикой, враждебной жизни, одинока, как в минуту смерти, не нужна никому... Со вчерашнего дня ею все сильнее овладевала странная рассеянность. Так, сейчас она увидела в руках у себя велодок — и не вспомнила, когда сняла его со стены. Сидела, думала, глядя на стальную смертельную игрушку...

В дверь постучали. Ольга Вячеславовна сильно вздрогнула. Постучали сильнее. Она встала, распахнула дверь. За ней в темноту коридора, толкаясь, шарахнулись жильцы,— кажется, в руках у них были щетки, кочерги... В комнату вошла Варенцова, бледная, с поджатыми губами... Сразу же заговорила срывающимся на визг голосом:

— Это совершенное бесстыдство — лезть к человеку, который женат... Вот удостоверение из загса... Все знают, что вы — с венерическими болезнями... И вы с ними намерены делать карьеру!.. Да еще через моего законного мужа!.. Вы — сволочь!.. Вот удостоверение...

Ольга Вячеславовна глядела, как слепая, на визжавшую Сонечку... И вот волна знакомой дикой ненависти подкатила, стиснула горло, все мускулы напряглись, как сталь... Из горла вырвался вопль... Ольга Вячеславовна выстрелила и — продолжала стрелять в это белое, заметавшееся перед ней лицо...

ЭМИГРАНТЫ

Факты этой повести исторически подлинны, вплоть до имен участников стокгольмских убийств. Профессор Стокгольмского университета сообщил мне подробности этого забытого дела. Остальные персонажи и сцены взяты по возможности документально из материалов, изустных рассказов и личных наблюдений. В первой редакции эта повесть называлась «Черное золото».

А. Толстой

1

Летом тысяча девятьсот девятнадцатого года ветер с океана приносил короткие ливни, солнце сквозь разрывы облаков освещало мокрые асфальты Парижа, бульвары, каштановые аллеи, аспидные крыши, полосатые парусины над столиками кабачков, потоки потрепанных автомобилей, снова вернувшихся с полей войны к услугам парижан и иностранцев.

Город испускал сложное благоухание. Центральные бульвары пахли бензином и духами, боковые улички — ванилью, овощами, винными лавками, непроветренными постелями, гигантские железо-стеклянные рынки — всеми дарами моря и земли. В старых, взбирающихся на холмы извилистых улицах, где жили те, чье мускульное напряжение наполняло город золотом и роскошью, пахло жареной картошкой, мокрыми опилками кабачков, ацетиленовыми фонарями уличных палаток, где жарились вафли и крутились пестрые рулетки.

Ветер с востока, с полей войны, разгонял пленительную лазурь полутеней, солнце жгло зеркальный асфальт, сухо шелестела каштановая листва, лоснились по́том проборы у толстеньких гарсонов, смахивающих салфетками пыль с мраморных столиков на тротуарах, нездоровье проступало на женских лицах, загримированных с послевоенной решительностью, нехоро-

шее возбуждение — на лицах юношей, свинцовая усталость — под седыми усами у стариков.

Ветер с полей войны, где под тонким слоем земли еще не кончили разлагаться пять миллионов трупов промежуточного поколения французов, немцев, англичан, африканцев, нагонял на город тление. Оно приносило странные заболевания, поражавшие Париж комбинированными карбункулами, рожей, гнилостными воспалениями, нарывами под ногтями, неизученными формами сыпи.

Мертвые, как могли, участвовали в виде стрептококковой пыли в послевоенном празднике живых. Слезы все были пролиты, траур остался лишь в черных оттенках мужских галстуков, женщины обнажились по пояс, и город с часу дня до розовой зари надрывающе пел саксофонами.

Всюду, где был квадратный метр свободной площади, взвывала стальная пластинка флексотона, мурлыкала скрипка, хрипела кривая дудка, стучали дощечки, бухал турецкий барабан, и демобилизованный, плотно прижимая к себе растопыренными пальцами женщину, шаркал и шаркал подошвами...

Каждый демобилизованный не прочь был бы устроить веселенькое побоище по возвращении с войны. В конце концов, покуда дураки сидели в окопах, умные не теряли времени в тылу. Но власть предоставила вернувшимся «защитникам отечества» лишь мирным путем отыскивать себе место в жизни. Все было ново, потрясено, сдвинулось, перемешалось. Франк падал, цены росли.

Руки, привыкшие к винтовке, не легко протягивались в окошечко кассира за скудной субботней выручкой. Что ни говори о прекрасной родине, а ухлопать такую уйму народа, чтобы вновь одним — с парусиновым свертком инструментов на плече благонамеренно шагать в дымах рассвета к гудкам кирпичных корпусов, другим — проноситься по тем же мостовым в шикарных машинах (сонные морды, завядшие бутоньерки, смятые груди смокинговых рубашек),— тут можно было задуматься: «Так что же, выходит — ты чужое счастье купил своей кровью? Дурак же ты, Жак!»

Правительство, обеспокоенное настроениями рабочих кварталов, стремилось сгладить остроту: около миллиарда франков было отпущено на стабилизацию цены на превосходный белый хлеб. Двести тысяч франков взлетело вечером четырнадцатого июля с мостов Парижа пышными ракетами, огненными дождями, павлиньими хвостами в черно-лиловое небо. Ежедневно все восемьдесят столичных газет раскрывали таинственные преступления, жуткие убийства — трупы в багажных корзинах, головы, выловленные в Сене. Удалось потрясти воображение сексуально-кровавым процессом Ландрю: этот второй Рауль Синяя Борода заманил на свою дачу двенадцать женщин, ограбил, задушил и сжег их в печи. Ландрю казнили в Версале, куда устремились еще с вечера толпы шикарных парижан. Коротая теплую ночь на площади перед гильотиной, они веселились, как дети. Звезда эстрады, Мистангет, плясала на верху лимузина. На рассвете палач, в черном сюртуке, в цилиндре, появился рядом с двумя столбиками, где наверху поблескивал треугольник ножа,— палач дал знак. Из тюрьмы выволокли упирающегося лысого человека со всклокоченной черной бородой... Несколько секунд — и он привязан под ножом, он вздрагивает икрами. Палач нажимает кнопку, глухой стук ножа, голова Ландрю отскакивает в корзину. Туда же палач, сняв осторожно, бросил белые перчатки. Приподнял цилиндр. Рукоплескания...

Организованы были экскурсии на развороченные поля сражений, где торчали обломки городов и ряды деревянных крестов пропадали за горизонтом. Ни травинки, ни птиц, ни насекомых — почва была еще пропитана нарывным газом. За двадцать франков можно было поглядеть на места гибели пяти миллионов человек.

Эти экскурсии подготовляли общественное мнение: Совет Десяти медлил с подписанием мира,— Германию ожидала суровая кара. Двадцать семь стран и народов, воевавших против Германии, послали представителей на парижскую мирную конференцию, в ней выделилось ядро из пяти великих держав — Совет

Десяти. Во главе стоял президент США — Вудро Вильсон. Он привез из Вашингтона четырнадцать пунктов вечного мира для человечества. Эти четырнадцать заповедей из страны, которая загребла все золото Европы, должны были восстановить дух христианства, мирные рынки и свободу торговли на суше и море.

Четыре остальные державы — Франция (представитель Жорж Клемансо), Англия (Ллойд-Джордж), Италия (барон Сонино) и Япония (барон Макино) — готовились вонзить зубы в колонии и богатства Германии и ее союзниц. Их волчий аппетит президент Вильсон упрямо пытался ограничить бесплодными, как англосаксонское воскресенье, проповедями о победе добра над злом. Премьер-министры четырех держав задыхались от негодования. Не подымайся за его спиной из-за океана такая распухшая золотом махина — США, они давно бы вышвырнули за дверь этого божьего посланника с его квакерской шляпой и тощими брюками.

Непримиримее всех, мстительнее, жаднее была Франция. Она готовилась к огромному индустриальному подъему: приобретая Эльзас и Лотарингию, оккупируя угольные богатства Рейна, захватывая африканские колонии, Франция намеревалась занять место Германии в промышленности.

С первых же заседаний Совета Десяти Франция повела линию на завоевание мира. Восьмидесятилетний «национальный тигр», злой и злопамятный Жорж Клемансо предоставил Вильсону бороться сколько влезет за торжество добра, и ждал, когда он всем опротивеет. Клемансо разрабатывал французский мир: двести миллиардов долларов германских репараций (по три тысячи долларов с каждой немецкой души), провинции, Рейн, колонии, раздел Турции, создание и вооружение «великой» Польши и, наконец, большой военный поход на восток Европы: Берлин — Москва. Словом — возобновление империи Наполеона I.

Восток особенно тревожил французских буржуа. Красная зараза могла испортить все дело. Уже Гер-

мания и Венгрия сотрясались от революционных бурь. Галицийцы, бунтуя против польских панов, осаждали Львов. Итальянские рабочие выбили медаль с профилем Ленина. Славяне бывшей Австрии казались ненадежными. Никто не мог поручиться (так говорил Ллойд-Джордж), что вся Восточная Европа, охваченная большевистским безумием, не двинет на Париж стомиллионную Красную Армию.

Когда Вильсон, длинный, розовый, седой, похожий на пастора, говорил о разоружении народов и милосердии к врагам, Жорж Клемансо только лающе покашливал, и косматые брови его нависали плотским ужасом над призрачными идеями президента. По существу он опасался одной только Англии.

Прошло уже восемь месяцев с окончания войны. Банкеты, праздники и фейерверки сопровождали каждый шаг мировой конференции. Журналисты обшаривали Париж в поисках таинственной особы, с которой веселился Вильсон. Старик был дьявольски скрытен,— несомненно он веселился, и вовсю,— он худел, у него дергалось лицо на заседаниях, он волочил ноги. Ребенку было ясно, что он где-то проводит ночи в чудовищном разврате. Когда об этих предположениях сообщили Клемансо, он в первый раз за восемь месяцев усмехнулся, зажмурил глаза, седые усы приподнялись, лицо сморщилось, как у тигра, увидевшего мышь.

Мир все еще не был подписан. Союзный флот продолжал блокаду Германии. Немцы питались сырой брюквой и десятками тысяч умирали от истощения. Никто не знал, чем окончатся заседания конференции. Война могла возобновиться. От нее охраняли только четырнадцать пунктов Вильсона. Доходили слухи, что в Америке деловые люди хмурятся, как от сделанной глупости: Вильсон ставил соотечественников в смешное положение,— чего, поди, в Европе начнут думать, что США населены одними мечтателями... Вокруг Вильсона образовалась пустота... Тогда-то Жорж Клемансо ознакомил Совет Десяти с основами французских мирных требований.

Четырнадцать пунктов летели к черту. Президент возмутился и пригрозил отъездом. Но он не уехал. Он хотел спасти хотя бы осколок идеалистической философии — Лигу Наций. Он отчаянно боролся. Лига Наций была провозглашена, тогда он уступил во всем, отдав европейские народы на растерзание. Франция победила. В Версаль затребовали немецких представителей, чтобы вручить им на рассмотрение мирный договор.

В безоблачное утро седьмого мая германский министр иностранных дел — граф Брокдорф-Ранцау (в черном, черных перчатках, с черной тростью), высокий, замкнутый, вошел с пятью представителями в белый зал Версальского дворца. Немцы увидели потоки солнечного света сквозь переплеты высоких окон. Свет и зелень лужаек, шпалер, синева фонтанов отражались в старинных зеркалах противоположной стены; казалось, солнце мира летело в восемь оконных пролетов. Там, где некогда помещался трон Людовика XIV, короля солнца, за столом, завершающим амфитеатром расположенные золотые кресла, сидел Клемансо в темно-серой стариковской визитке — коренастый, с угловатыми плечами; опухшие руки в серых перчатках сжаты в кулаки, квадратное лицо топорщилось белыми бровями, пожелтевшими усами. Направо от него — высохший президент Вильсон, налево — приветливо улыбающийся, франтоватый, румяный, седогривый Ллойд-Джордж с опущенными на губу седыми усами и хищным носом. Ниже — в креслах — пестрые представители двадцати семи стран и народов, посланных купечеством урвать, что можно...

«Господа делегаты германского государства. Здесь не место для лишних слов... Вы навязали нам войну... Мы принимаем меры, чтобы подобной войны более не повторилось...— так заговорил Жорж Клемансо, тяжело дыша от ярости.— Час расплаты настал. Вы просили нас о мире, мы согласны вам предложить его...»

После его речи секретарь конференции с изящным поклоном поднес графу Брокдорфу-Ранцау книгу в

триста печатных страниц, переплетенную в белый сафьян,— условия мира. Ранцау бросил на нее черные перчатки, надел роговые очки, разобрал листочки ответной речи. Он знал, что слова бесполезны — одну только силу можно было противопоставить этому купающемуся в солнце амфитеатру разбойников... Но этой силы у него не было.

Пятьдесят два дня спустя в том же зале Версаля к инкрустированному, на изогнутых ножках, столику подошел Клемансо, привычным движением матерого журналиста обмакнул золотое в золотой ручке перо, стряхнул,— черная капля как бы понеслась мимо чернильницы в мутную бездну воспоминаний («в семидесятом году в Бордо я поклялся отомстить пруссакам,— я мщу»),— и он подписал...

Шестьдесят миллионов немцев упали на колени. Из-за Рейна во Францию — день и ночь, день и ночь — потянулись тоскливо длинные поезда с углем, сырьем, пушками, машинами. Тощие, с землистыми щеками немцы, костлявые немки, дети, покрытые болячками, глядели вслед этим поездам, вслед улетающей на долгие годы надежде поесть, отдохнуть... На Германию опускалась ночь, озаренная заревом с востока. Но для тех, кто правил Германией, этот отблеск был страшнее ночи.

2

Французское правительство пышно отпраздновало переход к мирной жизни по древнеримскому обычаю — триумфом.

В центре Парижа — на площади Согласия, вдоль широкой аллеи Елисейских полей и на площади Звезды вокруг приземистой арки Наполеона — навалены были кучами (с трехэтажные дома) немецкие заржавленные пушки. Повсюду торчали высокие жерди в форме средневековых копий, спирально перевитые лентами. Между ними висели гирлянды цветов из желтой бумаги... Одна из сидящих каменных статуй на площади Согласия — статуя города Страсбурга,

пятьдесят четыре года покрытая трауром,— сегодня утопала в знаменах.

Августовский день был зноен и сух. В бледном небе, сверкая, кружились аэропланы. С голых ветвей каштанов падали последние сухие листья. Между шестов и бумажных роз по этой страшной аллее войны, похожей на обгорелый лес, несли впереди войск полусгнивший труп без лица — неизвестного солдата. Могила ему была вырыта под триумфальной аркой Наполеона. Играли рожки, били барабаны. Из-за Сены, из горячей мглы, стреляли пушки. Республика отдавала воинские почести народу: каждый бедняк теперь вправе думать, что в центре столицы мира, под аркой Звезды, лежит его брат, его сын, пропавший без вести. Человеческие потоки медленно двигались за войсками. Тончайшая пыль поднималась от мостовых, ложилась на миллионы лиц, обозначая морщины усталости, опустошения, невозвратимых утрат. Кое-где пробегала молодежь, взявшись за руки... Но разве это было веселье? За все муки — подарить народу гнилой труп без лица! Веселились вовсю лишь американские солдаты — сытые жеребцы, шатались под руку с девчонками, нахлобучив их шляпки себе на железные шлемы...

Вечером над черной Сеной взвились потешные огни. В рабочих кварталах завертелись карусели, отражая миллионами зеркалец хмурые пыльные лица. По опустевшим улицам поползли на колесиках четырехугольные рамы с зажженными плошками, за ними ковыляли безногие, безрукие, безглазые,— это инвалиды войны собирали милостыню. На перекрестках играли уличные оркестрики. Но Парижу не плясалось в этот душный, безветренный вечер. Сидя на стульях у порогов своих домов, у кофеен, на скамейках бульваров, люди поглядывали на лиловое зарево над городом, на догорающие кое-где за рекой линии иллюминаций, на огоньки Эйфелевой башни. «Эх, Жак, не думаешь ли ты, что кто-то здорово надул тебя сегодня?..»

Немецкие миллиарды поплывут мимо носа, прямо в банки Больших бульваров. Краснеют огоньки папи-

рос у дверей, тихо бредут по домам неясные в темноте фигуры... Вот когда сказалась старость... Дикой бы крови сюда. Великих бы замыслов — в этот прекраснейший из городов...

3

Около часу дня на Елисейских полях (где уже убрали шесты и пушки) в кафе Фукьец, посещаемое иностранцами, вошел человек, одетый по моде, заведенной американцами: короткий пиджак с подложенными плечами, широкие штаны, полубашмаки с острыми носками, глубоко — набок — надвинутая мягкая шляпа, галстук бабочкой, в руке камышовая трость, в кармане полузасунуты свежие перчатки.

Он быстро прошел через первый зал с накрытыми для завтрака столиками, спустился на две ступеньки и положил трость и окурок сигары на цинковый прилавок бара.

— Что угодно, мосье?

— Степную устрицу.

За стойкой усатый тучный красавец в белой куртке начал готовить смесь из джина, томатного соуса, кабуля, кайенского перца и сырого желтка. Человек сел на высокий табурет, загнул за дубовые ножки носки туфель; впавшие сизо-выбритые щеки, прямой рот, быстрые глаза. На мизинце веснушчатой руки — крупный бриллиант.

Человек был не из тех, кто любит болтать всякий вздор за стойкой. Глотнув адской смеси, он сильно потянул ноздрями кривого носа и, повернувшись всем телом на высокой табуретке, стал глядеть на дверь. Он ожидал кого-то. Веки его время от времени полузакрывались, увлажняя сухость глаз.

И вот с тротуара в бар забежал человек, настолько странный, что бармен за стойкой высоко морщинами собрал кожу на лбу.

Вошедший не одну уже ночь, видимо, провел на бульварных скамейках — до того был помят и грязен. Розовое от пьянства лицо его не то шелушилось, не

то давно было не мыто. К Фукьецу неудобно заходить в шляпе, снятой с огородного пугала. Но вошедший как будто не испытывал неудобства. Не подавая руки человеку с бриллиантом, он мутноватыми глазами обвел зеркальные полки с бутылками.

— Виноградной водки,— приказал человек с бриллиантом и ногой подвинул второй табурет.— Садитесь, Налымов. Если вы не пьяны до потери сознания, поговорим о деле.

Вошедший сел на табурет прямо, привычно, даже изящно, и мягкое лицо его сморщилось, будто от беззвучного смеха.

— Я необыкновенно трезв... Но водки пить не стану. Вы все-таки не держитесь со мной, как хам... Августин, коньяку с содовой...

Бармен поднял обе брови, округлил рот под серпообразными усами:

— Мосье Налимофф!.. О ля-ля... Это вы, мосье... (Он защелкал языком, дружески наливая рюмку коньяку, полез под стойку, обтер салфеткой холодный сифон содовой.) Уже скоро год, как вы не посещаете Фукьец.

— Были причины, Августин... (Налымов налил из сифона пенной содовой в фужер с коньяком, жадно — с каким-то даже стоном — выпил. Глаза его увлажнились.) Итак... (Обернулся к человеку с бриллиантом. Тот брезгливо холодно оглядывал его лицо, одежду, башмаки.) Прошу извинить, я опять забыл вашу фамилию...

— Александр Левант,— сквозь зубы, редкие и желтые, ответил человек с бриллиантом.

— Левант, Левант,— повторил он, как бы втискивая это имя в пропитую память.— Итак, Левант, вы хотели, чтобы я вас познакомил?..

— Пойдемте за стол.— Левант схватил трость и пошел через арку.

Августин негромко спросил:

— Мосье Налимофф хорошо знает мосье?

— Нет, Августин. Но это не важно. Предположим, что его действительно зовут Александр Левант.

С этим нужно мириться. Это — люди будущего. Итак, мы завтракаем.

Потерев сухие ладони, он слез с табурета и пошел к уединенному столу, где, спиной к свету, поместился Левант.

4

— Вам нужно одеться приличнее, Налымов. Что это значит? Так опуститься! Семеновский офицер! И — бросьте вы это пьянство. Кому это нужно? Можете меня не благодарить, но после завтрака я повезу вас в английский магазин...

Александр Левант ел торопливо и неразборчиво, губ не вытирал. Почти не пил вина. Темные глаза его, не участвуя в еде, тревожно бегали по лицам входивших в кафе.

— Вижу, вы такой человек,— с вами нужно быть откровенным. Я на вас наткнулся, просматривая в военном министерстве списки русских офицеров... Отозвались о вас благоприятно. Признаться — ожидал вас найти в более приличном виде... Что это вас потянуло на дно? С головой на плечах не найти денег в Париже? Вздор!

Из верхнего зала доносилась музыка. Налымов жмурился, наслаждался — рюмочка за рюмочкой,— слегка под музыку раскачивался. Еды почти не касался и ничем не выражал внимания к собеседнику. Лицо его оживлялось внезапно, когда с залитого солнцем тротуара в кафе входила какая-нибудь американочка с детским лицом и птичьим голоском. Внимание его привлекала роза в узкой вазе, он, всхлипнув, глядел на опадающие лепестки. Его рассеянность не смущала Александра Леванта. Подали десерт, кофе, ликеры, сигары. Левант выбрал гавану, золотыми ножничками осторожно отрезал кончик, закурил, откинулся, положил веснушчатые руки на скатерть.

— Поговорим о деле?

— Я все время слушаю вас внимательно.

Левант подумал: «Эге, парень, кажется, хитрее, чем прикидывается».

— Я хотел бы через вас устроить некоторые знакомства... Обставлено будет вполне корректно. Вам нужен аванс,— пожалуйста...— Он хрустнул бумажками в боковом кармане.— Предварительно увезу вас на недельку-другую в Севр. Там у меня вилла. Отдохнете, повеселитесь. Подружимся,— кто меня узнает — за меня в огонь и воду... А потом кое с кем — хотя бы здесь, у Фукьеца — встретимся, позавтракаем.

Налымов, кивая шелушащимся лицом в такт музыке, спросил:

— Очевидно, я должен познакомить вас с великими князьями?

— Отчего же... Делу не помешает, наоборот — красивое знамя... Несколько одиозное... Там увидим. Моя идея строится на других людях. Идея большая — грандиозное дело. Заметьте — я предлагаю вам работать на процентах,— солидно... Из пяти процентов вы будете иметь тысяч триста годовых, обещаю под любую гарантию...

— Предположим, я убежден... Но у меня долги.

— Сколько?

— Восемь тысяч необходимых. Остальные подождут.

— Счета и векселя передадите мне, все будет улажено.

С той же легкостью Налымов ответил:

— Ладно, согласен...

Мимо стола проходил бледный высокий человек, несколько сутуловатый, в темном пиджаке, в котелке набекрень. Повернул к Налымову вялое продолговатое лицо с темными усиками под носом. Налымов сейчас же встал, опустил руки. Человек словно обласкал его сверху вниз беспечальными глазами:

— А-а, Налымов... Что же ты?.. Ну, сиди... А я здесь не завтракаю... Дрянь — Фукьец...

И он опять, сверху вниз погладив глазами, пошел к стойке, выделяясь среди всех уверенной медлительностью. На него оборачивались. Александр Левант спросил:

— Великий князь? А какой именно?

— Кирилл Владимирович.

— Претендент на престол?

— Кажется... Хотите познакомиться?

— Знакомство возможно?

— Отчего же... Позвать к столу...

— Заманчиво. Но не сегодня... А что, у него есть войска, народ? На что он рассчитывает? Вы мне подробно должны рассказать о русских делах. Берите вашу шляпу, едем к портному.

5

С российскими делами в Париже происходила неясность. Буржуа, держатели русской ренты, черпали из газетных заметок скупые и путаные сведения. С полгода тому назад сообщалось, что для охраны французских капиталов, вложенных в торговые, металлургические, угольные предприятия на Украине, на Дону и Урале, правительство вынуждено послать в одесский порт некоторое количество колониальных войск. Мысль была удачная.

Действительно, войска высадились в Одессе, не только французские колониальные, но и греческие. Русская рента, годная лишь для домашнего употребления, начала ползти вверх. Войска как будто победно маршировали по Новороссии. Хотя Советом Десяти и был отклонен план Клемансо о широкой военной экспедиции на восток Европы, но зато сама Россия подавала надежды на скорое освобождение от большевиков: на Северном Кавказе успешно воевал генерал Деникин, под Петроградом — генерал Юденич; в Сибири с помощью французского генерала Жанена и чехословаков образовалось правительство Колчака. Его солдаты очищали Сибирь и восстановляли право собственности.

Совет Десяти с охотой обещал Колчаку всемерную помощь. Русское золото (увезенное чехословаками из Казани) находилось в его руках. Клемансо — как всегда, резко и отчетливо — указывал ему в шифрованных телеграммах линии желательной политики... Огромные военные запасы, оставшиеся после мировой войны и засорявшие рынок, шли теперь в осво-

бождаемую Россию, оживляя частную торговлю. В Архангельске и на Мурмане высаживались английские десанты. Рента ползла вверх.

И вдруг, казалось бы без видимой причины, победоносные французские и греческие войска отплыли из Одессы на родину, бросив заводы, шахты и торговые предприятия своих соотечественников на произвол большевикам. Уплыли и англичане из Архангельска и Мурманска. Газеты объясняли эти досадные события причинами внутренней политики: не имело смысла лишний раз раздражать рабочие кварталы. Рабочие поднимали каждый раз невероятный шум из-за русского вопроса.

Держатели русской ренты (за столиками кафе, вздев очки и насупясь серыми усами в газету) ничего не могли понять в русских военных делах. Грандиозные битвы, кавалерийские рейды, занятие провинций величиной во всю Западную Европу... Москва окружена, большевикам — смерть. Но Деникин отступает, Юденич отступает, Колчак отступает... В Англии забастовка, в Италии волнения, Германию и Венгрию трясет коммунистическая лихорадка... (Буржуа снимает очки, потирает уставшие глаза...)

Не меньшее изумление вызывали и сами русские, пачками прибывающие в Париж через известные промежутки времени. Более чем странно одетые, с одичавшими и рассеянными глазами, они толкались по парижским улицам, как будто это была большая узловая станция, и все без исключения смахивали на сумасшедших. Сахар, хлеб, папиросы и спички они закупали в огромном количестве и прятали в камины и под кровати, уверяя французов, что эти продукты должны исчезнуть. Встречаясь на улице, в кафе, в вагоне подземной дороги, они как бешеные размахивали газетами. Русских узнавали издали по нездоровому цвету лица и особой походке человека, идущего без ясно поставленной цели. У них водились драгоценности и доллары. На их женщинах (в первые дни по приезде) были длинные юбки, сшитые из портьер, и самодельные шляпы, каких нельзя встретить даже в Централь-

ной Африке. К французам они относились почему-то с высокомерной снисходительностью.

Но были и другие русские: эти смахивали на европейцев и селились в дорогих отелях. Правда, их чемоданы были ободраны и даже с клопами, но фамилии звучали внушительно в промышленных, банковских и биржевых кругах.

У них был здесь свой политический центр: парижское совещание доверенных лиц правителя России (адмирала Колчака) и уполномоченных генерала Деникина для сношения с союзными правительствами. Во главе совещания стоял председатель бывшего временного правительства князь Львов.

Очевидно, на эти-то русские деловые круги и намекал Левант за завтраком у Фукьеца.

6

Когда были внесены на подносе горячие закуски — по-русски,— последовала минута молчания, передавали графин с водкой, не чокаясь выпили. Кто-то по-довоенному крякнул. Засмеялись. Кто-то вздохнул: «Да, господа...»

Хозяин дома князь Львов сидел спиной к камину — в поношенном пиджаке, в истрепанном жилете, в заштопанной мягкой рубашке. В этой одежде он бежал из екатеринбургской тюрьмы через Сибирь. Круглая седая борода, серебряные, зачесанные назад волосы и неподвижные беловатые глаза придавали ему сходство с земским деятелем девяностых годов; он не ел мяса и не пил вина.

Напротив него сидел известный барин, елецкий помещик, с желто-седой бородой по пояс, с медным орлино-строгим лицом, с волосами ежиком,— Михаил Александрович Стахович. Когда-то он был близок к Николаю II, но после 9 января оставил двор и уехал к себе в Елец, где и развивал независимые суждения. Временное правительство отправило его послом в Испанию. Он прибыл туда в день Октябрьского переворота, не успел вручить верительных грамот, истра-

тил в Мадриде все деньги, вернулся в Париж и поселился у Львова. В политике он снисходительно оправдывал и белых и красных.

Направо от хозяина сидел директор-распорядитель Русско-азиатского банка Николай Хрисанфович Денисов, низенький, воспаленный, с крупным мясистым носом и жесткой бородой сатира. Он только что много говорил, был возбужден, выпил шесть рюмок водки и пододвигал к себе самые острые закуски. Рядом с ним сидел русский посол в Англии (назначенный Временным правительством) Константин Дмитриевич Набоков, изящный и выхоленный. Он привез из Лондона важные сообщения о русском вопросе и с любопытством разглядывал пятого собеседника, для которого в сущности и собрались за этим столом.

Пятый собеседник сидел налево от хозяина,— круглоголовый, широколицый, с волчьим лбом и выбитыми двумя передними зубами, которые он не успел еще вставить себе в Париже. Это был знатный азербайджанец Тапа Чермоев, бывший конвоец и владелец огромных нефтяных участков в Баку.

За столом он еще не сказал ни слова. Все знали, что привела его сюда острая нужда в деньгах. В восемнадцатом году англичане, заняв Баку, предложили Чермоеву образовать Азербайджанскую республику. Он выказал англичанам преданность, но от продажи им нефтяных участков до времени уклонился. Тогда представлялось, что Азербайджан, Дагестан, Грузия, Абхазия и Армения прочно подпадут под державное покровительство Англии, и только безумец мог бы при таких перспективах торопиться продавать нефтяные земли.

Противно здравому смыслу, большевики выбили англичан из Баку и Азербайджана. И англичане почему-то не послали ни флота, ни войск, чтобы вернуть Чермоеву власть и нефть. Он бежал в Париж и стал, как все здесь, просыпаться с надеждой, засыпать в мрачном отчаянии. Денег ему не давали под национализированные большевиками нефтяные участки — предлагали сначала вернуть их от большевиков. За последнее время мысли его начали устремляться к военным ус-

пехам Деникина. Чем это пахло для Азербайджана, он понимал. Но в конце концов ему не плохо было и при империи в свите его величества.

Задача (у сидящих за столом) была: прощупать намерения Чермоева и убедить его в безусловной и близкой победе белого оружия...

За столом шел покуда что легкий разговор. Денисов рассказывал парижские новости. Год тому назад Николай Хрисанфович и не подумал бы утруждать себя болтовней с такими музейными барами. Он искренне презирал высокородных выродков и дураков, все еще уверенных, что Россия — их большое именье, которым они призваны управлять. Выродки и дураки привели Россию к тому, что она оказалась неподготовленной к мировой войне, и в семнадцатом году история поставила запоздалую точку на самодержавии. Денисов был «демократом». Во время февральской революции он стал владельцем Русско-азиатского банка. Соразмерно этому выросло его честолюбие, раскрывались возможности вплоть до президента Российской демократической республики. Большевиков он воспринял как завершение революционного хаоса, из которого тоже умудрился извлечь пользу, широко скупая недвижимую собственность, акции и прочее. Приди сейчас успокоение и порядок — он сразу становился в ряды миллиардеров.

Весь восемнадцатый год он выжидал и покупал. В девятнадцатом большевики начали внушать ему опасения. Дело с их ликвидацией затягивалось, Колчак начал было хорошо, но от него понесло такой доисторической монархией, грабежом и безобразием, что французы подумывали об его ликвидации. Деникин воевал тоже пока что недурно, но чем ближе он придвигался к Москве, тем скупее Англия отпускала ему помощь и тем яснее обозначались различные точки зрения Англии и Франции на его успехи. Выигрывали на этом одни большевики. Ясное близкое будущее отодвигалось в неопределенную даль.

Николай Хрисанфович остроумно рассказывал о

театральной новинке — комедии Сашá Гитри, где отец, сын, жена и любовница играли ничем не прикращенную, на самом деле этой весной случившуюся неурядицу в семье Гитри: Сашá Гитри стал изменять жене (мадемуазель Претан), его отец (Люсьен Гитри) пожертвовал своими старческими силами, наставил Сашá рога с его любовницей (мадемуазель Бланш) и вернул его к жене. Так это и написано в комедии — слово в слово. Первый акт — в столовой, второй и третий — в постели. Пресса разделилась: одни кричали, что это — натурализм, вечер французского искусства, другие — что это заря великой правды, с которой война сорвала последние блески лжи. Париж валом валит к Сашá Гитри в театр.

— А вот,— сказал Стахович,— в «Олимпии» так совсем уж голые — двести девочек на сцене...

Беловато-стеклянный взгляд Львова с упреком остановился на Стаховиче, лицо которого уже побагровело от коньяка.

— Несколько удивляет,— проговорил князь Львов,— что сделалось с французскими женщинами? Я повел племянницу в этот, как его, самый приличный вечерний ресторан, и сейчас же пришлось уйти... Нельзя предположить, что естественное целомудрие исчезло. Скорее — это массовый психоз. Сегодня мне сообщил секретарь министра исповеданий, что решен вопрос о причислении Жанны д'Арк к лику святых...

Львов, как всегда, был тяжелым собеседником. Никто за столом не подхватил темы о моральных проблемах. Стахович налил себе красного вина.

— Носят прозрачные юбочки по колено, а весь верх открыт, сзади — даже ниже талии,— это поражает непривычный глаз... Что прикажешь делать? Убито полтора миллиона отборных самцов... Поневоле обрежешь юбочку.

Денисов сказал:

— Куда дальше — в Ростове-на-Дону все режут юбки. На Садовой в четыре часа — как на пляже... Деникин, говорят, возмутился, но за короткой юбкой преимущество — безопасность от тифозных вшей и минимум материала...

Молчаливый до этого времени Тапа Чермоев медленно повернул круглое лицо к хозяину, спросил вежливо-презрительным голосом:

— Как сыпной тиф в добровольческой армии, Георгий Евгеньевич? Идет на убыль?

— Да... да, тиф — это великое испытание.— Львов вытащил из-за жилета салфетку. Все встали и перешли в салон, где дымились чашки с кофе. Опустив голову, заложив руки под пиджак за спину, Львов прошелся по ковру и остановился около Чермоева.— Тиф — наша основная забота. Но, может быть, и наше главное оружие. Мы широко снабжены медикаментами... У большевиков их нет, у красноармейцев нет сменных рубах... Смертность у них — семьдесят процентов, у нас вдвое меньше. Лучше пуль и штыков за нас борется тифозная вошь...

Чермоев без улыбки поклонился, показывая, что убежден. Львов опять,— руки под пиджаком, опустив голову,— прошелся и стал около Набокова, осторожно мешавшего ложечкой черный кофе в чашечке.

— Константин Дмитриевич, нам бы хотелось послушать ваше сообщение о лондонских делах...

Набоков наклонил голову:

— Слушаю-с...

Он поставил чашечку на камин. По его понятиям, приличные в высшей степени люди (комильфо) существовали только в Лондоне. Немецкая аристократия, кичащаяся готским альманахом (этой адресной книгой для брачных контрактов с коронованными особами), французские блестящие фамилии, смешавшие свою кровь крестоносцев с кровью еврейских банкиров, русское дикое, безграмотное, пропахшее водкой и собаками дворянство, не умеющее хранить ни земель, ни чести, ни блеска имен,— все это были варвары. В том числе и милейший Михаил Александрович Стахович. Англичанин, меланхоличный, замкнутый, равнодушно-гордый, в замке у очага в сумерках, на том же самом месте, на том же самом кресле, обитом тисненой кожей, где восемь столетий сидели его предки,— такой человек по праву, недоступному пониманию толпы, истинный патриций, хозяин мира, что вы там

ни кричите со своих плебейских трибун... Разумеется, эти мысли не были написаны на бледном, с черными волосиками на губе, по-английски спокойном лице Набокова, оно выражало лишь величайшее внимание к собеседникам...

— Господа... на днях я говорил с Черчиллем... Кажущийся страх перед рабочей партией — лишь простой маневр. Слагаемые английской внутренней политики таковы, что выгоднее уступить крикунам в палате общин, чем вооружать против себя прессу Ирландии, Индии и так далее. Мы как будто уступили в эвакуации Архангельска и Мурмана, на самом деле эвакуация оттуда английских войск будет производиться крайне замедленно. Второе — отвод английских частей с деникинского фронта...

Львов тотчас заложил руки под пиджак и опять заходил, как в одиночке.

— ...На их место Черчилль посылает две тысячи пятьсот инструкторов-добровольцев... Эти уступки позволили Черчиллю сообщить мне: из секретного фонда английского военного министерства ассигновано двести сорок миллионов рублей на материальное снабжение Деникина...

На истуканьем лице Тапы Чермоева вдруг открылись зубы с изъяном. Денисов схватился за мясистый нос.

— ...Это тем более во всех отношениях приятно, что военное министерство не может потребовать и не потребует от России компенсации... Я боюсь, господа, быть непонятым... Мы знаем, что двадцать третьего декабря семнадцатого года Клемансо и Ллойд-Джордж договорились о разделе сфер влияния... Линия влияния проходит через Босфор, Керченский пролив, на Царицын и дальше к северу... Грехи русского народа были слишком вопиющи, Россия должна чем-то поплатиться. Да, сферы влияния! Да, мы теряем из суверенного хвоста несколько павлиньих перьев... И это все, чем мы платимся за Брестский мир... Мое глубочайшее убеждение: потеряв, мы приобретаем гораздо больше. Своими силами нам все равно не восстановить разрушенного. В мирное время нам прихо-

дилось занимать направо и налево. Одна Франция вложила столько денег, что фактически владела пятьюдесятью пятью процентами русского железа, семьюдесятью процентами русского угля и тридцатью процентами нефти...

Набоков поднял красивые глаза, как бы припоминая цифры, затем отхлебнул из чашечки, поставил ее снова на камин и осторожно платком потомпонировал губы.

— ...Сферы влияния? Прежде всего это: две высшие цивилизации приходят исцелять тяжелобольного... Я приветствую Колчака — он трезво учитывает неизбежность вмешательства Англии в нашу экономическую политику... Менее понятна позиция великодержавных генералов на юге России. Звон оружия заглушает в них голос здравого смысла. Единая, неделимая — это красивое знамя, но это игра дикарей в войну, господа. Нельзя ссориться со взрослыми.

Львов что-то хотел сказать, но только коротко кашлянул. Стахович сопел, раздувая сигару.

— Россия — это организм, переросший самого себя. Дом несчастных Романовых кое-как слеплял разваливающиеся куски... Отсюда эта профессиональная великодержавность у наших генералов. Но — распался великий Рим, и — да здравствует европейская цивилизация... Так думают в Англии. Война окончена... Мы на развалинах Рима... Англия принимается наводить у нас порядок...

Поймав блеснувший, как олово, взгляд Львова, Константин Дмитриевич чуть-чуть нахмурился.

— ...Это право высшей культуры... Право патрицианского духа над всем этим — квас, тройка, самовар...— Он незаметно с юмором покосился в сторону Стаховича.— Индусы, арабы, негры проходят тяжелую колониальную школу, но зато они прикасаются к цивилизации. Когда римляне несли в глушь германских лесов орлы своих легионов, это было первым уроком ребенку говорить «папа» и «мама»... Я понимаю французского буржуа: у него чулок набит русской рентой и промышленными акциями царской России, он с яростью будет кричать о восстановлении «великой и не-

делимой». Но такой ясный ум, как Жорж Клемансо?! Хотя в конце концов это не важно — совершится то, что совершится...

Слушатели молчали, не то подавленные, не то от недоумения. Набоков приподнял брови, медленно закурил от восковой спички, покусал прилипший к губе кусочек папиросной бумаги.

— Теперь сообщу наиболее важное... Черчилль находит, что военный спектакль в России утомителен... Белые отступают, белые наступают, красные отступают, красные наступают... Черчилль находит, что большевики засиделись в Москве. Если у них нет такта уйти самим, придется прибегнуть к давлению извне... План коалиции четырнадцати государств для военной прогулки на Петербург, Минск, Киев, Одессу и концентрического наступления на Москву нужно считать решенным в положительном смысле... Вопрос в деталях — кое у кого сбавить аппетита, кое-кому прибавить храбрости... Я кончил, господа...

7

Гости взяли лежавшие в прихожей на креслах пальто, шляпы и трости. Сказали несколько последних шуток и гуськом молча спустились на влажную улицу, под мягко шелестящую листву платанов, скупо озаряемых высоко взнесенными электрическими лунами.

Львов и Стахович вернулись в маленький салон. Стахович, потерев всей ладонью медное лицо, спросил неожиданно:

— Как тебе понравился коньяк?

Львов гневно взглянул на старого друга:

— Как тебе понравился Набоков? Если так рассуждают русские, то как же должны... Прости, я никогда не был славянофилом, но... Эта англомания, это западничество, доведенное до... И все же... Я посылаю Деникину танки — расстреливать наших мужиков... Набоков удовлетворен... (Голос уже ушел вглубь и рвался оттуда все раздражительнее.) Но я-то, я — не

удовлетворен. До большевиков можно добраться только через трупы русских... Я буду гореть на вечном огне, но я не знаю, как по-другому спасти Россию... Читай Апокалипсис, Михаил Александрович... Если бы я мог все бросить, бросить и — в монастырь...

— В русском западничестве,— ответил Стахович, полулежа в кресле и запустив пальцы в бороду,— в русском западничестве более глубокие и отдаленные корни, чем у славянофилов.... Первое проявление западнической ориентации я отношу ко времени Тушинского вора: это так называемый перелет к нему московских бояр. В сущности, они просили у польского короля того же, что просит Набоков у Черчилля...

— Вздор, вздор говоришь...

— Когда у нас начали читать Гегеля, западничество разделилось на две ветви — дворянскую и разночинную... Первая вылилась в устройстве английских парков. Перестали отправлять нужду под лестницей на горшке и завели ватерклозеты... Разночинцы начали бороться с богом, а впоследствии читать Маркса... Я вот сижу и думаю: не находишь ты, Георгий Евгеньевич, что Маркс понятнее русскому мужику, чем славянофилы?.. Не знаю, не знаю...

— Да, идем спать,— сказал Львов. Засопел, закрутил стальной цепочкой от ключей и вышел.

Стахович остался в кресле — курить и пить коньяк.

8

Набоков пошел пешком через Марсово поле. Под решетчатой ногой Эйфелевой башни, отраженной вместе с бледными звездами в маленьком озерке, он остановился закурить папироску. Здесь его нагнал, слегка задыхаясь, Тапа Чермоев.

— Я не нашел такси,— сказал Тапа,— и повернул за вами... Может быть, поедем развлечься?

Набоков вздохнул. Он чувствовал утомление, а нужно делать усилие, чтобы отвязаться от этого татарина. Чуть-чуть поморщился. Пошли туда, где че-

рез Сену, под аркадами моста, проносился, ярко светясь окошками, поезд метро. Не надеясь, что Тапа поймет, Набоков все же сказал, глядя на лиловатое зарево над центром города:

— Париж напоминает мне корзину с влажными розами, внесенную в кабак.

Тапа подумал, ответил серьезно:

— Сейчас нет хороших кабаков. Парижане еще не оправились от войны.

— Да, постоянно жить в Париже я не хотел бы... Я люблю наше печальное лондонское солнце, наши туманы, чинное однообразие улиц...

Набоков покосился на одну из парочек в тени куста на скамейке. Женская рука белела на груди мужчины, где поблескивала военная пуговица. Они сидели неподвижно, и со стороны казалось, что они погружены в безнадежное горе.

— У меня всегда желание — вот таким предложить десять франков на ночную гостиницу, немножко комфорта.— Набоков обернулся на хруст колес такси, поднял трость, но шофер покачал указательным пальцем.

Тапа сказал:

— Константин Дмитриевич, вы меня обрадовали сегодня... Что ж такое? — так думаешь.— Неужели на свете нет правды?.. Да, Черчилль хороший человек, умный человек... То, что вы сообщили, еще не опубликовано в газетах?

— Нет, и не будет...

— Понимаю, понимаю...

— Вас интересуют нефтяные курсы, Чермоев?

— Да. Нефть меня интересует.

— Когда я входил к Черчиллю, у него сидел Детердинг...

— Так, так... Нефтяной король... Очень обрадовало и заинтересовало ваше сообщение... Такси! (Тапа, весь оживившись, побежал к перекрестку, где медленно проезжал автомобиль.) Константин Дмитриевич, свободен,— крикнул он оттуда.— Едем на Монмартр?

9

Выйдя от Львова, Николай Хрисанфович Денисов из ближайшего кафе позвонил по телефону. Трубку сейчас же взяли, и слабый ноющий голос проговорил:

— Да, это я, Уманский... Здравствуйте, Николай Хрисанфович... Отчего так поздно?.. Знаете, у меня болит восемнадцать зубов... Врач уверяет, что нервное, но мне не легче... Приезжайте, меня тут развлекают кое-какие друзья...

Бросившись в такси и крикнув адрес, Николай Хрисанфович увидел в автомобильном зеркальце свое лицо — налитый возбуждением нос и среди черной бороды оскаленные свежие зубы... «Ловко! — подумал.— У Семена Уманского болит восемнадцать зубов — значит, военные стоки он еще не продал и о Черчилле ничего не знает...»

Семен Семенович Уманский, низенький и плешивый, с белобрысыми глазами, лежал на неудобном диванчике. Носок лакированной туфли его описывал круги, замирал, настораживался и начинал подскакивать кверху, затем опять описывал круги — в зависимости от дерганья зубной боли.

У стола, заваленного дорогими безделушками, сидели пышноволосая дама с вишневыми губами и молодой, бледный, медлительный человек. Они пили шампанское.

Длинное лицо молодого человека усмехалось, в синих глазах дремала ледяная тоска. Это был довольно известный на юге России журналист Володя Лисовский, фантастический нахал и ловкач. Ему надоели вши, война и дешевые деньги. Он заявил начальнику контрразведки, что едет в Париж работать в прессе, ему нужна валюта и паспорт... Он явился к начальнику штаба генералу Романовскому и бесстрастно доказал, что гораздо дешевле послать в Париж одного русского журналиста, чем там покупать дюжину французских. Он явился к профессору Милюкову, ехавшему в Париж, и, несмотря на его хитрость, в пять минут убедил взять себя личным секретарем.

Сейчас, грызя миндаль, он рассказывал о знаменитых публичных домах, куда было принято ездить с при-

личными дамами после ужина смотреть через окошечки на забавы любви.

Семен Семенович, хватаясь за щеку, тянул слабым голосом:

— Перестань, Володя, ты смущаешь баронессу...

Баронесса Шмитгоф была не из робких. Чувствуя себя превосходно в кресле, за шампанским, она махала рукой на Семена Семеновича:

— Молчи, мое золотко, тебе вредно волноваться...

Когда несколько отпускала боль, Уманский говорил:

— Ах, деточки мои, меня не зубы мучают, меня мучает несправедливость... Я люблю делать добро людям... Я ведь тогда счастлив, когда делаю добро... Ой, ой!.. Сколько страданий!.. И мне — подрезают крылья... Но не огорчайтесь... Справимся, деточки, вылезем как-нибудь... Пейте и веселитесь...

В дверь постучали, нога Семена Семеновича судорожно подскочила. Вошел Денисов.

— Николай Хрисанфович, уж простите меня, буду лежать... Знакомьтесь, пейте, курите... Володя, голубчик, принеси — на кухне, в тазу во льду,— бутылочка... Ох, боже мой, боже мой, какая мука!.. Чудное довоенное клико... Граф де Мерси, громадный аристократ, предлагает продать родовой погреб. Боюсь только, что эту бутылку он дал не из своего погреба... Ведь обмануть меня ничего не стоит...

Сморщенное лицо Семена Семеновича изображало томную муку. Денисов сказал, что заехал исключительно от беспокойства — справиться о здоровье. Уманский собачьей улыбкой выразил, что поверил. У баронессы Шмитгоф горели щеки,— в эту минуту ей, непринужденно болтающей с двумя такими денежными тузами, позавидовали бы многие женщины. Держалась она несколько по-старомодному, подражая кошечке,— шифоновое, с узким, до пупка, вырезом черное платье, нитка жемчуга, встрепанные волосы, тонкий носик, близорукие глазки... (Денисов сразу определил: над девушкой нужно еще работать, но материал — не дурен...)

Забравшись кошечкой в большое кресло, она болтала о тайне «больших домов» (знаменитые портные), готовивших осенний переворот в модах. Президент па-

латы Дюшанель приподнял покрывало тайны: в интервью он сказал: «Передайте женщинам Парижа, что вихрь осенней листвы закроет весь траур...»

— Как вы это понимаете, Николай Хрисанфович? «Эхо бульваров» объясняет, что цвет осенней листвы — это тона от багрового до нежно-желтого. И, конечно, шифон... Кстати, Дюшанель вчера в Люксембургском саду, гуляя, упал в бассейн, где дети пускали кораблики. Газеты это скрывают. Все уверены, что Дюшанель будет президентом после Пуанкаре. Пуанкаре пора уходить, он всем надоел со своей войной...

Уманский с наслаждением слушал эту бурду из журнальных заметок и газетных сенсаций. Было очень кстати то обстоятельство, что акула Денисов, приехавший, по-видимому, что-то заглотнуть, застал у него в будуаре за бутылкой шампанского настоящую светскую женщину.

— Не волнуйтесь, дорогая,— повторял он, когда баронесса коротенькими глоточками пригубливала бокал,— у вас будут платья от лучших домов... Ах, Николай Хрисанфович, какое счастье помогать людям! — И он валился на круглую подушечку, щелками глаз наблюдая за непроницаемым лицом Николая Хрисанфовича. «Эге,— подумал,— не мешает ли ему Лисовский?»

Володя Лисовский налил в бокалы вина и сел в тень. Сейчас же с этой стороны у Денисова напряглось ухо. Он медленно взял папиросу и закурил не с того конца...

«Так и есть,— подумал Уманский,— он знает что-то важное».

— Ну, как русские дела, Николай Хрисанфович?

— Неопределенно...

— А вот Володя Лисовский меня обнадеживает: самое позднее к ноябрю Деникин будет в Москве... В России — ни обуви, ни белья, ни одеял, ни консервов. А мы здесь пьем шампанское!.. Боже мой, боже мой!.. Я, кажется, отправлю в дар москвичам целый эшелон обуви и байковых одеял... (У Денисова заблестел глаз...) Я так решил! (Скинул ноги с дивана.) В чем счастье, наконец, Николай Хрисанфович? Отправлю в подарок

пароход с бельем и консервами... Пусть только они возьмут Москву... Володя, можете сказать об этом Бурцеву. Ей-богу, отправлю... Простите, баронесса, мы — все про свою боль.. Ах, надоела политика...

Баронесса проговорила трескуче-сухим голоском с живостью:

— Французы в панике, когда в общество попадает хотя бы один русский: только и слышно — большевики, большевики, Москва, Москва... Так прогоните, наконец, ваших большевиков, вы становитесь смешны с вашей вечной политикой: Москва, большевики!..

Кружевным платочком она потрогала носик.

Денисов сказал:

— Вы слышали, застрелился Манус...

Семен Семенович сейчас же подскочил, впился в него расширенными глазами.

— Застрелился Манус?!

— Да, ужасно... В Марселе... Грузил два парохода военными стоками. Портовые рабочие вдруг отказались грузить для Деникина. Пришлось добиться от правительства публикации, что пароходы идут в Аргентину... Рабочие продолжают бастовать. А цены падают. Манус все ждет... Когда разница дошла до трех миллионов франков, выстрелил себе в рот...

— В рот! Манус, Манус, дорогой друг!..

Уманский притиснул ладони к глазам. Володя Лисовский встал, чтобы сбросить пепел в пепельницу.

— Курьезный факт,— с кривой усмешкой сказал он и стал глядеть на Денисова,— американцы в Булони сожгли целый склад мотоциклов... (Денисов сейчас же быстрым взглядом ответил: «Играете на меня, понял и благодарю».) Двести тысяч новых военных машин!..

Уманский оторвал руки от лица:

— Сожгли мотоциклы? В чем дело?

— Благодарная Франция предложила американцам чуть ли не по пятьдесят франков за мотоцикл. Дороже стоит погрузка и фрахт, а везти их назад в Америку — сбивать там цены... Шикарно: поставили кругом пулеметы, облили склад керосином и, не моргнув глазом, сожгли товару на десять миллионов долларов!..

А теперь французы будут платить по пятьсот долларов за машину...

— Слушайте! — Уманский сорвался с дивана. (Баронесса испуганно открыла ротик.) — Разве нет Деникина и Колчака? Русские армии разуты, раздеты, безоружны! Я имею пятьсот тысяч превосходных одеял, восемьсот тысяч пар башмаков для пехоты, миллион комплектов белья, десять тысяч тонн австралийской солонины... Я могу повести в бой полумиллионную армию... Я не хочу зарабатывать на святом деле, дайте мне только вернуть мои деньги...

Денисов безнадежно закивал носом в пузырящийся бокал:

— Семен Семенович, вы забываете, что американцы привезли в Европу военного снаряжения на два миллиона солдат с расчетом на пять лет войны. Англичане на такой же срок заготовили продовольствие. Кому сейчас нужна эта солонина, бобы, консервированные пудинги, бязевое белье для покойников, пудовые башмаки... В окопы сейчас никого не загоните... А сколько можно продать Колчаку и Деникину? Пссст! Капля в море... Положение с военными стоками катастрофичное...

Уманский, забыв зубную боль, бегал по ковру. Топнул лакированной туфелькой:

— А все-таки я буду ждать! Я окажусь прав, а не паникеры.

— Ну что ж,— Денисов подвигался в кресле, будто собираясь встать.— В игре советов не дают.— Он осторожно покосился на Лисовского.

Тот понял и заговорил насмешливо:

— На днях забегал к Морозовым. Сидят три московские купчихи, где-то раздобыли арбуз, едят, ругательски ругают французов и евреев, собираются ехать в Россию, и Россию тоже ругают на чем свет... Все вещи — в чемоданах; собираются быть в Москве к началу сезона — смотреть премьеру в Художественном театре... Я им говорю: «Что же вы так собрались-то?..»—«А нам, говорят, из Лондона написали, что на днях будет война четырнадцати держав». Я — натурально — шапку, трость и — в редакцию. (Денисов

громко засмеялся. Уманский белобрысо моргал.) Там сдуру-то и рассказываю сенсацию... Бурцев, как был, в соломенной шляпенке, пальто набито корректурами,— рванулся писать передовицу: «Осиновый кол вам, большевики...» Кричит из кабинета: «Лисовский, сведения из достоверного источника?» Отвечаю: «Ага...»—«Лисовский, вы не можете достать денег, съездить в Лондон? Добейтесь аудиенции у Черчилля». А я как раз читаю «Таймс»— в Лондоне всеобщая забастовка... Жалко старика... «Вы, говорю, Владимир Львович, на всякий случай передовицу-то покажите военной цензуре...»

Лисовский положил в рот соленую миндалину; похрустев, вернулся в тень. Денисов допил бокал и поднялся.

— Боюсь я, что выйдет самое скверное,— сказал он,— Ллойд-Джордж добьется мирной конференции на Принцевых островах. Большевики, видимо, уже склонны мириться, а Деникина и Колчака англичане уломают... Ну вот, Семен Семенович, рад был вас видеть.

Он взял надушенную руку баронессы и прижался к ней колющими усами.

— С кем вы были вчера в Булонском лесу?

— Вы меня видели? Я была с графом де Мерси... Правда, он очарователен?.. Но он разорен... Он маниакально любит Россию и русских...

— Ах, этот... У него не то в Баку, не то в Грозном — нефтяные земли...

— Граф в отчаянии. Он живет надеждой, что будущий император вернет ему все... Николай Хрисанфович, скажите, кто будет у нас императором: Кирилл, Борис или Дмитрий Павлович?

— Я — демократ, моя дорогая.

— Как вам не стыдно! Я вся за Дмитрия Павловича,— молод, упоительно красив... но замешан в убийстве Распутина... (Расширив глаза, шепотом.) При английском дворе определенное течение против Дмитрия Павловича... Борис и Кирилл Владимировичи должны получить от матери знаменитые изумруды, у них будет на что содержать двор... Кто же, кто — Борис или Кирилл?

— Кирилл, Кирилл, о чем говорить,— нетерпеливо перебил Уманский.

Денисов простился. Уманский торопливо пошел за ним в прихожую. Там оба, сразу постарев лицами, взглянули в глаза друг другу до самой глубины.

У Семена Семеновича дрогнули губы, Денисов проговорил холодно:

— Можно еще кое-что спасти...

Тогда Уманский распахнул золоченую дверцу в маленький зелено-голубой кабинетик с мягким светом потолочного полушара. На столе, покрытом стеклом, где стояли телефоны, и на ковре кучками валялись изорванные в клочки бумаги. Денисов вошел. Разговаривали торопливо, шепотом, не садясь.

Уманский:

— Есть предложение?

Денисов:

— Один приезжий...

— Откуда?

— Это безразлично. Большие деньги. Порет горячку, готов на ажиотаж. Я могу говорить за него. Покупаю весь ваш товар. Я подписываю, я плачу.

Уманский снова пронзительным взглядом измерил глубину человеческой совести.

Но там было непроницаемо. Он опустил голову. Губа его отвисла.

— Сколько я потеряю?

— Шестьдесят пять процентов.

— Шестьдесят пять процентов?! Невозможно! — Уманский заломил руки.— Тринадцать миллионов!! — Сразу сел, уронил руки на клочки разорванных бумаг.

Денисов:

— Семен Семенович, я знаю все сроки ваших платежей...

Уманский — бешеным шепотом:

— Деньги завтра, черт вас возьми...

— Все деньги завтра до часу дня.

— Согласен.

Денисов сухо, важно поклонился, пошел к двери. В прихожей к нему придвинулся Лисовский:

— Нам по дороге, Николай Хрисанфович?

— Едем на Монмартр... Позовите баронессу.

— Нельзя же лишать беднягу сразу всего, Николай Хрисанфович...

10

Денисов и Лисовский уселись за столиком в кафе «Либертис». Здесь было развратно и не слишком шумно — обстановка, всегда вдохновлявшая Николая Хрисанфовича. К ним подошла рослая женщина в глубоко открытом платье, блестевшем, как чешуя. Низким, хриповатым голосом спросила, что они пьют, и крикнула в глубину полуосвещенного кафе, мерцавшего зеркалами:

— Гарсон, два сода-виски.

После этого она пальцем приплюснула нос Денисову, показала кончик языка и ушла, покачивая бедрами. В сущности это был мужчина, хозяин бара, знаменитый исполнитель куплетов — Жюль Серель.

Денисов засмеялся ему вслед, закурил и сказал Лисовскому:

— Хорошо, что мы не взяли баронессу, мы поговорим.

Принесли виски, он жадно отхлебнул. Лисовский, у которого начиналось нездоровое сердцебиение, незаметно положил в рот облатку аспирина.

— Я хочу выиграть войну с большевиками. Я хочу реализовать в России мой миллиард долларов,— сказал Денисов.— Желания понятны. Теперь — спрячемка их в несгораемый шкаф на некоторое неопределенное время... Дело не так просто, как кажется... Все эти блаженные дурачки вместе с князем Львовым ни черта не понимают... Они размалевывают перед англичанами и французами детские картинки: в милейшей и добрейшей России государственная власть захвачена бандой разбойников... Помогите нам их выгнать из Москвы и — дело в шляпе. Я утверждаю: французы и англичане точно так же ни свиньи собачьей не смыслят в политике, не знают истории с географией... Взять Москву! А Москва-то, между прочим, у них здесь — в Париже,

в рабочих кварталах... Танки и пулеметы прежде всего нужно посылать сюда и здесь громить большевиков, и громить планомерно, умно и жестоко.

Лисовский не отрываясь глядел на красные влажные губы Денисова, шевелящиеся точно в лоснящемся гнезде усов и бородки.

Денисов говорил, смакуя фразы, поблескивая глазами:

— Вы думаете, в восемнадцатом году, в Москве и Петербурге, я только и делал, что прятался по подвалам, скупая акции и доходные дома? Я изучал революцию, дорогой мой Лисовский, я бегал на рабочие митинги и однажды, с опасностью для жизни, пробрался на собрание, где говорил Ленин... Выводы: Россия до самых костей заражена большевизмом, и это не шутки... И Ленин знает, что делает: у него большой стратегический план... А у здешних дурачков одна только желудочно-сердечная тоска... Кто победит — я вас спрашиваю?.. Так вот, у меня тоже свой стратегический план...

Щуря глаза, он отхлебнул виски.

— Я никогда не строю свою игру, рассчитывая на дураков, заметьте... К сожалению, дураков больше, чем следует. Поэтому я не рассчитываю на быстрый успех моих идей... Их нужно подготовить, их нужно выносить, им нужно создать благоприятную почву... Вы мне будете нужны, Лисовский... Завтра я еду с баронессой за город. В понедельник мы с вами завтракаем...

Открылась входная дверь. Стали слышны голоса прохожих, женский смех, хриплое кваканье автомобильных сигналов. Дверь, звякнув, закрылась, звуки затихли, в кафе вошли Чермоев и Набоков. По устало-вежливому лицу Набокова можно было предположить, что они уже давно таскаются из кабака в кабак в поисках развлечений.

К ним подошел Жюль Серель, в сверкающем платье. Чермоев, глупо и коротко заржав, потрепал его ниже глубокого выреза на спине.

— Это стоит сто су,— сейчас же сказал Жюль Серель, взмахнув наклеенными ресницами,— платите.

— Я плачу луи,— крикнул Денисов.

Жюль Серель взял четыре фарфоровых блюдечка-подставочки (на каждом стояла цена: 2,5 франка), молча поставил их на столик Денисова и предложил только для него спеть «О, ночные тротуары Парижа». Он сел за пианино, закинул голову...

О, ночные тротуары Парижа.
Поиски минутного счастья,
И безнадежная печаль одиночества,
Которую ты находишь,
Ища совсем другого...

Запел он хриповато и негромко. В кафе не было никого, кроме четырех русских. Но из них только один, Набоков, повернув к Серелю бледное лицо, слушал слова песенки, от которой тянуло сладким тлением... Денисов трогал зубами набалдашник трости, Чермоев с достоинством ожидал минуты, когда можно будет пожаловаться ему на недостаток денег, Лисовский, посасывая вторую облатку аспирина, соображал — сколько можно будет содрать с Денисова за еще неведомую услугу.

11

Русская газета «Общее дело», издаваемая В. Л. Бурцевым, печаталась на плоских машинах. В узкой уличке (в старом квартале Парижа), в почерневшем от копоти здании с пыльными сетками на окнах, помещалась типография. Паутина на потолке, газовые рожки и машины, капающие грязным маслом на кирпичный пол, пережили не менее трех революций. Сейчас эта фабрика мысли занималась более или менее сомнительными делами. Рабочие нанимались сюда на короткие сроки и лишь в крайних обстоятельствах. Их выпачканные свинцом, запавшие лица оживали только под суровым взглядом метранпажа — могучего толстяка с угрожающими усами. Он держал впроголодь свой «свинцовый батальон», набираемый в трущобах и кабаках. Типография работала кое-как, но владелец ее, Ришар, журналист, театральный критик и редактор-издатель газетки «Эхо бульваров», не плохо зарабатывал отделом хроники и смеси, беря с известных лиц и за то, что печатал, и за то, чего не печатал. Клиентами его были кокотки, жаж-

дущие общественного скандала, дома терпимости, маленькие актрисы и немало членов палаты депутатов — эти платили за молчание, так как Ришар знал все, что касалось грязного белья или иных вещей, которые не стоило выносить на свет.

Над типографией направо помещались редакция «Эхо бульваров», анархический листок «Фонарь» и анонимное издательство «Курочки Парижа»... Налево — в трех пустынных комнатах — расположился знаменитый орган борьбы с большевизмом — «Общее дело».

В редакции были голые и пыльные окна, на полу — пожелтевшие связки газет, несколько камышовых стульев, гвозди в стенах и листочки рукописных объявлений, приколотые булавками к обоям. На двери в крайнюю комнату — надпись: «Я занят». Там сидел Бурцев.

Он сидел спиной к двери. Входящим была видна маленькая, быстро пишущая фигурка с раздвинутыми продранными локтями и седые вихры из-под соломенной шляпы, которую он из торопливости и занятости никогда не снимал. Обойдя стол, посетитель мог видеть горбатый внушительный нос, испачканный чернилами, табачно-седую бородку и худощавое возбужденное лицо Владимира Львовича. Он писал. Обычно он один заполнял всю газету. На столе — вороха рукописей, газет, окурки и пыль. В глубине комнаты на полу — рукописи, окурки и пачки газет, на которых Владимир Львович спал. Из бережливости он жил здесь же, при редакции, мирясь с отсутствием водопроводной раковины.

Сотрудникам, кроме Лисовского, он отказывался платить хотя бы одно су,— в дни уплаты ему гонорара впадал в тихое бешенство:

— Куда вы деваете деньги, Лисовский, куда вы расшвыриваете деньги? Каждую неделю вы отнимаете часть души от «Общего дела». Я спрашиваю: чем отличается ваша беспринципность от шайки московских разбойников? (Он думал и выражался фразами из своих передовиц; пронзительные со сжимающимися, расширяющимися зрачками светло-голубые глаза охотника за провокаторами ощупывали, казалось, все тайные извилины души Лисовского.) Вы, призванный сорвать маску с преступления большевиков, завтракаете

по ресторанам, крикливо одеваетесь, и я вижу,— должны это признать,— вы — ближайший соратник «Общего дела», вы — циник...

После этого Бурцев вытаскивал из-за рваной подкладки пиджака измятые двадцатифранковые бумажки и, удрученный, передавал их Лисовскому. Деньги на издание «Общего дела» доставались ему нелегко: французы не придавали серьезного значения газете, так как в экономической программе Бурцева не было ничего вещественного, кроме позорных столбов, осиновых кольев и проклятий, а телеграммы от собственных корреспондентов, сочиняемые в соседней комнате Лисовским (большевистские ужасы, социализация женщин и тому подобное), казались более живописными, чем деловитыми. Для Деникина Владимир Львович был слишком красен. В колчаковских кругах вообще собирались повесить Бурцева вместе со многими другими «либералами» после взятия Москвы. Деньги перепадали лишь от князя Львова.

Лисовский советовал повернуть руль «Общего дела» от парламентаризма покруче вправо — созвучно с эпохой:

— Владимир Львович, играйте на генерала на белой лошадке. Нюхайте эпоху. Больше нельзя долбить, будто большевики сорвали святую, бескровную революцию... И слава богу, что сорвали,— осиновый ей кол...

— Замолчите! — страшным шепотом перебивал Бурцев.

— Осознать настоящего хозяина — вот лозунг... Владимир Львович, вы верный слуга буржуазии, и дай бог ей здоровья и процветания...

— Молчите! Вы — циник, диалектик, большевик...

— Хотите, махну четыре фельетона подряд — во всем блеске, как я обо всем этом думаю... Редакция переезжает на Елисейские поля, вход с парадного... В приемной — жизнь, а не гвозди в стенах... Депутаты, дельцы, концессионеры, генералы... Шикарные девочки...

— Я вас больше не слушаю,— Бурцев хватал сухонькими пальчиками перо, и нос его нависал над торопливыми неразборчивыми строками, над чернильными брызгами.

12

«...у которых отмерло чувство элементарной порядочности; люди, в присутствии которых боишься за целость твоего носового платка! И мы с полным правом бросаем им в лицо: проклятие вам, большевики!..»

Бурцев осторожно положил перо на стеклянную подставочку, потер сухие ладони. Перед ним, усмехаясь, как всегда, стоял Лисовский. Бурцев сказал:

— Я кончил передовицу... Едва ли кто-нибудь писал столь беспощадные слова. Они упадут громом на их голову. Если у них хотя бы остался намек на совесть, они не переживут позора...

Лисовский дернул ноздрей:

— Я только что завтракал с Денисовым. Николай Хрисанфович делает интересное предложение... Знаете, что он сказал? «Для какого дьявола Бурцев издает газету по-русски?..»

Бурцев угрожающе поднял палец:

— Слушайте, от вас несет вином...

— Мы пили великолепное бургонское, будьте покойны... Он сказал: «Бурцев в конце концов пишет для одних большевиков,— чтобы им стало стыдно и они бросили революцию...» В Доброармии вам ни на маковое зерно не верят, сколько ни распинайтесь... Какова аграрная программа «Общего дела»? — Кукиш в кармане... А Доброармии нужно не много, но крепко: землю помещикам, мужиков — шомполами...

— Безумие! — закричал Бурцев, хватаясь за перо.— Я никогда не дам большевикам этого козыря! Скорее я пойду за Черновым, хотя в настоящих условиях это тоже безумие!

— Ну, так вот Денисов именно это и ценит: у Бурцева хороший стаж; французский рабочий если комунибудь поверит — только Бурцеву... Рабочие питаются ядом Шарля Раппопорта в «Юманите»... Даже Анатоль Франс объявил себя большевиком... Раппопорт торчит у него каждый день на вилле «Саид»... Пусть рабочие читают «Общее дело», и на это можно дать деньги... Пусть Бурцев для собственного утешения издает пятьсот экземпляров по-русски,— все остальное на фран-

цузском языке... Бурцев — марксист, революционер, неподкупный... (Владимир Львович, сам этого не ожидая, самодовольно усмехнулся...) Пусть он рассказывает рабочим, как их водит за нос шайка бандитов... Бурцев — это марка... Вот что сказал Денисов... (Пауза. Лисовский закурил.) Слушайте, с сегодняшнего вечера я займусь рабочими окраинами. Вы отводите мне весь нижний подвал под зарисовки. Нельзя сразу долбить читателя по башке вашими передовицами. Я его заинтересую. Что вы скажете о серии очерков — «С фонарем по Парижу»? Пусть это будет немного желто — все же лучше, чем ваши осиновые колья. Денисов прав: Москву нужно начать бить здесь, в рабочих кварталах. «Общему делу» суждено спасти Европу...

Лисовский сказал это черт его знает как: с кривой усмешкой и нагло глядя в глаза, но голосом как будто взволнованным и убежденным.

Для Бурцева настала тяжелая минута раздумья, все же он ее пережил.

— Лисовский, я хочу знать происхождение денисовских миллионов. Это чистые деньги?

— Чистые деньги.

— Хорошо... Я его приму... Но пусть он придет сюда... Сюда! (Он ткнул сухоньким пальцем в промокашку.) Пусть эти господа миллионеры увидят, что мы здесь не торгуем своими перьями...

13

В тридцати минутах трамвайного пути от Парижа, в Севре, в лесу стоял уединенный дом в два этажа с мансардой, за каменной высокой изгородью, поросшей ежевикой.

Сведения местных поставщиков мяса, зелени, молочных, хлебных и колониальных продуктов об обитателях уединенного дома в лесу были следующие.

Владелец дачи, мосье Мишо, имевший несчастье вложить две трети сбережений в русские займы и заболевший сердечными припадками после Брест-Литовского мира, получил однажды от комиссионной конторы

предложение сдать в аренду на шесть месяцев свой дом иностранцу Хаджет Лаше. Мосье Мишо поставил условие — оплатить аренду за шесть месяцев вперед в английских фунтах стерлингов. Контора сейчас же ответила согласием и передала мосье Мишо контракт, уже подписанный Хаджетом Лаше, и арендную плату в английских фунтах. Таким образом, мосье Мишо так и не увидел в лицо своего арендатора. Прислуга, рекомендованная мосье Мишо, мадемуазель Нинет Барбош, также не давала сколько-нибудь определенных сведений. Из многих посетителей дачи ни одного не звали Хаджет Лаше. Он оставался лицом, возбуждающим любопытство.

На даче жили три молодые женщины и угрюмая старуха, Фатьма-ханум. Она следила за хозяйством, расплачивалась с поставщиками, по-французски знала только названия продуктов, никогда не выходила за ограду и спала на чердаке в полутемной клетушке. Три молодые женщины — мадам Мари, мадам Вера и мадам Лили — занимали наверху три спальни. В четвертой комнате останавливался Александр Левант. Случайные посетители, гостившие иногда по нескольку дней, спали внизу, в салоне, на турецких диванах, покрытых смирнскими коврами. Нинет Барбош не могла определить, на каком языке разговаривают молодые дамы, некоторые слова она записала французскими буквами на клочке бумаги, но в Севре на рынке не удалось их расшифровать.

На рынке и в лавочках Севра задавали вопрос: не есть ли дача в лесу просто заведение с «девочками»? Но против этого решительно восстали поставщики. Мужчины бывали на даче не часто и не регулярно: будь там заведение, оно давно бы уже лопнуло, во всяком случае замечались бы жизненные перебои. Единственно, что можно было там отметить,— это оттенок несемейственности. Но в конце концов всякий живет, как ему нравится, и нет основания совать нос туда, где честно расплачиваются по счетам.

Уважение внушало также и то, что Александр Левант всегда приезжал в автомобиле и никто из гостей никогда не пользовался поездом, тем более трамваем.

Из Парижа привозилось шампанское, но после того, как владелец винного магазина в Севре предложил доставлять в любое время дня и ночи вина и шампанское любых марок в любом количестве, и эти случайные суммы стали оседать в Севре.

Мадам Мари, мадам Вера и мадам Лили жили праздно. Спали до десяти утра; непричесанные, в шелковых пижамах, подолгу сидели за утренним кофе, курили папироски. Иногда гуляли, но больше валялись под двумя старыми липами напротив каменного крыльца.

Сад был запущен, розы одичали, на клумбах — сорная трава. Нинет Барбош, перетирая у окна тарелки, часто спрашивала себя: почему эти три кобылищи так боятся испачкать руки? На чудесной лужайке, где в июньском зное слышалось пчелиное гудение, валялись пустые коробки от папирос, бумажки, бутылки. А эти, положив голые руки под затылок, знай себе глядят в облака... Чулки не штопают, порвутся — бросят где попало; платья раскиданы по всему дому.

Мари была полная блондинка с длинными сонными глазами. Вера — высокая, худая, сложенная, как модель из большого дома; лицо азиатское, волосы лиловатые. Лили — во французском вкусе: круглое, как у подростка, лицо, вздернутый нос, стриженая трепаная голова, но слишком большой и чуждый по выражению рот выдавал славянское происхождение.

Когда слышался гудок подымающегося в гору автомобиля, на крыльце появлялась Фатьма-ханум и что-то начинала говорить, ударяла ладонь о ладонь, трясла старым подбородком. Но дамы не слушали ее — может быть, потому, что Фатьма говорила на другом языке. Они лениво покидали парусиновые шезлонги, уходили в дом одеваться. Фатьма тусклыми покорными глазами глядела на железную калитку с колокольчиком. Появлялся Александр Левант, большею частью с гостями. Почти всегда это были иностранцы. Они бросали шляпы и пальто на траву, садились на шезлонги. Курили, спорили, смеялись. Александр Левант уходил за дамами. Обняв их за плечи, широко улыбаясь, сводил с крыльца, знакомил. Им целовали руки.

14

В один из июньских дней Александр Левант привез на дачу Василия Алексеевича Налымова. Под липами в безветренном зное гудели пчелы. Нинет Барбош энергично стучала тяпкой на кухне. Дамы умудрились даже стащить с себя пижамы, лежа с папиросками в парусиновых креслах. Повсюду — лень и жаркие голубоватые тени.

Среди полдневной истомы неожиданно раскрылась калитка, за спиной Александра Леванта смеялось одутловатое бритое лицо светловолосого человека, одетого во все новое. Дамы слабо ахнули и понеслись к дому, кое-как прикрывая наготу.

Левант рассердился и начал по-турецки кричать в чердачное окно. Оттуда высунулась перепуганная Фатьма, залопотала по-турецки. Левант с бешенством указал ей тростью на пустые бутылки и на пижамы, оброненные на песчаной дорожке...

— Проклятая старуха! — сказал он Налымову, увлекая его в дом.— Но вы не обращайте внимания на некоторый беспорядок. Мой друг, Хаджет Лаше, снявший эту дачу, в отъезде. Дамы, которых вы мельком видели,— его гостьи. У меня нет времени заняться порядком. Это дом без головы, но здесь можно чувствовать себя не стесняясь. Это — богема...

Он ввел Налымова в небольшой салон, затемненный закрытыми жалюзи, и предложил располагаться на любом из диванов. Присев на подоконник, перекатывал во рту сигару.

— Три дамы,— чтобы сразу вам ориентироваться,— эмигрантки из России. Мой друг, Хаджет Лаше, человек необычайно отзывчивый, подобрал их буквально умирающих от голода на тротуарах Константинополя... Одну из них, кажется, он хорошо знавал по петербургскому свету,— та, высокая, чудно сложенная женщина — княгиня Чувашева... Маленькое создание — это несчастная дочь генерала Степанова,— отец пропал без вести, мать умерла во время эвакуации Одессы. Полная блондинка, если не ошибаюсь,— киевская сахарозаводчица, чудный голос, но до сих пор не совсем пришла в

себя от потрясений... Сердце обливается кровью, когда подумаешь, что наделали большевики с нашей Россией... Я ведь тоже отчасти русский, у меня были крупные дела в Петербурге... Помните гостиницу «Астория»? Там я держал постоянные апартаменты. Мой друг, Хаджет Лаше... Кстати, вы не знавали его?

— Не вспоминаю,— ответил Налымов, прислушиваясь к женским голосам, слышным из раскрытых окон наверху.

— Совсем недавно он купил у стокгольмского эмигранта гостиницу «Астория» и еще ряд других гостиниц в Петербурге. Очень деловой человек... И патриот, русский патриот...

Заметив, что Налымов плохо слушает, Левант несколько изменил направление беседы:

— Сейчас мы отлично пообедаем. Нинет Барбош научилась у старухи восточным блюдам. Затем я вас покину на попечение дам. Отдыхайте, флиртуйте. А через несколько деньков займемся делами. Меня очень интересует Тапа Чермоев,— вы с ним близки?

— Пили где-то...

— Великолепно. Затем — Леон Манташев и другие... Эти нефтяные короли — беспечнейшие люди... И понятно: сиди себе и гляди, как из-под земли с божьей помощью хлещут деньги... Словом, об этом в свое время... Идем обедать...

Дамы вышли к столу в белых батистовых платьях. Александр Левант представил Налымова,— его приняли непринужденно, но равнодушно. Обед, в полумраке закрытых жалюзи, начался молчаливо. Левант с жадностью занялся едой. От щек и толстых рук Нинет Барбош, вносившей блюда, дышало жаром плиты. Мадам Мари изнемогала. Мадам Вера по-мужски пила белое вино — стакан за стаканом. Крошка Лили любопытно поглядывала на Налымова.

Отодвинув тарелку, Александр Левант вытер салфеткой лицо и шею.

— Дорогие создания,— сказал он неприветливо,— я оставляю на ваше попечение Василия Алексеевича. Но, если будете его развлекать, как сейчас, он к вечеру

сбежит в Париж. Здесь не английский пансион, мои цыпочки...

— Так бы вы сразу и сказали,— мрачным, хриповатым голосом ответила княгиня Чувашева.

Лили неизвестно чему засмеялась, и ее личико с горькими складочками у рта стало молодым. Мадам Мари лениво подняла веки.

— «Нам каждый гость дарован богом»,— пропела она и красивой холеной рукой повела стаканом в сторону Налымова.

Он поклонился, под стулом стукнул каблуками.

Мари спросила:

— Вы военный?

— Бывший...

— Какого полка?

— Право, забыл... (Три дамы изумленно взглянули на него.) Я столько веселился,— право, отшибло память...

Подпрыгивая от беззвучного смеха, топорща локти, он кивал дамам красноватым носом.

Левант сказал:

— Василий Алексеевич командовал серебряной ротой Семеновского полка. Ну-с, давайте о чем-нибудь повеселее...

Но дамы помрачнели от воспоминаний. Княгиня жестко сжала рот, стучала длинными ногтями по скатерти. У Лили увяло личико, будто из него выпустили воздух. Веселья не выходило. Пить кофе пошли в сад, откуда торопливо засеменила Фатьма с приподнятым подолом, полным пустых бутылок и мусора.

Вскоре Левант докурил сигару и уехал. Налымов, поджав ноги, покачиваясь от удовольствия, сидел в траве, потягивал коньячок.

— Слушайте, вы, по-моему, хороший парень,— сказала ему княгиня Чувашева. Теперь, когда не было Леванта, лицо ее стало нежнее, добрее.— Чего ради вы сюда приехали?

— Мой друг Левант находит — мне нужен небольшой отдых.

— Слушайте, давайте по-хорошему... Вам известно, что здесь — притон?

— Княгиня, здесь — очаровательно...

— Меня зовут Верой... Подсаживайтесь ближе... Вы что же — в самом отчаянном положении, что ли? В мусорном ящике?

Налымов все так же — со смешком:

— Я писал моему орловскому управляющему,— он чертовски затягивает с деньгами... Не то мужики не хотят платить,— вообще что-то курьезное... Накопились долги, пришлось несколько стесниться...

— ...Ночевать на бульваре,— низким голосом сказала княгиня.

— Как вы угадали? Ночевать на бульварах...

— ...Воровать хлеб в ресторанах...

— Воровал... Но не столько стесняло ограничение в еде, как в напитках, представьте... Вы когда-нибудь работали, княгиня, по очистке канализации?

— Работала кое-где похуже...

— На вас надевают огромные сапоги, и вы с лопатой стоите по колени в жижице. В каналах — множество заржавленных булавок, если такая штука воткнется в ногу, вам будет плохо. Но зато под землей я подружился с отличнейшими людьми... Все они отчаянные анархисты, и мне пришлось скрывать кое-что из прошлого... В общем, нужно забыть, что мы жили... Травка, пчелки, коньячок...

— Забыть — умно... Но не так-то легко...

— Забыть, где родились, как вас зовут. Перестаньте надеяться — и станет легко, как птичке...

Княгиня подперла щеку, сдвинула мужские брови:

— Перестать надеяться?

— Это такая же глупость, как воспоминания...

Мари и Лили сквозь дремоту прислушивались к их словам. В словах этого человека из мусорного ящика, в его трясущемся смешке, в пропитых водянисто-серых глазах была какая-то жуткая убедительность. Когда Вера повела его показывать усадьбу, Мари сказала в нос:

— Вера заинтересована...

Лили, лениво болтавшая туфелькой на кончике ноги:

— И он и все мы тут пропадем, как собаки...

15

Левант не показывался целую неделю. Наконец от него пришла на имя Налымова телеграмма из Стокгольма: «Приезжаю понедельник, прошу быть порядке»...

Всю неделю на даче была тишина, благодать, ленивые разговоры. Дамы уходили спать рано, в их комнатах наверху слышались некоторое время тихое всхлипывание и сморканье. Затем гасли все окна, и дача засыпала. Только Налымов еще сидел в траве, поджав ноги. Над липами — черная теплая ночь, над горой наклонились семь звезд Большой Медведицы. Далеко — лиловатый свет над Парижем.

Пропитая душа Василия Алексеевича прислушивалась к нежным, как деревянные трещотки, голосам древесных лягушек. Когда кончался коньяк в полубутылке, он бодренько поднимался и шел в салон, где, не раздеваясь, засыпал на одном из диванов.

Часов с семи утра дамы (с припудренными веками) начинали подходить к двери салона, участливо дожидаясь, когда человек из мусорного ящика перестанет посапывать, откашляется и ясным голосом, как ни в чем не бывало, проговорит будто про себя:

— Ну вот и чудесно...

Тогда подавали кофе, и день начинался — солнечный, длинный, лениво-бездумный. Василий Алексеевич мог бы взять посох и увести трех дам на край света — так они предались ему. Должно быть, и вправду на дне мусорного ящика он отыскал секрет, как жить в это фантастическое время. При нем затихал, как зубная боль, невыразимый ужас будущего... Когда заговаривали о близкой гибели большевиков, о возвращении в Россию, он валился навзничь в траву, дрыгал ногами, хихикал:

— Птички мои, не сходите с ума... Надейтесь только на эту минутку, на эту минутку...

Когда пришла телеграмма от Леванта, Вера появилась в саду в холщовом костюме, в маленькой изящной шапочке и сурово сказала Налымову:

— Я иду в парк, нам нужно поговорить...

Налымов поднялся, отряхнул с костюма травинки. Они пошли сначала по прямой и широкой улице, где за каменными изгородями и колючими кустарниками, среди садиков, клумб, газонов нежилось французское благополучие. Потом спустились в городок Вилль-Давре и по шоссе поднялись к парку Сен-Клу... Вера шла быстро, по-мужски. На Василия Алексеевича ни разу даже и не покосилась. В глухой части парка свернула к скамье. Села — прямая, колючая.

— Слушайте,— сказала она отрывисто,— я вас люблю. Хотя это менее всего важно... Я вас люблю... И на этом кончим...

Она передохнула, но даже и в этот раз не взглянула на него.

— Предупреждаю, вы попали в скверную компанию... Например, за этот разговор, если Хаджет Лаше узнает, не поручусь, что не отправит меня куда-нибудь по частям в багажной корзине... У него уже были такие случаи... В Константинополе мы подписали с ним договорчик... Когда-нибудь, если буду очень пьяна, расскажу об этом... Так вот, на даче мы не просто три публичные девки... Нас для чего-то готовят... Догадываюсь только, что все связано со Стокгольмом... Когда Левант объявит, чтобы мы собирались, нас повезут именно в Стокгольм, и там будет главное... Я не жалуюсь, заметьте... Сделать для меня вы ничего не сможете... Ну, да к черту... Предупреждаю, держитесь очень осторожно,— Левант страшный человек. А страшнее его — тот, главный хозяин, Хаджет Лаше...

Она угрюмо замолчала. Сладкий ветер шелестел в листве высокой платановой аллеи. По боковой дорожке проехал худой, как скелет, велосипедист в кепке. На раме, прильнув к нему, сидела с закрытыми глазами девчонка в черном платьице.

Когда они проехали, Вера обхватила шею Василия Алексеевича, прижала его лицо к себе, к сердцу. Молча вся содрогнулась. Отодвинулась подальше на скамье:

— Непонятнее всего, что я — живу... Вот этого раньше никак бы не могла представить...

Когда она отсела, Налымова подняло будто пружиной. Отбежав, описал круг около скамьи:

— Вера Юрьевна, только не выдумывайте меня, боже упаси. Во мне — никакого проблеска, никакой надежды.... Чучело на огороде машет руками — это я... Меня забыли похоронить... Я — тот самый неизвестный солдат...

— Люблю вас,— мертво повторила она. Расширенные сухие глаза ее жадно глядели на Василия Алексеевича...

16

В понедельник Александр Левант вызвал к телефону Веру Юрьевну и потребовал спешно привести дом и сад в наилучший порядок,— особенно позаботиться о кухне и погребе. Будут солидные гости. Налымову он сказал, что вылетает на два дня в Лондон, и просил за это время подготовить почву для свидания с Чермоевым. «Напоминаю — от этого шага зависит все будущее, вы сможете возродиться...» Василий Алексеевич побрился, повязал галстук бабочкой, надел несколько набок новую шляпу и, помахивая тросточкой, отправился в Париж.

У калитки его ждала Вера Юрьевна. Рука ее была холодная и вялая,— он прикоснулся к ней носом и отпустил; рука ее, как неживая, ударилась о бедро. Василий Алексеевич отвернулся. Мощенная плитами дорога уходила под гору. Внизу — старенькие домики, аспидные крыши Севра, извилины реки, сады уже с багровой зеленью, золотистые полосы на волнистой равнине. Все это —будто по ту сторону жизни, как на цветной картинке из далекого детства: спальня матери, и он — на полу, опершись на локти, глядит в книгу с картинками...

— Вы вернетесь? — спросила Вера Юрьевна.

Не оборачиваясь, он ответил сквозь зубы:

— Куда же я к черту денусь?..

— Вы в счастливом настроении едете в Париж...

— В превосходнейшем.

Она — тихо, с упрямством:

— Скоро не вернетесь, я уж чувствую...

Осторожно она потянула полу его пиджака и что-то положила в карман. Он покачал головой, в кармане нащупал пачку денег и, вытащив, осторожно положил на траву. Взглянул на Веру Юрьевну,— губы ее дрожали, в глазах было такое, что ему стало холодно. Он совсем было примирился, приспособился, выдумал даже особую философьишку — простейшего организма, амфибии, похихикивающей в рюмочку среди оглушительно мчащихся времен. И вдруг — назад, к человеку, в жаркую женскую тьму! Самое простое было — приподняв шляпу, бодренько уйти вниз по беловатой дороге. Но потемневшие глаза Веры Юрьевны умоляли: ведь ты не убежишь, ты видишь, ты чувствуешь — уйдешь навсегда,— я же не буду защищаться.

— У меня пять франков, Вера Юрьевна, хватит на поезд, метро и папиросы... Постараюсь быть к обеду... (Взял ее за руку, потом — осторожно — за другую...) Может быть, это глупее всего, но — вернусь, вернусь к вам...

У нее забилось горло. Вырвала руки. Он неожиданно всхлипнул (почти так же, как тогда у Фукьеца за столом, нюхая розу), перекинул через плечо тросточку, пошел к вокзалу.

17

Чермоева он застал дома. Тапа завтракал в кругу родственников,— за столом было человек шестнадцать. Как глава рода, он ел важно и молча. Рядом сидели две красивые татарки в парижских туалетах, сильно надушенные, с розовой кожей, хрупкие, длинноглазые. Татарки и Тапа пили вино. Остальные расположились по родству и знатности: почтенные люди с крашеными бородами, горбоносые смуглые усачи, старухи с косицами, в черных платках. Чермоев вывез в Париж весь цвет многочисленного рода — с нефтяных приисков, из Баку и из горных аулов. Понятно, что нужны были большие деньги содержать с достоинством семью в этом сумасшедшем городе, где у татарок дико загорались глаза перед витринами магазинов, смуглые усачи

желали носить шелковые носки и лакированные ботинки, почтенные старики бродили, как голодные шакалы, по центральным бульварам, поворачивая крашеные бороды за каждой толстозадой девчонкой. Тапе приходилось трудно.

Он подумал, что Налымов пришел просить денег. Другого бы он просто велел прогнать из прихожей, но Налымов был из придворной знати: прогонишь — ославит. Скомкав салфетку, Тапа вышел к Василию Алексеевичу, по-кунацки обнял: «Доставил радость, спасибо, пойдем кушать»,— и посадил его между красивыми татарками, пахнувшими головокружительными духами.

Русоволосую звали Анис-ханум, медноволосую — Тамара-ханум. Обе — троюродные сестры Тапы. У обеих высокие, подведенные, как ниточки, брови и тонкие руки, обремененные кольцами. У Анис — приподнятый нос и пухлые губы. Тамара —скуластая, худая, с глазами, как горячие пропасти. Они, видимо, вполне освоились с парижской жизнью,— шурша коленями по шелку, потягивая ликеры и куря из золотых мундштучков, говорили, что Париж невыносимо скучен в июле, можно рассеяться только в Булонском лесу, где танцуют на паркетном помосте под открытым небом при свете луны. Но мужчин нет. Французы, говорят, все от двадцати пяти лет до сорока убиты, остались подростки, но эти поголовно занимаются гомосексуализмом. Иностранцы все сейчас в Довилле. Вот где шикарно! (У обеих руки рассыпались брызгами колец над столом.) В казино игра,— банк в три миллиона — ничто... В Довилль рекой текут доллары и фунты... Счастливая Франция!..

Тапа встал, сложил ладони, как книгу, пошептав, провел ими по лицу. Завтрак кончился. Родственники неслышно исчезли. Татарки продолжали болтать, но он взял их за плечи, потрепал и поцеловал обеих в волосы. Захватив золотые портсигарчики и сумочки, они вышли.

— Чудные женщины,— сказал Тапа, запирая за ними дверь,— одна вдова, у другой, Тамары, муж пропал без вести в горах... Молоды, красивы, что с ними де-

лать, ума не приложу.— Он придвинул стул к Налымову и круглыми неподвижными глазами стал глядеть на него.

— Тапа, я к тебе по делу. Ты знаешь Александра Леванта? (Тапа мотнул тяжелой головой.) Я у него — поверенным в делах... Ты, наверное, слышал — я одно время опустился... (Тапа кивнул.) Да, было такое настроение... России нет, армия погибла, государь убит... Все, чему присягал,— гнилой труп...

— В белые армии не веришь?

— Белые, красные, зеленые — пусть их там делят остатки... Я тут при чем? Семеновский мундир растоптан в грязи,— думал: трагедия, и трагедии не вышло... И конца не вышло... А Россия — что ж... В России будут хозяйничать англичане... (Тапа насторожился.) Словом, я к тебе с предложением от моего доверителя, Александра Леванта. Он хочет с тобой встретиться.

— Можно.

— Нефтяные земли ты никому еще не продал? (Тапа усмехнулся.) Отлично. Назначим день и час. Я хотел бы привлечь другого нефтяного короля — как его... этого... Манташева — к этому свиданью.

— Ты думаешь — Кавказ будет английским? Деникин отдаст Кавказ англичанам?

— Об этом спросишь Леванта, он все знает... Левант предложил в пятницу завтракать в Кафе де Пари...

Нефтяной магнат, расточитель миллионов, липнувших к нему безо всякого, казалось, с его стороны, усилия, человек с неожиданными фантазиями, лошадник, рослый красавец Леон Манташев находился в крайне жалком состоянии. Он занимал апартаменты в одном из самых дорогих отелей — «Карлтон» на Елисейских полях, и только это обстоятельство еще поддерживало его кредит в мелких учетных конторах, ресторанах, у портных.

Но окружение кредиторов непреклонно сжималось, душило его ночными кошмарами. Он утратил ценнейший дар жизни — беспечность. Особенно по утрам, просыпаясь от тревожного сердцебиения, гнал и не мог

отогнать мрачные мысли,— в бессилии, в бешенстве курил, ворочался в постели, придумывая фантастические планы спасения и кровожадные планы мести.

Это была расплата за легкомыслие. В Москве (в двенадцатом году) неожиданный скачок биржи однажды подарил ему восемь миллионов. Он испытал острое удовольствие, видя растерянность прижимистых Рябушинских, меценатов Носовых, Лосевых, Высоцких, Гиршманов. Восемь миллионов — бездельнику, моту, армянскому шашлычнику! Чтобы продлить удовольствие, Леон Манташев закатил ужин на сто персон. Ресторатор Оливье сам выехал в Париж за устрицами, лангустами, спаржей, артишоками. Повар из Тифлиса привез карачайских барашков, форелей и пряностей. Из Уральска доставили саженных осетров, из Астрахани — мерную стерлядь. Трактир Тестова поставил расстегаи. Трактир Бубнова на Варварке — знаменитые суточные щи и гречневую кашу для опохмеления на рассвете.

Идея была: предложить три национальных кухни — кавказскую, французскую и московскую. Обстановка ужина — древнеримская. Столы — полукругом, мягкие сиденья, обитые красным шелком, с потолка — гирлянды роз. На столах — выдолбленные глыбы льда со свежей икрой, могучие осетры на серебряных цоколях, старое венецианское стекло. В канделябрах — церковные, обвитые золотом свечи,— свет их дробился в хрустальных аквариумах с драгоценными японскими рыбками (тоже закуска под хмелье). Вазы с южноамериканскими двойными апельсинами, фрукты с Цейлона. Под салфетками каждого куверта ценные подарки: дамам — броши, мужчинам — золотые портсигары. Три национальных оркестра музыки. За окнами на дворе — экран, где показали премьерой фильмы из Берлина и Парижа... Гостей удивили сразу же первой горячей закуской: были предложены жареные пиявки, напитанные гусиной кровью. Ужин обошелся в двести тысяч... Теперь хотя бы половину этих денег!

Был уже третий час пополудни, когда Налымов вошел к нему в номер, полный табачного дыма. Высокие портьеры на окнах спущены, розовый ночник у постели

освещал на раскиданных подушках крупного мужчину в полосатой пижаме, с измятым лицом и черными жокей-клубскими усами. По скаковой традиции, Леон Манташев пил с утра шампанское с коньяком.

— Я болен, я измучен. Нервы, перебои,— приподнимаясь на локте, сказал он Налымову.— Придвигайте кресло. Хотите вина? Они мне, черт возьми, все еще подают, хотя у лакея рожа такая — хочется залепить плюху. Василий Алексеевич, когда же домой? Я больше не могу... Вы представляете, я, я, я — без денег... Хохотать хочется. Пропал даже вкус к лошадям... О женщинах я и не говорю...

— Вы не прочь, Леон, поговорить с одним крупным человеком о продаже нефтяных земель в Баку?

— Продать мои земли? Вы с ума сошли! Лучше я полгода здесь проваляюсь, но уж дождусь, когда вырежут большевиков... Они укорачивают мою жизнь!.. Вы вдумайтесь! Они распоряжаются моими землями, моими домами, моими деньгами, моим здоровьем... (Он вскочил, с яростью подтянул штаны пижамы и заходил в одной туфле.) О чем думают эти болваны англичане, я вас спрашиваю? О французишках я уже и не говорю — лавочники, трусы, хамы... Я решил написать английскому королю: «Ваше величество, вы первый джентльмен в мире,— меня ограбили, меня убивают медленной пыткой, прошу защиты...» Мои лошади бегали в Англии в тринадцатом году, он меня знает... А что, этот человек, с которым вы хотите, чтобы я говорил,— жулик, наверное?

— Он, насколько я помню, агент крупной компании. Моя роль маленькая — познакомить...

Манташев плюнул со злости:

— Довели — помещик, аристократ, семеновский офицер и служит фактором... Кошмар!.. Василий Алексеевич, давайте пить коктейль... (Позвонил.) В номер дают сколько угодно, а пойди я через улицу к Фукьецу — сейчас же посылают мальчишку проследить: ага, я у Фукьеца!.. И вечером — счет... (Он поджал губы, черные усы взъерошились, выкатил бараньи глаза.) Тридцать восемь тысяч франков счет... А? Когда же с этим типом вы предполагаете встретиться? Что?

18

Налымов вернулся на дачу, как и обещал, в сумерки. У Веры Юрьевны похорошело лицо, когда он медленно затворял за собой калитку. Из окон столовой лился приветливый свет. Сейчас же сели обедать.

Вечер был теплый, влажный, из темного окна влетела зеленая мошкара, ночные бабочки крутились под шелковым абажуром. Казалось, за столом сидела дружная тихая семья, а не четыре тени из невозвратной жизни постукивали вилками и ножами, учтиво передавая друг другу блюда. Во всем этом было извращение настолько очевидное, что мадам Мари вдруг резко засмеялась:

— Семейка!..

Расширенные зрачки Веры Юрьевны остановились на Василии Алексеевиче. Он потянулся за бутылкой, сказал с усмешкой:

— На примере нашего ужина, дорогие женщины, вполне приличного, мы видим всю призрачность так называемого благополучия... Ах, мои птички, хорошо чувствовать себя невинно потерпевшими, но это утешение тоже призрачно...

Лили перебила плаксиво:

— Я еще в Константинополе хотела утопиться... Ни жить, ни умереть — вот в чем виновата.

Мари — низким голосом:

— А я в чем виновата? Отняли все бриллианты, меха, на триста тысяч... Я бы здесь ферму купила... Княгиня Мышецкая разводит цыплят, чудно живет...

Пришел час изливать горечь... Женщины начали жаловаться. Что они сделали, за что такое им не в меру грехов возмездие?

Мари продолжала:

— Жили, как все живут. Ну, мотали деньги... Вот и вся вина... Керенским восхищались, устраивали даже базары в пользу революционеров... Так нет — оказались виноваты, что мы хорошо одеты, мы — красивые, в ванне моемся... В судомойки, что ли, было идти? Судомойки только там и царствуют... А когда у вас вывозят дорогую мебель, в квартиру вселяют солдатню и

матросню — революцией прикажете восхищаться?.. Хоть и вернемся когда-нибудь — как на пожарище: ни кусочка, ни клочочка не осталось...— Она сердито кулаком смахнула слезы.— Оскорбляют, выкидывают на улицу, обирают до нитки всех счастливых, всех нарядных, всех богатых... И при этом кричат,— вы же виноваты! Стыдно вам, Василий Алексеевич!

— За что, за что, за что? — шепотом повторяла за ней Лили, кивая распухшим носом над тарелкой.

Женщины бежали от апокалиптического ужаса через фронты к своим милым, хорошим «рыцарям духа», подставлявшим грудь под большевистские пули во имя восстановления красивой жизни. Женщины метались по полуразрушенным городам, грязным, переполненным гостиницам, угарным кабакам, где песенки Вертинского прерывались револьверными выстрелами и треском разбиваемых о головы бутылок... Знакомые, милые, изящные люди занимались спекуляцией и грабежом, во время эвакуаций сталкивали женщин с вагонных площадок... «Рыцари духа» мечтали о шомполах и веревках, и в мутных глазах убийц не найти было приюта для любви измученной женщине... Снова и снова — теплушки с сыпнотифозными, грязные кровати, разделяемые черт знает с кем за бутылку вина, за красновские, за деникинские кредитки... И так — все ниже, на дно человеческого водоворота...

Когда они вырвались из этого царства крови, сыпняка, сифилиса и разбоя на лазурные берега Константинополя, выбора не оказалось: тротуар, ночной фонарь и вдали пуговицы полицейского мундира...

— Да, да, Лилька верно сказала: в том и виноваты, что не утопились вовремя! — крикнула Мари и выругалась непристойно по-русски.

Так они плакали до полуночи. Фатьма-ханум несколько раз встревоженно появлялась в дверях, покуда Мари не запустила в старуху бутылкой.

Самое бесполезное, что можно было придумать, — и этому немало дивились французы,— сидеть у стола под газовым рожком и ночь напролет бродить по психологическим дебрям... Если взять, например, резиновый шар, наполненный воздухом, и поместить его в безвоз

душное пространство, он начнет раздуваться, покуда не лопнет. Русских беженцев распирала сложность собственной личности. Для ее ничем не стесняемого расцвета Россия когда-то была удобнейшим местом. Неожиданно поставленная вне закона, она с угрозами и жалобами помчалась через фронты гражданской войны. Она докатилась до Парижа, где попала в разреженную атмосферу, так как здесь никому не была нужна. Иной из беженцев помирился бы даже с имущественными потерями, но никак не с тем, что из жизни может быть вышвырнуто его «я». Если нет меня, то что же есть? Если я страдаю — значит нужно изменить окружающее, чтобы я не страдал. Я — русский, я люблю мою Россию, то есть люблю себя в окружении вещей и людей, каким я был в России. Если этого нет или этого не вернут, то такая Россия мне не нужна.

Революция, революция! Взбрело же в жизнь такое страшное и неуютное... Опустевший город. На окнах заколоченных магазинов — декреты о классовой борьбе... Холод.... Ночной звонок. И все мое, весь я отскакиваю от кожаной куртки человека с безжалостно сжатым ртом и мрачными глазами, глядящими сквозь мое «я».

У Веры, Мари и Лили будущее отягчалось еще и тем, что в Константинополе, затем во Франции они были зарегистрированы как профессионально занимающиеся проституцией. Эту услугу оказал им Левант. У него хранилась из марсельской префектуры какая-то гнусная бумажонка, он каждый раз угрожал ею, когда женщины начинали строптивиться.

Жалобы были излиты, слова все сказаны. Мари и Лили ушли спать. Вера Юрьевна придвинула стул к Василию Алексеевичу, положила голову на стол, на руки.

— Помимо всех художеств, за мной числится еще «мокрое» дело в Константинополе... Рассказать?

— Зачем, птичка моя? (Налымов заложил пальцы в жилетные карманы и щурился блаженно.) И без того все ясно. Одним мокрым делом больше? Какой вздор, какой вздор! Происхождение совести? Меня это занимало в прошлую зиму. Я даже ходил в публичную биб-

лиотеку... Семь миллионов спрессованных мыслей о совести на книжных полках... Я много смеялся про себя. Я чудно грелся у калориферов,— был январь, и я очень зяб. Я так и не стал читать книг. Мировая совесть, закованная в телячью кожу, почиет в публичной библиотеке, ею питаются книжные клещи... Когда мой зад начинал согреваться на калорифере, я размышлял о том, что все условно... Птичка моя, вы жили в хорошем обществе — оно разбежалось. Ваши деньги запиханы в мужицкие онучи. Вас нет, вы — только грустный рассказ о человеке. Кому нужна ваша совесть? Самой себе?.. Так, так — вы заботитесь о чистоплотности... Старый, добрый буржуазный мир, где нам было так уютно жить, махнул рукой на чистоплотность. Видите, иногда я читаю газеты... Я даже пытался читать московские газеты. Читал, но испугался... Они требуют — значит за ними сила. Они неприлично ругаются — значит ничего не боятся. Несомненно, они в конце концов разобьют вдребезги этот старый мир... Но нам с вами от этого не станет легче... Итак, да здравствует мрак души, если у тебя, птичка моя,— мрак... Да здравствует кривой турецкий нож, если тебе хочется воткнуть его в сонную артерию пьяному негодяю...

Вера Юрьевна вскочила. Зрачки — во весь глаз. Спросила одними пересохшими губами:

— Откуда вы это знаете?

— Это довольно обычный прием константинопольских проституток. Садись, любовь моя, выпей винца. Поговорим о чем-нибудь невинном.

19

Лисовский доехал на поезде подземной дороги до последней остановки и по движущейся лестнице поднялся на небольшую площадь.

Посреди площади горел газовый фонарь. Под ним стояли два агента полиции, заложив руки под пелерины. Наверху — звезды, не омраченные городскими испарениями. В кирпичных невысоких домах, кругом обступивших площадь, кое-где свет керосиновой лампы.

В пролете одного из узких переулков, уходящих ступенями вниз, вдалеке — скопища электрических огней, зарево реклам. Но шум Парижа сюда не долетал.

Лисовский надвинул кепку и вошел в кафе, где слышались голоса. В табачном дыму, за потемневшими от жира и пива столиками сидело человек полсотни рабочих. Они слушали человека, стоявшего спиной к цинковому прилавку. У него было маленькое круглое лицо с широко расставленными водянистыми глазами и взъерошенные усы. Левая рука обмотана окровавленной марлей. Когда вошел Лисовский, он быстро обернулся. Но ему закричали:

— Эй, Жак, продолжай!..

— Если это шпик, свернем шею.

— Да ощиплем.

— Да поджарим.

— Да полакомимся...

От шуточек, сказанных с угрозой, Лисовскому стало неуютно. Все же он подошел к прилавку, спросил стакан белого вина. Жак поднял руку,— снизу на марле запеклась просочившаяся кровь.

— Я пошел в контору, я показал мою руку директору: «Вы размалываете пролетариев на ваших проклятых станках, вы питаете машины нашим мясом, вот как вы добываете ваши денежки, малютка Пишо». Ха! Он до того налился кровью,— я испугался, как бы он тут же и не лопнул,— он выкатил глаза, как осьминог... «Послушайте, Жак, несчастный случай произошел по вашей неосторожности, вам оказана бесплатная медицинская помощь, если вас это не удовлетворяет — идите жаловаться в ваш профсоюз».— «Где,— я ему говорю,— секретарем ваш двоюродный братец».— «Если вы пришли мне говорить дерзости, убирайтесь вон!» — заревел малютка Пишо... «Великолепно,— говорю я ему,— но сначала посмотрим, как вы подавитесь этим сгустком!» Одним словом, я хотел ему вымазать сопатку моей кровью... Крик, звонки, полиция... Пишо визжал, как будто на него набросился бешеный волк. «Возьмите его, это агент Москвы, это большевик!..» Меня волокут из конторы... Ха!.. Как раз обеденный перерыв, двор полон рабочими. Ого, как они зарычали!

Тогда я высказал полицейским мое сомнение в целесообразности тащить меня сквозь строй товарищей в префектуру... Полицейские поблагодарили меня за толковый совет двумя бодрыми пинками и в порядке отступили в заводскую контору... Ха!.. Через пять минут там не осталось ни одного целого окошка... Это уже бунт! Директор вызвал подкрепление... Мы завалили ворота булыжником и железным ломом... Мы заявили о готовности весело провести время до конца рабочего дня... Заморозить бессемеровские печи, пустить в вальцы холодный рельс... Администрация вступила в переговоры... Мы послали расторопных ребят на соседние заводы — бить стекла... Начинать так начинать!..

Жак, не оборачиваясь, взял со стойки стакан белого вина и вылил его в пересохшее горло. На матовых щеках его краснели пятна, густые ресницы прикрывали веселое бешенство глаз. Лисовский осторожно наблюдал. Из тридцати — сорока человек больше половины слушали Жака с восторгом,— видимо, он был здесь коноводом, другие — пожилые рабочие, усатые, успокоенные — слушали со сдержанными усмешками, иные — хмуро.

— Ребяческая игра,— сказал один, шевеля усами.

— Затевать ссору с хозяином,— так уж знай, чего ты хочешь...

— Обдумать да взвесить... Да и предлог нужен покрупнее, если уж бастовать...

Выпив, Жак щелкнул языком:

— О, ля-ля! Предлог! Не все ли равно... Когда-нибудь надо начинать!

— Верно, верно, Жак! — подхватили молодые, топая башмаками.— Начинать, Жак, начинать!..

— Тише, мои деточки, помолчите-ка! — Грузный седой человек повернул к стойке кирпично-румяное лицо.— Жак, ты меня знаешь, полиция не раз пропускала меня «через табак» подкованными каблуками, в девятьсот восьмом я первый влез на баррикаду. Так вот я хочу сказать: после войны мы неплохо стали зарабатывать...

— Кто это мы? — закричали молодые.— Говори про себя, не про нас... Старику Шевалье, видно, ударили в голову его три тысячи франков!..

Кирпично-седой Шевалье — с добродушной улыбкой:

— У меня, деточки, в ваши годы была не менее горячая голова. Заткнитесь на минутку... Я только хочу спросить Жака — что начинать? Дело? — Тогда я готов... А выплескивать темперамент, колотя заводские стекла да улепетывать по бульвару от конных драгун,— на это вы сейчас не много найдете охотников... Франк падает, мои деточки, это значит — к нам начнут приливать доллары и фунты, и работы всем будет по горло... Поднимать заработную плату — вот за это мы должны бороться. И мы ее здорово поднимем, или я ничего не смыслю в политике... Выставляйте экономические требования, это я поддержу. А то — начинать да начинать... А что начинать? Прошло то время, когда знаменитый Боно со своими анархистами гремел по Парижу, стрелял полицейских, как кроликов, днем на Больших бульварах захватывал автомобили государственного банка... Тогда мы рукоплескали Боно, а сейчас бандиты-апаши и те бросают шалости, им выгоднее служить в больших магазинах приказчиками... Нет, деточки, буржуа в наших руках. Мелкий торговец зарабатывает меньше квалифицированного металлиста. А восстановление городов, разрушенных войной? Знаете, почем туда контрактуют чернорабочих? Начинать! Буржуа сегодня — курочка с золотым яичком, так что же — варить из нее суп? Плохой суп вы сварите, ребята...

Пожилые и солидные закивали:

— Умно говорит Шевалье.

— Довольно выпущено крови из Франции, мы хотим капельку счастья.

— Пусть наши жены и дочери узнают вкус настоящего паштета да походят в шелковых юбках...

— Правильно, Шевалье, пожмем из буржуа золото.

— Единодушно и умно поставим наши требования. А что же лезть в ссору и драку, когда сам не знаешь, чего хочешь...

Водянистые глаза Жака яростно упирались в говорившего, торопливо перебегали на другого, под взъеро-

шенными усами появлялась и исчезала злая усмешка. Он опять поднял руку в окровавленной марле.

— Довольно, мои барашки! — сказал он резко, и молодежь три раза стукнула по столам донышками пивных стаканов.— Слыхали мы ваше мэ-мэ-мэ, бэ-бэ-бэ... У тебя, Шевалье, прикоплено деньжонок на лавочку, ты уж и лавочку присмотрел в Батиньеле. Нет, ты вот что нам объясни... В траншеях мы сидели локоть о локоть с буржуа, германские пули пробивали кишки и нам и им, не разбирая... По Марне наши трупы плыли кверху синими спинами во славу Франции... (Он сжал зубы, и маленькое кошачье лицо его собралось морщинами.) Мы пробовали на вкус кровь буржуа,— она ничуть не слаще нашей... Наша-то, может быть, только посолонее.

— Солоней, солоней, солоней,— стуча стаканами, повторили молодые...

— Четыре года нас гоняли с одной бойни на другую... Франция загораживалась нами, как щитом из живого мяса, куда всаживали штыки, вгоняли пули, рвали в клочья, ослепляли, душили газами, жгли фосфором, ломали танками... О Шевалье, ты в это время спокойно покуривал трубку у станка на пушечном заводе... Тебе хорошо платили... А мы не могли даже сказать: «Нам страшно»,— за это в тылу отвечали пулеметами... Ты, наверное, не видал дороги из Шарлеруа, где лежали «пуалю» [1] с дощечками на груди: «Так рука отечества карает беглеца и труса»... Четыре года нас дурачили люди, которым мы не поручали вести войну и распоряжаться нашими жизнями... Нам раздавали фотографии с дерьма необыкновенной величины, найденного в немецких траншеях, чтобы мы охотнее стреляли в бошей, оставляющих такие следы. К каждому из нас прикрепили в тылу хорошенькую «мамочку»,— какие письма они нам писали, раздушенные и облитые слезами: «О мой дорогой солдатик, спаси нашу дорогую Францию, не бойся умереть как герой, господь вознаградит твои страдания...» О, до чего ловкий народ буржуа! А скажи, Шевалье, если бы немцы разбили

[1] Так называли во Франции солдат.

нас тогда же, в первый месяц, да заняли Париж, мы бы проиграли от этого?

— О бог мой! — Возмущенный Шевалье тяжело положил обе ладони на стол.— Проиграть войну немцам! Договорился же ты, Жак!..

И Шевалье покосился в сторону Лисовского, и многие за ним поглядели на неизвестного человека у стойки. Жак усмехнулся, переступил незашнурованными тяжелыми башмаками:

— Ни на десять су мы бы не проиграли! Только не наши, а немецкие буржуа вцепились бы нам в глотку... А тебе-то что хлопотать вокруг чужой драки!.. И полились бы к нам денежки не американские, а немецкие, и копил бы ты на лавочку не франки, а марки... И выходит, что война — чистейшее надувательство. Как там ни поверни, буржуа устроил широкий сбыт заводской продукции... Подумай-ка покрепче, не все ли равно, куда повезут продавать то, что сделано этой рукой: в немецкое или французское Конго!.. Рурский уголь — в Берлин или Париж,— ведь под землей тебе не видать... Мы только из траншей увидели, как велик свет, когда убивали три миллиона одураченных ребят... И это еще не все, Шевалье... Локоть о локоть сидели мы с буржуа в траншеях? Сидели... На язык кровь пробовали? Да... А когда вернулись домой, буржуа растопырили карманы на немецкие репарации, а мы рот разинули,— денежки мимо... Буржуа надели смокинги, а мы снова стучим ногтем в фабричную кассу: «Эй, бывшие товарищи по крови, не нужны ли вам наши мускулы?..» Так вот, Шевалье, за эти четыре года мы поняли одну простую, как пустая бутылка, истину: Франция с городами, заводами, виноградниками, с землей и солнцем, с двенадцатью месяцами хорошей и дурной погоды — наша!

— Наша, наша, наша! — повторили молодые.

— Русские повернули штыки в тыл... «Наше»,— сказали они и выворотили страну наизнанку вместе с рукавами... Русские смогли, а мы прозевали... Ха! Французы, не стыдно вам тащиться, как жирным скотам, позади человечества?.. (Веселыми глазами он оглянул все собрание.) Что правда, то правда — рус-

ским было легче заваривать революцию... Но мы даже и не пытались... Смерти, что ли, мы боимся на баррикадах? Детская забава... После Шампани, Ипра и Вердена — тьфу! А вот, кто там сказал про паштет и шелковые юбчонки? Вот эта дрянь завязла на наших штыках... Берегитесь! Мы знаем парижские соблазны. О, Париж, Париж!! От всего мира слетаются лакомки на этот город. Здесь продают себя на три поколения вперед за кусочек паштета... Вот — сидят трое, они были под Одессой, спроси у них о русских. Они тебе расскажут об этих варварах с горячей кровью... Русские верхом на конях бросались на наши танки, покуда мы не оставили им и танки и аэропланы; мы были удивлены, черт возьми!.. Русские сражаются на телегах, как древние франки... Они едят на завтрак, в обед и ужин хлеб цвета земли. Вместо вина пьют спирт. Многие одеты в шкуры, не покрытые материей, в ботфорты из древесной коры или валяной шерсти... Ты скажешь, Шевалье,— это просто дикари, свергнувшие тирана?.. Нет, старичок, нет... Они давно уже могли бы успокоиться, если бы их революция была за сытный кусок хлеба... Но этот сытный кусок они с бешенством отталкивают от себя, они хотят чистого хлеба, пойми, Шевалье... Эти суровые люди верят в неминуемое и близкое освобождение всех эксплуатируемых... Они не продают свою веру за вкусный паштет... Ты назовешь их безумными? Ха!.. Посмотрим, кто окажется безумным — большевики (он в первый раз произнес это слово; в кафе стало тихо, только шипел газовый рожок) или ты со своими паштетами и шелковыми юбчонками. У них больше практического смысла, чем тебе кажется, Шевалье... Теперь ты понял, наконец, что мы хотим начать... (Жак облизнул губы, взял со стойки стакан вина.) Нас — ограбленных, обманутых, одураченных — много, очень много... Мы еще не организованны, ты скажешь? Нас сформируют битвы и борьба... Нам не хватает суровости,— из Парижа слишком сладко тянет? Заткните носы, ребята! Подтяните пояса! Мы начинаем игру...

Он сказал и вылил в глотку остатки вина. В кафе

молчали. У молодых блестели глаза. Шевалье с усмешкой постукивал по столу толстыми пальцами.

— Поговорить всегда хорошо, в свое время и мы обсуждали за стаканом вина судьбы человечества, и не менее горячо,— сказал он.— На большой разговор всегда больше охотников, чем на малое дело... Только вот дело-то у нас пострадает, когда одни в небо тянут слишком круто...

— А ты что же хочешь, чтобы я тебе сказал день и час, да еще при этом молодчике из Сюрте?.. [1]

Жак стремительно повернул кошачье лицо к Лисовскому,— в широко расставленных глазах его была угроза. Володя Лисовский вскочил, и сейчас же несколько молодых поднялись и стали в дверях. Хозяин кафе, мрачный, одноглазый, весь в шрамах, волосатыми ручищами равнодушно перемывал кружки. Лисовский сразу оценил обстановку: влип! На юге России бывали, между прочим, положения и похуже. Все же побелевшие губы его застыли в перекошенной усмешечке...

— Ну, ты, мосье Вопросительный знак,— сказал Жак,— докладывай, зачем залетел на огонек? Говори правду, как перед смертной казнью... Отсюда, видишь ли, можно уйти, но можно и не уйти совсем...

— Я русский журналист,— сказал Лисовский, засовывая дрожащие руки в карманы,— в Париже я затем, чтобы именно слушать то, что сегодня слышал, и сообщать моим читателям в Россию... Большего я вам не могу сказать по весьма понятным причинам...

— А мы сейчас проверим.— Жак кивнул в глубину кафе: — Мишель!

Оттуда подошел красивый, болезненно-бледный малый в синей прозодежде, деревянных башмаках и соломенной шляпенке. Став перед Лисовским, он оглядел его глазом знатока. Обернулся к товарищам:

— Поляк, турок или русский? — Затем всей щекой подмигнул Лисовскому:— Одесса, рюсски? Делал революсион... Карашо... Солдатский совет... Ошень карашо... Слюшал Ленин... Стал большевик... Пиф-паф Деникин... Э?..

[1] Сюрте — охранка.

Лисовский нагнулся к его уху:

— Я русский, из Москвы... Только — молчи, в Париже конспиративно. Понял?

— Будь покоен, старина! — Мишель здорово хлопнул его по плечу: — Свой... Карашо...

20

Лисовского поразила доверчивость этих ребят. Его похлопывали, с ним чокались, каждый, звякнув медяками по стойке, спрашивал для себя и русского стаканчик. Спрашивали, много ли раз он видел Ленина и что Ленин говорил. Спрашивали, много ли русских рабочих ушло на гражданскую войну. Сдвигая брови, раздувая ноздри, слушали рассказы о героизме красных армий и сокрушались о бедствиях при наступлении Деникина и Колчака. Лисовский рассказывал то именно, что от него хотели слышать.

Хлопая его по спине, по плечам, французы говорили:

— Передай своим, пусть они не боятся Колчака и Деникина: эти генералы выдуманы в Париже Клемансо. И бить их нужно в Париже, об этом мы позаботимся, так и передай...

Лисовский чувствовал богатейший материал, даже стало жалко, что достается Бурцеву: «Старикашка не поймет, еще и не пропустит...» И тут же мелькнуло: «Написать книгу с большевистским душком — скандал и успех...» В конце концов ему было наплевать на белых и на красных, на политику, журналистику, на Россию и всю Европу. Все это он равнодушно презирал как обнищавшие задворки единственного хозяина мира — Америки, куда ушло все золото, все счастье.

Ему ничего не стоило сейчас прикидываться большевиком,— пожалуйста! Даже осторожный Жак, когда посетители кафе стали разбирать шапки, дружески кивнул Лисовскому и пошел проводить его до подземной дороги. С Жаком нужно было держать ухо востро. Лисовский, выйдя на пустынную площадь, где под фо-

нарем все так же неподвижно стояли двое полицейских, сказал вполголоса:

— Не хочу вас обманывать, я по убеждениям — анархист. (Жак усмехнулся, кивнул.) Короткое время был в партии большевиков, но меня душит дисциплина... В Париже мои задания скорее литературные, чем партийные... Здесь приходится выдавать себя за белогвардейца и работать в «Общем деле»... Противно, но иначе не проникнешь в политические круги. В московских «Известиях» печатаюсь под псевдонимом. Вот вы уверены, что я просто авантюрист... Пожалуй, вы и правы. Но без нас в революции было бы мало перцу... И все же я — ваш со всеми потрохами...

Жак, подумав, ответил:

— Я предполагал, что вы так именно про себя и скажете, хотя вначале принял вас за агента... И половина того, что я говорил, предназначалась именно для вас.

— Понимаю, вы бросали вызов.

— Э, нет: Клемансо и Пуанкаре должны знать, что думают и говорят в предместьях... Пусть они не преуменьшают ни нашей ненависти, ни нашей силы... («Эге,— подумал Лисовский,— малый хитер, как черт».) Скажите, в Советской России знают, что Франция в восемнадцатом году была на волосок от революции? И эта опасность далеко не миновала...

Они перешли темную площадь и подходили к узкой уличке, откуда давеча Лисовский видел огни Парижа.

— Клемансо смелый человек,— сказал Жак.— Настолько смелый, что его доверители, думать надо, скоро уберут старика...

— Вы говорите, что — в восемнадцатом?..

— Да... Помешали кое-какие внешние причины, например: присутствие в Булони американской армии в миллион штыков... Но главное — это желтая сволочь... Желтая сволочь!..

Жак потянул носом сырой воздух:

— У вас, у русских, правильный прицел... Между нами и капиталистами должно быть поле смерти... Никаких перебегающих фигурок... На мушку желтую сволочь!..

Он некоторое время шагал молча, затем рассмеялся:

— А вы знаете, что такое маленький французский буржуа? Отца и мать и царствие небесное отдаст за теплый набрюшник... В него и не выстрелишь,— он сейчас же поднимет руки и закричит: «Да здравствуют Советы!» Сейчас он окрылен. На Францию валятся миллиарды немецких репараций... Но тут-то ему такая катастрофа, о какой ни в каких книгах не написано... Мы ждем грандиозного подъема промышленности. Будет перестройка в иных масштабах,— все мелкое, копеечное на слом... Маленькому буржуа придется надеть вельветовые штаны и подтянуть брюхо пролетарским кумачом... Ну, что же,— приветствуем железную волну, девятый вал капитализма... Наши силы удесятерятся... (Кивком головы Жак указал в пролет узкой улицы на черную яму Парижа, куда будто упали все звезды из черно-лиловой ночи.) Мы окружаем его, мы — на высотах, мы спустимся вниз за наследством.

У двух столбиков метро, освещенных двумя фонарями в виде красноватых факелов, перед лестницей в глубокое подземелье Жак пожал руку Лисовскому:

— Если вам нужен материал для статей, приходите завтра в Мон-Руж, на бульвар, наберетесь кое-каких впечатлений...

Он пристально взглянул на Лисовского.

Из-под земли слышался гул двигающихся стальных лестниц, несло теплым, пыльным сквозняком. Увлекаемый вниз на лестничной ступени эскалатора, Лисовский увидел, как из серого тоннеля, описывая полукруг, вылетел, светясь хрустальными окнами, белый поезд Норд-Зюйд. Шипя тормозами, остановился под изразцовым сводом.

И сейчас же почему-то у него сжалось сердце тоской и жутью. Глядя на поезд, он почувствовал, что отняли от него стержневую надежду, и в будущих днях он уже не ощущает себя беспечным и шикарным, с пачками долларов по карманам... Чувство — неожиданное и неясное... Он даже остановился на площадке, где кончалась бегущая лестница. Кондуктор поезда крикнул: «Торопитесь, мосье, последний!» Усевшись в почти пу-

стом вагоне на сафьяновой скамейке, Лисовский закурил.

«Иначе и не может быть, это должно случиться, они спустятся вниз. Социализм! Ой, не хочу, не хочу!..»

Он прижался носом к стеклу,— мимо неслись серые стены, электрические провода, надписи... Поезд мчался к центру города, в низину. Лисовскому чудилось: на возвышенности, вокруг города, под беспросветным небом — толпы, толпы людей, глядящих вниз, на огни. Внизу — беспечность, легкомыслие, изящество, веселье (ох, хочу, хочу этого!), наверху — пристальные, беспощадные, широко расставленные глаза Жака... Мириады этих глаз светятся в темноте неумолимым превосходством, ненавистью... Ждут знака, ждут срока... (Ох, не хочу, не хочу!)

Нужно было стряхнуть наваждение. «Какого черта! Ничего еще плохого не случилось,— мир стоит, как и стоял...» Лисовский с отвращением подумал о своей постели. Пересчитал деньги, перелез с Норд-Зюйда на метрополитен и через десять минут вылез на площади Оперы.

На Больших бульварах было уже пустынно, театры окончились, гарсоны в кафе ставили столики на столики, гасили огни. Огромные серые дома с темными стеклами витрин казались вымершими. Лисовский стоял на перекрестке. По масленистым торцам проносился иногда длинный лимузин или такси.

Автомобили направлялись наверх, по старым уличкам, в места ночных увеселений. Там можно было завить тоску веревочкой, шатаясь по ярко освещенным тротуарам, пахнущим пудрой, по́том и духами,— от кафе к кафе, толкаясь между девчонками, пьяными иностранцами, сутенерами. Не пойти ли? Но с двадцатью франками — о сволочь, беженское существование!— благоразумнее не раздражать и без того болезненно возбужденные нервы.

Он стоял, опираясь задом на трость, курил и оглядывался. Подошел длинный человек в черном широком пальто почти до пят, в белом кашне, какое надевают при фраке, в шелковом цилиндре. Топнув со всей силой лакированной туфлей (чтобы проклятый тротуар не

шатался), он стал около Лисовского. Закурил медленно, твердо, но спичку держал мимо папиросы, покуда не обжег пальцы.

— Прошу прощенья,— сказал он с сильным английским акцентом,— какая это улица?

— Бульвар Пуассоньер.

— Благодарю вас... Прошу прощения, а какой это, собственно, город?

— Париж.

— Благодарю, вы очень любезны... Странно... Очень странно...

Так же, как и Лисовский, он оперся задом на трость и глядел остекленевшими глазами вдоль бульвара. Появились сутулый мужчина и полная женщина,— они шли под руку, медленно, и говорили по-русски:

— Не понимаю, Сонюрка, откуда у тебя такая кровожадность...

— Оставь меня в покое...

— Согласен,— в самый момент подавления большевиков, конечно, будут эксцессы, но настанет же день всепрощения...

— Всепрощения!.. Противно тебя и слушать...

— Сонюрка, смотри, какая тихая ночь... Как эти громады черных домов заслоняют небо... Тишина великого города!.. Гляди же, дыши,— а тебе все мерещутся веревки да ножи...

Они прошли. Неожиданно человек в цилиндре вздрогнул, будто просыпаясь, вдруг тяжело повалился на спину. Не поднимаясь, он как-то странно побежал ногами... Лисовский осторожно выпростал из-под себя трость, перешел на другую сторону улицы. Оглянулся, тот лежал и дергался... «Эге, аорта не выдержала...» К лежащему приближались двое каких-то низкорослых...

«Ох, тоска! — Лисовский побрел дальше... Неостывшие каменные стены, высокие фонари, тени от деревьев на асфальте.— И значишь ты здесь столько же, друг Володя, сколько эти тени... Можешь идти по бульвару, а могло бы тебя совсем здесь не быть,— тень, голубчик, тень человека... Тьфу!.. (Он выплюнул окурок и посмотрел на свое мертвенное отражение в темной зер-

кальной витрине.) А все-таки ничего у них не выйдет. Черт, Жак хвастун, враль!.. А вот книгу я напишу, что верно, то верно... Циничную, гнусную, невообразимую,— выворочу наизнанку всю человеческую мерзость. Чтоб каждая строчка налилась мозговым сифилисом... Это будет — успех!.. Исповедь современного человека, дневник растленной души, настольная книга для вас, мосье, дам...»

Навстречу шла девушка, руки ее, точно от холода, были засунуты в карманы полумужского пиджачка. Поравнялась, кивнула вбок головой и глазами,— невинное лицо подростка, вздернутый носик, пухлые губы. Лисовский сказал:

— Пойдем, моя курочка, но заплачу, предупреждаю, только любовью.

Она даже отступила, хорошенькое личико ее сморщилось отвращением.

— Кот,— сказала хриповато,— дрянь, дерьмо!..

Подняла полудетские плечики, и — топ-топ-топ — высокими тоненькими каблучками между теней на асфальте ушла разгневанная любовь.

21

Завтрак с Чермоевым и Манташевым состоялся в Кафе де Пари. Болтали о том и о сем. Манташев был мрачен, Чермоев — спокоен и, как всегда, насторожен. После третьей бутылки шампанского Левант безо всякого предварительного перехода заговорил об английской политике:

— Я только что из Лондона, где имел удовольствие видеться с кругами, близкими к Черчиллю... Они непримиримы к России. Если бы это зависело от них одних, английские танки уже давно бы стояли в Кремле. Я виделся с кругами либералов и пять минут беседовал с Ллойд-Джорджем... (Левант покосился на Налымова, но тот, подняв белесые брови, глядел оловянными глазами на пузырьки в бокале шампанского.) У либералов — все та же нерешительность, их девиз: «Время играет за нас...» Господа, мое впечатление от

Лондона таково: война с большевиками — еще на долгие годы...

Чермоев тяжело вздохнул, Манташев, откинувшись на стуле, укусив зубочистку, подозрительно оглядывал Леванта. Тот изобразил лукавую улыбку, свернул пособачьи нос.

— Но есть люди, думающие иначе... Правы они или нет — бог им судья... К таким принадлежит Детердинг... Завтра мы с Василием Алексеевичем выезжаем в Лондон, чтобы с ним видеться... Сегодня хотелось бы прийти к кое-каким предварительным решениям...

— Что же предлагает Детердинг? — сквозь зубы спросил Манташев.— Купить за грош пятак?

— Господа, Детердинг ничего не предлагает. Детердинг начинает мировую борьбу за нефть. В этой борьбе не только он — судьба Англии поставлена на карту. На сегодняшний день нефть — это знамя. Транспорт — это нефть. Химическая индустрия — нефть... Военное и морское могущество — нефть... Нефть — кровь цивилизации.

Чермоев пощелкал языком. Манташев, отодвинув стул, задрал ногу на колено, схватился за щиколотку.

— Борются нефтяные силы Америки и Англии... Но есть третья сторона: Россия, где находится третья часть всех мировых запасов нефти. Россия — не в игре... Но она войдет в игру, и та сторона, которая овладеет русскими запасами нефти, победит... Вы представляете — какими миллионами пахнет вокруг этой игры?

Он опять покосился на Василия Алексеевича,— тот продолжал глядеть на пузырьки. Левант перешел ближе к делу:

— Ллойд-Джордж и либералы не учитывают всей величины русского вопроса. Они идут на компромисс. Господа, это факт: мирная конференция на Принцевых островах решена, и большевики на нее идут...

Чермоев и Манташев настороженно перевели глаза на Леванта.

— Ллойд-Джордж будет мирить белых с большевиками. Я сам, этими глазами, видел в кабинете Ллойд-Джорджа карту раздела России. Ленину оставлено московское государство. Предполагается, что там без

угля, нефти и железа большевики умрут естественной смертью... Теперь, господа, спрошу вас, можете ли вы быть спокойны за свои нефтяные земли, покуда в центре России, милостью английских либералов, сидит Ленин?

— Сумасшествие! — прошептал Чермоев.

— Ничего не понимаю! — сказал Манташев, сбрасывая ногу на ковер.— Господа, я давно это говорю: я напишу королю...

— Детердинг смотрит на дело так же, как и вы, господа... Гражданская война в России кончается. Европа успокаивается. Помощи белым ждать неоткуда. Не пройдет и года, большевики ворвутся в Баку и Грозный... («Да уж будьте уверены»,— трезвым голосом неожиданно сказал Налымов.) Исходя из этого, Детердинг желает сосредоточить в одних руках,— иными словами — в своих руках все права на русские нефтяные земли, чтобы более решительно воздействовать на русскую политику Англии. Вот что я имею вам сообщить, господа... Я ни на чем не настаиваю... Бескорыстность моих намерений может подтвердить Василий Алексеевич. Обдумайте. Дело серьезное, но предупреждаю: спешное... В Лондоне я видел Нобеля, он, кажется, уже договорился с Детердингом...

Это последнее — про Нобеля (крупнейшего шведско-русского нефтяника) — он ввернул ловко, без нажима. Впечатление было, как от выстрела над ухом. Манташев вскочил и, поддергивая клетчатые брюки, забегал по кабинету. Чермоев гнул и ломал кофейную ложечку.

В расчеты Леванта не входило выпускать из сферы влияния обоих нефтяников до их окончательного решения. Он предложил автомобильную прогулку за город. У ресторана уже стояла новенькая машина. Садясь на переднюю скамейку, Левант поморщился:

— Машинка — хлам... Хочу сделать глупость — разориться на рольс-ройс.

По пути заехали за шампанским. Когда Левант выскочил у магазина, Чермоев сказал Налымову:

— Тебе верю, как брату, но этот твой — жулик?

— А, черт, не с ним же будем иметь дело,— с доса-

дой сказал Манташев,— пускай хлопочет... А вы как на него смотрите, Налымов?..

— Что ж... Конечно, жулик,— спокойно ответил Налымов.— С открытыми жуликами легче, по-моему...

Манташев с воодушевлением стукнул тростью:

— Я всегда говорил... Разные там идеи, принципы — первейшее жульничество. Современный человек — открытый человек... Деньги на стол — и точка... А сглупил — твоя вина. Так же и с женщинами, господа, так же и с женщинами... Вообще все пора пересмотреть...

Левант, улыбающийся, с сигарой в зубах, снова повалился на переднее сиденье и — вполоборота к гостям:

— У меня маленькое предложение. Дела — делами, а мы все, как я вижу, не прочь пошалить. Шофер, в Севр...

22

По дороге Левант рассказывал о приключениях с девочками во всех европейских столицах. На круглом щербатом лице Чермоева была спокойная скука, Манташев позевывал, поднося к губам серебряный набалдашник трости.

Желтое солнце низко светило над лесом, когда подъехали к воротам дачи. Здесь стоял наемный автомобиль. Левант необычно оживился.

— Вот это — кстати, это — радость... Господа, вы не пожалеете, что приехали...

Гости лениво вылезли из машины. Левант, распахнув калитку, кланялся, приглашал. Сад был прибран. Дам — не видно. По дорожке одиноко прохаживался плотный низенький человек в белой черкеске с серебряными галунами. Левант поспешил к нему. Оба протянули руки, обнялись. И Левант растроганно обратился к гостям:

— Позвольте познакомить — мой ближайший, чудный друг... Поэт, известный писатель, политический деятель, полковник французской службы, кажется бывший турецкий паша, но с головы до пят — русский и патриот. А по-нашему, восточному,— благородней-

ший и умнейший человек, душа общества, Хаджет Лаше...

— Ну, ты все же умерь пыл,— добродушно, с достоинством, с легким восточным произношением ответил Хаджет Лаше.— Ишь сколько надавал мне чинов.

Крепким рукопожатием он поздоровался с гостями. Налымов поклонился ему издали.

— Ты откуда свалился, Хаджет?

— Прямо из Ревеля, на день задержался в Стокгольме. И завтра же — назад...

— Небось приехал пошептаться с Клемансо? Знаем мы вас, политиков... (Левант подмигнул, своротил нос.) Молчу, молчу, молчу... (Приложил палец к губам, даже пошел на цыпочках.) Простите, хочу узнать, как у нас с обедом...

Он убежал на кухню, крича: «Барбош, Барбош!» (Хаджет Лаше со снисходительной улыбкой вслед: «Весельчак, добрый парень».) Гости сели в парусиновые кресла. Нинет Барбош принесла поднос с горькими настойками, вермутом и портвейном. Налымов незаметно скрылся.

Как он и думал, Вера Юрьевна ждала его в маленьком салоне, где были закрыты жалюзи. Она изо всей силы схватила его за руки, почти прижалась лицом к лицу и — прерывающимся шепотом:

— Это — он, он... Боже мой, как это страшно!..

— Кто он, Вера? Что с вами?

— Хаджет Лаше... (Захрипела.) Это — он, он...

— Ну, хорошо, хорошо... Успокойтесь...

— Не могу... Принеси вина...

Он принес вина. У нее зубы застучали о стакан. Василий Алексеевич угрюмо заходил по маленькой комнате. Она со стоном выдохнула воздух:

— Ты его видел?

Он неопределенно пожал плечами. До чего же человек оберегал свое червячковое благополучие! Ему бы в ореховую скорлупу, в середину ореха забиться от всех кошмаров. Глаза Веры Юрьевны понемногу отошли, суженные ужасом зрачки расширились и даже с юмором следили за шагающим, опустив голову, Налымовым.

— Бабы — сволочи, правда? — сказала она.— То ли дело — без баб... Ты прав — все вздор... Переживем и этот случай...

— В чем дело, Вера? Что у тебя было с этим человеком?

— Не скажу.

— Как хочешь.

Тогда она обхватила колено и засмеялась тихо:

— Знаешь, Вася, в сутенеры ты совсем не годишься. Скажи, почему ты все-таки так цепляешься за жизнь?

— Не знаю, не думал.

— Врешь... Вот когда ты меня потеряешь,— а я долго такого не пролюблю,— тогда тебе будет плохо... Потому что я — последний человек на твоем пути... (Тихо, мечтательно.) И ты — умрешь...

Василий Алексеевич споткнулся, остановился:

— Чего ты добиваешься от меня, Вера? Чтобы я ожил, как весенняя муха между рамами? Но ведь оживать нужно для какого-то продолжения... А у меня его нет. Еще недавно я с величайшим облегчением думал о конце: разумеется, с минимумом болезненных ощущений — это самое желательное. Колесо автобуса или удар ножа в пьяной драке...

— Еще недавно?—тихо переспросила Вера Юрьевна.

— Подожди! У меня был круг каких-то моральных понятий и какие-то устремления... То есть человеческое лицо... Я принадлежал к обществу, которое называло себя высшим... Вместе с этим обществом меня вышвырнули из России... Но этого мало: моральные понятия и устремления и мои и всего этого общества оказались чистейшей условностью... вздором... грязным тряпьем... И целей — никаких. У других — кровожадные планы и надежды вернуть все обратно. Но я устал от крови и ненависти и, главное, ни в какие возвраты не верю... Ты понимаешь меня? Неожиданно появляешься ты... Я сопротивляюсь этому... Я сопротивляюсь больше, чем собственному уничтожению...

Прижав подбородок к поднятому колену, Вера Юрьевна прошептала:

— Люблю, люблю...

— Вот это и ужасно.— Он закашлялся и рассмеялся дребезжащим смешком.— Значит, предстоит еще коротенькая дорожка. Весьма извилистая и темная... Ну что ж, любовь моя,— станем жуликами, бандитами или еще похуже.

Вера Юрьевна вскочила, обхватила его голову холодными пальцами.

— Ты — мой, мой, мой...— повторяла, прижимая его лицо к груди.— Кот мой, гаденький мой, страшненький мой... Все теперь вместе, все — вместе... (Она неловко царапала его кожу длинными ногтями, целовала в волосы, в висок.) Устрой, устрой только одно... Хаджет Лаше везет нас в Стокгольм... Устрой так, чтобы быть нам вместе.

Василий Алексеевич освободился от ее рук, медленно пригладил волосы.

— Для чего — в Стокгольм?

Вера Юрьевна не ответила. Он взглянул на нее и сейчас же отвел глаза. Послышалось хлопанье в ладоши и голос Леванта, зовущего гостей ужинать...

23

— ...Столько привелось видеть... Жалко, не обладаю талантом Льва Толстого... Бодливой корове бог рог не дает... Да теперь и времени не хватает — заниматься литературой... Все душевные силы уходят в борьбу...

Жирноватое лицо Хаджет Лаше с твердой нижней челюстью, с мясистым носом, ноздреватой, трудно пробриваемой кожей было чрезмерно красное. Короткие жесткие волосы — с бобровой сединой. Прямой рот — без улыбки, с жесткими морщинками. Глаза он добродушно жмурил. Лицо незаметное, но приглядеться — чем-то притягивало. К тому же он оказался занимательным собеседником и компанейским парнем.

Он сидел под темной листвой липы, расстегнув шелковую сорочку на волосатой груди. Свечи, обсыпанные мошкарой, догорали. Край неба зеленел на востоке. По всему саду валялись бутылки, ковры, подушечки, опрокинутые стулья — следы развлечений. Дамы

были пьяны. Вера и Мари ушли в дом. Лили спала на траве, прикрытая скатертью. Левант (плясавший с кухонным ножом лезгинку) дремал в парусиновом кресле, как режиссер, окончивший спектакль. Необходимое согласие вести переговоры с Лондоном было дано Манташевым и Чермоевым.

Они сидели под липами и слушали Хаджет Лаше. Приятно тянуло предутренней прохладой. Он рассказывал:

— Я русский патриот, господа, и мне тяжело видеть, как святое белое дело тормозится безумной политикой англичан... Они до какой-то черты поддерживают нас, даже толкают на борьбу... Чего дальше, полковник Бермонт-Авалов формирует в Германии эшелоны из русских добровольцев, и английская миссия устраивает на берлинском вокзале торжественные проводы — раздают продовольственные посылки, деньги, погоны. Оркестр играет «Боже, царя храни»... Но как только мы начинаем одерживать решительные успехи, англичане начинают тормозить, устраивают иной раз прямое предательство... Создается ужасное впечатление, как будто им нужен только самый факт гражданской войны, и чем она будет дольше и разрушительнее, тем лучше для англичан. Возьмите наш участок, Северо-Западный фронт... Поначалу все шло гладко: немцы взялись формировать армию: генерал фон-дер-Гольц сколотил серьезный кулак в сорок тысяч штыков, Бермонт-Авалов — корпус в Митаве, Булак-Балахович — псковскую группу. Ригу, всю Латвию очищаем от большевиков. Эстония выметена, как метлой. Жалованье войскам с немецкой аккуратностью выплачивается из Берлина: Шейдеман и Носке всей душой за белый поход на Петроград... Ждем только весеннего пути... Так — нет!.. Вмешиваются англичане: им нужно Балтийское море, им нужны острова Эзель и Даго, этого они не хотят отдавать. Английская эскадра адмирала Коуэна начинает усиленно крейсировать в районе Биорке, и — бац! — ультиматум: расформировать армию фон-дер-Гольца, лишить Бермонта материальной поддержки... В Ревеле высаживаются английские генералы Гоф и Марш, заявляют, что берут в свои руки очищение Севера и Петрограда от красных...

Пожалуйста, сделайте милость... Даже есть некоторый плюс: умерить эстонские аппетиты,— чухонцы в Ревеле спят и видят захватить Балтийский флот в Кронштадте. Словом — перспективы веселенькие. Хорошо. С чего же начинают англичане? Предлагают на пост главнокомандующего северо-западной армией генерала Юденича... Да, господа, генерала Юденича!.. Вам, Леон, это имя особенно должно говорить... Юденича, известного резней аджарцев под Батумом в шестнадцатом году, когда в несколько дней были вырезаны сотни аулов... Земли под Батумом и на Чорохе он распродал под дачные места. Известного резней армян... Расстрелом трехсот семидесяти офицеров и солдат Эриванского полка. Тупой, упрямый, свирепый человек и кабинетный генерал... Англичане выбирают именно его. Почему? Да потому — если он и возьмет Петроград, то зальет его кровью, и неминуемо вспыхнет новая революция, и — опять начинай сначала,— что и требовалось доказать... Ллойд-Джордж послал Колчаку предложение утвердить Юденича, и Колчак утвердил и авансировал из золотого запаса... А как они снабжают армию? В Ревель прибыло два парохода — табак, бритвенные приборы, варенье, футбольные мячи, пипифакс, ну, там, френчи, башмаки... А у пулеметов нет запасных частей, у пушек нет замков... Оказывается, пароходы направлялись в Архангельск для английского десанта, но Ллойд-Джордж побожился в палате, что интервенции нет и не будет, и пароходы направил в Ревель, где они сейчас грузятся льном из Пскова и Гдова... Эстонцы всю зиму скупали лен у русских мужиков... А замки от орудий и запасные части сняты, чтобы хорошее оружие нам не попало... Прислали десять тысяч винтовок времен франко-прусской войны, ни один патрон не подходит... На прошлой неделе я говорил с Лианозовым... Тот самый нефтяной магнат, да, да... Он — министр финансов в правительстве Юденича, в так называемом «Политическом совещании».

Хаджет Лаше, смеясь одними глазами,— рот оставался жестким, жестоким,— потащил из заднего кармана штанов бумажник, отыскал газетную вырезку.

— Показал мне вот этот образец... (Качая головой, пододвинул подсвечник, надел роговое пенсне.) Образец — как мы боремся с большевистской пропагандой... Воззвание.

> «Ленины, Апфельбаумы и прочие ненадолго сумели заглушить голос совести и разума русского народа.
>
> Легендарный Народный Витязь, освободитель Северо-Западной России, генерал Юденич поднял и лично ведет рати народные на освобождение Белокаменной.
>
> Уже раскрывается чуткая душа народа навстречу близкой великой радости.
>
> Солнце свободы и обновления всходит над многострадальной Землею Русской.
>
> Так хочет бог.
>
> Так повелевает народ.
>
> Так приказывает излюбленный Вождь Народный.
>
> Пойдем за ним!..»

— Недурно? (Смеясь, снял пенсне, спрятал вырезку.) Лианозов сказал мне буквально (мы с ним друзья еще со школьной скамьи): «Не верю в наши силы, не верю людям, начинаю не верить самому себе... И больше всего не верю англичанам... Генерал Марш в восторге от этого воззвания, он в восторге от Юденича... Мы погибли, если англичане будут продолжать вести двойную игру. Пусть Россия — колония. Пусть — вторая Индия. Имей мужество открыто заявить об этом. Но не разорение...» Вот что мне сказал Лианозов, а он не глупый человек... Особенно тогда меня поразило, даже испугало: он, всегда такой выдержанный, с чрезвычайной нервностью ведет сейчас переговоры,— уж не знаю с кем в Лондоне,— о продаже всех нефтяных земель в Баку. Очень характерно, очень характерно...

Манташев взглянул на Чермоева, у того открылся изъян между передними зубами. Помолчали. Огонек свечи, лизнув розетку, затрещал, погас. И тогда стало заметно, что уже светает. Гости поднялись, потягиваясь.

24

Нинет Барбош принесла крепкого кофе в неубранную столовую со следами ночного безобразия, открыла жалюзи. Утро было сырое. Под горой, за деревьями, поднимались ленивые дымки Севра. Неохотно чирикали воробьи. Густая роса лежала на измятой траве, с липовых листьев падали тяжелые капли...

Хаджет Лаше, в кавалерийских штанах и в туфлях, стоял у окна. За ночь у него отросла сизая щетина, лицо было помято, но усталости он, казалось, не чувствовал,— раздутые ноздри его с наслаждением втягивали запахи серенького утра, глаза блестели настороженно.

Когда Александр Левант, в пижаме и в туфлях, принес сверху портфель и присел у стола, сжав виски («Фу, черт, как трещит голова!»), Хаджет Лаше сказал с оттенком изысканной меланхолии:

— Только во Франции может так восхитительно пахнуть утро. Всюду человек приносит вместе с собой отвратительные запахи, но здесь даже дым из каминов пахнет восхитительно...

— Зависит от пищи, ничего особенного,— с неохотой ответил Левант.

— Мне сорок семь лет, как жалко, как жалко...— Хаджет задвигал бровями, сморщил лоб, и казалось, его лицо с мясистым носом и жирными скулами — маска, и вот-вот он сдерет ее.— Все чаще думаю — а не надо ли было всем пренебречь, все страсти принести на алтарь... Ах! Как ничтожны, мелки, банальны все эти писателишки с мировыми именами... Хотя бы один из них дал мне ощущение вот такого утра... Женщины открывают ставни, метут пороги жилищ... Какой древний запах очага! А чириканье нахохлившихся пичужек?.. А шорох капель?.. Ведь это божественный оркестр!..

Левант взглянул на его несоразмерно плотный широкий загривок, хотел было сказать, что «будет уж ломаться, не перед кем», но промолчал.

— Бывают минуты, Александр, когда я чувствую, что мог бы... мог бы... Жаль и больно такой аппарат

(коснулся лба) отдавать грязной работе... (Левант опять изумленно взглянул на его двигающуюся маску.) Искусство! Обдуманная и осторожная игра на тончайших воспоминаниях. Ты меня понял? Есть воспоминания, ставшие физическими точками в мозгу... Может быть, я их получил от матери, от прадеда, от предков... Когда ты их затронешь, сыграешь симфонию на этих таинственных точках,— рождается чудо искусства... Я ношу в себе силы для такого искусства, Александр... Сорок семь лет! Право, брошу-ка все наши авантюры, поселюсь в Париже, в уединении, в мансарде, под небом, возьмусь за перо.

— Ты что это, серьезно? — с тревогой спросил Левант.

— А хотя бы и серьезно.

— То-то, а то я уж...

Левант, усмехнувшись, налил себе коньяку. Каждый раз этот человек-дьявол дурачил его, как маленького... Интересно, какой ход он делает сейчас этим разговором. Левант не верил, разумеется, ни одному его слову, но замыслов его до конца понять никогда не мог. Одно можно было предположить, что он боится, как бы Левант не почувствовал в чем-то над ним превосходство. «Эге,— подумал Левант,— да не плохи ли его дела в Стокгольме? То-то он так быстро прикатил по телеграфному вызову».

— Ну что ж,— сказал Левант,— сорвем куртаж с Манташева и Чермоева, две-три сотняшки тысяч нам перепадет, марай себе на здоровье бумагу, мансарду тебе подыщу. Мне тоже надоели наши авантюры,— тревог много, ночи не спишь, а где они, эти миллионы? Я тоже, пожалуй, от дел отойду, право, ей-богу, отойду.

Хаджет Лаше рассмеялся, подошел к столу и похлопал Леванта ладонью по шее так, что у того отдалось в ушах.

— Не старайся, Александр, меня не перехитришь. Мои дела далеко не плохи, далеко не так плохи. Видишь ли, в жизни нужно делать время от времени крутые повороты,— руль направо, руль налево, но всегда вперед... А кроме того, только то делать, к чему влечет страсть...

Он отомкнул ключиком замок портфеля и осторожно вынул пачку писем и фотографии. Освободил от грязной посуды место на столе.

— Теперь слушай внимательно... Завтра ты выедешь в Лондон с Налымовым. Я с вами не поеду,— на это есть причины. Я навел о нем справки в военном министерстве и в Интеллидженс Сервис, сведения благоприятны. Сегодня же закажешь ему приличные визитные карточки. Он одет? Нужны визитки и фрак.

— Достанем...

— Будет лучше, если вы встретитесь с самим Детердингом, но можно взять в оборот и секретаря. Разговаривать, конечно, должен Налымов. Пусть начнет с борьбы за Петроград,— это ключ ко всей России: Колчак и Деникин отрезывают большевиков от угля, хлеба, нефти, моря и так далее, но смертельный удар им наносит генерал Юденич. Понятно? Затем вы начнете козырять мной... Я ближайший друг, советник и помощник генерала Юденича. А Юденич — это герой и военный гений... (Левант изумленно заморгал.) Я организовал в Стокгольме политический центр из европейских дипломатов и журналистов для моральной поддержки северо-западной армии. Наш центр связан с Парижем... Налымов может показать невзначай вот эти фотографии.

Надев роговое пенсне, Хаджет Лаше отобрал из пачки два снимка. На одном были сняты — спускающиеся с какой-то лестницы Хаджет Лаше, в черкеске, при кинжале, и на шаг позади низенький, плотный, с висячими усами, хмуро скосившийся из-под огромного козырька фуражки генерал Юденич. На другой фотографии — Хаджет Лаше (широко улыбающийся) у подъезда гостиницы среди каких-то разноплеменных молодых людей в мягких шляпах и дорогих пальто, все они также смеялись чему-то перед объективом.

— Достоверные фотографии? — спросил Левант.

— Идиот, они же были напечатаны в журнале. Затем — четыре письма генерала Юденича ко мне. Это, как ты и сам понимаешь, липа, но первоклассная, работа моего нового помощника, Эттингера — концертмейстера Мариинского театра. Я подобрал его в Гель-

сингфорсе,— он ходил по кафе и показывал фокусы: разувался, ногой брал карандаш и писал справа налево любой автограф. Клад, а не человек.

— У тебя широкие планы?

— Как всегда... Если бы мне на этот раз по-настоящему повезло... Ого! с моими планами... Я пасынок счастья, Александр. Какому-нибудь ишаку Манташеву везет,— принц... Мы же вот ломаем голову, как его обогатить. Да, друг мой, от рождения нужно быть вымазанным медом, чтобы к тебе липли деньги... А впрочем, я слишком артист, меня больше увлекает сама игра, чем деньги... С Манташевым я бы не поменялся.

— Ну, заливай кому-нибудь другому.

— Друг мой,— со спокойной ясностью сказал Хаджет Лаше,— ты настолько сложившийся тип бандита, притом мелкого и унылого, что тебе непонятны взрывы фантазии. Ладно, теперь вот еще что: Детердинг после ваших объяснений несомненно примет вас за дешевых авантюристов. Налымов должен блестяще опровергнуть такое подозрение. (Он вынул из портфеля еще два письма и пачку газет — стокгольмское «Эхо России».) Вот письмо в редакцию,— полномочия для сбора денег на издание антибольшевистского «Эха России», здесь подписи двух великих князей, кроме того — сенаторов, графов, баронов, фрейлин и прочие. Тоже работа Эттингера. Убедительно, как выстрел в лоб, и безопасно: здесь одни покойники... Детердинг должен понять, почему вы, не имея никакого касательства к нефти, хлопочете о продаже нефтяных земель: вы договорились с Манташевым и Чермоевым о крупном взносе в пользу «Эха России».

Левант внимательно прочел письма, сделал пометки в записной книжке.

— Теперь — какие твои распоряжения насчет дачи?

— Ликвидировать. Через неделю девки должны выехать в Стокгольм.

— Хотя бы приблизительно можешь ты посвятить меня в стокгольмские планы, Хаджет?

— Видишь ли, мой друг, это уже высокая политика, тут начинаются вещи особо секретные.

— Ах, вот как... Значит, я остаюсь в Париже?

— В Стокгольме мне нужны люди только со звонкими фамилиями. Жулья и бандитов и там достаточно.

— Ну, ладно... Я когда-нибудь все-таки обижусь, Хаджет... Теперь объясни — почему ты так мало придаешь значения нефтяным делам?

— Двух таких дураков, как Чермоев и Манташев, тебе вряд ли еще придется подколоть. Афера случайная. Нефтяники сами скоро узнают дорогу к Детердингу.

— Да, ты прав, конечно... Что ж... идем, заснем на часок.

Наверху, у запертой двери в комнату Веры Юрьевны, Хаджет остановился, подманил пальцем Леванта, и вся ухмыляющаяся, зубастая маска его заходила ходуном.

— Эта длинная красивая женщина, как ее... Вера...

— Ну да, Хаджет, это та самая, константинопольская.

— Вот память, подумай. Ну, конечно. Очень хорошо, очень кстати.

25

Однопалубный широкий пароход покачивало подводной зыбью. Утонули зеленые французские берега, и в беловатом полутумане-полумгле висело большое солнце над Ламаншем.

Левант и Налымов, разговаривая вполголоса, лежали в парусиновых креслах на палубе. Василий Алексеевич был трезв, в петлице серого костюма краснела розетка Легиона. Левант чрезвычайно удивился, узнав, что орден у Налымова не липовый (пожалован в 1916 году после кровопролитного наступления русского экспедиционного корпуса). От приятной погоды и хорошего завтрака Левант впал в благодушие,— положил руку на колено Василия Алексеевича.

— Вот что значит — аристократ, вас и не узнать, голубчик. А помните, каким явились к Фукьецу,— прямо собиратель окурков. Знаете, жалко, что мы с вами раньше не встречались.

— Если бы мы встретились в Петрограде, я приказал бы лакею вывести вас вон,— ответил Налымов, щурясь на солнце,— а встретились бы на фронте, приказал бы вас повесить, тоже наверно.

Левант громко, искренне рассмеялся. Закурили сигары. Мимо кресел прошли румяный старик с прямыми пушистыми усами, в шотландском пледе на плечах, и длинный англичанин, державший за шнурок слишком маленькую по голове шляпу. Остановились у борта. С приятным смешком старик говорил (по-английски):

— Современники, стоящие слишком близко к событиям, никогда не видят их истинных масштабов. Только историческая наука вносит поправку в оценку современников...

— Так, так,— кивая шляпой, подтверждал англичанин и глядел на проступающий сквозь солнечную мглу меловой берег Англии.

— Революция — взрыв недовольства народных масс, доведенных до известного предела лишений и страдания. Оставим на время моральную оценку. Революция опрокидывает причины, порождающие недовольство. Опрокидывает, но никогда сама как таковая не становится творящей силой... Мирабо, Дантон, Робеспьер были только разрушителями...

— Так, так,— кивала шляпа.

— Революция порождает контрреволюцию,— обе силы вступают в борьбу. Оставим и тут моральную оценку... Если революция — биологический закон, неизбежно возникающий, когда старое общество уже не в силах прокормить, разместить, дать минимум счастья новому поколению, то контрреволюция — такой же биологический закон самосохранения старого общества... Таким образом, обе эти силы являются амплитудами одной и той же волны... Если революция — это хаос, анархия, разрушение, то контрреволюция — это бешенство сопротивления, жажда кары, наказания, тот же хаос... Как раз такую картину вы и наблюдали у Деникина...

— Так, так...

— Революция и контрреволюция качаются вверх и вниз, как отрезки одной и той же волны... Если посто-

ронние силы не вмешаются в это качание и не остановят его, то оно окажется длительным и истощающим...

В первый раз за время разговора у англичанина приоткрылись зубы, крепкие и желтоватые, и под тенью шляпы юмором блеснули глаза.

— Вы видели на юге России у белых ужас и грязь, погромы и бессовестную спекуляцию, пьяную злобу и растление нравов... Вы, любящий и хорошо знающий Россию, были потрясены недоумением: куда же девался русский гений, породивший Петра Великого, Пушкина, Достоевского, Льва Толстого?.. Вы увидели одни разнузданные толпы гуннов...

— Гунны, гунны,— сквозь зубы подтвердил англичанин.

— Мистер Вильямс, откуда нам взять эту умиротворяющую, эту организующую наш вечный хаос — высшую моральную силу? Наше спасение в тех варягах, как и встарь, как и всегда... Мы должны призвать новых варягов, чтобы вмешаться в нашу драку белых и красных, разнять враждующие стороны и силой, если нужно, сурово обуздать дикого гуннского коня. Вот тогда снова у нас возьмут верх силы государственности... Снова духовное и интеллектуальное возьмет верх над биологией... Где же эти варяги?.. (С лукавой улыбкой он похлопал мистера Вильямса по плечу.) Англия, мой дорогой друг, Англия. Только Англия сейчас может взять на себя великую миссию умиротворения взбушевавшегося человеческого океана. И вы это должны сделать со всей решительностью, со всей хваткой бульдога... И вы это сделаете — хотя бы во имя самосохранения. Никогда, ни днем, ни ночью, не забывайте, что бешеные волны революции уже захлестывают Германию и даже Францию, уже подкатываются к этим берегам...

Говоря это, человек со взъерошенными от ветра седыми усами протянул руку к меловым обрывам Англии.

Мистер Вильямс покачал шляпой.

— О нет, это прочно...

Когда старик и англичанин двинулись дальше вдоль борта, Левант спросил Налымова:

— Кто этот говорун с усами? Знакомое лицо...

— А черт его знает,— лениво ответил Налымов,— сволочь какая-то недостреленная.

— Слушайте, да это же профессор Милюков.

На пристани не оказалось ни носильщиков, ни такси. Это было по меньшей мере странно и необычно. Пассажиры заволновались, одни пошли объясняться, другие — пешком на вокзал. Леванту и Налымову пришлось тащить в руках увесистые, из свиной кожи, чемоданы (приобретенные для представительства).

На вокзале тоже не оказалось носильщиков. Бормоча левантинские проклятья, Левант ввалился, наконец, в купе.

— Видели что-нибудь подобное? Это — Англия! С ума они сошли!

Затем вагон начало толкать взад и вперед. По перрону взволнованно прошел начальник станции,— у него дрожали губы. Левант с бешенством высунулся в окошко:

— Слушайте, алло! Что случилось? Почему нас толкают? Я буду жаловаться, черт возьми! (Начальник что-то извинительно пробормотал.) Потрудитесь сделать, чтобы я сидел спокойно...

— Да сядьте вы, левантинец,— с досадой сказал Налымов.

Наконец тронулись. За вагонным окном понеслись ряды однообразных кирпичных домов, напоминающих гигантские, закопченные углем соты, огороженные зеленые поля, со столетними одинокими дубами, парки, островерхие кровли церквей, снова — огороженные поля, ручьи, ряды прокопченных рабочих домишек.

Левант с юмором стал поглядывать на хмурого, подтянутого Налымова.

— Знаете, я вас даже начинаю побаиваться. Вас бы посадить губернатором в военное время где-нибудь в Малой Азии, ой-ой, что бы вы натворили! Между нами: вешать вам приходилось? (У Налымова презрительно дрогнула верхняя губа.) Большой артист, честное слово. Я в вас не ошибся. Только послушайте, Налымов, ни капли спиртного, клянитесь мне.

Поезд, как в тоннель, ворвался в линии фонарей и освещенных окон; загрохотали виадуки, сверху, снизу пересекая путь, понеслись поезда, трамваи, и паровозный дым лизнул грязно-стеклянные своды вокзала.— Лондон!

На перроне была явная тревога и недоумение,— ни одного носильщика. Несколько пассажиров растерянно стояли у багажного вагона, откуда два каких-то элегантных молодых человека вышвыривали без бережливости чемоданы. Красная от волнения дама, в сбитой набок шляпе и с дрожащей собачонкой на руках, пытаясь приостановить какую-то неловкость, торопливо шла позади безукоризненного джентльмена,— торжественно улыбаясь, он нес ее потрепанный чемодан.

— Прошу, джентльмены, ваш багаж.

Перед Левантом остановился, поправляя монокль, другой, не менее безукоризненный джентльмен. Он был в шелковом цилиндре, в свежих перчатках, воротник черного пальто поднят, прикрывая фрачный галстук, поверх пальто — зеленый фартук носильщика.

— Ваши чемоданы, джентльмены.— С британским упорством, выпятив атласно выбритый подбородок, он поднял багаж и зашагал (с британской решительностью) к выходу на площадь. Там, вынув изящный свисток, пронзительно свистнул. Мощно, бархатно подкатил длинный, из красного дерева, отделанный серебром рольс-ройс. За рулем сидел третий джентльмен, в пушистой кепке, в монокле,— поднятый воротник прикрывал фрачный галстук.

— Джентльмены, ваш адрес?

У Леванта вылезли глаза; при всей наглости он не мог ничего ответить. Джентльмен-носильщик сказал джентльмену-шоферу:

— Артур, джентльмены не понимают по-английски.

Левант прошептал:

— Господи помилуй, на руле никак — лорд, честное слово!.. Сэр,— с поклоном спросил он,— не можете ли вы объяснить, что все это значит?

— В Лондоне забастовка, сэр,— учтиво ответил джентльмен-носильщик,— забастовала часть транспорта: носильщики, шоферы и трамвайные служащие. Вы

хорошо сделали, что приехали сегодня. По нашим сведениям завтра остановятся поезда. Мы штрейкбрехеры: нас вызвали на борьбу,— мы боремся. Я член «Жокей-клуба», весь «Жокей-клуб» работает носильщиками. Лорд Стенли (кивнул подбородком на шофера) — член клуба «Пасифик». Весь «Пасифик» обслуживает автотранспорт. Кондукторами и вагоновожатыми — члены королевского клуба «Британия». Все ясно, сэр. За перенос багажа один шиллинг и шесть пенсов, сэр.

— Ах, вот как,— сказал Левант и полез в шикарную машину.

— Алло, шофер, в Савой-отель...

Заняли в бельэтаже два соединенных салоном номера с зеркальными стенами. Побрились, переоделись во фраки. Ужинали в огромном, как площадь, колонном зале, торжественно, молча и невкусно. Вернулись к себе в салон, покурили, помолчали, разделись, легли спать.

В восемь утра Левант уже висел на телефоне. В половине девятого в кровать подавался первый завтрак, но вместо этого осторожно постучался управляющий гостиницей и, сохраняя спокойствие, сообщил, что прислуга забастовала,— джентльменам придется спуститься в ресторан и удовольствоваться холодной говядиной и кофе; есть вероятие, что на сегодняшний вечер Лондон очутится в темноте, но вряд ли до этого дойдет,— городские электростанции заняты спортивным клубом «Мяч и парус» и отрядами полиции. Хуже с подвозом съестного, никаких запасов не хватает на семь миллионов ртов... «Да, джентльмены, тяжело сознавать: наш рабочий, чистокровный англичанин,— пусть из низов общества, но англичанин же, бог мой,— на поводу у шайки московских разбойников». Директор посоветовал передвигаться по городу пешком: трамваи, обслуживаемые клубом «Британия», часто направляются не по тем стрелкам; и были случаи нападения бездельников на вагоновожатых,— приходилось отстреливаться, страдали вагонные стекла и пассажиры. Передвижение на автомобилях также сопряжено с риском

получить камень в голову... «А в общем, джентльмены поступят так, как им заблагорассудится, и простят мое вторжение в их частную жизнь».

После завтрака пошли пешком. Валили потоки пешеходов. Полицейские, в синих суконных шлемах, как идеи высшей закономерности, с отеческой строгостью возвышались на перекрестках.

В управлении «Ройяль Дэтч Шелл» сообщили: Детердинг никогда здесь не бывает, и если джентльменам нужно видеть первого секретаря мистера Детердинга, то мистер Ховард может принять их у себя дома. Левант сделался меньше ростом, когда на полшага позади Налымова отпечатывал третью милю по указанному адресу. Дом мистера Ховарда (узкий, в три этажа, кирпичный, в стиле императрицы Виктории) был, по-видимому, более важным местом, чем управление,— на потемневшей дубовой двери, под старинным молотком — серебряная дощечка: «Ройяль Дэтч Шелл». Левант по-собачьи взглянул на Василия Алексеевича, надул щеки, выпустил воздух, стукнул молотком, и дверь тотчас открылась, будто за ней все время дожидался седоватый человек в ливрее. Левант совсем оробел. В вестибюле — драгоценные ковры, коллекция индусских богов, раскрашенные идолы с Соломоновых островов, изъеденная червями итальянская резная мебель. Когда лакей ушел с визитной карточкой, Налымов проговорил сквозь зубы:

— Здесь нужно вам заткнуть рот прочно. Как я и угадал, вы и близко не бывали около Детердинга. Предлагаю вам молчать, глазами не шарить, лучше всего глядите на свои ботинки, не курите без приглашения и обращайтесь ко мне: «Господин полковник».

— Так, так, так, будьте покойны,— прошептал Левант.

Неслышно вернулся лакей: «Мистер Ховард просит». Вошли в полутемный кабинет, где горел камин. Мистер Ховард, небольшого роста, очень худой, с седыми висками, предложил кресло у огня. Визитная карточка Налымова лежала на сигарном столике.

— Если не ошибаюсь, я имел удовольствие видеть вас в ставке главнокомандующего под Ипром,— сказал Налымов.— Это было в сочельник, за ужином...

— Как же, как же,— с улыбкой ответил мистер Ховард. Но так как перед ним сидел русский (то есть человек, у которого в доме тяжелое горе), дружескую улыбку он сменил на печальную и даже сопроводил ее легким вздохом.

Василий Алексеевич сухо, по-военному, начал излагать положение дел под Петроградом: наступление северной армии отложено до сентября из-за недостатка продовольствия и вооружения,— но, что еще важнее,— из-за отсутствия высокой моральной атмосферы. Нужно широко развить белую идею. Леванта он представил как одного из редакторов «Эха России». Он говорил точно по плану Хаджет Лаше. Мистер Ховард слушал с удовлетворением. Серьезно поглядев на свои ногти, сказал:

— Мне кажется, мистер Детердинг должен заинтересоваться вашей беседой. К сожалению, нелепые события этих дней нарушили его душевное равновесие, и я, право, не знаю... В Англию мы запрещаем ввозить собак, дабы не портить породы, тем более досадно, что правительство слишком добросердечно смотрит на ввоз московских идей, и не поручусь, что не только идей, но и их живых носителей.

Он обернулся, приподнял брови, прислушался к шагам.

Толкнув дверь, вошел коренастый человек в просторном серебристом автомобильном пальто, порванном и запачканном. Казалось, что он только что кого-то держал за глотку бульдожьими скулами, бритый жирный низ лица его, с прямым ртом, выпятился, когда, сдергивая перчатку, он вопросительно и свирепо взглянул на посторонних. Снизу вверх дернул, вместо поклона, плотно посаженной головой.

Секретарь, мягко поднявшись, сказал ему:

— Мы только что беседовали по вопросу, близкому стокгольмскому предложению.

Медленно сняв перчатки, вошедший человек вдруг уставился на грязное пальто, расстегнул его и швырнул мимо кресла на пол. Стал у камина,— коротконогий, с маленькими ступнями и добродушным животом, никак не связанным с верхней частью тела, будто голова со

слежавшимися от пота стальными волосами была приставлена от другого человека.

Секретарь представил:

— Полковник Наулэмов и мистер Лайвэнт.

В ответ человек у камина показал белые мелкие зубы, как улыбающаяся лиса,— но на очень короткое время. Затем сказал, словно откусывая у слов хвосты:

— Они подожгли мой автомобиль. От Трафальгарсквера я шел пешком. Я бы очень хотел видеть в таком же положении мистера Ллойд-Джорджа.

Затем, утопив затылок в прямых плечах, он коротконого пошел к двери. Обернулся и — Налымову:

— Хорошо. Завтра я вас жду в десять утра.

— Мистер Детердинг ждет вас точно в десять утра,— повторил секретарь Налымову и Леванту.

26

— Я не прошу у вас денег, дорогой полковник, и не посылаю счетов, я работаю ради идеи...

— С удовольствием хочу подтвердить вам, дорогой Хаджет Лаше, что в нас это вызывает чувство глубочайшего удовлетворения.

— Прекрасно... Но вы представляете, сколько стоит организация дела?

— О, разумеется.

— Небольшая сумма, переданная мне генералом Жаненом перед его отъездом в Сибирь, полностью ушла по назначению. Люди, идущие рисковать жизнью, часто весьма требовательны,— посылая агента в Москву, я не торгуюсь.

— Ну, о чем же может быть речь...

— Отвлекаясь от чисто идейной работы, я принужден пополнять мою кассу... Так, сегодня два моих агента выехали в Лондон, чтобы предложить Детердингу вполне порядочную комбинацию.

— Я не сомневаюсь...

— Не в том дело... Детердинг — осторожен,— прежде чем решить, он наведет справки в известном вам

учреждении, оно запросит вас... Так вот, я бы хотел рассчитывать на положительный отзыв...

— Я полагаю, что вы можете рассчитывать на меня... Какова сумма куртажа?

— Тысяч сто каких-нибудь...

— О, пустяки...

— Мерси... Дорогой полковник, это не все...

— Пожалуйста...

— За сведения, доставленные мной, я бы хотел одного: чувствовать себя совершенно свободным в своих поступках...

— Я вас понимаю, дорогой друг, но бывают поступки...

— О!.. Господин полковник! Мое прошлое! Мои заслуги!

Хаджет Лаше, потрясенный недоверием, слегка отодвинулся от полковника Пети и глядел на хорошенькую девочку с тоненькими, как у новорожденного жеребенка, голыми ножками,— она бежала за обручем по песчаной дорожке. Хаджет Лаше и полковник Пети сидели на скамейке в Люксембургском саду. Мирно падал лист за листом с желтеющих каштанов. Со сдержанной горечью Хаджет Лаше сказал:

— Сотрудничество возможно только при обоюдном доверии. Взгляды стокгольмской полиции могут не сходиться с моими взглядами, но с Парижем у меня не должно быть недоразумений. У нас общая цель,— зачем же привязывать мне моральный жернов на шею? Или вы мне не доверяете? Тогда — разойдемся.

— Дорогой друг, вы приводите меня в отчаяние...

— Нет, дорогой полковник. Я только хочу сказать: борьба есть борьба. В Париже достаточно злой шутки, чтобы убить человека, в джунглях нужна разрывная пуля. Не забывайте, мы имеем дело с большевиками. Это — люди по ту сторону добра, поджигатели цивилизации. Одни законы для цивилизованных, другие для каннибалов.

— Вы тысячу раз правы,— сказал полковник Пети, осторожно касаясь серповидных усов, тронутых сединой.— Но общественное мнение! Оно капризно, как

любовница... Из пустяков оно создает сенсацию... Мы не можем с ним не считаться.

— Общественное мнение! Скажите еще: парламентаризм!.. (Хаджет Лаше стукнул себя кулаком по коленке.) Непонятно, как этот пережиток все же переполз через поля войны!.. И вот вам: большевизм уже на тротуарах Парижа... А здесь все еще болтают о терпимости и почтительно снимают шляпу перед общественным мнением... Я бью тревогу, дорогой полковник! Я утверждаю: спасение Франции, спасение Европы в суровой диктатуре, в терроре... Парламентаризм,— простите за парадокс,— парламентаризм преступен, как секта самоубийц...

Полковник Пети рассмеялся, похлопывая стеком по коричневой кожаной гетре. Хаджет Лаше положил короткую ладонь на лоб, будто охлаждая его пылание. Хаджет Лаше был мыслителем и не скрывал этого. Он еще долго развивал тему о здоровом перерождении европейского культурного общества: диктатуру верхушки буржуазного общества в конце концов примут как историческую неизбежность, как спасение от мирового большевизма. Если диктатура будет связана с промышленным подъемом, то и пролетариат, во всяком случае наиболее рассудительная часть его, примирится с господствующими идеями. Остальных заставят примириться.

Пети наслаждался беседой:

— Мой дорогой Хаджет Лаше, я уверен — у нас с вами не возникнет принципиальных разногласий. Вы всегда можете чувствовать за спиной дружескую руку. Если только...

Хаджет Лаше пожал плечами и — сухо:

— Я всегда был осторожен.

27

Солнце изламывало жаркие лучи на радиаторах машин, на гигантских стеклах магазинов, ослепительно отражалось в ручьях вдоль асфальтовых тротуаров. Облетали каштаны. По теневой стороне двигался чело-

веческий муравейник — светлые платья, светлые шляпы, голые руки, персиковые щеки, влажные глаза, веселый говор, встречи, деловая суета и созерцательное безделье...

С утра в город с окраин спускались рабочие,— на знаменах и кумачовых полосах они написали: «Мы поддерживаем английских товарищей». Это было лаконично и неожиданно. Телефонограммы (в префектуры полиции) с забастовавших фабрик и заводов сообщили, что рабочие не выставили никаких экономических требований. Это было уже тревожно. И хотя рабочие шли мирными колоннами, против них послали драгун. Произошли короткие схватки холодным оружием и камнями. Колонны были рассеяны, но в середине дня появились новые.

Около трех часов Володя Лисовский отпустил такси и пошел пешком по направлению бульвара Брюн, тянущегося вдоль старинных укреплений. Около заставы Мон-Руж он увидел первых драгун: в синих плащах, в медных сверкающих касках с красными конскими хвостами, драгуны ехали шагом, попарно на рослых караковых лошадях. «Не повернуть ли?» — подумалось. Для лояльности беспечно помахивая тросточкой, Лисовский вышел на бульвар,— кирпичные грязные дома, пыльная мостовая, чахлые деревья, вытоптанная трава на лысых пригорках. Горячий ветер подхватил пыль и понес вместе с бумажками. Впечатление не богатое. Лисовский медленно повернул налево к парку Мон-Сури и сразу же увидел: посреди улицы валялась пушистая новая кепка, шагах в десяти — окровавленный платок, подальше — большая лужа крови. Лисовский ногтями стал драть подбородок. В Ростове где-нибудь — эка штука лужа крови, но здесь — ого!

Он дошел до парка Мон-Сури. На истоптанных лужайках, на дорожках, пересеченных корнями, на искусственных холмиках со скамьями вокруг высоких фонарных столбов, на озере — ни души. Побродив, направился к выходу на авеню Мон-Сури и здесь, под платаном, на скамейке увидел двух пролетариев. Один — красивый парень, с сильной шеей, в разорванной до пупа рубашке и с кровавой царапиной на груди.

Другой — бородатый, чахоточный, в пенсне, в пыльной черной шляпе. Оба курили, при виде Лисовского замолчали. Он сел рядом.

— Что здесь произошло, черт возьми? — сказал он нарочно грубовато.— Брожу целый час... куда делось население? На бульваре — лужи крови. А в пять часов мне сдавать хронику. О-ла-ла!..

— Двое убитых, тридцать ранено, можете это сообщить в вашей почтенной газете,— неохотно ответил красивый парень.

— Подробности, подробности, старина! — Лисовский с нарочной торопливостью схватился за записную книжку.

Парень пожал плечом. Человек со спутанной черной бородой сказал, поправляя на извилистом носу пенсне:

— Вполне законное любопытство узнать — из-за чего убивают граждан на парижской мостовой. Молодой человек, они убиты драгунами.

— Во время демонстрации?

— Вы угадали,— в то время, когда французы вышли на улицы заявить некоторой части населения по ту сторону Ламанша о братских чувствах... Когда у французов появляется некоторый запас идей, они всегда выходят на улицу, чтобы швырнуть в воздух свои идеи подобно почтовым голубям... Так вот, Жюль... (Человек в пенсне повернулся к своему собеседнику.) Все движется, все меняется, даже такие понятия, как Франция и французы... Было принято определять расовые качества по языку, цвету кожи и строению черепа... Жюль, это невероятный вздор. Когда тебя колотят резиновой дубинкой по черепу, Жюль, тебе, должно быть, безразлично — длинный у тебя череп или круглый, француз ты или бош... Цвет твоих волос не отражается на качестве расплавленной бронзы, выливаемой тобой в формы для автомобильных моторов... Почему ты должен считать себя французом, если на земле, не принадлежащей тебе, на предприятии, не принадлежащем тебе, ты создаешь напряжением ума и мускулов ценности, не принадлежащие тебе? Но тебе все-таки хочется быть французом, черт возьми! Здесь земля прекрасна, и прекрасно небо, и еще прекраснее женщины...

Так завоюй свою Францию, Жюль... Три четверти человечества тебе помогут в этом, а в первую голову русские... (Человек в пенсне живо повернулся к Лисовскому.) Вот, молодой человек, некоторые своевременные мысли — бесплатно для вашей заметки...

Мрачный парень вдруг раскрыл рот и так захохотал, что затряслась скамейка... Володя Лисовский понял, наконец, что над ним издеваются. Встал, приподнял шляпу и пошел к выходу из парка. «Матерьял для Бурцева не годится,— размышлял он,— но для отдельной книги?» Он даже споткнулся,— так захватило воображение... Книгу назвать: «Заговор трех четвертей». Циничная, наглая, такая, будто автору известно в тысячу раз больше, чем сказано... С каждой страницы двигаются на читателя миллионы устрашающих теней... Или назвать: «Я даю цивилизации год жизни». Костры на площадях Парижа, сцены, от которых у буржуа волосы встают дыбом... И — сто тысяч долларов в кармане...

С невидящими глазами, шепча про себя и размахивая тростью, Лисовский шел по авеню Мон-Сури, будущая книга неслась перед ним, горячий ветер перелистывал ее невероятные страницы. Так он почти дошел до вокзала Со. Он не слышал, как его толкнули справа, слева. Сильным толчком с него сбили шляпу,— толпа демонстрантов стремительно бежала от площади Данфер Рошро. Врезаясь в толпу, позади скакали драгуны, нагибаясь с седел, наотмашь били прямыми блестящими палашами. Сверкали гривастые шлемы, конские вспененные морды задирались над головами. Все это мелькнуло отчетливо, как на матовом стекле фотоаппарата.

Лисовский побежал, прикрывая голову руками. Многие из толпы, заскочив на тротуар, хватали круглые чугунные решетки под чахлыми деревцами, разбивали о мостовую, швыряли осколками в скачущих драгун. (У одного слетела медная каска, закинулось лицо, залитое кровью.) Вдруг брызнула боль из глаз: как будто жерновом ударили по черепу, Лисовский тяжело упал грудью на камни и потерял сознание.

Его грубо подняли, поставили на ноги; моргая, увидел по бокам два усатых недружелюбных лица, синие кепи. «Влип,— полиция!» Попытался что-то объяснить, так толкнули в спину — мотнулась голова. Повели. Только теперь начал болеть мозг, жгло солнце, ломило глаза. Свернули за угол, где была префектура полиции. Обшарпанная дверь, полутемный коридор, ступеньки вниз. Чей-то сдавленный вопль. Голый каземат, четыре здоровых сержанта, оскалившись от бешенства, бьют башмаками корчащегося на каменном полу человека. Лисовского толкнули на койку. Он сейчас же лег ничком на масленистое, с круглыми дырочками железо. Полицейские ушли, дверь с грохотом захлопнулась, человек на полу торопливо стонал.

Мальчик лет пятнадцати поднял лохматую голову (рядом на койке) и — негромко Лисовскому:

— Тебя взяли на демонстрации?

— Да нет же. Я случайно...

— Э, старина, все равно за тебя не дам и двух су. Чего бы там ни врал, «грязные коровы пустят тебя в табак».

— Я не понимаю... Какие коровы?

Блестящими глазами мальчик указал на избитого человека: он со всхлипываниями втягивал воздух сквозь зубы... Подальше еще кто-то стонал. Мальчик с любопытством прислушался.

— У этого кофейник вдребезги,— проговорил он быстрым шепотом,— а ты, старина, не ломайся. Может быть, у тебя в эту минуту нет настроения иметь дело с копытами, я тебя понимаю, но не знать, как «пускают человека в табак»,— ври другому. (Расширив глаза.) Ты видел, у них на подошвах гвозди с гранеными шляпками? По правде тебе сказать, я бы с удовольствием удрал отсюда. Они «пускают в табак» уже пятого парня, покуда я здесь. Одного, понимаешь, приволокли да сбили с ног, чтобы топтать, а он как вскочит да сержанту в сопатку, да другому в сопатку... Я уже и глядеть не стал...

Мальчик бодрился и шутил, но худенькое лицо его

мелко подергивалось. Лисовский опять лег ничком на койку. Загрохотала дверь, вошли двое мрачных в кепи с серебряными галунами.

— Ты, встань! — схватили за воротник. Лисовский торопливо сел.— Кто такой? Документы!

Один держал за воротник, другой обшаривал. От прохождения «через табак» Лисовского спасла корреспондентская карточка. Под вечер его выпустили, даже извинились и в отеческой форме предложили подальше держаться от рабочих окраин, вернули документы и записную книжку, но пачка долларов, перехваченная тоненькой резинкой, исчезла: по-видимому (как заявили ему официально), похищена демонстрантами, когда он без чувств валялся на мостовой.

28

Налымов и Левант вернулись из Лондона. Переговоры с Детердингом прошли успешно. Левант поспешил обрадовать Чермоева и Манташева, и начались долгие бестолковые переговоры. Чермоев заломил дикую цену за нефтяные участки. Манташев, в мрачной неврастении, с утра решал продавать все, вечером кричал, что какой-то десяток миллионов франков его никак не устраивает — одна скаковая конюшня обойдется дороже.

Левант проявил величайшее знание человеческого сердца. Манташева он взял на испуг,— тайно собрал все его счета и через нотариуса предъявил к срочной уплате. Манташев потерял голову и пошел на все. С азиатом Чермоевым было несравненно тяжелее, но и его Левант взял в конце концов семейным измором: распалил сумасшедшее воображение у Анис-ханум и Тамары-ханум,— показал татаркам в Булонском лесу будущий особняк, возил на автомобильную выставку, на приемы к знаменитым портным, где проходили, как сновидения, длинные, потрясающей красоты женщины в невероятных платьях ценою в две, три, пять тысяч франков. Домашняя жизнь Чермоева стала невыноси-

мой, он понял, что так хочет аллах, и пошел на условия Детердинга.

На даче в Севре ждали только телеграммы от Хаджет Лаше, чтобы выехать в Стокгольм. Дамам было выдано пять тысяч франков на тряпки. На дачу притаскивались вороха полосатых картонок. За ужином болтали о покупках, о модах, о ценах. Старались не думать, что в Стокгольм их везут не для невинных развлечений.

В одну из минут вечерней тишины, когда было слышно, как бабочки ударяются о стекло лампы, Лили вдруг заговорила о каком-то своем родственнике, белом офицере: постараться хорошенько, можно бы его разыскать... Он когда-то был влюблен в Лили, такой милый, чистый юноша. Конечно, прискачет в Париж, вырвет ее из этого ужаса... Она бы поехала с ним на гражданскую войну сестрой милосердия, потом бы купили домик на берегу моря в тихом Таганроге, жили бы грустно, невинно, завели бы козу, кур.

Вера Юрьевна сказала с отвращением:

— Мало того — дура, ты пошлячка, милая моя.

— Врешь, врешь, меня еще можно любить,— Лили начала отчаянно стучать кулачком по столу.— Не старая шкура, как некоторые...

— Это и есть, милая моя, пошлость: домик в Таганроге, любовь и коза. Кто тебя любить-то будет? Офицеришка, прожженный спиртом и сифилисом?.. Э, милая моя, рук-то от крови не отмоешь...

— Врешь, врешь, он студент, юрист... Такой милый, застенчивый...

— Вот именно, у тебя законченная психология проститутки, должна заметить с большим огорчением.

Мадам Мари сказала:

— Да, Лилька, надо тебе подтянуться... Любовь вычеркни из словаря... Я, девочки, страшно верю в Стокгольм. Во-первых, Хаджет Лаше обещал мне ангажемент в кафешантан... Ну уж тогда держись, девочки, мы поживем: на все пущусь, вплоть до кражи бумажников.

— Правильно,— твердо сказала Вера,— уважаю.

29

Дамы и Налымов приехали в Париж с девятичасовым поездом. На площади вокзала Сан-Лазар стояли трамваи, набитые народом. Машины медленно продвигались сквозь густые толпы пешеходов. В городе что-то случилось. Мальчики-газетчики с отчаянными криками на бегу размахивали экстренными выпусками. Оказалось (на даче в Севре совсем забыли об этом): сегодня в одиннадцать часов должна состояться близ Нью-Йорка в присутствии двенадцати тысяч зрителей встреча двух мировых боксеров — Карпантье (Франция) и Демпси (Северная Америка). Пресса придавала этому матчу более чем спортивное значение. Французская нация дралась за мировое первенство. Перед своим отъездом Карпантье — красавец, чистокровный француз — был принят президентом республики. Пуанкаре будто бы сказал ему: «Итак, мужайтесь, мой друг. Удар, который вы нанесете вашему противнику, отзовется в сердце каждого француза. Нация вручает вам свою честь и свою славу».

Весь месяц газеты были заняты описаниями тренировки Карпантье перед встречей; каждая минута его жизни стала достоянием широких народных масс. Специально посланные в Нью-Йорк корреспонденты сообщали о мельчайших отклонениях его здоровья, о его ежедневном меню, утонченных вкусах, остроумии, оптимизме, веселости, о его галстуках, костюмах, шляпах и прочее. Корреспонденции не замалчивали силы и ловкости Демпси, что еще сильнее возбуждало ожидание.

Великий день настал. Не менее миллиона людей двигалось по Большим бульварам к центру, где над редакцией «Матэн» издалека виднелся большой экран, на нем — схематическое изображение двух голов — Карпантье и Демпси. Каждый удар передается через океан по радио, и на очертаниях голов посредством электрической сигнализации кружком отмечается место, где нанесен удар. Аэропланы, парящие над городом, также принимают радиосообщения о наносимых ударах и выкидывают светящиеся шары — белый, если удар нанесен в лицо Карпантье, красный — в лицо Демпси. Такая же

сигнализация шарами установлена на верху Эйфелевой башни. Приз победителю — три миллиона долларов, побежденному — миллион. Если переводить на франки, шестьдесят миллионов франков за пять минут битья по лицу,— не у одного только маломощного буржуа мутилось в голове... Энтузиазм был всеобщим...

К одиннадцати часам Налымов с дамами добрался до пятиэтажного уродливого здания «Матэн». Над волнующимся полем шляп и женских шляпок возвышались плечи и каски конных драгун. Стрелка часов подошла к одиннадцати. По толпе пронеслось сдержанно: «А-а!» Эйфелева башня сигнализировала. Кружащиеся над городом аэропланы выпустили облачка цветного дыма. Разорвалась петарда на крыше «Матэн». По экрану (с очертаниями двух голов) побежали надписи: «Бойцы вскочили на арену»... «Командор боя появляется на арене»... «Командор свистит»... «Двенадцать тысяч американцев затаили дыхание»... «Карпантье изящным жестом сбрасывает халат»... «Демпси поступает так же, лицо его хмуро»... «Карпантье оживлен, он смеется»... (О, французы всегда смеются в минуту опасности...) «Бойцы подходят друг к другу, пожимают руки в боевых перчатках, отскакивают в позиции»... «Оба колосса замерли в классических позах»... «Резкий свисток командора»... «Карпантье кидается первым»... (Вера Юрьевна впилась ногтями в руку Налымова.)

Надписи прерываются. События развертываются с бешеной быстротой. На экране от слов переходят к сигнализации. Глаза трехсот тысяч парижан устремлены на два силуэта... Странно, на физиономии Демпси пока ни одного кружочка! Видимо, бойцы только еще изучают друг друга. Пустая минута первого раунда тянется невыносимо. И вдруг за секунду до конца у Карпантье посредине лба выскакивает черный кружок. Триста тысяч пар глаз смущенно перемигиваются.

Минута перерыва. (Бойцов разводят в противоположные углы квадратной арены, окруженной канатами, сажают на стулья, массируют мускулы, обмахивают полотенцами, брызжут в лицо квасцами.) Над взволнованной толпой поднимаются дымки закуриваемых папирос. Второй раунд. Надпись: «Карпантье с холодным бешен-

ством кидается на противника»... Секунда ожидания. Подземным гулом бьется сердце толпы. И сейчас же на экране левый глаз Карпантье закрывается кружком, второй кружок выскакивает на правой скуле, третий на левой, четвертый на подбородке... Перерыв. Французы хмуро отводят глаза от экрана. С хвостов парящих аэропланов срываются запоздавшие ослепительные белые шары.

Зрачки у Веры Юрьевны расширены, голос хриплый:

— Я загадала на Карпантье... Я верю, верю!

У Лили раздуты ноздри, будто из-за океана доносится к ней запах могучего пота и льющейся крови. По толпе — ветерок тревожного шепота. Третий раунд. Нос Демпси прикрывается кружком. Крики «браво», аплодисменты,— ураган криков. Но знатоки качают головами: разбитый нос ничего не стоит, у Демпси нос вдавливается внутрь, как резиновый. В ответ рассерженный Демпси наносит подряд по лицу три удара противнику. Карпантье падает. О нет, нет, несправедливости не должно совершиться! Карпантье снова на ногах... «Браво, браво, Карпантье!» У Демпси кружок на скуле... Конец третьего раунда.

От толпы перед редакцией «Матэн» поднимаются едкие испарения... Медленно, как судьба, ползет минута перерыва. Четвертый раунд. Инициатива переходит к Демпси. Удары в скулы, в нос, в ухо, в череп, в сердце громовыми раскатами разносятся по вселенной. У Карпантье треснула лобная кость, лопается челюсть. Повреждена ключица, но держится, держится! Надежда не потеряна. Толпа глядит, задрав головы, со сдвинутыми шляпами. «О, ударь его хорошенько в зубы, Карпантье, вышиби ему глаз!..»

Сила кулака у Демпси равна удару задней ноги лошади. Демпси (как потом стало известно) дал слово устроителю матча держаться более или менее пассивно семь раундов. Но, видимо, ему надоело валять дурака. На пятом раунде лицо Карпантье стало быстро покрываться кружками. Демпси колотит в него, как в бубен, и через двадцать секунд делает нокаут: двойной удар снизу наискось в подбородок и в челюсть (мозги встряхиваются, головные позвонки выходят из сочленений,

челюсть соскальзывает в сторону). Карпантье упал. Командор боя (нагнувшись над ним, высоко подняв руку) начал считать до десяти... Десять. Кончено! Карпантье не встал... На арену вскочили служители взять его обморочное тело. Франция разбита. Аэропланы, выпустив черный дым, улетели в западном направлении. Толпа перед редакцией «Матэн», повинуясь древней традиции, обнажила головы. Человеческие потоки медленно расходились.

Налымов сказал:

— Девочки, нас еще раз одурачили. Предлагаю напиться.

30

Левант позвонил поздно ночью: «Едем завтра». Всю ночь укладывались. Чуть свет из Парижа приехали такси. Дамы поцеловали заплаканную Нинет Барбош и навек покинули дачу в Севре. Какова будет новая жизнь — плевать, лишь бы новая.

Левант выбрал кружный путь через Берлин — Штеттин и оттуда морем до Стокгольма. В Берлине остановились в дорогой гостинице «Адлон», где сразу же в вестибюле бросились в глаза такие подозрительные, лоснящиеся, шикарно одетые людишки, такое настойчивое, нетерпеливое жулье, что дамы приказали весь багаж сейчас же поднять в номер. Завтрак в ресторане был гнусный, но на еду здесь, видимо, не обращали внимания, за столиками совершались сделки, из конца в конец зала перекликались лоснящиеся людишки, показывали друг другу что-то пальцами, оркестр исполнял в том же истерическом темпе американские фокстроты. На дам нагло таращились: «О-о-о, паризер шик!»

Левант занял в бельэтаже дорогие апартаменты. После полудня в его салоне появились русские важные старцы, молодые люди с мутно-пристальными глазами убийц, серые штабс-капитаны и полковники мировой войны, несколько солдатских шинелей, прикрывавших военные лохмотья, провинциальные говорливые барыни, трагические старухи из петербургского большого света. Все это сборище разговаривало в повышенном тоне, ру-

гало немцев и ожидало от Леванта не то каких-то инструкций, не то просто денег. На открытом листе производилась запись добровольцев в «Лигу спасения Российской империи»...

Левант разговаривал от имени «Стокгольмского отделения Лиги». Денег, правда, не предлагал никому, но обещал самые широкие перспективы в недалеком будущем. С иными молодыми людьми удалялся в спальню для секретного совещания. Окруженный русскими (на пышных розах ковра, замусоренного окурками), он говорил, засовывая большие пальцы за подтяжки:

— Господа, в Париже, где сосредоточены все нити борьбы с большевиками, где, не преувеличивая, бьется сейчас сердце русского народа, чрезвычайно удивлены пассивной деятельностью берлинских военных организаций. Мы были уверены, что энтузиазмом борьбы охвачены все русские. К сожалению, я этого не вижу. Германское правительство всемерно идет нам навстречу. Англичане делают даже больше того, на что можно надеяться. И что же? За истекшую неделю из Берлина на русский фронт отправили всего один эшелон добровольцев. Господа, какой отчет я дам Парижу?

Коренастые штабс-капитаны и лысоватые полковники чесали в затылке. У генералов строго тряслись щеки, молодые люди с глазами убийц хмуро отворачивались. Отвечать было нечего... Вот кабы Германия послала тысяч сто войска. Или черт с ней, если Германии не позволят, почему Франции не двинуть чернокожих на Россию?.. Почему Англия, как собака, то укусит, то отскочит,— ее большой флот мог бы в один день сравнять с землей и Кронштадт и Питер. Поддадут интервенты жару,— до одного человека пойдем в передовые войска. Без нас все равно не обойдутся, очищать Россию от большевиков иностранцы небось не станут, ручек не захотят марать.

Налымов с дамами бродил по Берлину. Неприветливыми казались перспективы однообразных улиц, темные дома с высокими красными крышами. В магазинных витринах подделки, эрзацы, хлам. Угнетало коли-

чество неумелых девушек с нищими глазами,— их жалкий торопливый шепот встречным прохожим: «Идем со мной, я очень испорченная». На перекрестках когда-то блестящих улиц — участники мировой войны: обрубки на тележках, слепые в черных очках с поводырем — санитарной собакой на привязи (подарок правительства). Перед витринами мясных лавок, где в бумажных кружевах разложены окорока, филеи, колбасы, драгоценные куски жира,— неизменная толпа: бежит суровый пожиратель вареной картошки и от громового рефлекса врастает в тротуар перед мясной витриной... Рука стискивает портфель, волевые мускулы вздуваются на впавших щеках: позволяет себе пережить вон ту свиную котлету в бумажном кружеве на стеклянной доске... Пять минут пищевой фантазии!.. Крепче портфель с несъедобными бумагами под мышку и — мимо, мимо... Версальскому миру отзовется когда-нибудь эта свиная отбивная!

Скалы, холмы, печальный свет северного солнца, вдали — груды облаков, как снежные вершины.

Пароход плывет мимо каменистых островов. С каждым поворотом — новые склоны берегов и глубже уходящие воды фиорда, то затененные, то сверкающие. Дамы облокотились о перила борта. Ясен воздух, скудное тепло. Красные черепицы домиков в зеленеющей лощине между бесплодных скал. Север. Безлюдье. Это земля, куда возвращаются с отгоревшими страстями, с поседевшей головой.

Вера Юрьевна говорит вполголоса:

— Если бы так же возвращаться в Петроград... Человек должен жить на севере... Девочки,— вон в том домишке, под скудным солнцем... Какая печаль!.. Мечтать, ждать несбыточного...

Она положила на борт руку, обтянутую лайковой перчаткой. Молочно-румяный швед оглянул стройную Веру Юрьевну,— гм! — черный жакет, светлая мягкая юбка, обувь без каблуков... Просто, дорого, шикарно, никакого желания нравиться,— равнодушное лицо, в нем все обдуманно, все законченно... Гм!.. Самый высо-

кий продукт цивилизации; международная хищница, парижская штучка...

— Девочки, а — зима!.. Мы и забыли ее... Снега, стужа, вьюга... Куплю дом непременно, только еще дальше на севере,— всю зиму буду одна, одна совершенно...

Лили — с усмешкой:

— А помнишь, меня ругала за домик в Таганроге? Сама-то, видно,— тоже...

— Нет, Лилька, нет... Домик в Таганроге с офицериком — свинство. Я об одиночестве говорю... Меня так и найдут в этом домике,— раскопают занесенную дверь, в разбитое окно нанесло снегу, я — на постели, седая, высохшая и руками вот так — зажаты глаза, чтобы мне, мертвой, никто не смел глядеть в глаза...

Мари, тоже стоявшая у борта, присвистнула:

— С хорошеньким настроением едешь на работу!..

Кисло усмехаясь, Вера Юрьевна ответила:

— Всякий бесится по-своему, милая моя шансонетка. Для тебя высшее счастье — пожарские котлеты. Ну, а я еще должна все обиды припомнить...

— Батюшки, как страшно! — лениво сказала Мари.

Лили придвинулась, глядела в глаза Вере Юрьевне:

— Верочка, не надо...

Молочно-румяный швед, стоявший позади дам (руки в карманах, сигара в углу рта, полный подбородок удовлетворенно уперт в крахмальный воротничок); не понимал по-русски и до крайности странный разговор трех элегантных дам принял за восхищение северной природой. Вынув сигару, попробовал вмешаться:

— Пардон, смею обратить ваше внимание,— Стокгольм сейчас заслонен островом Бекхольм.— Он указал сигарой на кирпичные постройки и решетчатые краны эллинга, показавшиеся с правого борта; вдали, налево, стояли грузовые пароходы у высокой каменной стены, где курилась дымом многоэтажная мельница.— За войну город очень разбогател. Шведы не плохо поступили, что не вмешались в войну. Нас много ругали (засмеялся), но кому-нибудь надо же было торговать, и мы принесли обеим сторонам много пользы, торгуя с теми и с этими. Теперь вы не узнаете Стокгольма,— это маленький Берлин. Правда, после Версальского мира

оживление несколько уменьшилось, но мы надеемся, что кризис временный. Во всяком случае, здесь можно весело провести денек... (Пароход повертывал.) А вот и город. Вы видите старую часть — Стаден. В древности город располагался на этом острове, сейчас разросся направо и налево. Самые шикарные кварталы на тех холмах — лучшие магазины, театры, кафе и вокзал. А еще дальше на север — чудные загородные места: озера, красивые виллы и замки. За время войны мы много строились.

Пароход приближался к лиловато-серым очертаниям города. За ним — холмы, облака. Тыкая сигарой, швед называл знаменитые здания — дворец, собор, отели.

— Если захотите быть ближе к нашей природе, могу посоветовать прелестный уголок в тридцати километрах по железной дороге,— Баль Станэс на озере Несвинен.

— Как вы сказали? — резко обернулась к нему Вера Юрьевна.— Баль Станэс?..

Швед, несколько изумленный порывистым движением, нагнул по-бараньи голову:

— Да, мадам, вы не пожалеете. Там можно отдохнуть.

Пароход загудел и стал поворачивать к стенке набережной. В пролетах между дощатыми пакгаузами стояли черные такси. За ними двигались чистенькие трамваи. Дальше — груды тюков, бочек, ящиков, черепичные крыши и старинные фасады домиков, вывески портовых кабаков, узкие переулки. У самого края стенки, на причальной тумбе, сидел, улыбаясь, носатый Хаджет Лаше, в серой черкеске и мерлушковой шапке. Увидев его, Вера Юрьевна положила руку на горло, отвернулась.

31

В зале ресторана «Гранд-отель» в обеденный час играл симфонический оркестр и выступали,— как всегда по воскресным дням,— сольные номера. Года два тому назад все это было обставлено гораздо богаче, европейских знаменитостей слушали здесь ежедневно. Но после мира схлынули интендантские чиновники, по

ставщики, шпионы, контрразведчики, международные авантюристы, великолепные женщины с ассортиментом паспортов и коробочкой кокаина в золотой сумочке, нейтральные дипломаты и засекреченные дипломаты воюющих стран,— все, кто, не задумываясь, разменивал деньги и покупал все: оружие, товары, сталь и яды, человеческую подлость и острые удовольствия.

Теперь в будние дни в ресторане «Гранд-отеля» вместо вина подавали графины с холодной водой. Стокгольму грозило захолустье. С убытком для себя ресторатор устраивал воскресные концерты; их посещали даже почтенные семейства, поддерживая национальное предприятие.

Все столики были заняты. Сигарный дым пробирался сквозь лапчатые пальмы. Сегодня демонстрировалась американская новинка — джаз-банд с настоящими неграми. Трудно было привыкать к адской трескотне, вою саксофона, барабанам и тарелкам, взвизгам веселых людоедов. Мало того, что Америка сняла исподнюю рубашку со старого мира,— на могилах пятнадцати миллионов заставила плясать бешеный фокстрот... Ах, то ли дело убаюкивающий старый, мечтательный вальс!

— Слишком близко к оркестру сели.

— А вы говорите погромче.

— Погромче-то не хочется...

— Да бросьте ваши страхи... В Европе, чай. Что же водку не пьете?

У стены за небольшим столиком обедали двое русских: один — худощавый, холеный, с залысым лбом, с острой бородкой, другой — с воспаленным, несколько неспокойным лицом, с выпуклыми, влажными, жадными глазами. Худощавый мало ел, много пил. Его собеседник ел жадно, навалясь грудью на стол. Худощавый говорил ему:

— Напрасно, напрасно, Александр Борисович. Что же, и в Петрограде ни капли не пили?

— Да бросьте вы, слушайте... (Александр Борисович косился на соседей.) Вот тот, внушительный дядя,— кто такой?

— Полицейский, из отдела наблюдения над иностранцами. Мой приятель...

— Хорошенькое знакомство!

— Без этого здесь нельзя

— Ну, а вон те, в смокингах?

— Двоих не знаю, третий, тот, кто вертит ложечкой в шампанском,— граф де Мерси, из французского посольства, недавно прибыл с таинственной миссией.

— А тот высокий старик? Русский помещик какой-нибудь?

— Эка! Поважнее короля — сам Нобель.

— А за тем столиком? Что-то уж очень они поглядывают на нас.

— Русские. Лысый, смуглый, маленький — Извольский, во всяком случае живет здесь под этой фамилией. Тот, кто смеется,— рыжебородый,— концертмейстер Мариинского театра Анжелини, он же Эттингер почему-то. Чем занимается, черт его знает, но деньги есть, он угощает. А третий, верзила — Биттенбиндер, тоже — сволочь.

— А та компания за большим столом — красивые женщины?

— В гостинице со вчерашнего дня. Их уже заметили. С лиловыми волосами, по-видимому, жена Хаджет Лаше.

— Какого Хаджет Лаше? Того — в черкеске? Так я же его знаю, встречались в прошлом году в Петербурге. Он печатал свою книжку, интереснейшие записки — разоблачение застенков Абдул-Гамида. Пытки, убийства, кошмары в турецком вкусе, здорово написано. Что он здесь делает?

— Живет за городом в Баль Станэсе. Рантье, как мы все. Любопытный парень.

Негры положили инструменты и ушли с эстрады. Танцующие вернулись к столикам. В зале — сдержанный гул голосов, хлопают пробки от шампанского. Худощавый закуривает, щурится удовлетворенно, бровями подзывает лакея и, когда закуска убрана, наклоняется к собеседнику:

— Ну-с, какие же новости из Петрограда?

Как только смолкла музыка, Хаджет Лаше указал Леванту:

— Видишь того — с выпученными глазами — это Леви Левицкий, журналист, пробрался через финскую границу курьером к Воровскому. Ловкий малый,— у него, мне известно, другое поручение, помимо бумажонок Воровскому... (На ухо.) Был близок к Распутину, Вырубовой и всем тем кругам. Вчера был в банке с чемоданом, который там оставил, и, кроме того, внес на текущий счет какие-то суммы...

Левант равнодушно вертел деревянной мешалкой в бокале шампанского.

— А другой с ним — худощавый?

— Ардашев, тоже в сфере внимания... Во время войны успел перевести сюда не менее миллиона крон... В прошлом году приехал для закупки бумаги для Петрограда,— бумагу купил, но остался. С русской колонией не встречается.

— Трудновато,— сказал Левант,— без обличающих документов не советую,— французы щепетильны...

— Будь покоен... А вон, смотри, в самом углу сидит один. Тут уж дело чистое,— курьер Воровского, Варфоломеев, матрос с броненосца «Потемкин». (Левант недоуменно взглянул.) Очень доверенное лицо. Много знает... (на ухо) о царских бриллиантах...

Негры, показывая белые зубы, появились на эстраде. К Вере Юрьевне подошел давешний молочно-румяный швед. С первым тактом джаз-банда она положила голую руку на его плечо и пошла легким шагом, бесстрастная и равнодушная,— новая Афродита, рожденная из трупной пены войны,— волнуя прозрачно-пустым взглядом из-под нагримированных ресниц, не женскими движениями, всем доступная и никому не отдавшаяся. Глаза всего ресторана следили за ней.

Леви Левицкий, вытирая салфеткой вспотевший лоб, сказал Ардашеву:

— Слушайте, с ума сойти! Кто она?

— Соотечественница, разве не видишь?

— Будьте другом — познакомьте.

— Не очень бы советовал знакомиться с здешними

русскими... Это не прошлогодние паникеры-беженцы... Их тут сорганизовали.

— А, бросьте... Я — нейтральный. (В глазах его появилось страдание.) Ах, женщина!.. Послушайте, это же — сон, сказка!..

32

Граф де Мерси, держа за уголок визитную карточку, на которой было отпечатано: «Хаджет Лаше. Полковник. Шеф-редактор», вошел в маленькую приемную, затворил дверь в соседнюю комнату, где стучала машинистка, изящно-холодно поклонился Хаджет Лаше и указал на стул у круглого дубового стола, заваленного газетами и журналами. Когда посетитель сел, граф де Мерси тоже сел, положив ногу на ногу, вопросительно подняв брови,— длиннолицый, с тяжелыми веками, с большим носом, с висячими усами и скудноволосым пробором через всю голову,— аристократ с головы до ног, прямой потомок крестоносцев. Хаджет Лаше (в черной визитке, в черных перчатках) сказал с осторожной задушевностью:

— Граф, я бы хотел поставить вас в известность о том, что моя деятельность в Стокгольме проходит в полном согласии со взглядами полковника Пети.

Де Мерси слегка поклонился:

— Я в вашем распоряжении.

— Граф, вам известно, что в Стокгольме сосредоточены все нити заграничной агентуры большевиков.

— Если не считать Константинополя.

— О нет, здесь гораздо серьезнее. Газета «Скандинавский листок» — плохо прикрытый большевистский орган.

— Вот как?

Хаджет Лаше знающе улыбнулся, давая понять, что «вот как» относит к дипломатической скрытности, но отнюдь не к плохой осведомленности графа.

— «Скандинавский листок» издается на средства здешней группы сочувствующих. Москва не дает им дотации. Поэтому не исключена возможность перекупить у них газету. Ваше мнение, граф?

— Гм... целесообразно,— граф де Мерси сосредоточенно взглянул на свои длинные ногти.— Но это, мне кажется, должно исходить от частных лиц.

— Успех будет зависеть от суммы, которую можно предложить. Нужно располагать ста, полутораста тысячами франков... Хотелось бы иметь гарантию, что затраты, которые произведут эти частные лица... (Хаджет Лаше застыл в улыбке.)

— Думаю, ваше предложение не встретит принципиального отказа. Гм! Полтораста тысяч? Может быть, вы посоветуете мне написать полковнику Пети?

— О, я просил бы об этом.

— Прекрасно... (Граф облегченно вздохнул...) Если мы не встретим с его стороны возражений, я гарантирую ваши затраты из особых сумм.

Он опустил брови,— щепетильная часть разговора была окончена. Но Хаджет Лаше упрямо поджал рот:

— Граф, это не все... Я бы хотел иметь гораздо более важное — моральные гарантии...

— Простите?

— Есть некоторые чрезвычайные директивы из ставки генерала Юденича. Я бы не хотел вас обременять подробностями неприятных поручений, не всегда совпадающих со взглядами европейского человека на добро и зло. Но не нужно забывать, что Россия под управлением большевиков отрешена от морали... В борьбе с красной опасностью приходится применять средства, несколько выходящие за пределы...— Граф де Мерси предупреждающе поднял брови, но Хаджет Лаше продолжал с напором: — О, никакой мысли — запутать ваше имя в события, которые могут развернуться. Я хочу лишь заручиться вашим согласием,— полковник Пети обещал мне это,— что в случае трений со шведской полицией... я и группа лиц, идейно работающая со мной, могли бы рассчитывать на юридическую помощь...

— Я понимаю, вы хотите в случае... (граф не подыскал слова) рассчитывать на защиту видного парижского адвоката?..

— Да, граф... Я бы назвал имя Жюля Рошфора, моего старого друга...

— О да, он берет не дешево... Хорошо, я вам обещаю это.

— Я удовлетворен, граф.

— О, пожалуйста...

Тут они поднялись, простились сильным, хорошим рукопожатием, и граф де Мерси проводил гостя до дверей:

— Всегда к вашим услугам, мой дорогой Хаджет Лаше.

33

Николай Петрович Ардашев в пестром халате, в сафьяновых туфлях, окончив завтрак, просматривал почту: неизбежные письма от русских беженцев... «Услышав о вашей отзывчивости, умоляю...», «Бежав с женой и ребенком от ужасов большевизма, умоляю...», «Вы меня не знаете, я — липецкий помещик, изгнан за пределы родины... Меня выручили бы двадцать крон...», «Помогите... Волею судеб выброшен на мель, в среду черствых лавочников и торгашей, а в России эти же иностранные стрикулисты обивали мой порог, короче говоря, я — харьковский негоциант...», «...Николай Петрович, перед вами — отец многочисленного семейства: престарелая бабушка, пять малолетних детей и кровоточивая жена...» И так далее...

Николай Петрович внимательно (для собственной совести) прочитывал эти письма, сверху делал пометки карандашом — 50, 20, 10 крон. Приходилось покупать право на душевный комфорт. Эти люди лезли через границу, как клопы из ошпаренного тюфяка. Он помогал им потому, что любил вот такое светлое утро, озаряющее безмятежную опрятность всех уголков его жилища, прочное холостяцкое согласие с самим собой. Личного общения с беженцами он избегал (деньги передавались через секретаря), избегал также осевшей в Стокгольме русской колонии.

Одно из писем прочел два раза: «Многоуважаемый Николай Петрович, буду крайне признателен, если вы уделите мне несколько минут беседы по делу, которое может вас заинтересовать. Известный вам Хаджет

Лаше». Ардашев ногтем почесал бородку: «Что-нибудь по поводу издательских дел. Лаше — занятный человек, но, наверное, опять политика...» Вспомнилась красавица, его дама, танцевавшая в «Гранд-отеле», с усмешкой прищурился на блестевший кофейник... «Да, от женщин и политики — подальше: это тоже плата за комфорт...»

Звонок. В прихожей знакомый голос. Ардашев бросил газету на пачку прочитанных писем, зажег погасшую сигару. Вошел Бистрем, двадцатипятилетний скандинав, шести футов ростом, добро-голубоглазый, в очках, с нежной кожей, сильной шеей и раздвоенным подбородком. Он недавно окончил университет и со всем прямолинейным пылом честного германца изучал исторические, социальные и экономические предпосылки русской революции. Состоял сотрудником «Скандинавского листка», был непрактичен и доверчив. Несколько раз пытался быть посланным в Москву в качестве корреспондента, но в редакциях его подняли на смех, вышла даже неприятность с полицией.

— Николай Петрович! — крикнул он по-русски, с акцентом (восторженный, румяный, свежий),— прочли сегодняшнюю газету? О, я вижу, вы не читали!..— схватил со стола газету и отчеркнул ногтем — «Ревель, от собственного корреспондента»...— Слушайте: «Кредитные знаки северо-западного правительства в России, печатающиеся, как известно, на Стокгольмском монетном дворе, на общую сумму один миллиард двести миллионов рублей, по точно проверенным сведениям, гарантированы к размену на золото английским государственным банком». Слушайте, Юденичу — капут!..

— Не понимаю,— сказал Ардашев,— что же тут такого? Деньги печатаются по заказу Юденича...

— Деньги печатаются под гарантийную телеграмму Колчака из Омска. (Бистрем вытащил из кармана пачку газетных вырезок, отыскал, прочел.) Это из ревельской «Свободы России». Вот... «Верховный правитель адмирал Колчак приказал передать правительству Северо-западной области, что им будет оказано всемерное содействие для успешного завершения борьбы с большевизмом в Петроградском районе, что министру фи-

нансов омского правительства срочно указано перевести просимые главнокомандующим генералом Юденичем двести шестьдесят миллионов рублей золотом. Указанная сумма поступает в Лондонский банк в английской валюте и гарантирует выпускаемые правительством Северо-западной России денежные знаки, которые являются всероссийскими денежными знаками и обеспечиваются, кроме указанной суммы, всем достоянием государства Российского». Под этот блеф Юденич и выпускает миллиард двести миллионов для разгрома Петрограда.

— Почему блеф? Разве Колчак не перевел денег?

— Колчак перевел в Лондон только пять миллионов золотом... У меня вернейшие сведения... Понимаете, что получится после сегодняшней заметки? Англичане вынуждены будут официально и немедленно ее опровергнуть,— иначе адский скандал в палате. Они скажут, что не гарантировали и никогда не намерены гарантировать авантюру. О пяти миллионах они тоже не скажут ни слова, и юденические кредитки будут продаваться на вес... Кто дал эту заметку? Гениальнейший ход!.. Чья здесь рука?.. Или это Москва... Или это спекуляция на валюте,— тогда это — Митька Рубинштейн. По пути к вам забежал в «Гранд-отель»,— внизу, в баре, шумят журналисты, дьявольский крик. Уверены, что заметку дал я... Представляете, как меня приняли?

Он повалился на стул, потянул скатерть, толкнул стол, расплескал молоко и закатился радостным смехом,— румяный, белозубый, отражающий стеклами очков утреннее солнце. Ардашев налил ему кофе, намазал бутерброды. Бистрем с воодушевлением стал есть.

— Большевики играют на противоречиях... В этом их основной расчет... Диалектика на фактах! Великолепно!.. Представляете,—шарады-головоломки: Ревель, Рига и Гельсингфорс добиваются самостоятельной буржуазной республики. Поэтому они против большевиков. Значит, им нужно помогать белым. Но белые страшны,— Колчак в Омске, Юденич в Ревеле и Сазонов в Политическом совещании в Париже угрюмо не желают гарантировать независимость Эстонии, Латвии и Финляндии. Французы тоже против независимости,—

им нужна неразделенная, сильная Россия — угроза Германии. Но англичане за раздел России и за независимость Риги, Ревеля и Гельсингфорса; но англичане боятся немецкого влияния в Балтике, поэтому намерены захватить остров Эзель для морской базы; но рабочая партия в палате против вмешательства в русские дела,— у англичан связаны руки... Германия против самостоятельности Риги, Ревеля и Гельсингфорса, потому что тогда здесь будет база Антанты, но Германия парализована Версальским миром. Синтез: большевики, сталкивая лбами все эти противоречия, выигрывают игру... Простите, я, кажется, съел весь хлеб.

Ардашев сказал, глядя в окно:

— В прошлом году я уезжал из Петрограда, там было очень скверно. Не представляю, как они еще могут держаться.

— В Петрограде осталось всего около семисот тысяч жителей, остальные разбежались или вымерли. От голода умирает каждый двенадцатый человек...— У Бистрема расширились глаза.— Топлива нет. Город не освещается. На улицах лошадиная падаль, объеденная людьми... Я добыл эти сведения через контрразведку, подпоил одного пропащего человека. Из двухсот шестидесяти заводов работает только полсотни. Целые кварталы пустых домов с выбитыми окнами, заколоченные досками магазины. Не видно прохожих, не ходят трамваи. Город разбит на боевые участки. Власть предоставлена Комитету обороны. На заводах и по районам управляют тройки. В домах—комитеты бедноты. Все рабочие призваны к оружию. Особые отряды рабочих обыскивают город, ища оружие и съестные припасы. Над всей жизнью — идея: победить или умереть. Голод, лишения и суровость стали величием. О!.. Трагический Петроград!.. И он победит!

— Дорогой друг, все это романтично издали,— негромко сказал Ардашев.— Ну, хорошо, предположим, они победят Юденича, они победят еще десять Юденичей. Но террор когда-нибудь кончится и нужно будет восстанавливать обыкновенную жизнь, и вот тут-то на смену романтизму придут будни вместе с богатеньким буржуем. Одними идеями не возродишь города, и при-

дется кланяться. Европа богата в переизбытке продукции и в поисках новых рынков. Россия — нищая, разоренная, но — широчайший рынок, которого хватит на всех. Не пройдет и года — высокий уровень перельется в низкий, Европа — в Россию, и мечтам — конец. Мне кажется, так именно и думают англичане, самые реальные из политиков.

Бистрем весь сморщился, слушая. Поднялся, заходил, потирая подбородок. Поднял палец:

— Вы упускаете: власть над политикой и экономикой в России взял рабочий класс. Этого еще не бывало в истории. Тут должны быть вскрыты новые источники творчества, новые органы политической и экономической структуры... Конечно, можно возразить: рабочий класс в России еще не готов... Не знаю... Может быть, к таким штукам совсем и не нужно готовиться... Даже и лучше неготовыми-то? А? Русские — талантливы, русские — чудовищно неожиданный народ... (Кукушка на стенных часах, выскочив из дверцы, бодренько прокуковала одиннадцать. Бистрем спохватился.) Опаздываю безумно! Надо бежать...

Задержав его руку, Ардашев спросил:

— Вы хорошо знаете такого — Хаджет Лаше?

— Темный человек.

— А какие данные?

— Черт его знает,— никаких... Если нужно — добуду.

— Что он тут делает?

— Очевидно, как большинство иностранцев в Стокгольме,— поставки на армию, продовольствие для Петрограда, спекуляция на фондах... Постойте, постойте... (Бистрем отложил шляпу.) Его компаньон, вот тот, что приехал с дамами из Парижа, вчера давал интервью... Какая-то у них афера с нефтью с Детердингом... Корреспонденты чрезвычайно заинтересовались, особенно американцы. Говорят, эта афера должна отразиться на международных отношениях... Хорошо. Я все узнаю подробно.

Он распахнул дверь и столкнулся с Хаджет Лаше.

— Простите, я стучал, но вы горячо разговаривали,— Хаджет Лаше церемонно поклонился Ардашеву,

дружески кивнул Бистрему и сел, не снимая перчаток, поставил трость между колен.— Я вам писал, Николай Петрович, этим объясняется мое вторжение...— С улыбкой — Бистрему: — Вы собирались уходить, но вижу, намерены спросить меня о чем-то?

— Несколько слов о нефти...— Бистрем присел у двери, положив шляпу на одно колено, на другое — блокнот.

— Простите, принципиально не даю интервью никому никогда. Не обижайтесь, Бистрем, я дам вам заработать на чем-нибудь другом... (Огромные башмаки Бистрема на вощеном полу и отблескивающие очки его застыли настороженно.) Если обещаете не упоминать моего имени, приезжайте ко мне, я вам наболтаю крон на пятьдесят всякой чепухи... (Засмеялся и — Ардашеву.) Нефтью я интересуюсь, как прошлогодним снегом. Но со вчерашнего дня, видимо спутав меня с моим другом, Левантом, журналисты оборвали мой телефон: бакинская нефть, «Стандарт Ойль» и Детердинг, Деникин и большевики... Господа, я только романист, я страшно извиняюсь, что пишу плохие романы, но позвольте мне быть чудаком и спрашивайте о нефти у моей квартирной хозяйки.

Поднявшись, кашлянув, Бистрем проговорил глухо:

— Благодарю вас!..— И, не прощаясь, вышел.

— Так наживаешь себе врагов.— Хаджет Лаше сделал безнадежный жест рукой в перчатке.— Бистрем не плохой малый, но когда-нибудь я же вправе обидеться,— журналисты упорно говорят со мной о чем угодно, только не о моих книгах. (Он засмеялся, показав сильную белую линию зубов.) Я к вам вот с каким предложением, Николай Петрович... У группы лиц возникла мысль купить «Скандинавский листок»... Вы бы не вошли в компанию?.. (Ардашев отложил сигару и насторожился.) Дело ведется плохо, денег у них нет, а хорошая, культурная русская газета, ох, как нужна... Перед иностранцами стыдно за «Скандинавский листок»,— газета, надо признаться, определенно пованивает... Вы согласны со мной? (Ардашев быстро подумал: «Что за черт, дурак или провокатор?») Я немножко патриот. К тому же честолюбие, неудовлетворенное честолюбие,

Николай Петрович. Ночи не сплю,— засело гвоздем, так и чудится: нижний фельетон Хаджет Лаше,— глава из романа, продолжение следует... Кстати, прошу принять мой последний труд. (Он вынул из кармана книжечку на серой скверной бумаге.) Отпечатано в Петрограде, в прошлом году. О ней хотел писать Амфитеатров, но было уже негде... Полюбопытствуйте... Я хорошо знаю Турцию,— здесь все на основании подлинных фактов... (Он положил книгу на край стола.) Подумайте над моим предложением, Николай Петрович. В городе нехорошо говорят про газету... А это больно. Говорят — там всем заворачивает какой-то инкогнито, будто бы на издание разменял несколько царских бриллиантов, за какие-то гроши загнал евреям в Гамбург чуть ли не шапку Мономаха... Вы не слышали? Нет?.. Наверное, сплетни журналистов... Даже и ваше имя приплели.

Не то почудилось, не то на самом деле— издевательское торжество просквозило вдруг в добродушных, даже глуповатых глазах гостя. Ардашев похолодел от омерзения и сделал непоправимую ошибку... Начав смахивать в кучку невидимые крошки на скатерти, сказал глуховатым голосом:

— Простите, не понимаю цели нашего разговора... Вы, видимо, плохо осведомлены: я — один из соиздателей «Скандинавского листка»... Чрезвычайно благодарен вам за критику, но оставляю за собой свободу ею воспользоваться. (Все больше сердясь.) Газета наша левая, хотите считать ее большевистской — считайте, желаете верить в царские бриллианты и шапку Мономаха — сделайте ваше одолжение,—разуверить не могу, да и нет охоты опровергать всякие пошлости... (Не на крошки на скатерти надо было ему глядеть, а на гостя в эту минуту.) На этом, думаю, можем исчерпать нашу беседу.

Теперь — встать и ледяным кивком ликвидировать неприятного гостя... Проклятая интеллигентская мягкотелость! — Ардашев не мог поднять глаз, чувствуя, что, кажется, пересолил и нагрубил. А может быть, гость просто неудачно выразился и сам, наверное, смущен до крайности?

Гость молчал. Угнетающе не шевелился на стуле. Ардашеву видны были только острые носки его лакированных туфель — на правый носок села муха. Хаджет Лаше проговорил тихо:

— Вы меня не изволили понять, Николай Петрович... Если я и выразился резко о «Скандинавском листке», то не за левизну. Идя сюда, я чувствовал себя связанным, это правда. Вы открываете карты,—тем лучше, я могу говорить искренне. Мы единомышленники, Николай Петрович... (Ардашев поднял глаза,— Хаджет Лаше, округло разводя руками, говорил с подкупающим добродушием.) Возьмите Анатоля Франса. Открыто объявил себя большевиком. А как же иначе должен смотреть подлинный культурный европеец на акты величественной трагедии, которые развертывает перед ним русская революция? На вилле «Саид» я застал Анатоля Франса у камина в беседе с Шарлем Раппопортом. Первое, что спросил Франс: «Друг мой, вы видели Ленина?» Я ответил: «Да...» Франс указал мне место у камина: «У этого огня сегодня беседуют только о героических событиях». Короче говоря, Николай Петрович, мой резкий отзыв вызван вот чем: в «Скандинавском листке» помещена заметка об английской гарантии юденических денег. Теперь я верю, это простой промах редакции,— заметка желтая и помещена Митькой Рубинштейном. Вы знаете, что он играет на понижении курсов?

Все еще сердясь, Ардашев ответил глухим голосом:

— От кого бы она ни исходила, заметка полезная... Пускай Рубинштейн спекулирует, тем лучше: Юденич натворит меньше зла с дутой валютой.

— Браво!.. Это по-большевистски... Так газета намерена валить юденические деньги? Это смело. Я аплодирую. Я все-таки не оставляю мысли стать ближе к газете. Хотелось бы застраховать газету от случайностей гражданской войны... Представьте, падет Петроград? Подумайте над моим предложением. Я располагаю ста пятьюдесятью тысячами франков,— это реальнее, чем шапка Мономаха. Правда?

— Из этого ничего не выйдет, Хаджет Лаше. Газета издается на деньги частных лиц, но распоряжается ею редакционный совет.

— Они меня должны знать.

— Кто они?

— Редакционный совет.

Ардашев подумал, поджав губы.

— Простите, Хаджет Лаше, я не могу раскрыть конспирации и даю честное слово, что и сам очень слабо посвящен в эти тайны...

— Ну, на нет и суда нет...

Хаджет Лаше поднялся, взял шляпу, взглянул исподлобья и потер нос набалдашником палки.

— Еще просьба, Николай Петрович. Ко мне в Баль Станэс приехал интимнейший друг, княгиня Чувашева. У нее идея создать маленький культурный центр. Мы бы очень просили — не отказать пожаловать.

Ардашев поблагодарил,— отказаться было совсем уж неудобно. Проводил гостя до прихожей. Там Хаджет Лаше начал восхищаться цветными гравюрами. Заговорил о гравюрах, о книгах. Ардашев не утерпел, пригласил гостя в кабинет — похвастаться инкунабулами:[1] двенадцать, великолепной сохранности, инкунабул он вывез из Петрограда.

— Ну, как вы думаете, сколько я за них заплатил?

— Право,— теряюсь...

— Ну, примерно?.. Даю честное слово: две пары брюк, байковую куртку и фунт ситнику... (Ардашев самодовольно засмеялся высоким хохотком.) Приносит солдат в мешке книжки... Я — через дверную цепочку: «Не надо».— «Возьми, пожалуйста, гражданин буржуй,— третий день не жрамши». И лицо действительно голодное... «Где украл?» — спрашиваю. «Ей-богу, нашел в пустом доме на чердаке...» И просовывает в дверную щель вот эту книжку,— в глазах потемнело: 1451 год... В Париже, только что, на аукционе инкунабула куда худшей сохранности прошла за тридцать пять тысяч франков.

---

[1] Инкунабула — первопечатная книга XV столетия.

— Ай-ай,— повторил Хаджет Лаше.— Какие сокровища!

Ардашев выбрал из связки ключей на брючной цепочке бронзовый ключик и, отомкнув бюро, выдвинул средний ящик:

— Вы, вижу, знаток...— Он вытащил большую серую папку и, ломая ноготь, развязывал завязку.

Хаджет Лаше, стоявший за его спиной, сказал медленно:

— Вы не боитесь хранить дома ценности?

— Никогда ничего не сдаю в сейф. Вы что — смотрите, где запрятана у меня шапка Мономаха?

Хаджет Лаше, не отвечая, пристально, неподвижно глядел ему в глаза... Когда лицо его задвигалось, Ардашев понял, в чем странность этого лица: живая маска! Будто другое, настоящее лицо движением бровей, всех мускулов силится освободиться от нее... И, поняв, он почувствовал даже расположение к этому странному, некрасивому и, кажется, умному и утонченному человеку. Крутя цепочкой, наклонился вместе с гостем над раскрытой папкой. Хаджет Лаше взял один из цветных гравированных листов, поднял высоко, повертел и так и этак:

— Могу вас поздравить, Николай Петрович. Это подлинный, чрезвычайно редкостный Ренар,— чудная сохранность. Сколько заплатили?

— Пять стаканов манной крупы.

— Анекдот!.. В коллекции лорда Биконсфильда имеется второй экземпляр этой гравюры. Третьего в природе не существует. Антикварам было известно, что этот лист где-то в России, но его считали пропавшим. Гравюра стоит не меньше двух с половиной тысяч фунтов.

Ардашев был в полном восхищении от гостя. Уходя, Хаджет Лаше повторил приглашение в Баль Станэс.

34

Дом в Баль Станэсе одиноко стоял на травянистой лужайке, на берегу озера. Кругом на холмах расцвечивался осенней желтизной березовый лес, мрачными ко-

нусами поднимались ели. Дом был бревенчатый, с огромной, высокой черепичной кровлей, с мелкими стеклами в длинных окнах, с углами, увитыми диким виноградом. От города всего двадцать минут на автомобиле, но — глушь, безлюдье.

Хаджет Лаше жил здесь один в нижнем этаже, в комнате с отдельным выходом,— окнами на просеку, где проходила шоссейная дорога. Приехавших поразила пустынность и запущенность дома. Прислуги не оказалось — ни горничной, ни кухарки, ни дворника. Повсюду — непроветренный запах сигар и мышеедины. На портьерах, на мебели — пыль, в каминах — кучи мусора, окурков, пустых бутылок.

Когда чемоданы были внесены и автомобили уехали, Лили присела на подоконник и горько заплакала. Вера Юрьевна,— кулаки в карманах жакета,— ходила из комнаты в комнату.

— Послушайте, Хаджет Лаше, неужели вы предполагаете, что мы станем жить в этом сарае? Для какого черта вам понадобилось привезти нас сюда?

— Поговорим,— сказал Хаджет Лаше и сел на пыльный репсовый диван.— Присядьте, дорогая.

Вера Юрьевна двинула бровями и, не вынимая рук из карманов, решительно села рядом. Здесь, во втором этаже, был так называемый музыкальный салон,— с окном на озеро; стены и потолки отделаны лакированной сосной; кирпичный очаг с маской Бетховена; рояль; на стенах — криво висящие картины северных художников.

— Поговорим, Вера Юрьевна... Вам нечего объяснять, что привезены вы сюда не для развлечений. Дом этот снят также не для безмятежного занятия летним и зимним спортом. После константинопольских похождений вы достаточно отдохнули в Севре, здесь вы будете работать.

— Знаете что, Хаджет Лаше, чтобы животное хорошо работало, за ним нужно хорошо ухаживать и держать в чистоте... Так что с самого начала я ставлю требование...

— Требование?..— угрожающе переспросил Хаджет Лаше и невеселыми глазами внимательно осмотрел

Веру Юрьевну, будто измеривая опасные возможности этой темной души.— Так, так... Чтобы требовать — нужна сила... Сомневаюсь — есть ли у вас что-либо, кроме нахальства.

Вера Юрьевна подумала и — с изящной улыбкой:

— Кроме нахальства — прочная ненависть и зрелое желание мстить.

Хаджет Лаше брезгливо поморщился.

— Мало... И — не страшно...

— Как сказать... Во всяком случае, у меня достаточно безразличия ко всему дальнейшему, вплоть до тюрьмы и веревки.

— Угрожаете?

— Да. Определенно угрожаю.

— Стало быть, предлагаете мне быть осторожным?

— Очень...

— Не пощадите себя, если довести вас до аффекта?

— До аффекта!.. Ой! Ой!.. В ваших романах, что ли, так выражаются роковые женщины?.. (Добилась — у Лаше сузились глаза злобой.) Говоря нелитературно,— могу быть опасна, если меня довести до выбора: жить в вашей грязи или не жить совсем.

— Мысль формулирована четко.

— Дарю вам для записной книжечки.

Молчание... У него опущены глаза, кривая усмешка. У нее лицо как у восковой куклы. В пыльное стекло уныло бьется большая муха.

— Курите, Вера Юрьевна?

— Да.

Он медленно полез в задний брючный карман и с этим движением поднял глаза, вдруг усмехнулся всеми зубами. Но у нее ничего не дрогнуло. Задержав руку в кармане, вынул плоскую золотую папиросочницу,— предложил.

— Как видите, всего-навсего — портсигар.

— Да я и не сомневалась, что не револьвер.

— Ах, не сомневались?

Закурили.. Вера Юрьевна положила ногу на ногу,— курила, упершись локтем в колено. Он посматривал на нее искоса... Затянулся несколько раз.

— Вера Юрьевна...

— Да, слушаю.

— Во-первых, не верю в ваше безразличие,— вы женщина жадная и комфортабельная.

— Наконец-то догадались.

— Само собой, кроме этого, имеется психологическая надстройка.

— Вот тут-то вы и собьетесь, плохой романист.

— Признаю, вы нащупали у меня уязвимое место... Но ведь и мышь кусает за палец... Ну, хорошо,— вы требуете, чтобы жизнь в Баль Станэсе обставить пристойно... Завтра придут люди, выколотят пыль, дом приведем в относительный порядок, привезу из Стокгольма кухонную посуду, ночные горшки и так далее... Удовлетворены? Видите, в мелочах я уступаю... Но поговорим о крупном. (Он надвинул брови, изрытое лицо потемнело.) Когда вы были в Петрограде княгиней Чувашевой, сидели в особняке на Сергиевской, кушали торты и ананасы... (Вера Юрьевна засмеялась, он сопнул, раздул ноздри.) Ананасы и торты... Тогда можно было поверить в ваши роковые страсти и даже отступить, скажем, такому пугливому человеку, как я... А сейчас... Уж простите за натурализм,— как поперли вас из особняка в одной рубашонке, как пошли вы бродить по матросским притонам: оказались вы, утонченная-то, с психологической надстройкой, хуже самой распоследней стервы...

— Здорово запущено! — громко, весело сказала Вера Юрьевна.

— Понимаю,— числите за собой в психологическом активе константинопольский случай... (Вера Юрьевна подняла брови, розовым ногтем мизинца сбросила пепел с папиросы.) Вот вы и сами сознаете, что константинопольский случай произошел, так сказать, с разбегу от неразвеянных иллюзий. Теперь-то вы его уже не повторите...

— Да! — сказала она твердо.— Того не повторить... Я была на тысячу лет моложе. Знаете, Хаджет Лаше,— искренне,— я люблю себя той константинопольской проституткой... В последнем счете — не все ли равно: сумасшедшее страдание или сумасшедшее счастье... Мы лю-

бим только наши страсти. Женщины любят боль. А ужасает — мертвое сердце. Если перед казнью мне обещают минуту чудного волнения, днем и ночью буду думать об этой минуте и, конечно, предпочту ее всей жизни. Вот как, писатель...

Лицо ее порозовело, голос вздрагивал. Но так же — острый локоть на колене, лишь вся подалась вперед с каким-то увлечением. Хаджет Лаше посматривал,— любопытная баба! Действительно — не узнать ее после Константинополя, когда, полоумную, страшную, неистовую, он спас ее от полиции и передал на руки Леванту. С тех пор впервые разговаривали «по душам». Казалось, что он сейчас же покончит с ее строптивостью, но баба была сложнее, чем он ждал. Хотя — тем полезнее для дела, лишь бы обуздать. Он следил с осторожностью за ходом ее мысли.

— С психологической надстройкой вы, по-моему, просыпались, Хаджет Лаше... Людей, просто, по-собачьему ползущих за куском хлеба, в природе нет, мой дорогой... Подползет к вашим лакированным туфлям такой сложный мир страстей, такая задавленная ненависть,— понять — задохнетесь от ужаса... Делаете крупнейшую ошибку: профессиональному аферисту, как вы, надо прежде всего быть психологом. Тем более при вашей двойной профессии. (Кивнула ему дружеской гримаской.) Так вот, в особняке на Сергиевской я была нераскрытым бутоном. Безделье, роскошь, покой, не страсти, а щекотка, и — дымка иллюзий... А психологическая надстройка появилась уже после Константинополя... И от этого груза с удовольствием бы освободилась. Кстати, для чего вам тогда понадобилось вытащить меня из притона, спасти от полиции? Искали, что ли, подходящий товар?

— Отчасти искал подходящий товар, отчасти — вдохновение: глаза ваши понравились.

— Глаза,— задумчиво повторила Вера Юрьевна,— да, глаза... Я многого не могу припомнить... В памяти — провалы... Точно я минутами слепла...

— Всегда так бывает — в первый раз. Откуда у вас тогда завелся нож?

— Подарил один матрос... От ножа все тогда и пошло... Ах, какая глупость! (Прямая спина ее вздрогнула.)

— Теперь вооружены лучше?

— О, будьте покойны.

— Как же все-таки это случилось, почему именно этого грека? Ограбить, что ли, хотели?

— Не знаю... Нет... просто оказался противнее других... чего-то все добивался, какой-то последней мерзости... Должно быть, за многословие, за жестикуляцию, за какую-то вонь бараньим салом... Когда заснул, понимаете, как счастливый баранчик,— меня и толкнуло...

— Как баранчика, от уха до уха!.. (Она опустила голову, уронила руку с колена.) Еще деталь, Вера Юрьевна,— наверное, не помните: вы это сделали и начали пятиться и все время будто совали озябшие руки в несуществующие карманчики, а были-то совершенно голая. (Стремительным движением Вера Юрьевна поднялась, отошла к окну.) Я за стеной по звукам понял, что — веселенькое дело... Приподнял ковер, гляжу, потом и совсем вошел и — поразило: глаза! Да, жалко, я не живописец... Помните, как я вам приказал одеться?.. Между прочим, под именем Розы Гершельман вас и сейчас разыскивает полиция...

Вера Юрьевна неподвижно стояла в окне,— вытянутая, тонкая, с широкими плечами... Только по движению юбки Хаджет Лаше понял, что у нее дрожат ноги.

— Хотя в ту пору у меня определенных планов не было, но вы сами уже были план, дорогой случай. Кровно связаться с человеком — дело сложное,— большие деньги дают за такого сотрудника... Теперь, когда планы созрели, согласитесь — глупо нам не договориться. Признаю — начало было не тонкое. Ну, хорошо, вы поставили свои условия, я поставлю свои. Но уже идти в дело слепо и без психологии. Ладно? А? Ножки-то дрожат? Ай-ай! Мне один военный рассказывал: бреется он однажды утром, на фронте, а солдатишки приводят еврея, шпиона поймали... Ну, велел повесить, а сам бреет другую щеку, глядит в окно,— еврей висит, в котелке, ноги длиннющие... История будничная?.. Так нет,— прошло сколько уже времени... Только он — бриться,— висит

еврей, а такое уныние, ничем не отвязаться от этой памяти... А совсем как будто заурядный человек...

Вера Юрьевна вернулась на диван, взяла из портсигара папироску.

— Пример неудачный... Против себя рассказали... (Зажгла спичку.) Связь кровью — пошлейшая бульварщина... Константинопольские воспоминания взволновали меня, но — запомните! — в последний раз... А вы, Хаджет Лаше... (закурила) просто не импонируете мне ни как мужчина, ни как собеседник. Очевидно, вы не имели дела с интересными женщинами... Но это не важно... Мои требования: комфорт, свобода бесконтрольная и никакого общения между нами, кроме делового... Я — верна, я — хороший товарищ, если сказала — да, то — да... Излагайте ваши требования...

— Вера Юрьевна, во-первых, то, что скажу,— тайна, даже от Леванта.

— Хорошо.

Хаджет Лаше прислушался к голосам внизу и, пройдя на цыпочках через комнату, закрыл дверь...

35

Мари, Лили и Налымов продолжали сидеть внизу, в столовой, среди нераскрытых чемоданов. Здесь было то же запустение. Засиженные мухами окна, паутина. На непокрытом столе — грязные стаканы, пустые бутылки, остатки еды на бумажках. Наверху невнятно гудел голос Хаджет Лаше... Тоска — хуже, чем на разбитом вокзале в ожидании эвакуации.

— Пять стульев у стола, пять рюмок,— похоже, здесь было деловое заседание,— сказал Налымов.— Чрезвычайное изобилие окурков... Дети мои, похоже,— здесь хаза...

Лили опять всхлипнула. У Мари концы красивых бровей полезли вверх по вертикальной морщинке.

— Логично мы должны докатиться до бандитизма... Всякая идея, деточки, создает свою мораль. Священная собственность, честность, неприкосновенность личности — расстреляны пушками. Буржуа, ограбленный вчи-

стую, галдит о революции, Версальский мир узаконил массовый грабеж, сверхпроцентный, грандиозный, небоскребный... Таскать бумажники в трамвае нехорошо только потому, что это не предусмотрено в Версале. Но если сразу вытащить семьдесят пять миллионов бумажников, по три тысячи долларов в каждом, то это уже не воровство, а репарации. Большие цифры — первый закон новой морали. В данном случае, я надеюсь,— наш друг Хаджет Лаше ставит дело широко, в контакте с версальской политикой, и в Баль Станэсе не станут пачкать совесть на мелочах.

Покуривая на чемодане, Налымов развивал разные философские теории. Его не слушали. Наконец голоса наверху затихли. Налымов оборвал на полуслове. Хлопнула дверь. Неверные шаги. Вошла Вера Юрьевна, устало села у стола.

— Лаше пошел вызывать по телефону машину. Поедет в поселок и привезет женщин — убирать дом. Ужин будет горячий...

Мари, вглядываясь в нее, спросила резко:

— О чем говорили? Почему у тебя физиономия перекошенная?

Не отвечая, Вера Юрьевна прикрыла ладонью глаза. Все трое глядели на ее слабую худую руку, туго охваченную у запястья черным рукавом. Лили всхлипнула, бросилась к Вере Юрьевне, обхватила изо всей силы:

— Что случилось, что случилось?..

Вера Юрьевна подняла, опустила плечи. Сильно сжав глаза, отняла руку, сказала:

— Вот что, Василий Алексеевич, уезжайте-ка вы отсюда. Левант на днях возвращается в Париж,— вы поезжайте с ним... (Вдруг сердито затрясла головой.) Не хочу вас здесь... Не хочу ваших шуточек... Все шуточки!.. Ничего шуточками не прикроешь... Трусость! Пошлость!.. Пусть — ночь, пусть — мрак, пусть — ужас, пусть — трагедия... (Странным, не своим голосом.) Пусть ледяная ночь, безнадежность... К черту шуточки!..

Она опустила голову. Все глядели на Веру Юрьевну. У Лили начали стучать зубы от страха.

— Он будет говорить с вами, с каждой отдельно,— резко сказала Вера Юрьевна.— Можете вы понять, наконец, что у меня истерика!..

Она упала на стол — лицом в руки, схватила себя за волосы. Ступни ног повернулись носками внутрь. Лили осторожно отошла. Мари, чиркнув спичкой, не закурила, спичка догорела до ногтей. Налымов с усилием тащил пробку, не откупорив, поставил бутылку с коньяком, пошел на цыпочках на кухню, принес стакан воды:

— Отхлебни, Вера...

Она локтем отстранила стакан.

— Летим на дно водоворота... Тени какие-то ночные. Разве мы живем? Только вопль человеческий, а самого человека давно нет... Эмигранты, шелуха! Лаше мне сказал — мы здесь, чтобы бороться с большевиками террором. (Мари тихо свистнула.) Сказал — вам бы хотелось сидеть в Париже, ждать, когда союзники возьмут Петроград, и вернуться на готовое. Союзные державы предлагают самим русским идти в авангарде... Авангард: Лилька, Мари, Вася!.. Мы должны шпионить, провоцировать, заманивать, отравлять, душить — кого укажут... Говорил о великой белой идее!.. Железный авангард: три проститутки и спившийся кот... Но — не важно,— за нами стоят союзники, великие цивилизации... Для грязной работы посылают нас. Оказывается,— в первый же день приезда мы, три женщины, были включены в «Лигу борьбы за восстановление Российской империи...» Завтра даем клятву... Нарушение клятвы, выход из Лиги карается смертью... Василий Алексеевич, прошу тебя — уезжай сегодня же...

Серовато-мутными глазами Василий Алексеевич тускло глядел на Веру Юрьевну, стоял, опустив по-военному руки, очень серьезный, даже важный.

— Никак нет, в Лигу я не запишусь, Вера Юрьевна. Не по чему иному, как потому, что не желаю одним волоском пожертвовать для европейской цивилизации. С большевиками тоже бороться не стану, большевиков боюсь. Будет время, когда от них ни на какой остров не скроешься, и это будет скорее, чем думают. Но при всем том из Баль Станэса не уеду, Вера Юрьевна, никак нет...

36

— ...В сегодняшнем заседании, кроме членов Лиги, присутствуют уважаемые гости, а также кандидаты в Лигу... Разрешите огласить повестку дня. «Первое: принесение кандидатами торжественной присяги. Второе: оглашение письма генерала Сметанникова к стокгольмскому атташе Американских Соединенных Штатов. Третье: текущие дела и дальнейший план работы»...

Хаджет Лаше снял черепаховое пенсне и оглянул собрание. За раздвинутым обеденным столом, в квартире, занимаемой генерал-майором Гиссером, сидело семнадцать человек. Направо от председательствующего Лаше играл карандашом граф де Мерси. Налево сидел, как бы отсутствуя, маленький, сухой, востроносый американец — адъютант атташе США. Напротив блестел сальной лысиной генерал-майор Гиссер, с отечным животом и пыльной растительностью на лице. В восемнадцатом году военный комиссариат РСФСР почему-то поверил в офицерскую честь Гиссера и послал его военным агентом в Швецию; некоторое время он отправлял из Стокгольма с курьером в Питер пачки газетных вырезок, покуда не удалось выписать к себе жену, дочь и сына; после этого он счел свои моральные обязанности исчерпанными. Теперь — сильно нуждался в деньгах.

По сторонам сидели: рыжебородый Эттингер, рослый, со вздернутым носом, со шрамом через всю щеку — поручик Биттенбиндер и женственный, элегантный, с залысым лбом — лейтенант Извольский. На одном конце стола — у раскрытого окна — четверо рослых, молочно-румяных шведских офицеров; на другом — датчанин коммерсант Вольдемар Ларсен, Александр Левант и три дамы — Вера, Мари и Лили. Налымов — бочком на стуле позади них.

— Господа, создатель Лиги и почетный ее председатель генерал Сметанников находится в настоящее время в России, где с опасностью для жизни производит работу по укомплектованию сил для борьбы изнутри. Мне поручено вести работу Лиги на периферии. Угодно вам считать меня заместителем председателя? (Голос Биттенбиндера: «Просим, просим!..» Несколько хлопков...)

Благодарю за честь. Господа, предлагаю считать заседание открытым, приступим к принесению присяги.

Хаджет Лаше перегнулся через стол к Извольскому и указал глазами на угол комнаты. Там, на круглом столике, стоял закрытый крепом портрет в плюшевой рамке, убранный хвоей и живыми цветами. Извольский и поручик Биттенбиндер по-военному ловко вскочили, выдвинули столик с портретом на середину комнаты и лихо стали по сторонам на карауле.

Лаше, опять вздев пенсне, вынул листочек, строго через стекла взглянул на дам и предложил подойти к столику. Вера — хмуро, Лили — растерянно, Мари — снисходительно усмехаясь — поднялись и стали перед портретом. Члены Лиги также поднялись. Иностранцы перешепнулись и остались сидеть.

— Вступающие в священную Лигу борьбы за восстановление Российской империи: княгиня Вера Юрьевна Чувашева, Елизавета Николаевна Степанова, дочь зверски замученного генерал-майора Николая Александровича Степанова, и Марья Михайловна Лещенко, урожденная Скоропадская, повторяйте за мной слова присяги... Памятуйте, что под этим траурным крепом — символ спасения и величия нашей родины...— Он поправил пенсне и стал читать по бумажке раздельным, торжественным голосом: — «Я прочел и одобрил предложенный мне для подписи текст присяги. Я подписал ее, вполне сознавая всю ответственность за нарушение ее. Всей моей жизнью, всеми моими помышлениями, с радостью вступаю я в организованную по-военному группу и клянусь до последнего издыхания служить отечеству, не думая о вознаграждении или личных преимуществах. Если я вольно или невольно изменю святому делу, я тем самым себя осуждаю на смерть...»

Вера Юрьевна, Елизавета Николаевна и Марья Михайловна пробормотали вслед за Лаше слова присяги. Поручик Биттенбиндер, быстро наклонившись, приподнял конец креповой ленты:

— Целуйте, медам...

Клятва была принесена. Дамы вернулись к столу. Члены Лиги сели. Лаше с мягкой улыбкой — Налымову:

— Мы никого не принуждаем вступать в Лигу. Дело спасения родины — дело совести. Но позвольте еще раз повторить вам — патриоту, дворянину, офицеру императорской гвардии — наше горячее желание — видеть командира Серебряной роты, подполковника Налымова, среди нас...

Вера Юрьевна за спинкой стула схватила руку Василия Алексеевича. Его красноватое, неопределенно улыбающееся лицо покивало председателю...

Хаджет Лаше нахмурился. Левант, торопливо подойдя, о чем-то зашептал ему на ухо. Генерал Гиссер и Биттенбиндер угрожающе поглядывали. Лаше кивком отпустил Леванта.

— Господа, подполковник Налымов наш друг. Его колебания не должны создавать впечатления недоверия к нему. Будем надеяться, что они скоро окончатся, и мы братски обнимем нового сочлена. Теперь позвольте огласить письмо генерала Сметанникова, подписанное также по передоверию мною, генералом Гиссером, лейтенантом Извольским и секретарем стокгольмского отделения Лиги поручиком Биттенбиндером...

Он вынул из портфеля листы плотной бумаги, благоговейно развернул, поверх пенсне с придушенным вздохом взглянул на занавешенный трауром портрет и начал читать, переводя фразу за фразой по-французски — с поклоном в сторону графа де Мерси и по-английски — с поклоном в сторону адъютанта американского атташе:

— «Стокгольм. Господину атташе США. Милостивый государь, настоящее положение в России требует немедленной военной поддержки со стороны союзников против большевиков. Так как за последние месяцы некоторые газеты во Франции, Англии и Америке предприняли поход против вмешательства, то крайне необходимо документально осветить политический характер и беззаконный образ действия большевиков. В высшей степени важно, чтобы мы могли представить общественному мнению вышеуказанных стран как можно больше документов, доказывающих злодеяния этих лжесоциалистов...»

Граф де Мерси и адъютант военного атташе США переглянулись. Лаше продолжал:

— «За последние месяцы Стокгольм был центром, в который свозились все важные документы большевиков, а также крупные ценности: сто двадцать семь миллионов рублей русскими кредитными билетами, два миллиона американских долларов, двести тысяч английских фунтов и четыре миллиона франков. Нам совершенно известно, что в Стокгольм привезены из Петрограда личные драгоценности семьи Романовых — императорская корона, держава и скипетр, осыпанные бриллиантами мирового значения, шапка Мономаха, бриллиант «граф Орлов» в четыреста каратов, несколько десятков пудов жемчуга и горностаевая мантия...»

Здесь Хаджет Лаше приостановился на секунду, чтобы впечатление от его сообщений глубже проникло в души присутствующих... Действительно, у членов Лиги светились глаза...

— «Упомянутые документы и ценности хранятся большевиками на трех частных квартирах в Стокгольме, местонахождение которых мы можем установить,— продолжал он.—Полковник Магомет бек Хаджет Лаше, который перенес от большевиков неслыханные нравственные и физические страдания и является человеком железной воли и энергии, предлагает достать все документы и ценности большевиков. Он готов принять на себя всю ответственность хотя бы перед публичным судом. Он имеет свою собственную организацию — стокгольмское отделение Лиги — из храбрых и вполне надежных людей, с которыми предполагается посетить упомянутые помещения и изъять у большевиков все их средства подкупа и преступной пропаганды».

Четыре шведских офицера сдвинулись головами, перешепнулись. Граф де Мерси, собрав горизонтальными морщинами лоб, разглядывал кончик карандаша. Американец плотно поджал губы.

— «Большевистская пропаганда подкапывает социальный строй всего мира. Потеря на полмиллиарда ценностей и опубликование всех их документов явились бы для большевиков бо́льшим ударом, чем даже воен-

ная карательная экспедиция, и помогли бы всем странам избежать крупных затрат и пролития крови. Полковник Магомет бек Хаджет Лаше снесся по вышеуказанному делу со шведскими властями и получил заверение, что в отношении посещения квартир ему не следует опасаться каких-либо затруднений, но что Швеция, как нейтральная страна, сама не может принимать участия в осуществлении плана изъятия. Этот план Лига целиком берет на себя. При этом мы хотим совершенно ясно установить, что по изъятии документы должны попасть в руки американской миссии и от лица Америки, как мирового арбитра, обнародованы в соответствующих органах».

— Очень хорошо,— быстро сказал американец.

— «Что касается денег и ценностей, то мы хотим, чтобы они были употреблены на образование русской белой гвардии для непосредственных действий против большевиков. Все конфискованные деньги Лига, в полном сознании долга, внесет на текущий счет в любой из банков, какой укажут союзники».

— Разумно,— со сдержанным волнением проговорил генерал Гиссер.

— «Для исполнения нашего плана требуется двадцать пять тысяч крон для следующих надобностей: для найма квартир, прилегающих к вышеупомянутым помещениям; для найма дачи где-нибудь вне Стокгольма, куда свозились бы конфискованные деньги и документы; для найма автомобилей, покупки оружия, подкупа разных лиц и на слежку за большевиками. Мы берем на себя смелость обратиться непосредственно к вам, господин адъютант, в надежде, что вы окажете вышеизложенному полное внимание, ибо каждый день дорог и большевики могут покинуть Стокгольм и увезти документы и ценности».

— Следуют наши подписи,— сказал Хаджет Лаше, бросая пенсне на листки письма.— Итак, господа, мы выходим из подполья и начинаем действовать с открытым лицом. Нам нужна нравственная поддержка, нужны средства, нужна защита. Деятельность Лиги покрыта тайной для наших врагов. Перед союзниками мы не имеем тайн, притом уверены в скромности здесь присут-

ствующих... Господа, вот краткий отчет деятельности Лиги за год... Мы получили от генерала Трепова семьдесят две тысячи крон, от принца Ольденбургского пятнадцать тысяч крон и триста тысяч думских рублей. Эти суммы целиком поступили в распоряжение генерала Сметанникова для внутренней подрывной работы в России. Далее: Лига организовала в Стокгольме бюро, куда вошли офицеры шведской королевской армии (поклон в сторону молочно-румяных шведов), задача бюро — формировать в Скандинавии и на побережье Балтики белые отряды для борьбы против Петрограда. Наконец, господа, я должен огласить наиболее щекотливую сторону моего доклада и делаю это с сознанием нравственной правоты. Дело в том, господа (в сторону графа де Мерси и американца), что по русским полевым законам семь кадровых офицеров имеют право вынести смертный приговор государственному преступнику и привести приговор в исполнение.

— Вот как? — беспечно спросил граф де Мерси.

— Да, граф... И пусть это не покажется вам проявлением личной мести или нарушением гуманности: Лига приговорила к смерти и казнила четырех опаснейших большевиков: Якова Фейгина, Иосифа Домбровского, Самуила Либермана и Алексея Фокина, он же — Браутман...[1] Совершая этот акт, Лига защищала благосостояние и покой миллионов культурных семейств, которые могли стать жертвой кровавого исступления вышеназванных лжепророков... Протоколы о времени, месте и подробностях казни будут в свое время переданы в американское посольство... Господа, я кончил. Господин лейтенант, позвольте вам вручить письмо для передачи господину атташе.

Американец секунду колебался, но взял письмо и медленно засунул его в набедренный карман френча. Лаше предложил обменяться мнениями. Все головы повернулись к графу де Мерси. Тот сломал, наконец, кончик карандаша.

— Кажется, нужно, чтобы я высказался? Мои дорогие дамы и господа... Что я могу прибавить к словам

---

[1] Имена и фамилии подлинные.

энергичного Магомета бек Хаджет Лаше? Я очень живо провел сегодняшний вечер. Надеюсь, в Париже с чувством удовлетворения воспримут новеллу моего друга Хаджет Лаше.

Покинув заседание, граф де Мерси и адъютант американского атташе не спеша шли по Ваза-гатан. Прохожих было мало. Бесшумно вверх и вниз по главной улице проносились машины. Ночной ветер неприятно подувал с залива.

— Все-таки маленький городок, не правда ли? — беспечно сказал граф де Мерси.

Американец шагал, глядя под ноги,— на этот раз он заговорил:

— Как вы относитесь к сообщениям полковника Магомета бек Хаджет Лаше?

— Татарин врет процентов на семьдесят пять,— беспечно ответил граф де Мерси.

— Сегодня мне показалось, что нас втягивают в грязное дело.

— Это не совсем так, дорогой друг.

— Вы находите, что бывают дела грязнее?

— Сегодня нам демонстрировали один из участков белого фронта, снабженного не совсем обычным оружием,— только и всего. Если большевики напускают на нас всех оборванцев всего мира, мы вправе спустить на них всю человеческую сволочь. Иногда профессиональный негодяй стоит целой стрелковой бригады.

— Я предпочел бы все же стрелковую бригаду,— мрачно пробормотал лейтенант.— Американская точка зрения может казаться слишком пуританской, но с этим приходится мириться.

— О, разумеется! — Граф де Мерси сделал изящно неопределенный жест.

— Если мы коснемся устоев нравственности, единственной непоколебимой реальности, Америка в тот же день взлетит на воздух... Я бы хотел выскоблить из памяти сегодняшнюю прогулку по ту сторону морали.

— Насколько мне не изменяет память, президент Вильсон развивал подобные же взгляды на Версальской

конференции. Но его не слишком горячо поддержали в Америке.

— Это наш позор! Президент выражал самые светлые стороны американского духа, наши старые традиции, создавшие Америку и американцев. История с президентом — наш позор! Война развратила людей. У нас оказалось слишком много денег. Окровавленные пожарища Европы, дешевые европейские руки, разоренная промышленность — это воистину сатанинское искушение! Ослепленные наживой, мы сами шаг за шагом втягиваемся в европейскую грязь — мы очутимся в ней по уши.

— Это ужасно,— с сочувствием сейчас же ответил граф де Мерси.

— Когда я пересекал океан, я думал, что найду Европу, искупившую свои грехи, смиренную от перенесенных несчастий... И нашел всеевропейский шабаш, торжество наглого и откровенного зла... Русская революция. Мы ждали ее, мы приветствовали освобождение России от феодальной тирании великих князей... Русские воспользовались свободой, чтобы поставить трон сатане. Русские цинично растоптали все нравственные законы. А вы пытаетесь из ведерка заливать этот адский пожар... В крестовый поход на Россию! С библейской суровостью вырвать плевелы зла! Не корпуса — миллионные армии с крестом на шлемах, с крестом на танках! Что я увидел за этот месяц в Стокгольме? Жалкую кучку беспринципных журналистов и мелкие посольские интриги... И этого полковника Магомета бек Хаджет Лаше, которому место несомненно на электрическом стуле...

Граф де Мерси весело рассмеялся, взял лейтенанта под руку.

— Я в восторге от вашей молодости и вашей принципиальности. Но все же, как вы думаете поступить с письмом Хаджет Лаше?

— Я передам письмо нашему атташе с моими комментариями.

— Если он все же найдет нужным воспользоваться некоторыми услугами Хаджет Лаше?

Лейтенант некоторое время шел молча, затем лицо его брезгливо сморщилось:

— Если бы мы были в Америке, не представляю, как бы мне могли задать подобный вопрос... Но здесь... на этих человеческих задворках!.. Если здесь возможно существование Магомета бек Хаджет Лаше, очевидно, я чего-то не понимаю... Я подчиняюсь...

— Превосходно... Вот мы и дошли... Очаровательный маленький кабачок. Вы не голодны? Зайдем. Я уже несколько дней собираюсь побеседовать с вами об одном милосердном деле: о продовольствии несчастного населения Петрограда. По-видимому, Юденич скоро освободит город, и во всю остроту встанет вопрос питания... Хотелось бы всю спекуляцию вокруг этого ввести в русло...

37

В старой узенькой улице на Стадене, близ корабельной стенки, при выходе из портового кабачка, охотно посещаемого журналистами в поисках живописного материала, Карл Бистрем столкнулся с четырьмя рослыми румяными шведами. Они были в одинаковых светло-серых шляпах и синих пиджаках. Они загородили тротуар и, когда Бистрем сошел на мостовую, его толкнули в плечо. Он вспыльчиво обернулся,— его окружили.

— Эй вы, господин в кепке!.. Вы умышленно толкнули нашего друга... Потрудитесь извиниться...

Несмотря на свои тяжелые мужицкие кулаки, Бистрем не любил драки. Этих к тому же было четверо. Он пробурчал, насколько мог примирительно, что в сущности не он, но его толкнули. Тогда четверо заорали:

— Ага! Он еще лжет!

— Лгун и трус!

— Мало тебя били по морде!

Задыхаясь от гнева, Бистрем сказал:

— По морде меня никогда не били... Прошу дать мне дорогу...

Но его так толкнули в спину, что он едва удержался на ногах. Он торопливо стал снимать очки, пятясь к стене. Но от второго толчка вылетел на середину улицы.

Уже не помня себя, размахнулся, сбил чью-то шляпу. Сейчас же в его трясущееся от ярости лицо ударили костяной рукояткой стека. Тогда он бросился вперед головой, схватил одного за мягкий живот, повалил... Рукоятки стеков замолотили по его голове, по шее, плечам... Затрещали ребра,—его били каблуками, повторяли:

— Провокатор, шпион, большевик...

На шум выбежали матросы из кабачка. Тогда эти четверо пустились бежать и в конце улицы вскочили в автомобиль. Матросы подняли окровавленного Бистрема — он сопел с закрытыми глазами. Повели в кабак. Усадили, захлопотали. Голова у него была рассечена в нескольких местах, глаз затек, губу раздуло. Ему водкой промыли раны, перевязали платками. Не разжимая зубов, Бистрем продолжал сопеть. Через зубы ему влили стакан рому.

Один из матросов, погладив его по спине, сказал:

— Будь уверен, дружище, тебя обработали за политику, мы эти дела понимаем... Дай срок,— мы расправимся с этими молодчиками. А ты — знай, стой на своем... И тебе это даже полезно, газетному писаке,—на своей шкуре узнал, что такое буржуа...

Костяные рукоятки стеков разрешили колебания Бистрема. Неделю пролежав в постели в ужасающем душевном состоянии, однажды утром, замкнутый, сосредоточенный, худой, заклеенный пластырями, с лимонным кровоподтеком на глазу, он появился в столовой у Ардашева.

— А! Бистрем, дружище!.. Ай-ай, где же это вы так?

— Это не играет теперь никакой роли, Николай Петрович. Я не буду рассказывать подробности... Я много думал и понял, что обижаться на дураков глупо... Я стал выше личной мести... Но зато я очень прочно утвердился в классовой ненависти...

За стеклами очков глаза его цвета зимнего моря были жестки. На угловатом лице — ни прежней открытости, ни добродушия.

— Вы когда-нибудь слышали о берсёркьерах, Николай Петрович? У скандинавских викингов некоторые из воинов были одержимы бешенством в бою, они сражались без щита и панциря, в одной холщовой рубашке. Их можно было убить, но не победить. За эти дни я почувствовал в себе кровь берсёркьера... Хочу просить вас, Николай Петрович, дать мне несколько рекомендательных писем в Петроград... Это пригодится на всякий случай... В дальнейшем я уже сам сговорюсь с большевиками...

— Слушайте, Бистрем, вы знаете, что ехать сейчас в Петроград совершенное безумие...

— Почему?

— Я вообще не представляю, как большевики отстоят город... Юденич неминуемо возьмет Петроград и зальет кровью...

— Значит, тем более мне нужно ехать. Кое-какую пользу я, наверно, принесу.

— Там террор...

— Революция всегда на внешнюю опасность отвечает террором, это лишь подтверждает ее жизнеспособность...

— Чудак... Вы там умрете с голоду...

— Не думаю... Я уверен — когда человек приносит революции самого себя, революция дает ему хотя бы двести граммов хлеба в сутки... На большее я не рассчитываю...

— Ну, дело ваше... (Ардашев иронически поглядел на Бистрема и почесал нос.) Но слушайте, если вы попадетесь белым на границе и на вас найдут мои письма?..

— Вы напишите их на тонкой бумажке, я положу ее в капсулю и на границе возьму капсулю в рот... Вы спокойно можете мне довериться, Николай Петрович...

— Хорошо, ладно... Кому бы только написать из видных большевиков? Предупреждаю, моя рекомендация — не ахти какая... Я пощупаю, вечерком приготовлю... Давайте завтракать...

— Благодарю, Николай Петрович, я уже начал приучать себя к суровому режиму...

Ардашев засмеялся было... Но нет... Перед ним — не прежний шутник Карл Бистрем, простодушный, веселый, как солнце. Получив согласие, что письма завтра будут, Бистрем медленно поднялся со стула, сдержанно поклонился и, кажется, даже секунду колебался, подавать ли руку, или уйти из этого мира, оборвав все ниточки до последней.

38

В конце августа, в седьмом часу вечера, красногвардеец, рабочий Путиловского завода, Иванов, сидевший на песчаной насыпи пограничного окопа под Сестрорецком, услышал со стороны финской границы осторожный хруст веток.

Иванов вытянул за штык из окопа винтовку и сощурился, чтобы лучше слушать. Хрустело и затихало. Как будто ползком пробирался человек. Вечер был безветренный и ясный. В конце недавно поваленной артиллеристами просеки лежало оранжевое море с сизыми и красными отливами. Иванову стало не по себе в этой странной закатной тишине. Следующий пост был шагах в трехстах.

Друг не поползет от финской границы,— очевидно. Значит, надо стрелять. Ну, а вдруг их там не один, а банда? Как действовать в таком случае? Оставаться на посту до последней капли крови или, заметив приближение врага, бежать к телефонному посту донести об опасности? Революционный пограничный воинский устав еще не был написан, он целиком вытекал из сознательного понимания бойцом задач революции и, в частности, обороны цитадели пролетариата — Северной коммуны.

Не решив еще тактической задачи, Иванов неслышно соскользнул с бруствера в окоп и, прикрываясь еловой веткой, поглядывал. Ни черта среди вечерних теней в лесу не было видно. Опять хруст,— ближе. Он изготовил винтовку... Подумал и на всякий случай вытащил ноги из разбитых до последней степени и обмотанных бечевками валенок. Угрюмая ворона пролетала над

просекой. Чем дольше Иванов ожидал, тем злее становилось на сердце. «Ползут, ползут проклятые гады, не могут успокоиться, что рабочий класс, разутый, раздетый, страдает за то, чтобы жить и работать справедливо».

Поправее расщепленной сосны заколебалась ветка. «Вот он!» Товарищ Иванов лег грудью на бруствер, выстрелил... Второй патрон заело. Захрустел зубами... Тотчас там за веткой чем-то замахали — и срывающийся от страха нерусский голос проговорил по-русски:

— Товарищи, не стреляйте, свой, свой!..

Ближайший пост ответил гулко, и сейчас же по всему лесу застегали винтовки.

А тот все вскрикивал: «Товарищи, не надо!..» Иванов вывел тактическое заключение, что, по-видимому, тут — один человек, угробить его никогда не поздно, а лучше взять живьем и допросить. Надрывая горло, Иванов заорал в сторону веток за расщепленной елью:

— Выходи на открытое, эй!

Ветки заворошились, и из-за хвои поднялся длинный человек, вздел руки над головой, в стеклах его очков блеснул красный закат. Высоко поднимая ноги, зашагал к окопу. Но Иванов опять бешено:

— Не подходи ближе десяти шагов... Устав не знаешь, сволочь! Бросай оружие...

— У меня нет оружия, товарищ...

— Как нет оружия! Не шевелись...

Иванов влез на бруствер, поедая глазами длинного человека в хорошей буржуазной одежде — короткие штаны в клетку, чулки; морда, конечно, трясется со страха, а рот растянул до ушей... Шутить хочешь? Мы покажем шутки!.. Держа винтовку наизготове, Иванов подошел к нему:

— Покажь карманы...

Левой рукой ощупал,— ничего подозрительного нет. Платок, спички, коробка папирос...

— Товарищ, пожалуйста, возьмите папиросу...

— Что такое? Подкупать,— это знаешь? Положь барахло в карман... Опусти руки. Кто такой?

— Я шведский ученый... Я иду в Петроград, хочу работать с вами... Мое имя — Карл Бистрем.

— Ты один?

— Один, один.

Иванов в высшей степени подозрительно оглядывал лицо и одежду человека:

— Документы есть?

— Вот, пожалуйста...

— Ладно... Иди впереди меня...— Дойдя с ним до окопа, Иванов стал кричать ближайшему постовому: — Эй, товарищ Емельянов!.. Шпиона поймал. Звони в штаб... (И — Бистрему уже спокойно.) Обожди тут. Придет разводящий, отведет тебя в штаб, там выясним... За переход границы — ты должен знать, что полагается.

— Товарищ, но я же не мог легально.

— Ладно, выясним... Как же белофинны тебя пропустили?

— О, я два дня скрывался в лесу... Я очень голоден, товарищ...

На это Иванов только усмехнулся недобро. Бистрем с возраставшей тревогой глядел на первого встреченного им большевика,— продранное под мышками черное пальто, подпоясанное патронташем, зеленый армейский картузишко с полуоторванным козырьком, босой, среднего роста, невзрачный, ввалившиеся, давно не бритые щеки, голодные скулы и чужие, не знающие жалости, умные глаза.

И вдруг Бистрем понял, что этот человек ничем человеческим с ним не связан. Он из другого мира. Что, перебежав границу Северной коммуны, он еще не попал туда... Что недостаточно поверить в революцию, предпочесть старому порядку этот неведомый мир (такой романтический, такой грозно трагический издали из бистремовской мансарды на Клара Кирка-гатан), но нужно что-то понять простое, совершенно ясное и простое, опрокидывающее внутри себя весь старый мир во имя неизбежного, совершенно нового. И тогда он увидит человеческий ответный взгляд в глазах этого невзрачного и голодного рабочего, чьи негнущиеся руки лежат — ладонь на ладони — на дуле винтовки.

Бистрем холодел от волнения. Стояли молча: Бистрем — засунув руки глубоко в карманы спортивных

штанов, Иванов — терпеливо поджидая разводящего. Негромко, будто отвечая на мысли, Иванов сказал:

— Хоть ты не сопротивлялся и взят без оружия, но твое положение отчаянное, прямо говорю...

— У меня с собой письма, рекомендации...

— Да что же письма... От тебя на версту буржуем несет... Кто тебя знает, кто ты такой... Возиться, знаешь, теперь не время, каждый человек опасен...

— Товарищ, разве вы не можете представить, что в буржуазной Европе есть вам сочувствующие, которые хотят бороться вместе с вами?..

Иванов ответил не сразу, предостерегающе:

— Хочешь меня уговорить, чтобы я тебя отпустил, да?

— Товарищ!.. (Бистрем сказал с искренней горячностью.) Я не хочу от вас бежать... Я сам прибежал к вам...

— Это и подозрительно... И опять тебе здесь нечего делать... У нас война со всем миром...

Помолчали. Мрачнеющий закат лежал на море в конце просеки. В лесу было уже совсем темно. Из-под откоса, куда спускался окоп, слышалось дыхание идущих по песку людей. Товарищ Иванов вздохнул: идут. Поднял винтовку — ложем под рваную подмышку.

— Конечно, есть среди вас совестливые, не все же огулом белобандиты,— сказал он примирительно.— Посмотреть, что ли, захотел, как мы без вас справляемся? Так, что ли? — Он поднял глаза, и они сузились насмешкой.— Не понравится тебе... Работа у нас черная, тяжелая... Это, брат ты мой, революция, не как в книжках... Читать ее трудно...

Подошли трое, в пиджаках, в куртках, перепоясанных патронташами и пулеметными лентами,— те же суровые худые лица, отрывистые голоса.

— Который? Этот? — спросил разводящий, указывая наганом на Бистрема.

Двое других стали по сторонам.

Иванов рапортовал:

— Оружия на нем не было, попытки к бегству не делал, руки поднял, идет на меня, смеется... Прямо думаю — что такое за человек? Вот письма на нем к пи-

терским товарищам. Я с ним поговорил... Идеалист — сочувствующий...

— Вы задержаны, товарищ,— сказал разводящий.— Следуйте за нами.

Держа в опущенной руке револьвер, он пошел по песчаной насыпи вниз по откосу, за ним зашагал Бистрем,— руки в карманах,— за ним два красногвардейца...

Его привели на уединенную дачу на пустыре, с разрушенными службами и выбитыми стеклами. Заперли в одной из комнат, в нижнем этаже. Он изнемог от усталости и голода, сел на какой-то ящик. За единственным окном над догоревшим закатом зажглась звезда.

«Чего ты, собственно, ждал, Карл Бистрем? Вот ты на земле Великой Революции. Ждал, чтобы земля эта сотряслась, перед тобой бы проходили колонны великанов и небо иного цвета было, чем над Стокгольмом?»

Подпирая скулы так, что очки взлезли на лоб, он вспоминал слова товарища Иванова.

«Ты ехал на праздник, Карл Бистрем,— тебя сразу раскусили... Вот она, революция — полутемная комната на заброшенной даче, мертвая усталость и горькая слюна голода... Дырявое пальтишко на голом теле, унылый окоп, ржавая винтовка. Нет, Карл Бистрем, ты не идеалист, не романтик... Ты не отступишь перед унынием революционных будней... Загляни хорошенько в самого себя,— честно, как перед смертью... Веришь в начало великого наступления Пролетариата? Веришь, что пробил первый час века Социализма?»

Бистрем встал с ящика и заходил по гнилому полу, где между щелями пробивалась трава. Будто горячее вдохновение охватило его голову. И, стараясь обуздать разбросанные мысли, он с методичностью и беспристрастием захотел еще раз проверить выводы.

«Русская революция одним взмахом зачеркивает прочное буржуазное хозяйство. Она отказывается от эволюции, она считает идею эволюции самой хитрой и опаснейшей ловушкой, расставленной, чтобы выиграть время одурманиванием пролетариата... Буржуазное хозяйство не оправится от смертельной язвы войны... Рав-

новесие уже нарушено, и противоречия будут расти с каждым годом, как раковые опухоли. Русская революция опережает естественный процесс разложения старого порядка, этим она спасает запасы творческой энергии пролетариата. Это правильно. Мы спасаем одно, два, может быть, три поколения... На три поколения приближаем социализм и будем строить его со всем буйством неистраченных сил...»

Он потер ладонью о ладонь и только тогда заметил стоящего у дверного косяка человека в кожаной куртке, в черном картузе. На бледном — в сумерках — лице его черная борода казалась приклеенной.

— Ну что же, пойдем побеседуем, Карл Бистрем,— сказал он негромко.

Он пошел вперед по темному коридору и толкнул дверь в небольшую комнату, едва освещенную огоньком фитиля, плавающего в жестянке из-под консервов. Сел у стола, указал Бистрему клеенчатое изорванное кресло:

— Осторожнее, нет одной ножки.— Слабой рукой выдвинул ящик, вынул завернутый в обрывок газеты продолговатый, в два пальца толщины, кусок черного хлеба. Протянул его Бистрему.— Ешьте... Здесь ровно двести граммов, все, что революция предлагает за вашу жизнь.

Бистрем опустил руку с куском, уставился на человека: озаренное огоньком коптилки матово-бескровное лицо чахоточного, большие, без блеска, без любопытства, черные глаза. Вся жизнь никогда не смеявшегося лица сосредоточена, казалось, в широких нервных ноздрях. Он глядел не мигая, но будто и не видя сидящего перед ним...

— Откуда вы знаете про хлеб? — со страхом спросил Бистрем.

— Вы же разговаривали вслух. Я могу повторить: «Когда человек приносит революции самого себя, революция должна дать ему хотя бы двести граммов в сутки...»

— Да, да, меня очень занимал этот вопрос... Я думал, что острые материальные лишения, неизбежные во время революции, раскрывают огромные запасы духовной энергии, дают революции специфическую, неотрази-

мую убедительность... Но я готов оставить эти рассуждения по ту сторону границы... Сегодня я получил хороший урок...

— Вы рисковали получить урок более суровый,— сказал человек. Не разжимая рта, подавил кашель.— Вопрос питания — один из самых страшных у нас. Мы не можем утешаться тем, что у голодного человека рождаются гениальные мысли. (Щеки Бистрема залились румянцем.) С другой стороны, мы не можем снабжать население кулацким и спекулянтским хлебом... Под этим хлебом мы похороним социализм... Кусок, который вы съели,— отвратительный хлеб, пополам с так называемой кострой, но, чтобы его добыть, затрачены человеческие жизни. И все же мы не отступаем от такого дорогого хлеба... Ну, так вот... Я прочел ваши рекомендательные письма. Звонил в Петроград по поводу вас... Вы — свободны... (Бистрем сейчас же поднялся. Человек заслонил просвечивающей рукой с черными ногтями заколебавшийся огонек светильни.) До первого поезда много времени. Может быть, вы расскажете поподробнее о политической обстановке в Европе, об организациях, о людях. Позвольте вам поставить несколько вопросов... Скажите, вы не встречали в Стокгольме такого — Хаджет Лаше?

Утренний поезд тащился по заросшему травой полотну. Безлюдье и запустение, дачи с выбитыми окнами, поваленные заборы, фундаменты и груды кирпича... Болота, пни... Ржавые проволоки окопов... Направо — заросшая камышами Лахта, негреющее солнце над пустым заливом. Вдали — необъятный город. Ни одного дыма в прозрачном воздухе над городом. В море — синеватые очертания Кронштадта.

Бистрем думал о ночном собеседнике. (Под утро, когда они пили морковный кипяток, человек рассказал кое-что про себя.) Одиннадцать лет царской каторги. Туберкулез, видимо, в последней стадии. Жизнь — в напряжении воли. Он сказал: «Вам придется отрешиться от многого того, что еще вчера по ту сторону границы вы считали дурным или хорошим. Резко и непримиримо от-

делить врагов от своих: классовое чутье поддается развитию. Ум должен быть устремлен к одной цели, направлен, подчинен воле революции».

Бистрем был подавлен и испуган. Будто попал в чудовищный водоворот, и он несет его от сегодняшнего дня в неведомое — прочь от всего привычного и обыденного... Он сидел у выбитого окна. Вагон медленно полз мимо заросших бурьяном огородов. Несколько человек разбирали деревянную дачу. Как будто вымершее предместье, покосившиеся фонарные столбы. Остовы печей и дымовых труб. Белая коза на пригорке в бурьяне. Пакгаузы с сорванными дверями, на путях — ржавые паровозы, платформы с пушками. Вокзал, и на перроне — суровые люди с винтовками.

Бистрем вышел на безлюдную площадь,— окопы, заграждения из мешков и проволоки. Достал клочок бумаги с адресом Смольного и номером комнаты, где должен был зарегистрироваться, прикрепиться к комиссариату народного просвещения, как ему посоветовали сегодня ночью, и получить паек и жилплощадь. Он побрел вдоль ржавых трамвайных рельсов, скрытых под травой. Перешел Большую Невку, где из воды торчали заплесневелые ребра огромных барок.

Понемногу стали появляться обыватели. Сутулый человек с мешком и жестянкой от керосина за спиной в раздумье стоял на перекрестке — ноги обернуты кусками ковра, сваливающиеся штаны, редкая бородка, пенсне на унылом носу. Размышлял, казалось, куда идти? На солнышке между тенями от домов лежали два босых мальчика и худенькая девочка, кусали травинки, долго провожали взглядом не по-русски одетого Бистрема. В темном доме с колонным подъездом, высоко, в раскрытом окне, стоял, заложив руки за спину, очень полный человек в нижнем белье, в золотых очках,— круглой серебристо-седой головой и насмешливым лицом походил на римлянина. Его просторные штаны, проветриваясь для гигиены, висели на оконной задвижке. С полнокровным благодушием он глядел на город. Бистрем изумился. Полный человек, перегнувшись через подоконник, с усмешкой следил за ним.

Дойдя до конца улицы, Бистрем остановился,— эту

решетку, галерею Зимнего сада и балкончик во втором этаже он узнал по фотографиям. Отсюда Ленин поднял революцию. Присев под липой напротив в сквере, Бистрем глядел на этот дом из глазированных кирпичей, на огромную, доходящую пустырями до реки, Троицкую площадь с ветхой деревянной церковью, на низенький дощатый купол цирка, на серые башенки и гранитные бастионы крепости. Тишина, лишь в сквере шелестели липы.

Отдохнув, Бистрем направился через Троицкий мост, укрепленный предмостными окопами. Отсюда ему открылась широкая, лазурно сверкающая в тот час Нева. Вдали отражались белые колонны Биржи, старые ивы у подножья крепости. Течением мягко разбивался золотой отсвет иглы Петропавловского собора. На левой стороне тянулись колоннады опустевших дворцов.

Величественный, прекраснейший из мировых городов, казалось, задремал на берегах полноводной реки, на грани двух миров, двух эпох, отдыхая от пронесшихся бурь, от видений прошлого, окаменевшего в этих колоннадах, в бронзовых львах, вечно улыбающихся сфинксах, в черном ангеле на яблоке Петропавловского шпиля, и сквозь дремоту ожидая новых, еще неведомых потрясений, чтобы раскрыть гранитные глаза на вторую жизнь.

Бистрем, облокотясь о перила, поддался неизбежному очарованию Петербурга.

По мосту двигалась странная толпа. По двое, по трое в ряд: дамы в старомодных шляпках, истрепанных непогодой, иные в необычайной одежде, сшитой из портьер и диванных обивок; длинноволосые люди с истощенными комнатными лицами, иные — бритые, круглощекие, с остатками щегольства в одежде — напоминали поставщиков и спекулянтов времен войны; глядя поверх опустошенными глазами, шагало несколько рослых стариков с породистыми презрительно-удивленными лицами; молодые женщины — одни заплаканные, другие — с вызовом самому черту...

Все они несли лопаты, кирки и заступы. Впереди бойко шел, ухмыляясь белыми зубами, матрос с железной лопаткой на плече,— маленькая шапочка с ленточками,

на загорелой груди под тельником — татуированное сердце. Поворачиваясь к толпе, он пятился и подмигивал:

— Бодрее, братишки, подтянись, антиллигенты!

Бистрем последовал в некотором отдалении за толпой. С Дворцовой площади свернул на Невский,— там на буграх илистой земли, на кучах булыжника и торцов копошились сотни людей. Поперек Невского, вдоль решетки Александровского сада, рылись окопы, строились укрепления. Подошедшая толпа медленно, поодиночке, расползлась по канавам. На перевернутой бочке агитатор, работая кулаком, выбрасывал отрывистые фразы:

— ...не отдадим белой сволочи первого города республики!.. Прихвостни мирового капитализма рассчитывают на наш голод, на затруднения с углем и металлами... Они просчитаются, товарищи... Ответим на их бешеные вылазки сплочением наших рядов... Вырвем хлеб у кулака!.. Паркетами буржуазных особняков будем топить фабричные котлы, переплавим на штыки решетки дворцов... С большевистской беспощадностью раздавим заговоры... Каленым железом отбросим от Петрограда кровавую свору белогвардейских собак... Товарищи, каждый удар лопатой — удар по гнусным замыслам контрреволюции.

Его не все слушали,— иные равнодушно продолжали копать, иные, опершись о лопату или держась обеими руками за поясницу, глядели в землю; на лицах — отвращение и страдание. Сухонькая старушка, остановившаяся около Бистрема, сказала, точно ткнула шилом:

— Сами себе могилу копают...

Бистрем шел по Невскому к Октябрьскому вокзалу. Все то же, мало ему понятное двойственное впечатление... На перекрестках улиц — окопы, блиндажи, орудия, штыки часовых. На простреленных окнах магазинов и заколоченных дверях — кричащие угловатые плакаты о борьбе, о борьбе... Подскакивая по выбитым торцам в седле мотоциклета, проносится суровый усач, весь в коже. А вереницы прохожих бредут посреди улицы медленно и рассеянно, как во сне. У каждого за спи-

ной — мешок, жестянка, кошелка. Стоят очереди. У выходящих из распределительного пункта — в руках лавровый лист и селедка. По трамвайному пути ползет платформа с бревнами и досками. За платформой движется длинная очередь.

Подъезды иных домов оживлены,— люди входят и выходят. Бистрем читает надписи: «Народный университет».. «Академия искусств»... «Высшая школа хореографии»... «Музыкальная академия»... «Студия народной драмы»... По-видимому,— так представляется ему,— весь этот бредущий по Невскому народ занят искусствами и наукой... Но вот — музыка, сверкающие трубы: «Интернационал»... Прохожие сердито оборачиваются. Плывет шелковое пурпуровое знамя и за ним — по-особому, в полшага — неторопливо шагает отряд человек в пятьсот. По одежде — рабочие, молодые, худые, возбужденно решительные лица. Винтовки, вещевые мешки. Посреди отряда лозунг: «Опрокинем деникинские банды в Черное море»... Походная кухня, десяток молоденьких девушек в солдатских шинелях с красным крестом на рукаве, повозки с пулеметами, с поклажей.

Прошли, и снова прохожие, как во сне. Лошадиные ребра на мостовой у Гостиного двора. Расстрелянный фасад и рыжие колонны Аничкова дворца. Бронзовые кони на мосту. На углу Литейного — опять трудовая повинность буржуазии. Снова — конская падаль. Ямы провалившейся мостовой. Площадь Восстания перед вокзалом запружена ручными тележками. С криками и руганью проходит военный обоз. Отряды рабочих дожидаются посадки. По всему белесому облупленному фасаду Северной гостиницы — наискось — истрепанная непогодой кумачовая полоса: «Все, как один, на борьбу за власть Советов, за Социализм»...

Посреди площади, вокруг забрызганного грязью и лохматого от обрывков плакатов дощатого куба, прикрывающего чудовищную громаду бронзового императора, сидят и полеживают мужики, деревенские бабы. Посматривают на суету площади, на умственные надписи, на тысячи заманчивых окон многоэтажных домов.

Пришли ли эти люди для торга, или как разведчики приглядеться, не пора ли окружать обозами город, по-

жравший в книжном безумии царя, и господ, и купцов и теперь свирепо отталкивающий мешок с хлебом, куль картошки, телячью тушку из рук «кормильца-мужичка»? Дело ясное,— торопиться некуда, чему созреть — созреет, само упадет в руки... А покуда за стакан мучки, за шапку картошки мешочники привозили домой граммофоны, зеркала, двуспальные кровати, всякие барские пустяки... Деревенские кулаки ждали этого часа долго и желали теперь многого.

Один из мужиков, плечистый, черноволосо-кудрявый, с припухшим красным лицом, окликнул Бистрема:

— Гражданин!.. (Бойко вскочил и пальцем зацепил за часовую цепочку на пиджаке Бистрема.) Почем?

— Я не продаю.

— А то хозяйка кое-что на дорогу мне завернула, уступил бы...

Из-под мышки взял сверток в тряпице, сокрушаясь о явной потере, осторожно развернул,— четверть краюхи хорошего хлеба, два каленых яйца, луковица.

— Чапоцка мне и не нужна, так-то уж говорить, да вижу — добрый человек, отчего не выручить... На, получай все, бог с тобой...

Голодной слюной наполнился рот у Бистрема, в голове помутилось от тошноты. Отстегнул цепочку. Взял хлеб, яйца, луковицу...

— Постой, а может, часы продашь?.. Тута у меня (понизив голос) на одной квартире поросенок полугодовалый...

Не отвечая, Бистрем пошел прочь. Мужик — за ним. Уговаривая, схватил за плечо. Бистрем — с гневом:

— Послушайте, вы пользуетесь моим голодом, вы дурной человек, вы спекулянт...

39

В часы досуга главнокомандующий белой северо-западной армии, наступавшей на Петроград, генерал Юденич для упражнения читал своей жене вслух по-французски.

Читал он не слишком бойко — всего полгода назад взялся за изучение языков. Читал обычно, сидя у окна (в серой тужурке и ночных туфлях), держа на отлете перед строгими глазами желтенький томик «Клодина в Париже». Генеральша за ширмой разогревала на керосинке тушеную капусту. Супруги Юденич были не скупы, но мудры,— они трезво сознавали, что их жизнь в Ревеле — не жизнь, но случайный этап, что политика и война превратны, и умный, желая стать хозяином превратностей, должен терпеливо подкопить нешатающиеся от всяких революций ценности, доллары, золото.

Генерал, запинаясь, строго читал:

— «Фиалковые глаза Клодины смеялись, и крошечные розовые соски на двух прелестных выпуклостях, просвечивающих под ароматным батистом сорочки...»

За ширмой генеральша перебила:

— Совсем не так... Грудь, женская грудь, будет не «сан», а «эс!»—«и»,—«эн», причем «и» почти не слышно,— «с'н»... Тебя не поймет ни одна француженка...

В голосе генеральши послышалось раздражение. Генерал повторил вполголоса:

— Грудь — «с'н», грудь — «с'н»...— Затем вздохнул, как человек, взобравшийся на холм.

В дверь постучали. Вошел свежий, улыбающийся, в английском ловком френче, адъютант — барон фон Мекк.

— Ваше высокопревосходительство, из Стокгольма — миссия полковника Магомета бек Хаджет Лаше... Он хотел бы...

— А! Знаю — Лаше...

— Может быть, вы изволите принять запросто?..

— А? Да, да... Только, голубчик, дайте-ка мне из-за ширмы штиблеты...

Генерал закрыл томик «Клодина в Париже», не спеша натянул старые, еще петербургской постройки, зеркально вычищенные башмаки на резинках и, заложив руки за спину, прошелся по комнате.

Фон Мекк ввел полковника Хаджет Лаше. Генерал полуофициально предложил ему занять место на голубого шелка диванчике. Сам опустился коротким туловищем в кресло,— плечи поднялись, небольшая голова с

волосами ежиком ушла в плечи, и огромные подусники величественно легли на широкие без звездочек погоны с зигзагами.

— Чем могу служить, полковник?

— Ваше высокопревосходительство, я говорю от имени Лиги спасения России...

— Знаю, наслышан, весьма одобряю вашу патриотическую деятельность, голубчик...

— Ваше высокопревосходительство, когда вы рассчитываете взять Петроград?

Седоватые подусники сдержанной усмешкой шевельнулись по золотым погонам. Касаясь пальцами пальцев, опустив покачивающуюся голову, Юденич ответил:

— Когда поможет бог, полковник, когда поможет бог...

— Ваше высокопревосходительство, Лига берет на себя смелость поставить вас в известность, что огромное количество национальных ценностей может бесследно ускользнуть от вас... Большевики лихорадочно перевозят из Петрограда на территорию Швеции, как нейтральной страны, валюту, золото, камни... По нашим сведениям, на трех частных квартирах в Стокгольме спрятано ими свыше полумиллиарда...

Подусники замерли, генерал, казалось, перестал дышать. Затем голова его начала подниматься, и немигающие глаза, как два зенитных орудия, уперлись в полковника Лаше:

— Потрудитесь объяснить подробнее...

Хаджет Лаше рассказал о деятельности Лиги, подчеркнул участие шведской гвардии и представил обширный список добровольцев, вступивших в Лигу (это был лист, заполненный в Берлине в гостинице «Адлон»). Генерал нашел в списке много знакомых имен, немало боевых товарищей,— иных он считал давно погибшими от руки большевиков. Читая, засопел.

Хаджет Лаше подробно перечислил сокровища царской короны. Когда он упомянул о шапке Мономаха, генерал тяжело поднялся с кресла и в волнении отошел к окошку,— короткие пальцы его за спиной сжимались и разжимались...

— Ваше высокопревосходительство, я своими ушами слышал в Стокгольме, в ресторане: большевистский курьер Леви Левицкий в нетрезвом состоянии публично похвалялся другому большевику, Ардашеву, что будто бы примерял на себя шапку Мономаха и садился на кресло с державой и скипетром... Российская реликвия на еврейской голове!..

Юденич поднял, опустил плечи.

— Прекрасно-с... Они заплатят... (Пальцы заработали за спиной.) Жестоко заплатят...

— Чтобы спасти эти священные ценности, нам нужно, по скромному подсчету,— на слежку, наем помещений, автомобили, покупку оружия — двадцать пять тысяч крон... Лига ходатайствует, чтобы вы вместе с этими суммами прикомандировали к нам доверенное лицо для наблюдения.

Генерал вернулся в кресло, жирный лоб его прорезывала морщина.

— Я должен подумать... Дело весьма щекотливое... В европейской столице расправляться своими средствами!.. Гм... Мы-то знаем, у кого берем и что берем, но щепетильные европейцы!.. Люди вы горячие, батенька, ухлопаете там парочку еврейчиков... Да еще двадцать пять тысяч... Гм...

Генерал с той минуты, когда было упомянуто о двадцати пяти тысячах крон, начал поглядывать на ширмы, где шипело и пахло сальцем. Лаше, проведя ладонью по лбу, сказал с мягкой задушевностью:

— До взятия Петрограда остается — три, ну — два месяца... Но пока я не вижу других путей поддержать ваши бумажные деньги, ваше высокопревосходительство...

Генерал отвлекся от ширмы, насторожился:

— Не улавливаю связи.

— Вы помните провокационную заметку об английском обеспечении ваших денег, печатающихся в Гельсингфорсе? Она исходила от компании — Леви Левицкий, Ардашев, Бистрем. Одного из них Лига ликвидировала... За последние дни нам стало известно,— и это одна из причин моего приезда в Ревель,— что английский государственный банк не сегодня-завтра опубли-

кует опровержение... Ваше высокопревосходительство, сам господь бог не спасет вас от инфляции, от катастрофы с кредитами и так далее...

— Мои деньги, господин полковник Лаше, обеспечены всем достоянием государства Российского...

Но тут полковник Магомет бек Хаджет Лаше не то что бы подмигнул как-нибудь неприлично,— жирноносое лицо его осталось невозмутимым,— изменился лишь цвет глаз, они будто просветились веселой иронией.

— Перед отъездом я беседовал с небезызвестным биржевым деятелем Дмитрием Рубинштейном. Он откровенно высказался, что готовится к большой игре, но не решил еще — валить ли ему финскую марку и поднимать рубль вашего превосходительства, или поднимать финскую марку и валить рубль вашего высокопревосходительства...

— Ах, вот как! (Генерал беспокойно потерся спиной о спинку кресла.) На чем же Рубинштейн основывает недоверие к моему рублю?

— Не к вашему рублю, но к российскому рублю... Европейская биржа рассматривает Россию как банкрота на долгий период времени... Проблема русского банкротства — мировая проблема. Русские долги, задолженность по внешним займам, разрушение промышленности, транспорта, шахт, нефтяных вышек, сельского хозяйства — это колоссальнейший пассив. Рубинштейн исчисляет его миллиардов в сто золотых рублей. (Генерал крякнул.) В активе только — будущая твердая власть. Под нее союзники могут дать денег на возрождение русской промышленности и сельского хозяйства. А могут и не дать... Но покуда русский рубль — пусть на острие победоносного белого штыка — стоит не дороже бутылочной этикетки...

— Так, так,— сказал Юденич.— Ага, вот как! А если я как следует умиротворю Петроград?

— Это уже много... Но, ваше высокопревосходительство, деньги нужны сейчас... Я просил Рубинштейна обождать несколько дней... Если я скажу ему, что в ваших руках будет на полмиллиарда валютных ценностей, разумеется, он не станет колебаться в выборе между рублем и финской маркой...

Генерал все еще не решался. Больше всего его напугал Митька Рубинштейн. Но двадцать пять тысяч крон тоже было не легко оторвать. Он сказал, что хочет посоветоваться с начальником снабжения генералом Яновым, и попросил Лаше оттянуть вопрос о деньгах до завтра.

Хаджет Лаше решил не утруждать главнокомандующего остальными чрезвычайными вопросами и с полным составом миссии (в Ревель он приехал с Левантом, Вольдемаром Ларсеном — датским коммерсантом и одним из четырех шведских офицеров — членов Лиги) явился к правой руке генерала Юденича — генералу Янову.

Генерал Янов был «с мухой» после обеда и повышенно встретил гостей. Денщик «соорудил» кофе с коньячком. Сели вокруг преддиванного стола. От генерала веяло здоровьем и оптимизмом,— закрученные усы, раздвоенная бородка, подвижные брови на низеньком лбу, расстегнутая гимнастерка с мягкими генерал-майорскими погонами и короткие крепкие ляжки ёрника... Он сразу «овладел настроением». Предложил чудные папиросы:

— Табак настоящий — довоенный Месаксуди... Один тип ухитрился вывезти из Петрограда полвагона этого табаку и загнал его к нам во время наступления... Гений, честное слово!.. Вот это (хлопнул по валяющейся на плюшевом диване папке с бумагами) одни его проекты... Тут и колбаса для Петрограда, дрова, и картошка, и полсотни американских аэропланов. Как он умудряется ставить такие цены — на тридцать процентов дешевле, поражаюсь... Уверяет, что из чистого патриотизма, честное слово...

Хаджет Лаше высказал, что действительно патриотов гораздо больше, чем это кажется, по той причине, что истинный патриот не шумит и не кричит, но делает свое скромное и незаметное дело.

— Пусть при этом что-то положит в карман, малую крупицу,— нужен же какой-то материальный «стимул», кроме голой идеи. Правда?

— Стимул! Совершенно верно, полковник...

— Мы тоже люди, ваше превосходительство...

— Совершенно верно, полковник...

Чисто одетый денщик, работая под придурковатого, принес кофе, раскупорил коньяк. Генерал Янов пробасил; указывая на его припомаженный чуб, вздернутый нос, часто мигающие русые ресницы:

— Вот — рожа расейская, решетом не покроешь, а поговорите с ним. Ну-ка, Вдовченко... При покойном государе-императоре хорошо жилось тебе?

Вдовченко — руки по швам, нос кверху — рявкнул:

— Так точно, ваше превосходительство.

— А почему? Объясни толково.

— Так что — страх имел, ваше превосходительство.

— Молодец... Ну, а скажи ты, милостью революции освобожденный народ, что ты сделаешь в первую голову, когда с оружием в руках войдешь в Петроград?

— Не могу знать, ваше превосходительство...

— Отвечай, болван...

— Так что — стану колоть и рубить большевиков, жидов, кадетов и всех антилихентов...

Генерал руками развел:

— Пасую, господа... Что я буду делать с этим народом! Слушай, Вдовченко, троглодит, ну, а что бы тут сидели наши министры — Маргулиес или Горн,— и ты бы им так вот брякнул... Заели бы меня, болван! (Открыл крепкие, как собачья кость, зубы, загрохотал.) Живьем бы съели... Сгинь, харя деревенская!.. (Денщик повернулся вполоборота, по-лошадиному топая, вышел.) Да, господа, беда с нашими либералами... Мечтатели, российские интеллигенты... Реальной жизни знать не хотят... Кофейку, господа, коньячку...

Хаджет Лаше заговорил за коньячком:

— Либерализм, как оппозиция — залог кредита... У нас в России часто не понимают, что политическое приличие дороже искренности. Мы еще варвары, простите за словечко, генерал...

— Пожалуйста, пожалуйста, дорогой.

— Наших друзей-союзников не нужно заставлять морщиться от неловкости. Господа, тот же Клемансо, Ллойд-Джордж, Черчилль покидают же когда-то деловой кабинет и садятся за обеденный стол с изящными женщинами. Не будем пачкать этим людям их вечерних

сорочек... Либеральные министры, Маргулиесы и Горны — это тот маленький комфорт, которого у нас вежливо просят, и, поверьте, дорогой генерал, эти мелочи приносят иногда больше выгод, чем военные успехи...

Генерал Янов, неподвижно выкатив бутылочные глаза, с удивлением слушал полковника Лаше. Черт его возьми — европеец! Потянулся за рюмкой, выпив, покрутил головой:

— Да... Политика... Извольте видеть, нам из Парижа Савинкова навязывают. Социалист, бомбометатель. Нет уж, пардон. Может быть, я чего-то не понимаю, но, ей-богу, повешу... Да и вообще... (Чтобы не брякнуть лишнего, хлопнул еще рюмку.) Так что же вас привело, господа, в нашу чухонскую дыру?

Шведский офицер Иоганн Гензен, похожий на гигантского младенца, и датский коммерсант Вольдемар Ларсен, с дряблым животом и маленькой востроносой головой, не понимали по-русски, с достоинством терпеливо улыбались, воспитанно попивая коньячок. Хаджет Лаше перешел к делу, широким жестом указал на скандинавов:

— Дорогой генерал, перед вами потомки тех самых древних варягов, которым русские когда-то сказали: «Земля наша велика и обильна, но порядка не имам»... (Он перевел эти слова по-датски. Все рассмеялись, чокнулись.) Ходатайствую за них в интересах Лиги, дорогой генерал. Гензен и Ларсен — наши активные сотрудники, горячо любят Россию и в данном случае руководятся более идейными соображениями, чем личной выгодой... Но,— несовершенство человеческой природы,— одними светлыми идеями сыт не будешь... Конкретно предложения таковы: лейтенант Иоганн Гензен интересуется псковским и гдовским льном.

— Ага,— басом сказал генерал Янов,— представляю.

— Лейтенант Гензен хотел бы оформить концессию на вывоз льна и кудели не из вторых рук — от эстонских скупщиков, а непосредственно от русского интендантства. Условия чрезвычайно выгодные,— с валовой выручки десять процентов интендантству. И обязатель-

ство: при заключении договора поставить в северо-западную армию четыре тысячи добровольцев, лучших стрелков Швеции, коим по окончании войны российское правительство должно предоставить свободные земли для поселения.

Генерал Янов настороженно стучал ногтями по столу.

— Счастливая идея, есть о чем подумать...

— Второе касается моего друга, фанатика России, Вольдемара Ларсена. (Маленькое остроносое личико Ларсена закивало дружественно.) Предложение его таково: концессионный договор на двадцать пять лет на сдачу господину Ларсену петроградского городского хозяйства — водопровода, трамвая, электричества и телефона. В день взятия Петрограда Ларсен вносит первый денежный аванс. Но, идя навстречу нуждам армии, он готов теперь же поставить интендантству тысячу тонн колбасы лучшего качества, с уплатой половины в русских и половины в финских деньгах... Вот в общих чертах... И тот и другой считают, что, минуя министерство снабжения, то есть говоря непосредственно с вами, они короче идут к цели. Господа Ларсен и Гензен были бы в восторге скрепить дружбу вещественными узами...

Отвыкший от европейских форм разговора генерал Янов испытывал душевное напряжение, глаза его налились кровью.

— Я доложу главнокомандующему... Он озабочен, надо вам сказать, вопросом пополнения особого безотчетного секретного фонда...

— Ну да, да, суммы на контрразведку и так далее...

— Именно... Скажите этим господам откровенно, так сказать,— в данном случае желательно, чтобы они пополнили секретный фонд исключительно американской или английской валютой... Мы, так сказать, договоримся, я, так сказать, приму без расписки, и договоры оформим... Генерал Юденич так именно и выскажется, я уверен...— Генерал Янов отдулся, вытащил шелковый платок, провел по усам и уже облегченно гаркнул: — Эй, Вдовченко! Слетай в буфет,— две бутылки шампанского и миндального печенья...

40

Вернувшись в составе всей миссии к себе в номер, Хаджет Лаше потребовал минеральной воды и некоторое время сосредоточенно ходил, стиснув за спиной руки. Остальные члены миссии сидели.

— Ваше дело со льном, петроградской концессией и колбасой — на колесах... Мошеннику Янову сунуть пятьсот долларов, Юденичу — тысячи полторы... (Вольдемар Ларсен тяжело вздохнул.) Но с кредитами для Лиги — хуже, да — хуже... Мне не понравился главнокомандующий,— мелочной человек, глупый, ленивый хохол... На Кавказе этот орел зажал большую валюту на продаже курдских земель и врет — большевики у него ни крошки не конфисковали, все перевел за границу. Информация о царских сокровищах произвела на него некоторое впечатление, но, едва я упомянул о двадцати пяти тысячах крон, упал духом... Широты — нуль...

Иоганн Гензен произнес презрительно:

— Псст!.. (Вложил в рот сигару, дым — к потолку, и снова, вынув сигару, уже удивленнее.) Псст!

Вольдемар Ларсен, обладавший умом более острым, заметил осторожно:

— Быть может, у господина главнокомандующего более достоверные сведения о местонахождении сокровищ царской короны?

Лаше круто остановился, бешено взглянул на Ларсена:

— Прикажете понимать как недоверие к оперативному отделу Лиги?

— Сохрани меня бог — недоверие, нет... (Острый нос Ларсена с добродушием андерсеновских сказок поднялся навстречу прожигающему взгляду Лаше.) Колбаса для армии и право на петроградскую концессию — это пахнет деньгами, господин полковник... Но царские сокровища еще не пахнут,— позвольте себе именно так понять мою мысль...

Как от доброй шутки, нос Вольдемара Ларсена свернулся слегка на сторону, собрались добродушные морщинки на висках. Александр Левант (обычно молчавший в присутствии Лаше) сказал жестко:

— Мы не настаиваем, чтобы именно вы получили концессию на петроградское хозяйство. Нам известно состояние ваших счетов,— вам едва хватило денег на закупку тухлой колбасы. Права на концессию беру я.

Хаджет Лаше, раздвинув ноги, руки — в карманах черкески, вывороченными губами проговорил в лицо Вольдемару Ларсену:

— Лига сквозь пальцы смотрела на ваши спекуляции... Вы не желаете нам доверять, по-видимому слишком спешите отделаться от нас... Мы тоже будем осторожны, господин Вольдемар Ларсен... Мы не позволим вам подписать запродажную на колбасу, покуда не выполните первого параграфа устава: не внесете в кассу Лиги двадцать процентов со всей суммы — то есть двести сорок тысяч... Или финны вышвырнут вашу тухлятину в море...

Вольдемар Ларсен ушел в кресло, выставил дряблый живот, прикрыл веки. Он никак не думал, что этим бандитам Леванту и Лаше известно его тяжелое дело с колбасой. Два месяца тому назад он выгодно закупил колбасу у американской комиссии Гувера (распихивающей по Европе свиные изделия — заготовки мировой войны). Но колбаса так воняла, что санитарный осмотр в Бергене приказал товар сжечь. Пришлось истратиться на погрузку и фрахт, и сейчас парусник с колбасой болтался на якоре в Гельсингфорском порту.

— Я плачу десять процентов при подписании запродажной с северо-западным правительством и десять процентов при сдаче колбасы,— слабо сказал Ларсен.— Это все, что я могу... Но концессия за мной, господа, на этом я буду настаивать...

Левант и Лаше переглянулись. Согласились. Разговор снова принял дружественный оборот. В семь часов Левант и Лаше пошли — этажом выше — в номер министра просвещения Кедрина для свидания (по третьему чрезвычайному делу) с премьером Лианозовым.

41

Принадлежность к левому крылу правительства обязывала много и хорошо говорить. Министры северо-западного правительства собирались в чьем-нибудь номере, пили чай, выкуривали болезненное количество папирос и говорили о метафизических проблемах, поставленных историей перед многострадальной Россией и перед цветом и мозгом страны — русской интеллигенцией. Практическая сторона деятельности интересовала их меньше, потому что территория для приложения великих идей конституционной свободы была мала, и народ на этой территории (псковские и гдовские мужики) — невежественный, звероподобный и даже неграмотный, и потому еще, что главнокомандующий Юденич и вся военщина не допускали штатских либералов до практической деятельности: «Было ваше сволочное времечко, книжники слюнявые, был ваш царь — Сашка Керенский, дюжины большевиков не могли повесить...»

Англичане, американцы и французы относились к министрам симпатично, оказывали знаки внимания (консервы, табак, одежда, напитки), но в практических вопросах предпочитали иметь дело с Юденичем и его штабом. Министры надеялись на одно,— что окончится же когда-нибудь власть грубой силы и солнце гуманности и свободы взойдет над куполом Учредительного собрания... О, лакированные темно-коричневые трибуны в колонном зале Таврического дворца,— блеск речей и водопады оваций!.. О, кулуары,— веселая и остроумная политическая болтовня,— журналисты, фотографы, элегантные женщины! О, собственные автомобили, уносящие избранников народа по широким петроградским улицам!

В чрезвычайно удушливом воздухе пять министров, сидя в красных плюшевых креслах вокруг овального стола, слушали министра просвещения Кедрина. Он был невелик ростом и, находясь на низеньком диванчике, подвертывал под себя ногу. На нем были теплые светлые брюки и по-стариковски просторный старомодный сюртук,— бледное, как жеваная бумага, заросшее

сединой лицо, растрепанные белые волосы, глаза, воспаленные от бессонницы и никотина. Несмотря на грудную жабу и бронхитное покашливание, душа его была порывиста и неугомонна. Министры устало, через силу внимали ему. Кедрин говорил:

— Мережковский дает только две составные силлогизма, две линии великого треугольника, две линии, разлетающиеся в бесконечность,— Христос и Антихрист... Он только вопрошает. Мережковский — это все безумие вопроса, он — это мы — русская интеллигенция. Славянофильство и западничество... Деревня и фабричный город... Европа и Азия... До девятьсот семнадцатого мы чувствовали присутствие исторической обреченности, мессианства... Да, мы называли Россию мессией... И недаром Рудольф Штейнер весной четырнадцатого года в Гельсингфорсе говорил о роковой обреченности России, предназначенной спасти мир, спасти своим телом и кровью... Господа, теперь мы знаем эту третью составную силлогизма, мы замыкаем равнобедренный треугольник. Это третье: мировой большевизм, в демонических безднах которого рождается спасение мира — священное белое движение. Его символ — солнечные латы Георгия-победоносца, под копытами его белого коня змий — Антихрист — большевизм и за плечами — пурпуровый, то есть победный, плащ, взвитый над бурей революции... (Передышка. Бронхитное покашливание. Звон чайных ложечек и клубы табачного дыма.)

Я цитирую это по замечательной книге Николая Александровича Бердяева. Я положил бы эту книгу в ранец каждого белого солдата. Большевики идут в бой, распевая «Интернационал» и веря в социализм... Мы должны противопоставить свою идею,— понятную массам, идею Георгия-победоносца, идею белого посланца, поражающего в мире Антихриста... Я слышу, господа, иронические голоса: мы владеем пока только двумя уездами России, мы еще собираемся идти на Петроград, у нас, представителей русской культуры, нет реальной силы, мы машем кулаками по воздуху, нас едва терпят, в день взятия Петрограда генерал Юденич попытается вздернуть нас на трамвайных столбах... Все это так... Но тем не менее или, если хотите, тем более

положение обязывает нас ставить вопросы мирового порядка...

Министр просвещения Кедрин вытащил из-под себя затекшую ногу и живо подсунул другую. Бумажное лицо его не розовело от умственного возбуждения, только сильнее лоснилось. Душа в этом хилом теле, заключенном в пыльный сюртук, выбрасывала фейерверки идей.

— Мы должны создать и возглавить международную комиссию по изучению в теории и на практике большевистской доктрины и ее практического применения. Ходячее понимание большевиков, как шайки уголовных преступников, нужно решительно отвергнуть, это — одна из провокаций самих большевиков: они усыпляют наше внимание, они хотят незаметно подкрасться, чтобы внезапно встать во весь антихристов рост... Да, мы имеем дело с антихристианством и антикультурой. Задачи комиссии: первая — изучить большевизм исторически, изыскать его корни в научных и метафизических работах социальных мыслителей... Лично я ставлю под подозрение основной источник — Жан-Жака Руссо. Пусть молодая буржуазия эпохи Великой французской революции подняла на острие копья вместе с фригийским колпаком его «Общественный договор». Руссо — это бунт духовного варвара против восемнадцати веков христианской цивилизации. Книги Руссо предвещают кровь робеспьеровского террора. Фурье, Сен-Симон, весь ряд утопистов — та же тенденция выключиться от гуманизма. Вторая задача: комиссия должна собрать исчерпывающий объективный материал о большевиках, добытый следственными властями и судебными приговорами. Для этого — третье: комиссия должна подготовить со всей широтой сеть уголовных судов с привлечением в прокуратуру иностранных специалистов для мирового судебного процесса над большевиками... Таковы, господа, задачи, стоящие перед нами. Исполнив их, мы создадим чрезвычайные профилактические меры против большевизма не только в России, но и на пространстве всего мира, мы откроем,— и мы призваны к этому,— откроем глаза близоруким европейским политикам на величайшую, когда-либо гро-

зившую миру опасность, на змия, нашептывающего пролетариату сладкую ложь о невозможном, на змия, которого раздавят только мистические копыта белого коня...

Когда в номере появились Хаджет Лаше и Левант, утомленные министры договаривали последние фразы критического разбора этой замечательной речи. Бывший нефтяной король — Лианозов (предупрежденный о визите) тотчас встал из-за стола и отошел с Хаджет Лаше и Левантом.

Это был маленький утомленный человек с бородкой цвета высохшей степной травы и редкими волосами, тщательно зачесанными на пробор.

Он без любопытства поглядел на полнокровного, улыбающегося с открытой честностью Лаше, на костлявые скулы, сломанный нос и выражение бандитского мрака на лице Леванта.

— Я слушаю вас, господа...

Хаджет Лаше, оберегая драгоценное время министра, в сжатой форме изложил свою точку зрения на мировую борьбу американской компании «Стандарт Ойль» и английского нефтяного концерна Детердинга. Он откровенно признался, что в этой борьбе он,— «как это ни странно звучит»,— является агентом Детердинга, «не в буквальном, конечно, смысле». (Лианозов устало покивал, выражая этим, что понял, в каком смысле...) Как уроженец горячо им любимого Кавказа, как председатель Лиги по восстановлению Российской империи и как русский патриот — Хаджет Лаше решительно стоял на стороне Англии. Одни англичане способны смертельной хваткой взять большевиков за горло. Но для этого английские интересы нужно прочно увязать в российском болоте. Отсюда — прямой ход к поддержке Детердинга залежами русской нефти. Детердинг сейчас платит громадные деньги за нефтяные участки. Но гражданская война превратна. Кто поручится, что большевики, хотя бы на короткое время, снова не захватят Баку и Грозный; что верховный правитель Колчак не предоставит американцам каких-либо исключительных концессий; что под давлением революционных масс не осуществится эта проклятая конференция на Принце-

вых островах, где Америка несомненно легко договорится с большевиками о нефти?

Затем Хаджет Лаше передал слово Леванту, и тот подробно рассказал о свидании с Детердингом в Лондоне, о продаже Чермоевым и Манташевым нефтяных земель и показал письмо к нему Детердинга, где глава концерна «Ройяль Дэтч Шелл» благодарил Леванта за содействие, удивлялся его бескорыстию, просил передать поклон Хаджет Лаше и два раза вскользь упоминал имя Лианозова. Письмо это было одной из первоклассснейших работ Эттингера.

— Итак, что же вы от меня хотите, господа? — слегка встревоженным голосом спросил Лианозов.

— Лично мы — ничего, господин министр...— Лаше поклонился и открыто, честно, с кунацкой улыбкой положил руку на кинжал.— Если вы задумаетесь над моими словами, то мы уже исполнили долг перед родиной...

Лианозов, потирая на виске мигрень, ответил:

— Хорошо, я серьезно подумаю над вашим предложением. Зайдите ко мне в номер после полуночи, но не слишком поздно...

42

В десятом часу вечера Лаше и Леванту удалось, наконец, спокойно пообедать вдвоем, в тихом ресторанчике. Закурив сигару, Хаджет Лаше зубочисткой на скатерти стал подводить итоги:

— ...За шесть месяцев (организация Лиги, наем помещений, разъезды, представительство и прочее) мною истрачено тысяча двести английских фунтов, тобой во Франции (долги Налымова, туалеты для дам, дача в Севре, разъезды, представительство и прочее) истрачено шестьдесят тысяч франков. Общий пассив, переводя на доллары,— девять тысяч долларов. Поступлений за это время в общую кассу — нуль.

Подсчитали еще раз. Минут пять дымили сигарами. Левант сказал, качнув головой:

— Да...

Хаджет Лаше — высокомерно:

— Что — да?

— Треску много, а...

— Что — а?

— Нет, что ж, тебе, конечно, виднее... Твои в конце концов деньги, Магомет...

— Дурак, гляди, считай...

Хаджет Лаше зубочисткой на скатерти подвел долженствующий поступить актив: сто пятьдесят тысяч франков от графа де Мерси (на приобретение «Скандинавского листка»), двадцать пять тысяч крон от американского атташе, двадцать пять тысяч крон от Юденича, сто тысяч франков от Чермоева и Манташева, двести сорок тысяч юденических рублей от Вольдемара Ларсена и минимум двести тысяч франков от Лианозова.

— Может быть, Лианозова пока не будем считать? — скромно спросил Левант.

— Это такие же верные деньги, как все остальное.

Лаше кусал зубочистку. Левант всматривался в цифры, нацарапанные на скатерти:

— Магомет, ты не думаешь, было бы выгоднее, если бы, как я тебе говорил, мы занялись просто спекуляцией, хотя бы с той же американской свининой?.. Ларсен буквально червей сбывает, и — свежие деньги... Политика, знаешь, далеко не верная игра.

— Не раз повторял тебе, Александр, ты — мелкий жучок, жаба... Спекуляция! Плевал я на твои проценты, разницы, накладные... Я швырнул девять тысяч долларов и еще швырну и возьму миллионы...

— Я тебя понимаю, Магомет... Но ведь покуда миллионы — это сон... Даже за все эти цифры,— он указал на скатерть,— за этот актив самый неосторожный человек не даст и десяти процентов наличными.

— Ты — ишак.

Левант пожал плечами. Помолчали. Лаше спросил бутылку шампанского.

— Плохо, Александр, когда у человека нет фантазии... Морган и Вандербильд,— откуда их миллиарды? Плоды мощной фантазии. Эти люди призвали миллиарды, как Фауст сатану в магический круг. Точно так же я выдумал царские сокровища.

— Магомет, ты их выдумал? Ай, я так и знал! — У Леванта отхлынула краска с лица, белые хрящики проступили на носу.— На что же ты рассчитываешь? Безумец!

— Я их выдумал, я их возьму... Царские бриллианты, шапка Мономаха, скипетр и корона — это все для американцев, французов, Юденича и для нашей шпаны из Лиги... Но миллиона три-четыре долларов я возьму. Они дожидаются меня в Стокгольме... (Левант передохнул, с тоской и надеждой взглянул на друга.) Ты спрашиваешь, что мной сделано за шесть месяцев, куда я угрохал деньги? А вот что сделано: военные миссии великих держав, президенты и премьеры, все контрразведки, нефтяные короли и магнаты тяжелой индустрии, биржи и спекулянты военными стоками — все они заинтересованы теперь в том, чтобы полковник Магомет бек Хаджет Лаше, хотя бы нарушая все правила благопристойности, взял эти миллионы. Сама полиция поможет мне превратить уголовный грабеж в акт священной борьбы за цивилизацию, и ни один болван не посмеет спросить у меня отчета в деньгах. Вот что сделал Хаджет Лаше,— я поставил кверху ногами все их моральные незыблемости. Великолепнейший сюжет для книги...

— Ты сходишь с ума, Магомет...

— Я играю за «золотым столом» в игру, которая называется тайной политикой... Жучки, мелкая рыбка пачкаются на биржевой разнице: заработав сто долларов, бегут покупать бриллианты в четыре карата и лакированные ботинки. Я играю за столом с королями и президентами.

— Магомет, Магомет, ты сломишь шею...

Хаджет Лаше надменно усмехнулся. Зрачки его глаз были расширены и неподвижны. Опытный лакей, не так поняв его возбуждение, наклонился из-за его плеча и шепотом предложил пригласить к столу девочек. Лаше послал его к черту.

— Ни на один градус я не более сумасшедший, чем Жорж Клемансо, президент Вильсон или создатель вертикальных концернов Гуго Стиннес. Я современен, я впечатлителен, я нервами понял, что такое дерзость...

Вся гуманитарная, бюргерская благопристойная бурда выметена начисто после мировой войны... Будь дерзким до конца, будь циником до конца... Шагай по человеческим трупам, грабеж и насилие возведи в систему, и ты — царь жизни. Может быть, я смахиваю иногда на сумасшедшего, не забывай — при всем прочем я еще артист. Меня утомило однообразие человеческой глупости,— у меня потребность в более острых ощущениях... Ты понял меня, Александр?.. Послезавтра — в Стокгольм... Я приступаю к делу... Не бойся, ты-то будешь кушать свою кефаль в Париже.

43

Дом в Баль Станэсе был приведен в порядок,— все вымыто и вычищено, в столовой — ковры, на лампах — шелковые абажуры, в вазах — охапки осенних цветов. Поздно ночью из Стокгольма, как обычно, возвращалась Мари, усталая, объевшаяся соусами за столиками гостей. Выступала она в «Гранд-отеле» в русском репертуаре, даже с некоторым успехом. Часто ей было лень снимать грим и переодеваться, и она садилась в столовой, полуголая, с осыпавшейся пудрой на розовых плечах, в шансонеточном платье. За этими предрассветными ужинами пили шампанское, но без прежних откровенных бесед, даже без шуток Налымова,— не то что в незабываемом Севре... «Все-таки там было чудно, девочки! Помните, июль, цвели липы? Песенки Барбош из кухонного окна?»

На рассвете Лили засыпала за столом, уронив растрепанную голову на руки. Мари в шансонеточном платье засыпала на диване. Вера Юрьевна, пошатываясь, брела на лужайку, где над озером вставало осеннее солнце, валилась в копну сена и дремала в странных видениях, рожденных из пузырьков шампанского. Налымова находили мертвецки пьяного в самых неожиданных местах.

Молча, мрачно обедали, опохмеляясь водочкой. После обеда купались в холодном озере. Под вечер Мари уезжала. Через день уезжала в Стокгольм и

Лили — по требованию Хаджет Лаше она дала объявление в гостинице «Гранд-отель» об уроках французского и английского; требований покуда не поступало, но определенные часы приходилось отсиживать в холле гостиницы, сдерживая зевоту над иллюстрированными журналами.

Всего тяжелее были пустые часы, когда Вера Юрьевна и Налымов оставались одни в Баль Станэсе. Василий Алексеевич старался держаться в сторонке,— то одиноко покуривал на крылечке, то возился с футбольным мячом, труся за ним пропитой рысцой по поляне. Однажды Вера Юрьевна долго наблюдала, как он сидел с удочкой на берегу в Лилькиной широкополой соломенной шляпе. Вера Юрьевна подошла, посмотрела на поплавок, на консервную жестянку с червями, в лицо Василию Алексеевичу. От солнца, от водки кожа у него лупилась, глаза были совсем выцветшие. Пожала плечами: «Шут гороховый, право...»

Они мало разговаривали, только о мелочах. Здесь между ними не было близости. Вера Юрьевна и подумать не могла бы теперь прийти ночью «выкурить папироску в его постели». В Баль Станэсе все осложнилось. Нагромоздились чувства, не выразимые словами. Не будь его здесь, половина тяжести свалилась бы с Веры Юрьевны. Но то, что он остался, наполняло ее почти что мрачным восторгом. В тот же первый день приезда она рассказала ему в подробностях свои константинопольские похождения. На Василия Алексеевича это как будто не произвело впечатления: «Твой жизненный опыт, Вера Юрьевна. Так это и запиши». Но после разговора он совсем бросил хихикать и разводить «философьишку». К Вере Юрьевне у него появилась особая осторожность, как к чему-то, что выше меры переполнено и хрупко.

Иногда ей приходила дикая мысль (почему в сущности дикая?): неужели он не может придумать какой-нибудь план спасения, вытащить ее и себя из предсмертного мрака? Должен же он получить деньги от Чермоева и Манташева. Все дело в том, чтобы бесследно скрыться от Хаджет Лаше, от полиции, от русских, от всего прошлого... Что ему мешает? Легкомыс-

лие, безволие? «Шут гороховый...» С папироской сидит, щурится на поплавок. Злоба приливала к сердцу Веры Юрьевны. Сердце свирепо сжималось, в горле — злой клубок. Но понемногу отходила в тишине под плывущими над озером облаками... «Нет, он прав, конечно,— никуда не уйти, не скрыться... Все это пошлость и чушь... Клейменые...»

Однажды она попросила его присесть рядом на копне. Обхватив руками колено, сказала:

— Все время думаю о тебе,— загадочный ты человек. Скажи, ради бога, на что ты надеешься? Неужели только так — пищеварить, выпивать и — в могилу? Ведь что-то не так... Я не про себя говорю, про тебя... Почему ты ничего не придумаешь? А уж я-то за тобой, как смятая газета в пыли за автомобилем, помчалась бы... Понимаешь, у тебя вихря нет, у тебя хода нет... Ну, почему? Ты меня измучил... В Константинополе в номере у Лаше после убийства и в Париже с Левантом, когда он меня, мерзавец, на улицу посылал... это тоже было,— месяца за три до Севра... во мне была сила жить, несмотря ни на что... А теперь нет... Вася, не могу представить: человек, которого любишь, этот человек больше всего мира... В нем — все... А ты хочешь уверить меня, что ты — чучело на огороде, машешь рукавами... (Покусав губы, сдержалась,— вот-вот готовая закричать.) У тебя должна быть идея... Зачем прикидываешься шутом гороховым,— с ума сойду, не пойму... Сволочь ты!.. (Побелевшим кулачком заколотила себя по колену.) Должен ты сейчас же ответить: на что надеешься? И от этого твоего ответа я буду жить или я не буду жить...

Первый раз во всю бытность Василий Алексеевич ответил важно, тихо, почти заикаясь:

— Мои достоинства, то есть одно достоинство, в том, что я тебя понимаю и всей тобой восхищаюсь... Вот объяснение, почему решил разделить с тобой все, до конца... Это — одно... Каждый человек носит в себе спектакль — пошлый, маленький или трагический, величественный... Твой спектакль, Вера, трагический спектакль. Он закончен, разучен, актеры на местах. Но зрительный зал пуст. Трагедии играть не перед

кем... Один я торчу где-то там по контрамарке... Мир, где мы сейчас живем, пресытился зрелищами... Вернулись к обезьяньему царству. Я прав: Шекспир больше не нужен. А мой маленький водевильчик? Разве что перед Лилькой и Машкой по пьяному делу поломаться для смеха... Ужасно, Вера, что друга в эти годы ты отыскала себе такого, как я... Я предупреждал,— не выдумывай меня. Ты продолжаешь награждать меня своим избытком и сердишься, почему я пальцем не пошевелю вытащить тебя из этого ужаса... Не могу, да и не знаю, зачем это делать... Куда бы ты ни убежала, хоть на Соломоновы острова, ты — уголовная преступница, девка с желтым паспортом и ко всему тому чрезвычайно опасная, потому что всегда готова перейти через страх виселицы и потащить за собой хозяина, кто тебя нанял. Бешеное животное, вот кто ты. Спасти тебя? Дурочка. Тебе же самой не нужно спасение.

Вера Юрьевна слушала спокойно, кивала иногда, соглашаясь. Лицо ясное, даже улыбочка блуждала на бледных, не тронутых карандашом, губах.

— Теперь договаривай главное,— сказал она после молчания.

— Я уже повторял, Вера Юрьевна,— не мне вмешиваться в твой спектакль. Сама, сама, не надеясь ни на кого, пойми, реши и так и поступи.

— Ты не о смерти ведь говоришь? (У нее чуть дрогнул голос.)

— Нет, не о смерти. О такой пакости не стоило бы и говорить много. Нет, я не хочу, чтобы ты умирала, любовь моя. Все зависит от установки. Если ты делаешь установку на смерть — вся твоя жизнь закрутится вокруг могилы, как водоворот,— все ближе и ближе туда — к черной дыре... Черт знает какая бессмыслица! (Едва заметно вздохнул.) Но можно представить и другую установку... Участвовать в бесконечно движущемся мире творчества. Смерть? Какое тебе дело до нее? Эта зловонная гнусность — твоя могила — выключена из сознания, из поля зрения; через нее валом валят толпы феноменальных идей, великолепные потоки жизни. Обезьянье царство сгинет, человечество

расколет гроб, через трупы тюремщиков и обезьяноподобных устремится в новую вселенную. Человек получит свое настоящее призвание. Мозг или желудок? Творчество или пищеварение? Мы — пещерные троглодиты, мы не можем вообразить всей величины счастья, когда человечество поведут великие идеи. Люди будут испытывать неведомые нам восторги... А смерть, могила,— ты просто споткнешься и, падая, передашь другому факел... Только всего... Смерти нет... Факел летит вперед. А для желудка — хотя бы питательная таблетка, чтобы отвязаться...

— Сказки,— проговорила Вера Юрьевна,— валяешься бездельником на копне, плетешь сказки... Ты предложи-ка мне что-нибудь реальное.

— Сказки? А ты поверь. Это — ведь также все от установки. Поверь, начни приглядываться,— гроб трещит, обезьянье царство шатается. Ты видела только обезьяноподобных, а тех, кто в подземельях,— ты их знаешь? Я был в подземельях, заглянул туда одним глазом. О, какие люди, какие намерения! Сказки оказываются наяву, да такие, что не придумаешь. Мое несчастье, Вера Юрьевна, что я — спившийся барин, я — наблюдатель, я — со стороны, спектакль мой — маленький... Ты — другое дело. И тебе возможно унести самое себя совсем из обезьяньего царства.

— Не понимаю, ты про что?

Василий Алексеевич медленно кивнул красным припухшим лицом куда-то в синюю даль, за озеро. Вера Юрьевна в недоумении взглянула туда, уронив на колени руки, глядела долго. Поняла:

— Ах, вот о чем ты...

— А что, дико?

— Да ты с ума сошел... Вернуться в Россию?

— Такой страны нет больше. Россия — это мы, неприкаянные, с желтым паспортом... Третьего дня читаю в «Скандинавском листке»: русская революция отказывается от хлеба из рук спекулянтов. Революция будет есть хлеб, только добытый без противоречия с принципами. Понять ты можешь это?

— Знаешь... (Вера Юрьевна сморщилась, подвигала лопатками, точно под платье набились колючки

из сена.) Я не знаю, что происходит в России. Я-то помню теплушки со вшами, опустевшие города, рвотные кабаки, истерических баб, тыловую сволочь, проспиртованную военщину... Другой стороны не видала, не знаю... Революция швырнула меня в помойную яму... Но виню в этом только себя. Но так растленно болтать, как ты болтаешь, благополучный кот... Ужасно, это ужасно!.. Там — потоки крови, а ты философствуешь. За это одно тебя бы там расстреляли.

— В два счета, у первого пограничного столба, без всякого сомнения...

— Для чего же все это говорил?

— Потому, Вера Юрьевна, что я только твои мысли высказывал, а мне лично — рюмочка водочки. Разговор этот нужен потому, что послезавтра приезжает хозяин из Ревеля и ты должна быть готовой...

— К чему готовой?

— К поступкам, к решениям...

Она медленно сдвинула брови, все лицо стало асимметричным, обозначились скулы... Безобразное, кровавое и неминуемое (для чего и приехали сюда) придвинулось. Больше уже нельзя было жмуриться. Потемнел свет над лугом, над озером, над раздумьем этих дней.

Налымов, лежа на животе, грызя соломинку, глядел в лицо Веры Юрьевны,— глаза ее подергивались пленкой, как у птицы.

44

Каждый день в штаб Лиги являлись новые члены, навербованные в Германии, Швеции, Финляндии, требовали суточных, кормовых, подъемных и квартирных... Генерал Гиссер выдавал каждому до десяти крон и предлагал ожидать — вот-вот долженствующих поступить — крупных кредитов. Вербовочные списки отправлял американскому атташе и графу де Мерси. Так составлялся «железный» батальон (посланный впоследствии под Петроград).

Сердце Лиги — разведка — Извольский, Биттенбиндер и Эттингер пьянствовали в «Гранд-отеле», состав-

ляли сводки подозрительных по большевизму лиц и под эти списки вымогали у генерала Гиссера мелкие суммы. Лучше других работала «парижская группа» — мадам Мари и мадам Лили. Приглашаемая в ресторане за столики, Мари, ленивая, но любопытная и острая на ухо, улавливала обрывочки интересных фраз. Так ей удалось установить, что какие-то люди ожидают приезда в Стокгольм двух большевистских комиссаров, фамилию одного услышала ясно—Красин. По поводу этого сообщения в Лиге было экстренное заседание. Мари поручили добыть дальнейшие сведения. Ей опять повезло: она установила, что семья комиссара Красина недавно прибыла в Стокгольм. Сведение о приезде семьи Красина настолько взволновало членов Лиги, что среди ночи Биттенбиндер отвез мадам Мари к Гиссеру. Генерал выслушал ее, обнял, перекрестил:

— Вы неоцененная сотрудница, деточка, продолжайте же свою беззаветную деятельность. Россия не забудет вас.

Ей дано было экстренное задание сблизиться с курьером большевистского посольства матросом Варфоломеевым. Но он почти никогда не появлялся один в ресторане,— по-видимому, его назначили для охраны к разным проезжим таинственным личностям. Заговорить с ним не удавалось, на зовущие томно синие взгляды Мари он — «хоть бы хны»... Он был смуглый и мрачный, наголо обритый, с каменной шеей и налитыми мускулами под синей пиджачной парой! Мари, несмотря на лень, чувствовала легкую досаду, что такой чудно выраженный «зверь» не реагирует.

Лили успела сделать еще больше за эти дни. Очень миловидная, в простеньком платьице учительницы языков,— всегда за перелистыванием журнала в вестибюле гостиницы,— Лили подманила, наконец, двух коммивояжеров — французов, развязных и легкомысленных до последней возможности. «Не преподает ли мадемуазель еще что-нибудь, кроме языков?» — спросили они. Лили смутилась. Коммивояжеры в восторге предложили ей себя в полное распоряжение. После французов в тот же день она получила час по-французски у застенчивого с виду англичанина, но этот у себя в номере оказался

таким грубияном и циником, что Лили расплакалась и отказалась от урока. Затем на ее крючок налетел тот, для кого она и сидела в «Гранд-отеле»,— Леви Левицкий.

— Я беру вас на всю неделю, по два часа в день, делайте из меня европейца,— сказал он Лили весело и самоуверенно,— выкаченные потные глаза, шикарный мохнатый костюм, платиновая цепочка поперек жилета, впереди живота — руки, засунутые большими пальцами в жилетные карманы, так что бриллиантовые перстни видны были всему вестибюлю.

Лили поднялась к нему в номер. Александр Борисович Леви Левицкий вынул из стенного шкафа пакетики со сладостями, бутылку сладкого вина, предложил барышне не стесняться. Повалился на диван, полнокровный и возбужденный после завтрака.

— Я не могу молчать, это характерно для меня. Знаете, что я вам предложу: я буду говорить по-немецки, вы меня поправляйте, потом то же повторим по-английски. Идет? Я буду рассказывать что-нибудь интересное, ну, например, мою биографию... Кушайте конфеточки... Так вот, с чего начать? Мой папашка — из Умани, бедный уманский портной. Вы знаете, что такое была черта оседлости, или вы не знаете? Русские лучшие люди охали и ахали, кричали: «Позор!», а самого главного о черте не договаривали. Черта — это был сложный и хлопотливый способ русского самоубийства... За черту была посажена европейская культура. Вы скоро ко мне привыкнете,— я люблю выражаться парадоксами... Россия не захотела идти за европейской культурой, захотела сидеть в свинстве, как при царе Горохе. Еврей-промышленник строил фабрику по новейшему европейскому образцу, выписывал из-за границы новейшие машины, еврей-купец забивал русского,— он торговал дешевле, брал шесть процентов на капитал, покуда русский поворачивался, еврей уже шесть раз успевал повернуться с капиталом... Что было делать русским? Перестраивать промышленность и торговлю по европейским образцам? Вы не знаете русское купечество... Так они решили, что будет дешевле натравить царя на евреев... Зазвонили во все колокола,

подняли духовенство с отцом Иоанном Кронштадтским, сказали, что от евреев дурно пахнет, евреи кладут в мацу христианскую кровь, и царь повелел загнать евреев, как баранов, за черту. В России стала тишь да гладь,— спи, кушай пироги, воруй и грабь, ходи крестным ходом. Азия!.. Это было так же умно, как поставить себе под кровать ящик с динамитом!.. Вы бы посмотрели, барышня, какие характеры выковывались в черте оседлости! Там было больше духа, чем хлебца... Среди нас были святые люди, они уходили в революцию, в подполье, на виселицы,— мы молились на них... Когда я стал подрастать, помню, ох, помню в себе задор!.. Мой папашка знал талмуд, как свой наперсток, он брал деревянный аршин и хотел мне вогнать через спину усидчивость, но я сомневался — так ли уже нужен богу мой голодный нос, ползающий по талмуду. Папашка был умный еврей, он понял меня и сказал: «Каждому свое, ты можешь учиться на экстерна, ты можешь пойти в партию эсеров или эсдеков, но я не потерплю, если мне когда-нибудь скажут: ваш сын нечестный человек». Когда папашка так разглагольствовал, глаза его поверх очков поглядывали на деревянный аршин, и уже я хотел быть честным человеком.

Леви Левицкий прихлебывал сладкое вино и грыз засахаренные орешки. Он с удовольствием слушал самого себя.

— Идти на фабрику, жениться на фабричной девушке с такой сутулой спиной, как будто на ней вынесено все еврейское горе, народить полдюжины голодных сопляков,— перспектива не для моего темперамента... Броситься в революционную работу? Все равно,— сказал я сам себе,— святым считать тебя не будут, тебе не выдержать моральной высоты... Я выбрал богатство и славу, но не сказал об этом папашке... Я стал учиться, как зверь, науки шли как по маслу. В Умани я уже стал удивлять людей. Сдал на экстерна и сквозь процентную норму протискался на юридический факультет. Как я жил это время? Я умудрялся зарабатывать — факторством, частными уроками, даже набивкой папирос — рублей двадцать пять в месяц. Я посылал мелкие газетные заметки в Одессу, Киев, Харьков... Меня за-

метили,— это давало еще рублей пятнадцать в месяц. Я верил в победу. Я ждал случая. Война! Через неделю после мобилизации я был уже в Петербурге... Вам не надоело слушать, барышня?

Блестя глазами, Леви Левицкий, казалось, всматривался с восторгом в пройденный путь. В Петербурге он сразу попал, как пуля в цель, в редакцию «Вечерней биржевой». Он не разменивался на вопли о русских победах, на глубокомысленные сравнения антантовской «гуманности» и немецкого варварства. Он помещал две-три заметочки петитом в конце четвертой страницы перед колонками биржевых курсов, но заметочки были очень дорогие и появлялись на день раньше, чем в других газетах... Чтобы доставать их, нужен был неисчерпаемый темперамент Леви Левицкого, двадцать семь лет кипевший в уманской глуши. В редакции посмеивались над его местечковым языком, над сверхрасторопностью, скупостью и в особенности над неожиданной дружбой с петербургским митрополитом Питиримом. Когда Леви Левицкий появлялся в редакции — черная визитка, руки в карманах, губы плотно сжаты,— ему кричали хроникеры и журналисты с тройной совестью,— все птенцы короля газетчиков, редактора «Биржевки» — Гаккебуша: «Сашка, ну как? Завтракал с его преосвященством? Распутин тебе только что звонил, кланялся. Что нового при дворе?»

Шум, телефонные звонки, трескотня машинисток, зубоскальство, анекдоты, хохот... Леви Левицкий спокойно подходил к настольному телефону (если кто-нибудь разговаривал, он вырывал у него трубку) и лез с аппаратом под огромный редакционный стол, за корзину с бумагами. Оттуда было слышно только: «Барышня, я вам повторяю номер, алло!.. Это вы, ваше преосвященство?.. Это я, Леви Левицкий. Здравствуйте, как ваше здоровье? Слава богу? Я очень рад. Мое как? Так себе. Есть интересное сообщение. Бой на Гнилой Липе... Сведения из первоисточника. Завтра уже будет в газетах, но пока на бирже не знают».

В него под стол швыряли книги, иногда вытаскивали за ногу вместе с телефоном, но он успевал сообщить то, чего еще не знали ни на бирже, ни в военном

министерстве. Понемногу круг сообщений из-под стола расширялся,— он вызывал то банкира Жданова, то самого Митьку Рубинштейна, то — анонимно: «Попросите к аппарату графа...» За военные и политические новости ему платили акциями. В шестнадцатом году он играл уже самостоятельно. После убийства Распутина сказал в редакции: «Увидите, господа, кровь этого мужика затопит всю Россию...» В марте семнадцатого года он исчез на три месяца, оказалось — уехал в Умань, революция разбудила в нем своеобразное чувство сыновнего долга и честолюбия. В своих лучших костюмах он гулял по Умани, произносил речи на летучих митингах, был даже назначен уездным комиссаром по делам печати, но под конец удачно купил несколько деревянных домов и снова появился в Петербурге, утомленный и разочарованный. Здесь он свирепо рванулся в спекуляцию, картежную игру и в похождения с женщинами. В это время ему удалось перевести в Стокгольм значительную сумму денег. Когда разразился Октябрьский переворот, Леви Левицкий сказал в редакции: «Бросьте смеяться, будет гораздо хуже, будет кошмарно плохо. Вы не представляете, что такое русская демобилизация. Дай бог здоровья большевикам, если они хоть что-нибудь спасут в этой каше».

Он пошел в Смольный и предложил свои услуги. Впопыхах ему поверили. Он добросовестно исполнял мелкие и незначительные работы, но умело откручивался от ответственных назначений. Он похудел, помрачнел, носил полувоенный костюм, сутуло переходил на другую сторону улицы, когда встречал старых товарищей по редакции...

— Вы спросите, барышня, что же меня удерживало в Петрограде? Немцы оккупировали Украину, восстали чехословаки, отложилась Сибирь, на юге хозяйничали добровольцы и разбойничьи банды. Я отлично видел, что большевикам не выдержать и года... Но кто их заменит? Батько Махно? В душе моей был мрак, я ни во что не верил. Я получил известие, что Умань вырезана петлюровским атаманом и мой папашка погиб. Он плюнул в глаза атаману, и его мучительно зарубили шаш-

ками... Так что же, и революция не избавила нас от погрома?

Весь восемнадцатый год Леви Левицкий пребывал в состоянии величайшей растерянности: он сорвал покрывало со святыни и ужаснулся вида ее. В нем жила, нашептанная отцами и дедами в подвалах гетто, любовь к святому акту революции: от ее трубного звука рухнет стена плача, и перед угнетенными и униженными откроется свобода и богатство. Но революция, разрушив стену плача, сурово повелевала идти мимо процветания Леви Левицкого, в неведомые туманы новой истории, где золото предназначалось для общественных ватерклозетов. Во что же было верить, когда сама революция обманула?

В девятнадцатом году Леви Левицкому удалось побывать за границей, он ездил в Ревель и Ригу и вернулся. Тогда ему дали более ответственное поручение — в Стокгольм. Вместе с казенными пакетами он вывез туда всю свою валюту и драгоценности.

— Вот что странно, барышня, я действительно отряхнул прах с ног... Но здесь меня тянет к советским людям, право... Я не могу сблизиться с эмигрантами. У них погромное отношение к революции, они готовы молиться даже на великого князя Кирилла, дать ему шомпол вместо скипетра и еврейский череп вместо державы... Слушайте, надо же было чему-нибудь научиться!.. Но, что касается женщин,— с ними я немножко сумасшедший... Боже сохрани, не вздрагивайте, золотко мое... Я хотел бы поговорить о вашей знакомой, такая высокая, элегáнтная... Помните ужин в «Гранд-отеле»? Она задела меня, скрывать нечего...

Лили, помня инструкции Хаджет Лаше, сказала:

— Я уверена, княгиня будет очень заинтересована вашим знакомством.

— Слушайте, как бы нам встретиться?

Лили сказала согласно инструкции:

— Можно здесь, в ресторане. Можно у нас на даче...

— А где она живет?

— В Баль Станэсе... Хотите — приезжайте на дачу...

Лили спешила замять разговор,— было страшно что-нибудь напутать и потом отчитываться перед Лаше...

Но Леви Левицкий продолжал возбужденно расспрашивать, и Лили, запинаясь, врала про Веру Юрьевну и Хаджет Лаше (ее горячего поклонника, богатого человека и писателя), про восхитительную дачу, предложенную Хаджет Лаше в полное распоряжение женщинам, утомленным парижским сезоном. Леви Левицкий спохватился ехать завтра же. Лили, вспомнив инструкцию, сказала торопливо:

— Нет, нет. Вера сейчас немножко нездорова... Словом, я вас извещу.

Несмотря на путаницу и очевидную чушь, всегда осторожный и подозрительный Леви Левицкий не почуял опасности,— сам черт не догадался бы, что эта запинающаяся хорошенькая девушка заманивает его в ловушку, на мучительную смерть. Он придвинулся и поглаживал холодноватую руку Лили, называя деточкой,— кровяные жилки наливались в его масленистых глазах.

— Когда женщина ударит по нервам,— да еще такая европейская красавица, как ваша княгиня,— я готов отдать все... Вы меня понимаете? Деточка, я воспитан войной и революцией... Я голодный. Я хочу досыта накушаться жизнью.

45

После позднего обеда, в сумерках, Вера Юрьевна сидела в шезлонге на берегу озера. Неожиданно подъехал к даче автомобиль. Это из Ревеля вернулся Хаджет Лаше. Послышались голоса нескольких человек,— с ним были Эттингер, Биттенбиндер, Извольский... Кто-то из них закричал:

— Вера Юрьевна! Княгиня! Ваше сиятельство! Ваше стервятство!.. Эй, Василий Алексеевич, полковник! (Вера Юрьевна не подняла головы, не пошевелилась в кресле, подумала спокойно: «Хулиганы, бандиты, почему ни тиф их, ни пуля не взяли?..»)

Автомобиль уехал, четверо вошли в дом. Свет через раскрытое окно лег на скошенный луг. В столовой звенела посуда, хлопнула откупориваемая бутылка, и — затем — раздраженный голос Хаджет Лаше:

— Эти девки жрут тут без меня, как свиньи. Господа, господа, не начинайте с коньяка,— у нас целый ряд серьезнейших вопросов...

Тогда Вера Юрьевна поднялась и неслышно подошла к дому. До последнего слова она прослушала совещание в столовой. Лаше говорил:

— Предварительная подготовка закончена... Лига связала себя круговой порукой с Парижем, Лондоном, Вашингтоном, с Колчаком, Деникиным...

Вежливый голос Извольского:

— Простите, через кого установлены связи с Колчаком и Деникиным?

— С Колчаком — через Юденича, с Деникиным — через генерала Янова... Затем мы связались с эмигрантским центром и крупнейшей нефтяной группой. Теперь я это могу открыть, господа: нами очень интересуется Детердинг... Лига неуязвима... Мы должны перейти к действиям...

(Пауза. И — голоса: Извольского: «Давно пора», Биттенбиндера: «Уррра!», Эттингера: «Честное слово, мы уже совершенно без денег, господа...»)

— Вот список, пополненный в мое отсутствие генералом Гиссером,— продолжал Лаше.— Мы его обсудим и установим очередь. Первый номер: матрос Варфоломеев...

Голос Извольского:

— В расход...

Эттингер — вскользь:

— С ним придется здорово повозиться...

— Вторым номером — семья народного комиссара Красина.

Извольский:

— А что это нам даст?

— Это даст нам самого Красина...

— Ага... Не спорю...

— Третий — полпред Воровский... Он еще в Стокгольме. Но с ним так же, как и с Красиным, я бы несколько подождал, господа, вернее — я бы не с них начал. Четвертый — это также по политической линии... Я говорю о загадочном лице, недавно прибывшем из России,— нашей разведке он известен под кличкой

«в голубых очках»... Имени установить не удалось. Граф де Мерси сказал мне сегодня, что посылал запрос в Париж, и Сюрте ему ответило, что московский агент Сюрте предупреждал о возможности появления в Европе крайне опасной личности в голубых очках...

— Я его знаю,— крикнул Биттенбиндер,— голубые очки — харьковский чекист... Этому молодчику спицы надо под ногти!

— Детали обсудим после... Пятым в списке — Леви Левицкий (удовлетворенное рычание собеседников...) и, наконец, шестой — Ардашев... (Снова одобрительные восклицания.) Эта тройка — Леви, Ардашев и Варфоломеев — не вызовет никаких политических неприятностей, здесь можно действовать без оглядки, кроме того, господа, вы сами понимаете, это *вещественно*... Поэтому я и предлагаю: начать с этой тройки. А чистой политикой займемся уже во вторую очередь.

Биттенбиндер:

— Браво!

Эттингер:

— Поддерживаю...

Затем — холодный голос Извольского:

— Я не согласен... Господа, прежде всего мы должны оправдать свое лицо... Мы боремся за поруганную и распятую монархию... Мы — братья белого ордена — боремся с большевиками, то есть: с агентами сионских мудрецов, с еврейством в целом и с его прихвостнями — российскими либералами и интеллигентами. Наша цель — вернуть России ее исконную святыню и восстановить золотой век, когда государственный строй был подобен небесной иерархии: народ был покоен и чист духом, высшие силы заботились и пеклись о нем. Крестьянин был сыт, здоров и весел, под отеческой опекой крестьянин истово трудился, имея видимую цель: своего барина — своего отца. В свою очередь над барином стояли высшие силы, и вся незыблемая система осенялась славой горностаевой мантии помазанника. Было легко дышать, легко жить... Так вот, господа, я полагаю, что первый наш акт должен быть чисто политическим. Это наш первый долг, этим мы поднимаем себя на моральную высоту и смело взглянем в лицо нашим

друзьям... Иначе — Лига разменяется на мелкие операции...

Его перебил рев Биттенбиндера:

— Хороши мелкие операции! У Леви Левицкого полмиллиарда крон на текущем счету...

— Вы меня не поняли, поручик Биттенбиндер, я говорю — мелкие в моральном смысле...

— Ну, это уже тонкости...

Лаше — мягко Извольскому:

— Не забудьте, что организация казни крупного политического лица требует огромных предварительных затрат. Ассигнованные нам суммы — капля в море, да и капля-то еще в море, а не у нас... Прежде всего мы должны пополнить нашу кассу... Итак, вопрос о Леви Левицком, Ардашеве и Варфоломееве я считаю решенным... Мой план захвата этих лиц таков...

Налымов проснулся, зажег электрическую лампочку у дивана и стал поджидать Веру Юрьевну.

Внизу в столовой бубнили голоса. Деревянные стены дома резонировали тревожно, будто волны неспокойных мыслей бежали до чердака, уносились в ночь, рассыпавшую августовские звезды над домом.

Налымов подумал лениво: «Совещаются...» Но где Вера Юрьевна? Ему до того внезапно стало жалко ее, что он сморщился и потер грудь там, где тупой болью сжималось пропитое сердце. «Да, братец ты мой... Пора, пора... Довольно, будет. Пора, братец мой...»

Под его постелью стоял чемодан, в нем в скомканном белье, в коробке от мыла, среди бритвенных принадлежностей, грязных воротничков и прочей ерунды — маленький браунинг... Эта его смерть была далеко запрятана, как у Кощея бессмертного.

Он повторил: «Пора, пора!» — но даже и не пошевелился. Значит — еще не «пора». А не пора потому, что, кроме него, еще — Вера... «Да, накачал бабу на шею... А, собственно говоря, если бы не накачал? Неизбежно, братец мой, все равно — неизбежно,— не ее, так другую, именно такую. Да, братец, живуч все-таки человек...»

Осторожно скрипнула дверь, вошла Вера Юрьевна.

— Приехали,— шепотом сказала она и села у него в ногах на диван. Лицо ее было жалкое. Зрачки — во весь глаз.— Дождались...

Василий Алексеевич спросил как можно спокойнее:

— Что именно случилось?

— С завтрашнего дня начинают... Как мясники... Ну, ты понимаешь,— как мясники!.. Что же это такое?! — Она тихо заломила руки.

— Хочешь, дадим знать полиции?

— Ах, у них все — шито-крыто... У них поддержка повсюду. Все предусмотрено. Они спокойны! Пойми, какие-то фантастические злодеи!

У Василия Алексеевича задрожало где-то в кишках. Осторожно спустил ноги с дивана. У Веры Юрьевны зрачки сузились; она следила за ним, не отрываясь. Да, надо было решать... Дряблая воля, давно отвыкшая велеть, мелко тряслась где-то в кишках... Но понимал: «Прижали вилами — выкручивайся...»

— Вера... Если ты в состоянии,— бежим...

Она — быстро:

— Куда?

— Не знаю пока еще... Там увидим... Во всяком случае, у нас будет какое-то одно очко... (Зрачки ее заметались.) А здесь они используют тебя и уберут, как ненадежного свидетеля... И тебя, и Лильку, и Машу...

— Я это знаю... Я этого давно ждала... Ведь это же — мясная лавка! Нужно бежать сейчас,— они, кажется, уже там напились... В Финляндию и в Петроград! На границе нас схватят, и мы расскажем все... Я скажу... (Вытянулась, зрачки — как точки...) Господин комиссар!.. Мы бежали к вам — предупредить о кошмарном преступлении... Мы — из шайки убийц. Найдете нужным — расстреливайте нас... Ведь все равно же, Вася!

— Конечно, конечно... Я бы даже так сказал: приятно быть зрителем, но наступает час, когда нельзя быть зрителем... Тут не в опасности, конечно, дело... Но есть предел грязи, мерзости...

— Да, да, да...

— Теперь — практически: бежать, конечно, сегодня, сейчас... Взять только деньги и драповое пальто... Когда доберемся — там уже будут дожди, а в Питере теплого не достанешь. Да! Надень высокие башмаки... А я пойду в столовую и подпою их хорошенько...

— Сам не напейся, Вася...

— Брось!.. И жди меня на шоссе... Мы еще захватим последний поезд в Стокгольм...

Вера Юрьевна молча обхватила его, прижалась лбом, носом, губами к его жилетке. Он отогнул ее голову, растрепал волосы, погрозил пальцем ее взволнованному лицу:

— Не сплоховать!

— Нет... Иду...

Дверь в это время толкнули. В комнату вскочил Хаджет Лаше, за ним вошли Биттенбиндер и Извольский. Изрытое воспаленное лицо Хаджет Лаше кривлялось и прыгало, силясь сорвать маску. Бешенство застряло у него в горле,— он шипел, заикался и брызгался. Вера Юрьевна попятилась в ужасе.

Биттенбиндер подошел к Налымову и ударил его рукояткой револьвера в переносье. Василий Алексеевич схватился за голову, повернулся к дивану, нагнулся,— кровь выступила между пальцами. Вера Юрьевна закричала. Извольский сказал с кривой усмешкой:

— Господа, мы слышали все. Прошу вас не покидать этой комнаты... Мы сделаем короткое совещание и вынесем приговор...

46

В одной из стокгольмских газет появилась заметка в отделе происшествий:

«При загадочных обстоятельствах исчез курьер русского посольства некто Кальве. Идет речь о посольстве Советов, захватившем помещение царского посольства, которое принуждено теперь ютиться на окраине города. Настоящая его фамилия Кальве-Варфоломеев. Это один из матросов ушедшего в Румынию царского броненосца «Потемкин». Бунтовщики, как известно, находились под охраной международного права и свободно

проживали в Европе под своими именами. Перемена Варфоломеевым своей фамилии наводит на мысль,— не скрывалось ли под этим намерение укрыться от уголовной полиции?»

«...До сих пор стокгольмской полиции не удалось выяснить причину исчезновения Кальве-Варфоломеева, также и то — было ли тут наличие преступления, или Кальве-Варфоломеев исчез, выполняя какие-то таинственные задачи...»

Откликаясь на эту заметку, ревельская (русская) газета опубликовала статью небезызвестного русского писателя-эмигранта — Н. Н., с огромным темпераментом взыскующего к народам Антанты:

«...Вы, гордые своей цивилизацией, мощью и богатством, вы, удовлетворенные плодами победы и мира, вы, беззаботно посылающие своих слуг в ближайший магазин за хлебом, мясом, сахаром и папиросами, вы, безопасно разгуливающие в прочных ботинках и дорогих одеждах по улицам блестящих городов, вы, по ночам не просыпающиеся в ужасе от звука подъехавшего автомобиля... Вы, с высоты благополучия, спокойно взираете на окровавленную Россию, где ваши братья,— пусть младшие,— лишены всего, понимаете ли вы, лишены элементарных прав человека и гражданина!.. Антихристовой формулой мы лишены хлеба! А вы слышите наши предсмертные вопли и не спешите на помощь... Мало того... Вы даете убежище большевикам и их приспешникам — вместо того чтобы сажать их, как диких зверей, в железные клетки. Да знаете ли вы, что большевики готовят вам, вашей цивилизации, вашему спокойствию? О, мы, русские, могли бы порассказать об ужасах, перед которыми побледнеет самая болезненная фантазия!»

Следовало на трех столбцах перечисление большевистских ужасов. Далее автор переходил к биографии Кальве-Варфоломеева — «этого гориллообразного зверя-большевика». Автор не сомневался, что гориллоподобный курьер, наведя полицию на ложный след, на самом деле отправился в Венгрию раздувать пламя преступной революции.

Выдержки из статьи перепечатала стокгольмская газета, после чего толпа разношерстных людей собралась перед советским посольством, пыталась ворваться в парадный подъезд, но, потерпев неудачу, выкинула андреевский флаг и камнями выхлестала окошки в первом этаже.

47

В уборной для артистов — в «Гранд-отеле» — Мари пудрила плечи. У соседнего зеркала голая, лимонно-матовая, совсем молоденькая мулатка тихо оттаптывала джигу, упершись в бедра худыми руками, полузакрыв ресницы. Шесть «герлс» переодевались в спортивные юбочки среди хаоса сброшенного белья, картонок и искусственных цветов.

От резкого света стосвечовых ламп лица женщин казались кукольными, глаза — стеклянно-прозрачными. Говорили немного, негромко, профессионально озабоченно. Дули на пуховки. Деловито испытывали движения, гримасы лица, повороты тела — те самые, с трудом найденные и точно рассчитанные движения, которые из вечера в вечер превращались на эстраде в возбуждающую женственность. Там, с помоста, женщины улавливали нормальное для успеха номера количество обращенных к ним мужских лиц, нормальное вожделение. Выше этой нормы возбуждения ужинающих самцов они не шли,— каждое лишнее движение в сторону красной физиономии, давящейся бифштексом, было бы утомительно, не профессионально и грязно. Мари с первых же дней поняла эту границу. Среди певичек, плясуний, «герлс», акробаток, фокусниц она почувствовала такую забытую потребность в уважении, товарищеской ласке, дружбе, что эта тесная, пропахшая пóтом и пудрой уборная стала для нее островком спасения, куда ее — загаженную по уши в грязи и крови — выбрасывало, как на свежий воздух. Здесь никогда ни о чем не спрашивали, были дружны и внимательны и с профессиональным уважением относились даже к ее сильно пропитому голосу и дрянным песенкам, которые она пела с эстрады.

Мари напудрила плечи, через голову набросила платье в блестках. Оно застегивалось на спине. Она подошла к голой мулатке, тихо отплясывающей джигу. Застегивая ей на спине платье, мулатка сказала на ухо:

— Вам нужно похудеть, Маша,— и прищемила жирок у нее на боку.— Здесь это сойдет, но в Париж вы не подпишете с такими боками. Перестаньте есть сладкое и мучное.

— Меня губят ужины,— с огорчением сказала Мари.— Я обязана заказывать.

Застегнув платье, девушка ласково шлепнула Мари по заду. Мари поцеловала узкое, с большим ртом, чуть плосконосое личико мулатки, ласково улыбнувшейся от поцелуя. Вернулась к зеркалу: «Да, жирна...»

— Мари, можно?

В полуоткрытую дверь просунулась бледная Лилька,— глаза птичьи, круглые, вся насыщена дрянью. Мари поспешно вышла к ней за дверь:

— Зачем явилась? Знаешь — я не люблю.

— Мари... (Дрожащим шепотом.) Мне — опять поручение...

— Я тут при чем?

— Ты всегда ни при чем — одна я отдувайся... Слушай, этот Кальве, оказывается, исчез,— которого я привезла на дачу-то... В газете напечатано — разыскивается полицией...

— Тише ты! — Мари прикрыла дверь.— Ты что узнала?

— Ничего я не узнала. Понимаешь, когда я его отвезла в Баль Станэс, мне велели вернуться и ждать тебя в «Гранд-отеле» до утра... И в это именно время,— я уверена,— что они его... (Всхлипнула.) Боюсь, Маша... Теперь велели привезти Леви Левицкого.

— С Верой говорила?

— Что ты!.. К ней подойти-то страшно...

Помолчали. За бархатным занавесом кулис на эстраде настраивали оркестр. Прошли четверо, в клетчатых широких пальто с поднятыми воротниками, в мохнатых кепках, в руках одинаковые чемоданчики,— братья Хипс-Хопс, воздушные эксцентрики. Задний ласково

кивнул Мари. Тогда Марья Михайловна задрожала от отвращения и — тихо Лильке:

— Ну вас всех к черту... Убирайся отсюда к черту!..

Лилька подняла плечи и пошла, не оборачиваясь. На голове ее нелепо, как на манекене, торчала шапчонка — дурацким колпачком.

Лили села в вестибюле на обычное место, у камина.

Не переставая махали стеклянные половинки парадных дверей. Входили и выходили люди, уверенные в своем праве нести себя через жизнь. Вплывали и уплывали на спинах служителей огромные груды элегантного багажа. Как сказочные гномы, выскакивали из мягко упавших лифтов ливрейные мальчики со множеством блестящих пуговичек на курточках. В коробки лифтов входили Уверенные и женщины Уверенных,— для них, только для этих земных божеств тутовые гусеницы ткали шелк, громадные кашалоты копили амбру в мочевых пузырях, под землею уголь спекался в алмаз, седел соболь под северным сиянием и восемьдесят процентов человечества добывали эти и другие прекрасные вещи, получая взамен скромное счастье созерцать красивую жизнь земных божеств, так умело и так цивилизованно пользующихся дарами природы и рук человеческих.

Среди Уверенных одна Лилька, хипесница, сидела чужая, с глупыми круглыми глазами перепуганной птицы. На прошлой неделе она выполнила задание Хаджет Лаше,— привезла Варфоломеева в Баль Станэс. Вышло это так. Предварительная слежка установила, что Варфоломеев посещал антикварную лавку и приценивался к восточным коврам. Лили должна была подойти в вестибюле к Варфоломееву и попросить как соотечественника помочь ее горю: старушка мать лежит-де при смерти, все продано и заложено, но у них-де осталась одна вещь — персидский ковер, она хотела бы за него — ну хоть пятьдесят крон... Если Варфоломеев спросит, откуда ковер,— объяснить, что покойный папочка — швед по происхождению — работал в России, но из-за плохого здоровья оставил службу и еще до

войны перебрался вместе с семьей в Стокгольм. А ковер-де — подарок бывшего хозяина.

Когда Лили подошла в вестибюле к Варфоломееву и заговорила, Хаджет Лаше и Биттенбиндер стояли в двух шагах. Лили была как под гипнозом. Варфоломеев сначала слушал подозрительно. Но у Лили от волнения выступили слезы, бормотала она так бессвязно и жалобно, что его широкое крепкое лицо вдруг смягчилось, виски у глаз собрались морщинками, но неожиданно все едва не сорвалось: он просто предложил ей эти пятьдесят крон взаймы. Лили растерялась. В нее воткнулись черные глаза Хаджет Лаше. Лили замотала головой. Варфоломеев вынул деньги. Тогда Хаджет Лаше решительно вмешался.

— Простите, сударыня,— сказал он Лили,— я нечаянно подслушал ваше предложение господину... (Высокомерно поклонился насупившемуся Варфоломееву.) За персидский ковер я мог бы дать более высокую цену.

Лили под колючим взглядом ответила, что уже сговорилась с господином... Лаше, ворча, отошел... Варфоломеев пожелал сейчас же взглянуть на ковер. Лили попросила подождать до вечера. В сумерки они встретились у выхода из гостиницы и сели в поджидавшее такси. За шофера сидел сын генерала Гиссера, Жоржик, отчаянный автомобилист. Выбравшись из людной части города, он на ураганной скорости погнал машину в Баль Станэс.

Все дело прошло как по маслу. У Варфоломеева не закралось подозрение, даже когда Лили ввела его в темную дачу, попросила подняться наверх, в гостиную, и, не зажигая света, оставила одного.

Лили тотчас же увезли обратно в Стокгольм. Когда наутро она и Мари вернулись, на даче никого не было, одна Вера Юрьевна заперлась на ключ и не откликалась. Неожиданно Лили обнаружила разгром у себя в комнате — одеяло с постели сорвано, простыни исчезли. Лили и Мари обошли оба этажа: все — на местах, как и стояло, только в гостиной паркетный пол как будто недавно был вымыт. Сунулись опять к Вере Юрьевне,— к себе не пустила, шипела, как змея, за дверью... хотя

такое ее настроение легко можно было объяснить после внезапного отъезда Налымова в Париж.

Лили не отличалась склонностью углублять явления, так и на этот раз она отмахнулась от непонятного. Но во вчерашней вечерней газете прочла, что полиция «идет по следу таинственного преступления»... «Варфоломеев исчез или убит?..» «Кто он — жертва или преступник?..» У Лили от страха расстроился кишечник. Всю ночь она прислушивалась к шорохам, но полиция не явилась в Баль Станэс. Началось томительное ожидание катастрофы. Все тело ее точно измолотили невидимыми дубинками. Сейчас Лили сидела в вестибюле и воспаленными кончиками нервов ждала громового голоса: «Сударыня, следуйте за мной...»

Теперь Хаджет Лаше приказал ей привезти на дачу Леви Левицкого. Ему опять показали Веру Юрьевну. Накануне за уроком Лили сообщила ему, что княгиня будет в Стокгольме у ювелира. Леви Левицкий попросил Лили пойти вместе с ним... Они долго стояли на тротуаре у ювелирного магазина. Вера Юрьевна подъехала в машине, вышла и остановилась у витрины, где на черном бархате колючими лучами переливались камни. Вера Юрьевна была в седых соболях, бледна, потрясающе шикарна. Перед витриной, в блестящей суете улицы, эта неподвижная, высокая и недоступная женщина отшибла у Леви Левицкого остатки благоразумия. Он намеревался было заговорить, но Вера Юрьевна, не замечая его, вернулась в автомобиль и исчезла среди несущихся вниз по крутой улице машин, автобусов, трамваев...

На диван рядом с Лилькой тяжело плюхнулся Леви Левицкий. Она обмерла. Он положил горячую руку на ее колено:

— Когда же, когда, Елизавета Николаевна? Завтра наверное?

— Да... (Чуть слышно.) Завтра... Вечером...

— Вы чем-то расстроены, золотко мое? Ну-ну-ну... (Потрепал по колену.) Только шепните ей про меня — ничего для вас не пожалею...

Лили поглотала слюну,— средство не помогло: как из лейки, вдруг брызнули слезы. Уткнулась в платок.

Леви Левицкий с горячей отзывчивостью сжал ее руки, нагнулся к лицу:

— Детка моя, кто же вас так расстроил? Можно помочь как-нибудь? Ай-ай-ай... Денег, что ли, нет? Э, бросьте, а Леви Левицкий на что? Пойдемте-ка, золотко, ко мне в номер да выложите все, как родному брату...

Лили ладонями зажала трясущийся рот, чтобы не заорать на весь вестибюль. Кое-кто из Уверенных стал уже оборачиваться с негодованием... Нахмурился портье за конторкой. Тогда Лили стащила с себя шапочку и закрыла ею лицо. Еще секунда, и она уткнулась бы в грудь этого доброго Леви Левицкого и вырыдала бы всю свою отчаянную растерзанность. Но вовремя от этого безумного шага ее удержал пристальный взгляд Биттенбиндера,— поручик был в смокинге, цилиндре, с черным плащом на руке.

— Нет, я оттого,— пролепетала она,— что моя мамочка при смерти.

Леви Левицкому вспомнился зарубленный петлюровцами папашка. Искренне и пылко жалея девушку, он настоял, чтобы она пошла с ним ужинать. Биттенбиндер сделал знак, и Лили согласилась.

48

Тогда ночью в Баль Станэсе президиум Лиги вынес смертный приговор Налымову и Вере Юрьевне. И она и он выслушали его с каким-то даже облегчением,— наконец кончена канитель! Извольский, прочтя приговор, разорвал бумажонку и обрывки поджег спичкой. Вера Юрьевна и Налымов сидели на диване, президиум расселся напротив, Хаджет Лаше немного впереди других. Он уже успокоился, подогнул под стул ногу, уперев руку в бедро, поигрывая концом кавказского пояса, игриво поглядывал на Веру Юрьевну. Выдержав минуту, чтобы приговоренные полной мерой хлебнули предсмертной тоски, закончил решение президиума:

— Считаясь с нуждами Лиги, мы *откладываем* исполнение приговора и даже даем обоим государствен-

ным преступникам *возможность* загладить беззаветной работой свой проступок. Полковник Налымов немедленно выезжает в Париж к своим обязанностям, княгиня Чувашева остается здесь под моим личным наблюдением...

Налымова увезли в автомобиле на следующее утро, не разрешив проститься с Верой Юрьевной. Она получила от него на другой день открытку в два слова. Ночью Хаджет Лаше говорил Вере Юрьевне:

— Красавица моя, от вашего поведения зависит жизнь полковника Налымова: попытайтесь ослушаться меня хотя бы в мелочах,— обещаю прострелить ему башку. Понятно? Его я также предупредил, что спущу вас в мешке в озеро, если он попытается вилять там, в Париже. Понятно? Кроме того, если он сделает глупость — донесет полиции, донос поступит ко мне же, в первую голову. Последствия понятны. Ну-с, а ваши предположения, что всех вас по миновании надобности Лига «уберет», как вы или Василий Алексеевич тогда выразились, кошечка моя,— истерический вздор. Денежную долю выделим вам широко, милуйтесь себе на здоровье хоть на Соломоновых островах... Пора понять: в политике я жесток, вне политики — доброжелателен. Может быть, я — последний романтик, почитали бы все-таки мои книжечки. Особенно рекомендую роман «Убийца на троне». Там с большой эрудицией описываются турецкие пытки... А также глубокое знание женской души... (Весело открыл зубы.) Итак, по рукам?

Что же ей оставалось? Хаджет Лаше внушал ей ужас. Он и не скрывал, что намеренно усиливал близость между ней и Налымовым. «Не на один, так на другой крючок вас возьму, если смерти не боитесь». И действительно, если в ней и оставалось что-нибудь живое — так только отчаянный страх за Васеньку.

Оставаясь одна на даче, Вера Юрьевна тихо выла в подушку. И приказания Хаджет Лаше исполняла в точности. Только один раз, недавно ночью, не выдержала... Затыкала уши, совала голову под подушку,— не могла больше слушать протяжного крика боли, доносившегося из гостиной. Крик обрывался. Она различала мужское всхлипывание. Начиналась омерзительная воз-

ня... Бормотание голосов. Удары. Тишина. Острый крик раздирал ночную тишину. (Хуже всего, что она видела из окна в Лилькиной машине этого Варфоломеева.) Кричал сильный, полный крови человек...

Вера Юрьевна сорвалась с постели, выскочила на балкончик, сползла по низко спускающейся крыше на луг, побежала к озеру и дальше — к березовому леску. И там до зеленого рассвета тряслась в одной сорочке.

Но и эта ночь миновала. Остался только непроглотный клубок в горле,— не запить никаким вином. Веру Юрьевну два раза таскали в Стокгольм — вечером в ресторан, днем на свидание с Леви Левицким у ювелирного магазина.

Наконец Лаше сказал:

— Завтра его привезут. Может, все обойдется вполне прилично,— я еще не решил... Тогда вам придется пофлиртовать. Не давайте себя откровенно лапать, но и не очень его отпугивайте.

49

Леви Левицкий брился, стоя перед зеркальным шкафом. Что могло быть лучше ощущения горячего прилива жизни! Черт возьми, какая легкость! Кровь так всего и обмывает, мыло шипит на щеках — до чего щеки здоровы. Хорошо, что вчера не пил водки (угощая ужином Лили), только стопочку шампанского! Здесь пить надо бросить,— жизнь пьянее вина. Водка, спирт, автомобильная смесь,— пили мы, братишечка, чтобы отмахнуться от жизни... «Эх ты, яблочко!..» Он повел плечом, и ноги сами притопнули по ковру. Это же — счастье, полная жизнь! И, вдруг испугавшись,— не прыщик ли? — придвинулся к зеркалу. И загляделся на себя... Ах, Леви Левицкий, ты ли это?

Положив бритву на стеклянную доску на туалете, смочил полотенце одеколоном, осторожно вытер щеки и шею. Припудрился тальком из пестрой жестянки. Эти предметы высокой культуры, разбросанные по столикам и креслам, усиливали ощущение полноты жизни.

А помнишь, братишка, питерский пропотевший френч, хлюпающие сыростью башмаки, белье, липнущее к телу? Благословенны шелковые кальсоны, паутиновые носочки, лакированные башмаки, внутри выложенные замшей и посыпанные тальком, чтобы нога нежилась, как в утробе матери.

Он отворил дверцу в ванное помещение — изразцы озарены пестрым витражем окна. Повернул никелированные краны, синеватая горячая вода зашумела в белую ванну, поднимая облачка пара, и вдруг ему стало страшно: слишком уже все хорошо... А вдруг все это — на ниточке? Он сел на край ванны, мрачно задумался. Еще в постели он просмотрел утренние газеты. Германия в особенности внушала самые серьезные опасения. Очень ненадежно. «Черт их знает, на что-то надеются же большевики. Прут напролом, да еще издеваются... Какие-то данные должны у них быть для такой уверенности. Ой-ой-ой!.. Версальский мир! Пропаганды для европейской революции лучше и не придумать».

Леви Левицкий закрыл воду, сбросил пижаму и, вздрагивая от звериного наслаждения, лег в ванну. Глядел на пестрых рыцарей на витраже.

«Что, если все — вздор? Русская революция просто — затянувшаяся демобилизация? Большевики — книжники, спятившие с ума? Ну-те-с! Тогда версальцы не такие уж ослы. Германия и Россия — две половинки одного тела,—индустрия и сырье. Версальский мир весь целиком направлен против Востока,— считая от Рейна до Тихого океана. А если так,— Антанта получает рынок, какой и не снился человечеству. Германские заводы переходят к Франции и Англии. Широкий карательный марш на Восток. Народишки российских федеративных республик разметываются, как мусор. Вслед за армиями Антанты вливается излишек европейского населения. И великолепнейшую буржуазную культуру железным гвоздем приколачивают до самого земного пупа на веки веков — от Великой Британии до Тихого океана».

Леви Левицкий длил наслаждение, поворачиваясь с боку на бок в ванне. Нет, будущее — лучезарно. За будущее он спокоен. И мысли его перенеслись к волную-

щей женщине из Баль Станэса. Вдруг он вспомнил: «Черт, цветов забыл!» Торопливо вышел из воды, растерся, надушился, припудрился и начал одеваться, выбрав самый лучший костюм.

Роскошной бабочкой Леви Левицкий стремительно летел на огонь. По телефону он заказал букет белых роз. Легко позавтракал, без вина,— только рюмочка ликера с черным кофе. Спросил гавану в шесть крон. Попыхивая ароматным дымком (каким попыхивают только самые богатые люди на свете), самоуверенно, неторопливо вышел в вестибюль за шляпой и тростью. Навстречу с кожаного дивана поднялась Лили, пробормотала, что автомобиль уже нанят и ждет.

— Превосходно,— сказал Леви Левицкий, беря у ливрейного мальчика шляпу и трость. Его не удивило ни землистое лицо Лили с провалившимися глазами, ни то, что нанятый автомобиль стоял не у подъезда, но довольно далеко от гостиницы, за углом.

Усевшись на заднее сиденье машины, Леви Левицкий сказал адрес цветочного магазина. Шофер (Жоржик Гиссер), как будто не поняв приказания, быстро поехал не в сторону Биргельярлс-гатан (где был цветочный магазин), а к набережной. Леви Левицкий схватил его за плечо (Жорж, не оборачиваясь, болезненно оскалился) и крикнул с раздражением:

— Елизавета Николаевна, скажите этому болвану по-шведски,— я должен заехать за букетом...

Машина повернула на Биргельярлс-гатан. В то время, когда Леви Левицкий платил в магазине за цветы, шофер Жорж успел заскочить в уличный автомат и по телефону запросил Баль Станэс:

— Гость наследил. Что делать?

Голос Хаджет Лаше бешено, отрывисто:

— В чем дело? Точнее...

— Покупает на Биргельярлс-гатан огромный букет. Десятки свидетелей...

— Невозможно!.. (Голос захлебнулся и затараторил татарские ругательства.) Все делается из рук вон! Позовите к телефону Елизавету Степанову. (Жорж отве-

тил: «Нельзя, говорю из уличного автомата».) О, черт! (Опять по-татарски.) Ананáсана... Бабáсана! Везите, все равно...

Букет был завернут в тончайшую шелковую бумагу. Леви Левицкий держал его на коленях, как свое счастье.

Он был счастлив за эти двадцать пять минут перегона по великолепному шоссе от Стокгольма до Баль Станэса. Он сказал Лили, что Европа для него в сущности тесна, развернуться можно только в Америке, где, «душка моя, вот вам мое слово: этих башмаков не изношу,— буду иметь собственный банк и парочку небоскребов...»

На завороте шоссе автомобиль почти коснулся крылом мелькнувшей навстречу машины,— она шла из Баль Станэса в Стокгольм. За стеклом две пары свирепых глаз укололи Леви Левицкого. Но заметила это только Лили, узнав Биттенбиндера и Эттингера. Затем — за поворотом — открылось кубово-синее, среди желтеющей листвы, длинное озеро. Лили указала на черепичную кровлю уединенного дома. Быстро покрыли дорогу вдоль леса. У подъезда дачи на садовой скамейке сидел Хаджет Лаше и добродушно курил из длинного мундштука.

— А-а, милости просим, милости просим... Давно друг друга знаем, но не знакомы, рад, очень рад,— сказал Хаджет Лаше, задерживая руку Леви Левицкого.— И с цветами! По-европейски. Княгиня вас поджидает... Не нравится мне ее здоровье,— настроение, нервы... Да, да, все мы здесь чахнем потихоньку без родной почвы... Вера Юрьевна! — крикнул он, задрав к окну голову и расставя ноги,— гость из Петрограда... Да, поджидает она вас, очень поджидает... Елизавета Николаевна, по русскому обычаю гостя надо бы чайком. (Лили сейчас же ушла в дом.)

— Да вы садитесь, Александр Борисович, в ногах правды нет... Давно ли из Петрограда? Ах, иногда все кажется, как сон какой-то... Помню,— давно ли это было,— Невский проспект: чинно, строго, прочно. Вой-

ска проходят с музыкой... Спешат чиновники, мчатся коляски, юнкера на лихачах. Помните пару вороных под синей шелковой сеткой — запряжку императрицы? Любил я глядеть, как, бывало, идет генерал в кожаных калошах с медными пятками, помните? Может быть, сам-то по себе заурядный человек, но сознание в лице, что — высший представитель империи. И это было внушительно. Солдаты — раз-раз — во фронт, юнкера — дзынь, дзынь — в четверть оборота, локоть — в уровень козырька. Красиво! И вместо этого на пустынном Невском — выбитые стекла и лошадиная падаль. Да, да, вот сижу здесь и размышляю о скоротечности всего земного...

В это время произошло что-то мгновенное и мало понятное... В дверях дома появилась Вера Юрьевна. Только по росту, по меху на плечах Леви Левицкий узнал ее,— бледное, густо напудренное лицо ее было искажено гримасой перекошенного рта. Соболий палантин у самого горла она стискивала худой, в перстнях, рукой, ногтями — глубоко в мех. На пороге споткнулась и с каким-то отчаянием протянула руку перед собой. Хаджет Лаше кинулся к ней, втолкнул в дом и захлопнул за собой и за нею дверь. Все это — в долю секунды. Леви Левицкий в недоумении остался на скамейке.

Дотащив Веру Юрьевну до внутренней лестницы, Лаше придвинулся вплоть вздувшимся от гнева лицом и — без голоса:

— Это что же... знаки? Ананáсана! Знаки подаешь? Марш! В постель!.. Лечь... Предупреждение последнее...

Под мехом он ловил ее руку, чтобы сломать пальцы. Вера Юрьевна пошла наверх по лестнице неживыми шагами. Лаше вернулся к Леви Левицкому. Ударил себя по ляжкам. Сел:

— Вы видели? Ну что с ней поделаешь! Опять припадок истерии. Переволновалась, ожидая вас, что ли... Приказал, буквально силой,— лечь... (Всовывая папиросу в длинный мундштук.) Доктора, ах, доктора! Кого ей только не привозил... Без докторов понятно, что — будь при ней муж, любовник, грубо говоря, хороший самец,— вот и все лекарство. Да, тяжело, Александр Борисович, мне, право, совестно перед вами... Да и кня-

гиня будет в отчаянии... Приезжайте-ка к нам, батенька, запросто ужинать... Будут милые люди... Засидимся — останетесь ночевать... Условились, а? Завтра вечером, идет? Этот же шофер вам и подаст машину... Но только уж никаких букетов... И просьба... Не говорить никому... Знаете, голодные эмигранты такая бесцеремонная публика,— чуть где запахнет ужином,— так и тянутся на огонек...

50

Остаток дня Леви Левицкий прогуливался по Вазагатан. Купил чудные перчатки антилоповой кожи и машинку для точки бритв. Потом зашел в кино, где шла новинка — «Три мушкетера». Три французских дворянина и их друг совершали чудеса храбрости во имя чести, Франции и короля. Леви Левицкий скучал,— кому нужна эта неправдоподобная чепуха?

Ужинать пошел в известный кабачок «Три рюмки», но и здесь было скучновато, пресно. От сегодняшнего посещения Баль Станэса оставалось смутное впечатление чего-то болезненного и тоже неправдоподобного... «А не бросить ли канитель с этой бабой? Наверное, с фокусами, подумаешь — аристократка!..» Спать он лег раздраженный, неудовлетворенный.

Утром, лежа в ванне, окончательно решил: довольно нежиться, довольно сладострастничать, мотать деньги. Первое — прочь из этой дыры, Стокгольма,— на простор, в Америку. В девять часов он позвонил Ардашеву и к двенадцати поехал к нему завтракать. Задача: устроить через Ардашева американскую визу.

Николай Петрович встретил его, размахивая объемистым конвертом, сплошь облепленным марками — они тянулись в виде хвоста на особой подклейке. Леви Левицкий засмеялся:

— Узнаю советскую почту. От кого?

— Представьте, дошло! От Бистрема.

— Ну-ка, ну-ка?

— За кофе прочтем.

Сели завтракать. После водочки, когда у Ардашева увлажнились глаза, Леви Левицкий изложил просьбу

об американской визе. Николай Петрович отнесся к этому чрезвычайно серьезно.

— Дорогой мой, вы хотите окончательно эмигрировать?

— Не понимаю такого вопроса, Николай Петрович,— я не был и не буду эмигрантом... Я должен испытать счастье, раз уже вырвался за границу... Во мне столько темперамента, столько энергии, удачи, честное слово,— жалко бросать Советской России такой кусок! Ей нужен Буденный, а я боюсь острых предметов, сижу на лошади, как собака на заборе. Года через три или я сделаю миллионы, или лопну, как мыльный пузырь... Тогда уж вернусь в Советскую Россию, раскаюсь (рассмеялся) и отдам себя революции. Вы понимаете, я — слишком Я... Это мне мешает спать. Зла трудящимся я не собираюсь делать, разве пущу в трубу десяток-другой спекулянтов...

Ардашев снял серебряную крышку с дымящегося блюда. Близоруко прищурился.

— Мне-то уж слишком смешно быть моралистом, Александр Борисович... Эмигранты считают меня большевиком, большевики — буржуем. И те и другие правы. Я верю в правду революции, но не верю в себя и продолжаю кушать с серебряной тарелки... И вас я понимаю. Вы цельный человек... Но было бы больно увидеть вас среди врагов Советской России.

— Боже сохрани! Николай Петрович, Россия была мне злой мачехой... Но зла я не хочу помнить. Богом вам клянусь, чем хотите: будет у меня сто миллионов, все равно в душе останусь пролетарием!..

Он сказал это горячо, с верой в себя и в сто миллионов. Выпили под дымящееся блюдо. Ардашев обещал завтра же сходить в американскую миссию.

— Должен вас все-таки огорчить, Александр Борисович: Америка сейчас — не слишком удобное поле для игры. Нет ничего прочнее американских бумаг. Игра сейчас — здесь, в Европе. За войну Америка ввезла сюда товаров более чем на десять миллиардов долларов. По крайней мере половину этого не успели израсходовать. Считайте, что в Европе болтается на разных складах, в военных министерствах, у разных спекулян-

тов — обуви, белья, одеял, консервов, печенья, варенья, муки, табаку, мороженого мяса и прочего на пять миллиардов долларов. Вот и положите эту сумму себе в карман, Александр Борисович... Потом соберемся опять у меня за завтраком и посмеемся, как два авгура, знающих цену деньгам, человеческой низости и юмору.

— Слушайте, вы серьезно советуете обратить внимание на Европу? Ладно, подумаю... Читайте письмо Бистрема.

Начало письма было о матери Бистрема,— он просил Ардашева сходить к ней и, если нужно, помочь денежно. «Передайте мамочке, что здесь я, во всяком случае, в большей безопасности, чем живя в Стокгольме». Сообщал о себе: вначале он работал в Наркомпросе. «С нетерпеливостью революция требует от наук и искусств покинуть горные вершины и все свои сокровища отдать массам. Грандиозные здания бывших учреждений и дворцов отводятся под академии. Туда привлекаются все, кто может чему-нибудь научить: ученые, академики, специалисты, поэты, философы, балетные танцоры, музыканты, режиссеры... Бесчисленное множество факультетов и аудиторий заполняется толпой рабочих и работниц, красноармейцев, подростков и стариков. Половина этих людей не знает грамоты. Но они, как растения в засуху, пьют влагу знания. В одном зале знаменитый астроном, с мешком для пайков за спиной, в калошах на босу ногу, читает о мироздании. Тысяча человек, таких же голодных, как он, слушают, как зачарованные, о небесных туманностях, о лучах света, ползущих миллионы световых лет по сферическому четырехмерному пространству. Тысяча слушателей чувствуют, что эфир, туманности и свет завоеваны ими, они свои теперь, советские, как этот дворец, как этот величественный и суровый город. В другой аудитории бледнолицый поэт говорит о ямбах и хореях, трехдольных паузниках, ритме, аллитерациях, читает поэмы Пушкина под всеобщее одобрение, с бешенством нападает на символистов и поздравляет слушателей с появлением космического гения Хлебникова. В третьей аудитории деревенские парни, сняв простреленные шинели, обучаются движениям классического балета, и это не смешно,

потому что революция взамен мещанских материальных благ пригоршнями швыряет величайшие сокровища тысячелетней цивилизации.

Жизнь с каждой неделей все тревожнее: растет голод, белые армии теснее обхватывают пределы республики.

Из Наркомпроса меня перебросили в отряды по продразверстке. Нужно силой добывать хлеб у все более лютеющего кулачья. О да, я научился ненавидеть сытых... Я пересмотрел мое философическое отношение к еде. В этой точке начинается расхождение двух мировосприятий: чувственного и идейного, индивидуалистического с его «сегодня» и социалистического с его «завтра»... Я вижу, вы читаете это письмо за завтраком и улыбаетесь. Николай Петрович, я немного похож на голодного оптимиста, не имеющего чем набить желудок и бодро философствующего на тему, что не единым хлебом жив человек. Да, я хочу есть, и это мучительно. Но мозг мой ясен и верит в победу великих истин, и долю истины вы найдете в моих рассуждениях.

Самая буржуазная нация, французы, создали из еды искусство, более почитаемое, чем все остальные. В хоровод муз они ввели десятую музу — Кипящую Кастрюлю. Эту бабу, с глазами восхитительно пошлыми и засасывающими, богиню всех рантье, мелких буржуа, богиню угрюмой жадности, индивидуализма, человеконенавистничества, богиню тухлой отрыжки, называемую также — Версальским миром. Эту мировую стерву я со всей классовой ненавистью выкидываю из хоровода муз. Десятой музой я ввожу крылатую музу Революции, уносящую на своих пылающих крыльях человечество к голубым городам социализма. Она — со мной, опершись о мой стол (где пишу вам при свете коптящего фитилька в консервной жестянке), глядит в мою совесть глазами прозрачными, как математическая формула, неумолимыми, как декрет, светлыми, как утренняя заря.

Не думайте все же, Николай Петрович, что я занимаюсь здесь одной поэзией при свете коптилки. Это мой досуг, очень скудный, кстати. Вчера вернулся из двухнедельной поездки с продотрядом. Нас было четыр-

надцать человек — двенадцать рабочих-металлистов, комиссар и я — агитатор. Из отряда вернулись живыми двое — пятидесятилетний рабочий Чуриков и я. Двенадцать вагонов хлеба, которые мы успели пригнать в Петроград, стоили нам двенадцати жизней: в дождливую и ветреную ночь комиссар с одиннадцатью товарищами были зарублены топорами, сожжены вместе с сараем, где ночевали. Мы с Чуриковым спаслись только потому, что в этот час были на железнодорожной станции.

Боюсь, что мне теперь долго не придется писать вам. События для нас, петроградцев, чрезвычайно угрожающие. По нашим сведениям, Антанта серьезно принялась вооружать Юденича и финнов. Петроград — на мушке дальнобойных орудий финского берега, Кронштадт — под жерлами английских дредноутов. Наступления ждем со дня на день. А Москва продолжает высасывать у нас силы для иных фронтов. Есть слухи (но, очевидно, панические, а может быть, и провокаторские) — будто бы Петроградом на крайний случай решено пожертвовать и базу тяжелой индустрии перенести на Урал и в Кузнецкий бассейн. Слухи подогреваются приказами об эвакуации заводов. Но рабочие отвечают на это примерно так:

Рабочие Ижорского завода постановили: «Всякую эвакуацию прекратить, дабы не вводить дезорганизацию как в среду рабочих, так и во вполне налаженную работу по бронированию автомашин. Мы, ижорцы, закаленные в боях, твердо верим в победу, крепко стоим на своих постах и знаем, что и когда нужно делать, когда и какую работу производить и когда нужно заниматься эвакуацией».

Впечатление от этого письма было настолько крепкое, что Леви Левицкий и Ардашев долго молчали,— один, навалясь локтями на стол, глядел в пустую синеву окна, другой, поджав губы, мял хлебные шарики. Потом они заговорили о судьбе революции, волочащей на ногах чудовищные гири: на левой — семьдесят пять процентов неграмотного населения, на правой — интервен-

цию с белыми генералами и за спиной — змеиный клубок заговоров.

Ардашев откупорил бутылку коньяку,— сердца у обоих разгорячились и умилились. В этот час оба, казалось, готовы были отдать жизнь за справедливость.

— Честное слово, я вернусь, я вернусь, я должен вернуться,— повторил Леви Левицкий.— Здесь я себя не уважаю! Человек может пачкать себе лицо, но жить в грязи? Нет! Нет!

Возвращаясь уже под вечер с затянувшегося завтрака, Леви Левицкий не останавливался перед витринами, не дергал ноздрей в сторону хорошеньких женщин. Он купил русских и немецких газет, вернулся в гостиницу, снял пиджак и сел читать. В Венгрии — революция, в Германии — вот-вот восстанут спартаковцы, в Англии — забастовки, в Италии — невообразимый хаос. Душа Леви Левицкого расщепилась. «Они правы, черт их возьми, правы, правы,— бормотал он, хватая, бросая, комкая газеты, — это начало мировой революции...» Заглядывая в котировку биржевых курсов, сличая их со вчерашними, шумно сопел носом: «Ардашев прав, деньги нужно делать в Европе, и именно там, где все на волоске». Наконец он начал ходить из угла в угол, волоча за собой табачный дым. В дверь слабо постучали. Бесцветной тенью появилась Лили:

— Вера Юрьевна просила передать, что очень извиняется за вчерашнее, непременно ждет вас сегодня к обеду, к семи часам.

— Вы знаете, я, кажется, не поеду... А? (Лили опустила голову.) Золотко мое, извинитесь за меня... Или я напишу. (Лили тенью стала уползать в дверную щель.) Может быть, отложим?

И вдруг в нем поднялось желание, такое вещественное и мучительное, что, стиснув зубы, он за руку втащил Лили в комнату.

— Подождите... Княгиня ждет меня, говорите?

— Да, они очень ждут.

— Ну, раз ждут... Буду европейцем... Что нужно — смокинг? Через десять минут буду готов.

— Я заказала автомобиль... Вы одни поедете, я позже...

Закрыв за ней дверь, он взглянул на часы: двадцать минут седьмого. Он торопливо достал крахмальную рубашку и, ломая ногти, всовывал запонки. Желание раздавливало его, как лягушку в колесной колее, и он, сердясь на запонки, бешено оскалился. Но остроумие все же никогда его не покидало: покосился в зеркало, пробормотал:

— Завоеватель Европы...

51

— Едет,— сказал Хаджет Лаше.

Он вышел на крыльцо. В сумерках, быстро приближаясь, шумела машина. Лаше схватился за перила, слушал, всматриваясь.

Вдали выступали из темноты березовые стволы, свет фар побежал по стволам. Лаше снял руки с перил, провел по волосам. Сошел с крыльца.

Со всего хода автомобиль затормозил. Лаше подошел, дернул дверцу. Из автомобиля неуклюже — боком вылез Леви Левицкий. Поправил шляпу, глядя на темный дом, где — ни одного освещенного окна.

— Приехали все-таки...— обеими руками Лаше потер щеки.

— А что? — почти с испугом спросил Леви Левицкий.

— Да ничего, все в порядке... Ждем... Кто-нибудь знает, что вы поехали сюда?

— Нет... Вы же просили...

— Кому-нибудь да сказали все-таки?

— Слушайте... Это странно даже...

— Завтракали у Ардашева?

— Ну, завтракал...

— Он знает?

— Что? Что он знает?

Оба говорили отрывисто, торопливо, сдерживая нарастающее волнение.

— Да никто ничего не знает,— сердито сказал Леви Левицкий.— В чем дело?

Хаджет Лаше придвинулся.

— Ах, в чем дело, хотите знать?

Это уже походило на угрозу. Леви Левицкий оглянулся, сейчас же Жорж погасил фары. В руке Леви Левицкого задрожала тросточка. Но он был больше растерян, чем испуган. Что все это могло значить? Лаше или сумасшедший, или бешеный ревнивец...

— Я не навязывался ни к вам, ни к вашим дамам... И даже ехать-то не имел особенного желания... (Леви Левицкий осмелел и петушился.) Княгиня хотела о чем-то со мной говорить... Пожалуйста... Не нравится мое присутствие? Пожалуйста...

Он повернулся к автомобилю. Жорж торопливо отъехал. Леви Левицкий остался с поднятой тростью. Лаше — мягко, с завыванием:

— Милости просим в дом, дорогой товарищ, поговорим по душам.

Больно схватил за руку выше локтя. Леви Левицкий с силой рванулся. Из темного дома на крыльцо вышли трое. У него стало тошно в ногах. Три человека сбежали с крыльца, вырвали у него трость, сбили шляпу. Двое — под руки, третий, схватив сзади за штаны, втащили в дом, в темноту. Все это — мгновенно и молча, только шумно сопел Хаджет Лаше.

— Наверх его, наверх...

Леви Левицкий в изорванном смокинге, с выскочившими запонками полулежал на угловом диване наверху, в комнате с камином. Еще в темноте его обыскали, взяли бумажник, документы, золотой портсигар, часы с бриллиантиками, сорвали перстень с пальца. Кто-то, наконец, зажег свет. Четыре запыхавшихся человека стояли перед ним... У Хаджет Лаше, как резиновое, ходило ходуном изрытое лицо. Рыжеволосый Эттингер, от сердцебиения побледневший до веснушек, вытирался платком. Биттенбиндер свирепо выпячивал губы. Извольский свинцово глядел в лицо Леви Левицкому. Затем кто-то достал папиросы, и все четверо жадно закурили.

Извольский, не спуская темных от ненависти глаз с Леви Левицкого, сказал тихо:

— Мерзавец! Товарищ большевик! Ты приговорен Лигой спасения Российской империи... Сволочь, жид! Повесить... твою мать!

Он качнулся, точно падая, ударил его в лицо, но Леви Левицкий втянул голову, и кулак стукнул ему о череп. Биттенбиндер, отстраняя Извольского:

— Это ему что! Пытать его...

Извольский — тяжелым дыханием поднимая и опуская плечи:

— Излишне... Повесить и — в озеро.

Леви Левицкий глядел на Хаджет Лаше, чувствуя, что это — главное. Лаше подошел,— он был в туго перепоясанной малиновой кавказской рубахе.

— Ты в руках грозной организации, голубчик... Тебе не уйти... Но можешь смягчить свою участь, ты понял меня?

Извольский,— топнув, резко:

— Смягчить? Не согласен...

Лаше всем телом повернулся к нему, Извольский опустил глаза... Лаше — опять:

— Ты понял, голубчик?.. Так вот: где ключ от твоего сейфа?

Леви Левицкий облизнул губы.

— Где ключ от сейфа? — повторил Лаше.— И сообщить подробно, сколько вывез бриллиантов, валюты... Подай чековую книжку... Ну, что же ты молчишь?

Все четверо глядели на Леви Левицкого так, будто изо рта его сейчас посыплются золотые червонцы. Но он, полузакрыв веки, ноздри его трепетали,— ненависть, выношенная десятками еврейских поколений в гетто, каменное упрямство, ненависть и упрямство, более жгучие, чем страх смерти, высушили его горло,— в ответ он только проворчал невнятное...

Биттенбиндер — зловеще:

— Что-о-о? Повтори, скотина!

Лаше,— начиная завывать:

— Отказываешься отвечать, голубчик? Говорить отказываешься? (Голос взвывал все выше, глаза завертелись.) В последний раз спрашиваю, голубчик: где ключ от сейфа, где чековая книжка?

Облизнув губы, Леви Левицкий, наконец, ответил:

— Я не большевик. Мои деньги — это мои деньги... Отвечать мне нечего... Бриллианты — чушь! И здесь не контрразведка...

Тогда Хадже Лаше кинулся на него, запустил большие пальцы в рот, рвя ему губы, вертя голову. Заходясь голосом, закричал Извольский. Кричали все, сбившись у дивана. Руки Леви Левицкого кто-то схватил, скручивая в кисти. От возни поднялась пыль. Звенели стекляшки в люстре.

Лаше запыхался, отвалился. От него шел резкий чесночный запах. Леви Левицкий остался лежать навзничь на диване. Из ноздри, из угла разорванного рта ползла кровь. Одна штанина сорвана, на оголенном вздувшемся животе — красные полосы. Он потерял сознание, когда ему вывертывали кисти рук.

Извольский опять предложил всем папирос. Схватили, закурили. Лаше,— яростно плюнув:

— Какой черт выдумал крутить ему руки?

Биттенбиндер — вызывающе:

— Я выдумал.

— Идиот!

— Но-но, потише!

— Пьяная морда. Он же должен подписать чеки... Как он будет подписывать чеки свернутой рукой? Поди — принеси воды...

Биттенбиндер принес из Лилькиной комнаты кувшин с водой. Лаше вырвал у него кувшин, плеснул, затем весь кувшин вылил на лицо Леви Левицкому. Тот застонал. Медленно очнулся. Глаза, сначала бессмысленные, налились ужасом. Он поднял изуродованную правую руку, посмотрел на нее, мокрое лицо его сморщилось от безмолвного плача. На вопрос, будет ли он теперь отвечать, Леви Левицкий вздернул голову и, пуская кровавые пузыри, начал проклинать этих четверых на том древнем языке, который слышал от папашки, читавшего талмуд. Тогда все опять сорвались.

— Огонь разводи! Огонь! Спички!.. Ананáсана!.. Огня!..— кричал Хаджет Лаше, размахивая каминными щипцами...

Вере Юрьевне давеча велели быть в столовой. Там она и осталась в темноте,— впопыхах о ней забыли. Впрочем, это было и неважно,— она была смертельно пьяна. Раскинув руки по столу, то засыпала на долю секунды, то, подброшенная толчком сердца, шептала и бормотала.

С потолка сыпалась штукатурка — наверху топот и крики. Опять та же возня... В затуманенном мозгу ее появлялась навязчивая мысль: «На кухне бидон с керосином... Опрокинуть его на лестницу... спички... взовьется огонь... Костер до самых туч... Всех — живьем. Зажарить кавказский шашлык... Боже, как гениально: шашлык из Хаджет Лаше!.. «Нам каждый гость дарован богом...»

Тихо повизгивая, Вера Юрьевна смеялась, царапала скатерть. Но алкоголь оглушал, падали руки, падала голова на стол.

Наверху снова — крик. Веру Юрьевну опять подбросило. Такого крика еще не было. Дикий, нарастающий рев боли, невыносимого страдания. На весь дом разинут кричащий рот. Как может так кричать человек?

Она поднялась. Схватилась за голову. Побежала, налетела в темноте на какую-то мебель, со всего размаха упала, покатилась...

По-видимому, минутой позже Леви Левицкий, проткнутый раскаленными щипцами, с вырванным глазом, с джутовой бечевкой на шее, неожиданно (для утомленных членов Лиги) опрокинул двоих, оттолкнул третьего, кинулся к окну, разбил раму и выбросился со второго этажа. Когда члены Лиги выбежали из дому в сырую темноту,— на гравиевой дорожке лежал Леви Левицкий, уткнувшись, мертвый. Все же они еще долго топтали его и добивали.

52

Одиннадцатого октября северо-западная армия Юденича разорвала на две части фронт Красной Армии и начала наступление на Петроград в направлении: Красная Горка (левый фланг), Царское Село (центр) и станция Октябрьской дороги Тосно (правый фланг).

Северо-западная армия, численностью в восемнадцать тысяч пятьсот штыков и сабель, при танках и четырех бронепоездах, была одета в английское обмундирование и прекрасно снабжена пищевым довольствием и огнестрельными припасами. Шли, как на прогулку, отбрасывая красные части.

С моря над Петроградом навис английский флот адмирала Коуэна. С севера стояла готовая к карательным действиям семидесятитысячная армия финнов. В самом Петрограде сидело тайное правительство, сформированное английским агентом Полем Дьюксом (выдававшим себя за социалиста, друга России). «Цивилизованный» мир принял к сведению заявление Юденича о том, что Петроград после взятия будет изолирован на сто дней в целях планомерной очистки города от преступного элемента и лишь по прошествии ста дней туда будут допущены гражданские власти.

Огромный заговор пронизывал в Петрограде все жизненные центры армии и флота. Люндеквист (начальник штаба Седьмой армии) и Медиокритский (заведующий оперативным отделом Балтфлота) пересылали Юденичу военные планы. Берг — начальник воздушных сил Балтфлота — передал Финляндии план минных заграждений Кронштадта. Рейтер — начальник петроградской радиостанции — отправлял радиосообщения шифрами, понятными белым. Заговор проникал в боевые части. Заговор заводил сомнительные беседы у ночных красноармейских костров. Заговор скрипел перьями в чудовищно громоздких советских учреждениях. Заговор высовывал настороженный бледный нос из-за пыльных портьер в нетопленных питерских квартирах.

Красные части отступали. Белые с каждой занятой деревней воодушевлялись мщением. Четырнадцатого октября у них в цепях кидали в небо фуражки и кричали «ура»... К вечеру стало известно всему миру о взятии деникинской армией города Орла — предпоследней цитадели перед Москвой...

Жорж Клемансо, лично сам, взяв из рук секретаря телефонную трубку, сказал завывающим голосом председателю парижского совещания князю Львову:

— Кажется, я скоро буду иметь удовольствие поздравить вас с российским законным правительством?

Князь Львов, прикрыв дрожащей рукой засветившиеся глаза (это было во время заседания, в наступившей напряженной тишине), ответил тихим голосом:

— Все основания так думать, господин министр...

Из Парижа в Лондон торопливо выехал Николай Хрисанфович Денисов вместе с группой банкиров, чтобы организовать англо-русский банк для кредитования освобожденной России. На черных биржах зашевелились русские бумаги, преимущественно нефтяные акции. Северный богатырь, Митька Рубинштейн, в три дня свалил в пропасть финляндскую марку и начал взвинчивать юденический рубль.

Бурцев Владимир Львович на последние деньги денисовской дотации выпустил знаменитый номер «Общего дела» с заголовком во всю страницу «Осиновый кол вам, большевики». Со свежим оттиском газеты он ворвался на заседание парижского совещания (объявленного непрерывным) и потребовал пятьдесят тысяч франков на окончательную дискредитацию Ленина и К°...

Русских эмигрантов охватила счастливая суматоха возвращения на родину. Неожиданно вынырнул из небытия Александр Федорович Керенский и объявил две публичные лекции на тему: «Виноват ли я!..» Не во френче и в перчатках,— каким знали его, всероссийского диктатора,— в поношенном пиджачке, с судорожно затянутым грязным галстуком на шее, с припухшим нездоровым лицом старого мальчишки,— Александр Федорович с крайней заносчивостью доказал аудитории, что если бы его вовремя послушали, то не было бы ни большевиков, ни гражданской войны, ни эмиграции, но было бы все хорошо и превосходно.

Журналист Лисовский получил блестящее назначение военным корреспондентом в Ревель. Живописность ревельских телеграмм Лисовского изумила самых прожженных журналистов Парижа. В Ревель изо всех европейских закоулков устремились сотни спекулянтов с наивыгоднейшими предложениями снабжения освобожденного Петрограда всем необходимым: от австралий-

ской солонины до венских презервативов,— на Петроград надвигались горы тухлятины и гнилья. Северо-западная армия не шла — летела вперед. Восемнадцатого октября были взяты Красное Село и Гатчина. Девятнадцатого генерал Юденич вошел в Царское Село.

Генерал знал, что на него смотрит мир. Он тяжело спустился с площадки салон-вагона и взглянул в сторону Петрограда, синеватой полоской проступающего вдали болотистой равнины. Доносились орудийные выстрелы. Ждали, что генерал размашисто перекрестится. Но он почему-то этого не сделал. Малиновые отвороты его шинели, надвинутый большой козырек и седые подусники проплыли мимо выстроившегося караула юнкеров. Дул холодный ветер, гоня по вокзальной площади опавшие листья. В городе было пустынно, лишь качались и шумели высокие лиственницы и оголенные липы с покинутыми вороньими гнездами.

Генерал сел в коляску и, сопровождаемый лихими конвойцами, проследовал в Александровский дворец.

53

Громовыми вздохами над Петроградом прокатывались выстрелы со стороны моря,— это линкор «Севастополь» стрелял из башенных орудий по Красному Селу. С моря, с северо-запада, ползли тучи, дождь хлестал вдоль пустынных улиц по простреленным крышам, по облупленным фасадам с разбитыми окнами.

У Троицкого моста за грудами мешков нахохлились часовые. Непогода посвистывала на штыках. Тощие, заросшие лица, суровые от голода и ненависти глаза. Ветер доносит — бух! бух! Низкая туча наползает на город, навстречу ей ледяной бездной вздувается Нева и хлещет о полузатонувшие баржи, о граниты набережных.

Надвинув промокшую кепку, руки в карманах, нос — в поднятый воротник, Карл Бистрем, преодолевая ветер, миновал Троицкий мост, протянул часовому пропуск и — бодро:

— Чертова погодка, товарищ...

В ответ часовой, повертев пропуск и так и этак, нехотя проворчал:

— Проходи.

Пробраться было не просто через взрытую и залитую дождем Троицкую площадь. Повалил снег. Ветер задирал толевые листы на круглой крыше деревянного цирка. Несколько человек пробиралось туда. Восторженный, как во все эти дни, бодро шлепая размокшими башмаками по грязи, Бистрем перегнал их. У входа — пулемет и красногвардейцы. Снова — пропуск. Полный народа, туманный от сырости вестибюль: Бистрем с трудом протолкался. Цирк был полон, на высоком месте оркестра стояли двое — коренастый сивоусый человек и нескладный солдат, не вытаскивающий рук из карманов мокрой шинели. Сивоусый,— подняв палец:

— Товарищи... В ответ мировым империалистам и их кровавым собакам — православным генералам... В ответ белогвардейскому разъезду, который мы видели за Нарвскими воротами... В ответ мы, путиловские рабочие, сегодня послали в партию двести пятьдесят человек... А всего за эти дни петроградские заводы послали в партию пять тысяч человек... Да здравствует мировая революция!..

Длительные аплодисменты... Усы оратора еще некоторое время двигаются. И вдруг он широко улыбнулся. Хлопающие поднаддали. Когда, наконец, смолкло, он указал на нескладного солдата:

— Вот — товарищ делегат с зеленого фронта... От дезертиров Сормовского завода... (Сразу тишина,— над мокрой крышей глухо — бух! бух! — вздыхает воздух.)

Чей-то грубый голос:

— При чем тут дезертиры?

Солдат испуганно оглянулся на путиловца и с виноватой готовностью нескладно заговорил:

— Мы, то есть дезертиры, с Сормовских заводов... Не так, чтобы большое количество, но — достаточно... Значит, признаемся — шкурники... Что хочешь делай... Мы, значит, узнали, что на вас — на питерских рабочих — идут белые генералы. Обсудили: надо выручать. Троих нас, делегатов, послали к вам, чтобы вы разрешили грузиться в эшелон нам, дезертирам, и выдали бы

оружие, что ли,— здесь, на месте,— все равно... Не настаиваем... Постановили единогласно — выручать!..

— Принять!.. Благодарить!..—закричали с мест.

По лестнице в оркестр проворно взбежал матрос, в распахнутом бушлате, локтем, как котенка, отстранил солдата:

— Товарищи, в грозный час, в двенадцатый час революции красные моряки-балтийцы стали на своих боевых постах... (Выкинул кулаки.) Не раз мы били белые банды на подступах к Петрограду... Страх и ужас вселяли матросы в ряды врагов трудового народа... (Плечо вперед, прищурился и — по буквам.) Принять бой с нами, значит принять смертный бой... Кто колеблется — отбросьте свои сомнения... Моряки красной Балтики зовут всех трудящихся, всех, кто, как мы (кулаком гулко в грудь), ненавидит золотопогонников, барскую сволочь, зовут вас на последний, победный бой... (С какой-то даже изнеженностью, от переизбытка сил, помахал затихшему без дыхания цирку...) До последнего патрона, до последнего вздоха... Все к оружию!.. Все на боевые линии!.. Мы, балтийские моряки, даем смертную клятву — победить под стенами Питера...

Карл Бистрем закричал, протискиваясь в тесноте к эстраде. Все лица, худые и тусклые, старые и молодые, дрожали, разевали рты, кричали, как будто вместо красновато-накаленных шаров с потолка обрушился поток горячего света... На лицах, в глазах, исхлестанных осенним дождем, исступленное решение... Весь амфитеатр колыхался и кричал, ощетиненный вытянутыми руками, кричал найденное слово:

— Клянемся!.. Клянемся!..

Карл Бистрем не успел высказать все, что переполняло его. Пожалуй, было и хорошо, что не заговорил,— в крайнем возбуждении этих дней мысли его заносились во все более отвлеченные пределы, а он и сам видел, что сейчас нужны слова такие же простые и вещественные, как смертная клятва... Бистрем получил записку и протолкался к столу президиума. Председа-

тель, старый знакомый (кто допрашивал его в Сестрорецке), шепотом сказал, преодолевая кашель:

— Ступай на Путиловский завод... Возьми мою машину. Там ни одного агитатора... Будь бессменно... Держи телефонную связь со мной. Ты клялся?

Бистрем запотевшими очками уставился ему в блестящие лихорадкой глаза:

— Великой клятвой пролетария...

Председатель кивнул:

— Ступай.

На улице хлестал дождь со снегом. Громовые удары отдавались из-за низких туч. Казалось, отчаяние легло на низкие дома, на жидко-грязные мостовые. Дребезжащая машина уносила Бистрема через мосты, пустынные набережные. Потоки грязи из-под колес хлестали по плачущим окнам.

Дома—все пустыннее и ниже. Пустыри. Развалины лачуг без окон и дверей. Бух! Бух! — яснее доносились орудия. Та-та-та,— постукивало из едва видимой торфяной равнины. Справа — за вздувшейся речонкой — деревянные крыши деревни Волынки, прямо — решетчатым призраком повис большой кран путиловской верфи. Серая пелена моря. Шквалистый ветер. Автомобиль, валясь на стороны, мчится по сплошной воде. С юго-запада, из мглы, по оловянной ленте Петергофского шоссе тянутся обозы, грузовики, пешие люди.

Автомобиль сворачивает к заборам, за ними — кирпичные корпуса со ступенчатыми крышами. Угрюмо, сбивая черный дым к земле, дымят трубы. У заводских ворот — скопище повозок. Шофер остановил машину и Бистрему — со злобой:

— Вылезайте.

— Что тут такое?

— Не видите, что ли?

Бистрем вылез из машины; по щиколотку в грязи, разъезжаясь ногами, пошел к воротам. Люди в солдатских шинелях сидели поверх горой наваленной поклажи на военных повозках: серые, щетинистые, мрачные лица. На крестьянских телегах среди узлов — женщины и дети, покрытые ветошью и рогожами. Грязью залиты люди, лошади, грузовики, вереницы телег, обозы отсту-

пающей армии. В воротах — крик, треск осей; свирепый человек в черной коже, размахивая револьвером, кидается к лошадиным мордам.

Телеги и повозки въезжали на огромный фабричный двор, с кучами железного лома, бунтами леса, валяющимися ржавыми судовыми котлами и кучками беженцев, укрывающимися от непогоды. Закутываясь клубами пара, свистели паровозики узкоколейки; рабочие с криками и руганью проносили железные балки, стальные листы, мешки с песком, шпалы; повсюду горели раздуваемые переносные горны; люди облепили вагоны бронепоезда, треща и стуча молотками; слепили глаза, сыпали искрами автогенные горелки; за высокими закопченными окнами завода тяжело били молоты, вспыхивало пламя, грохотала и скрежетала сталь.

Протолкавшись на фабричный двор, Бистрем с трудом добился, где помещается заводской комитет. В полутемном коридоре конторы сидели женщины на узлах, плакали дети. На одной из дверей стояло мелом: «Завком». Рабочий штыком преградил вход. Бистрем показал пропуск. В комнате, в махорочном дыму, осипшие голоса кричали в телефонные трубки. На столах — кучи черствого хлеба и винтовок. Тут же, на одном из столов, кто-то спал, покрыв лицо инженерской фуражкой.

Здесь было сердце обороны Петрограда. Путиловский завод лихорадочно — в три смены — строил и ремонтировал бронепоезда, орудия, паровозы, автомобили, мобилизовал отряды, размещал отступавшие военные части, организовывал ночлег для беженцев, устанавливал бронебойные щиты на подступах к городу, проводил электрическое освещение на боевые линии. По отрывкам лающих телефонных разговоров Бистрем понял, что все эти работы были сосредоточены здесь, в завкоме.

Стряхнув воду с кепки, протерев очки, Бистрем подошел к одному из столов. Из-за буханок заплесневелого хлеба и цинковых ящиков с патронами на Бистрема воткнулись светлые глаза в воспаленных веках...

— Что надо?

Бистрем протянул мандат, наспех чернильным карандашом написанный давеча в цирке председателем,— по-видимому, на одной из записок, поданных в прези-

диум. Рука с изломанными ногтями протянулась из-за буханок, взяла клочок бумаги, поднесла к красным векам... Зазвонил один из трех телефонов на столе. Человек сорвал трубку:

— Да... Я... Что? Как не можете? Задавило? — Так.— И он, слушая, читал бистремовский мандат с обратной стороны записки...

На обратной стороне стояло:

«Гражд. пред... Туманные обещания о коммунистическом рае, а на практике — тухлая вобла — карие глазки... Если вы действительно убежденный— можете предложить населению хотя бы по триста граммов хлеба? Ну-ка?.. За армией Юденича идут поезда с белыми булками и консервами... Советую: бросьте словоблудие, предложите нам существенное...»

— Чепуха!.. (В трубку.) Никак, товарищ... Бронепоезд должен быть на линии сегодня... Под Пулковом держимся... В ночь обстреляем Пулково... А? Чего? — Красные веки его напряженно замигали. Слушая бормочущий в трубку голос, он махнул в сторону Бистрема запиской.— Чепуха! Ничего не понимаю, товарищ...

— Мандат на обратной стороне, товарищ,— сказал Бистрем.

Тот перевернул записку: «Товарищ Бистрем ударно перебрасывается на Путиловский»... (В трубку.) К шести часам крайний срок... Постой, бронепоезд вывести на линию в шесть... (С угрозой.) Товарищ, минуту промедления засчитаем как контрреволюционный акт... Ладно. Катись!.. (Положил трубку и — Бистрему.) Ступай в вагонный цех... Подыми настроение,— ребята третьи сутки не спят...

Он тяжело поднялся, подошел к столу, где спал человек в инженерской фуражке, и, подсунув руку ему под затылок, встряхнул:

— Э! Проснись!

Инженер сейчас же, как подкинутый пружиной, сел: мертвенно-бледное лицо, припухшие мешки под зажмуренными глазами, один ус во рту...

— Слышишь ты, товарищ, беги в цех. Инженера там задавило. К шести бронепоезд надо на линию.

Инженер сполз со стола и, спотыкаясь, пхнулся в

дверь, вышел. Бистрем, получив ломоть хлеба, догнал его во дворе. Под резким ветром и дождем у инженера глаза разлиплись, он покосился на карман Бистрема.

— Вот это несправедливо,— сказал,— двойной паек... Дайте-ка половину... (Бистрем разломил ломоть. Инженер на ходу торопливо начал есть.) Так надоело, знаете, так надоело... Мы им нынче всыплем из шестидюймовых... Двадцать четыре часа будут спать. Вы иностранец? Знаете, о чем скучаю? Пива хочу. Поднимите, поднимите настроение, это не мешает...

Из широких ворот вагонного цеха вылетела такая оглушающая трескотня клепки,— Бистрем сморщился от боли в ушах. Под самый потолок, где ползали мостовые краны, летели фонтаны искр с наждачных кругов. В сумраке огромной мастерской с трудом можно было разглядеть закопченные, запыленные человеческие фигурки; они то отделялись, то сливались с этим хаосом железа, искр и звуков. Бистрем в первый раз был на металлическом заводе. Ему показалось непонятным соотношение между громадами металла, чудовищными формами бронированных вагонов, двигающимися, крутящимися, ползающими станками — и такими слабыми человеческими фигурками. И все же они в дыму, в огне, в метели искр делали что-то, от чего тысячепудовые глыбы визжали, гнулись, соединялись и, обузданные, покорялись воле людей, шатающихся от усталости.

Отчаянно звонил колокол. Чья-то рука в кожаной рукавице потянулась и оттащила Бистрема. На него по воздуху плыла вагонная ось. На ней стоял, держась за тросы мостового крана, щуплый человек в пальто с рваными подмышками, в валенках, обмотанных бечевками. Он опустился вместе с осью. На вымазанном, сером, как железо, лице вдруг приветственной улыбкой сморщился нос, слабо приоткрылись зубы. Бистрем узнал: Иванов,— тот, что взял его на границе под Сестрорецком.

В первый раз Бистрем почувствовал, что революция подарила ему, кроме двухсот граммов хлеба, еще и суровый мимолетный привет человека, идущего на смерть. С ужасающей ясностью Бистрему представилось, как завтра, сегодня ночью, быть может, кавалеристы гене-

рала Родзянки, спешась в жидкую грязь, заворотив спереди длинные шинели, упрутся плечами в ложа винтовок и, выбрасывая на рвущийся ветер желтоватые дымки, будут укладывать — тело на тело — у расщепленного пулями забора вон тех, кто копошится под вагоном, тех, кто, расставив ноги, вертя лопатками, заливаясь пóтом, бьет молотом по брызжущей окалиной полосе, тех, кто, прижав к разбитой груди пневматический молот, наспех склепывает стальную броню.

Бистрем влез на двигающуюся взад и вперед станину станка и, поправив очки, начал говорить о противоречиях европейской политики, колеблющейся между желанием раздавить Советский Союз и страхом перед революцией у себя, о слабости Юденича, не имеющего резервов,— ничего, кроме десятка кораблей с английским снабжением и восемнадцати тысяч бандитов, страшных только для тех, кто бежит перед ними. Он рассказывал о клятве в цирке и, потрясая растопыренными пальцами, кричал:

— Товарищи, дух революции сильнее всех английских дредноутов! Буржуазный мир, несмотря на миллионные армии и несметные богатства, только обороняется. Да, он обороняется, а мы наступаем... В этом наша сила,— у нас цель и вера. А там только хотят уберечь награбленное. Им только кажется, что они наступают на Петроград,— неправда, они отступают, потому что они нас боятся больше, чем мы их... Победит тот, кто наступает, у кого вера в победу...

Несколько пожилых рабочих подошли и слушали иностранца в очках, но даже при тех его словах, когда у него самого закипали слезы восторга,— лица их, суровые и усталые, оставались неподвижными. Когда он окончил, Иванов попросил у него папирос — раздать товарищам,— не курили со вчерашнего дня. Ногтем стуча ему в пуговицу, сказал:

— Тебе не в наш цех, тебе в деревообделочный надо пойти поговорить,—там много сиволапых. А у нас ребята в большинстве все сознательные.

Бистрем обошел артиллерийский, вагонный, автомобильный, паровозный отделы,— во всех цехах шла горячечная работа. В лафетно-снарядной заканчивали

первые советские танки. В минно-сборочной ковали лошадей. Под дождем грузились военные повозки. С угольной кучи по доскам и лужам бежали тачки. В раскрытые настежь двери котельных виднелись раскаленные топки,— кочегары с остервенением кидали лопатами уголь в ревущее пламя, будто это в самом деле и было пламя пролетарской революции.

Бистрем дивился: на всей территории завода не было видно охраны — ни вооруженных, ни орудийных установок, ни окопов. Беспечность? Недосуг? Или действительно эти люди обрекли себя? Не умолкая грохотали орудия с моря, из-под Пулкова и Царского Села. Правым крылом белые пробивались к Октябрьской дороге, чтобы перерезать единственную питающую город артерию.

В сумерки сквозь рваные тучи пронесся биплан, и долго на заводский двор падали мокрые листочки белых прокламаций. Кое-кто поглядывал на них искоса. Бистрем видел, как в кузнечном цехе у трех-четырех горнов оставили работу, обступили низенького старичка мастера,— вполголоса он читал прокламацию. Плечистый молотобоец, пивший воду из ведра, зло оглянулся, бросил ведро, протолкался к мастеру, выхватил листок, бросил в огонь.

Бистрем натыкался и на кучки людей, внимательно и тревожно слушающих кого-то, кто замолкал, когда он приближался. Эти люди со странными усмешками не глядели ему в лицо. Время от времени он забегал в контору, пытаясь соединиться по телефону со Смольным. В восемь часов вечера ему это удалось. Он получил задание переброситься на фронт под Пулково, в красноармейскую часть, где только что выбыли из строя два комиссара.

В сарай набилось полсотни красноармейцев. Горел костер, было дымно. Входившие, засыпанные мокрым снегом, с удовольствием крякали, стаскивая с плеча винтовку, протискивались к огню. Сарай находился в стороне от Московского шоссе, в деревне, на южном

склоне Пулковского холма. Было за полночь, под дощатой крышей свистела непогода, редко доносились выстрелы.

Бистрем по совету пожилого красноармейца Ермолая Тузова (почему-то принявшего в нем хлопотливое участие) разулся и сушил носки и башмаки. Местечко у огня устроил ему тот же Тузов: «Братишечки, видите, человек растроганный, надо бы потесниться — сомлеет...» Потеснились,— впрочем, на Бистрема никто не обращал внимания.

Почти сутки он не спал и не присаживался. С Путиловского — в Смольный, оттуда — на фронт, в мокрую, снежную, жуткую темноту, где угрожающе окликали сторожевые. Только теперь можно было передохнуть. Весь мокрый, в липнущем белье, засунув руки в рукава, Бистрем мужественно боролся со сном. Голоса слышались, будто за мягкой стеной,— содрогаясь, с испугом он разлипал веки: ни на секунду нельзя понадеяться, что настроение у бойцов до конца прочно; здесь были разные люди. Ему не нравился услужливый Ермолай Тузов,— прищуренный, с бороденкой,— слишком ласков. Бистрем настораживался каждый раз, когда в обрывки разговоров ввертывался медовый голос Ермолая,— нет-нет, да и поглядывал быстро, сквозь щелки, спит ли комиссар.

Застуженный, хрипучий голос:

— Промерз, где только душа, ребята, пустите к огоньку, Христа ради.

Ермолай — скороговоркой:

— Нынче, миленок, бога поминать не велено.

— Как же говорить-то?

— «Батрак-бедняк»... Его поминай.

Огромный, как туча, человечище пропихивается к костру, валится на колени едва не в самый огонь:

— А ты все вертишься, Ермолай, как вор на ярмарке.

— Я, как все,— от своей свободы верчусь: нынче ни царя, ни бога...

Еще чей-то тревожный голос:

— Василия Мокроусова нет здесь?

Угрюмый безусый красноармеец, накинувший на голову шинель, на корточках у огня, ответил:

— Не ищи.

Сзади:

— Ой, что ты?

Мокрый человечище:

— Застрелили насмерть Мокроусова.

Бистрем таращится. Сон мягкой пустотой бросается на него, опрокидывает в ничто,— голова кивает, валится на грудь, очки сползают, губы вытягиваются.

Ермолай — кому-то:

— Ну да, я — лужский... Чего? Да будет тебе — кулак, кулак... Не такие кулаки-то... У кулаков дома железом крыты.

Молодой красноармеец, под накинутой шинелью:

— А у тебя чем крыто?

Огромный человечище,— борода его распушилась от огня:

— За войну-то Ермолай раз пять, чай, слетал домой, по хозяйству. Знаем мы, чем его изба крыта... Железа-то у него припасено,— замирения только не дождется... (Ермолай на это только: «Ах, ах!») Вместе, чай, в царской армии служили — я рядовой, он — вестовой. Человек известный.

— Ну, еще что? — со злобой спросил Ермолай.

— Я как был бос, так и ныне бос... А ты, гляди, живалый,— красная звезда!..

Молодой красноармеец усмехнулся худощавым лицом. Ермолай царапнул зрачком огромного человечища, но обернул все в шутку:

— Эх, ты, чудо морское, то-то говорлив... (И уже — не тому, с кем спорил, а — к стоящим в отблесках пламени у дверей сарая,— видимо, продолжая какой-то начатый разговор.) Значит — при пожарном депо этот козел и живет. В Луге все его знают,— ходит, как человек, по дворам: такой умный козел... До революции ходил на станцию — встречал дачников... Прелесть!.. Так что ж они: взяли козла и вымазали всего красным фуксином.

Чье-то улыбающееся широкое лицо — в отблесках пламени:

— Кто же вымазал?

— Ну, кто... (вполголоса) коммунисты...

— Козла-то зачем?

— Для агитации...

Несколько человек разинули рты и — крепко, дружно — ха-ха-ха!.. Ермолай удовлетворенно щурился. Бистрем беспомощно пытается взмахнуть плавниками, подняться из мягкой черной пропасти, но сон снова оттягивает его губы... Молодой красноармеец (под шинелью) — с угрозой:

— Ермолай!..

— Чего,— Ермолай весь тут...

— Дошутишься ты до Чеки...

— Отчего? Я при комиссаре говорю...

Тогда все головы повернулись к Бистрему. Он посапывал. Ермолай, приободряясь:

— У меня такая же звезда на лбу... Нет, браток, ошибся. Ты еще молодой... Я с винтовкой пять тысяч верст исходил... А ты где был, когда мы Николашку свергали? Гусей пас?.. То-то. Поверите — нет, братки, вот этой рукой главнокомандующего Духонина, самого кровопийцу народного, выволок из вагона — терзать... А ты — в Чеку... Тогда всю народную армию волоки в Чеку... Мы за Советы кровь проливали... (С неожиданной яростью хватил себя кулаком по коленке.) И сейчас не пятимся...

— Верно, верно. Правильно,— негромко зашумели голоса.

Молодой, сбросив с головы шинель:

— За какие за Советы?.. Без коммунистов, что ли?

Большой человечище с высохшей бородой, видимо, не поспевая мыслью за спором, повертывался то к Ермолаю, то к молодому. Из толпы просунулось припухловатое лицо в кудрявом пуху на смешливых щеках:

— Ермолай-та,— он за такой совет, куда его с кумовьями председателем выберут.

И опять и уже громче, дружнее стоящие у огня: ха! ха! ха! Бистрем от этого грохота: «ха, ха!» — вздер-

нул головой, проснулся, испуганно оглядываясь. Ермолай к нему:

— Товарищ комиссар, носочки просохли, можно обуться...

Сотрясая сарай, ударило тяжелое орудие. Сидевшие у огня вскочили. Сейчас же второй удар будто придавил крышу. На лицах — выжидание, напряжение, рты открыты,— рука сжимает ружье. Совсем близко хлестнул винтовочный выстрел. Еще и еще, торопясь, сдваиваясь, прокатилось громовой трещоткой. Молодой красноармеец (одна рука — в рукаве шинели) шепотом: «Наши!..» Снова — удары шестидюймовок с путиловского бронепоезда у Средней Рогатки. И ночь, тьма закипела, застучала, задыхаясь железными звуками от моря до Ям-Ижоры.

Прошло не слишком много толчков сердца с тех пор, когда только лишь уныло посвистывал ветер под крышей. Первым закричал Ермолай: «Белые наступают!» Молодой красноармеец, не попадая крючками в петли шинели: «Товарищи, никакой паники!» Бородатый человечище,— кидаясь с винтовкой к двери: «В порядке, братва, выходи в порядке!»

Снаружи рванули дверь, в неясном отблеске тлеющих головешек появился военный и — протяжно:

— Бойцы! Вчера под Воронежем красный корпус товарища Буденного разбил наголову генералов Мамонтова и Шкуро... Бойцы! Город Орел обратно взят Красной Армией. Бойцы! Военный совет Петроградского укрепленного района дал приказ — наступать сегодня в ночь...

— Ура! — хрипло сорвался чей-то голос...

— Ура! Уррра! — торопливо крепкими глотками закричали бойцы, нажимая к выходу. Среди выходивших Ермолая не оказалось.

В ночной глухой синеве над белой равниной стоял холодный срезанный месяц. Небо очистило. Ветер затих. Пахло свежим снегом. Ночь, умытая бурей, разрывалась грохочущими звуками. Они то слабели, то

усиливались. С подножья Пулковского холма были видны длинные вспышки орудий. Отблески зажигали искорку далеко на куполе собора в Царском Селе. Отблески зловеще отражались в двух окошках крестьянской избы, где был штаб и где неподалеку стоял Бистрем. (Ждали запоздавшую машину с литературой из Питера.) Он вглядывался,— снежная равнина, разбросанные черные пятна деревьев и построек — все было безлюдно. Зарево занималось на северо-востоке. Этот бой решал судьбу революции,— так представлялось ему. Совсем близко над оснеженными крышами разорвалось что-то желто-огненное, и будто пчелки просвистели мимо ушей Бистрема. Он обернулся — на верху холма, за темной чертой парка, тускло поблескивал купол обсерватории. Левее его, ближе к деревне, снова лопнул огненный шар...

Под куполом, куда в меридиональную щель падал лунный свет на лакированную лесенку, на медные части окуляра большого, как морское орудие, рефрактора, стоял семидесятилетний знаменитый астроном в черной шелковой шапочке.

Подняв к меридиональной щели морщинистое лицо, выпитое звездами, он сказал кому-то — невидному в тени:

— Они нацеливаются в купол,— это беспримерно... Нельзя ли как-нибудь телефонировать этому генералу, чтобы не нацеливались? А нельзя ли,— как вы полагаете,— если мы возьмем несколько подушек и закроем ими верхнее стекло рефрактора? Во всяком случае, тогда мы несколько понизим вероятность.

Черной, как сажа, полосой на снегу лежало Московское шоссе. Белые пристрелялись по нему,— кустами огня на шоссе взметывались их снаряды. Со стороны Питера приближалась с огромной быстротой машина. Бистрем спустился к шоссе. Перед вырастающей машиной взвилось пламя, заволокло дымом. Но автомобиль проскочил и скрылся в овражке,— через мост... Низко над тем местом ослепительно рванулась шрапнель. Бле-

стящий радиатор с потушенными фонарями вынырнул из овражка. Бистрем подбежал. В машине была литература — еще сырые кипы приказа и отпечатанных речей...

При двойном свете — луны и спички — Бистрем разбирал слова приказа:

«Красноармейцы, командиры, комиссары! Сегодняшний день решает судьбу Петрограда... Дальше отступать нельзя... Петроград нужно отстоять какой угодно ценой... Помните — на вашу долю выпала великая честь защищать город — родину пролетарской революции... Вперед, в наступление!.. Смерть наемникам английского капитала...»

Набив карманы литературой, Бистрем зашагал по шоссе. Вдогонку что-то ему закричали из машины,— он, не оборачиваясь, махнул рукой. Поднеся к очкам листочек, читал на ходу, чтобы запомнить наизусть. Поворот в окопы был за горелой избой. Между оглушительными ударами нашей батареи (откуда-то близко, из оврага) слышалось посвистывание пуль.

Стоп — горела изба... Надрывающе взвыло что-то прямо в душу, из лунного света скользнула тень (или так почудилось), и огненный грохот швырнул Бистрема в сторону от шоссе.

Когда лицо его, грудь, живот, распростертые руки напились снегового холода, Бистрем медленно очнулся. Лежа ничком, силился разобраться, почему он в таком странном положении,— носом в снегу, и на чем прервались его обязанности? Из чувств у него всего сильнее была воля к долгу.

Он с трудом повернулся,— удалось сесть. В карманах литература цела. «Неприятное обстоятельство,— пробормотал.— Сколько же я здесь провалялся?..» Небо было железного цвета, снег на крышах розовел от зари. Попытки встать не привели ни к чему. Ощупал ноги,— целы, по-видимому контузия... Уши будто чем-то завалены,— мир был беззвучен.

Только теперь он заметил, что очертания горелых стропил и затем срезанного лунного диска расплы-

лись, как за потным стеклом. Провел по лицу, ладонь стала липкой: кровь. Тогда он загоревал: разбились его очки.

А в десяти шагах от него бежали серые тени в сторону Царского Села. Их было много, полно шоссе. Сощуря веки, он различал шинели и фуражки курсантов, винтовки, готовые к бою. Бежали неистово. За ними — медленнее, плотнее двигались покачивающейся колонной кожаные куртки... У Бистрема ощетинились волосы на затылке, сорвал кепку, крутя ею, закричал: «Да здравствует Коммунистический Интернационал!..» С шоссе к нему свернули два санитара с носилками.

•

В ту же ночь четыре эскадренных миноносца — «Гавриил», «Свобода», «Константин» и «Азард» — вышли из Кронштадта в море, держа курс на Копорский залив. Был приказ — загородить минами путь в залив.

Бушевала метель, и небо еще не прояснилось. Эсминцы шли с потушенными огнями в кабельтове друг от друга. Кругом на горизонте появлялись и пропадали какие-то огни. «Гавриил» передал по радио, что впереди — англичане. Эсминцы шли полным ходом, до труб зарываясь в косматое море.

Тучи начало сносить, показалась луна. В шесть часов поутру около параллели Долгий нос на «Гаврииле» показался огонь и последовал взрыв, после чего судна не стало видно. Через семь минут огромное пламя переломило надвое «Константина». Он затонул мгновенно. Через минуту «Свобода» скрылась за водяной горой взрыва. «Азард» застопорил машины. Впереди опять появились дымящие трубы «Свободы». Ветер донес слабые крики: «Ура!». «Свобода» сообщала световыми сигналами: «Идем ко дну. Нарвались на свежее минное поле. Нас предали. «Азарду» повернуть, идти в Кронштадт. Да здравствует революция!..»

К утру двадцать первого октября под Пулковом обозначился перелом в военных действиях. Брошенные на передовые линии отряды курсантов, коммунаров и балтийских моряков переходили в штыковые атаки. В од-

ном из отрядов матросы сбросили бушлаты и тельники,— голые по пояс балтийцы бросились на танки. Днем двадцать первого штаб Юденича оставил Царское Село. Из Царского, Павловска и Гатчины потянулись в Ревель обозы с дворцовым имуществом. К вечеру Красная Армия ворвалась в Царское Село,— дрались под столетними липами, у Фридентальских и Орловских ворот. Белые покатились на юг, цепляясь за Красное Село, за Гатчину и Лугу. Это был разгром, неожиданный и непоправимый, у самых ворот Петрограда.

Предполагая, что еще можно спасти положение, французский генеральный штаб предложил финскому генеральному штабу немедленно двинуть войска и интернировать Петроград. Финны ответили, что сделают это, если французы дадут денег на войну и заставят Колчака признать независимость Финляндии. Французы денег не дали. Колчак ответил отказом. Финны не выступили. Адмирал Коуэн, боясь кронштадтских мин, ограничился тем, что послал к русскому берегу монитор новейшей постройки, который несколько дней обстреливал из пятнадцатидюймовых орудий Красное Село, оставленное белыми. Эстонское правительство, не надеясь более привести в Ревель Балтийский флот, отдало приказ разоружить и интернировать Юденича с его бандами, буде они перейдут эстонскую границу.

Министр северо-западного правительства Маргулиес записал в дневнике:

«Все опять у разбитого корыта... Все поражены,— одни большевики победили. Это — нечто фатальное. Русская публика притихла, озирается. Кедрин, совершенно разбитый морально, выехал в Париж...»

54

Михаил Александрович Стахович, попыхивая папиросой в толстом мундштуке, читал, против обыкновения, русскую газету «Общее дело». Пробило час. В столовой звякала посуда, на цыпочках ходил лакей. Наконец — шум машины у подъезда. Хлопнула парадная

дверь. В прихожей вздохнули, начали снимать калоши... (В Париже-то калоши!) В салон вошел Львов, рассеянно потирая руки, как с мороза. По всему заметно, что в Политическом совещании, откуда он приехал завтракать,— самые серьезные неприятности...

— Уже семь минут второго,— не опуская газеты, густовато проговорил Михаил Александрович.

Львов остановился и некоторое время глядел невидяще. В беловатых глазах его мелькнуло изумление.

— Миша, ты читаешь «Общее дело»?

— Почему это тебя так встревожило? Я уже несколько дней читаю русские газеты, это меня забавляет.

— Гм... Это тебя забавляет...

Львов сделал попытку заходить по красному бобрику салона. Его внимание привлек вихрь осеннего ветра, гнавший сухие листья от подножья Эйфелевой башни по улице Монтескье,— закружив, ветер швырнул их в окно.

— Я не нахожу в этом ничего забавного,— сказал Львов.— Если Бурцев несколько односторонне освещает события, то надо же считаться с настроением французов... Вчера Николай Хрисанфович Денисов с трясущимися губами умолял меня ослабить впечатление от неудачи Юденича — не наносить удара по парижской бирже... Под Петроградом временная заминка, может быть чисто тактическая... Вот все, что нам здесь известно в конце концов... А то, что у Николая Хрисанфовича тряслись губы...

Стахович — из-за газеты:

— Неужели тряслись губы?

— Так вот... Он дал мне понять, что неудача Юденича — никак не местного значения, даже не общерусского, но европейского, но мирового... И удар по бирже прежде всего на руку большевикам... Стало быть, нужно писать так, как пишет Бурцев... Можно лгать более остроумно, согласен, но у нас нет талантливых журналистов. Ты представляешь, как все мне далеко, и чуждо, и отвратительно: лживая пресса, биржа, спекулянты, французские интересы, английские интересы. Но что делать, Миша? Все более начинаешь убеждаться, что не ты руководишь, а тебя перебрасывают из рук в руки, как

мячик. Быть чистоплотным очень, очень приятно... Я тебе очень завидую.

Он заходил по красному бобрику, руки — сзади под пиджаком, голова с гладко зачесанными волосами — цвета алюминия — опущена, уперта в неразрешимое.

— В девятьсот семнадцатом я не хотел брать власть, но не счел себя вправе уклоняться от долга. Из всего временного правительства я один знал мужика... И я верил, я и сейчас не откажусь от моей веры, иначе бы я давно сошел с ума: гармония, озаренная высшей правдой, восторжествует над ожесточенной материей... Путь к правде — через страдания и кровь, и, может быть, сами большевики посланы России высшим разумом.

Стахович — примирительно:

— Это очень по-русски: гегелианство, переваренное в помещичьей усадьбе... Это — очень наше...

Львов взглянул на «Общее дело» на коленях Стаховича, коротко кашлянул. Походил.

— Неудача под Петроградом чревата для нас последствиями гораздо более тяжкими, чем поражение стотысячной армии Колчака, чем неудача Деникина под Орлом. Петроград — это уже Европа, под Петроградом завязан узел мировой политики... Тебе известно, что эстонцы начали переговоры о мире с большевиками? Сегодня мне преподнесли эту новость. (Львов пофыркал носом.) Генерал Юденич должен был взять Петроград, как разгрызть орешек: поставить английскую и французскую оппозицию перед существующим фактом... Он же устраивает невероятный шум, рассылает союзникам хвастливые телеграммы и не берет Петрограда...

— Юденич — истинный чудо-богатырь, было бы странно ждать от него чего-нибудь другого,— Михаил Александрович потер ладонью медно-красное лицо.— Кстати, я где-то встречал этого Юденича,— редкостный болван и жулик. Английская и французская оппозиция будет в восторге, если мы окончательно посрамимся под Петроградом. На наших спинах эти господа из профессиональных союзов прыгнут к власти. И я утверждал также, и не раз, что мы неминуемо осрамимся под Петроградом...

— Почему неминуемо? Прости меня, Миша... Ты комфортабельно устраиваешься с газетой и папиросной... (Голос Георгия Евгеньевича задрожал от горечи.) Прости меня... Ты опять начинаешь злоупотреблять спиртным... (Пить Михаилу Александровичу было запрещено,— он недоуменно поднял плечи и округлил глаза, как бы от явного поклепа.) Ты безапелляционно высказываешься о событиях, которые — прости меня — уже совершились... Ты предоставляешь другим пачкать руки... Нет, почему неминуемо? Почему? Если бы адмирал Коуэн выступил со всем своим флотом двадцать первого октября... Если бы финны двинули армию за Сестру-реку... Если бы эстонцы оказали нам действительную помощь... Почему неминуемо?..

— Во-первых,— сказал Михаил Александрович и от подбородка захватил почти аршинной длины бороду, в порядке уложил ее на обсыпанном пеплом жилете,— во-первых, что касается комфорта... Я — бывший помещик и бывший дворянин, бывший потому, что советская конституция отменила наши привилегии, а вы пока еще не отменили советской конституции. Как человек бывший и уже в летах, считаю наиболее добросовестным жить на ту единственную привилегию, которую у меня отнять нельзя и отнять никто не вправе: мое свободомыслие... Я сижу у окна, курю табак, читаю о политике и рассуждаю. Это ни к чему не обязывает, это безвредно, и это меня забавляет... Это мой комфорт... Комфорт я купил себе тем, что я, ни на кого не сердясь, спокойно принял факт: я — бывший... Я никогда не был слишком красным, но держался либеральных мыслей, как всякий порядочный человек... Почему же сейчас, когда я — пролетарий, я должен выбрасывать из пасти огонь на моих бывших мужиков и вообще на русских людей? Скажи, имею я право хотя бы на свободомыслие?

Львов положил руки на голову, будто защищая ее от ударов, и так прошелся. Он стал у окна, где ветер снова пронес желтые листья, столь же бесполезные, как несбыточные мечтания, отговоренные слова.

— Месяц тому назад я сказал бы тебе: нет, не имеешь права. Во имя тех жертв, которые... (Опять попытался схватиться за голову, но решительно засунул руки

в карманы и там потряс ключами и медяками.) Да, Миша, ты имеешь право на свободомыслие, и мы все имеем на это право... Но как осуществить это право? Передо мной, человеком, который против насилия, против всякой крови,— встает неразрешимый вопрос: должен ли я продолжать убийство русскими русских, продолжать, сознавая, что на моей совести — кровь, ужасная кровь... Или — уйти, уйти, пока не поздно, зная, что поздно. Видимо, я не годен для борьбы, у меня нет сознания правоты... Миша, сегодня на совещании мне дали просмотреть номер московской газеты... Там — обо мне... Я принесу сейчас... (Он пошел к двери, но вернулся.) Они пишут: я — крупный помещик, до войны был заинтересован в переходе сельского хозяйства на интенсивные формы. Понимаешь?.. Отсюда — я заинтересован в развитии национального капитала, отсюда я — во главе кадетской партии... Во время войны я заинтересован в широчайшем сбыте на нужды армии продукции с моих латифундий!.. (Он особенно, с горькой иронией подчеркнул это слово «латифундий».) Отсюда — я становлюсь во главе Земского союза, чтобы организовать тыл и возможно дольше затянуть войну, набивающую карманы помещикам... Теперь я — во главе самой реакционной группы крупных земельных собственников, определяющих политику Деникина. Я — во главе интервенции, иными словами я продаю Россию, я — предатель, я — враг...

Он развел руками и с силой хлопнул себя по ляжкам, так что от серых панталон его пошла пыль.

Стахович сказал:

— У них это называется диалектикой. Очень неглупая штука. Тоже — от Гегеля...

— Как бы это ни называлось, я прочел, и мне будто плеснули в лицо помоями... Сейчас принесу... (Пошел и опять вернулся.) Я перечитал еще раз в автомобиле... Миша, у меня волосы встали дыбом: ведь фактически все это так и есть. Миллионы русских людей с величайшей ненавистью должны произносить мое имя... Как я могу доказать, что не жадностью к деньгам были обусловлены мои поступки?.. Мне лично — монастырская келья да ломоть хлеба. Может быть, я честолюбив, что?

Я был кадетом, потому что хотел широкого парламентаризма для моей несчастной страны... Я пошел в Земский союз, потому что не мог же не хотеть победы несчастной России. Я борюсь с большевиками, потому что... (Он вдруг махнул рукой.) Выходит так, что какие-то силы толкали меня и я делал вид, что не замечаю этих сил, и вместо них представлял свое прекраснодушие... Самое страшное, Миша, что я, кажется, в глубине души не верю себе... А может быть, и в самом деле мной руководили материальные соображения? Что? Но этих ниточек, привязанных к моим рукам и ногам, я не могу ощупать, не вижу. И дергаюсь, как «петрушка», на ужас и позорище всему миру. (Он весь стал измятый и пыльный. Глаза погасли. Свернул к двери.) Ну, вот... Я пойду на часик прилягу... Завтракать не буду.

Насупившись, Михаил Александрович проводил его соколиным взглядом. Решительно растрепал бороду и двинулся в столовую завтракать в одиночестве... Выпил рюмку водки, подпер голову и сидел, не притрагиваясь к блюдам...

Он давно видел приближение гибели. В особенности ощутил это сейчас, с запутавшимся стариком Львовым... «Да, да, нужно уходить, засиделись до неприличия. Устраивали воскресные школы и английские парки, шумели и говорили прекрасные слова, поднимали на ноги печать, если какому-нибудь уряднику случалось побить мужика. Либеральные земства, воскресные школы, вегетарианство, непротивление злу, англомания и «Русские ведомости» и — логический финал: массовое убиение русских, этих же самых мужичков... В крови — по горло... И в темени — диалектический гвоздь. Нужно уходить...»

В половине второго затрещал телефонный звонок. Стахович вытер салфеткой усы и тяжело подошел к телефону. Голос Денисова кричал:

— ...пожалуйста, передайте Георгию Евгеньевичу — сегодня я еду в Лондон с ночным... Да, он знает, в связи с Детердингом... Умоляю еще раз попридержать сведения из Ревеля... До свиданья, Михаил Александрович, вам привезу хороших сигар...

55

В кафе Фукьеца на Елисейских полях у стойки бара сидели на высоких табуретках Налымов и Александр Левант, который остервенело жевал сигару.

— Василий Алексеевич, ведь минуты до́роги...

Налымов, трезвый, похудевший, очень приличный, в черном пиджаке, черном галстуке и перчатках (на руках его была нервная экзема), молча разглядывал этикетки бутылок...

— Слушайте, давайте это отложим до вечера... Дела́, дела́ сначала... В двух словах я вам объясню, милый вы человек...

— Короче и без хамства́,— сказал Налымов.

— Хорошо... Мои сведения совершенно достоверные, самые свежие. Юденич окончательно провалился: его армия интернирована на эстонской границе. На днях в английской палате будет запрос о кредитах Юденичу, и Черчилль продаст его как миленького... Финны без французских денег не полезут на Петроград,— французы денег не дадут, франк валится в пропасть, заметьте, это — сегодняшние сведения... Деникинские добровольцы драпают к Черному морю, в тылу у Деникина — поголовные восстания. В Сибири — и того хуже. Интервенция в этом году сорвалась. Еще два-три дня — об этом заговорят все газеты. Представляете, какие золотые часы мы пропускаем?

— Ну и что же?

— Нужно продавать, продавать! (Левант задышал спертым жаром в ухо Налымову.) Продавать на декабрь, на январь, на февраль...

— Что продавать?

— В первую голову — нефтяные акции... Почему, спросите? Потому что это самые загадочные ценности. Вокруг них обаяние Детердинга. Акции каких-нибудь уральских заводов? Железнодорожные? Этим никого не заинтересуешь: заводы разрушены, русские железные дороги, как каналы на Марсе,— может быть, они есть, может быть, их нет... Но за бакинской и грозненской нефтью — английский большой военный флот, политика

Черчилля, польская и румынская армии. Это производит впечатление! Другое дело, когда именно русская нефть попадет к англичанам. Между нами — не раньше будущей осени... А покуда всю эту зиму нефтяные бумаги будут шататься и валиться. Мы играем на понижение. Представляете, что можно взять на разнице?!

— У вас же нет нефтяных акций...

— Наивный ребенок! Мне нужна только биржевая кредитоспособность. А ее получу через того же Манташева. Черт с ним, пускай ишак снимает львиную долю, нам с вами хватит на кусочек хлебца... (Испачканные никотином зубы его заколотились истерично.) Вы поняли мою мысль? Звоните Манташеву, едем к нему немедленно.

— Я никуда не поеду, покуда вы не отдадите мне письма.

— Богом клянусь, письмо в чемодане, в бумагах...

— Врете, письмо при вас...

Левант схватил рюмку и опрокинул ледяной коктейль в пересохшее горло. Налымов искоса наблюдал за ним. Левант только что вернулся из поездки Стокгольм — Ревель. Он должен был передать Вере Юрьевне письмо Налымова и во что бы то ни стало привезти ответ. Вот уже месяц, как она не отвечала ни на письма, ни на телеграммы. По некоторым признакам Налымов был почти уверен, что Левант привез ответ, а это означало, что Вера Юрьевна жива... Но Левант, по обыкновению, лгал, и вывертывался, и дрожал от какого-то паршивого нетерпения...

— Слушайте, Левант, я не послал до сих пор к черту всю вашу шайку вместе с вами только из-за Веры Юрьевны...

— Это все мной учтено.

— Я одно только могу предположить: ответ Веры Юрьевны сфабрикован Эттингером, и вы боитесь, что я обнаружу это... И Веру Юрьевну там убили еще месяц тому назад...

— Знаете, шутки имеют некоторую границу, и я просил бы...

Бармен, приготовляя новую порцию коктейля, с лю-

бопытством поглядывал на собеседников. Налымов сказал громко по-французски:

— Очень хорошо, я иду к прокурору...

Он положил мелочь на прилавок, поправил шляпу, слез с высокой табуретки и вышел на улицу — пряменький, с поднятыми плечами. Бармен — с видимым огорчением Леванту:

— Мосье пьет один?

— Приготовьте столик, мы завтракаем.

Левант выскочил на тротуар, где холодный ветер гнал листья, срывал шляпы, трепал юбки. Налымов на углу, подняв трость, подзывал такси. Левант схватил его за руку:

— Василий Алексеевич, не глупите... Вернемся... Я все расскажу про Веру Юрьевну...

— Письмо...

— Успокойтесь, при мне, в кармане... Не могу же, черт возьми, на ветру...

Налымов молча повернул к Фукьецу. Сели за тот же столик, что и в первую встречу (в начале лета). Левант,— покосясь на стенные часы:

— Давайте скоро... Я хотел вам отдать письмо завтра, ну — сегодня вечером... Знаю же я, какой вы сумасбродный человек... А ведь дела́, дела́,— ни часу промедления... Ну ладно... (Вынул помятый конверт и прикрыл его ладонью.) Только несколько слов... Я не меньше вашего, Василий Алексеевич, хочу развязаться с Лаше. Он всех нас приведет на эшафот! У Лаше пропал политический нюх, он уже не способен к быстрым поворотам... На сегодняшний день его пресловутая Лига — просто шайка грязных авантюристов. Вы понимаете меня? Если англичане, не поморщившись, предали Юденича с целой армией,— что Лига? — каблуком раздавят... Я ему в лицо это сказал. Дурак, заварил грандиознейшую кашу, впутал генеральные штабы, контрразведки, а сделал мелкую грязь, пшик, что гораздо лучше обделает какой-нибудь провинциальный бандит... Этому дьяволу хочется сыграть роль мирового злодея, а весь-то он — беспаспортный бродяга, гопник, содержатель публичного дома в Афинах, марсельский

сутенер, форточник из Скутари, вышибала из вонючего переулка в Галате...

Слова вместе с крошками вылетали изо рта Леванта. Налымов — негромко и угрожающе:

— Письмо...

— Сейчас... Как я и думал, все его сокровища царской короны — чистый блеф... Обидно, Василий Алексеевич. Открытой, честной, законной игрой, какую я вам предлагаю, мы бы давно заработали на кусочек хлеба с маслом. Сейчас о письме... Минутку... Лаше — бывший агент тайной полиции при Абдул-Гамиде, да еще — по особому отделу загадочных убийств, таинственных исчезновений, пыток в стамбульских подземельях, денежных вымогательств и прочей старотурецкой романтики. Вот... (Ногтем он щелкнул о зуб.) Вот как я его знаю... Он страшен, когда у него за спиной сила, а персонально он — трус и малодушный истерик. Он еще не понял, что его участь решилась под Петроградом... Да, да, вы увидите: скоро полетят и Черчилль и сам Клемансо... Довольно размахивать оружием. Европе это надоело. Либерализм, гуманность, законность — вот о чем сегодня говорят на бирже. Военные запасы все разбазарены. Спекулянты на военных стоках проспекулировались. Довольно кустарщины! Идет серьезный промышленник и серьезный купец... Да, да! Сейчас, потерпите минутку, я к письму именно и подхожу. Предлагаю вам, Василий Алексеевич, решительно и как можно скорее отделаться от Лаше... Он будет бешено сопротивляться, и наша борьба упрется в борьбу за Веру Юрьевну... Не удивляйтесь... Лаше прекрасно понимает, что именно эта женщина погубит его с головой. Он бережет ее, как свой глаз. Он давно понял, что жестоко промахнулся, отослав вас в Париж. Если бы не вы,— давно бы ее и кости сгнили. Но вы — начеку, и вам терять нечего. Он это тоже понял. В игре троих карта Лаше бита... Знаете, для чего он вызвал меня в Баль Станэс? Предложил убрать вас старотурецким способом, клянусь богом...

Налымов со слабой усмешкой:

— Что это за способ?

— Так, порошочек один, пустяк... Лаше потерял чув-

ство современности. Сами понимаете, я без спора принял предложение... (Торопливо хихикнул, стукнул желтыми зубами.) И тогда он повел меня к Вере Юрьевне...

Налымов мутно уперся в бегающие глаза Леванта.

— Вера Юрьевна нездорова, давно уже — с месяц... Нервное расстройство, по-видимому на почве белой горячки... Что касается комфорта — все в порядке: у кровати — ваза с фруктами. Бывает врач... То, что Лаше писал вам и телеграфировал о ней, все соответствует действительности... Я прочел ей ваше письмо...

— Она в сознании?

— Временами... Я-то предполагаю, что на пятьдесят процентов у нее — симуляция, но этого Лаше, конечно, не высказал... Лаше предложил ей ответить вам, и она что-то долго писала. Он это письмо взял и спрятал, и, как вы верно угадали, Эттингер под его диктовку настрочил вам ответ от Веры Юрьевны...

Левант презрительно перебросил через стол письмо. Налымов не прикоснулся к нему. Левант вынул пухлую грязную записную книжку, заполненную цифрами и знаками биржевых бюллетеней, перелистал и протянул Налымову:

— Вы понимаете, без этого я бы и не начал с вами разговаривать. Мне таки удалось перехитрить Лаше: покуда они внизу строчили вам ответ, я заскочил к Вере Юрьевне и шепнул: «Продолжайте этот курс, развязка близка...» У нее глаза так и сверкнули, понимаете,— у сумасшедшей-то? И собственноручно нацарапала вам парочку слов... Читайте, этого не подделаешь...

Налымов с трудом разобрал большие слабые буквы поперек листочка записной книжки:

«...Велосипедист вез девочку с закрытыми глазами, помнишь — парк Сен-Клу? Я тебе сказала тогда... Все по-прежнему... Только тобой... За все благодарю...»

— Василий Алексеевич, но, ради бога, давайте Веру Юрьевну отложим... Едем к Манташеву...

— Хорошо. Я верю вам,— сказал Налымов, осторожно вырывая из записной книжки листочек.— Что мы должны делать?

— Прежде всего — деньги, деньги, деньги...

56

У суетного Леванта голова даже ушла в плечи, когда такси остановился у подъезда мрачного трехэтажного дворца на набережной Сены.

— Это его собственный дом!

История превращения Леона Манташева из нищего эмигранта в миллионера была так стремительна и необычайна, что парижская пресса на несколько дней занялась этой сенсацией. Леон Манташев получил от «Ройяль Дэтч Шелл» за проданные Детердингу бакинские земли девятнадцать миллионов франков. Деньги он получил на руки все целиком, неожиданно, как землетрясение. Однажды утром шеф гостиницы «Карлтон» был вызван к Манташеву, только что вернувшемуся из Лондона. Предполагая, что дело идет о бутылке коньяку и бутылке шампанского в кредит, шеф послал вместо себя лакея узнать, в чем дело.

Лакей, едва только отворил дверь, буквально был выбит обратно в коридор ураганным ревом нервного русского клиента. Лакей был бледен, у него тряслись губы, когда он сообщил об этом шефу. Шеф, с окаменелым, недоступным снисхождению лицом, без стука (что было прямым вызовом) вошел в номер к Манташеву, где, несмотря на поздний утренний час, были спущены шторы, зажжены все электрические лампочки, пахло виски и сигарами.

Леон Манташев, расставив ноги, стоял под люстрой. Карманы его необыкновенной канареечной пижамы оттопыривались. Усы торчали дыбом. Глаза бешено крутились.

— Счет! — заорал он, делая в воздухе широкий крестообразный жест.

— Хорошо, мосье, я подам вам весь счет,— мертвым голосом ответил шеф, подчеркивая «весь», что обозначало восемьдесят тысяч франков, или знакомство с комиссаром полиции, или подтяжки, привязанные одним концом к шее, другим — к дверной ручке. Шеф вышел. Счет был немедленно послан. Шеф, портье и два мускулистых коридорных стояли за дверью на случай атаки клиента. Они увидели в дверную щель, как лакей подал

счет, как русский, не взглянув на счет, не моргнув глазом, вытащил из карманов пижамы пачки денег и одну за другой швырял их на серебряный поднос, дрожавший в руке лакея, и мимо — на ковер...

— Восемьдесят тысяч! — заревел Леон Манташев.— Восемь тысяч получи на чай, скотина! Пшел! — и под ноги оторопевшему лакею швырнул последнюю пачку.

Шеф, портье и коридорные отступили от двери, охваченные сильным волнением.

В то же утро Манташев переехал в гостиницу «Мажестик», в апартаменты, сдававшиеся обычно коронованным лицам и американцам с Пятого авеню. Темперамент его искал выхода. Манташеву сразу показалось тесно в этом городишке. (Париж тогда еще только приспосабливался к приему дорогих гостей.) Например: машины рольс-ройс он не мог найти ни в одном магазине,— предлагали заказать на фабрике — и ждать полгода?.. А портные! Парижские портные шили на мертвецов! А женщины, черт возьми! У самых шикарных фантазия не шла дальше ужина в кабинете Кафе де Пари и тысячи франков в сумочку. «Мерси, мой казак»,— вот и все безумство...

Попытки бушевать на Монмартре также не вывели души на простор. Самая дорогая котлета стоила двадцать франков. Шампанское — пятьдесят франков. Правда, во всех кафе (слух о нем уже облетел Монмартр) «баловня судьбы» приветствовали джаз-банды салютом,— он сидел, густо обсыпанный конфетти, обмотанный серпантином, обвитый голыми руками девчонок. Его знаменитые усы, торчавшие из этой путаницы, зарисовывались карикатуристами и даже были опубликованы в газетах. Все же это был не размах. Красивая идея — откупить на всю ночь уличные развлечения на бульваре Клиши — наткнулась на сопротивление полиции. Даже любимое дело — скаковая конюшня — не могло заполнить времени. Он купил четырех кровных жеребят и двух трехлеток для дерби, но и с этим приходилось ждать до весны. Вместо нищеты ему грозила скука.

С первых же дней к нему прилип один жизнерадост-

ный эмигрант, мосье Сипи́н (по-видимому, просто — Сипкин), знающий Париж, как дно своего кошелька. С первым утренним кашлем счастливого миллионера Сипи́н проскальзывал в опочивальню со свежими новостями и игривыми предложениями. Он садился за пианино, пел бульварные новинки, имитировал знаменитостей, изображал один целый оркестр, чудно лаял собакой, до жути правдиво изображал автомобильные гудки, мог есть сколько угодно и что угодно, даже гнилое, кроме того, он зорко следил за многочисленными просителями, надоедливо крутившимися вокруг отеля «Мажестик».

По его совету, Манташев купил мрачный дворец на набережной Сены, с великолепными конюшнями во дворе. Столовая в бельэтаже была расширена и украшена колоннадой, вторая столовая оборудована под кавказский духан с очагом для шашлыков. Устроен бассейн для плавания, гимнастический и спортивный залы. Особое внимание обращено на спальни наверху — их было три: личная, холостая, в английском вкусе, затем помпадурная с подлинной кроватью Марии Антуанетты — для красивых связей, и — зеркальная с фонтаном — для легких массовых развлечений. Нижний этаж отведен под контору и жилища челяди.

На новоселье было разослано триста билетов — в редакции газет, кое-кому из русских и подавляющее большинство — женщинам по списку Сипи́на. Новоселье это произошло как раз накануне того дня, когда Левант и Налымов приехали к Манташеву. В доме еще не все было в порядке.

— Не везет, несчастье, боюсь, не примут,— шептал Левант, стоя в вестибюле и глядя на верх мраморной лестницы, откуда на заду по перилам съезжала с папиросκой очень хорошенькая, но помятая девушка в пышной юбочке, с голой спиной и худыми руками. Спустившись, она с гримаской выпустила дым в лицо посторонившемуся Леванту и надтреснутым голоском потребовала у портье шубу и такси.

На верху лестницы к Налымову подошел мосье Сипи́н,— лицо его со страдальчески выпученными глазами было как у призрака, смокинг — в пуху.

— Мосье, вы опоздали ровно на двадцать четыре часа,— сказал он, покачнувшись.

Когда Налымов назвал себя и объяснил, что — по неотложному нефтяному делу, Сипи́н надул дряблые щеки...

— Боюсь, что Леон не в состоянии сегодня заниматься делами... Правда, он только что из бассейна после гимнастики, но... Он несколько угнетен... Хотя, может быть, ваш визит развлечет его, идемте.

Леон Манташев, в пестром халате, с мокрыми и непричесанными волосами сидел в туалетной комнате и, устало облокотясь, глядел в огромное наклонное зеркало. На краю туалета дымила папироска. Он вяло поднялся навстречу,— преувеличенно длинный в халате; усы его висели, восточные глаза страдали,— протянул обе руки Налымову, кивнул Леванту (которому в большинстве случаев только кивали, не соображая, как это болезненно даже для жулика).

— Господа, садитесь где-нибудь,— здесь такой беспорядок после вчерашнего... Сипи́нка, будь другом, скажи какому-нибудь болвану — кофе, четыре чашки, самого крепкого... (Вдогонку Сипи́ну.) Да чего-нибудь спиртного... В комнаты не зову, боже сохрани, там еще валяются девчонки на диванах... Одну нашел в бассейне,— половина туловища в воде,— спит,— правда, вода теплая, но как она не утонула? Все-таки не ожидал от французов: ужасные развратники, ёрники, ч-е-о-о-орт знает что такое. После войны, что ли, такие стали? В восточной комнате утром нашли несколько мужских кальсон. Нет, господа, пировать нужно уметь. Пускай царствует эрос, но красиво, по-римски... Ну, заблевали же все ковры! Очень жалко, что вас не было, Василий Алексеевич. У меня возникла идея сделать над столом балдахин из малинового бархата, на золотых копьях, и вот для чего: когда подают десерт, с балдахина начинают сыпаться розовые лепестки... Розы падали, падали, покрыли стол, всех гостей... Красиво... В утренней прессе, кажется, еще нет, но в вечерней будет полный отчет... Этот прием влетел мне в триста тысяч франков... (Он взял с края туалета дымящуюся папироску, сильно затянулся.) Этот дом обходится мне не дешево во вся-

ком случае... Сотни тысяч так и летят... Господа... (Оглянул собеседников изумленными глазами.) Я не чувствую себя богатым человеком!..

— Полковник Налымов и я,— заторопился Левант,— именно по этому вопросу и позволили себе...

Манташев,— не обращая на него внимания:

— Деньги тают в руках, господа... Нужно что-то предпринимать. Так мне не хватит и до конца года.

— Мы опять с предложением,— сказал Налымов,— вернее: его идея, моя гарантия.

— Вам верю, как богу, Василий Алексеевич... Что это — опять Детердинг?

Левант, подавшись вперед на стуле и ощерив по-шакальи зубы:

— На Детердинга рассчитывать больше не приходится... Политическая обстановка круто изменилась к худшему. (Манташев моргнул, точно ему в глаза бросили песок.) Сведения из Ревеля и Ростова-на-Дону самые тревожные. Детердингу скоро понадобится вмешательство европейских войск, чтобы узнать, как пахнет кавказская нефть.

Манташев перевел глаза на Налымова. Тот подтвердил, что действительно за последнюю неделю в России произошел тревожный перелом. Сизо-бритое оливковое лицо Леванта с кривым носом многозначительно усмехнулось:

— Господин Манташев, вы неплохо заработали на наступлении Деникина и Юденича. Сегодня вы сумеете заработать еще больше на отступлении Деникина и Юденича... Мы вам гарантируем минимум удвоение капитала. Если это вам подходит, вы платите нам пятнадцать процентов куртажных...

— Ого, пятнадцать процентов,— пробормотал Манташев, скрывая тревогу.— Ну нет, это жирно!..

— Двенадцать нам предлагает Чермоев.

Манташев с живостью поднялся, но туалетная комната была тесна для его широких движений, и он повалился на кушетку.

— Я широкий человек, господа, но надо же иметь совесть. (Молчание. Лицо Леванта решительно выражало, что совести у него нет.) Вы пользуетесь моей го-

ловной болью... Предположим — я согласился... Рассказывайте...

— Вчерашний раут запишите себе в актив,— начал Левант.— Когда человек после такого раута появляется на бирже, бумаги у него рвут из рук.

И он подробно стал излагать те же соображения, что и Налымову в кафе у Фукьеца.

— ...Парижская пресса будет пока молчать. Вчера Денисов выехал в Лондон, чтобы придержать лондонскую прессу. Все это глупость: Деникину и Юденичу ничего не поможет, это — мертвецы... Интервенцию нужно делать европейскими войсками — открыто, широко, в полном контакте с деловыми кругами... Но оставим это... В нашем распоряжении — три-четыре дня. Нужно продавать, покуда у вас хватит присутствия духа... Потом за сотню тысяч франков французская пресса утопит русских генералов, как миленьких. Тут уже самому Детердингу не удержать биржи...

Левант закончил свою мысль. Манташев засунул в рот усы и грыз их. Левант медленно вытащил шелковый платок и, вытирая лоб, из-под платка успокоительно моргнул Налымову, сидевшему в полном безразличии.

После продолжительного молчания Манташев сказал:

— Итак, вы хотите, чтобы я действовал против Детердинга?

— Это — логика,— сказал Левант.

— Против Черчилля, против французской политики, против всех порядочных людей, которые, как скалы, высятся среди грязи, предательства, спекуляции?.. Боже мой, боже мой! (Манташев вскочил, вслепую ища босой ногой туфлю под кушеткой.) Чтобы я пошел против своей совести?! Черт, вы направляете мою руку в спину святому белому делу!..

— Биржа реагирует только на логику...

— К чертям логику! Вы требуете от меня подлости! И еще хотите за это пятнадцать процентов куртажа!

— Хорошо,— спокойно сказал Левант,— я уже вижу, что вам трудно отрывать от себя пятнадцать процентов... Платите нам двенадцать — и покончим...

57

Перед камином на низеньком столике — бутылка портвейна, бисквиты и коробка сигар. Уголь только что подсыпали, и он еще дымит, распространяя в слабо освещенной комнате запах старой Англии. Портвейн сердоликово отсвечивает в граненых рюмках,— он не менее трех раз проплыл в бочке вокруг света на парусном клипере, крепкий его аромат примешивается к запаху угля.

Все страсти, поднятые Великой войной,— взбаламученная грязь со дна человеческого океана,— разобьются в бессилии о строгий покой этой комнаты. Аминь!

В сумрачный вечер сидящие у камина знают, конечно, что куски дымящегося угля с отчаянием и проклятием подняты из глубины шахт, а не свалились с неба. Человечество в сущности еще глубоко несовершенно. Да, много печальных и тревожных несовершенств в социальном строе Англии. Но это не означает, что во имя прибавки бедному человеку лишнего шиллинга в неделю нужно разломать тысячелетнюю крепость культуры, впустить в эту комнату рабочего с туберкулезными ребятишками, отдать бутылку драгоценного портвейна уэльскому шахтеру, понимающему толк лишь в количестве градусов, и предоставить прекрасные картины, украшающие стены этой комнаты, для сушки гороха.

Оба сидящие у огня — джентльмены. Оба говорят на прекрасном английском языке, не подчеркивают своих мыслей, но выражают их с тонким юмором. Они угадывают сокровенные намерения друг друга и с добродушием сознаются в этом. Цель одного из них — сэра Генри Детердинга — указать на призрачность некоторых точек зрения собеседника. Цель другого — мистера Ллойда-Джорджа — изящно не дать провести себя за нос.

Обмениваясь фразами, окуная бисквитики в портвейн, собеседники стараются совместными усилиями как бы разыграть трудную шахматную партию. По-видимому, это их забавляет, и они исполнены чувства открытого дружелюбия друг к другу.

— В самом начале были допущены ошибки, сэр Генри... Ошибки, стоившие нам дорого...

— Вы говорите об отсутствии должной твердости?

— Об отсутствии полезной гибкости. В Англии, к сожалению, слишком много людей, которые смешивают в одной кастрюле нашу современность и отошедшую в вечность непоколебимую политику времен императрицы Виктории... Противоречия, порождаемые развитием английского капитала в половине прошлого века, казались устранимыми простым, крепким, английским ударом в переносицу, в крайнем случае — частной благотворительностью. Но сегодня добросовестному политику невозможно не принимать этих противоречий как реальных данных при учете сил,— вот именно об этой гибкости я и хотел сказать, сэр Генри. Возьмите сигару.

— Благодарю. Позвольте вам предложить мою.

— Благодарю. Я был против оккупации Баку в восемнадцатом году, против посылки наших войск на север России, и я был прав. Мы ничего не достигли, мы раздразнили большевиков и бросили жирную кость нашим домашним крикунам.

— Но боязнь либеральных болтунов в парламенте и в английских профсоюзах — это еще не учет сил, мистер Ллойд-Джордж... Либерализм сам по себе — прекрасен, когда он цветет у домашнего очага. Оставим его там, очистим, наконец, от него нашу твердую политику. Будем прямолинейны и суровы, как орудия английских дредноутов.

— Сэр Генри, вы хорошо сделали, что связали свою судьбу с судьбой Англии и поставили половину запасов мировой нефти под защиту английских пушек, но я немного огорчен тем, что у вас все еще нет доверия к дальности прицела английских пушек.

— Разрешите вам налить?

— Благодарю.

— Я ни на чем не настаиваю, мистер Ллойд-Джордж. Последние события на востоке встревожили меня так же, как любого англичанина, охраняющего свою семью, свой дом и свой кошелек от ночного посетителя. Я немного растерян. До сих пор мне казалось,

что в сильном государстве сильная политика опирается на силу.

— Сэр Генри, мы раз и навсегда должны отказаться от некоторой терминологии, которую нам навязали наши друзья из профессиональных союзов. Например, империализм! Будь я ребенок, я бы, наверно, заплакал в своей кроватке, услышав это слово... Интервенция! Это похоже на пощечину. Колониальная политика! Это — безобразные, ненужные, раздражающие слова... Зачем я буду каждое утро высовываться из окон и строить гражданам неприличные гримасы?.. Они вправе начать швырять камнями в мое окошко...

Сэр Генри откинулся в сафьяновом квадратном кресле,— должно быть, от портвейна массивное бритое лицо его с угрюмой челюстью было багровое, веки полуопущены над мешками глаз, щека вздрагивала. Мистер Ллойд-Джордж — седогривый, с моржовыми седыми усами, розовый, как дядюшка из провинции, благодушно улыбался.

— Игра с огнем всегда кончается пожаром,— сквозь зубы проговорил сэр Генри.

— Единственно, в чем мы с вами расходимся,— так мне кажется, сэр Генри,— это в способах тушения пожара. Эффектное появление пожарных на сцене: много крику и шуму, хлопотно и мало толку.

— Какие же другие способы?

— Правильная осада: когда осажденные начинают есть крыс и пить тухлую воду, они сдаются... Из истории Пунических войн мы знаем, что римляне, ускоряя процесс капитуляции, бросали в осажденный Карфаген зачумленные трупы. Это классика...

— Все это превосходно, если бы рынок мог ждать терпеливо... «Ройяль Дэтч Шелл» вложил огромные суммы в кавказские земли. Американцы не вложили ни одного цента. Мы ослаблены, они — нет. Если к будущему лету мы не будем стоять твердой ногой в Баку и Грозном,— Англия потеряет первое место...

Разговор принял такой оборот, что мистер Ллойд-Джордж почувствовал, наконец, будто его прочно взяли за нос. Он нагнулся к камину и некоторое время возился с углями.

— Да, да, вы, как всегда, правы, сэр Генри,— бормотал он, озаряемый пламенем; порозовели даже его пышные волосы.— Будем надеяться, бог поможет старой Англии... Видит бог,— мистер Ллойд-Джордж выпрямился, вооруженный каминными щипцами,— мы хотим только мира и счастья! Побольше счастья! Путь к нему открыт. Но при всем миролюбии (Ллойд-Джордж положил щипцы) мы не можем, не в состоянии остановить процесса кристаллизации новорожденных республик на востоке Европы. Самоопределение — священный процесс. Польша и Румыния в своем историческом развитии *должны пройти через войну*... И мне представляется, что не дальше, как этим летом...

Подумав, сэр Генри сказал:

— Это — идея.

После этого оба молчали некоторое время. Существенная часть беседы была окончена. Сэр Генри поднялся. Мистер Ллойд-Джордж проводил его до дверей, глядя с чувством тревоги на апоплексическую шею такого нужного Англии, такого значительного человека.

Сэр Генри отпустил машину, отпер парадное, зажег яркий свет в вестибюле, бросил на кресло шляпу и пальто и на секунду остановился перед пестро размалеванным деревянным идолом с Соломоновых островов.

Людоедский бог, со ртом до ушей, с треугольными зубами, жаждущими человечины, с клювообразным носом и ожерельем из раковин и бус (американского происхождения) глядел на Детердинга косыми непонятными глазами. Однажды сэр Генри пошутил, указывая друзьям на этого идола:

— Большевик...

Сейчас он вспомнил об этом и зло усмехнулся. Мысль, овладевшая им за время поездки по запруженным лондонским улицам, снова отчеканила:

«Польша, это — идея».

По лестнице, улыбаясь, спускался изящный, с седыми висками мистер Ховард — секретарь. На предпоследней ступеньке он остановился и ожидал, когда сэр Генри обратит на него внимание.

— Кто-нибудь ждет в приемной? — спросил сэр Генри.

— Мистер Константин Набоков и мистер Денисов из Парижа.

Мешки под глазами сэра Генри задрожали от гнева:

— Передайте этим русским... Гм... (Горловой звук, похожий на орлиный клекот...) Передайте, что я крайне утомлен и ложусь в постель. Пусть придут завтра... Приготовьте на завтра точную сводку военных действий в этой проклятой России... Гм... А также... Скажите, Ховард, вам известно количество населения в Польше? Приготовьте также и эту цифру, и подробнее о Польше... Если вам это доставит удовольствие, передайте русским, что их белые генералы ни к черту не годятся... Любой чурбан... (он кивнул на идола) понимает в политике больше, чем они...

58

За пять дней Володя Лисовский заработал три с половиной тысячи франков. Но пришлось здорово потрудиться. Особенно много хлопот доставил Бурцев, хотя у него он не заработал ни сантима.

Владимир Львович Бурцев сделался окончательно невыносим за последнее время. Его настроения вместе с политическими убеждениями качались, как метроном, направо — налево, и где-то посредине: чик! — сухой треск — трещала надорванная борьбой с большевиками душа Владимира Львовича.

Еще бы! Ум заходил за разум, когда он все в той же соломенной шапочке (несмотря на ноябрь и нетопленную редакцию) сидел за пыльным столом над исковыренной ногтями промокашкой и его духовный взор, пронзивший в свое время такого демона, как Азеф, беспомощно бился о неразрешимые загадки. Владимир Львович был подобен провинциалу, попавшему в волшебную шестнадцатиугольную комнату в паноптикуме: куда ни ткнись, вместо выхода — зер-

кальная стена, откуда смотрит на тебя твое же растерянное лицо.

В противовес большевикам, сводящим все исторические процессы к классовой борьбе, он теперь выдвигал личность героя, сверхчеловека, носителя национальной, государственной, мировой идеи. Этой личностью был Колчак. О нем Владимир Львович писал с хлыстовской страстностью. В день его именин опубликовал «Письмо сибирского купца», лично будто бы видевшего верховного правителя.

«...Стою это я,— рассказывал купец,— в приемной, а у самого сердце так и трепещет... Господи, думаю, вся наша надёжа на нем. И почуяло ретивое: идет он, батюшка, тихо, плавно... И как будто некое дуновение пронеслось. Казаки отворяют дверь, и мне впору, как перед спасом,— в землю лбом. Он входит,— лик светлый, глаза вещие и подает мне белую ручку: «Здравствуй, говорит, сибирский купец, много ты горя вынес, многое тебе и воздастся...»

По поводу фельетона Лисовский сказал:

— Владимир Львович, кто вам сочинил письмо истового купца?

— Что? Как кто?

— Не сами ли уж, чего поди?.. Вы бы все-таки литературный материал через меня пропускали. В городе над фельетоном смеются.

— Кто смеется?

— Встретил Савинкова, смеется: скоро у вас верховный правитель по водам будет ходить...

— Вон! — надорванным фальцетом закричал Бурцев.— Вон! Вы больше не сотрудник «Общего дела».

И вот, через несколько дней тот же Лисовский пришел опять, нагло сел у редакционного стола, распространяя запах коньяку, и заявил, что Колчак — истерик, политический дурак, военная бездарность и подставная кукла, которую в самом непродолжительном времени союзники вышвырнут за ненадобностью. Задохнувшемуся от негодования Бурцеву он показал кучу французских газет, где все это было напечатано.

Владимир Львович бросился на улицу Гренель. Там, на Политическом совещании, за зеленым сукном

с золотой бахромой, на потертых креслах сидели: мертвенно утомленный князь Львов, налево от него — белобородый, щеголевато одетый «дедушка русской революции» Чайковский, направо — царский посол во Франции старый Извольский, напротив — посол временного правительства во Франции Василий Маклаков, нахмуренный Савинков (чем-то — жидкой прядью волос, упавшей на большой лоб,— напоминающий один из портретов Наполеона), мягколицый блондин из московского купечества — Третьяков и царский посол в Италии Гирс.

Этим людям, по-видимому, казалось, что на листах чистой бумаги, разбросанной по столу, они должны начертать и непременно, как умные и образованные люди, начертают судьбу России. Они слушали прибывшего из Ревеля Кедрина,— печальный анализ событий под Петроградом. Лица всех (исключая Львова) выражали вежливую скуку: Кедрин был на подозрении в левизне,— «краснозадый»,— как подписавший вместе с другими министрами северо-западного правительства акт о независимости Эстонии.

Доложили о Бурцеве. К нему вышел старый дипломат Извольский,— ему всегда доставляло удовольствие говорить неприятности. Бурцев, особенно казавшийся пыльным, без пуговиц, обсыпанный табаком, с растрепанными седыми космами из-под соломенной шапочки, с карманами, оттопыренными от газет,— кинулся к Извольскому.

— Что случилось? — спросил он почти одними движениями пересохших губ.

Извольский, выставив впереди себя палец, чтобы удержать наскок Бурцева:

— Центр борьбы переносится с востока на юг России, вот все, что случилось.

— Но — верховное правительство?

— Омск эвакуирован... Правительство где-то там...

— Адмирал?

— Право, не знаю... Где-нибудь едет в поезде...

Обухом ударило старого Бурцева в темя, в мечту, в идеализм. Затряслись полные брюки. Вернувшись в редакцию, он долго одиноко сидел у стола в надви-

нутой на глаза соломенной шапочке. Потом он вызвал Лисовского и, стараясь не глядеть в эту нагло ухмыляющуюся рожу, затребовал у него самые обширные данные биографии генерала Деникина. Владимир Львович не хотел сдаваться,— еще раз он делал усилие, чтобы на кончике пера поднять светлую личность.

На самом деле Политическое совещание было не менее Бурцева потрясено неожиданным поворотом французской печати от сдержанно-благожелательного отношения — по поводу русских дел — к резко враждебному. Что-то случилось, какая-то новая сила вошла в игру, чья-то сильная рука наносила удар.

Биржа, по существу учреждение паническое, реагировала на все это паникой. Русские ценности летели кувырком. Кто-то пригоршнями швырял для продажи русские нефтяные акции. Так продолжалось несколько дней. И будто нарочно из Сибири получались телеграммы одна мрачнее другой.

К Львову к завтраку позвали Тапу Чермоева, подпоили и выведали, что газетная кампания идет от Леона Манташева, играющего на понижение. Все это было бы понятно, если бы не одно странное явление: несмотря на то, что газеты поддавали жару, нефтяные акции после первых дней паники начали как будто сопротивляться и даже испытывать тенденцию ползти вверх: чья-то еще более сильная рука продолжала смело и широко поддерживать их.

— Нет, это игра темная,— говорил Тапа за завтраком,— боже спаси ввязываться... Боюсь за Леона, он — горячий человек, а политика — не скаковая конюшня. Между прочим, если уже играть сегодня, так только на повышение. Почему? Признаки есть, господа, счастливые признаки.

Хитрый татарин напустил еще гуще туману. Где-то кем-то готовилась таинственная диверсия по отношению России. Тревожнее всего было то, что Политическое совещание — фокус борьбы и ядро будущей русской власти — менее других было осведомлено. Им явно пренебрегали. Затем из Лондона пришла телеграмма от Константина Набокова:

«Необходим оптимизм. Необходимо внушить Деникину, что события расцениваются как временные неудачи. Входит новый фактор. Лондон на страже».

В Политическом совещании изрисовали рожицами и завитушками пятьдесят листов чистой бумаги, но телеграммы не поняли. Пока что решили предложить Бурцеву немедленно выехать в Новороссийск для организации оптимизма и местной печати. Из Лондона приехал Денисов, но по телефону его нельзя было добиться.

Шумели ноябрьские дожди. Париж веселился. Володя Лисовский часов в одиннадцать утра все еще нежился под теплой периной, с удовольствием слушая шум дождя. В дверь торопливо постучали. Вошел Александр Левант. Зонт его, концы брюк и башмаки были мокры. Глаза — как две тухлые маслины. Не снимая шляпы, он сказал:

— Можно уничтожить всю армию сразу, окружить и расстрелять или утопить в реке? И армию и генералов?

— Кого именно? — спросил Лисовский.

— В данный момент — белых с Деникиным.

— Можно, конечно,— не поверят...

— Чума в белой армии? Что вы скажете? Повальная чума...

— Чума — неплохо. А вам когда это нужно?

— Завтра.

— С чумой придется повозиться с недельку, иначе не подействует:

— Кошмар!..

Александр Левант, присев на постель в ногах Лисовского, некоторое время скалил длинные зубы. Ощеренная голова его глядела на туман и дождь за окном, где угольными очертаниями проступали аспидные крыши, гончарные каминные трубы.

— Манташев может еще вылезти, он продавал на февраль, к тому времени проклятую нефть удастся опять повалить... Я продавал на короткие сроки...

— Ай-ай-ай!..

— Кто мог знать? Я хотел скорее взять деньги. Сегодня я уплатил разницы сто двадцать тысяч фран-

ков. Послезавтра платить столько же... Я — банкрот... (Лисовский сочувственно поцыкал языком.) Если бы завтра что-нибудь сверхъестественное про Россию! Слушайте, Америка не могла бы признать большевиков?..

— Такого ерша ни одна газета не рискнет напечатать.

— Я не спал две ночи... Голова отказывается... Слушайте, Лисовский, что случилось с нефтью? Кто ей помогает? Кто скупает эти паршивые акции? Можно сойти с ума! Вы сумеете что-нибудь придумать?

— Нет.

Левант повторил тихо: «Нет!» Он и сам знал, что — нет... Подошел к окну. Постоял и, не прощаясь, вышел... На трамвае поехал до Биржи и рассеянно стоял у колонн, заложив руки с зонтом за спину. Затем он вернулся в гостиницу и еще засветло вышел оттуда с объемистым пакетом, сказав консьержу, что — к портному. Ночевать не явился. Наутро консьерж обнаружил у него в номере, в камине, следы сожженных бумаг, на полу в раскрытом чемодане — пару поношенных носков и неоплаченный счет из гостиницы: все, что осталось на поверхности жизни от Леванта. По-видимому, он совсем исчез из Парижа, предоставив Налымову одному выкручиваться из кучи неприятностей.

Манташев, узнав о его бегстве, сломал несколько ценных предметов у себя в туалетной комнате и заявил в полицию. Налымову послал бешеное письмо. Но Василий Алексеевич был уже на пути в Стокгольм. В полицейской префектуре Леванта отметили как нежелательного иностранца.

Ни в Париже, ни в мировой истории деятельность, появление и исчезновение Леванта не произвели никакого впечатления. Вынырнула из болота лягушечья голова, квакнула, переполошив десяток-другой мошек, и скрылась. Странно все же подумать, сколько было затрачено сумрачного труда, всех видов энергии и пищевых продуктов, чтобы обслужить и прокормить эту лягушечью голову. Сколько затрачено умственной деятельности на мирных конференциях, в парламентах

и министерских кабинетах, сколько наготовлено оружия и взрывчатых веществ, чтобы сделать существование такой лягушечьей головы приятным и спокойным. Только поэтому, из-за этой странности, и стоило, пожалуй, упоминать о Леванте. Сам по себе он серый, как ночная тень, мелкий левантинский жулик. Хаджет Лаше — тот по крайней мере злодей, в старое время его восковой бюст показывали бы в провинциальном паноптикуме вместе с Джеком — потрошителем животов. Кроме того, Хаджет Лаше предвосхитил некоторые приемы, которыми несомненно будут широко пользоваться на европейской политической арене. Или Денисов! Этот, правда, пока еще в полутени, роскошные говоруны-политики и чудо-генералы заслоняют его, но голова его несомненно высунется в свое время и так квакнет, что только держись: «Шире дорогу черному интернационалу!»

59

Налымов приехал в Стокгольм в туманное, холодное утро, когда над Балтикой неслись тревожные сигналы судов, блуждающих в тумане. Изморозь секла железный борт парохода. Поднятый воротник не спасал от холода.

Продрогший шофер сердито захлопнул дверцу машины и повез Налымова в одну из второклассных гостиниц. Налымов взял комнату подешевле. Когда внесли чемодан, он сейчас же заперся и ходил, ходил, останавливаясь у окна, за которым стоял туман стеной безвыходного мрака. Скука, тоска, мерзость...

Причина отвратительного настроения была в том, что его чувство к Вере Юрьевне остыло, сколько он ни пытался подогревать его. Ущерб начался, когда к нему пришло некоторое благополучие. (Сто тысяч франков куртажных.) Он босяк — это было одно, он рантье — в корне было что-то другое... Еще месяц, два — и он бы совсем не поехал в Стокгольм... Побранил бы себя, потужил и навряд бы расстался с покойной постелью в своей холостяцкой квартире. И вместе с ущербом надвинулась холодная дрянная пустота, как

этот желтый туман за окошком. Василий Алексеевич сел, наконец, к телефону. В сущности плана у него никакого не было. Исчезновение Леванта смешало все планы. Нужно было попытаться переговорить с Мари или с Лили... Он позвонил в «Гранд-отель».

Оказалось — мадам Мари в прошлом месяце уехала с труппой Хипс-Хопс в Варшаву. Подробностей портье не сообщил. На просьбу попросить к телефону Лили портье, помолчав, неохотно ответил, что посмотрит, здесь ли мадемуазель, и предложил Налымову оставить свой номер телефона. Из осторожности Василий Алексеевич не сказал фамилии.

Звонка ждал долго. Сняв пиджак, продолжал ходить от двери до окна. Желтый сумрак сгущался. Во всяком случае, Веру Юрьевну он—так или иначе— выручит. О дальнейшем не стоило думать. Налымов позвонил и приказал коридорному принести комплект местных газет за последний месяц.

Просматривая газеты, он сразу же наткнулся на историю с Кальве. Через десять номеров новая сенсация: «Таинственное исчезновение Леви Левицкого»... Газеты на этот раз всерьез переполошились. Заметка в «Эхо России» (в специальном номере, выпущенном Лигой) о прикосновенности Леви Левицкого к сокровищам царской короны впечатления не произвела: Леви Левицкий был связан со стокгольмскими банками,— о нем единогласно отзывались как о солидном и порядочном человеке. Через день после его исчезновения с его текущего счета было снято тридцать тысяч крон, подпись на чеке оказалась поддельной. Не напечатай об этом газеты, преступники несомненно попались бы со вторым чеком. Затем поднятый шум вокруг Леви Левицкого внезапно оборвался — видимо, под давлением свыше.

Для Лиги история с Леви Левицким прошла не гладко. Понятно теперь возмущение и предательство Леванта. Он прав. Хаджет Лаше потерял политический нюх. После событий под Петроградом Лига оказывалась громоздкой кустарщиной.

Позвонил телефон, и — надтреснутый просящий голосок:

— У телефона Лили... Вы меня хотели видеть, мосье?

Не называя себя, Налымов попросил ее немедленно приехать в гостиницу.

— Хорошо, я приеду... Автомобиль на ваш счет...

Ясно — девчонка опустилась до уличного фонаря... Налымов бросил газеты и позвонил, чтобы подали завтрак на двоих. Через несколько минут, поцарапав в дверь, вошла Лили,— юбчонка до колен, ноги тонкие, из-под яркой дешевой шляпки — беспокойные глаза, обострившийся напудренный носик. Разинула в два приема рот,— все шире,— увидя Василия Алексеевича:

— Нет, нет!..

— Лилька, милая, здравствуй. Раздевайся, садись! Будем завтракать.

Он поцеловал ее холодную щеку. Под пудрой — морщины. Она опустила руки и так, стоя, начала плакать.

— Ну, что ты, дурочка, перестань...

Он снял с нее пальто и шляпку. Под шерстяным, без любви и заботы надетым платьем было видно, как она худа. Налымов усадил ее в кресло, поцеловал в темя:

— Рассказывай.

— Вася, тебя здесь убьют... Ах, ты ничего не знаешь: это кошмарный ужас...

— Подожди, что Вера, где она?

— Там же, на даче... Я там больше не живу. Я здесь снимаю комнату и сама плачу, я это отстояла... Вот Мари, понимаешь ты, счастье-то! В нее влюбился один из Хипс-Хопсов, Ричард, и взял ее в Польшу,— она прекрасно знает польский язык, и она очень музыкальна, они ее научили играть на метле... Но что было! Лаше не хотел отпускать. Хипс-Хопсы пожаловались в английскую миссию... Только так и вырвалась... А я — совсем. Вася... (Нырнула головой в колени, затянула детским плачем.) Сейчас перестану... (Вытерла глаза уголком скатерти.) Вера очень была больна. У ней — что-то мозговое. Если тебе будут го-

ворить белая горячка,— вранье. Конечно, ей лучше бы умереть... (Покосилась на дверь, все лицо у нее задрожало.) Убивали при ней, понимаешь?..

— Мы прямо поедем к начальнику полиции.

— Господи! (Схватилась за щеки.) С ума сошел! Чтобы меня увезли в Баль Станэс и пытали и резали! Полиция сейчас же даст знать Лаше, и Лаше им докажет, что мы — большевики... И мы пропали... Полиция еще недовольна, что Лига плохо работает. У меня есть один любовник, я знаю, конечно, что он — шпион, приставлен от Лиги следить... Он рассказывал: начальник полиции кричал на Лаше и на генерала Гиссера, что они больше о своем кармане заботятся, чем о большевиках, что они просто жулики, а не политические борцы, что в Стокгольме пруд пруди большевиками. Поэтому Лига готовит крупное убийство... И не думай заявлять! Ведь при тебе же я давала клятву, а знаешь, что за нарушение клятвы?

— Хорошо. Я поеду один. Но я должен выставить тебя как свидетеля...

— Нет, нет, нет... Я ничего не знаю...

Она схватилась за шляпку, Налымов едва уговорил ее остаться завтракать. Но только он начинал настаивать на заявлении в полицию,— Лилька бросала вилку, принималась плакать.

60

Бистрем позвонил. Отворил Ардашев, поднял руки:

— Батюшки! Какими судьбами! Худой, страшный, ободранный! Неужто из Петрограда?

Бистрем пролез в маленькую прихожую, широко улыбаясь, стащил тяжелое от грязи, залатанное пальто, свернул его и вместе с кепкой положил в угол на лакированный пол.

— Николай Петрович, я к вам прямо с поезда. Понимаете, мне необходимо прилично одеться... За мной следят от самой границы. Николай Петрович, что мама?

— Здорова, все великолепно...

— В таком виде домой не рискну... Главное — пальто, башмаки и шапка...

— Сущие пустяки, магазины еще не закрыты... Слетаю мигом... Есть хотите?

— Ужасно.

— Через час обед. А это тряпье не лучше ли сжечь?

— Да, пожалуй... Я не ручаюсь, что насекомые...

— Куплю и костюм и белье. Размер, конечно, самый большой?..

— Да, да, самый большой... (Бистрем внезапно крепко взял его за руки.) Я так и думал, вы — хороший человек.

— Глупости, глупости... Вы мне расскажите-ка, что в России? Бьем интервентов в хвост и в гриву? Правда это? Я всегда говорил: проснется, черт возьми, русский богатырь... Россия-с — не Австро-Венгрия! Эта раскололась, как глиняный горшок, а мы, черт их возьми, покажем Европе евразийцев!

— Процесс гораздо более сложный, Николай Петрович. Я бы не сказал, что национализм...

— Ладно... Расскажете... Бегу...

Ардашев живо оделся, хлопнул дверью, весело затопал по лестнице. Улыбка слезла с небритого, обветренного лица Бистрема. Поправив маленькие — не по размеру — очки, он сурово огляделся. Вошел в кабинет и сел у топящейся печки,— нога на ногу, локоть о колено, костлявый подбородок на ладонь.

Он был послан курьером из Петрограда и три дня назад перешел финскую границу. Три ночи не спал, страшась быть захваченным контрразведчиками, шнырявшими по всей Финляндии. У него еще не прошли болезненные ощущения контузии, полученной под Пулковом, голову от усталости и голода застилала тошноватая муть. Но это — мелочи. Он иными глазами глядел теперь на этот мир, покинутый им в сентябре. Швеция поразила его опрятностью, порядком, удовлетворенностью,— страна еще не израсходовала богатств, перепавших ей во время мировой войны. Бистрем вглядывался в краснощекие лица щегольски одетых граждан, в окно вагона-ресторана видел, как они ели, пили, курили. Они были благодушны и вежливы. И Бистрем не

мог отрешиться от ощущения, что этот великолепный мир отделен от него будто невидимой решеткой.

Перед отъездом из Петрограда он получил наказ провести в европейской печати ряд статей, чтобы, сколько возможно, парализовать желтую прессу. Со всей пылкостью он принял тогда наказ. Сейчас у горячей печки он с тяжестью думал, что трудно ему будет полностью оправдать доверие товарищей. Нужна бешеная энергия, свежесть всех сил, а у него слипаются глаза, и он с жадностью думает об ардашевском обеде. Несомненно сильно потрепаны нервы...

В прихожей трещал звонок. Бистрем провел ладонью по лицу, встряхнулся, отворил парадную дверь. Вошел небольшого роста, красивый, неприятный человек, с темными усиками, с острой бородкой. Снял с плеши котелок.

— Николай Петрович дома?

— Нет,— угрюмо ответил Бистрем.

— Могу я подождать его?

— Не знаю, я нездешний.

Человек быстро и внимательно оглядел Бистрема и до половины неприятно приоткрыл редко посаженные зубы:

— Простите, вы, кажется, Бистрем? Мы однажды встречались. (Бистрем не ответил.) Хорошо. Я позвоню Николаю Петровичу. Не откажите передать, что заходил Извольский...

Человек надменно кивнул снизу вверх подбородком и вышел. Бистрем некоторое время глядел на захлопнувшуюся дверь,— будто он прикоснулся к ядовитой гадине... «Ну и черт с ним»,— вернулся в кабинет и опять сел у печки. Сонливость прошла, но чувство гадливости оставалось. Он потирал перед огнем большие свои красные руки... «Глупости, глупости, не нужно нервничать...»

Вернулся Ардашев, веселый и запыхавшийся, нагруженный свертками и картонками.

— Идите в ванну, Бистрем, берите горячий душ, брейтесь... Будете одеты, как принц Уэльский... Пони-

маете, замечательное удобство — открылся новый американский магазин, все для мужчин, что твоей душе угодно: от запонки до автомобиля... Купил вам даже трубку и табаку... Да, батенька, плоха, плоха буржуазная культура, а умеют они создавать условия... Рубашки купил фланелевые, правильно?..

Вымытый, выбритый, одетый во все чистое и новое — Бистрем сел за обеденный стол. Ардашев, продолжая хлопотать, поднимал крышки с дымящихся блюд:

— Ешьте, ешьте, дорогой! Что-что, а жратва у нас в Швеции хороша. Вот это — сосиски! А это — гоголевский лабардан, сиречь — свежая треска,— мечта, а не рыба. К ней растопленного маслица...

Ардашев подкладывал, потчевал друга, искренне, горячо, и вместе с тем казалось, в чем-то извинялся перед ним.

— Ну, а теперь — рассказывайте о вашем путешествии на планету Марс...

Давеча, когда Бистрем тер ладонь о ладонь у печки — клещами у него не вытащить ни слова о Петрограде,— сейчас, растроганный и сытый, он доверчиво начал рассказывать о своем путешествии. Ардашев сейчас же принялся катать хлебные шарики на скатерти, кивал и поддакивал. Но глаз не поднимал на Бистрема.

— Понимаете, Ардашев, я понял там одно, главное, основное,— что физические лишения отходят на второй план... Куда там — на десятый... Голод и холод, отсутствие чистой одежды и даже мыла — совершенно по-другому переносятся человеком в том случае, если душа его окрылена великими идеями... Борьбой за эти идеи... Да, да,— ими, только ими руководствуется наша жизнь, и тогда она — полна, целесообразна, прекрасна... Здесь мало знают и мало понимают, что означает для человека моральная высота.

— И вы там ее увидели и узнали? — тихо спросил Ардашев.

— Да... Вы бы... я не говорю лично о вас, но человек из этого вашего мира отпрянул бы в ужасе при виде *внешности* революции. Внешность ее не привлекательна... Промокшие валенки, обвязанные бечевками, да худое пальтишко, да перетянутый ремнем голодный

живот... Но — глаза человеческие! (Глаза Бистрема вдруг увлажнились, он прищурился, скрывая это...) Когда перешагнешь на ту сторону, когда тебя примут в то высокое дело, как товарища,— тогда узнаешь, что такое человек... О, это замечательное животное... Это высокое существо... Человек дерется и умирает за счастье других!..И в этой борьбе требует для себя только двести граммов хлеба... И должен вам сказать, Ардашев, я очень полюбил русских... Это люди, способные на грандиозные дела, и очень выносливые люди...

— Так, так, так,— Ардашев неожиданно засопел, рассматривая хлебный шарик.— Ужасно хочется вам верить, Бистрем... Вам нужно об этом писать...

— Николай Петрович, я именно по поводу этого и хочу говорить с вами...

— Отлично, отлично... Поедемте-ка завтра к одному человеку: профессору славянских языков в здешнем университете.... Переводчик Пушкина... Он вас особенно поймет, мне кажется... Завтра приходите ко мне вот так же завтракать и отправимся...

Бистрем за этим разговором совсем забыл сказать о визите неприятного господина, назвавшего себя Извольским. Попросив Ардашева предупредить по телефону мать, Бистрем надел новое пальто, шляпу, неожиданно горячо потряс руки Ардашева и пошел домой, уверенный, что не обратит на себя ничьего внимания.

61

На следующий день он пришел к Ардашеву в назначенный час. Приветливая пожилая женщина, отворившая дверь, сказала, что Николай Петрович вышел куда-то, но с минуты на минуту должен вернуться. Завтрак уже готов.

Бистрем сел, как и вчера в кабинете, у печки. В комнате — навощенный паркет, в шкафах — корешки книг с красными, синими, зелеными наклейками. На стенах — дорогие эстампы. За чисто протертым окном — туман. Пробило час. Приветливая женщина, приоткрыв дверь, взглянула на стенные часы:

— О, бог мой, две минуты второго! Что-нибудь экстренное задержало господина Ардашева, он очень пунктуален.

У Бистрема было достаточно тем для размышления,— он спокойно сидел, когда часы пробили половину второго и два. Каждый раз экономка, складывая молитвенно ладони, принималась извиняться. Больше всего ее удивляло, что Ардашев не звонит по телефону. Когда пробило три, Бистрему тоже все это начало казаться странным. Он протелефонировал домой и у матери спросил, нет ли для него письма или телефонограммы? Оказалось, был посыльный, оставил письмо от Ардашева, но оно — по-русски, и мать не может прочесть. Помимо письма, позже, от него же были две телефонограммы...

Неужели Николай Петрович забыл о завтраке? Экономка с негодованием затрясла головой: «Господин Ардашев еще сегодня утром напомнил о завтраке на две персоны и приказал купить шампанское...» — «Странно!» Бистрем зашагал домой. Письмо оказалось действительно от Ардашева:

«Уважаемый Бистрем, немедленно приезжайте в ресторан «Сорока». Это немного далеко от центра, но кормят великолепно. Поезжайте на трамвае № 11. Я один, скучаю, поболтаем. Жду. Ваш Николай Ардашев». Обе телефонограммы были о том же, просьба приехать в ресторан «Сорока»...

Бистрем сел к столу, положил перед собой письмо, перечел. Снял очки, близоруко перечел еще раз... До отвращения было непонятно!.. Вскочил, отыскал в телефонной книжке ресторан «Сорока». Позвонил туда и какому-то пивному голосу подробно описал наружность Ардашева. Пивной голос ответил, что «очень извиняется, но такого господина у них, к сожалению, сегодня не было»...

Бистрем позвонил к Ардашеву. Взволнованная экономка ответила:

— Нет, нет, все еще не вернулся.

Что можно было подумать? Особенно странной казалась фраза в письме: «Я один, скучаю, поболтаем»... Как будто не было вчерашнего разговора... «Поболта-

ем»...— так нельзя написать после вчерашнего. И потом: «Уважаемый»!.. Непонятно...

Бистрем нашел в столе одну из коротеньких ардашевских записок, сличил: и там и там почерк — круглый, аккуратный, в письме даже более уверенный, чем в записке... Быть может,— мистификация, издевательство? Уязвленный, он опять позвонил. Экономка ответила как будто даже с негодованием: «Нет, нет его». Тогда Бистрем рассердился: «Хамство богатого бездельника!» Сел к столу, чтобы написать резкую «отповедь»... Но бросил перо: «Черт с ним, плевать, дело в конце концов важнее самолюбия».

Он решил этот вечер посвятить матери. В смягченных красках, чтобы мать не очень пугалась, он рассказал ей о путешествии в Петроград. Фру Бистрем мало смыслила в политике, из рассказов усвоила, что сын привез богатый материал для статей и может несколько поправить материальные дела. В восемь часов он повел мать в кинематограф. Вернулись домой в половине одиннадцатого. В прихожей, покосившись на телефон, Бистрем еще раз позвонил Ардашеву,— на этот раз к аппарату никто не подошел. Все-таки все это более чем непонятно. Затем они скромно ужинали в кухоньке. Бистрем закурил трубочку. Фру Бистрем, растроганная кинематографом, поцеловала сына в голову.

— Ты у меня скромный, честный мальчик, каждый вечер благодарю бога, что не пристрастился к вину, бог тебе поможет стать когда-нибудь на ноги.

— Не огорчайся, мать, я твердо стою на ногах.

Бистрем пошел в свою комнату, когда-то детскую, теперь — рабочий кабинет, уставленный книжными полками. Начал стелить постель на кожаном диване, слишком коротком для него, так что приходилось подставлять для ног кресло. Он уже снял подтяжки, когда заметил под письменным столом на коврике папку со своими рукописями,— он твердо помнил, что давеча положил ее в стол,— тесемки развязаны, и — на глаз — половины рукописей не хватало. Он торопливо выдвинул средний ящик стола, где лежали петроградские заметки и материалы: их не оказалось, все в ящике бы-

ло перевернуто. На столе под пресс-папье не было и ардашевского письма.

Бистрем поправил очки. Пошел было к двери, вернулся... К чему пугать мать?.. Ясно,— полицейский обыск, как раз когда они были в кино... Ну, конечно,— он вспомнил и фигуру в котелке с поднятым воротником, быстро перешедшую от их подъезда на другую сторону улицы... Но — ужас, ужас! — пропали все материалы для статей... Он всей кожей почувствовал неумолимую ненависть, окружившую его маленькую комнату с зеленой рабочей лампой. Сидя перед оскверненным столом, он сжал кулаки, сжал челюсти.

Повода для ареста в похищенных материалах они, пожалуй, не найдут, но высылка из Стокгольма обеспечена. Тем лучше... В Германию! Не дожидаясь, завтра взять у Ардашева нужные письма и — в Берлин. Взглянул на стенные часы — половина первого. На цыпочках прошел в прихожую и позвонил Ардашеву. Долго не отвечали. Затем слабый, удерживающийся от плача голос экономки:

— Ах, это вы, господин Бистрем... Пожалуйста, не могли бы вы сейчас прийти, мне очень страшно...

— В чем дело?

— Ах, я, право, очень боюсь по телефону...

Вытирая глаза белоснежным передником, экономка рассказала Бистрему следующее: ровно в десять часов позвонили по телефону. Незнакомый голос, назвав ее по имени,— фру Вендля,— сообщил, что Ардашев немного выпил и остается ночевать в гостинице Хасельбакен (в пригородном местечке Хасельбакен) и просит немедленно привезти ночную рубашку, туфли и зубную щетку. Фру Вендля сейчас же собрала вещи и поехала в трамвае в Хасельбакен...

— О господин Бистрем, господин Бистрем,— у нее плачем перекосилось все лицо,— господина Ардашева там не было. В гостинице Хасельбакен никогда не слыхали о господине Ардашеве.

— Так. Когда же вы вернулись домой?..

— Да, господин Бистрем, когда я вернулась домой,

мне сразу бросилось в глаза, что вот этот коврик у двери лежит криво. Я было подумала, что господин Ардашев вернулся, и позвала его... В кабинете обе шторы были спущены,— я их не опускала сегодня...

— Понятно. И ящик в письменном столе...

Оказалось, все ящики в столе и в бюро (где Ардашев хранил золото и драгоценности) были взломаны. На ковре фру Вендля нашла золотую монету и бриллиантовую запонку. Похищены также папка с цветными гравюрами и несколько книг из шкафа. Но в столовой и спальне все оказалось на месте, буфет, где хранилось столовое серебро, даже не вскрыт, не взята дорогая бобровая шуба из прихожей...

— Дело очень серьезное, очень серьезное, фру Вендля... Вспомните-ка, по какому делу мог пойти сегодня утром Николай Петрович?

Фру Вендля вдруг оживилась:

— Господин Ардашев пошел во дворец Густава. Там открыта школа для русских детей. О, я теперь вспомнила... Когда он разговаривал утром по телефону, он говорил по-русски... И потом он крикнул: «Фру Вендля, сегодня к завтраку две персоны»... Ах, моя голова, моя бедная голова!.. Две персоны к завтраку, кроме него, и две бутылки шампанского...

— Значит, ждали еще третьего?

— Так, господин Бистрем...

— Кого?

— Мне кажется, того господина, что заходил вчера... Я узнала его голос, когда он утром просил к телефону господина Ардашева.

— Небольшого роста, с темными усиками,— Извольский?

— Так, так... Третьего дня он еще был у господина Ардашева.

— О чем они тогда говорили?

— Господин Ардашев позвал меня в кабинет и сказал: «Фру Вендля, к господину Извольскому приехала из России девочка, племянница. Мы устраиваем ее в русскую школу, ее нужно приодеть хорошенько. Где можно купить недорогие первоклассные детские вещи?» Я сказала: «С большим удовольствием схожу с девоч-

кой в один магазин». Господин Извольский сказал мне: «К сожалению, девочка нездорова и живет далеко от города, в Баль Станэсе,— вещи придется купить заочно».

— По какой дороге Баль Станэс?

— По Северной. На автомобиле туда двадцать минут.

— Николай Петрович мог рассчитывать, выйдя в десять часов из дому, съездить в Баль Станэс и вернуться к завтраку?

— О, вполне.

— Фру Вендля,— сказал Бистрем, надевая пальто,— сейчас же звоните в полицию, заявите о грабеже. Когда они явятся, повторите им все, что вы мне говорили...

— Меня могут арестовать?

— Я думаю, они с этого и начнут. Но не бойтесь. Скажите им, что только что здесь был журналист Карл Бистрем и очень заинтересовался этим делом. Я оставлю вам мой телефон, будут какие-нибудь новости, непременно звоните.

Несомненно, была какая-то связь между обыском у него и грабежом у Ардашева. Таков был первоначальный вывод, когда Бистрем шагал в ночном тумане. Дойдя до своего дома, он остановился, всматриваясь: близ подъезда под фонарем стоял человек с поднятым воротником и тоже всматривался. Бистрем быстро снял очки, носовым платком прикрыл лицо и прошел мимо незнакомца — вниз по пустынной улице.

Туман клубился у фонарей. Подошвы скользили на ледяном асфальте. Незнакомец некоторое время шел за ним и отстал. Светящийся диск часов на башне висел, как чудовищная луна. Бистрем различал: четверть третьего. Где-то нужно переждать до утра... Он вспомнил о портовом кабачке, открытом всю ночь, и свернул к старому острову.

В кабачке «Ночная вахта» в передней комнате с цинковым прилавком он устроился за изрезанным ножами столом, спросил черного кофе. У другого конца

стола дремал, подперев щеку, человек в черном пальто, в плюшевой шляпе. В глубине — низкая арка и несколько каменных ступеней вели в помещение, куда полиция неохотно заглядывала. Там слышались матросские песни, щелканье костяшек, пьяный говор; порой он усиливался и свирепел, как ноябрьский шторм, тогда плечистый хозяин за цинковой стойкой поворачивал к арке тяжелое лицо, знакомое с приключениями на всех широтах. Туда, в глубину кабака, и оттуда, к стойке, циркулировали кучками и в одиночку: тяжелоногие матросы; элегантные воры; бледные, как полотно, курильщики опиума, рассеянные и неряшливые морфинисты; томные эротики, нюхающие эфир; опухшие алкоголики; жаждущие странных видений потребители гашиша с остановившимися зрачками. Близ наружной двери за столиком дремал полицейский,— он вступал в свои обязанности только лишь в случае, когда чья-нибудь отчаянная душа, не успев вкусить всех наслаждений, вылетала в маленькую дырку, проделанную ножом.

Бистрем размышлял. Самое благоразумное — завтра же с утренним поездом удрать в Берлин. Но благоразумие было у него наименее развитым рефлексом. Помимо всего, эта история зацепила его профессионально,— нюхом журналиста он чувствовал поживу. Если бы еще удалось создать политический процесс,— лучшего громкоговорителя на всю Европу и желать нечего.

Из глубины кабака к дремлющему человеку в черном пальто подошла женщина, и они заговорили шепотом. Она была пьяна и плаксива, у него — мутные глаза, измятое лицо. Он пытался что-то выпытать, она трясла красной шляпкой, двигая по столу пустым стаканом. Несколько фраз долетело до Бистрема; он насторожился,— они говорили по-русски:

— Брось глупости, что случилось?

Она топорщилась. Он настаивал. Засопев носиком, она сказала:

— Третьего привезли.

— Когда?

— Часов в одиннадцать, утром сегодня...

— Кого?

— Он так мне всегда нравился, так я мечтала с ним познакомиться... Тебе не все равно — кого?.. Поехала я в девять часов на дачу за моими платьями... Иду с вокзала... А они катят в автомобиле... Я — в лес,— назад на станцию... Если бы он меня увидел на дороге,— только бы мне до утра и жить...

— Кто, Хаджет Лаше?

У Бистрема точно заслонка соскочила с глаз — сразу вспомнил, как под Сестрорецком ночью во время опроса его особенно спрашивали о Хаджет Лаше.

— Тише ты! — Она схватила человека за руку, глядела на него мечущимися зрачками.— Дурак, дурак!.. (Качнулась и ему — в самое ухо.) В автомобиле были двое: этот,— симпатичный, и сволочь — Извольский... Там они с ним черт знает что делают...

Человек встряхнул ее:

— Лилька, слушай ты, еще раз повторяю,— скажи фамилию.

— Оставь! Ты просто дурак... Сказала, боюсь, значит — боюсь... Все равно я уже опиум теперь курю... Черт с вами, хоть все друг другу глотки перегрызите... Да черт со мной тоже. Вот что...

Она встала, пошатываясь. Он пытался удержать,— она изо всей силы вырывала руку. (Кабатчик за стойкой угрожающе кашлянул.) Она со страхом уставилась на него. И опять — собеседнику:

— Ну, хорошо, я скоро приду, подожди.

Она ушла за арку вниз, человек в плюшевой шляпе рассеянно мял незакуренную папироску. Бистрем до тех пор глядел на него, покуда тот не поднял глаз.

— Можно вам задать несколько вопросов? — Бистрем сейчас же подсел к нему.— Я журналист. Я невольно подслушал ваш разговор. Насколько я понял, эта девушка видела сегодня в одиннадцать утра где-то за городом в автомобиле моего друга Ардашева вместе с некиим Извольским. Ардашев до сих пор домой не возвращался. Между десятью и двенадцатью часами его квартира была ограблена. И я боюсь, что жизни его грозит опасность. Можете вы мне дать какие-нибудь объяснения по поводу всего этого?

Налымов поправил плюшевую шляпу. Потом повернулся к Бистрему всем телом. Лицо его с мягковатым носом и глубокими складками у рта, представлявшееся издали даже значительным, теперь, на близком расстоянии, оказалось просто жалкой дребеденью. И, видимо, у него самого не было желания скрывать этого обстоятельства. Он встал, запахнул пальто:

— Идемте...

Они пошли по пустынной набережной. Внизу медленно плескалась черная вода. Огни маяков боролись с туманом, бычьими голосами стонали ревуны на бакенах. Налымов сел на сверток канатов, засунул руки в рукава.

— Если у вас есть возможность пригрозить полиции скандалом в печати, вашего друга можно еще попытаться спасти. Не думаю, чтобы они прикончили его сегодня же ночью. Вам что-нибудь известно о «Лиге спасения Российской империи» и о Хаджет Лаше? Лига и Хаджет Лаше — шайка наемных убийц, но вести борьбу придется с теми, кто их нанял, а это довольно серьезно. Вы можете взять только большим европейским скандалом. Вы намерены влезать в драку?

— Да, теперь особенно намерен.

Налымов вздохнул будто с облегчением. Глубже засунул руки в рукава и начал рассказывать о Хаджет Лаше, о создании Лиги, об организации политических убийств. Случай с поддельным чеком Леви Левицкого он считал их самым уязвимым местом, в особенности теперь, когда высшая политика в Лондоне и Париже берет курс на демократию в надежде, что у вождей рабочей партии и социал-демократов найдутся более современные приемы свернуть шею большевикам...

Кашлянув от застрявшего в горле тумана, Бистрем спросил:

— Например, какие приемы?

— Хотя бы польская война... Тем не менее Лаше все же попытаются спасти, чтобы не выволакивать на улицу грязи. Но на широкий скандал не пойдут, выдадут его с головой.

Помолчав, Бистрем сказал сурово:

— Слушайте, вы представляете, какую сейчас огромную услугу вы оказываете большевикам?

— Пожалуйста,— Налымов пожал плечами.

— За эту услугу вы можете жестоко поплатиться, предупреждаю заранее.

Налымов не ответил. Мутное пятно его лица как будто затряслось от смеха.

— Я-то в этом деле хочу только спасти одного человека, такого же лишнего, как и я,— сказал он.— Но на свет вы меня не вытаскивайте, не из скромности говорю, из чисто санитарных соображений. Впрочем, с удовольствием, даже с острым удовольствием окажу эту услугу. Это было бы прекрасным завершением...

И он начал бормотать какие-то совсем уже малосодержательные фразы. Бистрем, присев на корточки перед свертком канатов, заговорил шепотом:

— Слушайте, план действий должен быть таков, по-моему...

Они вернулись в «Ночную вахту» и едва отогрелись водкой с черным кофе. Когда в предутренней мгле зазвонил первый трамвай, Бистрем и Налымов поехали в главное полицейское управление. Пришлось ждать. В половине восьмого они вошли в кабинет начальника полиции. Он сидел широкой спиной к газовому камину. Все вокруг него блестело лакированным деревом. Вошедшие сели напротив полнокровного лица начальника с лакированными глазами, лакированными усами. Он был изысканно вежлив. Бистрем сжато и энергично объяснил цель прихода: их друг, Ардашев, находится в руках шайки убийц. Дорога каждая минута: нужно немедленно послать отряд полиции на дачу в Баль Станэс.

Ничто не отразилось на лице начальника полиции, не дрогнул волосок гороховых бровей, не затуманились даже глаза, когда Бистрем упомянул о Хаджет Лаше, о Лиге, о загадочных убийствах Кальве и Леви Левицкого. Начальник полиции улыбался, взявшись за ручки лакированного кресла.

— Господа,— голос его был трубный и мощный,— господа, я охотно верю, что вы оба — в добром здоровье и твердом рассудке. Если вы пришли рассказывать мне сказки о каких-то таинственных лигах и загадочных убийствах, охотно позабавлюсь вместе с вами в неслужебное время...

Он слегка наклонил туловище. Бистрем взглянул на Налымова, тот пожал плечами. Бистрем нахмурился:

— Вам известно, что у меня был обыск и изъятие журнальных материалов?

— Вот как? Нет, не известно...

— Предположим... Но вам известно, что я вернулся из Советской России, куда ездил в качестве корреспондента от больших европейских газет. Я не сомневаюсь, что вы будете пытаться арестовать меня. (Лицо начальника сияло.) Поэтому — к сведению: мною уже начата газетная кампания, не здесь, конечно,— в Лондоне и Париже, в оппозиционной прессе. Материалы о Лиге и о Хаджет Лаше и все, что сопутствовало его деятельности в Стокгольме, мною переданы по назначению. Вы, конечно, осведомлены о перемене общеполитического курса в Европе. Мой арест и ваше неведение в делах Лиги и Хаджет Лаше послужат тем желанным политическим скандалом, который ищет сейчас оппозиционная пресса...

— Вы мне грозите? — с тихой медью в горле спросил начальник.

— Да, я вам угрожаю — и неприятностями, более серьезными, чем вы мне...

В первый раз начальник отвернул лицо и некоторое время смотрел в окошко. Затем с приветливой мягкостью:

— Простите, господа, я наведу справки.

Он поднялся, рослый, облитый мундиром. Вышел. Бистрем засмеялся, сняв и потирая очки. Начальник отсутствовал минут двадцать. Вернулся красным солнышком. Снова плотно сел.

— Я навел справки. Господа, предоставьте это дело мне. В нашей работе, когда в нее вмешиваются любители-детективы (наклон туловища в сторону Налымова) или пресса принимает слишком горячее участие,—

начинается невообразимая путаница: много бумаги, много шуму, мало толку. Шведская полиция, как и во всех цивилизованных странах, не интересуется политикой, мы — слепое орудие власти. Мы одинаково гостеприимны и к русским монархистам и к большевикам. Но сводить ваши внутренние счеты, господа, этого допустить на нашей территории не можем,— отправляйтесь за этим к себе домой... Лига занимается политикой,— говорите вы?.. Да хоть черной магией, это — ее дело. Но если какие-то члены Лиги преступили закон, будьте покойны — меч закона опустится на них... Господа, верьте в мою искренность, оставьте ваши телефоны, через два-три часа я сообщу вам исчерпывающие сведения о господине Ардашеве.

Начальника несло словоохотливостью. Честный Бистрем даже приоткрыл рот от изумления. Налымов сказал по-русски:

— Он маневрирует. Действуйте энергичнее.

Тогда Бистрем быстро на блокноте набросал десяток фраз, вырвал страницу и протянул ее начальнику. Это была телеграмма, она начиналась: «Париж. Юманите. Редакция. В Стокгольме мною раскрыта террористическая организация...» И так далее.

Прочтя, начальник осторожно почесал мизинцем сбоку носа:

— Что это такое?

— Начало борьбы,— блеснув очками, ответил Бистрем.— Через несколько минут телеграмма отправится в Париж.

— Я не могу понять, что, собственно, вы от меня хотите, господа?

— Немедленно отрядить с нами агентов для обыска на даче в Баль Станэсе.

Налымов — учтиво:

— Хорошо вооруженных, господин начальник.

— Знаете, господа,— воротник у начальника стал тесен,— все же это — беспримерно. Вы не доверяете мне. Вы пытаетесь руководить моими поступками. Вы грозите мне...

Бистрем перебил:

— Курьер советского посольства Кальве и журна-

лист Леви Левицкий под носом у стокгольмской полиции были подвергнуты пыткам и убиты. По этому делу у нас имеются документы и свидетели.

Начальник отвалился на спинку патентованного кресла. С лица его стал сходить лак. Пауза. Он вскочил, отшвырнул кресло и — бешено:

— Я покажу проклятым русским эмигрантам политику! (Позвонил.) Господа, собирайтесь. Я придам к вам шесть полицейских и детектива...

62

Под клубящимися осенними тучами дача в Баль Станэсе казалась покинутой,— ни дымка из труб на высокой кровле, окна закрыты ставнями, на дорожках — прелые листья, в клумбах — поломанные цветы. Один из полицейских, бросив нажимать звонковую кнопку, долго стучал в дверь крыльца.

Подслеповатое лицо детектива изображало крайнюю скуку: «Пустая затея, здесь уже неделю никто не живет...» Инструменты для взлома двери не были взяты, сержант предложил поехать на станцию и переговорить с начальником. Пришлось вмешаться Бистрему и Налымову. Они начали стучать руками и ногами, сержант по их просьбе выстрелил из револьвера.

В доме послышалось шлепанье туфель. Дверь раскрылась, высунулся Хаджет Лаше, небритый, опухший и заспанный, в туфлях на босу ногу, в накинутом на ночную рубашку пальто.

— В чем дело?

— А вот сейчас узнаете, в чем дело,— сердито проговорил сержант, оттесняя Лаше в переднюю. —Тут у вас, черт возьми, крепко спят.— Из-за борта мундира он вытащил предписание об обыске.— Ваше имя?

Лаше пошел за очками.

— Закрывайте двери, настудите дом! — крикнул он из столовой.

Вернулся, добродушно поправляя черепаховое пенсне на жирном носу:

— Покажите-ка этот курьез...— Прочел. Снял пенсне.— Пожалуйста, господа.— И тогда только царапнул зрачками по Налымову.— Сделайте ваше одолжение, здесь все нараспашку.

Полицейские разошлись по комнатам. Налымов сказал сержанту:

— В этом доме — больная женщина. Прошу у ее дверей поставить агента, иначе мы найдем ее мертвой.

Хотя трудно было предположить, что начальник полиции предупредил Хаджет Лаше об обыске, все же Лаше как будто приготовился. Он был спокоен. Надев черкеску и сапоги, он, с длинным мундштуком, улыбаясь, ходил за агентами, сам открывал шкафы, ящики, двери. Обыск в первом этаже и в его комнате не дал ничего. Бистрем хмурился. Налымов, безучастно сидя в столовой, ждал, когда дойдут до второго этажа.

На мгновенье в столовую заглянул Хаджет Лаше и — хриповатым голосом, по-русски:

— Напрасно затеяли. С тобой будет то же, что с Левантом.

— А что с Левантом? — с кривой усмешкой спросил Налымов.

— Найден с перерезанным горлом в Марселе.

— Что вы сделали с Верой Юрьевной?

— Наверху. Плоха.— Лаше убежал и — весело агентам: — Теперь — только кухня. Или кухня потом? Пойдемте наверх.

Налымов, в шляпе, надвинутой на глаза, с тросточкой за спиной, последним поднимался по лестнице. Он чувствовал, что боится встречи с Верой Юрьевной. Он необычайно легко приспосабливался к любой, самой невероятной обстановке, но с такой же легкостью и отряхивался. В этот раз отряхнуться не удалось: часть его самого оставалась в этом памятном доме.

Впереди по лестнице поднимался Лаше, бойко подшучивая над самим собой. Кое-кто из полицейских ухмылялся. Внезапно Бистрем — громко:

— Прошу обратить внимание, лестница — свежевымыта.

Все остановились. Подслеповатый детектив сердито взглянул на Бистрема и нагнулся, рассматривая растоптанный окурок. Лаше раскатисто засмеялся:

— Браво! Лестница действительно вымыта и не дальше как вчера. (Сержанту.) Не могу привыкнуть к вашему северному обычаю: снимать сапоги в прихожей и дома ходить в шерстяных носках... Натаскиваешь с улицы грязь.

Поднявшись наверх, Лаше объяснял:

— Здесь музыкальный салон. Как видите, пол также замыт... Здесь — две спальни для приезжающих. Здесь — комната больной... Начнем с салона?

Налымов остался у запертой комнаты Веры Юрьевны,— там не было слышно ни звука, ни дыхания. Лаше издалека мимоходом поглядывал насмешливо. Бистрем ходил за агентом, сурово сжав прямой рот. Наверху тоже не обнаружили существенного, только в музыкальном салоне — на обивке кресла — невыясненного происхождения темное пятно, сильно в одном месте поцарапанный пол и в камине, в золе, пряжку от ошейника... Все вернулись к двери Веры Юрьевны.

— О ла-ла! — Хаджет Лаше отыскивал ключ на связке.— Здесь самое тяжелое, господа... Я бы просил, если возможно, не входить всем,— дама душевно больна, положение очень, очень тяжелое.

Налымов спросил:

— Быть может, у нее та именно форма заболевания, когда больной отказывается от еды?..

— Да. Вы угадали, она наотрез отказывается от еды и питья. (Пониженным голосом.) Пожалуйста, господа...

Налымов — опять позади всех — тихо Бистрему:

— Берите агента и — на кухню... Обыщите кухню и чердак...

Вошли на цыпочках. Пустая комната, закрытые ставни, холодно, не проветрено. «Ай-ай-ай!» — пробормотал сержант. У стены на кровати — очертание тела, закрытого с головой грязной простыней.

— Припадки бешенства, мы все отсюда вынесли,— прошептал Лаше.

Налымов стащил перчатку и, продолжая держать левую руку с тростью за спиной, подошел к постели. Осторожно откинул простыню. Лаше: «Тише, тсс».

Вера Юрьевна лежала на правом боку. Голова ее была обрита, полуседые волосы отросли на сантиметр. Налымов положил ладонь на ее лоб и почувствовал, как медленно раскрылись и закрылись у нее ресницы. Он нагнулся:

— Вера, это — я.

Ресницы ее затрепетали. Лоб был холоден. Он осторожно провел по лицу, ощутил острый кончик носа, прижал ладонь к сухим, будто шерстяным губам. Они пошевелились, он почувствовал, как зубы ее чуть-чуть укусили ладонь. Он отдернул руку, повернулся к сержанту:

— Прикажите принести воды... Эту женщину убивают жаждой...

— Что ты сказал? — Жирная маска Лаше задвигалась, будто сдираясь с лица.— Кто ты здесь? Шантажист! Апаш!

Налымов, как во сне, переложил трость в правую руку и изо всей силы ударил Хаджет Лаше по лицу, по голове, по пальцам вздернувшейся его руки. Лаше гортанно крикнул и кинулся на Налымова. Оба покатились на пол. Сейчас же их растащили. Лаше весь содрогался в руках агентов... «Ананáсана, ананáсана»,— бормотал он шепотом. Налымов, подняв шляпу и трость, стоял некоторое время, низко опустив голову.

— Господин сержант, я дам все показания в протоколе,— наконец с трудом сказал он.— Прошу позвонить начальнику о разрешении остаться мне с этой женщиной,— безразлично, будет или не будет арестован Хаджет Лаше.

Он поставил трость к стене и стащил вторую перчатку.

Удары палкой по лицу сразу повернули дела Хаджет Лаше к худшему. Он потерял самообладание. Агенты во время возни вынули у него из кармана револьвер. Сейчас Лаше стоял у камина в музыкальном салоне и не отрываясь глядел на Налымова, сидевшего

боком к нему в кресле у стола, где сержант, надев очки и расставив локти, неторопливо писал протокол.

Лаше настолько был поглощен бешеными ощущениями, что не заметил даже отсутствия в комнате Бистрема и одного из агентов. Налымов всею щекой чувствовал его упорный взгляд и был настороже. Когда сержант спросил Налымова, что он знает об образе жизни Хаджет Лаше, и когда Василий Алексеевич заговорил, Лаше начало трясти. При словах: «Внизу, в столовой, они совещались и поджидали жертву, в этой же комнате они...» — Лаше живо нагнулся за каминными щипцами, но один из агентов успел схватить его за руку и с трудом отнял щипцы. Их положили на стол. Правда, Налымов треснул Лаше палкой, почему бы Лаше в свою очередь не треснуть его каминными щипцами? Это было, так сказать, частное дело русских. Неожиданно все осложнилось: подслеповатый детектив, заинтересовавшись щипцами, обнаружил в лупу на одной из их лапок прилипшие вместе с засохшей кровью человеческие волосы. Сержант сказал: «Ого!» — и поверх очков строго посмотрел на Лаше. Протокол отягчался. Лаше, наотрез все отрицавший, настоял, чтобы в протоколе пометили просто: «волосы», без упоминания «человеческие», так как эти волосы собачьи, что и должна показать экспертиза.

Затем в комнате появились Бистрем и агент, они несли кучу мешков, бечевок и две пятикилограммовые гири. Эти вещи были найдены на кухне, в потайном стенном шкафу, заклеенном — по-видимому, совсем недавно — снаружи обоями. Мешки были большие, из джута, девять штук. На трех — надписи масляной краской. На одном: «По постановлению Лиги спасения Российской империи — большевистский комиссар Красин». На другом: «По постановлению Лиги — большевистский комиссар Воровский». На третьем: «По постановлению Лиги — журналист Карл Бистрем, агент Чека». Эта последняя надпись была свежая — краска липла к пальцам.

На вопрос, что означают эти мешки и надписи на них,— Лаше сипло задышал. На повторный вопрос он,

клятвенно протянув руки, в повышенном тоне ответил, что его принуждают к бесчестью, он не в состоянии, даже спасая свою жизнь, разглашать тайн, в которые замешаны лица, играющие в настоящее время руководящие роли в европейской политике...

Все это было более чем странно. На вопрос Бистрема в лоб: где находится Ардашев или его тело, не в одном ли из таких мешков? — Лаше ответил с наглой усмешкой, что об этом с бо́льшим успехом можно спросить у постового полицейского, у содержателя любого из ночных притонов или, что еще вернее, в большевистском посольстве.

Закончив протокол, сержант, сопровождаемый Бистремом, пошел вниз переговорить по телефону с начальником полиции, как поступить с Лаше. Вернулся, строго нахмуренный:

— Господин Хаджет Лаше, на основании данных протокола господин начальник счел нужным арестовать вас и препроводить в тюрьму, без накладывания наручников.

— Могу я по крайней мере одеться? — вызывающе спросил Лаше. И, затрясшись всей маской, крикнул Налымову и Бистрему: — Через неделю выйду из тюрьмы, включите это в ваши расчеты!

Лаше увезли. Бистрем и Налымов остались на даче. В бывшей Лилькиной спальне затопили печь и перенесли туда Веру Юрьевну: от слабости она не могла даже говорить. После обсуждения решили вымыть ее в ванной и сегодня же перевезти в гостиницу. Бистрем позвонил об этом начальнику полиции, тот ответил: «Делайте на свою ответственность».

Бистрем отнес на руках завернутую в простыню, легонькую, как ребенок, Веру Юрьевну в ванную. Простыню и рубашку сочли за лучшее тут же сжечь. Желтое, с проступающими ребрами, длинное тело Веры Юрьевны все было в кровоподтеках. В горячей ванне она блаженно закрыла глаза. Ей вымыли стриженые волосы, и голова ее стала похожа на реденький бобровый мех. Уложили в чистую постель, дали чашку креп-

чайшего кофе. Она вытянулась, откинула голову, кажется — задремала. Бистрем и Налымов спустились в столовую.

Надо было признать, с обыском они просыпались. Кроме надписей на мешках и каминных щипцов, никаких безусловных улик не найдено. Преступление не установлено. Даже если Вера Юрьевна оправится и даст показания, Хаджет Лаше — при могущественной поддержке — вылезет сухим: вне всякого сомнения, он запасся врачебным свидетельством и показания Веры Юрьевны представит как бред сумасшедшей.

Бистрем формулировал:

— Если мы не найдем трупов Кальве, Левицкого и Ардашева, наше дело бито. Пока что мы только растревожили осиное гнездо.

Они еще раз обшарили весь дом, подвал, чердак. Бистрем некоторое время бродил вокруг дачи. Внезапно, топая, как лошадь, он взбежал по лестнице:

— Слушайте, мы — идиоты! Мешки и гири, вы поняли? Трупы — в озере... И, конечно, с надписями на мешках. Но это Лаше не спасет. И даже еще будет пикантнее связать этого бандита с английской и французской контрразведкой...

63

На следующее утро Бистрем, зайдя на квартиру Ардашева, сделал еще чрезвычайное открытие: в кабинете Ардашева наткнулся на книжку «Убийца на троне» с надписью от автора: «Август 1919 года, Хаджет Лаше» [1]. С первых же страниц Бистрем почувствовал, что напал на настоящий след. Книжка была тем хорошо известным в уголовной практике психическим явлением, когда преступник, даже рискуя головой, возвращается на место своего преступления. (Эта необходимость, по-видимому, происходит из тайного желания «растормозить рефлексы», болезненно возбужденные в напряженной суете преступления.)

---

[1] Книга издана в русском переводе самого Хаджет Лаше в Петрограде в 1917 году. Большая редкость.

В книжке Хаджет Лаше рассказывал в полубеллетристической форме о делах турецкой тайной полиции при Абдул-Гамиде: как намечалась жертва, как она заманивалась в дом на пустынной уличке и там угрозами и пытками жертву заставляли выдать чек, или денежное письмо, или ключ от сейфа. С удивительными подробностями и мелочами Лаше описывал пытки — человеку одевали тугой ошейник, резали лицо, вырывали волосы, выжигали глаза, всовывали иголки под ногти. Жертву засовывали в мешок и бросали в Босфор. На даче в Баль Станэсе было повторено то самое, что лет пятнадцать тому назад — им же, Хаджет Лаше,— проделывалось в Константинополе,— такова была полнейшая уверенность Бистрема.

Но для какого черта Лаше подарил, да еще с надписью, эту книжку одной из намеченных жертв? Здесь — расчет тончайший, но какой? В мозгу Бистрема не находилось объяснений. Но он понимал, что, если выступит на суде с этой книжкой как с одной из улик, прежде всего должен будет ответить именно на вопрос: для чего Лаше принес Ардашеву книжку?

Он ходил по кабинету, бормотал, выворачивая губы, корчил гримасы, какие, по его соображениям, должны быть у матерых убийц, силился влезть в эту черную психику. Ничего не получилось. И, когда только с досадой отмахнулся («Драматург какой-нибудь, романист, тот бы сразу с восторгом влез в шкуру Лаше»), чрезвычайно простое объяснение явилось само собой: да именно потому-то Лаше и подарил Ардашеву книжку, чтобы этого поступка и нельзя было объяснить в случае, если на Лаше падет подозрение...

— Ах, дьявол, ах, гениальнейшая голова! — бормотал Бистрем, в восторге потирая руки.

На предварительном следствии Хаджет Лаше заявил, что его арест не что иное, как происки большевиков. Исчезновение Кальве, Леви Левицкого и Ардашева устроено заграничными агентами Чека с целью создать политический процесс и дискредитировать Лигу, учрежденную для вербовки добровольцев для белых армий. Эти три лица похищены чекистами и переправлены в Россию, причем Левицкий и Ардашев расстреляны,

Кальве — на свободе, как бывший бунтовщик. Документальные сведения Лаше обещался к следующему дню доставить из архива Лиги.

По поводу надписей на мешках он дал такое объяснение: один из членов Лиги оказался провокатором, подкупил Бистрема и Налымова и перед обыском, в отсутствие Лаше, сделал надписи на мешках, о чем Лаше узнал только во время обыска и, вполне понятно, ужасно взволновался и даже не помнит, что говорил. Мешки были приобретены для хозяйственных надобностей. Каминными щипцами он действительно защищался от бешеной собаки, забежавшей на дачу.

Следствием чрезвычайно заинтересовался граф де Мерси,— приехав в камеру следователя, он долго и значительно разговаривал с ним, подтвердив, между прочим, предположение о провокационном увозе агентами Чека трех упомянутых лиц на территорию Советской России. Затем, как и обещал Лаше, русский офицер Биттенбиндер вручил следователю письмо генерала Сметанникова к генералу Гиссеру, где сообщались подробности о Кальве, Левицком и Ардашеве, привезенных на рыбачьем паруснике в Петроград. Следователю оставалось признать факт и выпустить Лаше на свободу. Но следователь колебался,— Бистрем передал ему книгу «Убийца на троне», указал на параллельные подробности и по поводу письма Сметанникова твердо заявил, что такого генерала не существует в списках бывшей царской армии,— письмо сфабриковано шайкой Лаше.

Бистрем добился также ордера на обыск в квартире Извольского. Но Извольский исчез из Стокгольма. Получался скандал. «Юманите» напечатала телеграмму Бистрема о процессе. Честь полиции была затронута. На четвертый день после исчезновения Извольский был арестован на яхте у Аландских островов и препровожден в Стокгольм.

Вначале он отрицал все, даже бегство: он страстно любит море, представился случай прокатиться и тому подобное...

Бистрем потребовал очной ставки Извольского с ардашевской экономкой — фру Вендля. Он сам привез ее

к следователю. Плача, она снова рассказала всю историю про вымышленную девочку, которой Ардашев хотел купить «недорогие первоклассные детские платьица». Экономка молитвенно складывала руки: «Он был так добр к детям, господин следователь!» У Извольского нервы, видимо, были не крепкие. В истории с вымышленной племянницей он сознался. Когда Бистрем в упор спросил его: «Теперь рассказывайте, что вы сделали с моим другом Ардашевым?» — Извольский потянулся к графину с водой и в отчаянии уронил руки.

— Я расскажу все... Господин следователь, я был втянут в преступную шайку. Я — морской офицер. Я мечтал о борьбе с теми, кто издевается над моей родиной, уничтожает все святыни... Меня погубила слабость, сознаюсь... Я должен был взять винтовку... Мое место там, где сражаются... Я искренне хотел... А впрочем... Меня шаг за шагом втянули в грязь!..— Он всхлипнул, но у него это не вышло. Уронил локти на стол: — Эх! — Решительно поднял голову и — Бистрему: — Ваш друг Ардашев замучен пытками. Он выдал чеки на пятьсот тысяч крон... Убит и брошен в озеро... Его крик и сейчас у меня в ушах... Я не спал пять суток... Едемте сейчас, я покажу место, куда его бросили...

64

На первой лодке крикнули: «Есть! Попало!» В ней стояли понятые, вытягивая длинный багор, другие заводили второй багор под то, что попало. Поспешно подошла лодка, где сидели следователь, врач, Бистрем и Извольский. Из глубины всплывало серое и бесформенное, облепленное водорослями. Мешок с телом трудно было поднять на борт, его прибуксировали к берегу, выволокли на смятую траву. Это была третья находка,— вчера и позавчера железными кошками извлекли из озера полуразложившиеся трупы Кальве и Леви Левицкого. Люди устали и продрогли, и сейчас, выбросив из лодок весла и багры, уселись на берегу, закурили.

Окончив внешний осмотр (на мешке та же надпись: «По постановлению Лиги» и так далее), следователь приказал развязать мешок, но это не удалось, и его осторожно разрезали. Обнажилось распухшее лицо, оскаленное, как у собаки, перееханной колесами. На щеках — порезы, на месте глаз — кровавые впадины, череп проломлен. Извольский сказал упавшим голосом: «Это Ардашев». Труп понесли на дачу. Извольский засуетился было, чтобы помочь тащить, но Бистрем крикнул ему:

— Что вы за жизнь-то цепляетесь?.. Хорошо завтракать любите... Вас тогда Николай Петрович с хорошим завтраком ждал, с шампанским. Сволочь!

Извольский — как будто передохнув астмическое удушье:

— Эта мелочь мучит меня невыносимо... В последнюю минуту, когда я вез его сюда, я понял, какой это был обаятельный человек...

65

Так начался большой процесс об убийствах в Баль Станэсе. Извольский выдал всех. Были арестованы и привлечены к делу Биттенбиндер, Эттингер, Гиссер с сыном и Вера Юрьевна. Стараниями графа де Мерси, американского атташе и внезапно появившегося в Стокгольме одного майора из английской разведки остальных членов Лиги привлекли только в качестве свидетелей. Мадам Мари арестовали в Варшаве во время циркового представления, когда она готовилась исполнить соло на метле. Долго не могли разыскать следов Лили, покуда в кабачке «Ночная вахта» один подгулявший матрос не объяснил, что девчонку нужно искать не ближе Порт-Саида, но на каком корабле она уплыла — сказать он не может...

Еще при следствии обнаружилась борьба за политическую окраску процесса. С одной стороны, Бистрем, выступавший как гражданский истец со стороны Веры Юрьевны (она лежала в тюремном госпитале), раздувал политическое пламя. С другой стороны, защита

группы Хаджет Лаше — два видных шведских адвоката и заинтересовавшийся «загадочным» делом, прибывший из Парижа, чтобы выступить бесплатно защитником Хаджет Лаше, знаменитейший адвокат Жюль Рошфор,— эти три блестящих ума сворачивали весь процесс в сторону чистого психологизма... Фрейд, Шпенглер — вот вехи, по которым можно было подобраться к «жуткой загадке Баль Станэса». Бистрем отчаянно боролся против психологизма, но не в силах был справиться с десятком понаехавших шикарных журналистов. Его выслушивали вежливо и, отойдя, смеялись:

— Сентиментальный немец вместе со вшами вывез из России Карла Маркса и хочет заставить нас считать его чудотворцем.

Бистрем мечтал о рупоре на всю Европу. Вместо этого не было газетной заметки, где бы его не высмеивали под тем или иным видом, изображали в карикатурах, перевирали его слова, приписывали ему идиотские поступки. Когда в первый день суда он появился в ложе журналистов, раздался смех в публике: Бистрема узнали по карикатурам.

В зале присутствовал весь дипломатический корпус. Первые ряды занимали нарядные женщины. Из видных русских присутствовал генерал Юденич, в штатском платье, усатый, важный, без видимых следов недавнего разгрома. Следователю он дал показание, что действительно некий Хаджет Лаше однажды явился к нему, но о чем он тогда говорил — генерал не припомнит. Больше ничего он не мог прибавить к своим показаниям.

Подсудимые вели себя, как все подсудимые,— заслонялись рукой от фотографов, с видом равнодушия поправляли галстуки, перелистывали обвинительный акт, не глядели в публику, с особенным вниманием слушали словоговорение. Один Лаше сидел, как на сцене перед рампой (в белой черкеске с малиновым вырезом рубахи), блестевшими глазами обводил зал и, когда замечал на женских лицах впечатление, честолюбиво усмехался.

С особенным интересом публика ждала показаний свидетеля Налымова. Но он будто выдохся, как резиновый шарик, проткнутый булавкой: отвечал на вопросы скучно, сухо, даже с некоторой осторожностью. О своих

отношениях к подсудимой Вере Юрьевне ограничился общими чертами:

— Мы оба принадлежали когда-то к высшему обществу, оба установили свою полную беспомощность в жизни, оба пошли на дно. Мы ничего не ждем и ни на что не надеемся. Это, если хотите,— известного рода эпикурейство,— нас связало и связывает... (Вера Юрьевна со скамьи подсудимых, похожая худым лицом и стриженой головой на поседевшего от ужаса подростка, подняла было руку, привстала, но он даже не обернулся к ней.) Если угодно суду знать, то я сообщаю, что в период следствия мы юридически узаконили наши брачные отношения...

Это его заявление вызвало ропот среди публики, некоторые зааплодировали. На вопрос судьи, что могло связывать Веру Юрьевну с Хаджет Лаше? — Налымов ответил тем же спокойно-скучным голосом:

— Преследование константинопольской полиции за уголовное преступление, совершенное фактически Хаджет Лаше, но приписанное им моей жене... («Лжет! — крикнул бешено Хаджет Лаше.— Мерзавец! Докажи!..» Судья остановил его.) Дело шло об убийстве в публичном доме, который содержал Хаджет Лаше... Дело в том, что в первый год эмиграции моя жена... (он опустил голову, как бы раздумывая, и снова — вялым голосом) моя жена была завербована в дом терпимости... Вот в сущности и все...

На третий день процесса выступил Бистрем. Как Робеспьер, сжимая в руке скрученную рукопись, он начал:

— Господа судьи, я выступаю как гражданский истец подсудимой Чувашевой... Ее обвиняют в укрывательстве преступления, в том, что она не донесла полиции... Почему она молчала? Кто такая подсудимая Чувашева? Это — лист, оторванный бурей от дерева и растоптанный подошвами, это — эмигрантка, господа судьи... (Сердитый ропот среди части публики.) Ее привязывало к жизни только одно — женское чувство, столь же болезненное, исступленное и безнадежное, как вся ее эмигрантская судьба. Ради этого чувства она, обезумевшая от ужаса, запертая в пустой комнате, без еды и питья,— молчала, потому что Хаджет Лаше ска-

зал ей: если донесешь полиции, с Налымовым будет то же, что с Кальве, Леви Левицким, Ардашевым, или с греком в публичном доме, или с недавним компаньоном Хаджет Лаше, одним из агентов Детердинга, грязным спекулянтом Левантом, зарезанным по приказанию Хаджет Лаше. Но, господа судьи, нас здесь гораздо больше интересует не причина молчания подсудимой, а причина появления на политической арене таких персонажей, как Хаджет Лаше, и его бандитской шайки, именуемой Лигой, аккредитованной такими высокими политическими лицами. Причин для появления Хаджет Лаше много. Я укажу только на главную,— причину всех причин,— это страх перед пролетарской революцией. (Резкий свист в зале.) Здесь уже действуют единодушно,— и я бы сказал — опрометчиво,— все могущественные силы, которые посылают Деникина на Москву, Юденича на Петроград и всовывают каминные щипцы в руку Хаджет Лаше, чтобы он опустил их на головы тех лиц, чьи фамилии обнаружены следствием на неиспользованных мешках в Баль Станэсе. Хаджет Лаше — наемный убийца, но он достоин своих хозяев. Идеология у них одна и та же. Разница лишь в масштабах. Хаджет Лаше при помощи раскаленных щипцов пытает свои жертвы, вымогая у них чеки в тридцать тысяч крон. Его хозяева при помощи Версальского мира обрекают на муки голода, физического истощения и отчаяния сотни миллионов тружеников и готовят для еще более страшных пыток уже не каминные щипцы, готовят новую мировую войну, чтобы раз и навсегда утопить в крови самую надежду на освобождение у трудящихся, чтобы оставить лишь самое необходимое число обезличенных рабов, прикованных к стальным жерновам капитализма. Война за рынки, за нефть, уголь, руду! О, в этой части хозяева договорятся о разделе между собой. Но глубочайшая сущность Версальского мира направлена всем жалом на истребление революции...

Председательствующий, под возмущенные возгласы публики, остановил Бистрема, предложив ему говорить по существу. Бистрем вытер платком лоб и продолжал о Вере Юрьевне. Конец его речи был скомкан, он не

сказал и половины того, что хотел. Его проводили молчанием, насмешливыми, злыми взглядами. При выходе из зала суда к нему подошли двое — рослые, широкоплечие, тяжелоногие, в синих тяжелых пиджаках. Морщась улыбками, они сказали ему:

— Хорошо было сказано, дружок.

— Не горюй, что тебя не слишком ласково приняли, кому нужно — тот понял...

И эта мимолетная встреча вознаградила взъерошенного Бистрема за неудачу.

Приговор суда был таков: Хаджет Лаше — к десяти годам тюрьмы, остальных — от восьми до трех лет. Мари была признана невиновной. Вере Юрьевне дали полтора года тюремного заключения.

Налымов остался в Стокгольме. Раз в неделю он посещал в тюрьме Веру Юрьевну. Из гостиницы переехал в недорогой пансион. Стал весьма сдержан в денежных тратах, даже скуповат. Через день ходил в кинематограф. Умеренно пил. Пристрастился обкуривать пенковые мундштуки, словом, жил тихо,— черт его знает,— иногда сам себя спрашивал,— зачем он живет на свете?..

Бистрем... Если житейские события некоторых из персонажей хотя бы отчасти пришли к какому-то завершению,— жизнь Бистрема только-только начала организовываться... Он написал несколько статей и уехал в Германию, сжимаемую смертельными объятиями Версальского мира. Там след его на некоторое время затерялся.

В Советской России революция продолжала победоносно разворачиваться, опрокидывая все планы версальских мудрецов и надежды эмигрантских комитетов. В Лондоне и Париже с золотых перьев слетали новые ядовитые капли, вызывая новые волны исторических событий. Так, на гребне одной из волн поднялся было над рубежом Советской России всадник в польской конфедератке и занес уже саблю для удара, но ответная волна гневно опрокинула это жалкое подобие воина.

ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ГАРИНА

Роман

Этот роман написан в 1926—1927 годах.
Переработан, со включением новых глав,
в 1937 году.

А. Т.

1

В этом сезоне деловой мир Парижа собирался к завтраку в гостиницу «Мажестик». Там можно было встретить образцы всех наций, кроме французской. Там между блюдами велись деловые разговоры и заключались сделки под звуки оркестра, хлопанье пробок и женское щебетанье.

В великолепном холле гостиницы, устланном драгоценными коврами, близ стеклянных крутящихся дверей, важно прохаживался высокий человек, с седой головой и энергичным бритым лицом, напоминающим героическое прошлое Франции. Он был одет в черный широкий фрак, шелковые чулки и лакированные туфли с пряжками. На груди его лежала серебряная цепь. Это был верховный швейцар, духовный заместитель акционерного общества, эксплуатирующего гостиницу «Мажестик».

Заложив за спину подагрические руки, он останавливался перед стеклянной стеной, где среди цветущих в зеленых кадках деревьев и пальмовых листьев обедали посетители. Он походил в эту минуту на профессора, изучающего жизнь растений и насекомых за стенкой аквариума.

Женщины были хороши, что и говорить. Молоденькие прельщали молодостью, блеском глаз: синих — англосаксонских, темных, как ночь,— южноамериканских, лиловых — французских. Пожилые женщины приправляли, как острым соусом, блекнущую красоту необычайностью туалетов.

Да, что касается женщин,— все обстояло благополучно. Но верховный швейцар не мог того же сказать о мужчинах, сидевших в ресторане.

Откуда, из каких чертополохов после войны вылезли эти жирненькие молодчики, коротенькие ростом, с волосатыми пальцами в перстнях, с воспаленными щеками, трудно поддающимися бритве?

Они суетливо глотали всевозможные напитки с утра до утра. Волосатые пальцы их плели из воздуха деньги, деньги, деньги... Они ползли из Америки по преимуществу, из проклятой страны, где шагают по колена в золоте, где собираются по дешевке скупить весь добрый старый мир.

2

К подъезду гостиницы бесшумно подкатил рольс-ройс — длинная машина с кузовом из красного дерева. Швейцар, бренча цепью, поспешил к крутящимся дверям.

Первым вошел желтовато-бледный человек небольшого роста, с черной коротко подстриженной бородой, с раздутыми ноздрями мясистого носа. Он был в мешковатом длинном пальто и в котелке, надвинутом на брови.

Он остановился, брюзгливо поджидая спутницу, которая говорила с молодым человеком, выскочившим навстречу автомобилю из-за колонны подъезда. Кивнув ему головой, она прошла сквозь крутящиеся двери. Это была знаменитая Зоя Монроз, одна из самых шикарных женщин Парижа. Она была в белом суконном костюме, обшитом на рукавах, от кисти до локтя, длинным мехом черной обезьяны. Ее фетровая маленькая шапочка была создана великим Колло. Ее движения были уверенны и небрежны. Она была красива, тонкая, высокая, с длинной шеей, с немного большим ртом, с немного приподнятым носом. Синевато-серые глаза ее казались холодными и страстными.

— Мы будем обедать, Роллинг? — спросила она человека в котелке.

— Нет. Я буду с ним говорить до обеда.

Зоя Монроз усмехнулась, как бы снисходительно извиняя резкий тон ответа. В это время в дверь проскочил молодой человек, говоривший с Зоей Монроз у автомобиля. Он был в распахнутом стареньком пальто, с тростью и мягкой шляпой в руке. Возбужденное лицо его было покрыто веснушками. Редкие жесткие усики точно приклеены. Он намеревался, видимо, поздороваться за руку, но Роллинг, не вынимая рук из карманов пальто, сказал еще резче:

— Вы опоздали на четверть часа, Семенов.

— Меня задержали... По нашему же делу... Ужасно извиняюсь... Все устроено... Они согласны... Завтра могут выехать в Варшаву...

— Если вы будете орать на всю гостиницу, вас выведут,— сказал Роллинг, уставившись на него мутноватыми глазами, не обещающими ничего доброго.

— Простите — я шепотом... В Варшаве все уже подготовлено: паспорта, одежда, оружие и прочее. В первых числах апреля они перейдут границу...

— Сейчас я и мадемуазель Монроз будем обедать,— сказал Роллинг,— вы поедете к этим господам и передадите им, что я желаю их видеть сегодня в начале пятого. Предупредите, что, если они вздумают водить меня за нос,— я выдам их полиции...

Этот разговор происходил в начале мая 192... года.

3

В Ленинграде на рассвете, близ бонов гребной школы, на реке Крестовке остановилась двухвесельная лодка.

Из нее вышли двое, и у самой воды произошел у них короткий разговор,— говорил только один — резко и повелительно, другой глядел на полноводную, тихую, темную реку. За чащами Крестовского острова, в ночной синеве, разливалась весенняя заря.

Затем эти двое наклонились над лодкой, огонек спички осветил их лица. Они вынули со дна лодки свертки, и тот, кто молчал, взял их и скрылся в лесу, а тот, кто говорил, прыгнул в лодку, оттолкнулся от бе-

рега и торопливо заскрипел уключинами. Очертание гребущего человека прошло через заревую полосу воды и растворилось в тени противоположного берега. Небольшая волна плеснула на боны.

Спартаковец Тарашкин, «загребной» на гоночной распашной гичке, дежурил в эту ночь в клубе. По молодости лет и весеннему времени, вместо того чтобы безрассудно тратить на спанье быстролетные часы жизни, Тарашкин сидел над сонной водой на бонах, обхватив коленки.

В ночной тишине было о чем подумать. Два лета подряд проклятые москвичи, не понимающие даже запаха настоящей воды, били гребную школу на одиночках, на четверках и на восьмерках. Это было обидно.

Но спортсмен знает, что поражение ведет к победе. Это одно, да еще, пожалуй, прелесть весеннего рассвета, пахнущего острой травкой и мокрым деревом, поддерживали в Тарашкине присутствие духа, необходимое для тренировки перед большими июньскими гонками.

Сидя на бонах, Тарашкин видел, как пришвартовалась и затем ушла двухвесельная лодка. Тарашкин относился спокойно к жизненным явлениям. Но здесь показалось ему странным одно обстоятельство: двое высадившиеся на берегу были похожи друг на друга, как два весла. Одного роста, одеты в одинаковые широкие пальто, у обоих мягкие шляпы, надвинутые на лоб, и одинаковая остренькая бородка.

Но в конце концов в республике не запрещается шататься по ночам, по суху и по воде, со своим двойником. Тарашкин, наверно, тут же бы и забыл о личностях с острыми бородками, если бы не странное событие, происшедшее в то же утро поблизости гребной школы в березовом леску в полуразвалившейся дачке с заколоченными окнами.

4

Когда из розовой зари над зарослями островов поднялось солнце, Тарашкин хрустнул мускулами и пошел во двор клуба собирать щепки. Время было шестой час

в начале. Стукнула калитка, и по влажной дорожке, ведя велосипед, подошел Василий Витальевич Шельга.

Шельга был хорошо тренированный спортсмен, мускулистый и легкий, среднего роста, с крепкой шеей, быстрый, спокойный и осторожный. Он служил в уголовном розыске и спортом занимался для общей тренировки.

— Ну, как дела, товарищ Тарашкин? Все в порядке? — спросил он, ставя велосипед у крыльца.— Приехал повозиться немного... Смотри — мусор, ай, ай.

Он снял гимнастерку, закатал рукава на худых мускулистых руках и принялся за уборку клубного двора, еще заваленного материалами, оставшимися от ремонта бонов.

— Сегодня придут ребята с завода,— за одну ночь наведем порядок,— сказал Тарашкин.— Так как же, Василий Витальевич, записываетесь в команду на шестерку?

— Не знаю, как и быть,— сказал Шельга, откатывая смоляной бочонок,— москвичей, с одной стороны, бить нужно, с другой — боюсь, не смогу быть аккуратным... Смешное дело одно у нас навертывается.

— Опять насчет бандитов что-нибудь?

— Нет, поднимай выше — уголовщина в международном масштабе.

— Жаль,— сказал Тарашкин,— а то бы погребли.

Выйдя на боны и глядя, как по всей реке играют солнечные зайчики, Шельга стукнул черенком метлы и вполголоса позвал Тарашкина:

— Вы хорошо знаете, кто тут живет поблизости на дачах?

— Живут кое-где зимогоры.

— А никто не переезжал в одну из этих дач в середине марта?

Тарашкин покосился на солнечную реку, почесал ногтями ноги другую ногу.

— Вон в том лесишке заколоченная дача,— сказал он,— недели четыре назад, это я помню, гляжу — из трубы дым. Мы так и подумали — не то там беспризорные, не то бандиты.

— Видели кого-нибудь с той дачи?

— Постойте, Василий Витальевич. Их-то я, должно быть, и видел сегодня.

И Тарашкин рассказал о двух людях, причаливших на рассвете к болотистому берегу.

Шельга поддакивал: «так, так», острые глаза его стали, как щелки.

— Пойдем, покажи дачу,— сказал он и тронул висевшую сзади на ремне кобуру револьвера.

5

Дача в чахлом березовом леску казалась необитаемой,— крыльцо сгнило, окна заколочены досками поверх ставен. В мезонине выбиты стекла, углы дома под остатками водосточных труб поросли мохом, под подоконниками росла лебеда.

— Вы правы — там живут,— сказал Шельга, осмотрев дачу из-за деревьев, потом осторожно обошел ее кругом.— Сегодня здесь были... Но за каким дьяволом им понадобилось лазить в окошко? Тарашкин, идите-ка сюда, здесь что-то неладно.

Они быстро подошли к крыльцу. На нем были видны следы ног. Налево от крыльца на окне висела боком ставня — свежесорванная. Окно раскрыто внутрь. Под окном, на влажном песке — опять отпечатки ног. Следы большие, видимо тяжелого человека, и другие — поменьше, узкие — носками внутрь.

— На крыльце следы другой обуви,— сказал Шельга.

Он заглянул в окно, тихо свистнул, позвал: «Эй, дядя, у вас окошко отворено, кабы чего не унесли». Никто не ответил. Из полутемной комнаты тянуло сладковатым неприятным запахом.

Шельга позвал громче, поднялся на подоконник, вынул револьвер и мягко спрыгнул в комнату. Полез за ним и Тарашкин.

Первая комната была пустая, под ногами валялись битые кирпичи, штукатурка, обрывки газет. Полуоткрытая дверь вела в кухню. Здесь на плите под ржавым колпаком, на столах и табуретах стояли примусы, фар-

форовые тигли, стеклянные, металлические реторты, банки и цинковые ящики. Один из примусов еще шипел, догорая.

Шельга опять позвал: «Эй, дядя!» Покачал головой и осторожно приотворил дверь в полутемную комнату, прорезанную плоскими, сквозь щели ставен, лучами солнца.

— Вон он! — сказал Шельга.

В глубине комнаты на железной кровати, навзничь, лежал одетый человек. Руки его были закинуты за голову и прикручены к прутьям кровати. Ноги обмотаны веревкой. Пиджак и рубашка на груди разорваны. Голова неестественно запрокинута, остро торчала бородка.

— Ага, вот они как его,— сказал Шельга, осматривая под соском убитого до рукоятки загнанный финский нож.— Пытали... Смотрите...

— Василий Витальевич, это тот самый, кто на лодке приплыл. Его не больше как часа полтора назад убили.

— Будьте здесь, караульте, ничего не трогать, никого не пускать,— слышите, Тарашкин?

Через несколько минут Шельга говорил по телефону из клуба:

— Наряд на вокзалы... Проверять всех пассажиров... Наряды по всем гостиницам. Проверить всех, кто возвратился между шестью и восемью утра. Агента и собаку в мое распоряжение.

6

До прибытия собаки-ищейки Шельга приступил к тщательному осмотру дачи, начиная с чердака.

Повсюду валялся мусор, битое стекло, обрывки обоев, ржавые банки от консервов. Окна затянуты паутиной, в углах — плесень, грибы. Дача, видимо, была заброшена еще с 1918 года. Обитаемыми оказались только кухня и комната с железной кроватью. Нигде ни признака удобств, никаких остатков еды, кроме найденной в кармане убитого французской булки и куска чайной колбасы.

Здесь не жили, сюда приезжали делать что-то, что нужно было скрывать. Таков был первый вывод, сде-

ланный Шельгой в результате обыска. Обследование кухни показало, что здесь работали над какими-то химическими препаратами. Исследуя кучки золы на плите под колпаком, где, очевидно, производились химические пробы, перелистав несколько брошюр с загнутыми уголками страниц, он установил второе: убитый человек занимался всего-навсего обыкновенной пиротехникой.

Такое умозаключение поставило Шельгу в тупик. Он еще раз обыскал платье убитого — нового ничего не обнаружил. Тогда он подошел к вопросу с другой стороны.

Следы ног у окна показывали, что убийц было двое, что они проникли через окно, неминуемо рискуя встретить сопротивление, так как человек на даче не мог не услышать треска срываемой ставни.

Это означало, что убийцам нужно было во что бы то ни стало либо получить что-то чрезвычайно важное, либо умертвить человека на даче.

Далее: если предположить, что они хотели просто умертвить его, то, во-первых, они могли это сделать проще, скажем, подкараулив его где-нибудь по пути на дачу, и, во-вторых, положение убитого на кровати показывало, что его пытали, зарезан он был не сразу. Убийцам нужно было узнать что-то от этого человека, чего он не хотел сказать.

Что они могли выпытывать у него? Деньги? Трудно предположить, чтобы человек, отправляясь ночью на заброшенную дачу заниматься пиротехникой, стал брать с собой большие деньги. Вернее — убийцы хотели узнать какую-то тайну, связанную с ночными занятиями убитого.

Таким образом, ход мыслей привел Шельгу к новому исследованию кухни. Он отодвинул от стены ящики и обнаружил квадратный люк в подвал, который часто устраивают на дачах прямо под полом кухни. Тарашкин зажег огарок и лег на живот, освещая сырое подполье, куда Шельга осторожно спустился по тронутой гнилью, скользкой лестнице.

— Идите-ка сюда со свечкой,— крикнул из темноты Шельга,— вот где у него была настоящая-то лаборатория.

Подвал занимал площадь под всей дачей: у кирпичных стен стояло несколько дощатых столов на козлах, баллоны с газом, небольшой мотор и динамо, стеклянные ванны, в которых обычно производят электролиз, слесарные инструменты и повсюду на столах — кучки пепла...

— Вот он чем тут занимался,— с некоторым недоумением сказал Шельга, рассматривая прислоненные к стене подвала толстые деревянные бруски и листы железа. И листы и бруски во многих местах были просверлены, иные разрезаны пополам, места разрезов и отверстий казались обожженными и оплавленными.

В дубовой доске, стоящей торчмя, отверстия эти были диаметром в десятую долю миллиметра, будто от укола иголкой. Посредине доски выведено большими буквами: «П. П. Гарин». Шельга перевернул доску, и на обратной стороне оказались те же навыворот буквы: каким-то непонятным способом трехдюймовая доска была прожжена этой надписью насквозь.

— Фу-ты, черт,— сказал Шельга,— нет, П. П. Гарин здесь не пиротехникой занимался.

— Василий Витальевич, а это что такое? — спросил Тарашкин, показывая пирамидку дюйма в полтора высоты, около дюйма в основании, спрессованную из какого-то серого вещества.

— Где вы нашли?

— Их там целый ящик.

Повертев, понюхав пирамидку, Шельга поставил ее на край стола, воткнул сбоку в нее зажженную спичку и отошел в дальний угол подвала. Спичка догорела, пирамидка вспыхнула ослепительным бело-голубоватым светом. Горела пять минут с секундами без копоти, почти без запаха.

— Рекомендую в следующий раз таких опытов не производить,— сказал Шельга,— пирамидка могла оказаться газовой свечкой. Тогда бы мы не ушли из подвала. Очень хорошо,— что же мы узнали? Попробуем установить: во-первых, убийство было не с целью мщения или грабежа. Во-вторых, установим фамилию убитого — П. П. Гарин. Вот пока и все. Вы хотите возразить, Тарашкин, что, может быть, П. П. Гарин тот, кто

уехал на лодке. Не думаю. Фамилию на доске написал сам Гарин. Это психологически ясно. Если бы я, скажем, изобрел какую-нибудь такую замечательную штуку, то уж наверно от восторга написал бы свою фамилию, но уж никак не вашу. Мы знаем, что убитый работал в лаборатории; значит, он и есть изобретатель, то есть — Гарин.

Шельга и Тарашкин вылезли из подвала и, закурив, сели на крылечке, на солнцепеке, поджидая агента с собакой.

7

На главном почтамте в одно из окошек приема заграничных телеграмм просунулась жирная красноватая рука и повисла с дрожащим телеграфным бланком.

Телеграфист несколько секунд глядел на эту руку и, наконец, понял: «Ага, пятого пальца нет — мизинца», и стал читать бланк.

«Варшава, Маршалковская, Семенову. Поручение выполнено наполовину, инженер отбыл, документы получить не удалось, жду распоряжений. Стась».

Телеграфист подчеркнул красным — Варшава. Поднялся и, заслонив собой окошечко, стал глядеть через решетку на подателя телеграммы. Это был массивный, средних лет человек, с нездоровой, желтовато-серой кожей надутого лица, с висячими, прикрывающими рот желтыми усами. Глаза спрятаны под щелками опухших век. На бритой голове коричневый бархатный картуз.

— В чем дело? — спросил он грубо.— Принимайте телеграмму.

— Телеграмма шифрованная,— сказал телеграфист.

— То есть как — шифрованная? Что вы мне ерунду порете! Это коммерческая телеграмма, вы обязаны принять. Я покажу удостоверение, я состою при польском консульстве, вы ответите за малейшую задержку.

Четырехпалый гражданин рассердился и тряс щеками, не говорил, а лаял,— но рука его на прилавке окошечка продолжала тревожно дрожать.

— Видите ли, гражданин,— говорил ему телеграфист,— хотя вы уверяете, будто ваша телеграмма коммерческая, а я уверяю, что — политическая, шифрованная.

Телеграфист усмехался. Желтый господин, сердясь, повышал голос, а между тем телеграмму его незаметно взяла барышня и отнесла к столу, где Василий Витальевич Шельга просматривал всю подачу телеграмм этого дня.

Взглянув на бланк: «Варшава, Маршалковская», он вышел за перегородку в зал, остановился позади сердитого отправителя и сделал знак телеграфисту. Тот, покрутив носом, прошелся насчет панской политики и сел писать квитанцию. Поляк тяжело сопел от злости, переминаясь, скрипел лакированными башмаками. Шельга внимательно глядел на его большие ноги. Отошел к выходным дверям, кивнул дежурному агенту на поляка:

— Проследить.

Вчерашние поиски с ищейкой привели от дачи в березовом леску к реке Крестовке, где и оборвались: здесь убийцы, очевидно, сели в лодку. Вчерашний день не принес новых данных. Преступники, по всей видимости, были хорошо скрыты в Ленинграде. Не дал ничего и просмотр телеграмм. Только эта последняя, пожалуй,— в Варшаву Семенову,— представляла некоторый интерес.

Телеграфист подал поляку квитанцию, тот полез в жилетный карман за мелочью. В это время к окошечку быстро подошел с бланком в руке красивый темноглазый человек с острой бородкой и, поджидая, когда место освободится, со спокойным недоброжелательством глядел на солидный живот сердитого поляка.

Затем Шельга увидел, как человек с острой бородкой вдруг весь подобрался: он заметил четырехпалую руку и сейчас же взглянул поляку в лицо.

Глаза их встретились. У поляка отвалилась челюсть. Опухшие веки широко раскрылись. В мутных глазах мелькнул ужас. Лицо его, как у чудовищного хамелеона, изменилось — стало свинцовым.

И только тогда Шельга понял,— узнал стоявшего перед поляком человека с бородкой: это был двойник убитого на даче в березовом леску на Крестовском...

Поляк хрипло вскрикнул и понесся с невероятной быстротой к выходу. Дежурный агент, которому было приказано лишь следить за ним издали, беспрепятственно пропустил его на улицу и проскользнул вслед.

Двойник убитого остался стоять у окошечка. Холодные, с темным ободком, глаза его не выражали ничего, кроме изумления. Он пожал плечом и, когда поляк скрылся, подал телеграфисту бланк:

«Париж, Бульвар Батиньоль, до востребования, номеру 555. Немедленно приступите к анализу, качество повысить на пятьдесят процентов, в середине мая жду первой посылки. П. П.».

— Телеграмма касается научных работ, ими сейчас занят мой товарищ, командированный в Париж Институтом неорганической химии,— сказал он телеграфисту. Затем не спеша потянул из кармана папиросную коробку, постукал папиросой и осторожно закурил её. Шельга учтиво сказал ему:

— Разрешите вас на два слова.

Человек с бородкой взглянул на него, опустил ресницы и ответил с крайней любезностью:

— Пожалуйста.

— Я агент уголовного розыска,— сказал Шельга, приоткрывая карточку,— может быть, поищем более удобное место для разговора.

— Вы хотите арестовать меня?

— Ни малейшего намерения. Я хочу вас предупредить, что поляк, который отсюда выбежал, намерен вас убить, так же как вчера на Крестовском он убил инженера Гарина.

Человек с бородкой на минуту задумался. Ни вежливость, ни спокойствие не покинули его.

— Пожалуйста,— сказал он,— идемте, у меня четверть часа свободного времени.

8

На улице близ почтамта к Шельге подбежал дежурный агент — весь красный, в пятнах:

— Товарищ Шельга, он ушел.

— Зачем же вы его упустили?

— Его автомобиль ждал, товарищ Шельга.

— Где ваш мотоциклет?

— Вон валяется,— сказал агент, показывая на мотоцикл в ста шагах от почтамтского подъезда,— он подскочил и ножом по шине. Я засвистал. Он — в машину и — ходу.

— Заметили номер автомобиля?

— Нет.

— Я подам на вас рапорт.

— Так как же, когда у него номер нарочно весь грязью залеплен?

— Хорошо, идите в угрозыск, через двадцать минут я буду.

Шельга догнал человека с бородкой. Некоторое время они шли молча. Свернули к бульвару Профсоюзов.

— Вы поразительно похожи на убитого,— сказал Шельга.

— Мне это неоднократно приходилось слышать, моя фамилия Пьянков-Питкевич,— с готовностью ответил человек с бородкой.— Во вчерашней вечерней я прочел об убийстве Гарина. Это ужасно. Я хорошо знал этого человека, дельный работник, прекрасный химик. Я часто бывал в его лаборатории на Крестовском. Он готовил крупное открытие по военной химии. Вы имеете понятие о так называемых дымовых свечах?

Шельга покосился на него, не ответил, спросил:

— Как вы думаете — убийство Гарина связано с интересами Польши?

— Не думаю. Причина убийства гораздо глубже. Сведения о работах Гарина попали в американскую печать. Польша могла быть только передаточной инстанцией.

На бульваре Шельга предложил присесть. Было безлюдно. Шельга вынул из портфеля вырезки из русских и иностранных газет, разложил на коленях.

— Вы говорите, что Гарин работал по химии, сведения о нем проникли в зарубежную печать. Здесь кое-что совпадает с вашими словами, кое-что мне не совсем ясно. Вот прочтите:

«...В Америке заинтересованы сообщением из Ленинграда о работах одного русского изобретателя. Предполагают, что его прибор обладает наиболее могучей, изо всех известных до сих пор, разрушительной силой».

Питкевич прочел и — улыбаясь:

— Странно,— не знаю... Не слышал про это. Нет, это не про Гарина.

Шельга протянул вторую вырезку:

«...В связи с предстоящими большими маневрами американского флота в тихоокеанских водах был сделан запрос в военном министерстве,— известно ли о приборах колоссальной разрушительной силы, строящихся в Советской России».

Питкевич пожал плечами: «Чепуха»,— и взял у Шельги третью вырезку:

«...Химический король, миллиардер Роллинг, отбыл в Европу. Его отъезд связан с организацией треста заводов, обрабатывающих продукты угольной смолы и поваренной соли. Роллинг дал в Париже интервью, выразив уверенность, что его чудовищный химический концерн внесет успокоение в страны Старого Света, потрясаемые революционными силами. В особенности агрессивно Роллинг говорил о Советской России, где, по слухам, ведутся загадочные работы над передачей на расстояние тепловой энергии».

Питкевич внимательно прочел. Задумался. Сказал, нахмурив брови:

— Да. Весьма возможно,— убийство Гарина связано как-то с этой заметкой.

— Вы спортсмен? — неожиданно спросил Шельга, взял руку Питкевича и повернул ее ладонью вверх.— Я страстно увлекаюсь спортом.

— Вы смотрите, нет ли у меня мозолей от весел, товарищ Шельга... Видите — два пузырька,— это указывает, что я плохо гребу и что я два дня тому назад действительно греб около полутора часов подряд, отвозя Гарина в лодке на Крестовский остров... Вас удовлетворяют эти сведения?

Шельга отпустил его руку и засмеялся:

— Вы молодчина, товарищ Питкевич, с вами любопытно было бы повозиться всерьез.

— От серьезной борьбы я никогда не отказываюсь.

— Скажите, Питкевич, вы знали раньше этого поляка с четырьмя пальцами?

— Вы хотите знать, почему я изумился, увидя у него четырехпалую руку? Вы очень наблюдательны, товарищ Шельга. Да, я изумился... больше — я испугался.

— Почему?

— Ну, вот этого я вам не скажу.

Шельга покусал кожицу на губе. Смотрел вдоль пустынного бульвара.

Питкевич продолжал:

— У него не только изуродована рука,— у него на теле чудовищный шрам наискосок через грудь. Изуродовал Гарин в тысяча девятьсот девятнадцатом году. Человека этого зовут Стась Тыклинский...

— Что же,— спросил Шельга,— покойный Гарин изуродовал его тем же способом, каким он разрезал трехдюймовые доски?

Питкевич быстро повернул голову к собеседнику, и они некоторое время глядели в глаза друг другу: один спокойно и непроницаемо, другой весело и открыто.

— Арестовать меня все-таки вы намереваетесь, товарищ Шельга?

— Нет... Это мы всегда успеем.

— Вы правы. Я знаю много. Но, разумеется, никакими принудительными мерами вы не выпытаете у меня того, чего я не хочу открывать. В преступлении я не замешан, вы сами знаете. Хотите — игру в открытую? Условия борьбы: после хорошего удара мы встречаемся и откровенно беседуем. Это будет похоже на шахматную партию. Запрещенные приемы — убивать друг друга до смерти. Кстати — покуда мы с вами беседуем, вы подвергались смертельной опасности, уверяю вас,— я не шучу. Если бы на вашем месте сидел Стась Тыклинский, то я бы, скажем, осмотрелся,— пустынно,— и пошел бы, не спеша, на Сенатскую площадь, а его бы нашли на этой скамейке безнадежно мертвым, с отвратительными пятнами на теле. Но, повторяю, к вам этих фокусов применять не стану. Хотите партию?

— Ладно. Согласен,— сказал Шельга, блестя глазами,— нападать буду я первым, так?

— Разумеется, если бы вы не поймали меня на почтамте, я бы сам, конечно, не предложил игры. А что касается четырехпалого поляка — обещаю помогать в его розыске. Где бы его ни встретил — я вам немедленно сообщу по телефону или телеграфно.

— Ладно. А теперь, Питкевич, покажите, что у вас за штука такая. чем вы грозитесь...

Питкевич качнул головой, усмехнулся: «Будь по-вашему — игра открытая», и осторожно вынул из бокового кармана плоскую коробку. В ней лежала металлическая, в палец толщины, трубка.

— Вот и все, только надавить с одного конца,— там внутри хрустнет стеклышко.

9

Подходя к уголовному розыску, Шельга сразу остановился,— будто налетел на телеграфный столб: «Хе! — выдохнул он,— хе! — и бешено топнул ногой: — Ах, ловкач, ах, артист!»

Шельга действительно был одурачен вчистую. Он стоял в двух шагах от убийцы (в этом теперь не было сомнения) и не взял его. Он говорил с человеком, знающим, видимо, все нити убийства, и тот умудрился ничего ему не сказать по существу. Этот Пьянков-Питкевич владел какой-то тайной... Шельга вдруг понял — именно государственного, мирового значения была эта тайна... Он уже за хвост держал Пьянкова-Питкевича,— «вывернулся, проклятый, обошел!»

Шельга взбежал на третий этаж к себе в отдел. На столе лежал пакет из газетной бумаги. В глубокой нише окна сидел смирный толстенький человек в смазных сапогах. Держа картуз у живота, он поклонился Шельге.

— Бабичев, управдом,— сказал он с сильно самогонным духом,— по Пушкарской улице двадцать четвертый номер дома, жилтоварищество.

— Это вы принесли пакет?

— Я принес. Из квартиры номер тринадцатый... Это не в главном корпусе, а в пристроечке. Жилец вторые сутки у нас пропал. Сегодня милицию позвали, дверь

вскрыли, составили акт в порядке закона,— управдом прикрыл рот рукой, щеки его покраснели, глаза слегка вылезли, увлажнились, дух самогона наполнил комнату,— значит, этот пакет я нашел дополнительно в печке.

— Фамилия пропавшего жильца?

— Савельев, Иван Алексеевич.

Шельга развернул пакет. Там оказались — фотографическая карточка Пьянкова-Питкевича, гребень, ножницы и склянка темной жидкости, краска для волос.

— Чем занимался Савельев?

— По ученой части. Когда у нас фановая труба лопнула — комитет к нему обратился... Он — «рад бы, говорит, вам помочь, но я химик».

— Он часто отлучался по ночам с квартиры?

— По ночам? Нет. Не замечалось,— управдом опять прикрыл рот,— чуть свет он — со двора, это верно. Но так, чтобы по ночам,— не замечалось, пьяным не видели.

— Ходили к нему знакомые?

— Не замечалось.

Шельга по телефону запросил отдел милиции Петроградской стороны. Оказалось,— в пристройке дома двадцать четыре по Пушкарской действительно проживал Савельев Иван Алексеевич, тридцати шести лет, инженер-химик. Поселился на Пушкарской в феврале с удостоверением личности, выданным тамбовской милицией.

Шельга послал телеграфный запрос в Тамбов и на автомобиле вместе с управдомом поехал на Фонтанку, где в отделе уголовного следствия, на леднике, лежал труп человека, убитого на Крестовском. Управдом сейчас же в нем признал жильца из тринадцатого номера.

10

В то же приблизительно время тот, кто называл себя Пьянковым-Питкевичем, подъехал на извозчике с поднятым верхом к одному из пустырей на Петроградской стороне, расплатился и пошел по тротуару вдоль пустыря. Он открыл калитку в дощатом заборе, миновал

двор и поднялся по узкой лестнице черного хода на пятый этаж. Двумя ключами открыл дверь, повесил в пустой прихожей на единственный гвоздь пальто и шляпу, вошел в комнату, где четыре окна до половины были замазаны мелом, сел на продранный диван и закрыл лицо руками.

Только здесь, в уединенной комнате (уставленной книжными полками и физическими приборами), он мог отдаться, наконец, ужасному волнению, почти отчаянию, потрясшему его со вчерашнего дня.

Его руки, сжимавшие лицо, дрожали. Он понимал, что смертельная опасность не миновала. Он был в окружении. Только какие-то небольшие возможности складывались в его пользу, из ста — девяносто девять было против. «Как неосторожно, ах, как неосторожно»,— шептал он.

Усилием воли он, наконец, овладел своим волнением, ткнул кулаком грязную подушку, лег навзничь и закрыл глаза.

Его мысли, перегруженные страшным напряжением, отдыхали. Несколько минут мертвой неподвижности освежили его. Он поднялся, налил в стакан мадеры и выпил одним глотком. Когда горячая волна пошла по телу, он стал шагать по комнате, с методичной неторопливостью, ища этих небольших возможностей к спасению.

Он осторожно отогнул у плинтуса старые отставшие обои, вытащил из-под них листы чертежей и свернул их трубкой. Снял с полок несколько книг и все это, вместе с чертежами и частями физических приборов, уложил в чемодан. Поминутно прислушиваясь, отнес чемодан вниз и в одном из темных дровяных подвалов спрятал его под кучей мусора. Снова поднялся к себе, вынул из письменного стола револьвер, осмотрел, сунул в задний карман.

Было без четверти пять. Он опять лег и курил одну папиросу за другой, бросая окурки в угол. «Разумеется, они не нашли!» — почти закричал он, сбрасывая ноги с дивана, и снова забегал по диагонали комнаты.

В сумерки он натянул грубые сапоги, надел парусиновое пальто и вышел из дому.

11

В полночь в шестнадцатом отделении милиции был вызван к телефону дежурный. Торопливый голос проговорил ему на ухо:

— На Крестовский, на дачу, где позавчера было убийство, послать немедленно наряд милиции...

Голос прервался. Дежурный сволочнулся в трубку. Вызвал проверочную, оказалось, что звонили из гребной школы. Позвонил в гребную школу. Там долго трещал телефон, наконец заспанный голос проговорил:

— Что нужно?

— От вас сейчас звонили?

— Звонили,— зевнув, ответил голос.

— Кто звонил?.. Вы видели?

— Нет, у нас электричество испорчено. Сказали, что по поручению товарища Шельги.

Через полчаса четверо милиционеров выскочили из грузовичка у заколоченной дачи на Крестовском. За березами тускло багровел остаток зари. В тишине слышались слабые стоны. Человек в тулупе лежал ничком близ черного крыльца. Его перевернули,— оказался сторож. Около него валялась вата, пропитанная хлороформом.

Дверь крыльца была раскрыта настежь. Замок сорван. Когда милиционеры проникли внутрь дачи, из подполья чей-то заглушенный голос закричал:

— Люк, отвалите люк в кухне, товарищи...

Столы, ящики, тяжелые мешки навалены были горой у стены на кухне. Их раскидали, подняли крышку люка.

Из подполья выскочил Шельга,— весь в паутине, в пыли, с дикими глазами.

— Скорее сюда! — крикнул он, исчезая за дверью.— Свет, скорее!

В комнате (с железной кроватью) в свете потайных фонарей увидали на полу два расстрелянных револьвера, коричневый бархатный картуз и отвратительные, с едким запахом, следы рвоты.

— Осторожнее! — крикнул Шельга.— Не дышите, уходите, это — смерть!

Отступая, тесня к дверям милиционеров, он с ужасом, с омерзением глядел на валяющуюся на полу металлическую трубку величиной с человеческий палец.

12

Как все крупного масштаба деловые люди, химический король Роллинг принимал по делам в особо для этого снятом помещении, офисе, где его секретарь фильтровал посетителей, устанавливая степень их важности, читал их мысли и с чудовищной вежливостью отвечал на все вопросы. Стенографистка превращала в кристаллы человеческих слов идеи Роллинга, которые (если взять их арифметическое среднее за год и умножить на денежный эквивалент) стоили приблизительно пятьдесят тысяч долларов за каждый протекающий в одну секунду отрезок идеи короля неорганической химии. Миндалевидные ногти четырех машинисток, не переставая, порхали по клавишам четырех ундервудов. Мальчик для поручений мгновенно вслед за вызовом вырастал перед глазами Роллинга, как сгустившаяся материя его воли.

Офис Роллинга на бульваре Мальзерб был мрачным и серьезным помещением. Темного штофа стены, темные бобрики на полу, темная кожаная мебель. На темных столах, покрытых стеклом, лежали сборники реклам, справочные книги в коричневой юфте, проспекты химических заводов. Несколько ржавых газовых снарядов и бомбомет, привезенные с полей войны, украшали камин.

За высокими, темного ореха, дверями, в кабинете среди диаграмм, картограмм и фотографий сидел химический король Роллинг. Профильтрованные посетители неслышно по бобрику входили в приемную, садились на кожаные стулья и с волнением глядели на ореховую дверь. Там, за дверью, самый воздух в кабинете короля был неимоверно драгоценен, так как его про-

низывали мысли, стоящие пятьдесят тысяч долларов в секунду.

Какое человеческое сердце осталось бы спокойным, когда среди почтенной тишины в приемной вдруг зашевелится бронзовая, в виде лапы, держащей шар, массивная ручка орехового дерева и появится маленький человек в темно-сером пиджачке, с известной всему миру бородкой, покрывающей щеки, мучительно неприветливый, почти сверхчеловек, с желтовато-нездоровым лицом, напоминающим известную всему миру марку изделий: желтый кружок с четырьмя черными полосками... Приоткрывая дверь, король вонзался глазами в посетителя и говорил с сильным американским акцентом — «прошу».

13

Секретарь (с чудовищной вежливостью) спросил, держа золотой карандашик двумя пальцами:

— Простите, ваша фамилия?

— Генерал Субботин, русский... эмигрант.

Отвечавший сердито вскинул плечи и скомканным платком провел по серым усам.

Секретарь, улыбаясь так, будто разговор касается приятнейших, дружеских вещей, пролетел карандашом по блокнотику и спросил совсем уже осторожно:

— Какая цель, мосье Субботин, вашей предполагаемой беседы с мистером Роллингом?

— Чрезвычайная, весьма существенная.

— Быть может, я попытаюсь изложить ее вкратце для представления мистеру Роллингу.

— Видите ли, цель, так сказать, проста, план... Обоюдная выгода...

— План, касающийся химической борьбы с большевиками, я так понимаю? — спросил секретарь.

— Совершенно верно... Я намерен предложить мистеру Роллингу.

— Я боюсь,— с очаровательной вежливостью перебил его секретарь, и приятное лицо его изобразило даже страдание,— боюсь, что мистер Роллинг немного

перегружен подобными планами. С прошлой недели к нам поступило от одних только русских сто двадцать четыре предложения о химической войне с большевиками. У нас в портфеле имеется прекрасная диспозиция воздушно-химического нападения одновременно на Харьков, Москву и Петроград. Автор диспозиции остроумно развертывает силы на плацдармах буферных государств,— очень, очень интересно. Автор дает даже точную смету: шесть тысяч восемьсот пятьдесят тонн горчичного газа для поголовного истребления жителей в этих столицах.

Генерал Субботин, побагровев от страшного прилива крови, перебил:

— В чем же дело, мистер, как вас! Мой план не хуже, но и этот — превосходный план. Надо действовать! От слов к делу... За чем же остановка?

— Дорогой генерал, остановка только за тем, что мистер Роллинг пока еще не видит эквивалента своим расходам.

— Какого такого эквивалента?

— Сбросить шесть тысяч восемьсот пятьдесят тонн горчичного газа с аэропланов не составит труда для мистера Роллинга, но на это потребуются некоторые расходы. Война стоит денег, не правда ли? В представляемых планах мистер Роллинг пока видит одни расходы. Но эквивалента, то есть дохода от диверсий против большевиков, к сожалению, не указывается.

— Ясно, как божий день... доходы... колоссальные доходы всякому, кто возвратит России законных правителей, законный, нормальный строй,— золотые горы такому человеку! — Генерал, как орел, из-под бровей уперся глазами в секретаря.— Ага! Значит, указать также эквивалент?

— Точно, вооружась цифрами: налево — пассив, направо — актив, затем — черту и разницу со знаком плюс, которая может заинтересовать мистера Роллинга.

— Ага! — Генерал засопел, надвинул пыльную шляпу и решительно зашагал к двери.

14

Не успел генерал выйти — в подъезде послышался протестующий голос мальчика для поручений, затем другой голос выразил желание, чтобы мальчишку взяли черти, и перед секретарем появился Семенов в расстегнутом пальто, в руке шляпа и трость, в углу рта изжеванная сигара.

— Доброе утро, дружище,— торопливо сказал он секретарю и бросил на стол шляпу и трость,— пропустите-ка меня к королю вне очереди.

Золотой карандашик секретаря повис в воздухе.

— Но мистер Роллинг сегодня особенно занят.

— Э, вздор, дружище... У меня в автомобиле дожидается человек, только что из Варшавы... Скажите Роллингу, что мы по делу Гарина.

У секретаря взлетели брови, и он исчез за ореховой дверью. Через минуту высунулся: «Мосье Семенов, вас просят»,— просвистал он нежным шепотом. И сам нажал дверную ручку в виде лапы, держащей шар.

Семенов встал перед глазами химического короля. Семенов не выразил при этом особого волнения, во-первых, потому, что по натуре был хам, во-вторых, потому, что в эту минуту король нуждался в нем больше, чем он в короле.

Роллинг просверлил его зелеными глазами. Семенов, и этим не смущаясь, сел напротив по другую сторону стола. Роллинг сказал:

— Ну?

— Дело сделано.

— Чертежи?

— Видите ли, мистер Роллинг, тут вышло некоторое недоразумение...

— Я спрашиваю, где чертежи? Я их не вижу,— свирепо сказал Роллинг и ладонью легко ударил по столу.

— Слушайте, Роллинг, мы условились, что я вам доставлю не только чертежи, но и самый прибор... Я сделал колоссально много... Нашел людей... Послал их в Петроград. Они проникли в лабораторию Гарина. Они

видели действие прибора... Но тут, черт его знает, что-то случилось... Во-первых, Гариных оказалось двое.

— Я это предполагал в самом начале,— брезгливо сказал Роллинг.

— Одного нам удалось убрать.

— Вы его убили?

— Если хотите — что-то в этом роде. Во всяком случае — он умер. Вас это не должно беспокоить: ликвидация произошла в Петрограде, сам он советский подданный,— пустяки... Но затем появился его двойник... Тогда мы сделали чудовищное усилие...

— Одним словом,— перебил Роллинг,— двойник или сам Гарин жив, и ни чертежей, ни приборов вы мне не доставили, несмотря на затраченные мною деньги.

— Хотите — я позову,— в автомобиле сидит Стась Тыклинский, участник всего этого дела,— он вам расскажет подробно.

— Не желаю видеть никакого Тыклинского, мне нужны чертежи и прибор... Удивляюсь вашей смелости — являться с пустыми руками...

Несмотря на холод этих слов, несмотря на то, что, окончив говорить, Роллинг убийственно посмотрел на Семенова, уверенный, что паршивый русский эмигрант испепелится и исчезнет без следа,— Семенов, не смущаясь, сунул в рот изжеванную сигару и проговорил бойко:

— Не хотите видеть Тыклинского, и не надо,— удовольствие маленькое. Но вот какая штука: мне нужны деньги, Роллинг,— тысяч двадцать франков. Чек дадите или наличными?

При всей огромной опытности и знании людей Роллинг первый раз в жизни видел такого нахала. У Роллинга выступило даже что-то вроде испарины на мясистом носу,— такое он сделал над собой усилие, чтобы не въехать чернильницей в веснушчатую рожу Семенова... (А сколько было потеряно драгоценнейших секунд во время этого дрянного разговора!) Овладев собою, он потянулся к звонку.

Семенов, следя за его рукой, сказал:

— Дело в том, дорогой мистер Роллинг, что инженер Гарин сейчас в Париже.

15

Роллинг вскочил,— ноздри распахнулись, между бровей вздулась жила. Он подбежал к двери и запер ее на ключ, затем близко подошел к Семенову, взялся за спинку кресла, другой рукой вцепился в край стола. Наклонился к его лицу:

— Вы лжете.

— Ну вот еще, стану я врать... Дело было так: Стась Тыклинский встретил этого двойника в Петрограде на почте, когда тот сдавал телеграмму, и заметил адрес: Париж, бульвар Батиньоль... Вчера Тыклинский приехал из Варшавы, и мы сейчас же побежали на бульвар Батиньоль и — нос к носу напоролись в кафе на Гарина или на его двойника, черт их разберет.

Роллинг ползал глазами по веснушчатому лицу Семенова. Затем выпрямился, из легких его вырвалось пережженное дыхание:

— Вы прекрасно понимаете, что мы не в Советской России, а в Париже,— если вы совершите преступление, спасать от гильотины я вас не буду. Но если вы попытаетесь меня обмануть, я вас растопчу.

Он вернулся на свое место, с отвращением раскрыл чековую книжку: «Двадцать тысяч не дам, с вас довольно и пяти...» Выписал чек, ногтем толкнул его по столу Семенову и потом — не больше, чем на секунду,— положил локти на стол и ладонями стиснул лицо.

16

Разумеется, не по воле случая красавица Зоя Монроз стала любовницей химического короля. Только дураки да те, кто не знает, что такое борьба и победа, видят повсюду случай. «Вот этот счастливый»,— говорят они с завистью и смотрят на удачника, как на чудо. Но сорвись он — тысячи дураков с упоением растопчут его, отвергнутого божественным случаем.

Нет, ни капли случайности,— только ум и воля привели Зою Монроз к постели Роллинга. Воля ее была закалена, как сталь, приключениями девятнадцатого

гсда. Ум ее был настолько едок, что она сознательно поддерживала среди окружающих веру в исключительное расположение к себе божественной фортуны, или Счастья...

В квартале, где она жила (левый берег Сены, улица Сены), в мелочных, колониальных, винных, угольных и гастрономических лавочках считали Зою Монроз чем-то вроде святой.

Ее дневной автомобиль — черный лимузин 24 HP, ее прогулочный автомобиль — полубожественный рольс-ройс 80 HP, ее вечерняя электрическая каретка,— внутри — стеганого шелка,— с вазочками для цветов и серебряными ручками,— и в особенности выигрыш в казино в Довиле полутора миллионов франков,— вызывали религиозное восхищение в квартале.

Половину выигрыша, осторожно, с огромным знанием дела, Зоя Монроз «вложила» в прессу.

С октября месяца (начало парижского сезона) пресса «подняла красавицу Монроз на перья». Сначала в мелкобуржуазной газете появился пасквиль о разоренных любовниках Зои Монроз. «Красавица слишком дорого нам стоит!» — восклицала газета. Затем влиятельный радикальный орган, ни к селу ни к городу, по поводу этого пасквиля загремел о мелких буржуа, посылающих в парламент лавочников и винных торговцев с кругозором не шире их квартала. «Пусть Зоя Монроз разорила дюжину иностранцев,— восклицала газета,— их деньги вращаются в Париже, они увеличивают энергию жизни. Для нас Зоя Монроз лишь символ здоровых жизненных отношений, символ вечного движения, где один падает, другой поднимается».

Портреты и биографии Зои Монроз сообщались во всех газетах:

«Ее покойный отец служил в императорской опере в С.-Петербурге. Восьми лет очаровательная малютка Зоя была отдана в балетную школу. Перед самой войной она ее окончила и дебютировала в балете с успехом, которого не запомнит Северная столица. Но вот — война, и Зоя Монроз с юным сердцем, переполненным милосердия, бросается на фронт, одетая в серое платьице с красным крестом на груди. Ее встречают в самых опас-

ных местах, спокойно наклоняющуюся над раненым солдатом среди урагана вражеских снарядов. Она ранена (что, однако, не нанесло ущерба ее телу юной грации), ее везут в Петербург, и там она знакомится с капитаном французской армии. Революция. Россия предает союзников. Душа Зои Монроз потрясена Брестским миром. Вместе со своим другом, французским капитаном, она бежит на юг и там верхом на коне, с винтовкой в руках, как разгневанная грация, борется с большевиками. Ее друг умирает от сыпного тифа. Французские моряки увозят ее на миноносце в Марсель. И вот она в Париже. Она бросается к ногам президента, прося дать ей возможность стать французской подданной. Она танцует в пользу несчастных жителей разрушенной Шампаньи. Она — на всех благотворительных вечерах. Она — как ослепительная звезда, упавшая на тротуары Парижа».

В общих чертах биография была правдива. В Париже Зоя быстро осмотрелась и пошла по линии: всегда вперед, всегда с боями, всегда к самому трудному и ценному. Она действительно разорила дюжину скоробогачей, тех самых коротеньких молодчиков с волосатыми пальцами в перстнях и с воспаленными щеками. Зоя была дорогая женщина, и они погибли.

Очень скоро она поняла, что скоробогатые молодчики не дадут ей большого шика в Париже. Тогда она взяла себе в любовники модного журналиста, изменила ему с парламентским деятелем от крупной промышленности и поняла, что самое шикарное в двадцатых годах двадцатого века — это химия.

Она завела секретаря, который ежедневно делал ей доклады об успехах химической промышленности и давал нужную информацию. Таким образом она узнала о предполагающейся поездке в Европу короля химии Роллинга.

Она сейчас же выехала в Нью-Йорк. Там, на месте, купила, с душой и телом, репортера большой газеты,— и в прессе появились заметки о приезде в Нью-Йорк самой умной, самой красивой в Европе женщины, которая соединяет профессию балерины с увлечением самой модной наукой — химией и даже, вместо банальных бриллиантов, носит ожерелье из хрустальных шариков,

наполненных светящимся газом. Эти шарики подействовали на воображение американцев.

Когда Роллинг сел на пароход, отходящий во Францию,— на верхней палубе, на площадке для тенниса, между широколистной пальмой, шумящей от морского ветра, и деревом цветущего миндаля, сидела в плетеном кресле Зоя Монроз.

Роллинг знал, что это самая модная женщина в Европе, кроме того, она действительно ему понравилась. Он предложил ей быть его любовницей. Зоя Монроз поставила условием подписать контракт с неустойкой в миллион долларов.

О новой связи Роллинга и о необыкновенном контракте дано было радио из открытого океана. Эйфелева башня приняла эту сенсацию, и на следующий день Париж заговорил о Зое Монроз и о химическом короле.

17

Роллинг не ошибся в выборе любовницы. Еще на пароходе Зоя сказала ему:

— Милый друг, было бы глупо с моей стороны совать нос в ваши дела. Но вы скоро увидите, что как секретарь я еще более удобна, чем как любовница. Женская дребедень меня мало занимает. Я честолюбива. Вы большой человек: я верю в вас. Вы должны победить. Не забудьте,— я пережила революцию, у меня был сыпняк, я дралась, как солдат, и проделала верхом на коне тысячу километров. Это незабываемо. Моя душа выжжена ненавистью.

Роллингу показалась занимательной ее ледяная страстность. Он прикоснулся пальцем к кончику ее носа и сказал:

— Крошка, для секретаря при деловом человеке у вас слишком много темперамента, вы сумасшедшая, в политике и делах вы всегда останетесь дилетантом.

В Париже он начал вести переговоры о трестировании химических заводов. Америка вкладывала крупные капиталы в промышленность Старого Света. Агенты Роллинга осторожно скупали акции. В Париже его на-

зывали «американским буйволом». Действительно, он казался великаном среди европейских промышленников. Он шел напролом. Луч зрения его был узок. Он видел перед собой одну цель: сосредоточение в одних (своих) руках мировой химической промышленности.

Зоя Монроз быстро изучила его характер, его приемы борьбы. Она поняла его силу и его слабость. Он плохо разбирался в политике и говорил иногда глупости о революции и о большевиках. Она незаметно окружила его нужными и полезными людьми. Свела его с миром журналистов и руководила беседами. Она покупала мелких хроникеров, на которых он не обращал внимания, но они оказали ему больше услуг, чем солидные журналисты, потому что они проникали, как москиты, во все щели жизни.

Когда она «устроила» в парламенте небольшую речь правого депутата «о необходимости тесного контакта с американской промышленностью в целях химической обороны Франции», Роллинг в первый раз по-мужски, дружески, со встряхиванием пожал ей руку:

— Очень хорошо, я беру вас в секретари с жалованием двадцать семь долларов в неделю.

Роллинг поверил в полезность Зои Монроз и стал с ней откровенен по-деловому, то есть — до конца.

18

Зоя Монроз поддерживала связи с некоторыми из русских эмигрантов. Один из них, Семенов, состоял у нее на постоянном жалованье. Он был инженером-химиком выпуска военного времени, затем прапорщиком, затем белым офицером и в эмиграции занимался мелкими комиссиями, вплоть до перепродажи ношеных платьев уличным девчонкам.

У Зои Монроз он заведовал контрразведкой. Приносил ей советские журналы и газеты, сообщал сведения, сплетни, слухи. Он был исполнителен, боек и не брезглив.

Однажды Зоя Монроз показала Роллингу вырезку из ревельской газеты, где сообщалось о строящемся в

Петрограде приборе огромной разрушительной силы. Роллинг засмеялся:

— Вздор, никто не испугается... У вас слишком горячее воображение. Большевики ничего не способны построить.

Тогда Зоя пригласила к завтраку Семенова, и он рассказал по поводу этой заметки странную историю:

«...В девятнадцатом году в Петрограде, незадолго до моего бегства, я встретил на улице приятеля, поляка, вместе с ним кончил технологический институт,— Стася Тыклинского. Мешок за спиной, ноги обмотаны кусками ковра, на пальто цифры — мелом — следы очередей. Словом, все как полагается. Но лицо оживленное. Подмигивает. В чем дело? «Я, говорит, на такое золотое дело наскочил — ай люли! — миллионы! Какой там,— сотни миллионов (золотых, конечно)!» Я, разумеется, пристал — расскажи, он только смеется. На том и расстались. Недели через две после этого я проходил по Васильевскому острову, где жил Тыклинский. Вспомнил про его золотое дело,— думаю, дай попрошу у миллионера полфунтика сахару. Зашел. Тыклинский лежит чуть ли не при смерти,— рука и грудь забинтованы.

— Кто это тебя так отделал?

— Подожди,— отвечает,— святая дева поможет — поправлюсь — я его убью.

— Кого?

— Гарина.

И он рассказал, правда сбивчиво и туманно, не желая открывать подробности, про то, как давнишний его знакомый, инженер Гарин, предложил ему приготовить угольные свечи для какого-то прибора необыкновенной разрушительной силы. Чтобы заинтересовать Тыклинского, он обещал ему процент с барышей. Он предполагал по окончании опытов удрать с готовым прибором в Швецию, взять там патент и самому заняться эксплуатацией аппарата.

Тыклинский с увлечением начал работать над пирамидками. Задача была такова, чтобы при возможно малом их объеме выделялось возможно большее количество тепла. Устройство прибора Гарин держал в тай-

не,— говорил, что принцип его необычайно прост и потому малейший намек раскроет тайну. Тыклинский поставлял ему пирамидки, но ни разу не мог упросить показать ему аппарат.

Такое недоверие бесило Тыклинского. Они часто ссорились. Однажды Тыклинский проследил Гарина до места, где он производил опыты,— в полуразрушенном доме на одной из глухих улиц Петербургской стороны. Тыклинский пробрался туда вслед за Гариным и долго ходил по каким-то лестницам, пустынным комнатам с выбитыми окнами и, наконец, в подвале услыхал сильное, точно от бьющей струи пара, шипение и знакомый запах горящих пирамидок.

Он осторожно спустился в подвал, но споткнулся о битые кирпичи, упал, нашумел и, шагах в тридцати от себя, за аркой, увидел освещенное коптилкой, перекошенное лицо Гарина. «Кто, кто здесь?» — дико закричал Гарин, и в это же время ослепительный луч, не толще вязальной иглы, соскочил со стены и резнул Тыклинского наискосок через грудь и руку.

Тыклинский очнулся на рассвете, долго звал на помощь и на четвереньках выполз из подвала, обливаясь кровью. Его подобрали прохожие, доставили на ручной тележке домой. Когда он выздоровел, началась война с Польшей,— ему пришлось уносить ноги из Петрограда».

Рассказ этот произвел на Зою Монроз чрезвычайное впечатление. Роллинг недоверчиво усмехался: он верил только в силу удушающих газов. Броненосцы, крепости, пушки, громоздкие армии — все это, по его мнению, были пережитки варварства. Аэропланы и химия — вот единственные могучие орудия войны. А какие-то там приборы из Петрограда — вздор и вздор!

Но Зоя Монроз не успокоилась. Она послала Семенова в Финляндию, чтобы оттуда добыть точные сведения о Гарине. Белый офицер, нанятый Семеновым, перешел на лыжах русскую границу, нашел в Петрограде Гарина, говорил с ним и даже предложил ему совместно работать. Гарин держался очень осторожно. Видимо, ему было известно, что за ним следят из-за границы. О своем аппарате он говорил в том смысле, что того, кто

будет владеть им, ждет сказочное могущество. Опыты с моделью аппарата дали блестящие результаты. Он ждал только окончания работ над свечами-пирамидками.

19

В дождливый воскресный вечер начала весны огни из окон и бесчисленные огни фонарей отражались в асфальтах парижских улиц.

Будто по черным каналам, над бездной огней мчались мокрые автомобили, бежали, сталкивались, крутились промокшие зонтики. Прелой сыростью бульваров, запахом овощных лавок, бензиновой гарью и духами была напитана дождевая мгла.

Дождь струился по графитовым крышам, по решеткам балконов, по огромным полосатым тентам, раскинутым над кофейнями. Мутно в тумане зажигались, крутились, мерцали огненные рекламы всевозможных увеселений.

Люди маленькие — приказчики и приказчицы, чиновники и служащие — развлекались, кто как мог, в этот день. Люди большие, деловые, солидные сидели по домам у каминов. Воскресенье было днем черни, отданным ей на растерзание.

Зоя Монроз сидела, подобрав ноги, на широком диване среди множества подушечек. Она курила и глядела на огонь камина. Роллинг, во фраке, помещался, с ногами на скамеечке, в большом кресле и тоже курил и глядел на угли.

Его освещенное камином лицо казалось раскаленно-красным,— мясистый нос, щеки, заросшие бородкой, полузакрытые веками, слегка воспаленные глаза повелителя вселенной. Он предавался хорошей скуке, необходимой раз в неделю, чтобы дать отдых мозгу и нервам.

Зоя Монроз протянула перед собой красивые обнаженные руки и сказала:

— Роллинг, прошло уже два часа после обеда.

— Да,— ответил он,— я так же, как и вы, полагаю, что пищеварение окончено.

Ее прозрачные, почти мечтательные глаза скользнули по его лицу. Тихо, серьезным голосом, она назвала его по имени. Он ответил, не шевелясь в нагретом кресле:

— Да, я слушаю вас, моя крошка.

Разрешение говорить было дано. Зоя Монроз пересела на край дивана; обхватила колено.

— Скажите, Роллинг, химические заводы представляют большую опасность для взрыва?

— О да. Четвертое производное от каменного угля — тротил — чрезвычайно могучее взрывчатое вещество. Восьмое производное от угля — пикриновая кислота, ею начиняют бронебойные снаряды морских орудий. Но есть и еще более сильная штука, это — тетрил.

— А это что такое, Роллинг?

— Все тот же каменный уголь. Бензол (C_6H_6), смешанный при восьмидесяти градусах с азотной кислотой (HNO_3), дает нитробензол. Формула нитробензола — $C_6H_5NO_2$. Если мы в ней две части кислорода O_2 заменим двумя частями водорода H_2, то есть если мы нитробензол начнем медленно размешивать при восьмидесяти градусах с чугунными опилками, с небольшим количеством соляной кислоты, то мы получим анилин ($C_6H_5NH_2$). Анилин, смешанный с древесным спиртом при пятидесяти атмосферах давления, даст диметил-анилин. Затем выроем огромную яму, обнесем ее земляным валом, внутри поставим сарай и там произведем реакцию диметил-анилина с азотной кислотой. За термометрами во время этой реакции мы будем наблюдать издали, в подзорную трубу. Реакция диметил-анилина с азотной кислотой даст нам тетрил. Этот самый тетрил — настоящий дьявол: от неизвестных причин он иногда взрывается во время реакции и разворачивает в пыль огромные заводы. К сожалению, нам приходится иметь с ним дело: обработанный фосгеном, он дает синюю краску — кристалл-виолет. На этой штуке я заработал хорошие деньги. Вы задали мне забавный вопрос... Гм... Я считал, что вы более осведомлены в химии. Гм... Чтобы приготовить из каменноугольной смолы, скажем, облаточку пирамидона, который, скажем, исцелит вашу головную боль, необходимо пройти длинный ряд ступе-

ней... На пути от каменного угля до пирамидона, или до флакончика духов, или до обычного фотографического препарата — лежат такие дьявольские вещи, как тротил и пикриновая кислота, такие великолепные штуки, как бром-бензил-цианид, хлор-пикрин, ди-фенил-хлор-арсин и так далее и так далее, то есть боевые газы, от которых чихают, плачут, срывают с себя защитные маски, задыхаются, рвут кровью, покрываются нарывами, сгнивают заживо...

Так как Роллингу было скучно в этот дождливый воскресный вечер, то он охотно предался размышлению о великом будущем химии.

— Я думаю (он помахал около носа до половины выкуренной сигарой), я думаю, что бог Саваоф создал небо и землю и все живое из каменноугольной смолы и поваренной соли. В библии об этом прямо не сказано, но можно догадываться. Тот, кто владеет углем и солью, тот владеет миром. Немцы полезли в войну четырнадцатого года только потому, что девять десятых химических заводов всего мира принадлежали Германии. Немцы понимали тайну угля и соли: они были единственной культурной нацией в то время. Однако они не рассчитали, что мы, американцы, в девять месяцев сможем построить Эджвудский арсенал. Немцы открыли нам глаза, мы поняли, куда нужно вкладывать деньги, и теперь миром будем владеть мы, а не они, потому что деньги после войны — у нас и химия — у нас. Мы превратим Германию прежде всего, а за ней и другие страны, умеющие работать (не умеющие вымрут естественным порядком, в этом мы им поможем), превратим в одну могучую фабрику... Американский флаг опояшет землю, как бонбоньерку, по экватору и от полюса до полюса...

— Роллинг,— перебила Зоя,— вы сами накликаете беду... Ведь *они* тогда станут коммунистами... Придет день, когда *они* заявят, что вы им больше не нужны, что *они* желают работать для себя... О, я уже пережила этот ужас... Они откажутся вернуть вам ваши миллиарды...

— Тогда, моя крошка, я затоплю Европу горчичным газом.

— Роллинг, будет поздно! — Зоя стиснула руками колено, подалась вперед.— Роллинг, поверьте мне, я ни-

когда не давала вам плохих советов... Я спросила вас: представляют ли опасность для взрыва химические заводы?.. В руках рабочих, революционеров, коммунистов, в руках наших врагов,— я это знаю,— окажется оружие чудовищной силы... Они смогут на расстоянии взрывать химические заводы, пороховые погреба, сжигать эскадрильи аэропланов, уничтожать запасы газов — все, что может взрываться и гореть.

Роллинг снял ноги со скамеечки, красноватые веки его мигнули, некоторое время он внимательно смотрел на молодую женщину.

— Насколько я понимаю, вы намекаете опять на...

— Да, Роллинг, да, на аппарат инженера Гарина... Все, что о нем сообщалось, скользнуло мимо вашего внимания... Но я-то знаю, насколько это серьезно... Семенов принес мне странную вещь. Он получил ее из России...

Зоя позвонила. Вошел лакей. Она приказала, и он принес небольшой сосновый ящик, в нем лежал отрезок стальной полосы толщиною в полдюйма. Зоя вынула кусок стали и поднесла к свету камина. В толще стали были прорезаны насквозь каким-то тонким орудием полоски, завитки и наискосок, словно пером — скорописью, было написано: «Проба силы... проба... Гарин». Кусочки металла внутри некоторых букв вывалились. Роллинг долго рассматривал полосу.

— Это похоже на «пробу пера»,— сказал он негромко,— как будто писали иглой в мягком тесте.

— Это сделано во время испытания модели аппарата Гарина на расстоянии тридцати шагов,— сказала Зоя.— Семенов утверждает, что Гарин надеется построить аппарат, который легко, как масло, может разрезать дредноут на расстоянии двадцати кабельтовых... Простите, Роллинг, но я настаиваю,— вы должны овладеть этим страшным аппаратом.

Роллинг недаром прошел в Америке школу жизни. До последней клеточки он был вытренирован для борьбы.

Тренировка, как известно, точно распределяет усилия между мускулами и вызывает в них наибольшее возможное напряжение. Так у Роллинга, когда он всту-

пал в борьбу, сначала начинала работать фантазия,— она бросалась в девственные дебри предприятий и там открывала что-либо, стоящее внимания. Стоп. Работа фантазии кончилась. Вступал здравый смысл,— оценивал, сравнивал, взвешивал, делал доклад: полезно. Стоп. Вступал практический ум, подсчитывал, учитывал, подводил баланс: актив. Стоп. Вступала воля, крепости молибденовой стали, страшная воля Роллинга, и он, как буйвол с налитыми глазами, ломился к цели и достигал ее, чего бы это ему и другим ни стоило.

Приблизительно такой же процесс произошел и сегодня. Роллинг окинул взглядом дебри неизведанного, здравый смысл сказал: Зоя права. Практический ум подвел баланс: самое выгодное — чертежи и аппарат похитить, Гарина ликвидировать. Точка. Судьба Гарина оказалась решенной, кредит открыт, в дело вступила воля. Роллинг поднялся с кресла, стал задом к огню камина и сказал, выпячивая челюсть:

— Завтра я жду Семенова на бульваре Мальзерб.

20

После этого вечера прошло семь недель. Двойник Гарина был убит на Крестовском острове. Семенов явился на бульвар Мальзерб без чертежей и аппарата. Роллинг едва не проломил ему голову чернильницей. Гарина, или его двойника, видели вчера в Париже.

На следующий день, как обычно, к часу дня Зоя заехала на бульвар Мальзерб. Роллинг сел рядом с ней в закрытый лимузин, оперся подбородком о трость и сказал сквозь зубы:

— Гарин в Париже.

Зоя откинулась на подушки. Роллинг невесело посмотрел на нее.

— Семенову давно нужно было отрубить голову на гильотине, он неряха, дешевый убийца, наглец и дурак,— сказал Роллинг.— Я доверился ему и оказался в смешном положении. Нужно предполагать, что здесь он втянет меня в скверную историю...

Роллинг передал Зое весь разговор с Семеновым. Похитить чертежи и аппарат не удалось, потому что бездельники, нанятые Семеновым, убили не Гарина, а его двойника. Появление двойника в особенности смущало Роллинга. Он понял, что противник ловок. Гарин либо знал о готовящемся покушении, либо предвидел, что покушения все равно не избежать, и запутал следы, подсунув похожего на себя человека. Все это было очень неясно. Но самое непонятное было — за каким чертом ему понадобилось оказаться в Париже?

Лимузин двигался среди множества автомобилей по Елисейским полям. День был теплый, парной, в легкой нежно-голубой мгле вырисовывались крылатые кони и стеклянный купол Большого Салона, полукруглые крыши высоких домов, маркизы над окнами, пышные кущи каштанов.

В автомобилях сидели — кто развалился, кто задрал ногу на колено, кто сосал набалдашник — по преимуществу скоробогатые коротенькие молодчики в весенних шляпах, в веселеньких галстучках. Они везли завтракать в Булонский лес премиленьких девушек, которых для развлечения иностранцев радушно предоставлял им Париж.

На площади Этуаль лимузин Зои Монроз нагнал наемную машину, в ней сидели Семенов и человек с желтым, жирным лицом и пыльными усами. Оба они, подавшись вперед, с каким-то даже исступлением следили за маленьким зеленым автомобилем, загибавшим по площади к остановке подземной дороги.

Семенов указывал на него своему шоферу, но пробраться было трудно сквозь поток машин. Наконец пробрались, и полным ходом они двинули наперерез зелененькому автомобильчику. Но он уже остановился у метрополитена. Из него выскочил человек среднего роста, в широком коверкотовом пальто и скрылся под землей.

Все это произошло в две-три минуты на глазах у Роллинга и Зои. Она крикнула шоферу, чтобы он свернул к метро. Они остановились почти одновременно с машиной Семенова. Жестикулируя тростью, он подбежал к лимузину, открыл хрустальную дверцу и сказал в ужасном возбуждении:

— Это был Гарин. Ушел. Все равно. Сегодня пойду к нему на Батиньоль, предложу мировую. Роллинг, нужно сговориться: сколько вы ассигнуете на приобретение аппарата? Можете быть покойны — я стану действовать в рамках закона. Кстати, позвольте вам представить Стася Тыклинского. Это вполне приличный человек.

Не дожидаясь разрешения, он кликнул Тыклинского. Тот подскочил к богатому лимузину, сорвал шляпу, кланялся и целовал ручку пани Монроз.

Роллинг, не подавая руки ни тому, ни другому, блестел глазами из глубины лимузина, как пума из клетки. Оставаться на виду у всех на площади было неразумно. Зоя предложила ехать завтракать на левый берег в мало посещаемый в это время года ресторан «Лаперуза».

21

Тыклинский поминутно раскланивался, расправлял висячие усы, влажно поглядывал на Зою Монроз и ел со сдержанной жадностью. Роллинг угрюмо сидел спиной к окну. Семенов развязно болтал. Зоя казалась спокойной, очаровательно улыбалась, глазами показывала метрдотелю, чтобы он почаще подливал гостям в рюмки. Когда подали шампанское, она попросила Тыклинского приступить к рассказу.

Он сорвал с шеи салфетку:

— Для пана Роллинга мы не щадили своих жизней. Мы перешли советскую границу под Сестрорецком.

— Кто это — мы? — спросил Роллинг.

— Я и, если угодно пану, мой подручный, один русский из Варшавы, офицер армии Балаховича... Человек весьма жестокий... Будь он проклят, как и все русские, пся крев, он больше мне навредил, чем помог. Моя задача была проследить, где Гарин производит опыты. Я побывал в разрушенном доме,— пани и пан знают, конечно, что в этом доме проклятый байстрюк чуть было не разрезал меня пополам своим аппаратом. Там, в подвале, я нашел стальную полосу,— пани Зоя получила ее от меня и могла убедиться в моем усердии. Гарин пере-

менил место опытов. Я не спал дни и ночи, желая оправдать доверие пани Зои и пана Роллинга. Я застудил себе легкие в болотах на Крестовском острове, и я достиг цели. Я проследил Гарина. Двадцать седьмого апреля ночью мы с помощником проникли на его дачу, привязали Гарина к железной кровати и произвели самый тщательный обыск... Ничего... Надо сойти с ума,— никаких признаков аппарата... Но я-то знал, что он прячет его на даче... Тогда мой помощник немножко резко обошелся с Гариным... Пани и пан поймут наше волнение... Я не говорю, чтобы мы поступили по указанию пана Роллинга... Нет, мой помощник слишком погорячился...

Роллинг глядел в тарелку. Длинная рука Зои Монроз, лежавшая на скатерти, быстро перебирала пальцами, сверкала отполированными ногтями, бриллиантами, изумрудами, сапфирами перстней. Тыклинский вдохновился, глядя на эту бесценную руку.

— Пани и пан уже знают, как я спустя сутки встретил Гарина на почтамте. Матерь божья, кто же не испугается, столкнувшись нос к носу с живым покойником. А тут еще проклятая милиция кинулась за мною в погоню. Мы стали жертвой обмана, проклятый Гарин подсунул вместо себя кого-то другого. Я решил снова обыскать дачу: там должно было быть подземелье. В ту же ночь я пошел туда один, усыпил сторожа. Влез в окно... Пусть пан Роллинг не поймет меня как-нибудь криво... Когда Тыклинский жертвует жизнью, он жертвует ею для идеи... Мне ничего не стоило выскочить обратно в окошко, когда я услыхал на даче такой стук и треск, что у любого волосы стали бы дыбом... Да, пан Роллинг, в эту минуту я понял, что господь руководил вами, когда вы послали меня вырвать у русских страшное оружие, которое они могут обратить против всего цивилизованного мира. Это была историческая минута, пани Зоя, клянусь вам шляхетской честью. Я бросился, как зверь, на кухню, откуда раздавался шум. Я увидел Гарина,— он наваливал в одну кучу у стены столы, мешки и ящики. Увидев меня, он схватил кожаный чемодан, давно мне знакомый, где он обычно держал модель аппарата, и выскочил в соседнюю комнату. Я выхватил револьвер и кинулся за ним. Он уже открывал окно, намереваясь

выпрыгнуть на улицу. Я выстрелил, он с чемоданом в одной руке, с револьвером в другой отбежал в конец комнаты, загородился кроватью и стал стрелять. Это была настоящая дуэль, пани Зоя. Пуля пробила мне фуражку. Вдруг он закрыл рот и нос какой-то тряпкой, протянул ко мне металлическую трубку,— раздался выстрел, не громче звука шампанской пробки, и в ту же секунду тысячи маленьких когтей влезли мне в нос, в горло, в грудь, стали раздирать меня, глаза залились слезами от нестерпимой боли, я начал чихать, кашлять, внутренности мои выворачивало, и, простите, пани Зоя, поднялась такая рвота, что я повалился на пол.

— Ди-фенил-флор-арсин в смеси с фосгеном, по пятидесяти процентов каждого,— дешевая штука, мы вооружаем теперь полицию этими гранатками,— сказал Роллинг.

— Так... Пан говорит истину,— это была газовая гранатка... К счастью, сквозняк быстро унес газ. Я пришел в сознание и, полуживой, добрался до дому. Я был отравлен, разбит, агенты искали меня по городу, оставалось только бежать из Ленинграда, что мы и сделали с великими опасностями и трудами.

Тыклинский развел руками и поник, отдаваясь на милость. Зоя спросила.

— Вы уверены, что Гарин также бежал из России?

— Он должен был скрыться. После этой истории ему все равно пришлось бы давать объяснения уголовному розыску.

— Но почему он выбрал именно Париж?

— Ему нужны угольные пирамидки. Его аппарат без них все равно, что незаряженное ружье. Гарин — физик. Он ничего не смыслит в химии. По его заказу над этими пирамидками работал я, впоследствии тот, кто поплатился за это жизнью на Крестовском острове. Но у Гарина есть еще один компаньон здесь, в Париже,— ему он и послал телеграмму на бульвар Батиньоль. Гарин приехал сюда, чтобы следить за опытами над пирамидками.

— Какие сведения вы собрали о сообщнике инженера Гарина? — спросил Роллинг.

— Он живет в плохонькой гостинице, на бульваре

Батиньоль,— мы были там вчера, нам кое-что рассказал привратник,— ответил Семенов.— Этот человек является домой только ночевать. Вещей у него никаких нет. Он выходит из дому в парусиновом балахоне, какой в Париже носят медики, лаборанты и студенты-химики. Видимо, он работает где-то там же, неподалеку.

— Наружность? Черт вас возьми, какое мне дело до его парусинового балахона! Описал вам привратник его наружность? — крикнул Роллинг.

Семенов и Тыклинский переглянулись. Поляк прижал руку к сердцу.

— Если пану угодно, мы сегодня же доставим сведения о наружности этого господина.

Роллинг долго молчал, брови его сдвинулись.

— Какие основания у вас утверждать, что тот, кого вы видели вчера в кафе на Батиньоль, и человек, удравший под землю на площади Этуаль, одно и то же лицо, именно инженер Гарин? Вы уже ошиблись однажды в Ленинграде. Что?

Поляк и Семенов опять переглянулись. Тыклинский с высшей деликатностью улыбнулся:

— Не будет же пан Роллинг утверждать, что у Гарина в каждом городе двойники...

Роллинг упрямо мотнул головой. Зоя Монроз сидела, закутав руки горностаевым мехом, равнодушно глядела в окно.

Семенов сказал:

— Тыклинский слишком хорошо знает Гарина, ошибки быть не может. Сейчас важно выяснить другое, Роллинг. Предоставляете вы нам одним обделать это дело,— в одно прекрасное утро притащить на бульвар Мальзерб аппарат и чертежи,— или будете работать вместе с нами?

— Ни в коем случае! — неожиданно проговорила Зоя, продолжая глядеть в окно.— Мистер Роллинг весьма интересуется опытами инженера Гарина, мистеру Роллингу весьма желательно приобрести право собственности на это изобретение, мистер Роллинг всегда работает в рамках строгой законности; если бы мистер Роллинг поверил хотя бы одному слову из того, что здесь рассказывал Тыклинский, то, разумеется, не

замедлил бы позвонить комиссару полиции, чтобы отдать в руки властей подобного негодяя и преступника. Но так как мистер Роллинг отлично понимает, что Тыклинский выдумал всю эту историю в целях выманить как можно больше денег, то он добродушно позволяет и в дальнейшем оказывать ему незначительные услуги.

Первый раз за весь завтрак Роллинг улыбнулся, вынул из жилетного кармана золотую зубочистку и вонзил ее между зубами. У Тыклинского на больших залысинах побагровевшего лба выступил пот, щеки отвисли. Роллинг сказал:

— Ваша задача: дать мне точные и обстоятельные сведения по пунктам, которые будут вам сообщены сегодня в три часа на бульваре Мальзерб. От вас требуется работа приличных сыщиков — и только. Ни одного шага, ни одного слова без моих приказаний.

22

Белый, хрустальный, сияющий поезд линии Норд-Зюйд — подземной дороги — мчался с тихим грохотом по темным подземельям под Парижем. В загибающихся туннелях проносилась мимо паутина электрических проводов, ниши в толще цемента, где прижимался озаряемый летящими огнями рабочий, желтые на черном буквы: «Дюбонэ», «Дюбонэ», «Дюбонэ» — отвратительного напитка, вбиваемого рекламами в сознание парижан.

Мгновенная остановка. Вокзал, залитый подземным светом. Цветные прямоугольники реклам: «Дивное мыло», «Могучие подтяжки», «Вакса с головой льва», «Автомобильные шины», «Красный дьявол», резиновые накладки для каблуков, дешевая распродажа в универсальных домах — «Лувр», «Прекрасная цветочница», «Галерея Лафайетт».

Шумная, смеющаяся толпа хорошеньких женщин, мидинеток, рассыльных мальчиков, иностранцев, молодых людей в обтянутых пиджачках, рабочих в потных рубашках, заправленных под кумачовый кушак,— теснясь, придвигается к поезду. Мгновенно раздвигаются

стеклянные двери... «О-о-о-о»,— проносится вздох, и водоворот шляпок, вытаращенных глаз, разинутых ртов, красных, веселых, рассерженных лиц устремляется во внутрь. Кондуктора в кирпичных куртках, схватившись за поручни, вдавливают животом публику в вагоны. С треском захлопываются двери; короткий свист. Поезд огненной лентой ныряет под черный свод подземелья.

Семенов и Тыклинский сидели на боковой скамеечке вагона Норд-Зюйд, спиной к двери. Поляк горячился:

— Прошу пана заметить — лишь приличие удержало меня от скандала... Сто раз я мог вспылить... Не ел я завтраков у миллиардеров! Чихал я на эти завтраки... Могу не хуже сам заказать у «Лаперуза» и не буду выслушивать оскорблений уличной девки... Предложить Тыклинскому роль сыщика!.. Сучья дочь, шлюха!

— Э, бросьте, пан Стась, вы не знаете Зои,— она баба славная, хороший товарищ. Ну, погорячилась...

— Видимо, пани Зоя привыкла иметь дело со сволочью, вашими эмигрантами... Но я — поляк, прошу пана заметить,— Тыклинский страшно выпятил усы,— я не позволю со мной говорить в подобном роде...

— Ну, хорошо, усами потряс, облегчил душу,— после некоторого молчания сказал ему Семенов,— теперь слушай, Стась, внимательно: нам дают хорошие деньги, от нас в конце концов ни черта не требуют. Работа безопасная, даже приятная: шляйся по кабачкам да по кофейным... Я, например, очень удовлетворен сегодняшним разговором... Ты говоришь — сыщики... Ерунда! А я говорю — нам предложена благороднейшая роль контрразведчиков.

У дверей, позади скамьи, где разговаривали Тыклинский и Семенов, стоял, опираясь локтем о медную штангу, тот, кто однажды на бульваре Профсоюзов в разговоре с Шельгой назвал себя Пьянковым-Питкевичем. Воротник его коверкота был поднят, скрывая нижнюю часть лица, шляпа надвинута на глаза. Стоя небрежно и лениво, касаясь рта костяным набалдашником трости, он внимательно выслушал весь разговор Семенова и Тыклинского, вежливо посторонился, когда они сорвались с места, и вышел из вагона двумя станциями поз-

же — на Монмартре. В ближайшем почтовом отделении он подал телеграмму:

«Ленинград. Угрозыск. Шельге. Четырехпалый здесь. События угрожающие».

23

Из почтамта он поднялся на бульвар Клиши и пошел по теневой стороне.

Здесь из каждой двери, из подвальных окон, из-под полосатых маркиз, покрывающих на широких тротуарах мраморные столики и соломенные стулья, тянуло кисловатым запахом ночных кабаков. Гарсоны в коротеньких смокингах и белых фартуках, одутловатые, с набриллиантиненными проборами, посыпали сырыми опилками кафельные полы и тротуары между столиками, ставили свежие охапки цветов, крутили бронзовые ручки, приподнимая маркизы.

Днем бульвар Клиши казался поблекшим, как декорация после карнавала. Высокие, некрасивые, старые дома сплошь заняты под рестораны, кабачки, кофейни, лавчонки с дребеденью для уличных девчонок, под ночные гостиницы. Каркасы и жестяные сооружения реклам, облупленные крылья знаменитой мельницы «Мулен-Руж», плакаты кино на тротуарах, два ряда чахлых деревьев посреди бульвара, писсуары, исписанные неприличными словами, каменная мостовая, по которой прошумели, прокатились столетия, ряды балаганов и каруселей, прикрытых брезентами,— все это ожидало ночи, когда зеваки и кутилы потянутся снизу, из буржуазных кварталов Парижа.

Тогда вспыхнут огни, засуетятся гарсоны, засвистят паровыми глотками, закрутятся карусели; на золотых свиньях, на быках с золотыми рогами, в лодках, кастрюлях, горшках — кругом, кругом, кругом,— отражаясь в тысяче зеркал, помчатся под звуки паровых оркестрионов девушки в юбчонках до колен, удивленные буржуа, воры с великолепными усами, японские улыбающиеся, как маски, студенты, мальчишки, гомосексуалисты, мрачные русские эмигранты, ожидающие падения большевиков.

Закрутятся огненные крылья «Мулен-Руж». Забегают по фасадам домов изломанные горящие стрелы. Вспыхнут надписи всемирно известных кабаков, из их открытых окон на жаркий бульвар понесется дикая трескотня, барабанный бой и гудки джаз-бандов.

В толпе запищат картонные дудки, затрещат трещотки. Из-под земли начнут вываливаться новые толпы, выброшенные метрополитеном и Норд-Зюйдом. Это Монмартр. Это горы Мартра, сияющие всю ночь веселыми огнями над Парижем,— самое беззаботное место на свете. Здесь есть где оставить деньги, где провести с хохочущими девчонками беспечную ночку.

Веселый Монмартр — это бульвар Клиши между двумя круглыми, уже окончательно веселыми площадями — Пигаль и Бланш. Налево от площади Пигаль тянется широкий и тихий бульвар Батиньоль. Направо за площадью Бланш начинается Сент-Антуанское предместье. Это — места, где живут рабочие и парижская беднота. Отсюда — с Батиньоля, с высот Монмартра и Сент-Антуана — не раз спускались вооруженные рабочие, чтобы овладеть Парижем. Четыре раза их загоняли пушками обратно на высоты. И нижний город, раскинувший по берегам Сены банки, конторы, пышные магазины, отели для миллионеров и казармы для тридцати тысяч полицейских, четыре раза переходил в наступление, и в сердце рабочего города, на высотах, утвердил пылающими огнями мировых притонов сексуальную печать нижнего города — площадь Пигаль — бульвар Клиши — площадь Бланш.

24

Дойдя до середины бульвара, человек в коверкотовом пальто свернул в боковую узкую уличку, ведущую исхоженными ступенями на вершину Монмартра, внимательно оглянулся по сторонам и зашел в темный кабачок, где обычными посетителями были проститутки, шоферы, полуголодные сочинители куплетов и неудачники, еще носящие по старинному обычаю широкие штаны и широкополую шляпу.

Он спросил газету, рюмку портвейна и принялся за

чтение. За цинковым прилавком хозяин кабачка — усатый, багровый француз, сто десять кило весом,— засучив по локоть волосатые руки, мыл под краном посуду и разговаривал,— хочешь — слушай, хочешь — нет.

— Что вы там ни говорите, а Россия нам наделала много хлопот (он знал, что посетитель — русский, звался мосье Пьер). Русские эмигранты не приносят больше дохода. Выдохлись, о-ла-ла... Но мы еще достаточно богаты, мы можем себе позволить роскошь дать приют нескольким тысячам несчастных. (Он был уверен, что его посетитель промышлял на Монмартре по мелочам.) Но, разумеется, всему свой конец. Эмигрантам придется вернуться домой. Увы! Мы вас помирим с вашим обширным отечеством, мы признаем ваши Советы, и Париж снова станет добрым старым Парижем. Мне надоела война, должен вам сказать. Десять лет продолжается это несварение желудка. Советы выражают желание платить мелким держателям русских ценностей. Умно, очень умно с их стороны. Да здравствуют Советы! Они неплохо ведут политику. Они большевизируют Германию. Прекрасно! Аплодирую. Германия станет советской и разоружится сама собой. У нас не будет болеть желудок при мысли об их химической промышленности. Глупцы в нашем квартале считают меня большевиком. О-ла-ла!.. У меня правильный расчет. Большевизация нам не страшна. Подсчитайте — сколько в Париже добрых буржуа и сколько рабочих. Ого! Мы, буржуа, сможем защитить свои сбережения... Я спокойно смотрю, когда наши рабочие кричат: «Да здравствует Ленин!» — и махают красными флагами. Рабочий — это бочонок с забродившим вином, его нельзя держать закупоренным. Пусть его кричит: «Да здравствуют Советы!» — я сам кричал на прошлой неделе. У меня на восемь тысяч франков русских процентных бумаг. Нет, вам нужно мириться с вашим правительством. Довольно глупостей. Франк падает. Проклятые спекулянты, эти вши, которые облепляют каждую нацию, где начинает падать валюта,— это племя инфлянтов снова перекочевало из Германии в Париж.

В кабачок быстро вошел худощавый человек в парусиновом балахоне, с непокрытой светловолосой головой.

— Здравствуй, Гарин,— сказал он тому, кто читал газету,— можешь меня поздравить... Удача...

Гарин стремительно поднялся, стиснул ему руки:

— Виктор...

— Да, да. Я страшно доволен... Я буду настаивать, чтобы мы взяли патент.

— Ни в коем случае... Идем.

Они вышли из кабачка, поднялись по ступенчатой уличке, свернули направо и долго шли мимо грязных домов предместья, мимо огороженных колючей проволокой пустырей, где трепалось жалкое белье на веревках, мимо кустарных заводиков и мастерских.

День кончался. Навстречу попадались кучки усталых рабочих. Здесь, на горах, казалось, жило иное племя людей, иные были у них лица — твердые, худощавые, сильные. Казалось, французская нация, спасаясь от ожирения, сифилиса и дегенерации, поднялась на высоты над Парижем и здесь спокойно и сурово ожидает часа, когда можно будет очистить от скверны низовой город и снова повернуть кораблик Лютеции [1] в солнечный океан.

— Сюда,— сказал Виктор, отворяя американским ключом дверь низенького каменного сарая.

25

Гарин и Виктор Ленуар подошли к небольшому кирпичному горну под колпаком. Рядом на столе лежали рядками пирамидки. На горне стояло на ребре толстое бронзовое кольцо с двенадцатью фарфоровыми чашечками, расположенными по его окружности. Ленуар зажег свечу и со странной усмешкой взглянул на Гарина.

— Петр Петрович, мы знакомы с вами лет пятнадцать,— так? Съели не один пуд соли. Вы могли убедиться, что я человек честный. Когда я удрал из Советской России — вы мне помогли... Из этого я заключаю, что вы относитесь ко мне неплохо. Скажите — какого

[1] Герб Парижа, или по-древнему — Лютеции — золотой кораблик.

черта вы скрываете от меня аппарат? Я же знаю, что без меня, без этих пирамидок — вы беспомощны... Давайте по-товарищески...

Внимательно рассматривая бронзовое кольцо с фарфоровыми чашечками, Гарин спросил:

— Вы хотите, чтобы я открыл тайну?

— Да.

— Вы хотите стать участником в деле?

— Да.

— Если понадобится, а я предполагаю, что в дальнейшем понадобится, вы должны будете пойти на все для успеха дела...

Не сводя с него глаз, Ленуар присел на край горна, углы рта его задрожали.

— Да,— твердо сказал он,— согласен.

Он потянул из кармана халата тряпочку и вытер лоб.

— Я вас не вынуждаю, Петр Петрович. Я завел этот разговор потому, что вы самый близкий мне человек, как это ни странно... Я был на первом курсе, вы — на втором. Еще с тех пор, ну, как это сказать, я преклонялся, что ли, перед вами... Вы страшно талантливы... блестящи... Вы страшно смелы. Ваш ум — аналитический, дерзкий, страшный. Вы страшный человек. Вы жестки, Петр Петрович, как всякий крупный талант, вы недогадливы к людям. Вы спросили — готов ли я на все, чтобы работать с вами... Конечно, ну, конечно... Какой же может быть разговор? Терять мне нечего. Без вас — будничная работа, будни до конца жизни. С вами — праздник или гибель... Согласен ли я на все?.. Смешно... Что же — это «все»? Украсть, убить?

Он остановился. Гарин глазами сказал «да». Ленуар усмехнулся.

— Я знаю французские уголовные законы... Согласен ли я подвергнуть себя опасности их применения? — согласен... Между прочим, я видел знаменитую газовую атаку германцев двадцать второго апреля пятнадцатого года. Из-под земли поднялось густое облако и поползло на нас желто-зелеными волнами, как мираж,— во сне этого не увидишь. Тысячи людей бежали по полям, в нестерпимом ужасе, бросая оружие. Облако настигало

их. У тех, кто успел выскочить, были темные, багровые лица, вывалившиеся языки, выжженные глаза... Какой вздор «моральные понятия»... Ого, мы — не дети после войны.

— Одним словом,— насмешливо сказал Гарин,— вы, наконец, поняли, что буржуазная мораль — один из самых ловких арапских номеров, и дураки те, кто из-за нее глотает зеленый газ. По правде сказать, я мало задумывался над этими проблемами... Итак... Я добровольно принимаю вас товарищем в дело. Вы беспрекословно подчинитесь моим распоряжениям. Но есть одно условие...

— Хорошо, согласен на всякое условие.

— Вы знаете, Виктор, что в Париж я попал с подложным паспортом, каждую ночь я меняю гостиницу. Иногда мне приходится брать уличную девку, чтобы не возбуждать подозрения. Вчера я узнал, что за мною следят. Поручена эта слежка русским. Видимо, меня принимают за большевистского агента. Мне нужно навести сыщиков на ложный след.

— Что я должен делать?

— Загримироваться мной. Если вас схватят, вы предъявите ваши документы. Я хочу раздвоиться. Мы с вами одного роста. Вы покрасите волосы, приклеите фальшивую бородку, мы купим одинаковые платья. Затем сегодня же вечером вы переедете из вашей гостиницы в другую часть города, где вас не знают,— скажем — в Латинский квартал. По рукам?

Ленуар соскочил с горна, крепко пожал Гарину руку. Затем он принялся объяснять, как ему удалось приготовить пирамидки из смеси алюминия и окиси железа (термита) с твердым маслом и желтым фосфором.

Поставив на фарфоровые чашечки кольца двенадцать пирамидок, он зажег их при помощи шнурка. Столб ослепительного пламени поднялся над горном. Пришлось отойти в глубь сарая,— так нестерпимы были свет и жар.

— Превосходно,— сказал Гарин,— надеюсь — никакой копоти?

— Сгорание полное, при этой страшной температуре. Материалы химически очищены.

— Хорошо. На этих днях вы увидите чудеса,— сказал Гарин,— идем обедать. За вещами в гостиницу пошлем посыльного. Переночуем на левом берегу. А завтра в Париже окажется двое Гариных... У вас имеется второй ключ от сарая?

26

Здесь не было ни блестящего потока автомобилей, ни праздных людей, свертывающих себе шею, глядя на окна магазинов, ни головокружительных женщин, ни индустриальных королей.

Штабели свежих досок, горы булыжника, посреди улицы отвалы синей глины и, разложенные сбоку тротуара, как разрезанный гигантский червяк, звенья канализационных труб.

Спартаковец Тарашкин шел не спеша на острова, в клуб. Он находился в самом приятном расположении духа. Внешнему наблюдателю он показался бы даже мрачным на первый взгляд, но это происходило оттого, что Тарашкин был человек основательный, уравновешенный и веселое настроение у него не выражалось каким-либо внешним признаком, если не считать легкого посвистывания да спокойной походочки.

Не доходя шагов ста до трамвая, он услышал возню и писк между штабелями торцов. Все происходящее в городе, разумеется, непосредственно касалось Тарашкина.

Он заглянул за штабели и увидел трех мальчиков, в штанах клешем и в толстых куртках: они, сердито сопя, колотили четвертого мальчика, меньше их ростом,— босого, без шапки, одетого в ватную кофту, такую рваную, что можно было удивиться. Он молча защищался. Худенькое лицо его было исцарапано, маленький рот плотно сжат, карие глаза — как у волчонка.

Тарашкин сейчас же схватил двух мальчишек и за шиворот поднял на воздух, третьему дал ногой леща,— мальчишка взвыл и скрылся за торцами.

Другие двое, болтаясь в воздухе, начали грозиться ужасными словами. Но Тарашкин тряхнул их посильней, и они успокоились.

— Это я не раз вижу на улице,— сказал Тарашкин, заглядывая в их сопящие рыльца,— маленьких обижать, шкеты! Чтобы этого у меня больше не было. Поняли?

Вынужденные ответить в положительном смысле, мальчишки сказали угрюмо:

— Поняли.

Тогда он их отпустил, и они, ворча, что, мол, попадись нам теперь, удалились,— руки в карманы.

Избитый маленький мальчик тоже попытался было скрыться, но только повертелся на одном месте, слабо застонал и сел, уйдя с головой в рваную кофту.

Тарашкин наклонился над ним. Мальчик плакал.

— Эх, ты,— сказал Тарашкин,— ты где живешь-то?

— Нигде,— из-под кофты ответил мальчик.

— То есть как это — нигде? Мамка у тебя есть?

— Нету.

— И отца нет? Так. Беспризорный ребенок. Очень хорошо.

Тарашкин стоял некоторое время, распустив морщины на носу. Мальчик, как муха, жужжал под кофтой.

— Есть хочешь? — спросил Тарашкин сердито.

— Хочу.

— Ну ладно, пойдем со мной в клуб.

Мальчик попытался было встать, но не держали ноги. Тарашкин взял его на руки,— в мальчишке не было и пуда весу,— и понес к трамваю. Ехали долго. Во время пересадки Тарашкин купил булку, мальчишка с судорогой вонзил в нее зубы. До гребной школы дошли пешком. Впуская мальчика за калитку, Тарашкин сказал:

— Смотри только, чтобы не воровать.

— Не, я хлеб только ворую.

Мальчик сонно глядел на воду, играющую солнечными зайчиками на лакированных лодках, на серебристо-зеленую иву, опрокинувшую в реке свою красу, на двухвесельные, четырехвесельные гички с мускулистыми и загорелыми гребцами. Худенькое личико его было равнодушное и усталое. Когда Тарашкин отвернулся, он залез под деревянный помост, соединяющий широкие ворота клуба с бонами, и, должно быть, сейчас же уснул, свернувшись.

Вечером Тарашкин вытащил его из-под мостков, велел вымыть в речке лицо и руки и повел ужинать. Мальчика посадили за стол с гребцами. Тарашкин сказал товарищам:

— Этого ребенка можно даже при клубе оставить, не объест, к воде приучим, нам расторопный мальчонка нужен.

Товарищи согласились: пускай живет. Мальчик спокойно все это слушал, степенно ел. Поужинав, молча полез с лавки. Его ничто не удивляло,— видел и не такие виды.

Тарашкин повел его на боны, велел сесть и начал разговор.

— Как тебя зовут?

— Иваном.

— Ты откуда?

— Из Сибири. С Амура, с верху.

— Давно оттуда?

— Вчера приехал.

— Как же ты приехал?

— Где пешком плелся, где под вагоном в ящиках.

— Зачем тебя в Ленинград занесло?

— Ну, это мое дело,— ответил мальчик и отвернулся,— значит надо, если приехал.

— Расскажи, я тебе ничего не сделаю.

Мальчик не ответил и опять понемногу стал уходить головой в кофту. В этот вечер Тарашкин ничего от него не добился.

27

Двойка — двухвесельная распашная гичка из красного дерева, изящная, как скрипка,— узкой полоской едва двигалась по зеркальной реке. Оба весла плашмя скользили по воде. Шельга и Тарашкин в белых трусиках, по пояс голые, с шершавыми от солнца спинами и плечами, сидели неподвижно, подняв колени.

Рулевой, серьезный парень в морском картузе и в шарфе, обмотанном вокруг шеи, глядел на секундомер.

— Гроза будет,— сказал Шельга.

На реке было жарко, ни один лист не шевелился на пышно-лесистом берегу. Деревья казались преувеличенно вытянутыми. Небо до того насыщено солнцем, что голубовато-хрустальный свет его словно валился грудами кристаллов. Ломило глаза, сжимало виски.

— Весла на воду! — скомандовал рулевой.

Гребцы разом пригнулись к раздвинутым коленям и, закинув, погрузив весла, откинулись, почти легли, вытянув ноги, откатываясь на сидениях.

— Ать-два!..

Весла выгнулись, гичка, как лезвие, скользнула по реке.

— Ать-два, ать-два, ать-два! — командовал рулевой.

Мерно и быстро, в такт ударам сердца — вдыханию и выдыханию — сжимались, нависая над коленями, тела гребцов, распрямлялись, как пружины. Мерно, в ритм потоку крови, в горячем напряжении работали мускулы.

Гичка летела мимо прогулочных лодок, где люди в подтяжках беспомощно барахтали веслами. Гребя, Шельга и Тарашкин прямо глядели перед собой,— на переносицу рулевого, держа глазами линию равновесия. С прогулочных лодок успевали только крикнуть вслед:

— Ишь, черти!.. Вот дунули!..

Вышли на взморье. Опять на одну минуту неподвижно легли на воде. Вытерли пот с лица. «Ать-два!» Повернули обратно мимо яхт-клуба, где мертвыми полотнищами в хрустальном зное висели огромные паруса гоночных яхт ленинградских профсоюзов. Играла музыка на веранде яхт-клуба. Не колыхались протянутые вдоль берега легкие пестрые значки и флаги. Со шлюпок в середину реки бросались коричневые люди, взметая брызги.

Проскользнув между купальщиками, гичка пошла по Невке, пролетела под мостом, несколько секунд висела на руле у четырехвесельного аутригера из клуба «Стрела», обогнала его (рулевой через плечо спросил: «Может, на буксир хотите?»), вошла в узкую, с пышными берегами, Крестовку, где в зеленой тени серебристых ив скользили красные платочки и голые колени женской учебной команды, и стала у бонов гребной школы.

Шельга и Тарашкин выскочили на боны, осторожно положили на покатый помост длинные весла, нагнулись над гичкой и по команде рулевого выдернули ее из воды, подняли на руках и внесли в широкие ворота, в сарай. Затем пошли под душ. Растерлись докрасна и, как полагается, выпили по стакану чаю с лимоном. После этого они почувствовали себя только что рожденными в этом прекрасном мире, который стоит того, чтобы принялись, наконец, за его благоустройство.

28

На открытой веранде, на высоте этажа (где пили чай), Тарашкин рассказал про вчерашнего мальчика:

— Расторопный, умница, ну, прелесть.— Он перегнулся через перила и крикнул: — Иван, поди-ка сюда.

Сейчас же по лестнице затопали босые ноги. Иван появился на веранде. Рваную кофту он снял. (По санитарным соображениям ее сожгли на кухне.) На нем были гребные трусики и на голом теле суконный жилет, невероятно ветхий, весь перевязанный веревочками.

— Вот,— сказал Тарашкин, указывая пальцем на мальчика,— сколько его ни уговариваю снять жилетку — нипочем не хочет. Как ты купаться будешь, я тебя спрашиваю? И была бы жилетка хорошая, а то — грязь.

— Я купаться не могу,— сказал Иван.

— Тебя в бане надо мыть, ты весь черный, чумазый.

— Не могу я в бане мыться. Во, по сих пор — могу,— Иван показал на пупок, помялся и придвинулся поближе к двери.

Тарашкин, деря ногтями икры, на которых по загару оставались белые следы, крякнул с досады:

— Что хочешь с ним, то и делай.

— Ты что же,— спросил Шельга,— воды боишься?

Мальчик посмотрел на него без улыбки:

— Нет, не боюсь.

— Чего же не хочешь купаться?

Мальчик опустил голову, упрямо поджал губы.

— Боишься жилетку снимать, боишься — украдут? — спросил Шельга.

Мальчик дернул плечиком, усмехнулся.

— Ну, вот что, Иван, не хочешь купаться — дело твое. Но жилетку мы допустить не можем. Бери мою жилетку, раздевайся.

Шельга начал расстегивать на себе жилет. Иван попятился. Зрачки его беспокойно забегали. Один раз, умоляя, он взглянул на Тарашкина и все придвигался бочком к стеклянной двери, раскрытой на внутреннюю темную лестницу.

— Э, так мы играть не уговаривались.— Шельга встал, запер дверь, вынул ключ и сел прямо против двери.— Ну, снимай.

Мальчик оглядывался, как зверек. Стоял он теперь у самой двери — спиной к стеклам. Брови у него сдвинулись. Вдруг решительно он сбросил с себя лохмотья и протянул Шельге:

— На, давай свою.

Но Шельга с величайшим удивлением глядел уже не на мальчика, а мимо его плеча — на дверные стекла.

— Давайте,— сердито повторил Иван,— чего смеетесь? — не маленькие.

— Ну и чудак! — Шельга громко рассмеялся.— Повернись-ка спиной. (Мальчик, точно от толчка, ударился затылком в стекло.) Повернись, все равно вижу, что у тебя на спине написано.

Тарашкин вскочил. Мальчик легким комочком перелетел через веранду, перекатился через перила. Тарашкин на лету едва успел схватить его. Острыми зубами Иван впился ему в руку.

— Вот дурной. Брось кусаться!

Тарашкин крепко прижал его к себе. Гладил по сизой обритой голове.

— Дикий совсем мальчишка. Как мышь, дрожит. Будет тебе, не обидим.

Мальчик затих в руках у него, только сердце билось. Вдруг он прошептал ему в ухо:

— Не велите ему, нельзя у меня на спине читать. Никому не велено. Убьют меня за это.

— Да не будем читать, нам не интересно,— повторял Тарашкин, плача от смеха. Шельга все это время стоял в другом конце террасы,— кусал ногти, щурился,

как человек, отгадывающий загадку. Вдруг он подскочил и, несмотря на сопротивление Тарашкина, повернул мальчика к себе спиной. Изумление, почти ужас изобразились на его лице. Чернильным карандашом ниже лопаток на худой спине у мальчишки было написано расплывшимися от пота полустертыми буквами:

«...Петру Гар... Резуль...ы самые утешит... глубину оливина предполагаю на пяти киломе...ах, продолж... изыскания, необх... помощь... Голод... торопись экспедиц...»

— Гарин, это — Гарин! — закричал Шельга. В это время на двор клуба, треща и стреляя, влетел мотоциклет уголовного розыска, и голос агента крикнул снизу:

— Товарищ Шельга, вам — срочная...

Это была телеграмма Гарина из Парижа.

29

Золотой карандашик коснулся блокнота:

— Ваша фамилия, сударь?

— Пьянков-Питкевич.

— Цель вашего посещения?..

— Передайте мистеру Роллингу,— сказал Гарин,— что мне поручено вести переговоры об известном ему аппарате инженера Гарина.

Секретарь мгновенно исчез. Через минуту Гарин входил через ореховую дверь в кабинет химического короля. Роллинг писал. Не поднимая глаз, предложил сесть. Затем — не поднимая глаз:

— Мелкие денежные операции проходят через моего секретаря,— слабой рукой он схватил пресс-папье и стукнул по написанному,— тем не менее я готов слушать вас. Даю две минуты. Что нового об инженере Гарине?

Положив ногу на ногу, сильно вытянутые руки — на колено, Гарин сказал:

— Инженер Гарин хочет знать, известно ли вам в точности назначение его аппарата?

— Да,— ответил Роллинг,— для промышленных целей, насколько мне известно, аппарат представляет не-

который интерес. Я говорил кое с кем из членов правления нашего концерна,— они согласны приобрести патент.

— Аппарат не предназначен для промышленных целей,— резко ответил Гарин,— это аппарат для разрушения. Он с успехом, правда, может служить для металлургической и горной промышленности. Но в настоящее время у инженера Гарина замыслы иного порядка.

— Политические?

— Э... Политика мало интересует инженера Гарина. Он надеется установить именно тот социальный строй, какой ему более всего придется по вкусу. Политика — мелочь, функция.

— Где установить?

— Повсюду, разумеется, на всех пяти материках.

— Ого! — сказал Роллинг.

— Инженер Гарин не коммунист, успокойтесь. Но он и не совсем ваш. Повторяю — у него обширные замыслы. Аппарат инженера Гарина дает ему возможность осуществить на деле самую горячечную фантазию. Аппарат уже построен, его можно демонстрировать хотя бы сегодня.

— Гм! — сказал Роллинг.

— Гарин следил за вашей деятельностью, мистер Роллинг, и находит, что у вас неплохой размах, но вам не хватает большой идеи. Ну — химический концерн. Ну — воздушно-химическая война. Ну — превращение Европы в американский рынок... Все это мелко, нет центральной идеи. Инженер Гарин предлагает вам сотрудничество.

— Вы или он — сумасшедший? — спросил Роллинг.

Гарин рассмеялся, сильно потер пальцем сбоку носа.

— Видите — хорошо уж и то, что вы слушаете меня не две, а девять с половиной минут.

— Я готов предложить инженеру Гарину пятьдесят тысяч франков за патент его изобретения,— сказал Роллинг, снова принимаясь писать.

— Предложение нужно понимать так: силой или хитростью вы намерены овладеть аппаратом, а с Гариным расправиться так же, как с его помощником на Крестовском острове?

Роллинг быстро положил перо, только два красных пятна на его скулах выдали волнение. Он взял с пепельницы курившуюся сигару, откинулся в кресло и посмотрел на Гарина ничего не выражающими, мутными глазами.

— Если предположить, что именно так я и намерен поступить с инженером Гариным, что из этого вытекает?

— Вытекает то, что Гарин, видимо, ошибся.

— В чем?

— Предполагая, что вы негодяй более крупного масштаба,— Гарин проговорил это раздельно, по слогам, глядя весело и дерзко на Роллинга. Тот только выпустил синий дымок и осторожно помахал сигарой у носа.

— Глупо делить с инженером Гариным барыши, когда я могу взять все сто процентов,— сказал он.— Итак, чтобы кончить, я предлагаю сто тысяч франков, и ни сантима больше.

— Право, мистер Роллинг, вы как-то все сбиваетесь. Вы же ничем не рискуете. Ваши агенты Семенов и Тыклинский проследили, где живет Гарин. Донесите полиции, и его арестуют как большевистского шпиона. Аппарат и чертежи украдут те же Тыклинский и Семенов. Все это будет стоить вам не свыше пяти тысяч. А Гарина, чтобы он не пытался в дальнейшем восстановить чертежи,— всегда можно отправить по этапу в Россию через Польшу, где его прихлопнут на границе. Просто и дешево. Зачем же сто тысяч франков?

Роллинг поднялся, покосился на Гарина и стал ходить, утопая лакированными туфлями в серебристом ковре. Вдруг он вытащил руку из кармана и щелкнул пальцами.

— Дешевая игра,— сказал он,— вы врете. Я продумал вперед на пять ходов всевозможные комбинации. Опасности никакой. Вы просто дешевый шарлатан. Игра Гарина — мат. Он это знает и прислал вас торговаться. Я не дам и двух луидоров за его патент. Гарин выслежен и попался. (Он живо взглянул на часы, живо сунул их в жилетный карман.) Убирайтесь к черту!

Гарин в это время тоже поднялся и стоял у стола, опустив голову. Когда Роллинг послал его к черту, он провел рукой по волосам и проговорил упавшим голосом, будто человек, неожиданно попавший в ловушку:

— Хорошо, мистер Роллинг, я согласен на все ваши условия. Вы говорите о ста тысячах...

— Ни сантима! — крикнул Роллинг.— Убирайтесь, или вас вышвырнут!

Гарин запустил пальцы за воротник, глаза его начали закатываться. Он пошатнулся. Роллинг заревел:

— Без фокусов! Вон!

Гарин захрипел и повалился боком на стол. Правая рука его ударилась в исписанные листы бумаги и судорожно стиснула их. Роллинг подскочил к электрическому звонку. Мгновенно появился секретарь...

— Вышвырните этого субъекта...

Секретарь присел, как барс, изящные усики ощетинились, под тонким пиджаком налились стальные мускулы... Но Гарин уже отходил от стола — бочком, бочком, кланяясь Роллингу. Бегом спустился по мраморной лестнице на бульвар Мальзерб, вскочил в наемную машину с поднятым верхом, крикнул адрес, поднял оба окошка, спустил зеленые шторы и коротко, резко рассмеялся.

Из кармана пиджака он вынул скомканную бумагу и осторожно расправил ее на коленях. На хрустящем листе (вырванном из большого блокнота) крупным почерком Роллинга были набросаны деловые заметки на сегодняшний день. Видимо, в ту минуту, когда в кабинет вошел Гарин, рука насторожившегося Роллинга стала писать машинально, выдавая тайные мысли. Три раза, одно под другим было написано: «Улица Гобеленов, шестьдесят три, инженер Гарин». (Это был новый адрес Виктора Ленуара, только что сообщенный по телефону Семеновым.) Затем: «Пять тысяч франков — Семенову...»

— Удача! Черт! Вот удача! — шептал Гарин, осторожно разглаживая листочки на коленях.

30

Через десять минут Гарин выскочил из автомобиля на бульваре Сен-Мишель. Зеркальные окна в кафе «Пантеон» были подняты. В глубине за столиком сидел Виктор Ленуар. Увидев Гарина, поднял руку и щелкнул пальцами.

Гарин поспешно сел за его столик — спиной к свету. Казалось, он сел против зеркала: такая же была у Виктора Ленуара продолговатая бородка, мягкая шляпа, галстук бабочкой, пиджак в полоску.

— Поздравь — удача! Необычайно! — сказал Гарин, смеясь глазами.— Роллинг пошел на все. Предварительные расходы несет единолично. Когда начнется эксплуатация, пятьдесят процентов вала — ему, пятьдесят — нам.

— Ты подписал контракт?

— Подписываем через два-три дня. Демонстрацию аппарата придется отложить. Роллинг поставил условие — подписать только после того, как своими глазами увидит работу аппарата.

— Ставишь бутылку шампанского?

— Две, три, дюжину.

— А все-таки — жаль, что эта акула проглотит у нас половину доходов,— сказал Ленуар, подзывая лакея.— Бутылку Ирруа, самого сухого...

— Без капитала все равно мы не развернемся. Вот, Виктор, если бы удалось мое камчатское предприятие,— десять Роллингов послали бы к чертям.

— Какое камчатское предприятие?

Лакей принес вино и бокалы, Гарин закурил сигару, откинулся на соломенном стуле и, покачиваясь, жмурясь, стал рассказывать:

— Ты помнишь Манцева Николая Христофоровича, геолога? В пятнадцатом году он разыскал меня в Петрограде. Он только что вернулся с Дальнего Востока, испугавшись мобилизации, и попросил моей помощи, чтобы не попасть на фронт.

— Манцев служил в английской золотой компании?

— Производил разведки на Лене, на Алдане, за-

тем в Колыме. Рассказывал чудеса. Они находили прямо под ногами самородки в пятнадцать килограммов... Вот тогда именно у меня зародилась идея, генеральная идея моей жизни... Это очень дерзко, даже безумно, но я верю в это. А раз верю — сам сатана меня не остановит. Видишь ли, мой дорогой, единственная вещь на свете, которую я хочу всеми печенками,— это власть... Не какая-нибудь королевская, императорская,— мелко, пошло, скучно. Нет, власть абсолютная... Когда-нибудь подробно расскажу тебе о моих планах. Чтобы властвовать — нужно золото. Чтобы властвовать, как я хочу, нужно золота больше, чем у всех индустриальных, биржевых и прочих королей вместе взятых...

— Действительно, у тебя планы смелые,— весело засмеявшись, сказал Ленуар.

— Но я на верном пути. Весь мир будет у меня — вот! — Гарин сжал в кулак маленькую руку.— Вехи на моем пути — это гениальный Манцев Николай Христофорович, затем Роллинг, вернее — его миллиарды, и, в-третьих,— мой гиперболоид...

— Так что же Манцев?

— Тогда же, в пятнадцатом году, я мобилизовал все свои деньжонки, больше нахальством, чем подкупом, освободил Манцева от воинской повинности и послал его с небольшой экспедицией на Камчатку, в чертову глушь... До семнадцатого года он мне еще писал: работа его была тяжелая, труднейшая, условия собачьи... С восемнадцатого года — сам понимаешь — след его потерялся... От его изысканий зависит все...

— Что он там ищет?

— Он ничего не ищет... Манцев должен только подтвердить мои теоретические предположения. Побережье Тихого океана — азиатское и американское — представляет края древнего материка, опустившегося на дно океана. Такая гигантская тяжесть должна была сказаться на распределении глубоких горных пород, находящихся в расплавленном состоянии... Цепи действующих вулканов Южной Америки — в Андах и Кордильерах, вулканы Японии и, наконец, Камчатки подтверждают то, что расплавленные породы Оливинового пояса — золото, ртуть, оливин и прочее — по краям

Тихого океана гораздо ближе к поверхности земли, чем в других местах земного шара... [1] Понятно тебе?

— Не понимаю, тебе-то зачем этот Оливиновый пояс?

— Чтобы владеть миром, дорогой мой... Ну, выпьем. За успех...

31

В черной шелковой кофточке, какие носят мидинетки, в короткой юбке, напудренная, с подведенными ресницами, Зоя Монроз соскочила с автобуса у ворот Сен-Дени, перебежала шумную улицу и вошла в огромное, выходящее на две улицы кафе «Глобус» — приют всевозможных певцов и певичек с Монмартра, актеров и актрисок средней руки, воров, проституток и анархически настроенных молодых людей из тех, что с десятью су бегают по бульварам, облизывая пересохшие от лихорадки губы, вожделея женщин, ботинки, шелковое белье и все на свете...

Зоя Монроз отыскала свободный столик. Закурила папироску, положила ногу на ногу. Сейчас же близко прошел человек с венерическими коленками,— пробормотал сиповато: «Почему такая сердитая, крошка?» Она отвернулась. Другой, за столиком, прищурясь, показал язык. Еще один разлетелся, будто по ошибке: «Ки-ки, наконец-то...» Зоя коротко послала его к черту.

Видимо, на нее здесь сильно клевали, хотя она и постаралась принять вид уличной девчонки. В кафе «Глобус» был нюх на женщин. Она приказала гарсону подать литр красного и села перед налитым стаканом, подперев щеки. «Нехорошо, малютка, ты начинаешь спиваться»,— сказал старичок актер, проходя мимо, потрепав ее по спине.

Она выкурила уже три папиросы. Наконец, не спеша, подошел тот, кого она ждала,— угрюмый, плотный человек, с узким, заросшим лбом и холодными гла-

---

[1] Существует предположение, что между земной корой и твердым центральным ядром земли есть слой расплавленных металлов — так называемый Оливиновый пояс.

зами. Усы его были приподняты, цветной воротник врезывался в сильную шею. Он был отлично одет — без лишнего шика. Сел. Коротко поздоровался с Зоей. Поглядел вокруг, и кое-кто опустил глаза. Это был Гастон Утиный Нос, в прошлом — вор, затем бандит из шайки знаменитого Боно. На войне он выслужился до унтерофицера и после демобилизации перешел на спокойную работу кота крупного масштаба.

Сейчас он состоял при небезызвестной Сюзанне Бурж. Но она отцветала. Она опускалась на ту ступень, которую Зоя Монроз давно уже перешагнула. Гастон Утиный Нос говорил:

— У Сюзанны хороший материал, но никогда использовать его она не сможет. Сюзанна не чувствует современности. Экое диво—кружевные панталоны и утренняя ванна из молока. Старо,— для провинциальных пожарных. Нет, клянусь горчичным газом, который выжег мне спину у дома паромщика на Изере,— современная проститутка, если хочет быть шикарной, должна поставить в спальне радиоаппарат, учиться боксу, стать колючей, как военная проволока, тренированной, как восемнадцатилетний мальчишка, уметь ходить на руках и прыгать с двадцати метров в воду. Она должна посещать собрания фашистов, разговаривать об отравляющих газах и менять любовников каждую неделю, чтобы не приучить их к свинству. А моя, изволите ли видеть, лежит в молочной ванне, как норвежская семга, и мечтает о сельскохозяйственной ферме в четыре гектара. Пошлая дура,— у нее за плечами публичный дом.

К Зое Монроз он относился с величайшим уважением. Встречаясь в ночных ресторанах, почтительно предлагал ей протанцевать и целовал руку, что делал единственной женщине в Париже. Зоя едва кланялась небезызвестной Сюзанне Бурж, но с Гастоном поддерживала дружбу, и он время от времени выполнял наиболее щекотливые из ее поручений.

Сегодня она спешно вызвала Гастона в кафе «Глобус» и появилась в обольстительном виде уличной мидинетки. Гастон только стиснул челюсти, но вел себя так, как было нужно.

Потягивая кислое вино, жмурясь от дыма трубки, он хмуро слушал, что ему говорила Зоя. Окончив, она хрустнула пальцами. Он сказал:

— Но это — опасно.

— Гастон, если это удастся, вы навсегда обеспеченный человек.

— Ни за какие деньги, сударыня, ни за мокрое, ни за сухое дело я теперь не возьмусь: не те времена. Сегодня апаши предпочитают служить в полиции, а профессиональные воры — издавать газеты и заниматься политикой. Убивают и грабят только новички, провинциалы да мальчишки, получившие венерическую болезнь. И немедленно записываются в полицию. Что поделаешь — зрелым людям приходится оставаться в спокойных гаванях. Если вы хотите меня нанять за деньги — я откажусь. Другое — сделать это для вас. Тут я бы мог рискнуть свернуть себе шею.

Зоя выпустила дымок из уголка пунцовых губ, улыбнулась нежно и положила красивую руку на рукав Утиного Носа.

— Мне кажется,— мы с вами договоримся.

У Гастона дрогнули ноздри, зашевелились усы. Он прикрыл синеватыми веками нестерпимый блеск выпуклых глаз.

— Вы хотите сказать, что я теперь же мог бы освободить Сюзанну от моих услуг?

— Да, Гастон.

Он перегнулся через стол, стиснул бокал в кулаке.

— Мои усы будут пахнуть вашей кожей?

— Я думаю, что этого не избежать, Гастон.

— Ладно.— Он откинулся.— Ладно. Будет все, как вы хотите.

32

Обед окончен. Кофе со столетним коньяком выпито. Двухдолларовая сигара — «Корона Коронас» — выкурена до половины, и пепел ее не отвалился. Наступил мучительный час: куда ехать «дальше», каким сатанинским смычком сыграть на усталых нервах что-нибудь веселенькое?

Роллинг потребовал афишу всех парижских развлечений.

— Хотите танцевать?

— Нет,— ответила Зоя, закрывая мехом половину лица.

— Театр, театр, театр,— читал Роллинг. Все это было скучно: трехактная разговорная комедия, где актеры от скуки и отвращения даже не гримируются, актрисы в туалетах от знаменитых портных глядят в зрительный зал пустыми глазами.

— Обозрение. Обозрение. Вот: «Олимпия» — сто пятьдесят голых женщин в одних туфельках и чудо техники: деревянный занавес, разбитый на шахматные клетки, в которых при поднятии и опускании стоят совершенно голые женщины. Хотите — поедем?

— Милый друг, они все кривоногие — девчонки с бульваров.

— «Аполло». Здесь мы не были. Двести голых женщин в одних только... Это мы пропустим. «Ска́ла». Опять женщины. Так, так. Кроме того, «Всемирно известные музыкальные клоуны Пим и Джек».

— О них говорят,— сказала Зоя,— поедемте.

Они заняли литерную ложу у сцены. Шло обозрение.

Непрерывно двигающийся молодой человек в отличном фраке и зрелая женщина в красном, в широкополой шляпе и с посохом говорили добродушные колкости правительству, невинные колкости шефу полиции, очаровательно подсмеивались над высоковалютными иностранцами, впрочем, так, чтобы они не уехали сейчас же после этого обозрения совсем из Парижа и не отсоветовали бы своим друзьям и родственникам посетить веселый Париж.

Поболтав о политике, непрерывно двигающий ногами молодой человек и дама с посохом воскликнули: «Гоп, ля-ля». И на сцену выбежали голые, как в бане, очень белые, напудренные девушки. Они выстроились в живую картину, изображающую наступающую армию. В оркестре мужественно грянули фанфары и сигнальные рожки.

— На молодых людей это должно действовать,— сказал Роллинг.

Зоя ответила:

— Когда женщин так много, то не действует.

Затем занавес опустился и вновь поднялся. Занимая половину сцены, у рампы стоял бутафорский рояль. Застучали деревянные палочки джаз-банда, и появились Пим и Джек. Пим, как полагается,— в невероятном фраке, в жилете по колено, сваливающиеся штаны, аршинные башмаки, которые сейчас же от него убежали (аплодисменты), морда — доброго идиота. Джек — обсыпан мукой, в войлочном колпаке, на заду — летучая мышь.

Сначала они проделывали все, что нужно, чтобы смеяться до упаду, Джек бил Пима по морде, и тот выпускал сзади облако пыли, потом Джек бил Пима по черепу, и у того вскакивал гуттаперчевый волдырь.

Джек сказал: «Послушай, хочешь — я тебе сыграю на этом рояле?» Пим страшно засмеялся, сказал: «Ну, сыграй на этом рояле»,—и сел поодаль. Джек изо всей силы ударил по клавишам — у рояля отвалился хвост. Пим опять страшно много смеялся. Джек второй раз ударил по клавишам — у рояля отвалился бок. «Это ничего»,— сказал Джек и дал Пиму по морде. Тот покатился через всю сцену, упал (барабан — бумм). Встал: «Это ничего»; выплюнул пригоршню зубов, вынул из кармана метелку и совок, каким собирают навоз на улицах, почистился. Тогда Джек в третий раз ударил по клавишам, рояль рассыпался весь, под ним оказался обыкновенный концертный рояль. Сдвинув на нос войлочный колпачок, Джек с непостижимым искусством, вдохновенно стал играть «Кампанеллу» Листа.

У Зои Монроз похолодели руки. Обернувшись к Роллингу, она прошептала:

— Это великий артист.

— Это ничего,— сказал Пим, когда Джек кончил играть,— теперь ты послушай, как я сыграю.

Он стал вытаскивать из различных карманов дамские панталоны, старый башмак, клистирную трубку, живого котенка (аплодисменты), вынул скрипку и, по-

вернувшись к зрительному залу скорбным лицом доброго идиота, заиграл бессмертный этюд Паганини.

Зоя поднялась, перекинула через шею соболий мех, сверкнула бриллиантами.

— Идемте, мне противно. К сожалению, я когда-то была артисткой.

— Крошка, куда же мы денемся! Половина одиннадцатого.

— Едемте пить.

33

Через несколько минут их лимузин остановился на Монмартре, на узкой улице, освещенной десятью окнами притона «Ужин Короля». В низкой, пунцового шелка, с зеркальным потолком и зеркальными стенами, жаркой и накуренной зале, в тесноте, среди летящих лент серпантина, целлулоидных шариков и конфетти, покачивались в танце женщины, перепутанные бумажными лентами, обнаженные по пояс, к их гримированным щекам прижимались багровые и бледные, пьяные, испитые, возбужденные мужские лица. Трещал рояль. Выли, визжали скрипки, и три негра, обливаясь потом, били в тазы, ревели в автомобильные рожки, трещали дощечками, звонили, громыхали тарелками, лупили в турецкий барабан. Чье-то мокрое лицо придвинулось вплотную к Зое. Чьи-то женские руки обвились вокруг шеи Роллинга.

— Дорогу, дети мои, дорогу химическому королю,— надрываясь, кричал метрдотель, с трудом отыскал место за узким столом, протянутым вдоль пунцовой стены, и усадил Зою и Роллинга. В них полетели шарики, конфетти, серпантин.

— На вас обращают внимание,— сказал Роллинг.

Зоя, полуопустив веки, пила шампанское. Ей было душно и влажно под легким шелком, едва прикрывающим ее груди. Целлулоидный шарик ударился ей в щеку.

Она медленно повернула голову,— чьи-то темные, словно обведенные угольной чертой, мужские глаза глядели на нее с мрачным восторгом. Она подалась

вперед, положила на стол голые руки и впитывала этот взгляд, как вино: не все ли равно — чем опьяняться?

У человека, глядевшего на нее, словно осунулось лицо за эти несколько секунд. Зоя опустила подбородок в пальцы, вдвинутые в пальцы, исподлобья встретила в упор этот взгляд... Где-то она видела этого человека. Кто он такой? — ни француз, ни англичанин. В темной бородке запутались конфетти. Красивый рот. «Любопытно, Роллинг ревнив?» — подумала она.

Лакей, протолкнувшись сквозь танцующих, подал ей записочку. Она изумилась, откинулась на спинку дивана. Покосилась на Роллинга, сосавшего сигару, прочла:

«Зоя, тот, на кого вы смотрите с такой нежностью,— Гарин... Целую ручку. Семенов».

Она, должно быть, так страшно побледнела, что неподалеку чей-то голос проговорил сквозь шум: «Смотрите, даме дурно». Тогда она протянула пустой бокал, и лакей налил шампанского.

Роллинг сказал:

— Что вам написал Семенов?

— Я скажу после.

— Он написал что-нибудь о господине, который нагло разглядывает вас? Это тот, кто был у меня вчера. Я его выгнал.

— Роллинг, разве вы не узнаете его?.. Помните, на площади Этуаль?.. Это — Гарин.

Роллинг только сопнул. Вынул сигару — «Ага». Вдруг лицо его приняло то самое выражение, когда он бегал по серебристому ковру кабинета, продумывая на пять ходов вперед все возможные комбинации борьбы. Тогда он бойко щелкнул пальцами. Сейчас он повернулся к Зое искаженным ртом.

— Поедем, нам нужно серьезно поговорить.

В дверях Зоя обернулась. Сквозь дым и путаницу серпантина она снова увидела горящие глаза Гарина. Затем — непонятно, до головокружения — лицо его раздвоилось: кто-то, сидевший перед ним, спиной к танцующим, придвинулся к нему, и оба они глядели на Зою. Или это был обман зеркал?..

На секунду Зоя зажмурилась и побежала вниз по

истертому кабацкому ковру к автомобилю. Роллинг поджидал ее. Захлопнув дверцу, он коснулся ее руки:

— Я не все рассказал вам про свидание с этим мнимым Пьянковым-Питкевичем... Кое-что осталось мне непонятным: для чего ему понадобилось разыгрывать истерику? Не мог же он предполагать, что у меня найдется капля жалости... Все его поведение — подозрительно. Но зачем он ко мне приходил?.. Для чего повалился на стол?..

— Роллинг, этого вы не рассказывали...

— Да, да.. Опрокинул часы... Измял мои бумаги...

— Он пытался похитить ваши бумаги?

— Что? Похитить? — Роллинг помолчал.— Нет, это было не так. Он потерял равновесие и ударился рукой в бювар... Там лежало несколько листков...

— Вы уверены, что ничего не пропало?

— Это были ничего не значащие заметки. Они оказались смятыми, я бросил их потом в корзину.

— Умоляю, припомните до мелочей весь разговор...

Лимузин остановился на улице Сены. Роллинг и Зоя прошли в спальню. Зоя быстро сбросила платье и легла в широкую лепную, на орлиных ногах, кровать под парчовым балдахином — одну из подлинных кроватей императора Наполеона Первого. Роллинг, медленно раздеваясь, расхаживал по ковру и, оставляя части одежды на золоченых стульях, на столиках, на каминной полке, рассказывал с мельчайшими подробностями о вчерашнем посещении Гарина.

Зоя слушала, опираясь на локоть. Роллинг начал стаскивать штаны и запрыгал на одной ноге. В эту минуту он не был похож на короля. Затем он лег, сказал: «Вот решительно все, что было»,— и натянул атласное одеяло до носа. Голубоватый ночник освещал пышную спальню, разбросанные одежды, золотых амуров на столбиках кровати и уткнувшийся в одеяло мясистый нос Роллинга. Голова его ушла в подушку, рот полураскрылся, химический король заснул.

Этот посапывающий нос в особенности мешал Зое думать. Он отвлекал ее совсем на другие, ненужные воспоминания. Она встряхивала головой, отгоняла их, а вместо Роллинга чудилась другая голова на подушке.

Ей надоело бороться, она закрыла глаза, усмехнулась. Выплыло побледневшее от волнения лицо Гарина... «Быть может, позвонить Гастону Утиный Нос, чтобы обождал?» Вдруг точно игла прошла сквозь нее: «С ним сидел двойник... Так же, как в Ленинграде...»

Она выскользнула из-под одеяла, торопливо натянула чулки. Роллинг замычал было во сне, но только повернулся на бок.

Зоя пробежала в гардеробную. Надела юбки, дождевое пальто, туго подпоясалась. Вернулась в спальню за сумочкой, где были деньги...

— Роллинг,— тихо позвала она,— Роллинг... Мы погибли...

Но он опять только замычал. Она спустилась в вестибюль и с трудом открыла высокие выходные двери. Улица Сены была пуста. В узком просвете над крышами мансард стояла тусклая желтоватая луна. Зою охватила тоска. Она глядела на этот лунный шар над спящим городом... «Боже, боже, как страшно, как мрачно...» Обеими руками она глубоко надвинула шапочку и побежала к набережной.

34

Старый трехэтажный дом, номер шестьдесят три по улице Гобеленов, одною стеной выходил на пустырь. С этой стороны окна были только на третьем этаже — мансарде. Другая, глухая стена примыкала к парку. По фасаду на улицу, в первом этаже, на уровне земли, помещалось кафе для извозчиков и шоферов. Второй этаж занимала гостиница для ночных свиданий. В третьем этаже — мансарде — сдавались комнаты постоянным жильцам. Ход туда вел через ворота и длинный туннель.

Был второй час ночи. На улице Гобеленов — ни одного освещенного окна. Кафе уже закрыто,— все стулья поставлены на столы. Зоя остановилась у ворот, с минуту глядела на номер шестьдесят три. Было холодно спине. Решилась. Позвонила. Зашуршала веревка, ворота приоткрылись. Она проскользнула в темную под-

воротню. Издалека голос привратницы проворчал: «Ночью надо спать, возвращаться надо вовремя». Но не спросил, кто вошел.

Здесь были порядки притона. Зою охватила страшная тревога. Перед ней тянулся низкий мрачный туннель. В корявой стене, цвета бычьей крови, тускло светил газовый рожок. Указания Семенова были таковы: в конце туннеля — налево — по винтовой лестнице — третий этаж — налево — комната одиннадцать.

Посреди туннеля Зоя остановилась. Ей показалось, что вдалеке, налево, кто-то быстро выглянул и скрылся. Не вернуться ли? Она прислушалась — ни звука. Она добежала до поворота на вонючую площадку. Здесь начиналась узкая, едва освещенная откуда-то сверху, винтовая лестница. Зоя пошла на цыпочках, боясь притронуться к липким перилам.

Весь дом спал. На площадке второго этажа облупленная арка вела в темный коридор. Поднимаясь выше, Зоя обернулась, и снова показалось ей, что из-за арки кто-то выглянул и скрылся... Только это был не Гастон Утиный Нос... «Нет, нет, Гастон еще не был, не мог здесь быть, не успел...»

На площадке третьего этажа горел газовый рожок, освещая коричневую стену с надписями и рисуночками, говорившими о неутоленных желаниях. Если Гарина нет дома, она будет ждать его здесь до утра. Если он дома, спит,— она не уйдет, не получив того, что он взял со стола на бульваре Мальзерб.

Зоя сняла перчатки, слегка поправила волосы под шапочкой и пошла налево по коридору, загибавшему коленом. На пятой двери крупно, белой краской, стояло — 11. Зоя нажала ручку, дверь легко отворилась.

В небольшую комнату, в открытое окно падал лунный свет. На полу валялся раскрытый чемодан. Жестко белели разбросанные бумаги. У стены, между умывальником и комодом, сидел на полу человек в одной сорочке, голые коленки его были подняты, огромными казались босые ступни... Луной освещена была половина лица, блестел широко открытый глаз и белели зубы,—

человек улыбался. Приоткрыв рот, без дыхания, Зоя глядела на неподвижно смеющееся лицо,— это был Гарин.

Сегодня утром в кафе «Глобус» она сказала Гастону Утиный Нос: «Укради у Гарина чертежи и аппарат и, если можно, убей». Сегодня вечером она видела сквозь дымку над бокалом шампанского глаза Гарина и почувствовала: поманит такой человек—она все бросит, забудет, пойдет за ним. Ночью, поняв опасность и бросившись разыскивать Гастона, чтобы предупредить его, она сама еще не сознавала, что погнало ее в такой тревоге по ночному Парижу, из кабака в кабак, в игорные дома, всюду, где мог быть Гастон, и привело, наконец, на улицу Гобеленов. Какие чувства заставили эту умную, холодную, жестокую женщину отворить дверь в комнату человека, обреченного ею на смерть?

Она глядела на зубы и выкаченный глаз Гарина. Хрипло, негромко вскрикнула, подошла и наклонилась над ним. Он был мертв. Лицо посиневшее. На шее вздутые царапины. Это было то лицо — осунувшееся, притягивающее, с взволнованными глазами, с конфетти в шелковистой бородке... Зоя схватилась за ледяной мрамор умывальника, с трудом поднялась. Она забыла, зачем пришла. Горькая слюна наполнила рот. «Не хватает еще — грохнуться без чувств». Последним усилием она оторвала пуговицу на душившем ее воротнике. Пошла к двери. В дверях стоял Гарин.

Так же, как и у того — на полу, у него блестели зубы, открытые застывшей улыбкой. Он поднял палец и погрозил. Зоя поняла, сжала рот рукой, чтобы не закричать. Сердце билось, будто вынырнуло из-под воды... «Жив, жив...»

— Убит не я,— шепотом сказал Гарин, продолжая грозить,— вы убили Виктора Ленуара, моего помощника... Роллинг пойдет на гильотину...

— Жив, жив,— хриповато проговорила она.

Он взял ее за локти. Она сейчас же закинула голову, вся подалась, не сопротивляясь. Он притянул ее к себе и, чувствуя, что женщину не держат ноги, обхватил ее за плечи.

— Зачем вы здесь?..

— Я искала Гастона...

— Кого, кого?

— Того, кому приказала вас убить...

— Я это предвидел,— сказал он, глядя ей в глаза.

Она ответила как во сне:

— Если бы Гастон вас убил, я бы покончила с собой...

— Не понимаю...

Она повторила за ним, точно в забытьи, нежным, угасающим голосом:

— Не понимаю сама...

Странный разговор этот происходил в дверях. В окне луна садилась за графитовую крышу. У стены скалил зубы Ленуар. Гарин проговорил тихо:

— Вы пришли за автографом Роллинга?

— Да. Пощадите.

— Кого? Роллинга?

— Нет. Меня. Пощадите,— повторила она.

— Я пожертвовал другом, чтобы погубить вашего Роллинга... Я такой же убийца, как вы... Щадить?.. Нет, нет...

Внезапно он вытянулся, прислушиваясь. Резким движением увлек Зою за дверь. Продолжая сжимать ее руку выше локтя, выглянул за арку на лестницу...

— Идемте. Я выведу вас отсюда через парк. Слушайте, вы изумительная женщина,— глаза его блеснули сумасшедшим юмором,— наши дорожки сошлись... Вы чувствуете это?..

Он побежал вместе с Зоей по винтовой лестнице. Она не сопротивлялась, оглушенная странным чувством, поднявшимся в ней, как в первый раз забродившее мутное вино.

На нижней площадке Гарин свернул куда-то в темноту, остановился, зажег восковую спичку и с усилием открыл ржавый замок, видимо, много лет не отпиравшейся двери.

— Как видите,— все предусмотрено.— Они вышли под темные, сыроватые деревья парка. В то же время с улицы в ворота входил отряд полиции, вызванный четверть часа тому назад Гариным по телефону.

35

Шельга хорошо помнил «проигранную пешку» на даче на Крестовском. Тогда (на бульваре Профсоюзов) он понял, что Пьянков-Питкевич непременно придет еще раз на дачу за тем, что было спрятано у него в подвале. В сумерки (того же дня) Шельга пробрался на дачу, не потревожив сторожа, и с потайным фонарем спустился в подвал. «Пешка» сразу была проиграна: в двух шагах от люка в кухне стоял Гарин. За секунду до появления Шельги он выскочил с чемоданом из подвала и стоял, распластавшись по стене за дверью. Он с грохотом захлопнул за Шельгою люк и принялся заваливать его мешками с углем. Шельга, подняв фонарик, глядел с усмешкой, как сквозь щели люка сыплется мусор. Он намеревался войти в мирные переговоры. Но внезапно наверху настала тишина. Послышались убегающие шаги, затем — грянули выстрелы, затем — дикий крик. Это была схватка с четырехпалым. Через час появилась милиция.

Проиграв «пешку», Шельга сделал хороший ход. Прямо из дачи он кинулся на милицейском автомобиле в яхтклуб, разбудил дежурного по клубу, всклокоченного морского человека с хриплым голосом, и спросил в упор:

— Какой ветер?

Моряк, разумеется, не задумываясь, отвечал:

— Зюйд-вест.

— Сколько баллов?

— Пять.

— Вы ручаетесь, что все яхты стоят на местах?

— Ручаюсь.

— Какая у вас охрана при яхтах?

— Петька, сторож.

— Разрешите осмотреть боны.

— Есть осмотреть боны,— ответил моряк, едва попадая спросонок в рукава морской куртки.

— Петька,— крикнул он спиртовым голосом, выходя с Шельгой на веранду клуба. (Никто не ответил.) — Непременно спит где-нибудь, тяни его за ногу,— сказал моряк, поднимая воротник от ветра.

Сторожа нашли неподалеку в кустах,— он здорово храпел, закрыв голову бараньим воротником тулупа. Моряк выразился. Сторож крякнул, встал. Пошли на боны, где над стальной, уже засиневшей водой покачивался целый лес мачт. Била волна. Дул крепкий, со шквалами, ветер.

— Вы уверены, что все яхты на месте? — опять спросил Шельга.

— Не хватает «Ориона», он в Петергофе... Да в Стрельну загнали два судна.

Шельга дошел по брызжущим доскам до края бонов и здесь поднял кусок причала,— один конец его был привязан к кольцу, другой явно отрезан. Дежурный не спеша осмотрел причал. Сдвинул зюйдвестку на нос. Ничего не сказал. Пошел вдоль бонов, считая пальцем яхты. Рубанул рукой по ветру. А так как клубной дисциплиной запрещалось употребление военно-империалистических слов, то ограничился одними боковыми выражениями:

— Не так и не мать! — закричал он с невероятной энергией.— Шкот ему в глотку! Увели «Бибигонду», лучшее гоночное судно, разорви его в душу, сукиного сына, смоляной фал ему куда не надо... Петька, чтобы тебе тридцать раз утонуть в тухлой воде, что же ты смотрел, паразит, деревенщина паршивая? «Бибигонду» увели, так и не так и не мать...

Сторож Петька ахал, дивился, бил себя по бокам бараньими рукавами. Моряк неудержимо мчался фордевиндом по неизведанным безднам великорусского языка. Здесь делать больше было нечего. Шельга поехал в гавань.

Прошло часа три по крайней мере, покуда он на быстроходном сторожевом катере не вылетел в открытое море. Била сильная волна. Катер зарывался. Водяная пыль туманила стекла бинокля. Когда поднялось солнце — в финских водах, далеко за маяком,— вблизи берега был замечен парус. Это билась среди подводных камней несчастная «Бибигонда». Палуба ее была покинута. С катера дали несколько выстрелов для порядка,— пришлось вернуться ни с чем.

Так бежал через границу Гарин, выиграв в ту ночь еще одну пешку. Об участии в этой игре четырехпалого было известно только ему и Шельге. По этому случаю у Шельги, на обратном пути в гавань, ход мыслей был таков:

«За границей Гарин либо продаст, либо сам будет на свободе эксплуатировать таинственный аппарат. Изобретение это для Союза пока потеряно, и, кто знает, не должно ли оно сыграть в будущем роковой роли. Но за границей у Гарина есть острастка — четырехпалый. Покуда борьба с ним не кончена, Гарин не посмеет вылезть на свет с аппаратом. А если в этой борьбе стать на сторону Гарина, можно и выиграть в результате. Во всяком случае, самое дурацкое, что можно было бы придумать (и самое выгодное для Гарина),— это немедленно арестовать четырехпалого в Ленинграде». Вывод был прост: Шельга прямо из гавани приехал к себе на квартиру, надел сухое белье, позвонил в угрозыск о том, что «дело само собой ликвидировано», выключил телефон и лег спать, посмеиваясь над тем, как четырехпалый,— отравленный газами и, может быть, раненый,— удирает сейчас со всех ног из Ленинграда. Таков был контрудар Шельги в ответ на «потерянную пешку».

И вот — телеграмма (из Парижа): «Четырехпалый здесь. События угрожающие». Это был крик о помощи.

Чем дальше думал Шельга, тем ясней становилось — надо лететь в Париж. Он взял по телефону справку об отлете пассажирских аэропланов и вернулся на веранду, где сидели в нетемнеющих сумерках Тарашкин и Иван. Беспризорный мальчишка, после того как прочли у него на спине надпись чернильным карандашом, притих и не отходил от Тарашкина.

В просветы между ветвями с оранжевых вод долетали голоса, плеск весел, женский смех. Старые, как мир, дела творились под темными кущами леса на островах, где бессонно перекликались тревожными голосами какие-то птички, пощелкивали соловьи. Все живое, вынырнув из дождей и вьюг долгой зимы, торопилось жить, с веселой жадностью глотало хмельную прелесть этой ночи. Тарашкин обнял одной рукой Ивана за пле-

чи, облокотился о перила и не шевелился,— глядел сквозь просветы на воду, где неслышно скользили лодки.

— Ну, как же, Иван,— сказал Шельга, придвинув стул и нагибаясь к лицу мальчика,— где тебе лучше нравится: там ли, здесь ли? На Дальнем Востоке ты, чай, плохо жил, впроголодь?

Иван глядел на Шельгу, не мигая. Глаза его в сумерках казались печальными, как у старика. Шельга вытащил из жилетного кармана леденец и постучал им Ивану в зубы, покуда те не разжались,— леденец проскользнул в рот.

— Мы, Иван, с мальчишками хорошо обращаемся. Работать не заставляем, писем на спине не пишем, за семь тысяч верст под вагонами не посылаем никуда. Видишь, как у нас хорошо на островах, и это все, знаешь, чье? Это все мы детям отдали на вечные времена. И река, и острова, и лодки, и хлеба с колбасой,— ешь досыта — все твое...

— Так вы мальчишку собьете,— сказал Тарашкин.

— Ничего, не собью, он умный. Ты, Иван, откуда?

— Мы с Амура,— ответил Иван неохотно.— Мать померла, отца убили на войне.

— Как же ты жил?

— Ходил по людям, работал.

— Такой маленький?

— А чего же... Коней пас...

— Ну, а потом?

— Потом взяли меня...

— Кто взял?

— Одни люди. Им мальчишка был нужен,— на деревья лазать, грибы, орехи собирать, белок ловить для пищи, бегать, за чем пошлют...

— Значит, взяли тебя в экспедицию? (Иван моргнул, промолчал.) Далеко? Отвечай, не бойся. Мы тебя не выдадим. Теперь ты — наш брат...

— Восемь суток на пароходе плыли... Думали, живые не останемся. И еще восемь дней шли пешком. Покуда пришли на огнедышащую гору...

— Так, так,— сказал Шельга,— значит, экспедиция была на Камчатку.

— Ну да, на Камчатку... Жили мы там в лачуге... Про революцию долго ничего не знали. А когда узнали, трое ушли, потом еще двое ушли, жрать стало нечего. Остались он да я...

— Так, так, а кто «он»-то? Как его звали?

Иван опять насупился. Шельга долго его успокаивал, гладил по низко опущенной остриженной голове...

— Да ведь убьют меня за это, если скажу. Он обещался убить...

— Кто?

— Да Манцев же, Николай Христофорович... Он сказал: «Вот, я тебе на спине написал письмо, ты не мойся, рубашки, жилетки не снимай, хоть через год, хоть через два — доберись до Петрограда, найди Петра Петровича Гарина и ему покажи, что написано, он тебя наградит...»

— Почему же Манцев сам не поехал в Петроград, если ему нужно видеть Гарина?

— Большевиков боялся... Он говорил: «Они хуже чертей. Они меня убьют. Они, говорит, всю страну до ручки довели,— поезда не ходят, почты нет, жрать нечего, из города все разбежались...» Где ему знать,— он на горе сидит шестой год...

— Что он там делает, что ищет?

— Ну, разве он скажет? Только я знаю... (У Ивана весело, хитро заблестели глаза.) Золото под землей ищет...

— И нашел?

— Он-то? Конечно, нашел...

— Дорогу туда, на гору, где сидит Манцев, указать можешь, если понадобится?

— Конечно, могу... Только вы меня, смотрите, не выдавайте, а то он, знаешь, сердитый...

Шельга и Тарашкин с величайшим вниманием слушали рассказы мальчика. Шельга еще раз внимательно осмотрел надпись у него на спине. Затем сфотографировал ее.

— Теперь иди вниз, Тарашкин вымоет тебя мылом, ложись,— сказал Шельга.— Не было у тебя ничего: ни отца, ни матери, одно голодное пузо. Теперь все есть, всего по горло,— живи, учись, расти на здоровье.

Тарашкин тебя научит уму-разуму, ты его слушайся. Прощай. Дня через три увижу Гарина, поручение твое передам.

Шельга засмеялся, и скоро фонарик его велосипеда, подпрыгивая, пронесся за темными зарослями.

36

Сверкнули алюминиевые крылья высоко над зеленым аэродромом, и шестиместный пассажирский самолет скрылся за снежными облаками. Кучка провожающих постояла, задрав головы к лучезарной синеве, где лениво кружил стервятник да стригли воздух ласточки, но дюралюминиевая птица уже летела черт знает где.

Шесть пассажиров, сидя в поскрипывающих плетеных креслах, глядели на медленно падающую вниз лиловато-зеленую землю. Ниточками вились по ней дороги. Игрушечными — слегка наклонными — казались гнезда построек, колокольни. Справа, вдалеке, расстилалась синева воды.

Скользила тень от облака, скрывая подробности земной карты. А вот и само облако появилось близко внизу.

Прильнув к окнам, все шесть пассажиров улыбались несколько принужденными улыбками людей, умеющих владеть собой. Воздушное передвижение было еще внове. Несмотря на комфортабельную кабину, журналы и каталоги, разбросанные на откидных столиках, на видимость безопасного уюта,— пассажирам все же приходилось уверять себя, что в конце концов воздушное сообщение гораздо безопаснее, чем, например, пешком переходить улицу. То ли дело в воздухе. Встретишься с облаком — пронырнешь, лишь запотеют окна в кабине, пробарабанит град по дюралюминию или встряхнет аппарат, как на ухабе,— ухватишься за плетеные ручки кресла, выкатив глаза, но сосед уже подмигивает, смеется: вот это так ухабик!.. Налетит шквал из тех, что в секунду валит мачты на морском паруснике, ломает руль, сносит лодки, людей в бушующие волны,— металлическая птица прочна и увертлива,— качнется

на крыло, взвоет моторами, и уже выскочила, взмыла на тысячу метров выше гнездовины урагана.

Словом, не прошло и часа, как пассажиры в кабине освоились и с пустотой под ногами и с качкой. Гул мотора мешал говорить. Кое-кто надел на голову наушники с микрофонными мембранами, и завязалась беседа. Напротив Шельги сидел худощавый человек лет тридцати пяти в поношенном пальто и клетчатой кепке, видимо приобретенной для заграничного путешествия.

У него было бледноватое, с тонкой кожей, лицо, умный нахмуренный изящный профиль, русая бородка, рот сложен спокойно и твердо. Сидел он сутулясь, сложив на коленях руки. Шельга с улыбкой сделал ему знак. Человек надел наушники. Шельга спросил:

— Вы не учились в Ярославле, в реальном? (Человек наклонил голову.) Земляк — я вас помню. Вы Хлынов Алексей Семенович? (Наклон головы.) Вы теперь где работаете?

— В физической лаборатории политехникума,— проговорил в трубку заглушенный гулом мотора, слабый голос Хлынова.

— В командировку?

— В Берлин, к Рейхеру.

— Секрет?

— Нет. В марте этого года нам стало известно, что в лаборатории Рейхера произведено атомное распадение ртути.

Хлынов повернулся всем лицом к Шельге,— глаза со строгим волнением уперлись в собеседника. Шельга сказал:

— Не понимаю,— не специалист.

— Работы ведутся пока еще в лабораториях. До применения в промышленности еще далеко... Хотя,— Хлынов глядел на клубистые, как снег, поля облаков, глубоко внизу застилающие землю,— от кабинета физика до мастерской завода шаг не велик. Принцип насильственного разложения атома должен быть прост, чрезвычайно прост. Вы знаете, конечно, что такое атом?

— Маленькое что-то такое,— Шельга показал пальцами.

— Атом в сравнении с песчинкой — как песчинка в

сравнении с земным шаром. И все же мы измеряем атом, исчисляем скорость вращения его электронов, его вес, массу, величину электрического заряда. Мы подбираемся к самому сердцу атома, к его ядру. В нем весь секрет власти над материей. Будущее человечества зависит от того, сможем ли мы овладеть ядром атома, частичкой материальной энергии, величиной в одну стобиллионную сантиметра.

На высоте двух тысяч метров над землей Шельга слушал удивительные вещи, почудеснее сказок Шехеразады, но они не были сказкой. В то время, когда диалектика истории привела один класс к истребительной войне, а другой — к восстанию; когда горели города, и прах, и пепел, и газовые облака клубились над пашнями и садами; когда сама земля содрогалась от гневных криков удушаемых революций и, как в старину, заработали в тюремных подвалах дыба и клещи палача; когда по ночам в парках стали вырастать на деревьях чудовищные плоды с высунутыми языками; когда упали с человека так любовно разукрашенные идеалистические ризы,— в это чудовищное и титаническое десятилетие одинокими светочами горели удивительные умы ученых.

37

Аэроплан снизился над Ковной. Зеленое поле, смоченное дождем, быстро полетело навстречу. Аппарат прокатился и стал. Соскочил на траву пилот. Пассажиры вышли размять ноги. Закурили папиросы. Шельга в стороне лег на траву, закинул руки, и чудно было ему глядеть на далекие облака с синеватыми днищами. Он только что был там, летел среди снежных легких гор, над лазоревыми провалами.

Его небесный собеседник, Хлынов, стоял, слегка сутулясь, в потертом пальтишке, около крыла серой рубчатой птицы. Человек как человек,— даже кепка из Ленинградодежды.

Шельга рассмеялся:

— Здорово, все-таки, забавно жить. Черт знает как здорово!

Когда взлетели с ковенского аэродрома, Шельга подсел к Хлынову и рассказал ему, не называя ничьих имен, все, что знал о необычайных опытах Гарина и о том, что ими сильно, видимо, заинтересованы за границей.

Хлынов спросил, видел ли Шельга аппарат Гарина.

— Нет. Аппарата никто еще не видал.

— Стало быть, все это — в области догадок и предположений, да еще приукрашенных фантазией?

Тогда Шельга рассказал о подвале на разрушенной даче, о разрезанных кусках стали, об ящиках с угольными пирамидками. Хлынов кивал, поддакивал:

— Так, так. Пирамидки. Очень хорошо. Понимаю. Скажите, если это не слишком секретно,— вы не про инженера Гарина рассказываете?

Шельга минуту молчал, глядя в глаза Хлынову.

— Да,— ответил он,— про Гарина. Вы знаете его?

— Очень, очень способный человек.— Хлынов сморщился, будто взял в рот кислого.— Необыкновенный человек. Но — вне науки. Честолюбец. Совершенно изолированная личность. Авантюрист. Циник. Задатки гения. Непомерный темперамент. Человек с чудовищной фантазией. Но его удивительный ум всегда возбужден низкими желаниями. Он достигнет многого и кончит чем-нибудь вроде беспробудного пьянства либо попытается «ужаснуть человечество»... Гениальному человеку больше, чем кому бы то ни было, нужна строжайшая дисциплина. Слишком ответственно.

Красноватые пятна снова вспыхнули на щеках Хлынова.

— Просветленный, дисциплинированный разум — величайшая святыня, чудо из чудес. На земле,— песчинка во вселенной,— человек — порядка одной биллионной самой малой величины... И у этой умозрительной частицы, живущей в среднем шестьдесят оборотов земли вокруг солнца,— разум, охватывающий всю вселенную... Чтобы постигнуть это, мы должны перейти на язык высшей математики... Так вот, что вы скажете, если у вас из лаборатории возьмут какой-нибудь драгоценнейший микроскоп и станут им забивать гвозди?.. Так именно Гарин обращается со своим ге-

нием... Я знаю,— он сделал крупное открытие в области передачи на расстояние инфракрасных лучей. Вы слыхали, конечно, о лучах смерти Риндель-Мэтьюза? Лучи смерти оказались чистейшим вздором. Но принцип верен. Тепловые лучи температуры тысячи градусов, посланные параллельно,— чудовищное орудие для разрушения и военной обороны. Весь секрет в том, чтобы послать нерассеивающийся луч. Этого до сих пор не было достигнуто. По вашим рассказам, видимо, Гарину удалось построить такой аппарат. Если это так,— открытие очень значительное.

— Мне давно уж кажется,— сказал Шельга,— что вокруг этого изобретения пахнет крупной политикой.

Некоторое время Хлынов молчал, затем даже уши у него вспыхнули.

— Отыщите Гарина, возьмите его за шиворот и вместе с аппаратом верните в Советский Союз. Аппарат не должен попасть к нашим врагам. Спросите Гарина,— сознает он свои обязанности? Или он действительно пошляк... Тогда дайте ему, черт его возьми, денег — сколько он захочет... Пусть заводит роскошных женщин, яхты, гоночные машины... Или убейте его...

Шельга поднял брови. Хлынов положил трубку на столик, откинулся, закрыл глаза. Аэроплан плыл над делеными ровными квадратами полей, над прямыми линеечками дорог. Вдали, с высоты, виднелся между синеватыми пятнами озер коричневый чертеж Берлина.

38

В половине восьмого поутру, как обычно, Роллинг проснулся на улице Сены в кровати императора Наполеона. Не открывая глаз, достал из-под подушки носовой платок и решительно высморкался, выгоняя из себя вместе с остатками сна вчерашнюю труху ночных развлечений.

Не совсем, правда, свежий, но вполне владеющий мыслями и волей, он бросил платок на ковер, сел по-

среди шелковых подушек и оглянулся. Кровать была пуста, в комнате — пусто. Зоина подушка холодна.

Роллинг нажал кнопку звонка, появилась горничная Зои. Роллинг спросил, глядя мимо нее: «Мадам?» Горничная подняла плечи, стала поворачивать голову, как сова. На цыпочках прошла в уборную, оттуда, уже поспешно,— в гардеробную, хлопнула дверью в ванную и снова появилась в спальне,— пальцы у нее дрожали с боков кружевного фартучка: «Мадам нигде нет».

— Кофе,— сказал Роллинг. Он сам налил ванну, сам оделся, сам налил себе кофе. В доме в это время шла тихая паника,— на цыпочках, шепотом. Выходя из отеля, Роллинг толкнул локтем швейцара, испуганно кинувшегося отворять дверь. Он опоздал в контору на двадцать минут.

На бульваре Мальзерб в это утро пахло порохом. На лице секретаря было написано полное непротивление злу. Посетители выходили перекошенные из ореховой двери. «У мистера Роллинга неважное настроение сегодня»,— сообщали они шепотом. Ровно в час мистер Роллинг посмотрел на стенные часы и сломал карандаш. Ясно, что Зоя Монроз не заедет за ним завтракать. Он медлил до четверти второго. За эти ужасные четверть часа у секретаря в блестящем проборе появились два седых волоса. Роллинг поехал завтракать один к «Грифону», как обычно.

Хозяин ресторанчика, мосье Грифон, рослый и полный мужчина, бывший повар и содержатель пивнушки, теперь — высший консультант по Большому Искусству Вкусовых Восприятий и Пищеварения, встретил Роллинга героическим взмахом руки. В темно-серой визитке, с холеной ассирийской бородой и благородным лбом, мосье Грифон стоял посреди небольшой залы своего ресторана, опираясь одной рукой на серебряный цоколь особого сооружения, вроде жертвенника, где под выпуклой крышкой томилось знаменитое жаркое — седло барана с бобами.

На красных кожаных диванах вдоль четырех стен за узкими сплошными столами сидели постоянные посетители — из делового мира Больших бульваров,

женщин — немного. Середина залы была пуста, не считая жертвенника. Хозяин, вращая головой, мог видеть процесс вкусового восприятия каждого из своих клиентов. Малейшая гримаска неудовольствия не ускользала от его взора. Мало того,— он предвидел многое: таинственные процессы выделения соков, винтообразная работа желудка и вся психология еды, основанная на воспоминаниях когда-то съеденного, на предчувствиях и на приливах крови к различным частям тела,— все это было для него открытой книгой.

Подходя со строгим и вместе отеческим лицом, он говорил с восхитительной грубоватой лаской: «Ваш темперамент, мосье, сегодня требует рюмки мадеры и очень сухого Пуи,— можете послать меня на гильотину — я не даю вам ни капли красного. Устрицы, немного вареного тюрбо, крылышко цыпленка и несколько стебельков спаржи. Эта гамма вернет вам силы». Возражать в этом случае мог бы только патогонец, питающийся водяными крысами.

Мосье Грифон не подбежал, как можно было предполагать, с униженной торопливостью к прибору химического короля. Нет. Здесь, в академии пищеварения, миллиардер, и мелкий бухгалтер, и тот, кто сунул мокрый зонтик швейцару, и тот, кто, сопя, вылез из рольс-ройса, пропахшего гаванами,— платили один и тот же счет. Мосье Грифон был республиканец и философ. Он с великодушной улыбкой подал Роллингу карточку и посоветовал взять дыню на первое, запеченного с трюфелями омара на второе и седло барана. Вина мистер Роллинг днем не пьет, это известно.

— Стакан виски-сода и бутылку шампанского заморозить,— сквозь зубы сказал Роллинг.

Мосье Грифон отступил, на секунду в глазах его мелькнули изумление, страх, отвращение: клиент начинает с водки, оглушающей вкусовые пупырышки в полости рта, и продолжает шампанским, от которого пучит желудок. Глаза мосье Грифона потухли, он почтительно наклонил голову: клиент на сегодня потерян,— примиряюсь.

После третьего стакана виски Роллинг начал мять салфетку. С подобным темпераментом человек, стоя-

щий на другом конце социальной лестницы, скажем, Гастон Утиный Нос, сегодня бы еще до заката отыскал Зою Монроз, тварь, грязную гадину, подобранную в луже,— и всадил бы ей в бок лезвие складного ножа. Роллингу подобали иные приемы. Глядя в тарелку, где стыл омар с трюфелями, он думал не о том, чтобы раскровенить нос распутной девке, сбежавшей ночью из его постели... В мозгу Роллинга, в желтых парах виски, рождались, скрещивались, извивались чрезвычайно изысканные болезненные идеи мщения. Только в эти минуты он понял, что значила для него красавица Зоя... Он мучился, впиваясь ногтями в салфетку.

Лакей убрал нетронутую тарелку. Налил шампанского. Роллинг схватил стакан и жадно выпил его,— золотые зубы стукнули о стекло. В это время с улицы в ресторан вскочил Семенов. Сразу увидел Роллинга. Сорвал шляпу, перегнулся через стол и зашептал:

— Читали газеты?.. Я был только что в морге... Это он... Мы тут ни при чем... Клянусь под присягой... У нас алиби... Мы всю ночь оставались на Монмартре, у девочек... Установлено — убийство произошло между тремя и четырьмя утра,— это из газет, из газет...

Перед глазами Роллинга прыгало землистое, перекошенное лицо. Соседи оборачивались. Приближался лакей со стулом для Семенова.

— К черту,— проговорил Роллинг сквозь завесу виски,— вы мешаете мне завтракать...

— Хорошо, извините... Я буду ждать вас на углу в автомобиле...

39

В парижской прессе все эти дни было тихо, как на лесном озере. Буржуа зевали, читая передовицы о литературе, фельетоны о театральных постановках, хронику из жизни артистов.

Этим безмятежным спокойствием пресса подготовляла ураганное наступление на среднебуржуазные кошельки. Химический концерн Роллинга, закончив организацию и истребив мелких противников, готовился к большой кампании на повышение. Пресса была куп-

лена, журналисты вооружены нужными сведениями по химической промышленности. Для политических передовиков заготовлены ошеломляющие документы. Две-три пощечины, две-три дуэли устранили глупцов, пытавшихся лепетать не согласно общим планам концерна.

В Париже настала тишь да гладь. Тиражи газет несколько понизились. Поэтому чистой находкой оказалось убийство в доме шестьдесят три по улице Гобеленов.

На следующее утро все семьдесят пять газет вышли с жирными заголовками о «таинственном и кошмарном преступлении». Личность убитого не была установлена,— документы его похищены,— в гостинице он записался под явно вымышленным именем. Убийство, казалось, было не с целью ограбления,— деньги и золотые вещи остались при убитом. Трудно было также предположить месть,— комната номер одиннадцатый носила следы тщательного обыска. Тайна, все — тайна.

Двухчасовые газеты сообщили потрясающую деталь: в роковой комнате найдена женская черепаховая шпилька с пятью крупными бриллиантами. Кроме того, на пыльном полу обнаружены следы женских туфель. От этой шпильки Париж действительно дрогнул. Убийцей оказалась шикарная женщина. Аристократка? Буржуазка? Или кокотка из первого десятка? Тайна... Тайна...

Четырехчасовые газеты отдали свои страницы интервью со знаменитейшими женщинами Парижа. Все они в один голос восклицали: нет, нет и нет,— убийцей не могла быть француженка, это дело рук немки, бошки. Несколько голосов бросило намек в сторону Москвы,— намек успеха не имел. Известная Ми-Ми — из театра «Олимпия» — произнесла историческую фразу: «Я готова отдаться тому, кто мне раскроет тайну». Это имело успех.

Словом, во всем Париже один Роллинг, сидя у Грифона, ничего не знал о происшествии на улице Гобеленов. Он был очень зол и нарочно заставил Семенова подождать в таксомоторе. Наконец он появился на углу, молча влез в машину и велел везти себя в морг.

Семенов, неистово юля, по дороге рассказал ему содержание газет.

При упоминании о шпильке с пятью бриллиантами пальцы Роллинга затрепетали на набалдашнике трости. Близ морга он внезапно рванулся к шоферу с жестом, приказывающим повернуть,— но сдержался и только свирепо засопел.

В дверях морга была давка. Женщины в дорогих мехах, курносенькие мидинетки, подозрительные личности из предместий, любопытные консьержки в вязаных пелеринках, хроникеры с потными носами и смятыми воротничками, актриски, цепляющиеся за мясистых актеров,— все стремились взглянуть на убитого, лежавшего в разодранной рубашке и босиком на покатой мраморной доске, головой к полуподвальному окну.

Особенно страшными казались босые ноги его — большие, синеватые, с отросшими ногтями. Желтомертвое лицо «изуродовано судорогой ужаса». Бородка торчком. Женщины жадно стремились к этой оскаленной маске, впивались расширенными зрачками, тихо вскрикивали, ворковали. Вот он, вот он — любовник дамы с бриллиантовой шпилькой!

Семенов ужом, впереди Роллинга, пролез сквозь толпу к телу. Роллинг твердо взглянул в лицо убитого. Рассматривал с секунду. Глаза его сощурились, мясистый нос собрался складками, блеснули золотые зубы.

— Ну что, ну что, он ведь, он? — зашептал Семенов.

И Роллинг ответил ему на этот раз:

— Опять двойник.

Едва была произнесена эта фраза, из-за плеча Роллинга появилась светловолосая голова, взглянула ему в лицо, точно сфотографировала, и скрылась в толпе.

Это был Шельга.

40

Бросив Семенова в морге, Роллинг проехал на улицу Сены. Там все оставалось по-прежнему — тихая паника. Зоя не появлялась и не звонила.

Роллинг заперся в спальне и ходил по ковру, рассматривая кончики башмаков. Он остановился с той стороны постели, где обычно спал. Поскреб подбородок. Закрыл глаза. И тогда вспомнил то, что его мучило весь день...

«...Роллинг, Роллинг... Мы погибли...»

Это было сказано тихим, безнадежным голосом Зои. Это было сегодня ночью,— он внезапно посреди разговора заснул. Голос Зои не разбудил его,— не дошел до сознания. Сейчас ее отчаянные слова отчетливо зазвучали в ушах.

Роллинга подбросило, точно пружиной... Итак,— странный припадок Гарина на бульваре Мальзерб; волнение Зои в кабаке «Ужин Короля»; ее настойчивые вопросы: какие именно бумаги мог похитить Гарин из кабинета? Затем — «Роллинг, Роллинг, мы погибли...» Ее исчезновение. Труп двойника в морге. Шпилька с бриллиантами. Именно вчера,— он помнил,— в пышных волосах Зои сияло пять камней.

В цепи событий ясно одно: Гарин прибегает к испытанному приему с двойником, чтобы отвести от себя удар. Он похищает автограф Роллинга, чтобы подбросить его на место убийства и привести полицию на бульвар Мальзерб.

При всем хладнокровии Роллинг почувствовал, что спинному хребту холодно. «Роллинг, Роллинг, мы погибли...» Значит, она предполагала, она знала про убийство. Оно произошло между тремя и четырьмя утра. (В половине пятого явилась полиция.) Вчера, засыпая, Роллинг слышал, как часы на камине пробили три четверти второго. Это было его последним восприятием внешних звуков. Затем Зоя исчезла. Очевидно, она кинулась на улицу Гобеленов, чтобы уничтожить следы автографа.

Каким образом Зоя могла знать так точно про готовящееся убийство? — только в том случае, если она его сама подготовила.— Роллинг подошел к камину, положил локти на мраморную доску и закрыл лицо руками.— Но почему же тогда она прошептала ему с таким ужасом: «Роллинг, Роллинг, мы погибли!..»

Что-то вчера произошло,— перевернуло ее планы. Но что? И в какую минуту?.. В театре, в кабаке, дома?..

Предположим, ей нужно было исправить какую-то ошибку. Удалось ей или нет? Гарин жив, автограф покуда не обнаружен, убит двойник. Спасает это или губит? Кто убийца — сообщник Зои или сам Гарин?

И почему, почему, почему Зоя исчезла? Отыскивая в памяти эту минуту — перелом в Зоином настроении, Роллинг напрягал воображение, привыкшее к совсем другой работе. У него трещал мозг. Он припоминал — жест за жестом, слово за словом — все вчерашнее поведение Зои.

Он чувствовал, если теперь же, у камина, не поймет до мелочей всего происшедшего, то это — проигрыш, поражение, гибель. За три дня до большого наступления на биржу достаточно намека на его имя в связи с убийством, и — непомерный биржевой скандал, крах... Удар по Роллингу будет ударом по миллиардам, двигающим в Америке, Китае, Индии, Европе, в африканских колониях тысячами предприятий. Нарушится точная работа механизма... Железные дороги, океанские линии, рудники, заводы, банки, сотни тысяч служащих, миллионы рабочих, десятки миллионов держателей ценностей — все это заскрипит, застопорится, забьется в панике...

Роллинг попал в положение человека, не знающего, с какой стороны его ткнут ножом. Опасность была смертельной. Воображение его работало так, будто за каждый протекающий в секунду отрезок мысли платили по миллиону долларов. Эти четверть часа у камина могли быть занесены в историю наравне с известным присутствием духа у Наполеона на Аркольском мосту.

Но Роллинг, этот собиратель миллиардов, фигура почти уже символическая, в самую решительную для себя минуту (и опять-таки первый раз в жизни) внезапно предался пустому занятию, стоя с раздутыми ноздрями перед зеркалом и не видя в нем своего изображения. Вместо анализа поступков Зои он стал воображать ее самое — ее тонкое, бледное лицо, мрачно-ледяные глаза, страстный рот. Он ощущал

теплый запах ее каштановых волос, прикосновение ее руки. Ему начало казаться, будто он, Роллинг, весь целиком,— со всеми желаниями, вкусами, честолюбием, жадностью к власти, с дурными настроениями (атония кишок) и едкими думами о смерти,— переселился в новое помещение, в умную, молодую, привлекательную женщину. Ее нет. И он будто вышвырнут в ночную слякоть. Он сам себе перестал быть нужен. Ее нет. Он без дома. Какие уж там мировые концерны,— тоска, тоска голого, маленького, жалкого человека.

Это поистине удивительное состояние химического короля было прервано стуком двух подошв о ковер. (Окно спальни,— в первом этаже,— выходившее в парк, было раскрыто.) Роллинг вздрогнул всем телом. В каминном зеркале появилось изображение коренастого человека с большими усами и сморщенным лбом. Он нагнул голову и глядел на Роллинга не мигая.

41

— Что вам нужно? — завизжал Роллинг, не попадая рукой в задний карман штанов, где лежал браунинг. Коренастый человек, видимо, ожидал этого и прыгнул за портьеру. Оттуда он снова выставил голову.

— Спокойно. Не кричите. Я не собираюсь убивать или грабить,— он поднял ладони,— я пришел по делу.

— Какое здесь может быть дело? — отправляйтесь по делу на бульвар Мальзерб, сорок восемь бис, от одиннадцати до часу... Вы влезли в окно, как вор и негодяй.

— Виноват,— вежливо ответил человек,— моя фамилия Леклер, меня зовут Гастон. У меня военный орден и чин сержанта. Я никогда не работаю по мелочам и вором не был. Советую вам немедленно принести мне извинения, мистер Роллинг, без которых наш дальнейший разговор не может состояться...

— Убирайтесь к дьяволу! — уже спокойнее сказал Роллинг.

— Если я уберусь по этому адресу, то небезызвестная вам мадемуазель Монроз погибла.

У Роллинга прыгнули щеки. Он сейчас же подошел к Гастону. Тот сказал почтительно, как подобает говорить с обладателем миллиардов, и вместе с оттенком грубоватой дружественности, как говорят с мужем своей любовницы:

— Итак, сударь, вы извиняетесь?

— Вы знаете, где скрывается мадемуазель Монроз?

— Итак, сударь, чтобы продолжить наш разговор, я должен понять, что вы извиняетесь передо мной?

— Извиняюсь,— заорал Роллинг.

— Принимаю! — Гастон отошел от окна, привычным движением расправил усы, откашлянулся и сказал: — Зоя Монроз в руках убийцы, о котором кричит весь Париж.

— Где она? (У Роллинга затряслись губы.)

— В Вилль Давре, близ парка Сен-Клу, в гостинице для случайных посетителей, в двух шагах от музея Гамбетты. Вчера ночью я проследил их в автомобиле до Вилль Давре, сегодня я точно установил адрес.

— Она добровольно бежала с ним?

— Вот это именно я больше всего хотел бы знать,— ответил Гастон так зловеще, что Роллинг изумленно оглянул его.

— Позвольте, господин Гастон, я не совсем понимаю, какое ваше участие во всей этой истории? Какое вам дело до мадемуазель Монроз? Каким образом вы по ночам следите за ней, устанавливаете место ее нахождения?

— Довольно! — Гастон благородным жестом протянул перед собой руку.— Я вас понимаю. Вы должны были поставить мне этот вопрос. Отвечаю вам: я влюблен, и я ревнив...

— Ага! — сказал Роллинг.

— Вам нужны подробности? — вот они: сегодня ночью, выходя из кафе, где я пил стакан грога, я увидел мадемуазель Монроз. Она мчалась в наемном автомобиле. Лицо ее было ужасно. Вскочить в такси, броситься за нею вслед было делом секунды. Она остановила машину на улице Гобеленов и вошла в подъ-

езд дома шестьдесят три. (Роллинг моргнул, будто его кольнули.) Вне себя от ревнивых предчувствий, я ходил по тротуару мимо дома шестьдесят три. Ровно в четверть пятого мадемуазель Монроз вышла не из подъезда, как я ожидал, а из ворот в стене парка, примыкающего к дому шестьдесят три. Ее за плечи придерживал человек с черной бородкой, одетый в коверкот и серую шляпу. Остальное вы знаете.

Роллинг опустился на стул (эпохи крестовых походов) и долго молчал, впившись пальцами в резные ручки... Так вот они — недостающие данные... Убийца — Гарин. Зоя — сообщница... Преступный план очевиден. Они убили двойника на улице Гобеленов, чтобы впутать в грязную историю его, Роллинга, и, шантажируя, выманить деньги на постройку аппарата. Честный сержант и классический дурак, Гастон, случайно обнаруживает преступление. Все ясно. Нужно действовать решительно и беспощадно.

Глаза Роллинга зло вспыхнули. Он встал, ногой отпихнул стул.

— Я звоню в полицию. Вы поедете со мной в Вилль Давре.

Гастон усмехнулся, большие усы его поползли вкось.

— Мне кажется, мистер Роллинг, будет благоразумнее не вмешивать полицию в эту историю. Мы обойдемся своими силами.

— Я желаю арестовать убийцу и его сообщницу и предать негодяев в руки правосудия.— Роллинг выпрямился, голос его звучал как сталь.

Гастон сделал неопределенный жест.

— Так-то оно так... Но у меня есть шесть надежных молодцов, видавших виды... Через час в двух автомобилях я мог бы доставить их в Вилль Давре... А с полицией, уверяю вас, не стоит связываться...

Роллинг только фыркнул на это и взял с каминной полки телефонную трубку. Гастон с еще большей быстротой схватил его за руку.

— Не звоните в полицию!

— Почему?

— Потому, что глупее этого ничего нельзя придумать... (Роллинг опять потянулся за трубкой.) Вы ред-

кого ума человек, мосье Роллинг, неужели вы не понимаете,— есть вещи, которые не говорятся прямо... умоляю вас — не звонить... Фу, черт!.. Да потому, что после этого звонка мы с вами оба попадем на гильотину... (Роллинг в бешенстве толкнул его в грудь и вырвал трубку. Гастон живо оглянулся и в самое ухо Роллинга прошептал.) По вашему указанию мадемуазель Зоя поручила мне отправить облегченной скоростью к Аврааму одного русского инженера на улице Гобеленов, шестьдесят три. Этой ночью поручение исполнено. Сейчас нужно десять тысяч франков — в виде аванса моим малюткам. Деньги у вас с собой?..

. . . .

Через четверть часа на улицу Сены подъехала дорожная машина с поднятым верхом. Роллинг стремительно вскочил в нее. Покуда машина делала на узкой улице поворот, из-за выступа дома вышел Шельга и прицепился к автомобилю к задней части кузова.

Машина пошла по набережной. На Марсовом поле, в том месте, где некогда Робеспьер, с колосьями в руке, клялся перед жертвенником Верховного Существа заставить человечество подписать великий колдоговор на вечный мир и вечную справедливость,— теперь возвышалась Эйфелева башня; два с половиной миллиона электрических свечей мигали и подмигивали на ее стальных переплетах, разбегались стрелами, очерчивали рисунки и писали над Парижем всю ночь: «Покупайте практичные и дешевые автомобили господина Ситроена...»

42

Ночь была сыроватая и теплая. За открытым окном, от низкого потолка до самого пола, невидимые листья принимались шелестеть и затихали. В комнате — во втором этаже гостиницы «Черный Дрозд» — было темно и тихо. Влажный аромат парка смешивался с запахом духов. Ими был пропитан ветхий штоф на стенах, истертые ковры и огромная деревянная кровать, приютившая за долгие годы вереницы любовников. Это было доброе старое место для любовного уединения.

Деревья шелестели за окном, ветерок доносил из парка запах земли и грусти, теплая кровать убаюкивала короткое счастье любовников. Рассказывают даже, что в этой комнате Беранже сочинял свои песенки. Времена изменились, конечно. Торопливым любовникам, выскочившим на часок из кипящего Парижа, ослепленным огненными воплями Эйфелевой башни, было не до шелеста листьев, не до любви. Нельзя же, в самом деле, в наши дни мечтательно гулять по бульвару, засунув в жилетный карман томик Мюссе. Нынче — все на скорости, все на бензине. «Алло, малютка, в нашем распоряжении час двадцать минут! Нужно успеть в кино, скушать обед и полежать в кровати. Ничего не поделаешь, Ми-Ми, это — цивилизация».

Все же ночь за окном в гостинице «Черный Дрозд», темные кущи лип и нежные трещотки древесных лягушек не принимали участия в общем ходе европейской цивилизации. Было очень тихо и очень покойно. В комнате скрипнула дверь, послышались шаги по ковру. Неясное очертание человека остановилось посреди комнаты. Он сказал негромко (по-русски):

— Нужно решаться. Через тридцать — сорок минут подадут машину. Что же — да или нет?

На кровати пошевелились, но не ответили. Он подошел ближе:

— Зоя, будьте же благоразумны.

В ответ невесело засмеялись.

Гарин нагнулся к лицу Зои, всмотрелся, сел в ногах на постель.

— Вчерашнее приключение мы зачеркнем. Началось оно несколько необычно, кончилось в этой постели,— вы находите, что банально? Согласен. Зачеркнуто. Слушайте, я не хочу никакой другой женщины, кроме вас,— что поделаешь?

— Пошло и глупо,— сказала Зоя.

— Совершенно с вами согласен. Я пошляк, законченный, первобытный. Сегодня я думал: ба, вот для чего нужны деньги, власть, слава,— обладать вами. Дальше, когда вы проснулись, я вам доложил мою точку зрения: расставаться с вами я не хочу и не расстанусь.

— Ого! — сказала Зоя.

— «Ого» — ровно ничего не говорит. Я понимаю,— вы, как женщина умная и самолюбивая, ужасно возмущены, что вас принуждают. Что ж поделаешь! Мы связаны кровью. Если вы уйдете к Роллингу, я буду бороться. А так как я пошляк, то отправлю на гильотину и Роллинга, и вас, и себя.

— Вы это уже говорили,— повторяетесь.

— Разве вас это не убеждает?

— Что вы предлагаете мне взамен Роллинга? Я женщина дорогая.

— Оливиновый пояс.

— Что?

— Оливиновый пояс. Гм! Объяснять это очень сложно. Нужен свободный вечер и книги под руками. Через двадцать минут мы должны ехать. Оливиновый пояс — это власть над миром. Я найму вашего Роллинга в швейцары,— вот что такое Оливиновый пояс. Он будет в моих руках через два года. Вы станете не просто богатой женщиной, вернее — самой богатой на свете. Это скучно. Но — власть! Упоение небывалой на земле властью. Средства для этого у нас совершеннее, чем у Чингис-хана. Вы хотите божеских почестей? Мы прикажем построить вам храмы на всех пяти материках и ваше изображение увенчивать виноградом.

— Какое мещанство!..

— Я не шучу сейчас. Захотите, и будете наместницей бога или черта,— что вам больше по вкусу. Вам придет желание уничтожать людей,— иногда в этом бывает потребность,— ваша власть надо всем человечеством. Такая женщина, как вы, Зоя, найдет применение сказочным сокровищам Оливинового пояса. Я предлагаю выгодную партию. Два года борьбы — и я проникну сквозь Оливиновый пояс. Вы не верите?..

Помолчав, Зоя проговорила тихо:

— Почему я одна должна рисковать? Будьте смелы и вы.

Гарин, казалось, силился в темноте увидеть ее глаза, затем — почти печально, почти нежно — сказал:

— Если нет, тогда уйдите. Я не буду вас преследовать. Решайте добровольно.

Зоя коротко вздохнула. Села на постели, подняла руки, оправляя волосы (это было хорошим знаком).

— В будущем — Оливиновый пояс. А сейчас что у вас? — спросила она, держа в зубах шпильки.

— Сейчас — мой аппарат и угольные пирамидки. Вставайте. Идемте в мою комнату, я покажу аппарат.

— Не много. Хорошо, я посмотрю. Идемте.

43

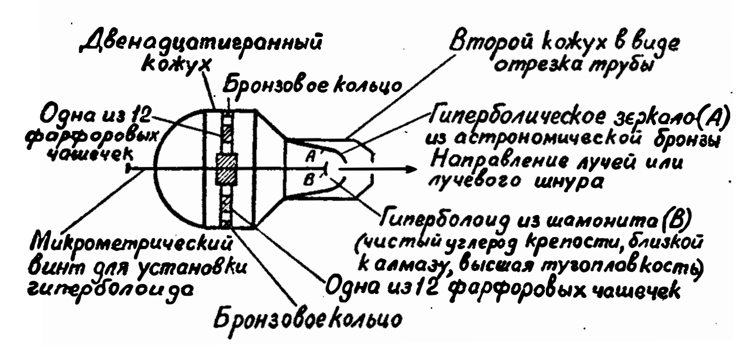
В комнате Гарина окно с балконной решеткой было закрыто и занавешено. У стены стояли два чемодана. (Он жил в «Черном Дрозде» уже больше недели.) Гарин запер дверь на ключ. Зоя села, облокотилась, заслонила лицо от света потолочной лампы. Ее дождевое шелковое пальто травяного цвета было помято, волосы небрежно прибраны, лицо утомленное,— такой она была еще привлекательнее. Гарин, раскрывая чемодан, посматривал на нее обведенными синевой блестящими глазами.

— Вот мой аппарат,— сказал он, ставя на стол два металлических ящика: один — узкий, в виде отрезка трубы, другой — плоский, двенадцатигранный — втрое большего диаметра.

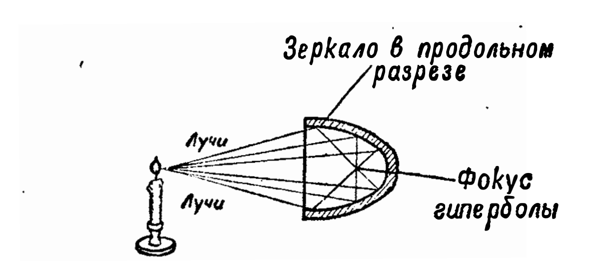
Он составил оба ящика, скрепил их анкерными болтами. Трубку направил отверстием к каменной решетке, у двенадцатигранного кожуха откинул сферическую крышку. Внутри кожуха стояло на ребре бронзовое кольцо с двенадцатью фарфоровыми чашечками.

— Это — модель,— сказал он, вынимая из второго чемодана ящик с пирамидками,— она не выдержит и часа работы. Аппарат нужно строить из чрезвычайно стойких материалов, в десять раз солиднее. Но он вышел бы слишком тяжелым, а мне приходится все время передвигаться. (Он вложил в чашечки кольца двенадцать пирамидок.) Снаружи вы ничего не увидите и не поймете. Вот чертеж, продольный разрез аппарата.— Он наклонился над Зоиным креслом (вдохнул запах ее волос), развернул чертежик разме-

ром в половину листа писчей бумаги.— Вы хотели, Зоя, чтобы я также рискнул всем в нашей игре... Смотрите сюда... Это основная схема...



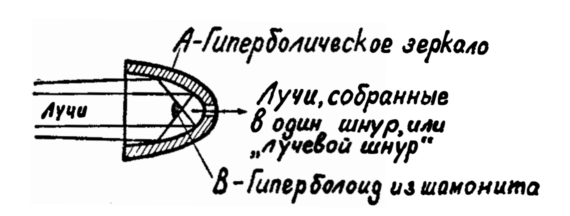
Это просто, как дважды два. Чистая случайность, что это до сих пор не было построено. Весь секрет в гиперболическом зеркале *(А)*, напоминающем формой зеркало обыкновенного прожектора, и в кусочке шамонита *(В)*, сделанном также в виде гиперболической сферы. Закон гиперболических зеркал таков:



Лучи света, падая на внутреннюю поверхность гиперболического зеркала, сходятся все в одной точке, в фокусе гиперболы. Это известно. Теперь вот что неизвестно: я помещаю в фокусе гиперболического зеркала вторую гиперболу (очерченную, так сказать, навыворот) — гиперболоид вращения, выточенный из тугоплавкого, идеально полирующегося минерала — ша-

монита (*В*),— залежи его на севере России неисчерпаемы. Что же получается с лучами?

Лучи, собираясь в фокусе зеркала *(А)*, падают на поверхность гиперболоида *(В)* и отражаются от него математически параллельно,— иными словами, гиперболоид *(В)* концентрирует все лучи в один луч, или в



«лучевой шнур» любой толщины. Переставляя микрометрическим винтом гиперболоид *(В)*, я по желанию увеличиваю или уменьшаю толщину «лучевого шнура». Потеря его энергии при прохождении через воздух ничтожна. При этом я могу довести его (практически) до толщины иглы.

При этих словах Зоя поднялась, хрустнула пальцами и снова села, обхватила колено.

— Во время первых опытов я брал источником света несколько обычных стеариновых свечей. Путем установки гиперболоида *(В)* я доводил «лучевой шнур» до толщины вязальной спицы и легко разрезывал им дюймовую доску. Тогда же я понял, что вся задача — в нахождении компактных и чрезвычайно могучих источников лучевой энергии. За три года работы, стоившей жизни двоим моим помощникам, была создана вот эта угольная пирамидка. Энергия пирамидок настолько уже велика, что, помещенные в аппарат,— как вы видите,— и зажженные (горят около пяти минут), они дают «лучевой шнур», способный в несколько секунд разрезать железнодорожный мост... Вы представляете, какие открываются возможности? В природе не существует ничего, что бы могло сопротивляться силе «лучевого шнура»... Здания, крепости, дредноуты, воздуш-

ные корабли, скалы, горы, кора земли — все пронижет, разрушит, разрежет мой луч...

Гарин внезапно оборвал и поднял голову, прислушиваясь. За окном шуршал и скрипел гравий, замирая работали моторы. Он прыгнул к окну и проскользнул за портьеру. Зоя глядела, как за пыльным малиновым бархатом неподвижно стояло очертание Гарина, затем оно содрогнулось. Он выскользнул из-за портьеры.

— Три машины и восемь человек,— сказал он шепотом,— это за нами. Кажется — автомобиль Роллинга. В гостинице только мы и привратница. (Он живо вынул из ночного столика револьвер и сунул в карман пиджака.) Меня-то уж во всяком случае не выпустят живым...— Он весело вдруг почесал сбоку носа.— Ну, Зоя, решайте: да или нет? Другой такой минуты не выберешь.

— Вы с ума сошли,— лицо Зои вспыхнуло, помолодело,— спасайтесь!..

Гарин только вскинул бородкой.

— Восемь человек, вздор, вздор! — Он приподнял аппарат и повернул его дулом к двери. Хлопнул себя по карману. Лицо его внезапно осунулось.

— Спички,— прошептал он,— нет спичек...

Быть может, он сказал это нарочно, чтобы испытать Зою. Быть может, и вправду в кармане не оказалось спичек,— от них зависела жизнь. Он глядел на Зою, как животное, ожидая смерти. Она, будто во сне, взяла с кресла сумочку, вынула коробку восковых спичек. Протянула медленно, с трудом. Беря, он ощутил пальцами ее ледяную узкую руку.

Внизу по винтовой лестнице поднимались шаги, поскрипывая осторожно.

44

Несколько человек остановилось за дверью. Было слышно их дыхание. Гарин громко спросил по-французски:

— Кто там?

— Телеграмма,— ответил грубый голос,— отворите!..

Зоя молча схватила Гарина за плечи, затрясла головой. Он увлек ее в угол комнаты, силой посадил на ковер. Сейчас же вернулся к аппарату, крикнул:

— Подсуньте телеграмму под дверь.

— Когда говорят — отворите, нужно отворять,— зарычал тот же голос.

Другой, осторожный, спросил:

— Женщина у вас?

— Да, у меня.

— Выдайте ее, вас оставим в покое.

— Предупреждаю,— свирепо проговорил Гарин,— если вы не уберетесь к черту, через минуту ни один из вас не останется в живых...

— О-ля-ля!.. О-хо-хо!.. Гы-гы!..— завыли, заржали голоса, и на дверь навалились, завертелась фарфоровая ручка, посыпались с косяков куски штукатурки. Зоя не сводила глаз с лица Гарина. Он был бледен, движения быстры и уверенны. Присев на корточки, он прикручивал в аппарате микрометрический винт. Вынул несколько спичек и положил на стол рядом с коробкой. Взял револьвер и выпрямился, ожидая. Дверь затрещала. Вдруг от удара посыпалось оконное стекло, колыхнулась портьера. Гарин сейчас же выстрелил в окно. Присел, чиркнул спичкой, сунул ее в аппарат и захлопнул сферическую крышку.

Прошла всего секунда тишины после его выстрела. И сейчас же началась атака одновременно на дверь и на окно. В дверь стали бить чем-то тяжелым, от филенок полетели щепы. Портьера на окне завилась и упала вместе с карнизом.

— Гастон! — вскрикнула Зоя. Через железную решетку окна лез Утиный Нос, держа во рту нож-наваху. Дверь еще держалась. Гарин, белый как бумага, прикручивал микрометрический винт, в левой руке его плясал револьвер. В аппарате билось, гудело пламя. Кружочек света на стене (против дула аппарата) уменьшался,— задымились обои. Гастон, косясь на револьвер, двигался вдоль стены, весь подбирался перед прыжком. Нож он держал уже в руке, по-испански — лезвием к себе. Кружочек света стал ослепительной точкой. В разбитые филенки двери лезли усатые мор-

ды... Гарин схватил обеими руками аппарат и дулом направил его на Утиного Носа...

Зоя увидела: Гастон разинул рот не то, чтобы крикнуть, не то, чтобы заглотнуть воздух... Дымная полоса прошла поперек его груди, руки поднялись было и упали. Он опрокинулся на ковер. Голова его вместе с плечами, точно кусок хлеба, отвалилась от нижней части туловища.

Гарин повернул аппарат к двери. По пути «лучевой шнур» разрезал провод,— лампочка под потолком погасла. Ослепительный, тонкий, прямой, как игла, луч из дула аппарата чиркнул поверх двери,— посыпались осколки дерева. Скользнул ниже. Раздался короткий вопль, будто раздавили кошку. В темноте кто-то шарахнулся. Мягко упало тело. Луч танцевал на высоте двух футов от пола. Послышался запах горящего мяса. И вдруг стало тихо, только гудело пламя в аппарате.

Гарин покашлял, сказал плохо повинующимся, хриповатым голосом:

— Кончено со всеми.

. . . .

За разбитым окном ветерок налетел на невидимые липы, они зашелестели по-ночному — сонно. Из темноты, снизу, где неподвижно стояли машины, крикнули по-русски:

— Петр Петрович, вы живы? — Гарин появился в окне.— Осторожнее, это я, Шельга. Помните наш уговор? У меня автомобиль Роллинга. Надо бежать. Спасайте аппарат. Я жду...

45

Вечером, как обычно по воскресеньям, профессор Рейхер играл в шахматы у себя, на четвертом этаже, на открытом небольшом балконе. Партнером был Генрих Вольф, его любимый ученик. Они курили, уставясь в шахматную доску. Вечерняя заря давно погасла в конце длинной улицы. Черный воздух был душен. Не шевелился плющ, обвивавший выступы веранды. Внизу, под звездами, лежала пустынная асфальтовая площадь.

Покряхтывая, посапывая, профессор разрешал ход. Поднял плотную руку с желтоватыми ногтями, но не дотронулся до фигуры. Вынул изо рта окурок сигары.

— Да. Нужно подумать.

— Пожалуйста,— ответил Генрих. Его красивое лицо с широким лбом, резко очерченным подбородком, коротким прямым носом выражало покой могучей машины. У профессора было больше темперамента (старое поколение),— стального цвета борода растрепалась, на морщинистом лбу лежали красные пятна.

Высокая лампа под широким цветным абажуром освещала их лица. Несколько чахлых зелененьких существ кружились у лампочки, сидели на свежепроглаженной скатерти, топорща усики, глядя точечками глаз и, должно быть, не понимая, что имеют честь присутствовать при том, как два бога тешатся игрою небожителей. В комнате часы пробили десять.

Фрау Рейхер, мать профессора, чистенькая старушка, сидела неподвижно. Читать и вязать она уже не могла при искусственном свете. Вдали, где в черной ночи горели окна высокого дома, угадывались огромные пространства каменного Берлина. Если бы не сын за шахматной доской, не тихий свет абажура, не зелененькие существа на скатерти, ужас, давно прилегший в душе, поднялся бы опять, как много раз в эти годы, и высушил бескровное личико фрау Рейхер. Это был ужас перед надвигающимися на город, на этот балкон миллионами. Их звали не Фрицы, Иоганны, Генрихи, Отто, а масса. Один, как один,— плохо выбритые, в бумажных манишках, покрытые железной, свинцовой пылью,— они по временам заполняли улицы. Они многого хотели, выпячивая тяжелые челюсти.

Фрау Рейхер вспомнила блаженное время, когда ее жених, Отто Рейхер, вернулся из-под Седана победителем французского императора. Он весь пропах солдатской кожей, был бородат и громогласен. Она встретила его за городом. На ней было голубое платьице, и ленты, и цветы. Германия летела к победам, к счастью вместе с веселой бородой Отто, вместе с гордостью и надеждами. Скоро весь мир будет завоеван...

Прошла жизнь фрау Рейхер. И настала и прошла вторая война. Кое-как вытащили ноги из болота, где гнили миллионы человеческих трупов. И вот — появились массы. Взгляни любому под каскетку в глаза. Это не немецкие глаза. Их выражение упрямо, невесело, непостижимо. К их глазам нет доступа. Фрау Рейхер охватывал ужас.

. . . .

На веранде появился Алексей Семенович Хлынов. Он был по-воскресному одет в чистенький серый костюм.

Хлынов поклонился фрау Рейхер, пожелал ей доброго вечера и сел рядом с профессором, который добродушно сморщился и с юмором подмигнул шахматной доске. На столе лежали журналы и иностранные газеты. Профессор, как и всякий интеллигентный человек в Германии, был беден. Его гостеприимство ограничивалось мягким светом лампы на свежевыглаженной скатерти, предложенной сигарой в двадцать пфеннигов и беседой, стоившей, пожалуй, дороже ужина с шампанским и прочими излишествами.

В будни от семи утра до семи вечера профессор бывал молчалив, деловит и суров. По воскресеньям он «охотно отправлялся с друзьями на прогулку в страну фантазии». Он любил поговорить «от одного до другого конца сигары».

— Да, надо подумать,— опять сказал профессор, закутываясь дымом.

— Пожалуйста,— холодно-вежливо ответил Вольф.

Хлынов развернул парижскую «Л'Энтрансижан» и на первой странице под заголовком «Таинственное преступление в Вилль Давре» увидел снимок, изображающий семерых людей, разрезанных на куски. «На куски так на куски»,— подумал Хлынов. Но то, что он прочел, заставило его задуматься:

«...Нужно предполагать, что преступление совершено каким-то неизвестным до сих пор орудием, либо раскаленной проволокой, либо тепловым лучом огромного напряжения. Нам удалось установить национальность и внешний вид преступника: это, как и надо было ожи-

дать,— русский (следовало описание наружности, данное хозяйкой гостиницы). В ночь преступления с ним была женщина. Но дальше все загадочно. Быть может, несколько приподнимет завесу кровавая находка в лесу Фонтенебло. Там, в тридцати метрах от дороги, найден в бесчувственном состоянии неизвестный. На теле его оказались четыре огнестрельных раны. Документы и все, устанавливающее его личность, похищено. По-видимому, жертва была сброшена с автомобиля. Привести в сознание его до сих пор еще не удалось...»

46

— Шах! — воскликнул профессор, взмахивая взятым конем.— Шах и мат! Вольф, вы разбиты, вы оккупированы, вы на коленях, шестьдесят шесть лет вы платите репарации. Таков закон высокой империалистической политики.

— Реванш? — спросил Вольф.

— О нет, мы будем наслаждаться всеми преимуществами победителя.

Профессор потрепал Хлынова по колену.

— Что вы такое вычитали в газетке, мой юный и непримиримый большевик? Семь разрезанных французов? Что поделаешь,— победители всегда склонны к излишествам. История стремится к равновесию. Пессимизм — вот что притаскивают победители к себе в дом вместе с награбленным. Они начинают слишком жирно есть. Желудок их не справляется с жирами и отравляет кровь отвратительными ядами. Они режут людей на куски, вешаются на подтяжках, кидаются с мостов. У них пропадает любовь к жизни. Оптимизм — вот что остается у побежденных взамен награбленного. Великолепное свойство человеческой воли — верить, что все к лучшему в этом лучшем из миров. Пессимизм должен быть выдернут с корешками. Угрюмая и кровавая мистика Востока, безнадежная печаль эллинской цивилизации, разнузданные страсти Рима среди дымящихся развалин городов, изуверство средних веков, каждый год ожидающих конца мира и страшного суда, и наш

век, строящий картонные домики благополучия и глотающий нестерпимую чушь кинематографа,— на каком основании, я спрашиваю, построена эта чахлая психика царя природы? Основание — пессимизм... Проклятый пессимизм... Я читал вашего Ленина, мой дорогой... Это великий оптимист. Я его уважаю...

— Вы сегодня в превосходном настроении, профессор,— мрачно сказал Вольф.

— Вы знаете почему? — Профессор откинулся на плетеном кресле, подбородок его собрался морщинами, глаза весело, молодо посматривали из-под бровей.— Я сделал прелюбопытнейшее открытие... Я получил некоторые сводки, и сопоставил некоторые данные, и неожиданно пришел к удивительному заключению... Если бы германское правительство не было шайкой авантюристов, если бы я был уверен, что мое открытие не попадет в руки жуликам и грабителям,— я бы, пожалуй, опубликовал его... Но нет, лучше молчать...

— С нами-то, надеюсь, вы можете поделиться,— сказал Вольф.

Профессор лукаво подмигнул ему:

— Что бы вы, например, сказали, мой друг, если бы я предложил честному германскому правительству... вы слышите,— я подчеркиваю: «честному», в это я вкладываю особенный смысл...— предложил бы любые запасы золота?

— Откуда? — спросил Вольф.

— Из земли, конечно...

— Где эта земля?

— Безразлично. Любая точка земного шара... Хотя бы в центре Берлина. Но я не предложу. Я не верю, чтобы золото обогатило вас, меня, всех Фрицев, Михелей... Пожалуй, мы станем еще бедней... Один только человек,— он обернул к Хлынову седовласую львиную голову,— ваш соотечественник, предложил сделать настоящее употребление из золота... Вы понимаете?

Хлынов усмехнулся, кивнул.

— Профессор, я привык слушать вас серьезно,— сказал Вольф.

— Я постараюсь быть серьезным. Вот у них в Москве зимние морозы доходят до тридцати градусов ниже

нуля, вода, выплеснутая с третьего этажа, падает на тротуар шариками льда. Земля носится в межпланетном пространстве десять — пятнадцать миллиардов лет. Должна была она остыть за этот срок, черт возьми? Я утверждаю — земля давным-давно остыла, отдала лучеиспусканием все свое тепло межпланетному пространству. Вы спросите: а вулканы, расплавленная лава, горячие гейзеры? Между твердой, слабо нагреваемой солнцем земной корой и всей массой земли находится пояс расплавленных металлов, так называемый Оливиновый пояс. Он происходит от непрерывного *атомного распада* основной массы земли. Эта основная масса представляет шар температуры межпланетного пространства, то есть в нем двести семьдесят три градуса ниже нуля. Продукты распада — Оливиновый пояс — не что иное, как находящиеся в жидком состоянии металлы: оливин, ртуть и золото. И нахождение их, по многим данным, не так глубоко: от пятнадцати до трех тысяч метров глубины. Можно в центре Берлина пробить шахту, и расплавленное золото само хлынет, как нефть, из глубины Оливинового пояса...

— Логично, заманчиво, но невероятно,— после молчания проговорил Вольф.— Пробить современными орудиями шахту такой глубины — невозможно...

47

Хлынов положил руку на развернутый лист «Л'Энтрансижан».

— Профессор, этот снимок напомнил мне разговор на аэроплане, когда я летел в Берлин. Задача пробраться к распадающимся элементам земного центра не так уже невероятна.

— Какое это имеет отношение к разрезанным французам? — спросил профессор, опять раскуривая сигару.

— Убийство в Вилль Давре совершено тепловым лучом.

При этих словах Вольф придвинулся к столу, холодное лицо его насторожилось.

— Ах, опять эти лучи,— профессор сморщился, как от кислого,—вздор, блеф, утка, запускаемая английским военным министерством.

— Аппарат построен русским, я знаю этого человека,— ответил Хлынов,— это талантливый изобретатель и крупный преступник.

Хлынов рассказал все, что знал об инженере Гарине: об его работах в Политехническом институте, о преступлении на Крестовском острове, о странных находках в подвале дачи, о вызове Шельги в Париж и о том, что, видимо, сейчас идет бешеная охота за аппаратом Гарина.

— Свидетельство налицо,—Хлынов указал на фотографию,— это работа Гарина.

Вольф хмуро рассматривал снимок. Профессор проговорил рассеянно:

— Вы полагаете, что при помощи тепловых лучей можно бурить землю? Хотя... при трехтысячной температуре расплавятся и глины и гранит. Очень, очень любопытно... А нельзя ли куда-нибудь телеграфировать этому Гарину? Гм... Если соединить бурение с искусственным охлаждением и поставить электрические элеваторы для отчерпывания породы, можно пробраться глубоко... Друг мой, вы меня чертовски заинтересовали...

До второго часа ночи, сверх обыкновения, профессор ходил по веранде, дымил сигарой и развивал планы, один удивительнее другого.

48

Обычно Вольф, уходя от профессора, прощался с Хлыновым на площади. На этот раз он пошел рядом с ним, постукивая тростью, опустив нахмуренное лицо.

— Ваше мнение таково, что инженер Гарин скрылся вместе с аппаратом после истории в Вилль Давре?— спросил он.

— Да.

— А эта «кровавая находка в лесу Фонтенебло» не может оказаться Гариным?

— Вы хотите сказать, что Шельга захватил аппарат?..

— Вот именно...

— Мне это не приходило в голову... Да, это было бы очень неплохо.

— Я думаю,— подняв голову, насмешливо сказал Вольф.

Хлынов быстро взглянул на собеседника. Оба остановились. Издалека фонарь освещал лицо Вольфа,— злую усмешку, холодные глаза, упрямый подбородок. Хлынов сказал:

— Во всяком случае, все это только догадки, нам пока еще незачем ссориться.

— Я понимаю, понимаю.

— Вольф, я с вами не хитрю, но говорю твердо,— необходимо, чтобы аппарат Гарина оказался в СССР. Одним этим желанием я создаю в вас врага. Честное слово, дорогой Вольф, у вас очень смутные понятия, что вредно и что полезно для вашей родины.

— Вы стараетесь меня оскорбить?

— Фу-ты, черт! Хотя — правда.— Хлынов чисто по-российски, что сразу отметил Вольф, двинул шляпу на сторону, почесал за ухом.— Да разве после того, как мы перебили друг у друга миллионов семь человек, можно еще обижаться на слова?.. Вы — немец от головы до ног, бронированная пехота, производитель машин, у вас и нервы, я думаю, другого состава. Слушайте, Вольф, попади в руки таким, как вы, аппарат Гарина, чего вы только ни натворите...

— Германия никогда не примирится с унижением.

Они подошли к дому, где в первом этаже Хлынов снимал комнату. Молча простились. Хлынов ушел в ворота. Вольф стоял, медленно катая между зубами погасшую сигару. Вдруг окно в первом этаже распахнулось, и Хлынов взволнованно высунулся:

— А... Вы еще здесь?.. Слава богу. Вольф, телеграмма из Парижа, от Шельги... Слушайте: «Преступник ушел. Я ранен, встану не скоро. Опасность величайшая, неизмеримая грозит миру. Необходим ваш приезд».

— Я еду с вами,— сказал Вольф.

49

На белой колеблющейся шторе бегали тени от листвы. Неумолкаемое журчание слышалось за шторой. Это на газоне больничного сада из переносных труб распылялась вода среди радуг, стекала каплями с листьев платана перед окном.

Шельга дремал в белой высокой комнате, освещенной сквозь штору.

Издалека доносился шум Парижа. Близкими были звуки — шорох деревьев, голоса птиц и однообразный плеск воды.

Неподалеку крякал автомобиль или раздавались шаги по коридору. Шельга быстро открывал глаза, остро, тревожно глядел на дверь. Пошевелиться он не мог. Обе руки его были окованы гипсом, грудь и голова забинтованы. Для защиты — одни глаза. И снова сладкие звуки из сада навевали сон.

Разбудила сестра-кармелитка [1], вся в белом, осторожно полными руками поднесла к губам Шельги фарфоровый соусничек с чаем. Когда ушла, остался запах лаванды.

Между сном и тревогой проходил день. Это были седьмые сутки после того, как Шельгу, без чувств, окровавленного, подняли в лесу Фонтенебло.

Его уже два раза допрашивал следователь. Шельга дал следующие показания:

— В двенадцатом часу ночи на меня напали двое. Я защищался тростью и кулаками. Получил четыре пули, больше ничего не помню.

— Вы хорошо рассмотрели лица нападавших?

— Их лица — вся нижняя часть — были закрыты платками.

— Вы защищались также и тростью?

— Просто это был сучок,— я его подобрал в лесу.

— Зачем в такой поздний час вы попали в лес Фонтенебло?

— Гулял, осматривал дворец, пошел обратно лесом, заблудился.

---

[1] Кармелиты — монашеский орден.

— Чем вы объясните то обстоятельство, что вблизи места покушения на вас обнаружены свежие следы автомобиля?

— Значит, преступники приехали на автомобиле.

— Чтобы ограбить вас? Или чтобы убить?

— Ни то, ни другое, я думаю. Меня никто не знает в Париже. В посольстве я не служу. Политической миссии не выполняю. Денег с собой немного.

— Стало быть, преступники ожидали не вас, когда стояли у двойного дуба, на поляне, где один курил, другой потерял запонку с ценной жемчужиной?

— По всей вероятности, это были светские молодые люди, проигравшиеся на скачках или в казино. Они искали случая поправить дела. В лесу Фонтенебло мог попасться человек, набитый тысячефранковыми билетами.

На втором допросе, когда следователь предъявил копию телеграммы в Берлин Хлынову (переданную следователю сестрой-кармелиткой), Шельга ответил:

— Это шифр. Дело касается поимки серьезного преступника, ускользнувшего из России.

— Вы могли бы говорить со мною более откровенно?

— Нет. Это не моя тайна.

На вопросы Шельга отвечал точно и ясно, глядел в глаза честно и даже глуповато. Следователю оставалось только поверить в его искренность.

Но опасность не миновала. Опасностью были пропитаны столбцы газет, полные подробностями «кошмарного дела в Вилль Давре», опасность была за дверью, за белой шторой, колеблемой ветром, в фарфоровом соусничке, подносимом к губам полными руками сестры-кармелитки.

Спасение в одном: как можно скорее снять гипс и повязки. И Шельга весь застыл, без движения, в полудремоте.

50

...В полудремоте ему вспоминалось:

Фонари потушены. Автомобиль замедлил ход... В окошко машины высунулся Гарин и — громким шепотом:

— Шельга, сворачивайте. Сейчас будет поляна. Там...

Грузно тряхнувшись на шоссейной канаве, автомобиль прошел между деревьями, повернулся и стал.

Под звездами лежала извилистая полянка. Смутно в тени деревьев громоздились скалы.

Мотор выключен. Остро запахло травой. Сонно плескался ручей, над ним вился туманчик, уходя неясным полотнищем в глубь поляны.

Гарин выпрыгнул на мокрую траву. Протянул руку. Из автомобиля вышла Зоя Монроз в глубоко надвинутой шапочке, подняла голову к звездам. Передернула плечами.

— Ну, вылезайте же,— резко сказал Гарин.

Тогда из автомобиля, головой вперед, вылез Роллинг. Из-под тени котелка его блестели золотые зубы.

Плескалась, бормотала вода в камнях. Роллинг вытащил из кармана руку, стиснутую, видимо, уже давно в кулак, и заговорил глуховатым голосом:

— Если здесь готовится смертный приговор, я протестую. Во имя права. Во имя человечности... Я протестую как американец... Как христианин... Я предлагаю любой выкуп за жизнь.

Зоя стояла спиной к нему. Гарин проговорил брезгливо:

— Убить вас я мог бы и там...

— Выкуп? — быстро спросил Роллинг.

— Нет.

— Участие в ваших...— Роллинг мотнул щеками,— в ваших странных предприятиях?

— Да. Вы должны это помнить... На бульваре Мальзерб... Я говорил вам...

— Хорошо,— ответил Роллинг,— завтра я вас приму... Я должен продумать заново ваши предложения.

Зоя сказала негромко:

— Роллинг, не говорите глупостей.

— Мадемуазель! — Роллинг подскочил, котелок съехал ему на нос,— мадемуазель... Ваше поведение неслыханно... Предательство... Разврат...

Так же тихо Зоя ответила:

— Ну вас к черту! Говорите с Гариным.

Тогда Роллинг и Гарин отошли к двойному дубу. Там вспыхнул электрический фонарик. Нагнулись две головы. Несколько секунд было слышно только, как плескался ручей в камнях.

— ...Но нас не трое, нас четверо... здесь есть свидетель,— долетел до Шельги резкий голос Роллинга.

. . . .

— Кто здесь, кто здесь? — сотрясаясь, сквозь дремоту пробормотал Шельга. Зрачки его расширились во весь глаз.

Перед ним на белом стульчике,— со шляпой на коленях,— сидел Хлынов.

51

. . . .

— Не предугадал хода... Думать времени не было,— рассказывал ему Шельга,— сыграл такого дурака, что — ну.

— Ваша ошибка в том, что вы взяли в автомобиль Роллинга,— сказал Хлынов.

— Какой черт я взял... Когда в гостинице началась пальба и резня, Роллинг сидел, как крыса, в автомобиле,— ощетинился двумя кольтами. Со мной оружия не было. Я влез на балкон и видел, как Гарин расправился с бандитами... Сообщил об этом Роллингу... Он струсил, зашипел, наотрез отказался выходить из машины... Потом он пытался стрелять в Зою Монроз. Но мы с Гариным свернули ему руки... Долго возиться было некогда, я вскочил за руль — и ходу...

— Когда вы были уже на полянке и они совещались около дуба, неужели вы не поняли?..

— Понял, что мое дело — ящик. А что было делать? Бежать? Ну, знаете, я все-таки спортсмен... К тому же у меня и план был весь разработан... В кармане фальшивый паспорт для Гарина, с десятью визами... Аппарат его,— рукой взять,— в автомобиле... При таких обстоятельствах мог я о шкуре своей очень-то думать?..

— Ну, хорошо... Они сговорились...

— Роллинг подписал какую-то бумажку там, под деревом,— я хорошо видел. После этого — слышу — он сказал насчет четвертого свидетеля, то есть меня. Я

вполголоса говорю Зое: «Слушайте-ка, давеча мы проехали мимо полисмена, он заметил номер машины. Если меня сейчас убьют, к утру вы все трое будете в стальных наручниках». Знаете, что она мне ответила? Вот женщина!.. Через плечо, не глядя: «Хорошо, я приму это к сведению»». А до чего красива!.. Бесовка! Ну, ладно. Гарин и Роллинг вернулись к машине. Я — как ни в чем не бывало... Первая села Зоя. Высунулась и что-то проговорила по-английски. Гарин — мне: «Товарищ Шельга, теперь — валяйте: полный ход по шоссе на запад». Я присел перед радиатором... Вот где моя ошибка. У них только и была эта одна минута... Когда машина на ходу, они бы со мной ничего не сделали, побоялись... Хорошо,— завожу машину... Вдруг, в темя, в мозг — будто дом на голову рухнул, хряснули кости, ударило, обожгло светом, опрокинуло навзничь... Видел только — мелькнула перекошенная морда Роллинга. Сукин сын! Четыре пули в меня запустил... Потом, я открываю глаза, вот эта комната.

Шельга утомился, рассказывая. Долго молчали. Хлынов спросил:

— Где может быть сейчас Роллинг?

— Как где? Конечно, в Париже. Ворочает прессой. У него сейчас большое наступление на химическом фронте. Деньги лопатой загребает. В том-то все и дело, что я с минуты на минуту жду пулю в окно или яд в соуснике. Он меня все-таки пришьет, конечно...

— Чего же вы молчите?.. Немедленно нужно дать знать шефу полиции.

— Товарищ дорогой, вы с ума сошли! Я и жив-то до сих пор только потому, что молчу.

52

— Итак, Шельга, вы своими глазами видели действие аппарата?

— Видел и теперь знаю: пушки, газы, аэропланы — все это детская забава. Вы не забывайте, тут не один Гарин... Гарин и Роллинг. Смертоносная машина и миллиарды. Всего можно ждать.

Хлынов поднял штору и долго стоял у окна, глядя на изумрудную зелень, на старого садовника, с трудом перетаскивающего металлические суставчатые трубы в теневую сторону сада, на черных дроздов,— они деловито и озабоченно бегали под кустами вербены, вытаскивали из чернозема дождевых червяков. Небо, синее и прелестное, вечным покоем расстилалось над садом.

— А то предоставить их самим себе, пусть развернутся во всем великолепии — Роллинг и Гарин, и конец будет ближе,— проговорил Хлынов.— Этот мир погибнет неминуемо... Здесь одни дрозды живут разумно.— Хлынов отвернулся от окна.— Человек каменного века был значительнее, несомненно... Бесплатно, только из внутренней потребности, разрисовывал пещеры, думал, сидя у огня, о мамонтах, о грозах, о странном вращении жизни и смерти и о самом себе. Черт знает, как это было почтенно!.. Мозг еще маленький, череп толстый, но духовная энергия молниями лучилась из его головы... А эти, нынешние, на кой черт им летательные машины? Посадить бы какого-нибудь франта с бульвара в пещеру напротив палеолитического человека. Тот бы, волосатый дядя, его спросил: «Рассказывай, сын больной суки, до чего ты додумался за эти сто тысяч лет?..» — «Ах, ах,— завертелся бы франт,— я, знаете ли, не столько думаю, сколько наслаждаюсь плодами цивилизации, господин пращур... Если бы не опасность революций со стороны черни, то наш мир был бы поистине прекрасен. Женщины, рестораны, немножко волнения за картами в казино, немножко спорта... Но, вот беда,— эти постоянные кризисы и революции — это становится утомительным...»— «Ух, ты,— сказал бы на это пращур, впиваясь в франта горящими глазами,— а мне вот нравится ду-у-у-умать, я вот сижу и уважаю мой гениальный мозг... Мне бы хотелось проткнуть им вселенную...»

Хлынов замолчал. Усмехаясь, всматривался в сумрак палеолитической пещеры. Тряхнул головой:

— Чего добиваются Гарин и Роллинг? Щекотки. Пусть они ее называют властью над миром. Все же это не больше, чем щекотка. В прошлую войну погибло тридцать миллионов. Они постараются убить триста. Духов-

ная энергия в глубочайшем обмороке. Профессор Рейхер обедает только по воскресеньям. В остальные дни он кушает два бутерброда с повидлой и с маргарином — на завтрак и отварной картофель с солью — к обеду. Такова плата за мозговой труд... И так будет, покуда мы не взорвем всю эту ихнюю «цивилизацию», Гарина посадим в сумасшедший дом, а Роллинга отправим завхозом куда-нибудь на остров Врангеля... Вы правы, нужно бороться... Что же,— я готов. Аппаратом Гарина должен владеть СССР...

— Аппарат будет у нас,— закрыв глаза, проговорил Шельга.

— С какого конца приступить к делу?

— С разведки, как полагается.

— В каком направлении?

— Гарин сейчас, по всей вероятности, бешеным ходом строит аппараты. В Вилль Даврe у него была только модель. Если он успеет построить боевой аппарат,— тогда его взять будет очень трудно. Первое,— нужно узнать, где он строит аппараты.

— Понадобятся деньги.

— Поезжайте сегодня же на улицу Гренелль, переговорите с нашим послом, я его кое о чем уже осведомил. Деньги будут. Теперь второе,— нужно разыскать Зою Монроз. Это очень важно. Это баба умная, жестокая, с большой фантазией. Она Гарина и Роллинга связала насмерть. В ней вся пружина их махинации.

— Простите, бороться с женщинами отказываюсь.

— Алексей Семенович, она посильнее нас с вами... Она еще много крови прольет.

53

Зоя вышла из круглой и низкой ванны, подставила спину,— горничная накинула на нее мохнатый халат. Зоя, вся еще покрытая пузырьками морской воды, села на мраморную скамью.

Сквозь иллюминаторы скользили текучие отблески солнца, зеленоватый свет играл на мраморных стенах, ванная комната слегка покачивалась. Горничная осто-

рожно вытирала, как драгоценность, ноги Зои, натянула чулки и белые туфли.

— Белье, мадам.

Зоя лениво поднялась, на нее надели почти не существующее белье. Она глядела мимо зеркала, заломив брови. Ее одели в белую юбку и белый, морского покроя, пиджачок с золотыми пуговицами,— как это и полагалось для владелицы трехсоттонной яхты в Средиземном море.

— Грим, мадам?

— Вы с ума сошли,— ответила Зоя, медленно взглянула на горничную и пошла наверх, на палубу, где с теневой стороны на низком камышовом столике был накрыт завтрак.

Зоя села у стола. Разломила кусочек хлеба и загляделась. Белый узкий корпус моторной яхты скользил по зеркальной воде,— море было ясно-голубое, немного темнее безоблачного неба. Пахло свежестью чисто вымытой палубы. Подувал теплый ветерок, лаская ноги под платьем.

На слегка выгнутой, из узких досок, точно замшевой палубе стояли у бортов плетеные кресла, посредине лежал серебристый анатолийский ковер с разбросанными парчовыми подушками. От капитанского мостика до кормы натянут тент из синего шелка с бахромой и кистями.

Зоя вздохнула и начала завтракать.

Мягко ступая, улыбаясь, подошел капитан Янсен, норвежец,— выбритый, румяный, похожий на взрослого ребенка. Неторопливо приложил два пальца к фуражке, надвинутой глубоко на одно ухо.

— С добрым утром, мадам Ламоль. (Зоя плавала под этим именем и под французским флагом.)

Капитан был весь белоснежный, выглаженный,— косолапо, по-морски, изящный. Зоя оглянула его от золотых дубовых листьев на козырьке фуражки до белых туфель с веревочными подошвами. Осталась удовлетворена.

— Доброе утро, Янсен.

— Имею честь доложить, курс — норд-вест-вест,

широта и долгота (такие-то), на горизонте курится Везувий. Неаполь покажется меньше чем через час.

— Садитесь, Янсен.

Движением руки она пригласила его принять участие в завтраке. Янсен сел на заскрипевшую под сильным его телом камышовую банкетку. От завтрака отказался,— он уже ел в девять утра. Из вежливости взял чашечку кофе.

Зоя рассматривала его загорелое лицо со светлыми ресницами,— оно понемногу залилось краской. Не отхлебнув, он поставил чашечку на скатерть.

— Нужно переменить пресную воду и взять бензин для моторов,— сказал он, не поднимая глаз.

— Как, заходить в Неаполь? Какая тоска! Мы встанем на внешнем рейде, если вам так уже нужны вода и бензин.

— Есть встать на внешнем рейде,— тихо проговорил капитан.

— Янсен, ваши предки были морскими пиратами?

— Да, мадам.

— Как это было интересно! Приключения, опасности, отчаянные кутежи, похищение красивых женщин... Вам жалко, что вы не морской пират?

Янсен молчал. Рыжие ресницы его моргали. По лбу пошли складки.

— Ну?

— Я получил хорошее воспитание, мадам.

— Верю.

— Разве что-нибудь во мне дает повод думать, что я способен на противозаконные и нелояльные поступки?

— Фу,— сказала Зоя,— такой сильный, смелый, отличный человек, потомок пиратов — и все это, чтобы возить вздорную бабу по теплой скучной луже. Фу!

— Но, мадам...

— Устройте какую-нибудь глупость, Янсен. Мне скучно...

— Есть устроить глупость.

— Когда будет страшная буря, посадите яхту на камень.

— Есть посадить яхту на камни...

— Вы серьезно это намерены сделать?

— Если вы приказываете...

Он взглянул на Зою. В глазах его были обида и сдерживаемое восхищение. Зоя потянулась и положила руку ему на белый рукав:

— Я не шучу с вами, Янсен. Я знаю вас всего три недели, но мне кажется, что вы из тех, кто может быть предан (у него сжались челюсти). Мне кажется, вы способны на поступки, выходящие из пределов лояльности, если, если...

В это время на лакированной, сверкающей бронзою лестнице с капитанского мостика показались сбегающие ноги. Янсен сказал поспешно:

— Время, мадам...

Вниз сошел помощник капитана. Отдал честь:

— Мадам Ламоль, без трех минут двенадцать, сейчас будут вызывать по радио...

54

Ветер парусил белую юбку. Зоя поднялась на верхнюю палубу к рубке радиотелеграфа. Прищурясь, вдохнула соленый воздух. Сверху, с капитанского мостика, необъятным казался солнечный свет, падающий на стеклянно-рябое море.

Зоя глядела и загляделась, взявшись за перила. Узкий корпус яхты с приподнятым бушпритом летел среди ветерков в этом водянистом свете.

Сердце билось от счастья. Казалось, оторви руки от перил, и полетишь. Чудесное создание — человек. Какими числами измерить неожиданности его превращений? Злые излучения воли, текучий яд вожделений, душа, казалось, разбитая в осколки,— все мучительное темное прошлое Зои отодвинулось, растворилось в этом солнечном свете...

«Я молода, молода,— так казалось ей на палубе корабля, с поднятым к солнцу бушпритом,— я красива, я добра».

Ветер ласкал шею, лицо. Зоя восторженно желала счастья себе. Все еще не в силах оторваться от света, неба, моря, она повернула холодную ручку дверцы, вошла в хрустальную будку, где с солнечной стороны

были задернуты шторки. Взяла слуховые трубки. Положила локти на стол, прикрыла глаза пальцами,— сердцу все еще было горячо. Зоя сказала помощнику капитана:

— Идите.

Он вышел, покосившись на мадам Ламоль. Мало того, что она была чертовски красива, стройна, тонка, «шикарна»,— от нее неизъяснимое волнение.

55

Двойные удары хронометра, как склянки, прозвонили двенадцать. Зоя улыбнулась,— прошло всего три минуты с тех пор, как она поднялась с кресла под тентом.

«Нужно научиться чувствовать, раздвигать каждую минуту в вечность,— подумалось ей,— знать: впереди миллионы минут, миллионы вечностей».

Она положила пальцы на рычажок и, пододвинув его влево, настроила аппарат на волну сто тридцать семь с половиной метров. Тогда из черной пустоты трубки раздался медленный и жесткий голос Роллинга:

— ...Мадам Ламоль, мадам Ламоль, мадам Ламоль... Слушайте, слушайте, слушайте...

— Да, слушаю я, успокойся,— прошептала Зоя.

— ...Все ли у вас благополучно? Не терпите ли бедствия? В чем-либо недостатка? Сегодня в тот же час, как обычно, буду счастлив слышать ваш голос... Волну посылайте той же длины, как обычно... Мадам Ламоль, не удаляйтесь слишком далеко от десяти градусов восточной долготы, сорока градусов северной широты. Не исключена возможность скорой встречи. У нас все в порядке. Дела блестящи. Тот, кому нужно молчать, молчит. Будьте спокойны, счастливы,— безоблачный путь...

Зоя сняла наушные трубки. Морщина прорезала ее лоб. Глядя на стрелку хронометра, она проговорила сквозь зубы: «Надоело!» Эти ежедневные радиопризнания в любви ужасно сердили ее. Роллинг не может, не хочет оставить ее в покое... Пойдет на какое угодно преступление в конце концов, только бы позволила ему каждый день хрипеть в микрофон: «...Будьте спокойны, счастливы,— безоблачный путь».

56

После убийств в Вилль Давре и Фонтенебло и затем бешеной езды с Гариным по залитым лунным светом пустынным шоссейным дорогам в Гавр Зоя и Роллинг больше не встречались. Он стрелял в нее в ту ночь, пытался оскорбить и затих. Кажется, он даже молча плакал тогда, согнувшись в автомобиле.

В Гавре она села на его яхту «Аризона» и на рассвете вышла в Бискайский залив. В Лиссабоне Зоя получила документы и бумаги на имя мадам Ламоль — она становилась владелицей одной из самых роскошных на Западе яхт. Из Лиссабона пошли в Средиземное море, и там «Аризона» крейсировала у берегов Италии, держась десяти градусов восточной долготы, сорока градусов северной широты.

Немедленно была установлена связь между яхтой и частной радиостанцией Роллинга в Медоне под Парижем. Капитан Янсен докладывал Роллингу обо всех подробностях путешествия. Роллинг ежедневно вызывал Зою. Она каждый вечер докладывала ему о своих «настроениях». В этом однообразии прошло дней десять, и вот аппараты «Аризоны», щупавшие пространство, приняли короткие волны на непонятном языке. Дали знать Зое, и она услыхала голос, от которого остановилось сердце.

— ...Зоя, Зоя, Зоя, Зоя...

Точно огромная муха о стекло, звенел в наушниках голос Гарина. Он повторял ее имя и затем через некоторые промежутки:

— ...Отвечай от часа до трех ночи...

И опять:

— ...Зоя, Зоя, Зоя... Будь осторожна, будь осторожна...

В ту же ночь над темным морем, над спящей Европой, над древними пепелищами Малой Азии, над равнинами Африки, покрытыми иглами и пылью высохших растений, полетели волны женского голоса:

— ...Тому, кто велел отвечать от часа до трех...

Этот вызов Зоя повторяла много раз. Затем говорила:

— ...Хочу тебя видеть. Пусть это неразумно. Назначь любой из итальянских портов... По имени меня не вызывай, узнаю тебя по голосу...

В ту же ночь, в ту самую минуту, когда Зоя упрямо повторяла вызов, надеясь, что Гарин где-то,— в Европе, Азии, Африке,— нащупает волны электромагнитов «Аризоны», за две тысячи километров, в Париже, на ночном столике у двухспальной кровати, где одиноко, уткнув нос в одеяло, спал Роллинг, затрещал телефонный звонок.

Роллинг, подскочив, схватил трубку. Голос Семенова поспешно проговорил:

— Роллинг. Она разговаривает.

— С кем?

— Плохо слышно, по имени не называет.

— Хорошо, продолжайте слушать. Отчет завтра.

Роллинг положил трубку, снова лег, но сон уже отошел от него.

Задача была нелегка: среди несущихся ураганом над Европой фокстротов, рекламных воплей, церковных хоралов, отчетов о международной политике, опер, симфоний, биржевых бюллетеней, шуточек знаменитых юмористов — уловить слабый голос Зои.

День и ночь для этого в Медоне сидел Семенов. Ему удалось перехватить несколько фраз, сказанных голосом Зои. Но и этого было достаточно, чтобы разжечь ревнивое воображение Роллинга.

Роллинг чувствовал себя отвратительно после ночи в Фонтенебло. Шельга остался жив,— висел над головой страшной угрозой. С Гариным, которого Роллинг с наслаждением повесил бы на сучке, как негра, был подписан договор. Быть может, Роллинг и заупрямился бы тогда,— лучше смерть, эшафот, чем союз,— но волю его сокрушала Зоя. Договариваясь с Гариным, он выигрывал время, и, быть может, сумасшедшая женщина опомнится, раскается, вернется... Роллинг действительно плакал в автомобиле, зажмурясь, молча... Это было черт знает что... Из-за распутной, продажной бабы... Но слезы были солоны и мучительны... Одним из условий договора он поставил длительное путешествие Зои на яхте. (Это было необходимо, чтобы замести следы.) Он

надеялся убедить, усовестить, увлечь ее ежедневными беседами по радио. Эта надежда была, пожалуй, глупее слез в автомобиле.

По условию с Гариным Роллинг немедленно начинал «всеобщее наступление на химическом фронте». В тот день, когда Зоя села в Гавре на «Аризону», Роллинг поездом вернулся в Париж. Он известил полицию о том, что был в Гавре и на обратном пути, ночью, подвергся нападению бандитов (трое, с лицами, обвязанными платками). Они отобрали у него деньги и автомобиль. (Гарин в это время,— как было условлено,— пересек с запада на восток Францию, проскочил границу в Люксембурге и в первом попавшемся канале утопил автомобиль Роллинга.)

«Наступление на химическом фронте» началось. Парижские газеты начали грандиозный переполох. «Загадочная трагедия в Вилль Давре», «Таинственное нападение на русского в парке Фонтенебло», «Наглое ограбление химического короля», «Американские миллиарды в Европе», «Гибель национальной германской индустрии», «Роллинг или Москва» — все это умно и ловко было запутано в один клубок, который, разумеется, застрял в горле у обывателя — держателя ценностей. Биржа тряслась до основания. Между серых колонн ее, у черных досок, где истерические руки писали, стирали, писали меловые цифры падающих бумаг, мотались, орали обезумевшие люди с глазами, готовыми лопнуть, с губами в коричневой пене.

Но это гибла плотва,— все это были шуточки. Крупные промышленники и банки, стиснув зубы, держались за пакеты акций. Их нелегко было повалить даже рогами Роллинга. Для этой наиболее серьезной операции и подготовлялся удар со стороны Гарина.

Гарин «бешеным ходом», как верно угадал Шельга, строил в Германии аппарат по своей модели. Он разъезжал из города в город, заказывая заводам различные части. Для сношения с Парижем пользовался отделом частных объявлений в кельнской газете. Роллинг в свою очередь помещал в одной из бульварных парижских газет две-три строчки: «Все внимание сосредо-

точьте на анилине...», «Дорог каждый день, не жалейте денег...» и так далее.

Гарин отвечал: «Окончу скорее, чем предполагал...», «Место найдено...», «Приступаю...», «Непредвиденная задержка...»

Роллинг: «Тревожусь, назначьте день...»

Гарин ответил: «Отсчитайте тридцать пять со дня подписания договора...»

Приблизительно с этим его сообщением совпала ночная телефонограмма Роллингу от Семенова. Роллинг пришел в ярость,— его водили за нос. Тайные сношения с «Аризоной», помимо всего, были опасны. Но Роллинг не выдал себя ни словом, когда на следующий день говорил с мадам Ламоль.

Теперь, в часы бессонниц, Роллинг стал «продумывать» заново свою «партию» со смертельным врагом. Он нашел ошибки. Гарин оказывался не так уже хорошо защищен. Ошибкой его было согласие на путешествие Зои,— конец партии для него предрешен. Мат будет сказан на борту «Аризоны».

57

Но на борту «Аризоны» происходило не совсем то, о чем думал Роллинг. Он помнил Зою умной, спокойно-расчетливой, холодной, преданной. Он знал, с какой брезгливостью она относилась к женским слабостям. Он не мог допустить, чтобы долго могло длиться ее увлечение этим нищим бродягой, бандитом Гариным. Хорошая прогулка по Средиземному морю должна прояснить ее ум.

Зоя действительно была как в бреду, когда в Гавре села на яхту. Несколько дней одиночества среди океана успокоили ее. Она пробуждалась, жила и засыпала среди синего света, блеска воды, под спокойный, как вечность, шум волн. Содрогаясь от омерзения, она вспоминала грязную комнату и оскалившийся, стеклянноглазый труп Ленуара, закипевшую дымную полосу поперек груди Утиного Носа, сырую поляну в Фонте-

небло и неожиданные выстрелы Роллинга, точно он убивал бешеную собаку...

Но все же ум ее не прояснялся, как надеялся Роллинг. Наяву и во сне чудились какие-то дивные острова, мраморные дворцы, уходящие лестницами в океан... Толпы красивых людей, музыка, вьющиеся флаги... И она — повелительница этого фантастического мира...

Сны и видения в кресле под синим тентом были продолжением разговора с Гариным в Вилль Давре (за час до убийства). Один на свете человек, Гарин, понял бы ее сейчас. Но с ним были связаны и стеклянные глаза Ленуара и разинутый страшный рот Гастона Утиный Нос.

Вот почему у Зои остановилось сердце, когда неожиданно в трубку радио забормотал голос Гарина... С тех пор она ежедневно звала его, умоляла, грозила. Она хотела видеть его и боялась. Он чудился ей черным пятном в лазурной чистоте моря и неба... Ей нужно было рассказать ему о снах наяву. Спросить, где же его Оливиновый пояс? Зоя металась по яхте, лишая капитана Янсена и его помощника присутствия духа.

Гарин отвечал:

«...Жди. Будет все, что ты захочешь. Только умей хотеть. Желай, сходи с ума — это хорошо. Ты мне нужна такой. Без тебя мое дело мертвое».

Таково было его последнее радио, точно так же перехваченное Роллингом. Сегодня Зоя ждала ответа на запрос,— в какой точно день его нужно ждать на яхте? Она вышла на палубу и облокотилась о перила. Яхта едва двигалась. Ветер затих. На востоке поднимались испарения еще невидимой земли, и стоял пепельный столб дыма над Везувием.

На мостике капитан Янсен опустил руку с биноклем, и Зоя чувствовала, что он, как зачарованный, смотрит на нее. Да и как было ему не смотреть, когда все чудеса неба и воды были сотворены только затем, чтобы ими любовалась мадам Ламоль,— у перил над молочно-лазурной бездной.

Невероятным, смешным казалось время, когда за дюжину шелковых чулок, за платье от большого дома, просто за тысячу франков Зоя позволяла слюнявить

себя молодчикам с коротенькими пальцами и сизыми щеками... Фу!.. Париж, кабаки, глупые девки, гнусные мужчины, уличная вонь, деньги, деньги, деньги,— какое убожество... Возня в зловонной яме!..

Гарин сказал в ту ночь: «Захотите — и будете наместницей бога или черта, что вам больше по вкусу. Вам захочется уничтожать людей,— иногда в этом бывает потребность,— ваша власть надо всем человечеством... Такая женщина, как вы, найдет применение сокровищам Оливинового пояса...»

Зоя думала:

«Римские императоры обожествляли себя. Наверно, им это доставляло удовольствие. В наше время это тоже не плохое развлечение. На что-нибудь должны пригодиться людишки. Воплощение бога, живая богиня среди фантастического великолепия... Отчего же,— пресса могла бы подготовить мое обожествление легко и быстро. Миром правит сказочно-прекрасная женщина. Это имело бы несомненный успех. Построить где-нибудь на островах великолепный город для избранных юношей, предполагаемых любовников богини. Появляться, как богиня, среди этих голодных мальчишек,— недурные эмоции».

Зоя пожала плечиком и снова посмотрела на капитана:

— Подите сюда, Янсен.

Он подошел, мягко и широко ступая по горячей палубе.

— Янсен, вы не думаете, что я сумасшедшая?

— Я не думаю этого, мадам Ламоль, и не подумаю, что бы вы мне ни приказали.

— Благодарю. Я вас назначаю командором ордена божественной Зои.

Янсен моргнул светлыми ресницами. Затем взял под козырек. Опустил руку и еще раз моргнул. Зоя засмеялась, и его губы поползли в улыбку.

— Янсен, есть возможность осуществить самые несбыточные желания... Все, что может придумать женщина в такой знойный полдень... Но нужно будет бороться...

— Есть бороться,— коротко ответил Янсен.

— Сколько узлов делает «Аризона»?
— До сорока.
— Какие суда могут нагнать ее в открытом море?
— Очень немногие...
— Быть может, нам придется выдержать длительную погоню.
— Прикажете взять полный запас жидкого топлива?
— Да. Консервов, пресной воды, шампанского... Капитан Янсен, мы идем на очень опасное предприятие.
— Есть идти на опасное предприятие.
— Но, слышите, я уверена в победе...

Склянки пробили. половину первого... Зоя вошла в радиотелефонную рубку. Села к аппарату. Она потрогала рычажок радиоприемника. Откуда-то поймались несколько тактов фокстрота.

Сдвинув брови, она глядела на хронометр. Гарин молчал. Она снова стала двигать рычажок, сдерживая дрожь пальцев.

...Незнакомый, медленный голос по-русски проговорил в самое ухо:

«...Если вам дорога жизнь... в пятницу высадитесь в Неаполе... в гостинице «Сплендид» ждите известий до полудня субботы».

Это был конец какой-то фразы, отправленной на длине волны четыреста двадцать один, то есть станции, которой все это время пользовался Гарин.

58

Третью ночь подряд в комнате, где лежал Шельга, забывали закрывать ставни. Каждый раз он напоминал об этом сестре-кармелитке. Он внимательно смотрел за тем, чтобы задвижка, соединяющая половинки створчатых ставен, была защелкнута как следует.

За эти три недели Шельга настолько поправился, что вставал с койки и пересаживался к окну, поближе к пышнолистным ветвям платана, к черным дроздам и радугам над водяной пылью среди газона.

Отсюда был виден весь больничный садик, обнесенный каменной глухой стеной. В восемнадцатом веке это

место принадлежало монастырю, уничтоженному революцией. Монахи не любят любопытных глаз. Стена была высока, и по всему гребню ее поблескивали осколки битого стекла.

Перелезть через стену можно было, лишь подставив с той стороны лестницу. Улички, граничившие с больницей, были тихие и пустынные, все же фонари там горели настолько ярко и так часто слышались в тишине за стеной шаги полицейских, что вопрос о лестнице отпадал.

Разумеется, не будь битого стекла на стене, ловкий человек перемахнул бы и без лестницы. Каждое утро Шельга из-за шторы осматривал всю стену до последнего камешка. Опасность грозила только с этой стороны. Человек, посланный Роллингом, вряд ли рискнул бы появиться изнутри гостиницы. Но что убийца так или иначе появится, Шельга не сомневался.

Он ждал теперь осмотра врача, чтобы выписаться. Об этом было известно. Врач приезжал обычно пять раз в неделю. На этот раз оказалось, что врач заболел. Шельге заявили, что без осмотра старшего врача его не выпишут. Протестовать он даже и не пытался. Он дал знать в советское посольство, чтобы оттуда ему доставляли еду. Больничный суп он выливал в раковину, хлеб бросал дроздам.

Шельга знал, что Роллинг должен избавиться от единственного свидетеля. Шельга теперь почти не спал,— так велико было возбуждение. Сестра-кармелитка приносила ему газеты,— весь день он работал ножницами и изучал вырезки. Хлынову он запретил приходить в больницу. (Вольф был в Германии, на Рейне, где собирал сведения о борьбе Роллинга с Германской анилиновой компанией.)

Утром, подойдя, как обычно, к окну, Шельга оглядел сад и сейчас же отступил за занавес. Ему стало даже весело. Наконец-то! В саду, с северной стороны, полускрытая липой, к стене была прислонена лестница садовника, верхний конец ее торчал на пол-аршина над осколками стекла.

Шельга сказал:

— Ловко, сволочи!

Оставалось только ждать. Все было уже обдумано. Правая рука его, хотя и свободная от бинтов, была еще слаба. Левая — в лубках и в гипсе,— сестра крепко прибинтовала ее к груди. Рука с гипсом весила не меньше пятнадцати фунтов. Это было единственное оружие, которым он мог защищаться.

На четвертую ночь сестра опять забыла закрыть ставни. Шельга на этот раз не протестовал и с девяти часов притворился спящим. Он слышал, как хлопали в обоих этажах ставни. Его окно опять осталось открытым настежь. Когда погас свет, он соскочил с койки и правой слабой рукой и зубами стал распутывать повязку, державшую левую руку.

Он останавливался, не дыша вслушивался. Наконец рука повисла свободно. Он мог разогнуть ее до половины. Выглянул в сад, освещенный уличным фонарем,— лестница стояла на прежнем месте за липой. Он скатал одеяло, сунул под простыню, в полутьме казалось, что на койке лежит человек.

За окном было тихо, только падали капли. Лиловатое зарево трепетало в тучах над Парижем. Сюда не долетали шумы с бульваров. Неподвижно висела черная ветвь платана.

Где-то заворчал автомобиль. Шельга насторожился,— казалось, он слышит, как бьется сердце у птицы, спящей на платановой ветке. Прошло, должно быть, много времени. В саду началось поскрипывание и шуршание, точно деревом терли по известке.

Шельга отступил к стене за штору. Опустил гипсовую руку. «Кто? Нет, кто? — подумал он.— Неужели сам Роллинг?»

Зашелестели листья,— встревожился дрозд. Шельга глядел на тускло освещенный из окна паркет, где должна появиться тень человека.

«Стрелять не будет,— подумал он,— надо ждать какой-нибудь дряни, вроде фосгена...» На паркете стала подниматься тень головы в глубоко надвинутой шляпе. Шельга стал отводить руку, чтобы сильнее был удар. Тень выдвинулась по плечи, подняла растопыренные пальцы.

— Шельга, товарищ Шельга,— прошептала тень по-русски,— это я, не бойтесь...

Шельга ожидал всего, но только не этих слов, не этого голоса. Невольно он вскрикнул. Выдал себя, и тот человек тотчас одним прыжком перескочил через подоконник. Протянул для защиты обе руки. Это был Гарин.

— Вы ожидали нападения, я так и думал,— торопливо сказал он,— сегодня в ночь вас должны убить. Мне это невыгодно. Я рискую черт знает чем, я должен вас спасти. Идем, у меня автомобиль.

Шельга отделился от стены.

Гарин весело блеснул зубами, увидев все еще отведенную гипсовую руку.

— Слушайте, Шельга, ей-богу, я не виноват. Помните наш уговор в Ленинграде? Я играю честно. Неприятностью в Фонтенебло вы обязаны исключительно этой сволочи Роллингу. Можете верить мне,— идем, дороги секунды...

Шельга проговорил, наконец:

— Ладно, вы меня увезете, а потом что?

— Я вас спрячу... На небольшое время, не бойтесь. Покуда не получу от Роллинга половины... Вы газеты читаете? Роллингу везет как утопленнику, но он не может честно играть. Сколько вам нужно, Шельга? Говорите первую цифру. Десять, двадцать, пятьдесят миллионов? Я выдам расписку...

Гарин говорил негромко, торопливо, как в бреду,— лицо его все дрожало.

— Не будьте дураком, Шельга. Вы что, принципиальный, что ли?.. Я предлагаю работать вместе против Роллинга... Ну... Едем...

Шельга упрямо мотнул головой:

— Не хочу. Не поеду.

— Все равно — вас убьют.

— Посмотрим.

— Сиделки, сторожа, администрация,— все куплено Роллингом. Вас задушат. Я знаю... Сегодняшней ночи вам не пережить... Вы предупредили ваше посольство? Хорошо, хорошо... Посол потребует объяснений. Французское правительство в крайнем случае извинится... Но вам от этого не легче. Роллингу нужно убрать свиде-

теля... Он не допустит, чтобы вы перешагнули ворота советского посольства...

— Сказал — не поеду... Не хочу...

Гарин передохнул. Оглянулся на окно.

— Хорошо. Тогда я вас возьму и без вашего желания.— Он отступил на шаг, сунул руку в пальто.

— То есть как это — без моего желания?

— А вот так...

Гарин, рванув из кармана, вытащил маску с коротким цилиндром противогаза, поспешно приложил ее ко рту, и Шельга не успел крикнуть,— в лицо ему ударила струя маслянистой жидкости... Мелькнула только рука Гарина, сжимающая резиновую грушу... Шельга захлебнулся душистым, сладким дурманом...

59

— Есть новости?

— Да. Здравствуйте, Вольф.

— Я прямо с вокзала, голоден, как в восемнадцатом году.

— У вас веселый вид, Вольф. Много узнали?

— Кое-что узнал... Будем говорить здесь?

— Хорошо, но только быстро.

Вольф сел рядом с Хлыновым на гранитную скамью у подножия конного памятника Генриху IV, спиной к черным башням Консьержери. Внизу, там, где остров Сите кончался острым мысом, наклонилась к воде плакучая ветла. Здесь некогда корчились на кострах рыцари ордена Тамплиеров. Вдали, за десятками мостов, отраженных в реке, садилось солнце в пыльно-оранжевое сияние. На набережных, на железных баржах с песком сидели с удочками французы, добрые буржуа, разоренные инфляцией, Роллингом и мировой войной. На левом берегу, на гранитном парапете набережной, далеко, до самого министерства иностранных дел, скучали под вечерним солнцем букинисты у никому уже больше в этом городе не нужных книг.

Здесь доживал век старый Париж. Еще бродили около книг на набережной, около клеток с птицами, около унылых рыболовов пожилые личности со склероз-

ными глазами, с усами, закрывающими рот, в разлетайках, в старых соломенных шляпах... Когда-то это был их город... Вон там, черт возьми, в Консьержери ревел Дантон, точно бык, которого волокут на бойню. Вон там, направо, за графитовыми крышами Лувра, где в мареве стоят сады Тюильри,— там были жаркие дела, когда вдоль улицы Риволи визжала картечь генерала Галифе. Ах, сколько золота было у Франции! Каждый камень здесь,— если уметь слушать,— расскажет о великом прошлом. И вот,— сам черт не поймет,— хозяином в этом городе оказался заморское чудовище, Роллинг,— теперь только и остается доброму буржуа закинуть удочку и сидеть с опущенной головой... Э-хе-хе! О-ля-ля!..

Раскурив крепкий табак в трубке, Вольф сказал:

— Дело обстоит так. Германская анилиновая компания — единственная, которая не идет ни на какие соглашения с американцами. Компания получила двадцать восемь миллионов марок государственной субсидии. Сейчас все усилия Роллинга направлены на то, чтобы повалить германский анилин.

— Он играет на понижение? — спросил Хлынов.

— Продает на двадцать восьмое этого месяца анилиновые акции на колоссальные суммы.

— Но это очень важные сведения, Вольф.

— Да, мы попали на след. Роллинг, видимо, уверен в игре, хотя акции не упали ни на пфенниг, а сегодня уже двадцатое... Вы понимаете, на что единственно он может рассчитывать?

— Стало быть, у них все готово?

— Я думаю, что аппарат уже установлен.

— Где находятся заводы Анилиновой компании?

— На Рейне, около Н. Если Роллинг свалит анилин, он будет хозяином всей европейской промышленности. Мы не должны допустить до катастрофы. Наш долг спасти германский анилин. (Хлынов пожал плечом, но промолчал.) Я понимаю: чему быть — то будет. Мы с вами вдвоем не остановим натиска Америки. Но черт его знает, история иногда выкидывает неожиданные фокусы.

— Вроде революций?

— А хотя бы и так.

Хлынов взглянул на него с некоторым даже удивлением. Глаза у Вольфа были круглые, желтые, злые.

— Вольф, буржуа не станут спасать Европу.

— Знаю.

— Вот как?

— В эту поездку я насмотрелся... Буржуа — французы, немцы, англичане, итальянцы — преступно, слепо, цинично распродают старый мир. Вот чем кончилась культура — аукционом... С молотка!

Вольф побагровел:

— Я обращался к властям, намекал на опасность, просил помочь в розысках Гарина... Я говорил им страшные слова... Мне смеялись в лицо... К черту!.. Я не из тех, кто отступает...

— Вольф, что вы узнали на Рейне?

— Я узнал... Анилиновая компания получила от германского правительства крупные военные заказы. Процесс производства на заводах Анилиновой компании в наиболее сейчас опасной стадии. У них там чуть ли не пятьсот тонн тетрила в работе.

Хлынов быстро поднялся. Трость, на которую он опирался, согнулась. Он снова сел.

— В газетах проскользнула заметка о необходимости возможно отдалить рабочие городки от этих проклятых заводов. В Анилиновой компании занято свыше пятидесяти тысяч человек... Газета, поместившая заметку, была оштрафована... Рука Роллинга...

— Вольф, мы не можем терять ни одного дня.

— Я заказал билеты на одиннадцатичасовой, на сегодня.

— Мы едем в Н.?

— Думаю, что только там можно найти следы Гарина.

— Теперь посмотрите, что мне удалось достать.— Хлынов вынул из кармана газетные вырезки.— Третьего дня я был у Шельги... Он передал мне ход своих рассуждений: Роллинг и Гарин должны сноситься между собой...

— Разумеется. Ежедневно.

— Почтой? Телеграфно? Как вы думаете, Вольф?

— Ни в коем случае. Никаких письменных следов.
— Тогда — радио?
— Чтобы орать на всю Европу... Нет...
— Через третье лицо?
— Нет... Я понял,— сказал Вольф,— ваш Шельга молодчина. Дайте вырезки...

Он разложил их на коленях и внимательно стал прочитывать подчеркнутое красным:

«Все внимание сосредоточьте на анилине». «Приступаю». «Место найдено».

— «Место найдено»,— прошептал Вольф,— это газета из К., городок близ Н. ... «Тревожусь, назначьте день», «Отсчитайте тридцать пять со дня подписания договора...» Это могут быть только они. Ночь подписания договора в Фонтенебло — двадцать третьего прошлого месяца. Прибавьте тридцать пять,— будет двадцать восемь,— срок продажи акций анилина...

— Дальше, дальше, Вольф... «Какие меры вами приняты?» — это из К., спрашивает Гарин. На другой день в парижской газете — ответ Роллинга: «Яхта наготове. Прибывает на третьи сутки. Будет сообщено по радио». А вот — четыре дня назад — спрашивает Роллинг: «Не будет ли виден свет?» Гарин отвечает: «Кругом пустынно. Расстояние пять километров».

— Иными словами, аппарат установлен в горах: ударить лучом за пять километров можно только с высокого места. Слушайте, Хлынов, у нас ужасно мало времени. Если взять пять километров за радиус,— в центре заводы,— нам нужно обшарить местность не менее тридцати пяти километров в окружности. Есть еще какие-нибудь указания?

— Нет. Я только что собирался позвонить Шельге. У него должны быть вырезки за вчерашний и сегодняшний день.

Вольф поднялся. Было видно, как под одеждой его вздулись мускулы.

Хлынов предложил позвонить из ближайшего кафе на левом берегу. Вольф пошел через мост так стремительно, что какой-то старичок с цыплячьей шеей в запачканном пиджачке, пропитанном, быть может, одинокими слезами по тем, кого унесла война, затряс го-

ловой и долго глядел из-под пыльной шляпы вслед бегущим иностранцам:

— О-о! Иностранцы... Когда деньги в кармане, то и толкаются и бегают, как будто бы они дома... О-о... дикари!..

В кафе, стоя у цинкового прилавка, Вольф пил содовую. Ему была видна сквозь стекло телефонной будки спина разговаривающего Хлынова,— вот у него поднялись плечи, он весь налез на трубку; выпрямился, вышел из будки; лицо его было спокойно, но белое, как маска.

— Из больницы ответили, что сегодня ночью Шельга исчез. Приняты все меры к его разысканию... Думаю, что он убит.

60

Трещал хворост в очаге, прокопченном за два столетия, с огромными ржавыми крючьями для колбас и окороков, с двумя каменными святыми по бокам,— на одном висела светлая шляпа Гарина, на другом засаленный офицерский картуз. У стола, освещенные только огнем очага, сидели четверо. Перед ними — оплетенная бутыль и полные стаканы вина.

Двое мужчин были одеты по-городскому,— один скуластый, крепкий, с низким ежиком волос, у другого — длинное, злое лицо. Третий, хозяин фермы, где на кухне сейчас происходило совещание,— генерал Субботин,—сидел в одной холщовой грязной рубашке с закатанными рукавами. Начисто обритая кожа на голове его двигалась, толстое лицо с взъерошенными усами побагровело от вина.

Четвертый, Гарин, в туристском костюме, небрежно водя пальцем по краю стакана, говорил:

— Все это очень хорошо... Но я настаиваю, чтобы моему пленнику, хотя он и большевик, не было причинено ни малейшего ущерба. Еда — три раза в день, вино, овощи, фрукты... Через неделю я его забираю от вас... Бельгийская граница?..

— Три четверти часа на автомобиле,— торопливо подавшись вперед, сказал человек с длинным лицом.

— Все будет шито-крыто... Я понимаю, господин генерал и господа офицеры (Гарин усмехнулся), что вы, как дворяне, как беззаветно преданные памяти замученного императора, действуете сейчас исключительно из высших, чисто идейных соображений... Иначе бы я и не обратился к вам за помощью...

— Мы здесь все люди общества,— о чем говорить? — прохрипел генерал, двинув кожей на черепе.

— Условия, повторяю, таковы: за полный пансион пленника я вам плачу тысячу франков в день. Согласны?

Генерал перекатил налитые глаза в сторону товарищей. Скуластый показал белые зубы, длиннолицый опустил глаза.

— Ах, вот что,— сказал Гарин,— виноват, господа,— задаточек...

Он вынул из револьверного кармана пачку тысячефранковых билетов и бросил ее на стол в лужу вина.

— Пожалуйста...

Генерал крякнул, подвинул к себе пачку, осмотрел, вытер ее о живот и стал считать, сопя волосатыми ноздрями. Товарищи его понемногу стали придвигаться, глаза их поблескивали.

Гарин сказал, вставая:

— Введите пленника.

61

Глаза Шельги были завязаны платком. На плечах накинуто автомобильное кожаное пальто. Он почувствовал тепло, идущее от очага,— ноги его задрожали. Гарин подставил табурет. Шельга сейчас же сел, уронив на колени гипсовую руку.

Генерал и оба офицера глядели на него так, что, казалось, дай знак, мигни,— от человека рожки да ножки останутся. Но Гарин не подал знака. Потрепав Шельгу по колену, сказал весело:

— Здесь у вас ни в чем не будет недостатка. Вы у порядочных людей,— им хорошо заплачено. Через несколько дней я вас освобожу. Товарищ Шельга, дайте честное слово, что вы не будете пытаться бежать, скандалить, привлекать внимание полиции.

Шельга отрицательно мотнул опущенной головой. Гарин нагнулся к нему:

— Иначе трудно будет поручиться за удобство вашего пребывания... Ну, даете?

Шельга проговорил медленно, негромко:

— Даю слово коммуниста... (Сейчас же у генерала бритая кожа на черепе поползла к ушам, офицеры быстро переглянулись, нехорошо усмехнулись.) Даю слово коммуниста,— убить вас при первой возможности, Гарин... Даю слово отнять у вас аппарат и привезти его в Москву... Даю слово, что двадцать восьмого...

Гарин не дал ему договорить. Схватил за горло...

— Замолчи... Идиот!.. Сумасшедший!..

Обернулся и — повелительно:

— Господа офицеры, предупреждаю вас, этот человек очень опасен, у него навязчивая идея...

— Я и говорю,— самое лучшее держать его в винном погребе,— пробасил генерал.— Увести пленника...

Гарин взмахнул бородкой. Офицеры подхватили Шельгу, втолкнули в боковую дверь и поволокли в погреб. Гарин стал натягивать автомобильные перчатки.

— В ночь на двадцать девятое я буду здесь. Тридцатого вы можете, ваше превосходительство, прекратить опыты над разведением кроликов, купить себе каюту первого класса на трансатлантическом пароходе и жить барином хоть на Пятом авеню в Нью-Йорке.

— Нужно оставить какие-нибудь документы для этого сукиного кота,— сказал генерал.

— Пожалуйста, любой паспорт на выбор.

Гарин вынул из кармана сверток, перевязанный бечевкой. Это были документы, похищенные им у Шельги в Фонтенебло. Он еще не заглядывал в них за недосугом.

— Здесь, видимо, паспорта, приготовленные для меня. Предусмотрительно... Вот, получайте, ваше превосходительство...

Гарин швырнул на стол паспортную книжку и, продолжая рыться в бумажнике,— чем-то заинтересовался,— придвинулся к лампе. Брови его сдвинулись.

— Черт! — И он кинулся к боковой двери, куда утащили Шельгу.

62

Шельга лежал на каменном полу на матраце. Керосиновая коптилка освещала сводчатый погреб, пустые бочки, заросли паутины. Гарин некоторое время искал глазами Шельгу. Стоя перед ним, покусывал губы.

— Я погорячился, не сердитесь, Шельга. Думаю, что все-таки мы найдем с вами общий язык. Договоримся. Хотите?

— Попытайтесь.

Гарин говорил вкрадчиво, совсем по-другому, чем десять минут назад. Шельга насторожился. Но пережитое за эту ночь волнение, еще гудящие во всем теле остатки усыпительного газа и боль в руке ослабляли его внимание. Гарин присел на матрац. Закурил. Лицо его казалось задумчивым, и весь он — благожелательный, изящный...

«К чему, подлец, гнет? К чему гнет?» — думал Шельга, морщась от головной боли.

Гарин обхватил колено, закурил папиросу, поднял глаза к сводчатому потолку.

— Видите ли, Шельга, прежде всего вам нужно усвоить, что я никогда не лгу... Может быть, из презрения к людям, но это неважно. Итак: Роллинг с его миллиардами нужен мне до поры до времени, только... Так же, как и я нужен Роллингу... Это он, кажется, уже понял, несмотря на тупость... Роллинг приехал сюда, чтобы колонизировать Европу. Если он этого не сделает, он лопнет у себя в Америке со своими миллиардами. Роллинг — животное, вся его задача — переть вперед, бодать, топтать. У него ни на грош фантазии... Единственная стена, о которую он может расшибить башку,— это Советская Россия. Он это понимает, и вся его ярость направлена на ваше дорогое отечество... Русским я себя не считаю (добавил он торопливо), я интернационалист...

— Разумеется,— с презрительной усмешкой сказал Шельга.

— Наши взаимоотношения таковы: до некоторого времени мы работаем вместе...

— До двадцать восьмого...

Гарин быстро, с блестящими глазами, с юмором взглянул на Шельгу.

— Вы это высчитали? По газетам?

— Может быть...

— Хорошо... Пусть до двадцать восьмого. Затем неминуемо мы должны вгрызться друг другу в печенку... Если одолеет Роллинг — Советской России это будет вдвойне ужасно: мой аппарат окажется у него в руках, и тогда с ним бороться будет вам чрезвычайно трудно... Так вот, тем самым, товарищ Шельга, что вы пробудете здесь с недельку в соседстве с пауками, вы страшно, неизмеримо увеличиваете возможность моей победы.

Шельга закрыл глаза. Гарин сидел у него в ногах и курил короткими затяжками. Шельга проговорил:

— На какой черт вам мое согласие, вы и без согласия продержите меня здесь, сколько влезет. Говорите уж прямо, что вам нужно...

— Давно бы так... А то — слово коммуниста... Ей-богу, давеча вы мне так больно сделали, так досадно... Сейчас, кажется, вы уже начинаете разбираться. Мы с вами враги, правда... Но мы должны работать вместе... С вашей точки зрения я — выродок, величайший индивидуалист... Я, Петр Петрович Гарин, милостью сил, меня создавших, с моим мозгом,— не улыбайтесь, Шельга,— гениальным, да, да, с неизжитыми страстями, от которых мне и самому тяжело и страшно, с моей жадностью и беспринципностью, противопоставляю себя, буквально — противопоставляю себя человечеству.

— Ух ты,— сказал Шельга,— ну и сволочь...

— Именно: «Ух ты, сволочь», вы меня поняли. Я — сластолюбец, все секунды моей жизни я стремлюсь отдать наслаждению. Я бешено тороплюсь покончить с Роллингом, потому что теряю эти драгоценные секунды. Вы — там, в России,— воинствующая, материализированная идея. У меня нет никакой идеи,— сознательно, религиозно ненавижу всякую идею. Я поставил себе цель: создать такую обстановку (подробно рассказывать не буду, вы утомитесь), окружить себя таким излишеством,— сады Семирамиды и прочий восточный вздор — чахлая фантазишка перед моим раем. Я при-

зову всю науку, всю индустрию, все искусство служить мне. Шельга, вы понимаете, что я для вас — опасность отдаленная и весьма фантастичная. Роллинг — опасность конкретная, близкая, страшная. Поэтому до известной точки мы с вами должны идти вместе, до тех пор, покуда Роллинг не будет растоптан. Большего я не прошу.

— В чем вы хотите, чтобы выразилась моя помощь? — сквозь зубы проговорил Шельга.

— Нужно, чтобы вы совершили небольшую прогулку по морю.

— Иными словами, вы хотите продолжать мой плен?

— Да.

— Что дадите за то, чтобы я не позвал на помощь первого попавшегося полицейского, когда вы повезете меня к морю?

— Любую сумму.

— Не хочу никакой суммы!

— Ловко,— сказал Гарин и повертелся на тюфяке.— А за модель моего аппарата согласитесь? (Шельга засопел.) Не верите? Обману, не отдам? Ну-ка, подумайте,— обману или нет? (Шельга дернул плечом.) То-то... Идея аппарата проста до глупости... Никакими силами я не смогу долго держать ее в секрете. Такова судьба гениальных изобретений. После двадцать восьмого во всех газетах будет описано действие инфракрасных лучей, и немцы, именно немцы, ровно через полгода построят точно такой же аппарат. Я ничем не рискую. Берите модель, везите ее в Россию. Да, кстати, у меня ваши паспорта и бумаги... Пожалуйста, они не нужны больше... Простите, что я в них порылся. Я страшно любопытен... Что это у вас за снимок татуированного мальчишки?

— Так, один беспризорный,— сейчас же ответил Шельга, понимая сквозь головную боль, что Гарин подбирается к самому главному, для чего и пришел в подвал.

— На обороте карточки помечено двенадцатое число прошлого месяца, значит вы снимали мальчишку накануне отъезда?.. И фотографию взяли с собой, чтобы

показать мне? В Ленинграде вы ее никому не показывали?

— Нет,— сквозь зубы ответил Шельга.

— А мальчишку куда дели? Так, так, я и не заметил,— тут даже имя поставлено: Иван Гусев. В гребном клубе, что ли, снимали, на террасе? Узнаю, места знакомые... Что же вам мальчишка рассказывал? Манцев жив?

— Жив.

— Он нашел то, что они там искали?

— Кажется, нашел.

— Вот видите, я всегда верил в Манцева.

Гарин рассчитал верно. У Шельги так устроена была голова, что врать он никак не мог — и по брезгливости и потому еще, что лганье считал дешевкой в игре и в борьбе. Через минуту Гарин узнал всю историю появления Ивана в гребном клубе и все, что он рассказал о работах Манцева.

— Итак,— Гарин поднялся, весело потер руки,— если двадцать девятого ночью мы поедем на автомобиле, модель аппарата будет с нами,— вы укажете любое место, где мы аппаратик припрячем до времени... Так вот: достаточной будет для вас такая гарантия? Согласны?

— Согласен.

— Добиваться моей смерти не будете?

— В ближайшее время — не буду.

— Я прикажу перевести вас наверх, здесь слишком сыро,— поправляйтесь, пейте, кушайте всласть.

Гарин подмигнул и вышел.

63

— Ваше имя, фамилия?

— Ротмистр Кульневского полка Александр Иванович Волшин,— ответил широкоскулый офицер, вытягиваясь перед Гариным.

— На какие средства существуете?

— Поденная работа у генерала Субботина по разведению кроликов, двадцать су в день, харчи его. Был

шофером, неплохо зарабатывал, однополчане уговорили пойти делегатом на монархический съезд. На первом же заседании сгоряча въехал в морду полковнику Шерстобитову, кирилловцу. Лишен полномочий и потерял службу.

— Предлагаю опасную работу. Крупный гонорар. Согласны?

— Так точно.

— Вы поедете в Париж. Получите рекомендацию. Будете зачислены на службу. С бумагами и мандатом выедете в Ленинград... Там вот по этой фотографии отыщете одного мальчишку...

. . . .

64

Прошло пять дней. Ничто не нарушало покоя прирейнского небольшого городка К., лежащего в зеленой и влажной долине вблизи знаменитых заводов Анилиновой компании.

На извилистых улицах с узкими тротуарами с утра весело постукивали деревянные подошвы школьников, раздавались тяжелые шаги рабочих, женщины катили детские колясочки в тень лип к речке... Из парикмахерской выходил парикмахер в парусиновом жилете и ставил на тротуар стремянку. Подмастерье лез на нее чистить и без того сверкающую вывеску на штанге — медный тазик и белый конский хвост. В кофейне вытирали зеркальные стекла. Громыхала на огромных колесах телега с пустыми пивными бочками.

Это был старый, весь выметенный, опрятный городок, тихий в дневные часы, когда солнце греет горбатую плиточную мостовую, оживающий неторопливыми голосами на закате, когда возвращаются с заводов рабочие и работницы, загораются огни в кофейнях и старичок фонарщик в коротком плаще, бог знает какой древности, идет, шаркая деревянными подошвами, зажигать фонари.

Из ворот рынка выходили жены рабочих и бюргеров с корзинами. Прежде в корзиночках лежали живность,

овощи и фрукты, достойные натюрмортов Снайдерса. Теперь — несколько картофелин, пучочек луку, брюква и немного серого хлеба.

Странно. За четыре столетия черт знает как разбогатела Германия. Какую славу знали ее сыны. Какими надеждами светились голубые германские глаза. Сколько пива протекло по запрокинутым русым бородам. Сколько биллионов киловатт освободилось человеческой энергии...

И вот, все это напрасно. В кухоньках — пучочек луку на изразцовой доске, и у женщин давнишняя тоска в голодных глазах.

Вольф и Хлынов, в пыльной обуви, с пиджаками, перекинутыми через руку, с мокрыми лбами, перешли горбатый мостик и стали подниматься по шоссе под липами в К.

Солнце уходило за невысокие горы. В золотистом вечернем свете еще дымились трубы Анилиновой компании. Корпуса, трубы, железнодорожные пути, черепицы амбаров подходили по склонам холмов к самому городу.

— Там, я уверен,— сказал Вольф и указал рукой на красноватые скалы в закате,— если выбирать лучший пункт для обстрела заводов, я бы выбрал только там.

— Хорошо, хорошо, но осталось только три дня, Вольф...

— Ну что ж, с южной стороны не может быть никакой опасности,— слишком отдаленно. Северный и восточный секторы обшарены до последнего камня. Три дня нам хватит.

Хлынов обернулся к засиневшим на севере лесистым холмам, глубокие тени лежали между ними. В той стороне Вольф и Хлынов облазили за эти пять дней и ночей каждую впадину, где могла бы притаиться постройка,— дача или барак,— с окнами на заводы.

Пять суток они не раздевались, спали в глухие часы ночи, привалившись где попало. Ноги перестали даже болеть. По каменистым дорогам, тропинкам, прямиком через овраги и заборы, они исколесили кругом города по горам почти сто километров. Но нигде ни малейшего присутствия Гарина. Встречные крестьяне, фермеры,

прислуга с дач, лесничие, сторожа — только разводили руками:

— Во всей округе нет никого из приезжих, здешние все нам известны.

65

Оставался западный сектор, наиболее тяжелый. По карте там находилась пешеходная дорога к скалистому плато, где лежали знаменитые развалины замка «Прикованного скелета», рядом с ним, как и полагалось в таких случаях, находился пивной ресторан «К прикованному скелету».

В развалинах действительно показывали остатки подземелья и за железной решеткой — огромный скелет в ржавых цепях, в сидячем положении. Изображения его продавались повсюду на открытках, на разрезных ножах и пивных кружках. Можно было даже сфотографироваться за двадцать пфеннигов рядом со скелетом и послать открытку знакомым или любимой девушке. По воскресеньям развалины пестрели отдыхающими сбывателями, ресторан хорошо торговал. Бывали иностранцы.

Но после войны интерес к знаменитому скелету упал. Обыватели захудосочели и ленились в праздничные дни лазить на крутую гору,—предпочитали располагаться с бутербродами и полубутылками пива вне исторических воспоминаний — на берегу речки, под липами. Хозяин ресторана «К прикованному скелету» не мог уже со всем тщанием поддерживать порядок в развалинах. И бывало, что целыми неделями, не обеспокоенный ничьим присутствием, средневековый скелет глядел пустыми впадинами черепа на зеленую долину, где некогда в роковой день его сбил с седла владетель замка,— глядел на кирки с петухами и шпилями, на трубы заводов, где в мировом масштабе готовили нарывный газ, тетрил и прочие дьявольские фабрикаты, отбивавшие у населения охоту к историческим воспоминаниям, к открыткам с изображением скелета и, пожалуй, к самой жизни.

В эти места и направлялись сейчас Вольф и Хлынов.

Они зашли подкрепиться в кофейню на городской площади и долго изучали карту местности, расспрашивали кельнера. Достопримечательностями в западной части долины оказалась, кроме развалин и ресторана, еще и вилла разорившегося за последние годы фабриканта пишущих машин. Вилла стояла на западных склонах, и со стороны города ее не было видно. Фабрикант жил в ней один, безвыездно.

66

Полная луна взошла перед рассветом. То, что казалось неясным нагромождением камней и скал, отчетливо выступало в лунном свете, легли бархатные тени от уцелевших сводов, потянулись вниз, в овраг, остатки крепостной стены, поросшей корявыми деревцами и путаницей ежевики, ожила квадратная башня, старейшая часть замка, построенная норманнами, или, как ее называли на открытках,— «Башня пыток».

С восточной стороны к ней примыкали кирпичные своды, здесь, видимо, была когда-то галерея, соединявшая древнюю башню с жилым замком. От всего этого остались фундаменты, щебень да разбросанные капители колонн из песчаника. У основания башни под крестовым сводом, образующим раковину, сидел «Прикованный скелет».

Вольф долго смотрел на него, навалившись локтями на решетку, затем повернулся к Хлынову и сказал:

— Теперь смотрите сюда.

Глубоко внизу под лунным светом лежала долина, подернутая дымкой. Серебристая чешуя играла на реке в тех местах, где вода сквозила из-под древесных кущ. Городок казался игрушечным. Ни одного освещенного окна. За ним налево горели сотни огней Анилиновой компании. Поднимались белые клубы дыма, розовый огонь вырывался из труб. Доносились свистки паровозов, какой-то грохот.

— Я прав,— сказал Вольф,— только с этого плато можно ударить лучом. Смотрите, вот то — склады сырья, там, за земляным валом — склады полуфабрикатов, они совсем открыты, там длинные корпуса произ-

водства серной кислоты по русскому способу — из серного колчедана. А вон те, в стороне, круглые крыши — производство анилина и всех этих дьявольских веществ, которые взрываются иногда по собственному капризу.

— Хорошо, Вольф, если предположить, что Гарин поставит аппарат только в ночь на двадцать восьмое, все же должны быть какие-то признаки предварительной установки.

— Нужно осмотреть развалины. Я облазаю башню, вы — стены и своды... В сущности, лучше места, где сидит эта скелетина, не выдумаешь.

— В семь часов сходимся в ресторане.

— Ладно.

67

В восьмом часу утра Вольф и Хлынов пили молоко на деревянной веранде ресторана «К прикованному скелету». Ночные поиски были безуспешны. Сидели молча, подперев головы. За эти дни они так изучили друг друга, что читали мысли. Хлынов, более впечатлительный и менее склонный доверять себе, много раз начинал пересматривать весь ход рассуждений, которые привели его и Вольфа из Парижа в эти, казалось, совсем безобидные места. На чем основано было это убеждение? На двух-трех строчках из газет.

— Не окажемся ли мы в дураках, Вольф?

На это Вольф отвечал:

— Человеческий ум ограничен. Но всегда для дела разумнее полагаться на него, чем сомневаться. К тому же, если мы ничего не найдем и дьявольское предприятие Гарина окажется нашей выдумкой, то и слава богу. Мы исполнили свой долг.

Кельнер принес яичницу и две кружки пива. Появился хозяин, багрово-румяный толстяк:

— Доброе утро, господа! — И, посвистывая одышкой, он озабоченно ждал, когда гости утолят аппетит. Затем протянул руку к долине, еще голубоватой и сверкающей влагой: — Двадцать лет я наблюдаю... Дело идет к концу,— вот что я скажу, мои дорогие господа... Я видел мобилизацию. Вон по той дороге шли войска.

Это были добрые германские колонны. (Хозяин выкинул, как пружину над головой, жирный указательный палец.) Это были зигфриды — те самые, о которых писал Тацит: могучие, наводившие ужас, в шлемах с крылышками. Обер, еще две кружки пива господам... В четырнадцатом году зигфриды шли покорять вселенную. Им не хватало только щитов,— вы помните старый германский обычай: издавать воинственные крики, прикладывая щит ко рту, чтобы голос казался страшнее. Да, я видел кавалерийские зады, плотно сидевшие на лошадях... Что случилось, я хочу спросить? Или мы разучились умирать в кровавом бою? Я видел, как войска проходили обратно. Кавалеристы все еще плотно, черт возьми, сидели на седлах... Германцы не были разбиты на поле. Их пронзили мечами в постелях, у их очагов...

Хозяин выпученными глазами обвел гостей, обернулся к развалинам, лицо его стало кирпичного цвета. Медленно он вытащил из кармана пачку открыток и хлопнул ею по ладони:

— Вы были в городе, я спрошу: видали вы хотя бы одного немца выше пяти с половиной футов росту? А когда эти пролетарии возвращаются с заводов, вы слышали, чтобы один хотя бы имел смелость громко сказать: «Дейчланд»? А вот о социализме эти пролетарии хрипят за пивными кружками.

Хозяин ловко бросил на стол пачку открыток, рассыпавшихся веером... Это были изображения скелета — просто скелета и германца с крылышками, скелета и воина четырнадцатого года в полной амуниции.

— Двадцать пять пфеннигов штука, две марки пятьдесят пфеннигов за дюжину,— сказал хозяин с презрительной гордостью,— дешевле никто не продаст, это добрая довоенная работа,— цветная фотография, в глаза вставлена фольга, это производит неизгладимое впечатление... И вы думаете — эти трусы-буржуа, эти пяти с половиной футовые пролетарии покупают мои открытки? Пфуй... Вопрос поставлен так, чтобы я снял Карла Либкнехта рядом со скелетом...

Он опять надулся кровью и вдруг захохотал:

— Подождут!.. Обер, положите в наши оригинальные конверты по дюжине открыток господам... Да, да,

приходится изворачиваться... Я покажу вам мой патент... Гостиница «К прикованному скелету» будет продавать это сотнями... Здесь я иду в ногу с нашим временем и не отступаю от принципов.

Хозяин ушел и сейчас же вернулся с небольшим, в виде коробки от сигар, ящичком. На крышке его был выжжен по дереву все тот же скелет.

— Желаете испробовать? Действует не хуже, чем на катодных лампах.— Он живо приладил провод и слуховые трубки, включил радиоприемник в штепсель, пристроенный под столом.— Стоит три марки семьдесят пять пфеннигов, без слуховых трубок, разумеется.— Он протянул наушники Хлынову.—Можно слушать Берлин, Гамбург, Париж, если это доставит вам удовольствие. Я вас соединю с Кельнским собором, сейчас там обедня, вы услышите орган, это колоссально... Поверните рычажок налево... В чем дело? Кажется, опять мешает проклятый Штуфер? Нет?

— Кто мешает? — спросил Вольф, нагибаясь к аппарату.

— Разорившийся фабрикант пишущих машин Штуфер, пьяница и сумасшедший... Два года тому назад он поставил у себя на вилле радиостанцию. Потом разорился. И вот недавно станция опять заработала...

Хлынов, странно блестя глазами, опустил трубку:

— Вольф,— платите и идемте.

Когда через несколько минут, отвязавшись от говорливого хозяина, они вышли за калитку ресторана, Хлынов изо всей силы сжал руку Вольфа:

— Я слышал, я узнал голос Гарина...

68

В это утро, часом раньше, на вилле Штуфера, расположенной на западном склоне тех же холмов, в полутемной столовой за столом сидел Штуфер и разговаривал с невидимым собеседником. Вернее, это были обрывки фраз и ругательств. На обсыпанном пеплом столе валялись пустые бутылки, окурки сигар, воротничок и галстук Штуфера. Он был в одном белье, чесал рыхлую

грудь, пялился на электрическую лампочку, единственную горевшую в огромной железной люстре, и, сдерживая отрыжку, ругал вполголоса последними словами человеческие образы, выплывавшие в его пьяной памяти.

Торжественно башенным боем столовые часы пробили семь. Почти тотчас же послышался шум подъехавшего автомобиля. В столовую вошел Гарин, весь пронизанный утренним ветром, насмешливый, зубы оскалены, кожаный картуз на затылке:

— Опять всю ночь пьянствовали?

Штуфер покосился налитыми глазами. Гарин ему нравился. Он щедро платил за все. Не торгуясь, снял на летние месяцы виллу вместе с винным погребом, предоставив Штуферу расправляться самому со старыми рейнскими, французским шампанским и ликерами. Чем он занимался, черт его знает, видимо спекуляцией, но он ругательски ругал американцев, разоривших Штуфера два года тому назад, он презирал правительство и называл людей вообще сволочью,— это тоже было хорошо. Он привозил в автомобиле такую жратву, что даже в лучшие времена Штуфер не позволял себе и думать намазывать столовой ложкой драгоценные страсбургские паштеты, русскую икру, любительские камамберы, кишащие сверху белыми червяками. Могло даже показаться, что в его расчеты входило непрерывно держать Штуфера мертвецки пьяным.

— Как будто вы-то всю ночь богу молились,— прохрипел Штуфер.

— Премило провел время с девочками в Кельне и, видите, свеж и не сижу в подштанниках. Вы падаете, Штуфер. Кстати, меня предупредили о не совсем приятной вещи... Оказывается, ваша вилла стоит слишком близко к химическим заводам... Как на пороховом погребе...

— Вздор,— заорал Штуфер,— опять какая-то сволочь подкапывается... На моей вилле вы в полнейшей безопасности...

— Тем лучше. Дайте-ка ключ от сарая.

Крутя за цепочку ключ, Гарин вышел в сад, где стоял небольшой застекленный сарай под мачтами антенны. Кое-где на запущенных куртинах стояли керамико-

вые карлики, загаженные птицами. Гарин отомкнул стеклянную дверь, вошел, распахнул окна. Облокотился на подоконник и так стоял некоторое время, вдыхая утреннюю свежесть. Почти двадцать часов он провел в автомобиле, заканчивая дела с банками и заводами. Теперь все было в порядке перед двадцать восьмым числом.

Он не помнил, сколько времени так простоял у окна. Потянулся, закурил сигару, включил динамо, осмотрел и настроил аппараты. Затем встал перед микрофоном и заговорил громко и раздельно:

— Зоя, Зоя, Зоя, Зоя... Слушайте, слушайте, слушайте... Будет все так, как ты захочешь. Только умей хотеть. Ты мне нужна. Без тебя мое дело мертвое. На днях буду в Неаполе. Точно сообщу завтра. Не тревожься ни о чем. Все благоприятствует...

Он помолчал, затянулся сигарой и снова начал: «Зоя, Зоя, Зоя...» Закрыл глаза. Мягко гудело динамо, и невидимые молнии срывались одна за другой с антенны.

Проезжай сейчас артиллерийский обоз — Гарин, наверное, не расслышал бы шума. И он не слышал, как в конце лужайки покатились камни под откос. Затем в пяти шагах от павильона раздвинулись кусты, и в них на уровень человеческого глаза поднялся вороненый ствол кольта.

69

Роллинг взял телефонную трубку:

— Да.

— Говорит Семенов. Только что перехвачено радио Гарина. Разрешите прочесть?..

— Да.

— «Будет все так, как ты хочешь, только умей хотеть»,— начал читать Семенов, кое-как переводя с русского на французский. Роллинг слушал, не издавая ни звука.

— Все?

— Так точно, все.

— Запишите,— стал диктовать Роллинг: — Немед-

ленно настроить отправную станцию на длину волны четыреста двадцать один. Завтра десятью минутами раньше того времени, когда вы перехватили сегодняшнюю телеграмму, начнете отправлять радио: «Зоя, Зоя, Зоя... Случилось неожиданное несчастье. Необходимо действовать. Если вам дорога жизнь вашего друга, высадитесь в пятницу в Неаполе, остановитесь в гостинице «Сплендид», ждите известий до полудня субботы». Это вы будете повторять непрерывно, слышите ли, непрерывно громким и убедительным голосом. Все.

Роллинг позвонил.

— Немедленно найти и привести ко мне Тыклинского,— сказал он вскочившему в кабинет секретарю.— Немедленно ступайте на аэродром. Арендуйте или купите — безразлично — закрытый пассажирский аэроплан. Наймите пилота и бортмеханика. К двадцать восьмому приготовьте все к отлету...

70

Весь остальной день Вольф и Хлынов провели в К. Бродили по улицам, болтали о разных пустяках с местными жителями, выдавая себя за туристов. Когда городок затих, Вольф и Хлынов пошли в горы. К полуночи они уже поднимались по откосу в сад Штуфера. Было решено объявить себя заблудившимися туристами, если полиция обратит на них внимание. Если их задержат,— арест был безопасен: их алиби мог установить весь город. После выстрела из кустов, когда ясно было видно, как у Гарина брызнули осколки черепа, Вольф и Хлынов меньше чем через сорок минут были уже в городе.

Они перелезли через низкую ограду, осторожно обогнули поляну за кустами и вышли к дому Штуфера. Остановились, переглянулись, ничего не понимая. В саду и в доме было спокойно и тихо. Несколько окон освещено. Большая дверь, ведущая прямо в сад, раскрыта. Мирный свет падал на каменные ступени, на карликов в густой траве. На крыльце, на верхней ступени, сидел толстый человек и тихо играл на флейте. Рядом с ним стояла оплетенная бутыль. Это был тот самый человек,

который утром неожиданно появился на тропинке близ радиопавильона и, услышав выстрел, повернулся и шаткой рысью побежал к дому. Сейчас он благодушествовал, как будто ничего не случилось.

— Пойдем,— прошептал Хлынов,— нужно узнать.

Вольф проворчал:

— Я не мог промахнуться.

Они пошли к крыльцу. На полдороге Хлынов проговорил негромко:

— Простите за беспокойство... Здесь нет собак?

Штуфер опустил флейту, повернулся на ступеньке, вытянул шею, вглядываясь в две неясные фигуры.

— Ну, нет,— протянул он,— собаки здесь злые.

Хлынов объяснил:

— Мы заблудились, хотели посетить развалины «Прикованного скелета»... Разрешите отдохнуть.

Штуфер ответил неопределенным мычанием. Вольф и Хлынов поклонились, сели на нижние ступени,— оба настороженные, взволнованные. Штуфер поглядывал на них сверху.

— Между прочим,— сказал он,— когда я был богат, в сад спускались цепные кобели. Я не любил нахалов и ночных посетителей. (Хлынов быстро пожал Вольфу руку,— молчите, мол.) Американцы меня разорили, и мой сад сделался проезжей дорогой для бездельников, хотя повсюду прибиты доски с предупреждением о тысяче марок штрафа. Но Германия перестала быть страной, где уважают закон и собственность. Я говорил человеку, арендовавшему у меня виллу: обнесите сад колючей проволокой и наймите сторожа. Он не послушался меня и сам виноват...

Подняв камешек и бросив его в темноту, Вольф спросил:

— Что-нибудь случилось неприятное у вас из-за этих посетителей?

— Сказать «неприятное» — слишком сильно, но — смешное. Не далее, как сегодня утром. Во всяком случае, мои экономические интересы не затронуты, и я буду предаваться моим развлечениям.

Он приложил флейту к губам и издал несколько пронзительных звуков.

— В конце концов какое мне дело, живет он здесь или пьянствует с девочками в Кельне? Он заплатил все до последнего пфеннига... Никто не смеет бросить ему упрека. Но, видите ли, он оказался нервным господином. За время войны можно было привыкнуть к револьверным выстрелам, черт возьми. Уложил все имущество, до свиданья, до свиданья... Что ж — скатертью дорога.

— Он уехал совсем? — внезапно громко спросил Хлынов.

Штуфер приподнялся, но снова сел. Видно было, как щека его, на которую падал свет из комнаты, расплылась,— масленистая, ухмыляющаяся. Заколыхался толстый живот.

— Так и есть, он меня предупредил: непременно об его отъезде будут у меня спрашивать двое джентльменов. Уехал, уехал, дорогие джентльмены. Не верите, пойдемте, покажу его комнаты. Если вы его друзья,— пожалуйста, убедитесь... Это ваше право,— за комнаты заплачено...

Штуфер опять хотел встать,— ноги его никак не держали. Больше от него ничего нельзя было добиться путного. Вольф и Хлынов вернулись в город. За всю дорогу они не сказали друг другу ни слова. Только на мосту, над черной водой, где отражался фонарь, Вольф вдруг остановился, стиснул кулаки:

— Что за чертовщина! Я же видел, как у него разлетелся череп...

71

Небольшой и плотный человек с полуседыми волосами, приглаженными на гладкий пробор, в голубых очках, прикрывающих больные глаза, стоял у изразцовой печи и, опустив голову, слушал Хлынова.

Сначала Хлынов сидел на диване, затем пересел на подоконник, затем начал бегать по небольшой приемной комнате советского посольства.

Он рассказывал о Гарине и Роллинге. Рассказ был точен и последователен, но Хлынов и сам чувствовал невероятность всех нагромоздившихся событий.

— Предположим, мы с Вольфом ошибаемся... Пре-

красно,— мы счастливы, если ошибаемся в выводах. Но все же пятьдесят процентов за то, что катастрофа будет. Нас должны интересовать только эти пятьдесят процентов. Вы, как посол, можете убедить, повлиять, раскрыть глаза... Все это ужасно серьезно. Аппарат существует. Шельга дотрагивался до него рукой. Действовать нужно немедленно, сию минуту. В вашем распоряжении не больше суток. Завтра в ночь все это должно разразиться. Вольф остался в К. Он делает, что может, чтобы предупредить рабочих, профсоюзы, городское население, администрацию заводов. Разумеется, ну, разумеется,— никто не верит... Вот даже вы...

Посол, не поднимая глаз, промолчал.

— В редакции местной газеты над нами смеялись до слез... В лучшем случае нас считают сумасшедшими.

Хлынов сжал голову,— нечесаные клочья волос торчали между грязными пальцами. Лицо его было осунувшееся, пыльное. Побелевшие глаза остановились, как перед видением ужаса. Посол осторожно, из-за края очков, взглянул на него:

— Почему вы раньше не обратились ко мне?

— У нас не было фактов... Предположения, выводы — все на грани фантастики, безумия... Мне и сейчас минутами сдается,— проснусь — и вздохну облегченно... Но уверяю вас — я в здравом уме. Восемь суток мы с Вольфом не раздевались, не ложились спать.

После молчания посол сказал серьезно:

— Я уверен, что вы не мистификатор, товарищ Хлынов. Скорее всего вы поддались навязчивой идее,— он быстро поднял руку, останавливая отчаянное движение Хлынова,— но для меня убедительно прозвучали ваши пятьдесят процентов. Я поеду и сделаю все, что в моих силах...

72

Двадцать восьмого с утра на городской площади в К. собирались кучками обыватели и, одни с недоумением, другие с некоторым страхом, обсуждали странные прокламации, прилепленные жеваным хлебом к стенам домов на перекрестках.

«Ни власть, ни заводская администрация, ни рабочие союзы,— никто не пожелал внять нашему отчаянному призыву. Сегодня,— мы в этом уверены,— заводам, городу, всему населению грозит гибель. Мы старались предотвратить ее, но негодяи, подкупленные американскими банкирами, оказались неуловимы. Спасайтесь, бегите из города на равнину. Верьте нам во имя вашей жизни, во имя ваших детей, во имя бога».

Полиция догадывалась, кто писал прокламации, и разыскивала Вольфа. Но он исчез. К середине дня городские власти выпустили афиши, предупреждения — ни в каком случае не покидать города и не устраивать паники, так как, видимо, шайка мошенников намерена похозяйничать этой ночью в покинутых домах.

«Граждане, вас дурачат. Обратитесь к здравому смыслу. Мошенники сегодня же будут обнаружены, схвачены, и с ними поступят по закону».

Власти попали в точку, пугающая тайна оказалась простой, как репа. Обыватели сразу успокоились и уже посмеивались: «А ловко было придумано,— похозяйничали бы эти ловкачи по магазинам, по квартирам,— ха-ха. А мы-то дураки, всю бы ночь тряслись от страха на равнине».

Настал вечер, такой же, как тысячи вечеров, озаривший городские окна закатным светом. Успокоились птицы по деревьям. На реке, на сырых берегах, заквакали лягушки. Часы на кирпичной кирке проиграли «Вахт ам Рейн», на страх паршивым французам, и прозвонили восемь. Из окон кабачков мирно струился свет, завсегдатаи не спеша мочили усы в пивной пене. Успокоился и хозяин загородного ресторана «К прикованному скелету»,— походил по пустой террасе, проклял правительство, социалистов и евреев, приказал закрыть ставни и поехал на велосипеде в город к любовнице.

В этот час по западному склону холмов, по малопроезжей дороге, почти бесшумно и без огней, промчался автомобиль. Заря уже погасла, звезды были еще не яркие, за горами разливалось холодноватое сияние,—

всходила луна. На равнине кое-где желтели огоньки. И только в стороне заводов не утихала жизнь.

Над обрывом, там, где кончались развалины замка, сидели Вольф и Хлынов. Они еще раз облазили все закоулки, поднялись на квадратную башню,— нигде ни малейшего намека на приготовления Гарина. Одно время им показалось, что вдалеке промчался автомобиль. Они прислушивались, вглядывались. Вечер был тих, пахло древним покоем земли. Иногда движения воздушных струй доносили снизу сырость цветов.

— Смотрел по карте,— сказал Хлынов,— если мы спустимся в западном направлении, то пересечем железную дорогу на полустанке, где останавливается почтовый, в пять тридцать. Не думаю, чтобы там тоже дежурила полиция.

Вольф ответил:

— Смешно и глупо все это кончилось. Человек еще слишком недавно поднялся с четверенек на задние конечности, слишком еще тяготеют над ним миллионы веков непросветленного зверства. Страшная вещь — человеческая масса, не руководимая большой идеей. Людей нельзя оставлять без вожаков. Их тянет стать на четвереньки.

— Ну что это уж вы так, Вольф?..

— Я устал.— Вольф сидел на куче камней, подперев кулаками крепкий подбородок.— Разве хоть на секунду вам приходило в голову, что двадцать восьмого нас будут ловить, как мошенников и грабителей? Если бы вы видели, как эти представители власти переглядывались, когда я распинался перед ними... Ах, какой же я дурак! И они правы,— вот в чем дело. Они никогда не узнают, что им грозило...

— Если бы не ваш выстрел, Вольф...

— Черт!.. Если бы я не промахнулся... Я готов десять лет просидеть в каторжной тюрьме, только бы доказать этим идиотам...

Голос Вольфа теперь гулко отдавался в развалинах. В тридцати шагах от разговаривающих,— совершенно так же, как охотник крадется под глухариное токанье,— в тени полуобвалившейся стены пробирался Гарин. Ему были ясно видны очертания двух людей над

обрывом, слышно каждое слово. Открытое место между концом стены и башней он прополз. В том месте, где к подножью башни примыкала сводчатая пещера «Прикованного скелета», лежал осколок колонны из песчаника. Гарин скрылся за ним. Раздался хруст камня и скрип заржавленного железа. Вольф вскочил:

— Вы слышали?

Хлынов глядел на кучу камней, где под землей исчез Гарин. Они побежали туда. Обошли кругом башни.

— Здесь водятся лисы,— сказал Вольф.

— Нет, скорее всего это крикнула ночная птица.

— Нужно уходить. Мы с вами начинаем галлюцинировать...

Когда они подошли к обрывистой тропинке, уводящей из развалин на горную дорогу, раздался второй шум,— будто что-то упало и покатилось. Вольф весь затрясся. Они долго слушали, не дыша. Сама тишина, казалось, звенела в ушах. «Сплю-сплю, сплю-сплю» — кротко и нежно то там, то вот — совсем низко — покрикивал, летая, невидимый козодой.

— Идем.

— Да, глупо.

На этот раз они решительно и не оборачиваясь зашагали вниз. Это спасло одному из них жизнь.

73

Вольф не совсем был неправ, когда уверял, что у Гарина брызнули осколки черепа. Когда Гарин, на секунду замолчал перед микрофоном, потянулся за сигарой, дымившейся на краю стола, слуховая чашечка из эбонита, которую он прижимал к уху, чтобы контролировать свой голос при передаче, внезапно разлетелась вдребезги. Одновременно с этим он услышал резкий выстрел и почувствовал короткую боль удара в левую сторону черепа. Он сейчас же упал на бок, перевалился ничком и замер. Он слышал, как завыл Штуфер, как зашуршали шаги убегающих людей.

«Кто — Роллинг или Шельга?» Эту загадку он решал, когда часа через два мчался на автомобиле в

Кельн. Но только сейчас, услышав разговор двух людей на краю обрыва, разгадал. Молодчина Шельга... Но все-таки, ай-ай,— прибегать к недозволенным приемам...

Он отсунул осколок колонны, прикрывавшей ржавую крышку люка, проскользнул под землей и с электрическим фонариком поднялся по разрушенным ступеням в «каменный мешок» — одиночку, сделанную в толще стены нормандской башни. Это была глухая камера, шага по два с половиной в длину и ширину. В стене еще сохранились бронзовые кольца и цепи. У противоположной стены на грубо сколоченных козлах стоял аппарат. Под ним лежали четыре жестянки с динамитом. Против дула аппарата стена была продолблена и отверстие с наружной стороны прикрыто костяком «Прикованного скелета».

Гарин погасил фонарь, отодвинул в сторону дуло и, просунув руку в отверстие, сбросил костяк. Череп отскочил и покатился. В отверстие были видны огни заводов. У Гарина были зоркие глаза. Он различал даже крошечные человеческие фигуры, двигающиеся между постройками. Все тело его дрожало. Зубы стиснуты. Он не предполагал, что так трудно будет подойти к этой минуте. Он снова направил аппарат дулом в отверстие, приладил. Откинул заднюю крышку, осмотрел пирамидки. Все это было приготовлено еще неделю тому назад. Второй аппарат и старая модель лежали у него внизу, в роще, в автомобиле.

Он захлопнул крышку и положил руку на рычажок магнето, которым автоматически зажигались пирамидки. Он дрожал с головы до ног. Не совесть (какая уж там совесть после мировой войны!), не страх (он был слишком легкомыслен), не жалость к обреченным (они были слишком далеко) обдавали его ознобом и жаром. Он с ужасающей ясностью понял, что вот от одного этого оборота рукоятки он становится врагом человечества. Это было чисто эстетическое переживание важности минуты.

Он даже снял было руку с рычажка и полез в карман за папиросами. И тогда его взволнованный мозг

ответил на движение руки: «Ты медлишь, ты наслаждаешься, это — сумасшествие...»

Гарин закрутил магнето. В аппарате вспыхнуло и зашипело пламя. Он медленно стал поворачивать микрометрический винт.

74

Хлынов первый обратил внимание на странный клубочек света высоко в небе.

— А вот еще один,— сказал он тихо. Они остановились на половине дороги над обрывом и глядели, подняв головы. Пониже первого, над очертаниями деревьев, возник второй огненный клубок и, роняя искры, как догоревшая ракета, стал падать...

— Это горят птицы,— прошептал Вольф,— смотрите.— Над лесом на светлой полосе неба летел торопливо, неровным полетом, должно быть, козодой, кричавший давеча: «Сплю-сплю». Он вспыхнул, перевертываясь, и упал.

— Они задевают за проволоку.

— Какую проволоку?

— Разве не видите, Вольф?

Хлынов указал на светящуюся, прямую, как игла, нить. Она шла сверху от развалин по направлению заводов Анилиновой компании. Путь ее обозначался вспыхивающими листочками, горящими клубками птиц. Теперь она светилась ярко,— большой отрезок ее перерезывал черную стену сосен.

— Она опускается! — крикнул Вольф. И не окончил. Оба поняли, что это была за нить. В оцепенении они могли следить только за ее направлением. Первый удар луча пришелся по заводской трубе,— она заколебалась, надломилась посредине и упала. Но это было очень далеко, и звук падения не был слышен.

Почти сейчас же влево от трубы поднялся столб пара над крышей длинного здания, порозовел, перемешался с черным дымом. Еще левее стоял пятиэтажный корпус. Внезапно все окна его погасли. Сверху вниз, по всему фасаду, побежал огненный зигзаг, еще и еще...

Хлынов закричал, как заяц... Здание осело, рухнуло, его костяк закутался облаками дыма.

Тогда только Вольф и Хлынов кинулись обратно в гору, к развалинам замка. Пересекая извивающуюся дорогу, лезли на крутизны по орешнику и мелколесью. Падали, соскальзывая вниз. Рычали, ругались,— один по-русски, другой по-немецки. И вот до них долетел глухой звук, точно вздохнула земля.

Они обернулись. Теперь был виден весь завод, раскинувшийся на много километров. Половина зданий его пылала, как картонные домики. Внизу, у самого города, грибом поднимался серо-желтый дым. Луч гиперболоида бешено плясал среди этого разрушения, нащупывая самое главное — склады взрывчатых полуфабрикатов. Зарево разливалось на полнеба. Тучи дыма, желтые, бурые, серебряно-белые снопы искр взвивались выше гор.

— Ах, поздно! — закричал Вольф.

Было видно, как по меловым лентам дорог ползет из города какая-то живая каша. Полоса реки, отражающая весь огромный пожар, казалась рябой от черных точек. Это спасалось население,— люди бежали на равнину.

— Поздно, поздно! — кричал Вольф. Пена и кровь текли по его подбородку.

Спасаться было поздно. Травянистое поле между городом и заводом, покрытое длинными рядами черепичных кровель, вдруг поднялось. Земля вспучилась. Это первое, что увидели глаза. Сейчас же из-под земли сквозь щели вырвались бешеные языки пламени. И сейчас же из пламени взвился ослепительный, никогда никем не виданной яркости столб огня и раскаленного газа. Небо точно улетело вверх над всей равниной. Пространства заполнились зелено-розовым светом. Выступили в нем, точно при солнечном затмении, каждый сучок, каждый клок травы, камень и два окаменевших белых человеческих лица.

Ударило. Загрохотало. Поднялся рев разверзшейся земли. Сотряслись горы. Ураган потряс и пригнул деревья. Полетели камни, головни. Тучи дыма застлали и равнину.

Стало темно, и в темноте раздался второй, еще более страшный взрыв. Весь дымный воздух насытился мрачно-ржавым, гнойным светом.

Ветер, осколки камней, сучьев опрокинули и увлекли под кручу Хлынова и Вольфа.

75

— Капитан Янсен, я хочу высадиться на берег.

— Есть.

— Я хочу, чтобы вы поехали со мной.

Янсен покраснел от удовольствия. Через минуту шестивесельная лакированная шлюпка легко упала с борта «Аризоны» в прозрачную воду. Три смугло-красных матроса соскользнули по канату на банки. Подняли весла, замерли.

Янсен ждал у трапа. Зоя медлила,— все еще глядела рассеянным взором на зыбкие от зноя очертания Неаполя, уходящего вверх террасами, на терракотовые стены и башни древней крепости над городом, на лениво курящуюся вершину Везувия. Было безветренно, и море — зеркально.

Множество лодок лениво двигалось по заливу. В одной стоя греб кормовым веслом высокий старик, похожий на рисунки Микеланджело. Седая борода падала на изодранный, в заплатках, темный плащ, короной взлохмачены седые кудри. Через плечо — холщовая сума.

Это был известный всему свету Пеппо, нищий.

Он выезжал в собственной лодке просить милостыню. Вчера Зоя швырнула ему с борта стодолларовую бумажку. Сегодня он снова направлял лодку к «Аризоне». Пеппо был последним романтиком старой Италии, возлюбленной богами и музами. Все это ушло невозвратно. Никто уж больше не плакал, счастливыми глазами глядя на старые камни. Сгнили на полях войны те художники, кто, бывало, платил звонкий золотой, рисуя Пеппо среди развалин дома Цецилия Юкундуса в Помпее. Мир стал скучен.

Медленно поворачивая весло, Пеппо проплыл вдоль зеленоватого от отсветов борта «Аризоны», поднял ве-

ликолепное, как медаль, морщинистое лицо с космами бровями и протянул руку. Он требовал жертвоприношения. Зоя, перегнувшись вниз, спросила его по-итальянски:

— Пеппо, отгадай,— чет или нечет?

— Чет, синьора.

Зоя бросила ему в лодку пачку новеньких ассигнаций.

— Благодарю, прекрасная синьора,— величественно сказал Пеппо.

Больше нечего было медлить. Зоя загадала на Пеппо: приплывет к лодке старый нищий, ответит «чет»,— все будет хорошо.

Все же мучили дурные предчувствия: а вдруг в отеле «Сплендид» засада полиции? Но повелительный голос звучал в ушах: «...Если вам дорога жизнь вашего друга...» Выбора не было.

Зоя спустилась в шлюпку. Янсен сел на руль, весла взмахнули, и набережная Санта Лючия полетела навстречу,— дома с наружными лестницами, с бельем и тряпьем на веревках, узкие улички ступенями в гору, полуголые ребятишки, женщины у дверей, рыжие козы, устричные палатки у самой воды и рыбацкие сети, раскинутые на граните.

Едва шлюпка коснулась зеленых свай набережной, сверху, по ступеням, полетела куча оборванцев, продавцов кораллов и брошек, агентов гостиниц. Размахивая бичами, орали парные извозчики, полуголые мальчишки кувыркались под ногами, завывая, просили сольди у прекрасной форестьеры.

— «Сплендид»,— сказала Зоя, садясь вместе с Янсеном в коляску.

76

У портье гостиницы Зоя спросила, нет ли корреспонденции на имя мадам Ламоль? Ей подали радиотелефонограмму без подписи: «Ждите до вечера субботы». Зоя пожала плечами, заказала комнаты и поехала с Янсеном осматривать город. Янсен предложил — музей.

Зоя скользила скучающим взором по застывшим навеки красавицам Возрождения,— они навьючивали на

себя несгибающуюся парчу, не стригли волос, видимо не каждый день брали ванну и гордились такими мощными плечами и бедрами, которых бы постыдилась любая рыночная торговка в Париже. Еще скучнее было смотреть на мраморные головы императоров, на лица позеленевшей бронзы — лежать бы им в земле... на детскую порнографию помпейских фресок. Нет, у древнего Рима и у Возрождения был дурной вкус. Они не понимали остроты цинизма. Довольствовались разведенным вином, неторопливо целовались с пышными и добродетельными женщинами, гордились мускулами и храбростью. Они с уважением волочили за собой прожитые века. Они не знали, что такое делать двести километров в час на гоночной машине. Или при помощи автомобилей, аэропланов, электричества, телефонов, радио, лифтов, модных портных и чековой книжки (в пятнадцать минут по чеку вы получаете золота столько, сколько не стоил весь древний Рим) выдавливать из каждой минуты жизни до последней капли все наслаждения.

— Янсен,— сказала Зоя. (Капитан шел на полшага сзади, прямой, медно-красный, весь в белом, выглаженный и готовый на любую глупость.) — Янсен, мы теряем время, мне скучно.

Они поехали в ресторан. Между блюдами Зоя вставала, закидывала на плечи Янсену голую прекрасную руку и танцевала с ничего не выражающим лицом, с полузакрытыми веками. На нее «бешено» обращали внимание. Танцы возбуждали аппетит и жажду. У капитана дрожали ноздри, он глядел в тарелку, боясь выдать блеск глаз. Теперь он знал, какие бывают любовницы у миллиардеров. Такой нежной, длинной, нервной спины ни разу еще не ощущала его рука во время танцев, ноздри никогда не вдыхали такого благоухания кожи и духов. А голос — певучий и насмешливый... А умна... А шикарна...

Когда выходили из ресторана, Янсен спросил:

— Где мне прикажете быть этой ночью — на яхте или в гостинице?

Зоя взглянула на него быстро и странно и сейчас же отвернула голову, не ответила.

Зоя опьянела от вина и танцев. «О-ла-ла, как будто я должна отдавать отчет». Входя в подъезд гостиницы, она оперлась о каменную руку Янсена. Портье, подавая ключ, скверно усмехнулся черномазо-неаполитанской рожей. Зоя вдруг насторожилась:

— Какие-нибудь новости?

— О, никаких, синьора.

Зоя сказала Янсену:

— Пойдите в курительную, выкурите папиросу, если вам не надоело со мной болтать,— я позвоню...

Она легко пошла по красному ковру лестницы. Янсен стоял внизу. На повороте она обернулась, усмехнулась. Он, как пьяный, пошел в курительную и сел около телефона. Закурил,— так велела она. Откинувшись,— представлял:

...Она вошла к себе... Сняла шляпу, белый суконный плащ... Не спеша, ленивыми, слегка неумелыми, как у подростка, движениями начала раздеваться... Платье упало, она перешагнула через него. Остановилась перед зеркалом... Соблазнительная, всматривающаяся большими зрачками в свое отражение... Да, да, она не торопится,— таковы женщины... О, капитан Янсен умеет ждать... Ее телефон — на ночном столике... Стало быть, он увидит ее в постели... Она оперлась о локоть, протянула руку к аппарату...

Но телефон не звонил. Янсен закрыл глаза, чтобы не видеть проклятого аппарата... Фу, в самом деле, нельзя же быть влюбленным, как мальчишка... А вдруг она передумала? Янсен вскочил. Перед ним стоял Роллинг. У капитана вся кровь ударила в лицо.

— Капитан Янсен,— проговорил Роллинг скрипучим голосом,— благодарю вас за ваши заботы о мадам Ламоль, на сегодня она больше не нуждается в них. Предлагаю вам вернуться к вашим обязанностям...

— Есть,— одними губами произнес Янсен.

Роллинг сильно изменился за этот месяц,— лицо его потемнело, глаза ввалились, бородка черно-рыжеватой щетиной расползлась по щекам. Он был в теплом пиджаке, карманы на груди топорщились, набитые

деньгами и чековыми книжками... «Левой в висок,— правой наискось, в скулу, и — дух вон из жабы...» — железные кулаки у капитана Янсена наливались злобой. Будь Зоя здесь в эту секунду, взгляни на капитана, от Роллинга остался бы мешок костей.

— Я буду через час на «Аризоне»,— нахмурясь, повелительно сказал Роллинг.

Янсен взял со стола фуражку, надвинул глубоко, вышел. Вскочил на извозчика: «На набережную!» Казалось, каждый прохожий усмехался, глядя на него: «Что, надавали по щекам!» Янсен сунул извозчику горсть мелочи и кинулся в шлюпку: «Греби, собачьи дети». Взбежав по трапу на борт яхты, зарычал на помощника: «Хлев на палубе!» Заперся на ключ у себя в каюте и, не снимая фуражки, упал на койку. Он тихо рычал.

Ровно через час послышался оклик вахтенного, и ему ответил с воды слабый голос. Заскрипел трап. Весело, звонко крикнул помощник капитана:

— Свистать всех наверх!

Приехал хозяин. Спасти остатки самолюбия можно было, только встретив Роллинга так, будто ничего не произошло на берегу. Янсен достойно и спокойно вышел на мостик. Роллинг поднялся к нему, принял рапорт об отличном состоянии судна и пожал руку. Официальная часть была кончена. Роллинг закурил сигару,— маленький, сухопутный, в теплом темном костюме, оскорбляющем изящество «Аризоны» и небо над Неаполем.

Была уже полночь. Между мачтами и реями горели созвездия. Огни города и судов отражались в черной, как базальт, воде залива. Взвыла и замерла сирена буксирного пароходика. Закачались вдали маслянисто-огненные столбы.

Роллинг, казалось, был поглощен сигарой,— понюхивал ее, пускал струйки дыма в сторону капитана. Янсен, опустив руки, официально стоял перед ним.

— Мадам Ламоль пожелала остаться на берегу,— сказал Роллинг,— это каприз, но мы, американцы, всегда уважаем волю женщины, будь это даже явное сумасбродство.

Капитан принужден был наклонить голову, согласиться с хозяином. Роллинг поднес к губам левую руку, пососал кожу на верхней стороне ладони.

— Я останусь на яхте до утра, быть может весь завтрашний день... Чтобы мое пребывание не было истолковано как-нибудь вкривь и вкось... (Пососав, он поднес руку к свету из открытой двери каюты.) Э, так вот... вкривь и вкось... (Янсен глядел теперь на его руку, на ней были следы от ногтей.) Удовлетворяю ваше любопытство: я жду на яхту одного человека. Но он меня здесь не ждет. Он должен прибыть с часу на час. Распорядитесь немедленно донести мне, когда он поднимется на борт. Покойной ночи.

У Янсена пылала голова. Он силился что-нибудь понять. Мадам Ламоль осталась на берегу. Зачем? Каприз... Или она ждет его? Нет,— а свежие царапины на руке хозяина... Что-то случилось... А вдруг она лежит на кровати с перерезанным горлом? Или в мешке на дне залива? Миллиардеры не стесняются.

За ужином в кают-компании Янсен потребовал стакан виски без содовой, чтобы как-нибудь прояснило мозги. Помощник капитана рассказывал газетную сенсацию — чудовищный взрыв в германских заводах Анилиновой компании, разрушение близлежащего городка и гибель более чем двух тысяч человек.

Помощник капитана говорил:

— Нашему хозяину адски везет. На гибели анилиновых заводов он зарабатывает столько, что купит всю Германию вместе с потрохами, Гогенцоллернами и социал-демократами. Пью за хозяина.

Янсен унес газеты к себе в каюту. Внимательно прочитал описание взрыва и разные, одно нелепее другого, предположения о причинах его. Именем Роллинга пестрели столбцы. В отделе мод указывалось, что с будущего сезона в моде — борода, покрывающая щеки, и высокий котелок вместо мягкой шляпы. В «Экзельсиор» на первой странице — фотография «Аризоны» и в овале — прелестная голова мадам Ламоль. Глядя на нее, Янсен потерял присутствие духа. Тревога его все росла.

В два часа ночи он вышел из каюты и увидел Роллинга на верхней палубе, в кресле. Янсен вернулся в каюту. Сбросил платье, на голое тело надел легкий костюм из тончайшей шерсти, фуражку, башмаки и бумажник завязал в резиновый мешок. Пробили склянки — три. Роллинг все еще сидел в кресле. В четыре он продолжал сидеть в кресле, но силуэт его с ушедшей в плечи головой казался неживым,— он спал. Через минуту Янсен неслышно спустился по якорной цепи в воду и поплыл к набережной.

78

— Мадам Зоя, не беспокойте себя напрасно: телефон и звонки перерезаны.

Зоя опять присела на край постели. Злая усмешка дергала ее губы. Стась Тыклинский развалился посреди комнаты в кресле,— крутил усы, рассматривал свои лакированные полуботинки. Курить он все же не смел,— Зоя решительно запретила, а Роллинг строго наказал проявлять вежливость с дамой.

Он пробовал рассказывать о своих любовных похождениях в Варшаве и Париже, но Зоя с таким презрением смотрела в глаза, что у него деревенел язык. Приходилось помалкивать. Было уже около пяти утра. Все попытки Зои освободиться, обмануть, обольстить не привели ни к чему.

— Все равно,— сказала Зоя,— так или иначе я дам знать полиции.

— Прислуга в отеле подкуплена, даны очень большие деньги.

— Я выбью окно и закричу, когда на улице будет много народу.

— Это тоже предусмотрено. И даже врач нанят, чтобы установить ваши нервные припадки. Мадам, вы, так сказать, для внешнего света на положении жены, пытающейся обмануть мужа. Вы — вне закона. Никто не поможет и не поверит. Сидите смирно.

Зоя хрустнула пальцами и сказала по-русски:

— Мерзавец. Полячишка. Лакей. Хам.

Тыклинский стал надуваться, усы полезли дыбом. Но ввязываться в ругань не было приказано. Он проворчал:

— Э, знаем, как ругаются бабы, когда их хваленая красота не может подействовать. Мне жалко вас, мадам. Но сутки, а то и двое, придется нам здесь просидеть в тет-а-тете. Лучше лягте, успокойте ваши нервы... Бай-бай, мадам.

К его удивлению, Зоя на этот раз послушалась. Сбросила туфельки, легла, устроилась на подушках, закрыла глаза.

Сквозь ресницы она видела толстое, сердитое, внимательно наблюдающее за ней лицо Тыклинского. Она зевнула раз, другой, положила руку под щеку.

— Устала, пусть будет что будет,— проговорила она тихо и опять зевнула.

Тыклинский удобнее устроился в кресле. Зоя ровно дышала. Через некоторое время он стал тереть глаза. Встал, прошелся,— привалился к косяку. Видимо, решил бодрствовать стоя.

Тыклинский был глуп. Зоя выведала от него все, что было нужно, и теперь ждала, когда он заснет. Торчать у дверей было трудно. Он еще раз осмотрел замок и вернулся к креслу.

Через минуту у него отвалилась жирная челюсть. Тогда Зоя соскользнула с постели. Быстрым движением вытащила ключ у него из жилетного кармана. Подхватила туфельки. Вложила ключ,— тугой замок неожиданно заскрипел.

Тыклинский вскрикнул, как в кошмаре: «Кто? Что?» Рванулся с кресла. Зоя распахнула дверь. Но он схватил ее за плечи. И сейчас же она впилась в его руку, с наслаждением прокусила кожу.

— Песья девка, курва! — заорал он по-польски. Ударил коленкой Зою в поясницу. Повалил. Отпихивая ее ногой в глубь комнаты, силился закрыть дверь. Но — что-то ему мешало. Зоя видела, как шея его налилась кровью.

— Кто там? — хрипло спросил он, наваливаясь плечом.

Но его ступни продолжали скользить по паркету,— дверь медленно растворялась. Он торопливо тащил из заднего кармана револьвер и вдруг отлетел на середину комнаты.

В двери стоял капитан Янсен. Мускулистое тело его облипала мокрая одежда. Секунду он глядел в глаза Тыклинскому. Стремительно, точно падая, кинулся вперед. Удар, назначавшийся Роллингу, обрушился на поляка: двойной удар,— тяжестью корпуса на вытянутую левую — в переносицу — и со всем размахом плеча правой рукой снизу в челюсть. Тыклинский без крика опрокинулся на ковер. Лицо его было разбито и изломано.

Третьим движением Янсен повернулся к мадам Ламоль. Все мускулы его танцевали.

— Есть, мадам Ламоль.

— Янсен, как можно скорее,— на яхту.

— Есть на яхту.

Она закинула, как давеча в ресторане, локоть ему за шею. Не целуя, придвинула рот почти вплотную к его губам:

— Борьба только началась, Янсен. Самое опасное впереди.

— Есть самое опасное впереди.

79

— Извозчик, гони, гони вовсю... Я слушаю, мадам Ламоль... Итак... Покуда я ждал в курительной...

— Я поднялась к себе. Сняла шляпу и плащ...

— Знаю.

— Откуда?

Рука Янсена задрожала за ее спиной. Зоя ответила ласковым движением.

— Я не заметила, что шкаф, которым была заставлена дверь в соседний номер, отодвинут. Не успела я подойти к зеркалу, открывается дверь, и — передо мной Роллинг... Но я ведь знала, что вчера еще он был в Париже. Я знала, что он до ужаса боится летать по воздуху... Но если он здесь, значит для него действи-

тельно вопрос жизни или смерти... Теперь я поняла, что он задумал... Но тогда я просто пришла в ярость. Заманить, устроить мне ловушку... Я ему наговорила черт знает что... Он зажал уши и вышел...

— Он спустился в курительную и отослал меня на яхту...

— В том-то и дело... Какая я дура!.. А все эти танцы, вино, глупости... Да, да, милый друг, когда хочешь бороться — глупости нужно оставить... Через две-три минуты он вернулся. Я говорю: объяснимся... Он,— наглым голосом, каким никогда не смел со мной говорить: «Мне объяснять нечего, вы будете сидеть в этой комнате, покуда я вас не освобожу...» Тогда я надавала ему пощечин...

— Вы настоящая женщина,— с восхищением сказал Янсен.

— Ну, милый друг, это была вторая моя глупость. Но какой трус!.. Снес четыре оплеухи... Стоял с трясущимися губами... Только попытался удержать мою руку, но это ему дорого обошлось. И, наконец, третья глупость: я заревела...

— О, негодяй, негодяй!..

— Подождите вы, Янсен... У Роллинга идиосинкразия к слезам, его корчит от слез... Он предпочел бы еще сорок пощечин... Тогда он позвал поляка,— тот стоял за дверью. У них все было условлено. Поляк сел в кресло. Роллинг сказал мне: «В виде крайней меры — ему приказано стрелять». И ушел. Я принялась за поляка. Через час мне был ясен во всех подробностях предательский план Роллинга. Янсен, милый, дело идет о моем счастье... Если вы мне не поможете, все пропало... Гоните, гоните извозчика...

Коляска пролетела по набережной, пустынной в этот час перед рассветом, и остановилась у гранитной лестницы, где внизу поскрипывало несколько лодок на черномаслянистой воде.

Немного спустя Янсен, держа на руках драгоценную мадам Ламоль, неслышно поднялся по брошенной с кормы веревочной лестнице на борт «Аризоны».

80

Роллинг проснулся от утреннего холода. Палуба была мокрая. Побледнели огни на мачтах. Залив и город были еще в тени, но дым над Везувием уже розовел.

Роллинг оглядывал сторожевые огни, очертания судов. Подошел к вахтенному, постоял около него. Фыркнул носом. Поднялся на капитанский мостик. Сейчас же из каюты вышел Янсен, свежий, вымытый, выглаженный. Пожелал доброго утра. Роллинг фыркнул носом,— несколько более вежливо, чем вахтенному.

Затем он долго молчал, крутил пуговицу на пиджаке. Это была дурная привычка, от которой его когда-то отучала Зоя. Но теперь ему было все равно. К тому же, наверно, на будущий сезон в Париже будет в моде — крутить пуговицы. Портные придумают даже специальные пуговицы для кручения.

Он спросил отрывисто:

— Утопленники всплывают?

— Если не привязывать груза,— спокойно ответил Янсен.

— Я спрашиваю: на море, если человек утонул, значит — утонул?

— Бывает,— неосторожное движение, или снесет волна, или иная какая случайность — все это относится в разряд утонувших. Власти обычно не суют носа.

Роллинг дернул плечом.

— Это все, что я хотел знать об утопленниках. Я иду к себе в каюту. Если подойдет лодка, повторяю, не сообщать, что я на борту. Принять подъехавшего и доложить мне.

Он ушел. Янсен вернулся в каюту, где за синими задернутыми шторками на капитанской койке спала Зоя.

81

В девятом часу к «Аризоне» подошла лодка. Греб какой-то веселый оборванец, подняв весла, он крикнул:

— Алло... Яхта «Аризона»?

— Предположим, что так,— ответил датчанин-матрос, перегнувшись через фальшборт.

— Имеется на вашей посудине некий Роллинг?

— Предположим.

Оборванец открыл улыбкой великолепные зубы:

— Держи.

Он ловко бросил на палубу письмо, матрос подхватил его, оборванец щелкнул языком:

— Матрос, соленые глаза, дай сигару.

И пока датчанин раздумывал, чем бы в него запустить с борта, тот уже отплыл и, приплясывая в лодке и кривляясь от неудержимой радости жизни в такое горячее утро, запел во все горло.

Матрос поднял письмо, понес его капитану. (Таков был приказ.) Янсен отодвинул шторку, наклонился над спящей Зоей. Она открыла глаза, еще полные сна.

— Он здесь?

Янсен подал письмо. Зоя прочла:

«Я жестоко ранен. Будьте милосердны. Я боролся, как лев, за ваши интересы, но случилось невозможное: мадам Зоя на свободе. Припадаю к вашим...»

Не дочитав, Зоя разорвала письмо.

— Теперь мы можем ожидать его спокойно. (Она взглянула на Янсена, протянула ему руку.) Янсен, милый, нам нужно условиться. Вы мне нравитесь. Вы мне нужны. Стало быть, неизбежное должно случиться...

Она коротко вздохнула:

— Я чувствую,— с вами будет много хлопот. Милый друг, это все лишнее в жизни — любовь, ревность, верность... Я знаю — влечение. Это стихия. Я так же свободна отдавать себя, как и вы брать,— запомните, Янсен. Заключим договор: либо я погибну, либо я буду властвовать над миром. (У Янсена поджались губы, Зое понравилось это движение.) Вы будете орудием моей воли. Забудьте сейчас, что я — женщина. Я фантастка. Я авантюристка,— понимаете вы это? Я хочу, чтобы все было мое. (Она описала руками круг.) И тот человек, единственный, кто может мне дать это, должен сейчас прибыть на «Аризону». Я жду его, и ждет Роллинг...

Янсен поднял палец, оглянулся. Зоя задернула шторки. Янсен вышел на мостик. Там стоял, вцепившись в перила, Роллинг. Лицо его, с криво и плотно

сложенным ртом, было искажено злобой. Он всматривался в еще дымную перспективу залива.

— Вот он,— с трудом проговорил Роллинг, протягивая руку, и палец его повис крючком над лазурным морем,— вон в той лодке.

И он торопливо, наводя страх на матросов, кривоногий, похожий на краба, побежал по лестнице с капитанского мостика и скрылся у себя внизу. Оттуда по телефону он подтвердил Янсену давешний приказ — взять на борт человека, подплывающего на шестивесельной лодке.

82

Никогда не случалось, чтобы Роллинг отрывал пуговицы на пиджаке. Сейчас он открутил все три пуговицы. Он стоял посреди пышной, устланной ширазскими коврами, отделанной драгоценным деревом каюты и глядел на стенные часы.

Оборвав пуговицы, он принялся грызть ногти. С чудовищной быстротой он возвращался в первоначальное дикое состояние. Он слышал оклик вахтенного и ответ Гарина с лодки. У него вспотели руки от этого голоса.

Тяжелая лодка ударилась о борт. Раздалась дружная ругань матросов. Заскрипел трап, застучали шаги. «Бери, подхватывай... Осторожнее... Готово... Куда нести?» — Это грузили ящики с гиперболоидами. Затем все утихло.

Гарин попался в ловушку. Наконец-то! Роллинг взялся холодными влажными пальцами за нос и издал шипящие, кашляющие звуки. Люди, знавшие его, утверждали, что он никогда в жизни не смеялся. Неправда! Роллинг любил посмеяться, но без свидетелей, наедине, после удачи и именно так, беззвучно.

Затем по телефону он вызвал Янсена:

— Взяли на борт?

— Да.

— Проведите его в нижнюю каюту и заприте на ключ. Постарайтесь сделать это чисто, без шума.

— Есть,— бойко ответил Янсен. Что-то уж слишком бойко, Роллингу это не понравилось.

— Алло, Янсен?

— Да.

— Через час яхта должна быть в открытом море.

— Есть.

На яхте началась беготня. Загрохотала якорная цепь. Заработали моторы. За иллюминатором потекли струи зеленоватой воды. Стал поворачиваться берег. Влетел влажный ветер в каюту. И радостное чувство скорости разлилось по всему стройному корпусу «Аризоны».

Разумеется, Роллинг понимал, что совершает большую глупость. Но не было прежнего Роллинга, холодного игрока, несокрушимого буйвола, непременного посетителя воскресной проповеди. Он поступал теперь так или иначе не потому, что это было выгодно, а потому, что мука бессонных ночей, ненависть к Гарину, ревность искали выхода: растоптать Гарина и вернуть Зою.

Даже невероятная удача — гибель заводов Анилиновой компании — прошла как во сне. Роллинг даже не поинтересовался, сколько сотен миллионов отсчитали ему двадцать девятого биржи всего мира.

В этот день он ждал Гарина в Париже, как было условлено. Гарин не приехал. Роллинг предвидел это и тридцатого бросился на аэроплане в Неаполь.

Теперь Зоя была убрана из игры. Между ним и Гариным никто не стоял. Расправа продумана была до мелочей. Роллинг закурил сигару. Он нарочно несколько медлил. Он вышел из каюты в коридор. Отворил дверь на нижнюю палубу,— там стояли ящики с аппаратами. Два матроса, сидевшие на них, вскочили. Он отослал их в кубрик.

Захлопнув дверь на нижнюю палубу, он не спеша пошел к противоположной двери, в рубку. Взявшись за дверную ручку, заметил, что пепел на сигаре надломился. Роллинг самодовольно улыбнулся, мысли были ясны, давно он не ощущал такого удовлетворения.

Он распахнул дверь. В рубке, под хрустальным колпаком верхнего света, сидели, глядя на вошедшего, Зоя, Гарин и Шельга. Тогда Роллинг отступил в кори-

дор. Он задохнулся, мозг его будто мгновенно взболтали ложкой. Нос вспотел. И, что было уже совсем чудовищно, он улыбнулся жалко и глупо, совсем как служащий, накрытый за подчищиванием бухгалтерской книги (был с ним такой случай лет двадцать пять назад).

— Добрый день, Роллинг,— сказал Гарин, вставая,— вот и я, дружище.

83

Произошло самое страшное — Роллинг попал в смешное положение.

Что можно было сделать? Скрежетать зубами, бушевать, стрелять? — Еще хуже, еще глупее... Капитан Янсен предал его,— ясно. Команда не надежна... Яхта в открытом море. Усилием воли (у него даже скрипнуло что-то внутри) Роллинг согнал с лица проклятую улыбку.

— А! — Он поднял руку и помотал ею, приветствуя: — А, Гарин... Что же, захотели проветриться? Прошу, рад... Будем веселиться...

Зоя сказала резко:

— Вы скверный актер, Роллинг. Перестаньте потешать публику. Входите и садитесь. Здесь все свои,— смертельные враги. Сами виноваты, что приготовили себе такое веселенькое общество для прогулки по Средиземному морю.

Роллинг оловянными глазами взглянул на нее.

— В больших делах, мадам Ламоль, нет личной вражды или дружбы.

И он сел к столу, точно на королевский трон,— между Зоей и Гариным. Положил руки на стол. Минуту длилось молчание. Он сказал:

— Хорошо, я проиграл игру. Сколько я должен платить?

Гарин ответил, блестя глазами, улыбкой, готовый, кажется, залиться самым добродушным смехом:

— Ровно половину, старый дружище, половину, как было условлено в Фонтенебло. Вот и свидетель.— Он

махнул бородкой в сторону Шельги, мрачно барабанящего ногтями по столу.— В бухгалтерские книги ваши я залезать не стану. Но на глаз — миллиард в долларах, конечно, в окончательный расчет. Для вас эта операция пройдет безболезненно. Вы же загребли чертовы деньги в Европе.

— Миллиард будет трудно выплатить сразу,— ответил Роллинг.— Я обдумаю. Хорошо. Сегодня же я выеду в Париж. Надеюсь, в пятницу, скажем, в Марселе, я смогу выплатить бо́льшую часть этой суммы...

— Ай, ай, ай,— сказал Гарин,— но вы-то, старина, получите свободу только после уплаты.

Шельга быстро взглянул на него, промолчал. Роллинг поморщился, как от глупой бестактности:

— Я должен понять так, что вы меня намерены задержать на этом судне?

— Да.

— Напоминаю, что я, как гражданин Соединенных Штатов, неприкосновенен. Мою свободу и мои интересы будет защищать весь военный флот Америки.

— Тем лучше! — крикнула Зоя гневно и страстно.— Чем скорее, тем лучше!..

Она поднялась, протянула руки, сжала кулаки так, что побелели косточки.

— Пусть весь ваш флот — против нас, весь свет встанет против нас. Тем лучше!

Ее короткая юбка разлетелась от стремительного движения. Белая морская куртка с золотыми пуговичками, маленькая, по-юношески остриженная голова Зои и кулачки, в которых она собиралась стиснуть судьбу мира, серые глаза, потемневшие от волнения, взволнованное лицо — все это было и забавно и страшно.

— Должно быть, я плохо расслышал вас, сударыня,— Роллинг всем телом повернулся к ней,— вы собираетесь бороться с военным флотом Соединенных Штатов? Так вы изволили выразиться?

Шельга бросил барабанить ногтями. В первый раз за этот месяц ему стало весело. Он даже вытянул ноги и развалился, как в театре.

Зоя глядела на Гарина, взгляд ее темнел еще больше.

— Я сказала, Петр Петрович... Слово за вами...

Гарин заложил руки в карманы, встал на каблуки, покачиваясь и улыбаясь красным, точно накрашенным ртом. Весь он казался фатоватым, не серьезным. Одна Зоя угадывала его стальную, играющую от переизбытка, преступную волю.

— Во-первых,— сказал он и поднялся на носки,— мы не питаем исключительной вражды именно к Америке. Мы постараемся потрепать любой из флотов, который попытается выступить с агрессивными действиями против меня. Во-вторых,— он перешел с носков на каблуки,— мы отнюдь не настаиваем на драке. Если военные силы Америки и Европы признают за нами священное право захвата любой территории, какая нам понадобится, право суверенности и так далее и так далее,— тогда мы оставим их в покое, по крайней мере в военном отношении. В противном случае с морскими и сухопутными силами Америки и Европы, с крепостями, базами, военными складами, главными штабами и прочее и прочее будет поступлено беспощадно. Судьба анилиновых заводов, я надеюсь, убеждает вас, что я не говорю на ветер.

Он пошлепал Роллинга по плечу.

— Алло, старина, а ведь было время, когда я просил вас войти компаньоном в мое предприятие... Фантазии не хватило, а все оттого, что высокой культуры у вас нет. Это что — раздевать биржевиков да скупать заводы. Старинушка-матушка... А настоящего человека — прозевали... Настоящего организатора ваших дурацких миллиардов.

Роллинг начал походить на разлагающегося покойника. С трудом выдавливая слова, он прошипел:

— Вы анархист...

Тут Шельга, ухватившись здоровой рукой за волосы, принялся так хохотать, что наверху за стеклянным потолком появилось испуганное лицо капитана Янсена. Гарин повернулся на каблуках и опять — Роллингу:

— Нет, старина, у вас плохо стал варить котелок. Я — не анархист... Я тот самый великий организатор,

которого вы в самом ближайшем времени начнете искать днем с фонарем... Об этом поговорим на досуге. Пишите чек... И полным ходом — в Марсель.

84

В ближайшие дни произошло следующее: «Аризона» бросила якорь на внешнем рейде в Марселе. Гарин предъявил в банке Лионского кредита чек Роллинга на двадцать миллионов фунтов стерлингов. Директор банка в панике выехал в Париж.

На «Аризоне» было объявлено, что Роллинг болен. Он сидел под замком у себя в каюте, и Зоя неусыпно следила за его изоляцией. В продолжение трех суток «Аризона» грузилась жидким топливом, водой, консервами, вином и прочим. Матросы и зеваки на набережной немало дивились, когда к «шикарной кокотке» пошла шаланда, груженная мешками с песком. Говорили, будто яхта идет на Соломоновы острова, кишащие людоедами. Капитаном Янсеном было закуплено оружие — двадцать карабинов, револьверы, газовые маски.

В назначенный день Гарин и Янсен снова явились в банк. Их встретил товарищ министра финансов, экстренно прибывший из Парижа. Рассыпаясь в любезностях и не сомневаясь в подлинности чека, он все же пожелал видеть самого Роллинга. Его отвезли на «Аризону».

Роллинг встретил его совсем больной, с провалившимися глазами. Он едва мог подняться с кресла. Он подтвердил, что чек выдан им, что он уходит на яхте в далекое путешествие и просит поскорее кончить все формальности.

Товарищ министра финансов, взявшись за спинку стула и жестикулируя наподобие Камилла Демулена, произнес речь о великом братстве народов, о культурной сокровищнице Франции и попросил отсрочки платежа.

Роллинг, закрыв устало глаза, покачал головой. Покончили на том, что Лионский кредит выплатит треть суммы в фунтах, остальные — во франках по курсу.

Деньги привезены были к вечеру на военном катере. Затем, когда посторонние были удалены, на капитанском мостике появились Гарин и Янсен.

— Свистать всех наверх.

Команда выстроилась на шканцах, и Янсен сказал твердым и суровым голосом:

— Матросы, яхта, называемая «Аризона», отправляется в чрезвычайно опасное и рискованное плавание. Будь я проклят, если я поручусь за чью-либо жизнь, за жизнь владельцев и целость самого судна. Вы меня знаете, акульи дети... Жалованье я увеличиваю вдвое, так же удваиваются обычные премии. Всем, кто вернется на родину, будет дана пожизненная пенсия. Даю срок на размышление до захода солнца. Нежелающие рисковать могут уносить свои подошвы.

Вечером восемь человек из команды сошли на берег. В ту же ночь команду пополнили восемью отчаянными негодяями, которых капитан Янсен сам разыскал в портовых кабаках.

Через пять дней яхта легла на рейде в Соутгемптоне, и Гарин и Янсен предъявили в английском королевском банке чек Роллинга на двадцать миллионов фунтов. (В палате по этому поводу был сделан мягкий запрос лидером рабочей партии.) Деньги выдали. Газеты взвыли. Во многих городах произошли рабочие демонстрации. Журналисты рванулись в Соутгемптон. Роллинг не принял никого. «Аризона» взяла жидкого топлива и пошла через океан.

Через двенадцать дней яхта стала в Панамском канале и послала радио, вызывая к аппарату главного директора «Анилин Роллинг» — Мак Линнея. В назначенный час Роллинг, сидя в радиорубке под дулом револьвера, отдал приказ Мак Линнею выплатить подателю чека, мистеру Гарину, сто миллионов долларов. Гарин выехал в Нью-Йорк и возвратился с деньгами и самим Мак Линнеем. Это была ошибка. Роллинг говорил с директором ровно пять минут в присутствии Зои, Гарина и Янсена. Мак Линней уехал с глубоким убеждением, что дело нечисто.

Затем «Аризона» стала крейсировать в пустынном Караибском море. Гарин разъезжал по Америке по за-

водам, зафрахтовывал пароходы, закупал машины, приборы, инструменты, сталь, цемент, стекло. В Сан-Франциско происходила погрузка. Доверенный Гарина заключал контракты с инженерами, техниками, рабочими. Другой доверенный выехал в Европу и вербовал среди остатков русской белой армии пятьсот человек для несения полицейской службы.

Так прошло около месяца. Роллинг ежедневно разговаривал по радио с Нью-Йорком, Парижем, Берлином. Его приказы были суровы и неумолимы. После гибели анилиновых заводов европейская химическая промышленность перестала сопротивляться. «Анилин Роллинг» — значилось на всех фабриках. Это было клеймо — желтый круг с тремя черными полосками и надписью: наверху — «Мир», внизу — «Анилин Роллинг Компани». Начинало походить на то, что каждый европеец должен быть проштемпелеван этим желтым кружочком. Так «Анилин Роллинг» шел на приступ сквозь дымящиеся развалины заводов Анилиновой компании.

Колониальным, жутким запашком тянуло по всей Европе. Гасли надежды. Не возвращались веселье и радость. Гнили бесчисленные сокровища духа в пыльных библиотеках. Желтое солнце с тремя черными полосками озаряло неживым светом громады городов, трубы и дымы, рекламы, рекламы, рекламы, выпивающие кровь у людей, и в кирпичных проплеванных улицах и переулках, между витрин, реклам, желтых кругов и кружочков — человеческие лица, искаженные гримасой голода, скуки и отчаяния.

Валюты падали. Налоги поднимались. Долги росли. И священной законности, повелевавшей чтить долг и право, ударило в лоб желтое клеймо. Плати.

Деньги текли ручейками, ручьями, реками в кассы «Анилин Роллинг». Директора «Анилин Роллинг» вмешивались во внутренние дела государств, в международную политику. Они составляли как бы орден тайных правителей.

Гарин носился из конца в конец по Соединенным Штатам с двумя секретарями, инженерами, пишущими барышнями и сворой рассыльных. Он работал двадцать

часов в сутки. Никогда не спрашивал цен и не торговался.

Мак Линней с тревогой и изумлением следил за ним. Он не понимал, для чего все это покупается и грузится и зачем с таким безрассудством расшвыриваются миллионы Роллинга. Секретарь Гарина, одна из пишущих барышень и двое рассыльных были агентами Мак Линнея. Они ежедневно посылали ему в Нью-Йорк подробный отчет. Но все же трудно было что-либо понять в этом вихре закупок, заказов и контрактов.

В начале сентября «Аризона» опять появилась в Панамском канале, взяла на борт Гарина и, выйдя в Тихий океан, исчезла в направлении на юго-запад.

В том же направлении, двумя неделями позже, вышли десять груженых кораблей с запечатанными приказами.

85

Океан был неспокоен. «Аризона» шла под парусами. Были поставлены гроты и кливера,— все паруса, кроме марселей. Узкий корпус яхты,— скорлупка с парусами, наполненными ветром, со звенящими, поющими вантами,— то скрывался до верхушек мачт между волнами, то взмывал на гребне, отряхивая пену.

Тент был убран. Люки задраены. Шлюпки подняты на палубу и закреплены. Мешки с песком, положенные вдоль обоих бортов, увязаны проволокой. На баке и на юте установлены две решетчатые башни с круглыми, как котлы, камерами на верхних площадках. Башни эти, покрытые брезентами, придавали «Аризоне» странный профиль полувоенного судна.

На капитанском мостике, куда долетали только брызги волн, стояли Гарин и Шельга. На обоих — кожаные плащи и шляпы. Рука Шельги была освобождена от гипса, но пока еще годилась только на то, чтобы взять коробку спичек да вилку за столом.

— Вот океан,— сказал Гарин,— и ничтожное суденышко, кристаллик человеческого гения и воли... Ле-

тим, товарищ Шельга, хоть ты что... Боремся... А волны какие... Глядите — горы.

Огромная волна шла с правого борта. Кипящий гребень ее рос и пенился. Под ним все круче выгибалась стеклянно-зеленая вогнутая поверхность в жгутах пены. Гребень закручивался. «Аризона» ложилась на левый борт. Пел дикий ветер между парусами, вынося кораблик из бездны. И он, совсем ложась, показывая красное днище до киля, наискось, по вогнутой поверхности вылетел на гребень волны и скрылся в шумящей пене. Исчезли палуба, и шлюпки, и бак, погрузилась до купола решетчатая мачта на баке. Вода кипела кругом капитанского мостика.

— Здорово! — крикнул Гарин.

«Аризона» выпрямилась, вода схлынула с палубы, кливера плеснули, и она понеслась вниз по уклону волны.

— Так и человек, товарищ Шельга, так и человек в человеческом океане... Я вот страстно полюбил это суденышко... Разве мы не похожи?.. У обоих грудь полна ветром... А?

Шельга пожал плечами, не ответил. Не спорить же с этим — влюбленным в себя до восторга... Пусть упивается,— сверхчеловек, да и только. Недаром он и Роллинг нашли на земле друг друга: лютые враги, а одному без другого не дыхнуть. Химический король порождает из своего чрева этого воспаленного преступными идеями человечка,— тот в свою очередь оплодотворяет чудовищной фантазией Роллингову пустыню. Кол им обоим в глотку!

Действительно, трудно было понять, почему до сих пор Роллинга не жрут акулы. Дело свое он сделал,— не миллиард, но триста миллионов долларов Гарин получил. Теперь бы и концы в воду. Но нет, что-то еще более прочное связывало этих людей.

Не понимал Шельга также, почему и его не спихнули за борт в Тихом океане. Тогда, в Неаполе, он был нужен Гарину как третье лицо и свидетель. Явись Гарин один в Неаполе на «Аризону», могли случиться неожиданные неприятности. Но устранить сразу двоих

Роллингу было бы гораздо труднее. Все это ясно. Гарин выиграл партию.

Зачем же ему теперь Шельга? Во время крейсерства в Караибском море были еще строгости. Здесь же, в океане, за Шельгой никто не следил, и он делал, что хотел. Присматривался. Прислушивался. И ему начинали мерещиться кое-какие выходы из скверного положения.

Перегон по океану был похож на увеселительную прогулку. Завтраки, обеды и ужины обставлялись с роскошью. За стол садились Гарин, мадам Ламоль, Роллинг, капитан Янсен, помощник капитана, Шельга, инженер Чермак — чех (помощник Гарина), щупленький, взъерошенный, болезненный человек, с бледными пристальными глазами и реденькой бородкой, и второй помощник — химик, немец Шефер, костлявый, застенчивый молодой человек, еще недавно умиравший с голоду в Сан-Франциско.

В этой странной компании смертельных врагов, убийц, грабителей, авантюристов и голодных ученых,— во фраках, с бутоньерками в петлицах,— Шельга, как и все, — во фраке, с бутоньеркой, спокойно помалкивал, ел и пил со вкусом.

Сосед справа однажды пустил в него четыре пули, сосед слева — убийца трех тысяч человек, напротив — красавица, бесовка, какой еще не видал свет.

После ужина Шефер садился за пианино, мадам Ламоль танцевала с Янсеном. Роллинг оставался обычно у стола и глядел на танцующих. Остальные поднимались в курительный салон. Шельга шел курить трубку на палубу. Его никто не удерживал, никто не замечал. Дни проходили однообразно. Суровому океану не было конца. Катились волны так же, как миллионы лет тому назад.

Сегодня Гарин, сверх обыкновения, вышел вслед за Шельгой на мостик и заговорил с ним по-приятельски, будто ничего и не произошло с тех пор, как они сидели на скамеечке на бульваре Профсоюзов в Ленинграде. Шельга насторожился. Гарин восхищался яхтой, самим собой, океаном, но, видимо, куда-то клонил.

Со смехом сказал, отряхивая брызги с бородки:

— У меня к вам предложение, Шельга.
— Ну?
— Помните, мы условились играть честную партию?
— Так.
— Кстати... Ай, ай... Это ваш подручный угостил меня из-за кустов? На волосок ближе — и череп вдребезги.
— Ничего не знаю...
Гарин рассказал о выстреле на даче Штуфера. Шельга замотал головой.
— Я ни при чем. А жаль, что промахнулся...
— Значит — судьба?
— Да, судьба.
— Шельга, предлагаю вам на выбор,— глаза Гарина, неумолимые и колючие, приблизились, лицо сразу стало злым,— либо вы бросьте разыгрывать из себя принципиального человека... либо я вас вышвырну за борт. Поняли?
— Понял.
— Вы мне нужны. Вы мне нужны для больших дел... Мы можем договориться... Единственный человек, кому я верю,— это вам.
Он не договорил, гребень огромной волны, выше прежних, обрушился на яхту. Кипящая пена покрыла капитанский мостик. Шельгу бросило на перила, его выкаченные глаза, разинутый рот, рука с растопыренными пальцами показались и исчезли под водой... Гарин кинулся в водоворот.

86

Шельга не раз впоследствии припоминал этот случай.
Рискуя жизнью, Гарин схватил его за край плаща и боролся с волнами, покуда они не пронеслись через яхту. Шельга оказался висящим за перилами мостика. Легкие его были полны воды. Он тяжело упал на палубу. Матросы с трудом откачали его и унесли в каюту.
Туда же вскоре пришел и Гарин, переодетый и веселый. Приказал подать два стаканчика грога и, раскурив трубку, продолжал прерванный разговор.

Шельга рассматривал его насмешливое лицо, ловкое тело, развалившееся в кожаном кресле. Странный, противоречивый человек. Бандит, негодяй, темный авантюрист... Но от грога ли, или от перенесенного потрясения Шельге приятно было, что Гарин вот так сидит перед ним, задрав ногу на колено, и курит и рассуждает о разных вещах, как будто не трещат бока «Аризоны» от ударов волн, не проносятся кипящие струи за стеклом иллюминатора, не уносятся, как на качелях, вниз и вверх, то Шельга на койке, то Гарин в кресле...

Гарин сильно изменился после Ленинграда,— весь стал уверенный, смеющийся, весь благорасположенный и добродушный, какими только бывают очень умные, убежденные эгоисты.

— Зачем вы пропустили удобный случай? — спросил его Шельга.— Или вам до зарезу нужна моя жизнь? Не понимаю.

Гарин закинул голову и засмеялся весело:

— Чудак вы, Шельга... Зачем же я должен поступать логично?.. Я не учитель математики... До чего ведь дожили... Простое проявление человечности — и непонятно. Какая мне выгода была тащить за волосы утопающего? Да никакая... Чувство симпатии к вам... Человечность...

— Когда взрывали анилиновые заводы, кажется, не думали о человечности.

— Нет! — крикнул Гарин.— Нет, не думал. Вы все еще никак не можете выкарабкаться из-под обломков морали... Ах, Шельга, Шельга... Что это за полочки: на этой полочке — хорошее, на этой — плохое... Я понимаю, дегустатор: пробует, плюет, жует корочку,— это, говорит, вино хорошее, это плохое. Но ведь руководится он вкусом, пупырышками на языке. Это реальность. А где ваш дегустатор моральных марок? Какими пупырышками он это пробует?

— Все, что ведет к установлению на земле советской власти,— хорошо,— проговорил Шельга,— все, что мешает,— плохо.

— Превосходно, чудно, знаю... Ну, а вам-то до этого какое дело? Чем вы связаны с Советской респу-

бликой? Экономически? Вздор... Я вам предлагаю жалованье в пятьдесят тысяч долларов... Говорю совершенно серьезно. Пойдете?

— Нет,— спокойно сказал Шельга.

— То-то что нет... Значит, связаны вы не экономически, а идеей, честностью: словом, материей высшего порядка. И вы злостный моралист, что я и хотел вам доказать... Хотите мир перевернуть... Расчищаете от тысячелетнего мусора экономические законы, взрываете империалистические крепости. Ладно. Я тоже хочу мир перевернуть, но по-своему. И переверну одной силой моего гения.

— Ого!

— Наперекор всему, заметьте, Шельга. Слушайте, да что же такое человек в конце концов? Ничтожнейший микроорганизм, вцепившийся в несказуемом ужасе смерти в глиняный шарик земли и летящий с нею в ледяной тьме? Или это — мозг, божественный аппарат для выработки особой, таинственной материи — мысли,— материи, один микрон которой вмещает в себя всю вселенную... Ну? Вот — то-то...

Гарин уселся глубже, поджал ноги. Всегда бледные щеки его зарумянились.

— Я предлагаю другое. Враг мой, слушайте... Я овладеваю всей полнотой власти на земле. Ни одна труба не задымит без моего приказа, ни один корабль не выйдет из гавани, ни один молоток не стукнет. Все подчинено,— вплоть до права дышать,— центру. В центре — я. Мне принадлежит все. Я отчеканиваю свой профиль на кружочках: с бородкой, в веночке, а на обратной стороне профиль мадам Ламоль. Затем я отбираю «первую тысячу»,— скажем, это будет что-нибудь около двух-трех миллионов пар. Это патриции. Они предаются высшим наслаждениям и творчеству. Для них мы установим, по примеру древней Спарты, особый режим, чтобы они не вырождались в алкоголиков и импотентов. Затем мы установим, сколько нужно рабочих рук для полного обслуживания культуры. Здесь также сделаем отбор. Этих назовем для вежливости — трудовиками...

— Ну, разумеется...

— Хихикать, друг мой, будете по окончании разговора... Они не взбунтуются, нет, дорогой товарищ. Возможность революций будет истреблена в корне. Каждому трудовику после классификации и перед выдачей трудовой книжки будет сделана маленькая операция. Совершенно незаметно, под нечаянным наркозом... Небольшой прокол сквозь черепную кость. Ну, просто закружилась голова,— очнулся, и он уже раб. И, наконец, отдельную группу мы изолируем где-нибудь на прекрасном острове исключительно для размножения. Все остальное придется убрать за ненадобностью. Вот вам структура будущего человечества по Петру Гарину. Эти трудовики работают и служат безропотно за пищу, как лошади. Они уже не люди, у них нет иной тревоги, кроме голода. Они будут счастливы, переваривая пищу. А избранные патриции — это уже полубожества. Хотя я презираю, вообще-то говоря, людей, но приятнее находиться в хорошем обществе. Уверяю вас, дружище, это и будет самый настоящий золотой век, о котором мечтали поэты. Впечатление ужасов очистки земли от лишнего населения сгладится очень скоро. Зато какие перспективы для гения! Земля превращается в райский сад. Рождение регулируется. Производится отбор лучших. Борьбы за существование нет: она — в туманах варварского прошлого. Вырабатывается красивая и утонченная раса — новые органы мышления и чувств. Покуда коммунизм будет волочь на себе все человечество на вершины культуры, я это сделаю в десять лет... К черту! — скорее, чем в десять лет... Для немногих... Но дело не в числе...

— Фашистский утопизм, довольно любопытно,— сказал Шельга.— Роллингу вы об этом рассказывали?

— Не утопия,— вот в чем весь курьез. Я только логичен... Роллингу я, разумеется, ничего не говорил, потому что он просто животное... Хотя Роллинг и все Роллинги на свете вслепую делают то, что я развиваю в законченную и четкую программу. Но делают это варварски, громоздко и медленно. Завтра, надеюсь, мы будем уже на острове... Увидите, что я не шучу...

— С чего же начнете-то? Деньги с бородкой чеканить?

— Ишь ты, как эта бородка вас задела. Нет. Я начну с обороны. Укреплять остров. И одновременно бешеным темпом пробиваться сквозь Оливиновый пояс. Первая угроза миру будет, когда я повалю золотой паритет[1]. Я смогу добывать золото в любом количестве. Затем перейду в наступление. Будет война — страшнее четырнадцатого года. Моя победа обеспечена. Затем — отбор оставшегося после войны и моей победы населения, уничтожение непригодных элементов, и мною избранная раса начинает жить, как боги, а трудовики начинают работать не за страх, а за совесть, довольные, как первые люди в раю. Ловко? А? Не нравится?

Гарин снова расхохотался. Шельга закрыл глаза, чтобы не глядеть на него. Игра, начатая на бульваре Профсоюзов, разворачивалась в серьезную партию. Он лежал и думал. Оставался опасный, но единственный ход, который только и мог привести к победе. Во всяком случае, самое неверное было бы сейчас ответить Гарину отказом. Шельга потянулся за папиросами, Гарин с усмешкой наблюдал за ним.

— Решили?

— Да, решил.

— Великолепно. Я раскрываю карты: вы мне нужны, как кремень для огнива. Шельга, я окружен тупым зверьем. Людьми без фантазии. Мы будем с вами ссориться, но я добьюсь, что вы будете работать со мной. Хотя бы в первой половине, когда мы будем бить Роллингов... Кстати, предупреждаю, бойтесь Роллинга, он упрям, и если решил вас убить,— убьет.

— Меня давно удивляло, почему вы его не скормили акулам.

— Мне нужен заложник... Но во всяком случае он-то не попадет в список «первой тысячи»...

Шельга помолчал. Спросил спокойно:

— Сифилиса у вас не было, Гарин?

---

[1] Постоянная стоимость золота во всем мире. Задача Гарина обесценить золото, чтобы внести хаос среди денежных магнатов буржуазного мира и овладеть властью.

— Представьте — не было. Мне тоже иногда думалось, все ли в порядке в черепушке... Ходил даже к врачу. Рефлексы повышены, только. Ну, одевайтесь, идем ужинать.

87

Грозовые тучи утонули на северо-востоке. Синий океан был необъятно ласков. Мягкие гребни волн сверкали стеклом. Гнались дельфины за водяным следом яхты, перегоняя, кувыркались, маслянистые и веселые. Гортанно кричали большие чайки, плывя над парусами. Вдали из океана подымались голубоватые, как мираж, очертания скалистого острова.

Сверху — в бочке — матрос крикнул: «Земля». И стоявшие на палубе вздрогнули. Это была земля неведомого будущего. Она была похожа на длинное облачко, лежащее на горизонте. К нему несли «Аризону» полные ветра паруса.

Матросы мыли палубу, шлепая босыми ногами. Косматое солнце пылало в бездонных просторах неба и океана. Гарин, пощипывая бородку, силился проникнуть в пелену будущего, окутавшую остров. О, если бы знать!..

88

В далеких перспективах Васильевского острова пылал осенний закат. Багровым и мрачным светом были озарены баржи с дровами, буксиры, лодки рыбаков, дымы, запутавшиеся между решетчатыми кранами эллингов. Пожаром горели стекла пустынных дворцов.

С запада, из-за дымов, по лилово-черной Неве подходил пароход. Он заревел, приветствуя Ленинград и конец пути. Огни его иллюминаторов озарили колонны Горного института, Морского училища, лица гуляющих, и он стал ошвартовываться у плавучей, красной, с белыми колонками, таможни. Началась обычная суета досмотра.

Пассажир первого класса, смуглый, широкоскулый человек, по паспорту научный сотрудник Французского

географического общества, стоял у борта. Он глядел на город, затянутый вечерним туманом. Еще остался свет на куполе Исаакия, на золотых иглах Адмиралтейства и Петропавловского собора. Казалось, этот шпиль, пронзающий небо, задуман был Петром как меч, грозящий на морском рубеже России.

Широкоскулый человек вытянул шею, глядя на иглу собора. Казалось, он был потрясен и взволнован, как путник, увидевший после многолетней разлуки кровлю родного дома. И вот по темной Неве от крепости долетел торжественный звон: на Петропавловском соборе, где догорал свет на узком мече, над могилами императоров куранты играли «Интернационал».

Человек стиснул перила, из горла его вырвалось что-то вроде рычания, он повернулся спиной к крепости.

В таможне он предъявил паспорт на имя Артура Леви и во все время осмотра стоял, хмуро опустив голову, чтобы не выдать злого блеска глаз.

Затем, положив клетчатый плед на плечо, с небольшим чемоданчиком, он сошел на набережную Васильевского острова. Сияли осенние звезды. Он выпрямился с долго сдерживаемым вздохом. Оглянул спящие дома, пароход, на котором горели два огня на мачтах да тихо постукивал мотор динамо, и зашагал к мосту.

Какой-то высокий человек в парусиновой блузе медленно шел навстречу. Минуя, взглянул в лицо, прошептал: «Батюшки», и вдруг спросил вдогонку:

— Волшин, Александр Иванович?

Человек, назвавший себя в таможне Артуром Леви, споткнулся, но, не оборачиваясь, еще быстрее зашагал по мосту.

89

Иван Гусев жил у Тарашкина, был ему не то сыном, не то младшим братом. Тарашкин учил его грамоте и уму-разуму.

Мальчишка оказался до того понятливый, упорный,— сердце радовалось. По вечерам напьются чаю с

ситником и чайной колбасой, Тарашкин полезет в карман за папиросами, вспомнит, что дал коллективу клуба обещание не курить,— крякнет, взъерошит волосы и начинает разговор:

— Знаешь, что такое капитализм?

— Нет, Василий Иванович, не знаю.

— Объясню тебе в самой упрощенной форме. Девять человек работают, десятый у них все берет, они голодают, он лопается от жира. Это — капитализм. Понял?

— Нет, Василий Иванович, не понял.

— Чего ты не понял?

— Зачем они ему дают?

— Он заставляет, он эксплуататор...

— Как заставляет? Их девять, он один...

— Он вооружен, они безоружные...

— Оружие всегда можно отнять, Василий Иванович. Это, значит, они нерасторопные...

Тарашкин с восхищением, приоткрывая рот, глядел на Ивана.

— Правильно, брат... Рассуждаешь по-большевистски... Мы в Советской России так и сделали — оружие отняли, эксплуататоров прогнали, и у нас все десять человек работают и все сытые...

— Все от жира лопаемся...

— Нет, брат, лопаться от жира не надо, мы не свиньи, а люди. Мы жир должны перегонять в умственную энергию.

— Это чего это?

— А то, что мы в кратчайший срок должны стать самым умным, самым образованным народом на свете... Понятно? Теперь давай арифметику...

— Есть арифметику,— говорил Иван, доставая тетрадь и карандаш.

— Нельзя муслить чернильный карандаш,— это некультурно... Понятно?

Так они занимались каждый вечер, далеко за полночь, покуда у обоих не начинали слипаться глаза.

90

У калитки гребного клуба стоял скуластый, хорошо одетый гражданин и тростью ковырял землю. Он поднял голову и так странно поглядел на подходивших Тарашкина и Ивана, что Тарашкин ощетинился. Иван прижался к нему. Человек сказал:

— Я жду здесь с утра. Этот мальчик и есть Иван Гусев.

— А вам какое дело? — засопев, спросил Тарашкин.

— Виноват, прежде всего вежливость, товарищ. Моя фамилия Артур Леви.

Он вынул карточку, развернул перед носом у Тарашкина:

— Я сотрудник советского полпредства в Париже. Вам этого довольно, товарищ?

Тарашкин проворчал неопределенное. Артур Леви достал из бумажника фотографию, взятую Гариным у Шельги.

— Вы можете подтвердить, что снимок сделан именно с этого самого мальчика?

Тарашкину пришлось согласиться. Иван попытался было улизнуть, но Артур Леви жестко взял его за плечо.

— Фотографию мне передал Шельга. Мне дано секретное поручение отвезти мальчика по указанному адресу. В случае сопротивления должен его арестовать. Вы намерены подчиниться?

— Мандат? — спросил Тарашкин.

Артур Леви показал мандат с бланком советского посольства в Париже, со всеми подписями и печатями. Тарашкин долго читал его. Вздохнув, сложил вчетверо.

— Черт его разберет, будто бы все правильно. А может, кому бы другому вместо него поехать? Мальчишке учиться надо...

Артур Леви зубасто усмехнулся:

— Не бойтесь. Мальчику со мной будет неплохо...

91

Тарашкин наказал Ивану посылать вести с дороги. Тревога его немного улеглась, когда он получил из Челябинска открытку:

«Дорогой товарищ Тарашкин, слава труду,— едем мы ничего себе, в первом классе. Пища хорошая, а также обращение. В Москве Артур Артурович купил мне шапку, новый пиджак на вате и сапоги. Одно — скука заедает: Артур Артурович цельный день молчит. Между прочим, в Самаре на вокзале встретил я одного беспризорного, бывшего товарища. Я ему дал, извините, ваш адрес, наверно приедет, ждите».

92

Александр Иванович Волшин прибыл в СССР с паспортом на имя Артура Леви и бумагами от Французского географического общества. Все документы были в порядке (в свое время это стоило Гарину немало хлопот),— сфабрикованы были лишь мандат и удостоверение из полпредства. Но эти бумажки Волшин показал только Тарашкину. Официально же Артур Леви приехал для исследования вулканической деятельности камчатских гигантских огнедышащих гор — сопок по местному названию.

В середине сентября он выехал вместе с Иваном во Владивосток. Ящики со всеми инструментами и вещами, нужными для экспедиции, прибыли туда еще заранее морем из Сан-Франциско. Артур Леви торопился. В несколько дней собрал партию, и двадцать восьмого сентября экспедиция отплыла из Владивостока на советском пароходе в Петропавловск. Переход был тяжелый. Северный ветер гнал тучи, сеющие снежной крупой в свинцовые волны Охотского моря. Пароход тяжело скрипел, ныряя в грозной водяной пустыне. В Петропавловск прибыли только на одиннадцатый день. Выгрузили ящики, лошадей и на другие сутки уже двинулись через леса и горы, тропами, руслами ручьев, через болота и лесные чащобы.

Экспедицию вел Иван,— у мальчишки были хорошая память и собачье чутье. Артур Леви торопился: трогались в путь на утренней заре и шли до темноты, без привалов. Лошади выбивались из сил, люди роптали: Артур Леви был неумолим,— он не щадил никого, но хорошо платил.

Погода портилась. Мрачно шумели вершины кедров, иногда слышался тяжелый треск повалившегося столетнего дерева или грохот каменной лавины. Камнями убило двух лошадей, две другие вместе с вьюками утонули в трясине зыбучего болота.

Иван обычно шел впереди, карабкаясь на сопки, влезая на деревья, чтобы разглядеть одному ему известные приметы. Однажды он закричал, раскачиваясь на кедровой ветке:

— Вот он! Артур Артурович, вот он!..

На отвесной скале, висевшей над горной речкой, было видно древнее, высеченное на камне, полуистертое временем изображение воина в конусообразной шапке, со стрелой и луком в руках...

— Отсюда теперь на восток, прямо по стреле до Шайтан-камня, а там недалеко лагерь! — кричал Иван.

Здесь стали привалом. Перепаковали вьюки. Зажгли большой костер. Утомленные люди заснули. В темноте сквозь шум кедров доносились отдаленные глухие взрывы, вздрагивала земля. И когда огонь костра начал угасать, на востоке под тучами обозначилось зарево, будто какой-то великан раздувал угли между гор и их мрачный отсвет мигал под тучами...

Чуть свет Артур Леви, не отнимавший руки от кобуры маузера, уже расталкивал пинками людей. Он не дал развести огонь, вскипятить чай. «Вперед, вперед!..» Измученные люди побрели через непролазный лес, загроможденный осколками камней. Деревья здесь были необыкновенной высоты. В папоротнике лошади скрывались с головой. У всех ноги были в крови. Еще двух лошадей пришлось бросить. Артур Леви шел сзади, держа руку на маузере. Казалось, еще несколько шагов,— и хоть убивай на месте — никто не сдвинется с места...

По ветру донесся звонкий голос Ивана:

— Сюда, сюда, товарищи, вот он, Шайтан-камень...

Это была огромная глыба в форме человеческой головы, окутанная клубами пара. У ее подножия из земли била, пульсируя, струя горячей воды. С незапамятных времен люди, оставившие путевые знаки на скалах, купались в этом источнике, восстанавливающем силы. Это была та самая «живая вода», которую в сказках приносил ворон,— вода, богатая радиоактивными солями.

93

Весь этот день дул северный ветер, ползли тучи низко над лесом. Печально шумели высокие сосны, гнулись темные вершины кедров, облетали лиственницы. Сыпало крупой из туч, сеяло ледяным дождем. Тайга была пустынна. На тысячу верст шумела хвоя над болотами, над каменистыми сопками. С каждым днем студенее, страшнее дышал север с беспросветного неба.

Казалось, ничего, кроме важного шума вершин да посвистывания ветра, не услышишь в этой пустыне. Птицы улетели, зверь ушел, попрятался. Человек разве только за смертью забрел бы в эти места.

Но человек появился. Он был в рыжей рваной дохе, низко подпоясанной веревкой, в разбухших от дождя пимах. Лицо заросло космами нечесанной уже несколько лет бороды, седые волосы падали на плечи. Он с трудом передвигался, опираясь на ружье, огибал косогор, скрываясь иногда за корневищами. Останавливался, согнувшись, и начинал посвистывать:

— Фють, Машка, Машка... Фють...

Из бурьяна поднялась голова лесного козла с обрывком веревки на вытертой шее. Человек поднял ружье, но козел снова скрылся в бурьяне. Человек зарычал, опустился на камень. Ружье дрожало у него между колен, он уронил голову. Долго спустя опять стал звать:

— Машка, Машка...

Мутные глаза его искали среди бурьяна эту единственную надежду — ручного козла: убить его послед-

ним оставшимся зарядом, высушить мясо и протянуть еще несколько месяцев, быть может даже до весны.

Семь лет тому назад он искал применения своим гениальным замыслам. Он был молод, силен и беден. В роковой день он встретил Гарина, развернувшего перед ним такие грандиозные планы, что он, бросив все, очутился здесь, у подножия вулкана. Семь лет тому назад здесь был вырублен лес, поставлено зимовище, лаборатория, радиоустановка от маленькой гидростанции. Земляные крыши поселка, просевшие и провалившиеся, виднелись среди огромных камней, некогда выброшенных вулканом, у стены шумящего вершинами мачтового леса.

Люди, с которыми он пришел сюда,— одни умерли, другие убежали. Постройки пришли в негодность, плотину маленькой гидростанции снесло весенней водой. Весь труд семи лет, все удивительные выводы — исследования глубоких слоев земли — Оливинового пояса — должны были погибнуть вместе с ним из-за такой глупости, как Машка — козел, не желающий подходить на ружейный выстрел, сколько его, проклятого, ни зови.

Прежде шуткой бы показалось — пройти в тайге километров триста до человеческого поселения. Теперь ноги и руки изломаны ревматизмом, зубы вывалились от цинги. Последней надеждой был ручной козел,— старик готовил его на зиму. Проклятое животное перетерло веревку и удрало из клетки.

Старик взял ружье с последним зарядом и ходил, подманивая Машку. Близился вечер, темнели гряды туч, злее шумел ветер, раскачивая огромные сосны. Надвигалась зима — смерть. Сжималось сердце... Неужели никогда больше ему не увидеть человеческих лиц, не посидеть у огня печи, вдыхая запах хлеба, запах жизни? Старик молча заплакал.

Долго спустя — еще раз позвал:

— Машка, Машка...

Нет, сегодня не убить... Старик, кряхтя, поднялся, побрел к зимовищу. Остановился. Поднял голову,— снежная крупа ударила в лицо, ветер трепал бороду... Ему показалось... Нет, нет,— это ветер, должно быть,

заскрипел сосной о сосну... Старик все же долго стоял, стараясь, чтобы не так громко стучало сердце...

— Э-э-э-эй,— слабо долетел человеческий голос со стороны Шайтан-камня.

Старик ахнул. Глаза застлало слезами. В разинутый рот било крупой. В надвинувшихся сумерках уже ничего нельзя было различить на поляне...

— Э-э-э-эй, Манцев,— снова долетел срываемый ветром мальчишеский звонкий голос. Из бурьяна поднялась козлиная голова,— Машка подошла к старику и, наставив ушки, тоже прислушивалась к необычайным голосам, потревожившим эту пустыню... Справа, слева приближались, звали.

— Э-эй... Где вы там, Манцев? Живы?

У старика тряслась борода, тряслись губы, он разводил руками и повторял беззвучно:

— Да, да, я жив... Это я, Манцев.

. . . .

Прокопченные бревна зимовища никогда еще не видели такого великолепия. В очаге, сложенном из вулканических камней, пылал огонь, в котелках кипела вода. Манцев втягивал ноздрями давно забытые запахи чая, хлеба, сала.

Входили и выходили громкогласные люди, внося и распаковывая вьюки. Какой-то скуластый человек подал ему кружку с дымящимся чаем, кусок хлеба... Хлеб. Манцев задрожал, торопливо пережевывая его деснами. Какой-то мальчик, присев на корточки, сочувственно глядел, как Манцев то откусит хлеб, то прижмет его к косматой бороде, будто боится: не сон ли вся эта жизнь, ворвавшаяся в его полуразрушенное зимовище.

— Николай Христофорович, вы меня не узнаете, что ли?

— Нет, нет, я отвык от людей,— бормотал Манцев,— я очень давно не ел хлеба.

— Я же Иван Гусев... Николай Христофорович, ведь я все сделал, как вы наказывали. Помните, еще грозились мне голову оторвать.

Манцев ничего не помнил, только таращился на озаренные пламенем незнакомые лица. Иван стал ему

рассказывать про то, как тогда шел тайгой к Петропавловску, прятался от медведей, видел рыжую кошку величиной с теленка, сильно ее испугался, но кошка и за ней еще три кошки прошли мимо; питался кедровыми орехами, разыскивая их в беличьих гнездах; в Петропавловске нанялся на пароход чистить картошку; приплыл во Владивосток и еще семь тысяч километров трясся под вагонами в угольных ящиках.

— Я свое слово сдержал, Николай Христофорович, привел за вами людей. Только вы тогда напрасно мне на спине чернильным карандашом писали. Надо было просто сказать: «Иван, даешь слово?» — «Даю». А вы мне на спине написали, может, что-нибудь против советской власти. Разве это красиво? Теперь вы на меня больше не рассчитывайте, я — пионер.

Наклонившись к нему, Манцев спросил, выворачивая губы, хриплым шепотом:

— Кто эти люди?

— Французская ученая экспедиция, говорю вам. Специально меня разыскали в Ленинграде, чтобы вести ее сюда, за вами...

Манцев больно схватил его за плечо:

— Ты видел Гарина?

— Николай Христофорович, бросьте запугивать, у меня теперь за плечами советская власть... Ваша записка на моем горбу попала в надежные руки... Гарин мне ни к чему.

— Зачем они здесь? Что они от меня хотят?.. Я им ничего не скажу. Я им ничего не покажу.

Лицо Манцева багровело, он возбужденно озирался. Рядом с ним на нары сел Артур Леви.

— Надо успокоиться, Николай Христофорович. Кушайте, отдыхайте... Времени у нас будет много, раньше ноября вас отсюда не увезем...

Манцев слез с нар, руки его тряслись...

— Я хочу с вами говорить с глазу на глаз.

Он проковылял к двери, сколоченной из нетесаных, наполовину сгнивших горбылей. Толкнул ее. Ночной ветер подхватил его седые космы. Артур Леви шагнул за ним в темноту, где крутился мокрый снег.

— В моей винтовке последний заряд... Я вас убью! Вы пришли меня ограбить! — закричал Манцев, трясясь от злобы.

— Пойдемте, станем за ветром.— Артур Леви потащил его, прислонил к бревенчатой стене.— Перестаньте бесноваться. Меня прислал за вами Петр Петрович Гарин.

Манцев судорожно схватился за руку Леви. Распухшее лицо его, с вывороченными веками, тряслось, беззубый рот всхлипывал:

— Гарин жив?.. Он не забыл меня? Вместе голодали, вместе строили великие планы... Но все это чепуха, бредни... Что я здесь открыл?.. Я прощупал земную кору... Я подтвердил все мои теоретические предположения... Я не ждал таких блестящих выводов... Оливин здесь,— Манцев затопал мокрыми пимами,— ртуть и золото можно брать в неограниченном количестве... Слушайте, короткими волнами я прощупал земное ядро... Там черт знает что делается... Я перевернул мировую науку... Если бы Гарин смог достать сто тысяч долларов,— что бы мы натворили!..

— Гарин располагает миллиардами, о Гарине кричат газеты всего мира,— сказал Леви,— ему удалось построить гиперболоид, он завладел островом в Тихом океане и готовится к большим делам. Он ждет только ваших исследований земной коры. За вами пришлют дирижабль. Если не помешает погода, через месяц мы сможем поставить причальную мачту.

Манцев привалился к стене, долго молчал, уронив голову.

— Гарин, Гарин,— повторил он с душераздирающей укоризной.— Я дал ему идею гиперболоида. Я навел его на мысль об Оливиновом поясе. Про остров в Тихом океане сказал ему я. Он обокрал мой мозг, сгноил меня в проклятой тайге... Что теперь я возьму от жизни? — постель, врача, манную кашу... Гарин, Гарин... Пожиратель чужих идей!..

Манцев поднял лицо к бушующей непогоде:

— Цинга съела мои зубы, лишаи источили мою кожу, я почти слеп, мой мозг отупел... Поздно, поздно вспомнил обо мне Гарин...

94

Гарин послал в газеты Старого и Нового Света радио о том, что им, Пьером Гарри, занят в Тихом океане, под сто тридцатым градусом западной долготы и двадцать четвертым градусом южной широты, остров площадью в пятьдесят пять квадратных километров, с прилегающими островками и мелями, что этот остров он считает своим владением и готов до последней капли крови защищать свои суверенные права.

Впечатление получилось смехотворное. Островишко в южных широтах Тихого океана был необитаем и ничем, кроме живописности, не отличался. Даже произошла путаница,— кому, собственно, он принадлежит: Америке, Голландии или Испании? Но с американцами долго спорить не приходилось,— поворчали и отступились.

Остров не стоил того угля, который нужно было затратить, чтобы доплыть к нему, но принцип прежде всего, и из Сан-Франциско вышел легкий крейсер, чтобы арестовать этого Пьера Гарри и на острове поставить на вечные времена железную мачту с прорезиненным звездным флагом Соединенных Штатов.

Крейсер ушел. Про смехотворную историю с Гариным был сочинен фокстрот «Бедный Гарри», где говорилось о том, как маленький, бедный Пьер Гарри полюбил креолку, и так ее полюбил, что захотел сделать ее королевой. Он увез ее на маленький остров, и там они танцевали фокстрот, король с королевой вдвоем. И королева просила: «Бедный Гарри, я хочу завтракать, я голодна». В ответ Гарри только вздыхал и продолжал танцевать,— увы, кроме раковин и цветов, у него ничего не было. Но вот пришел корабль. Красавец капитан предложил королеве руку и повел к великолепному завтраку. Королева смеялась и кушала. А бедному Гарри оставалось только танцевать одному... И так далее... Словом, все это были шуточки.

Дней через десять пришло радио с крейсера:

«Стою в виду острова. Высадиться не пришлось, так как получил предупреждение, что остров укреплен. Послал ультиматум Пьеру Гарри, называющему

себя владельцем острова. Срок завтра в семь утра. После чего высаживаю десант».

Это было уже забавно,— бедный Гарри грозит кулачком шестидюймовым пушкам... Но ни назавтра, ни в ближайшие дни никаких известий с крейсера больше не поступало.

На последний запрос он не отвечал. Ого! Кое-кто нахмурил брови в военном министерстве.

Затем в газетах появилось сенсационное интервью с Мак Линнеем. Он утверждал, что Пьер Гарри не кто иной, как известный русский авантюрист инженер Гарин, с которым связаны слухи о целом ряде преступлений, в том числе о загадочном убийстве в Вилль Давре, близ Парижа. История с захватом острова тем более удивляет Мак Линнея, что на борту яхты, доставившей на остров Гарина, находился не кто иной, как сам Роллинг, глава и распорядитель треста «Анилин Роллинг». На его средства были произведены огромные закупки в Америке и Европе и зафрахтованы корабли для перевозки материалов на остров. Пока все происходило в законном порядке, Мак Линней молчал, но сейчас он утверждает, что отличительная черта химического короля Роллинга — это исключительное уважение к законам. Поэтому несомненно, что наглый захват острова сделан вне воли Роллинга и доказывает только, что Роллинг содержится в плену на острове и что миллиардером пользуются в целях неслыханного шантажа.

Тут уже шуточки кончились. Попиралось святое святых. Агенты полиции собрали сведения о закупках Гарина за август месяц. Получились ошеломляющие цифры. В то же время военное министерство напрасно разыскивало крейсер,— он исчез. И, ко всему, в газетах было опубликовано описание взрыва анилиновых заводов, рассказанное свидетелем катастрофы, русским ученым Хлыновым.

Начинался скандал. Действительно, под носом у правительства какой-то авантюрист произвел колоссальные военные закупки, захватил остров, лишил свободы величайшего из граждан Америки, и, ко всему,

это был безнравственный негодяй, массовый убийца, гнусный изверг.

Телеграф принес еще одно ошеломляющее известие: таинственный дирижабль, новейшего типа, пролетел над Гавайскими островами, опустился в порте Гило, взял бензин и воду, проплыл над Курильскими островами, снизился над Сахалином, в порте Александровском взял бензин и воду, после чего исчез в северо-западном направлении. На металлическом борту корабля были замечены буквы П и Г.

Тогда всем стало ясно: Гарин московский агент. Вот тебе и «бедный Гарри». Палата вотировала самые решительные меры. Флот из восьми линейных крейсеров вышел к «острову Негодяев», как его теперь называли в американских газетах.

В тот же день радиостанции всего мира приняли коротковолновую радиограмму, чудовищную по наглости и дурному стилю:

«Алло! Алло! Говорит станция Золотого острова, именуемого по неосведомленности островом Негодяев. Алло! Пьер Гарри искренне советует правительствам всех стран не совать носа в его внутренние дела. Пьер Гарри будет обороняться, и всякий военный корабль или флот, вошедший в воды Золотого острова, будет подвергнут участи американского легкого крейсера, пущенного ко дну менее чем в пятнадцать секунд. Пьер Гарри искренне советует всему населению земного шара бросить политику и беззаботно танцевать фокстрот его имени».

95

Плотина в овраге около зимовища была восстановлена. Электростанция заработала. Артур Леви ежедневно принимал нетерпеливые запросы с Золотого острова: готова ли причальная мачта?

Электромагнитные волны, равнодушные к тому, что вызвало их из космического покоя, неслись в эфир, чтобы устремиться в радиоприемники и там, прохрипев в микрофоны бешеным голосом Гарина: «Если через неделю причал не будет готов, я пошлю дирижабль

и прикажу расстрелять вас, слышите, Волшин?» — прохрипев это, электромагнитные волны по проводам заземления возвращались в первоначальный покой.

В зимовище у подножия вулкана шла торопливая работа: очищали от порослей большую площадь, валили мачтовые сосны, ставили сужающуюся кверху двадцатипятиметровую башню на трех ногах, глубоко зарытых в землю.

Работали все, выбиваясь из сил, но больше всех суетился и волновался Манцев. Он отъелся за это время, немного окреп, но разум его, видимо, был тронут безумием. Бывали дни, когда он будто забывал обо всем, равнодушный, обхватив руками косматую голову, сидел на нарах. Или, отвязав козла Машку, говорил Ивану:

— Хочешь, я покажу тебе то, чего еще ни один человек никогда не видел.

Держа козла Машку за веревку (козел помогал ему взбираться на скалы), Манцев и за ним Иван начинали восхождение к кратеру вулкана.

Мачтовый лес кончился, выше — между каменными глыбами — рос корявый кустарник, еще выше — только черные камни, покрытые лишаями и кое-где снегом.

Края кратера поднимались отвесными зубцами, будто полуразрушенные стены гигантского цирка. Но Манцев знал здесь каждую щель и, кряхтя, часто присаживаясь, пробирался зигзагами с уступа на уступ. Все же только раз — в тихий солнечный день — им удалось взобраться на самый край кратера. Причудливые зубцы его окружали рыже-медное озеро застывшей лавы. Низкое солнце бросало от зубцов резкие тени на металлические лепешки лавы. Ближе к западной стороне на поверхности лавы возвышался конус, вершина его курилась беловатым дымом.

— Там,— сказал Манцев, указывая скрюченными пальцами на курящийся конус,— там — свищ или, если хочешь, бездна в недра земли, куда не заглядывал человек... Я бросал туда пироксилиновые шашки,— когда на дне вспыхивал разрыв, включал секундомер и высчитывал глубину по скорости прохождения звука. Я исследовал выходящие газы, набирал их в

стеклянную реторту, пропускал через нее свет электрической лампы и прошедшие через газ лучи разлагал на призме спектроскопа... В спектре вулканического газа я обнаружил линии сурьмы, ртути, золота и еще многих тяжелых металлов... Тебе понятно, Иван?

— Понятно, валяйте дальше...

— Думаю, что ты все-таки понимаешь больше, чем козел Машка... Однажды, во время особенно бурной деятельности вулкана, когда он плевал и харкал из чудовищно глубоких недр, мне удалось с опасностью для жизни набрать немного газу в реторту... Когда я спустился вниз, к становищу, вулкан начал швырять под облака пепел и камни величиной с бочку. Земля тряслась, будто спина проснувшегося чудовища. Не обращая внимания на эти мелочи, я кинулся в лабораторию и поставил газ под спектроскоп... Иван и ты, Машка, слушайте...

Глаза у Манцева блестели, беззубый рот кривился:

— Я обнаружил следы тяжелого металла, которого нет в таблице Менделеева. Через несколько часов в колбе началось его распадение,— колба начала светиться желтым светом, потом голубым и, наконец, пронзительно красным... Из предосторожности я отошел,— раздался взрыв, колба и половина моей лаборатории разлетелись к черту... Я назвал этот таинственный металл буквой *М,* так как мое имя начинается на *М* и имя этого козла тоже начинается на *М*. Честь открытия принадлежит нам обоим — козлу и мне... Ты понимаешь что-нибудь?

— Валяйте дальше, Николай Христофорович...

— Металл *М* находится в самых глубоких слоях Оливинового пояса. Он распадается и освобождает чудовищные запасы тепла... Я утверждаю дальше: ядро земли состоит из металла *М*. Но, так как средняя плотность ядра земли всего восемь единиц, приблизительно — плотность железа, а металл *М* вдвое тяжелее его, то, стало быть, в самом центре земли — пустота.

Манцев поднял палец и, поглядев на Ивана и на козла, дико рассмеялся.

— Идем заглянем...

Они, втроем, спустились со скалистого гребня на

металлическое озеро и, скользя по металлическим лепешкам, пошли к дымящемуся конусу. Сквозь трещины вырывался горячий воздух. Кое-где чернели под ногами дыры без дна.

— Машку надо оставить внизу,— сказал Манцев, щелкнув козла в нос, и полез вместе с Иваном на конус, цепляясь за осыпающийся горячий щебень.

— Ложись на живот и гляди.

Они легли на краю конуса, с той стороны, откуда относило клубы дыма, и опустили головы. Внутри конуса было углубление и посреди него — овальная дыра метров семи диаметром. Оттуда доносились тяжелые вздохи, отдаленный грохот, будто где-то, черт знает на какой глубине, перекатывались камни.

Присмотревшись, Иван различил красноватый свет, он шел из непостижимой глубины. Свет, то помрачаясь, то вспыхивая вновь, разгорался все ярче,— становился малиновым, пронзительным... Тяжелее вздыхала земля, грознее принимались грохотать каменья.

— Начинается прилив, надо уходить,— проговорил Манцев.— Этот свет идет из глубины семи тысяч метров. Там распадается металл *М*, там кипят и испаряются золото и ртуть...

Он схватил Ивана за кушак, потащил вниз. Конус дрожал, осыпался, плотные клубы дыма вырывались теперь, как пар из лопнувшего котла, ослепительно алый свет бил из бездны, окрашивая низкие облака...

Манцев схватил веревку от Машкиного ошейника.

— Бегом, бегом, ребята!.. Сейчас полетят камни...

Раздался тяжелый грохот, отдавшийся по всему скалистому амфитеатру,— вулкан выстрелил каменной глыбой... Манцев и Иван бежали, прикрыв головы руками, впереди скакал козел, волоча веревку...

96

Причальная мачта была готова. С Золотого острова сообщили, что дирижабль вылетел, несмотря на угрожающие показания барометра.

Все эти последние дни Артур вызывал Манцева на откровенный разговор об его замечательных открытиях. Усевшись на нары, подальше от рабочих, он вытащил фляжку со спиртом и подливал Манцеву в чай.

Рабочие лежали на полу на подстилках из хвои. Иногда кто-нибудь из них вставал и подбрасывал в очаг кедровое корневище. Огонь озарял прокопченные стены, усталые, обросшие бородами лица. Ветер бушевал над крышей.

Артур Леви старался говорить тихо, ласково, успокаивающе. Но Манцев, казалось, совсем сошел с ума...

— Слушайте, Артур Артурович, или как вас там... Бросьте хитрить. Мои бумаги, мои формулы, мои проекты глубокого буренья, мои дневники запаяны в жестяную коробку и спрятаны надежно... Я улечу, они останутся здесь,— их не получит никто, даже Гарин. Не отдам даже под пыткой...

— Успокойтесь, Николай Христофорович, вы же имеете дело с порядочными людьми.

— Я не настолько глуп. Гарину нужны мои формулы... А мне нужна моя жизнь... Я хочу каждый день мыться в душистой ванне, курить дорогой табак, пить хорошее вино... Я вставлю зубы и буду жевать трюфели... Я тоже хочу славы! Я ее заслужил!.. Черт вас всех возьми вместе с Гариным...

— Николай Христофорович, на Золотом острове вы будете обставлены по-царски...

— Бросьте. Я знаю Гарина... Он меня ненавидит, потому что весь Гарин выдуман мной... Без меня из него получился бы просто мелкий жулик... Вы повезете на дирижабле мой живой мозг, а не тетрадки с моими формулами.

Иван Гусев, наставив ухо, слушал обрывки этих разговоров. В ночь, когда была готова причальная мачта, он подполз по нарам к Манцеву, лежавшему с открытыми глазами, и зашептал в самое его ухо:

— Николай Христофорович, плюнь на них. Поедем лучше в Ленинград... Мы с Тарашкиным за вами, как за малым ребенком, будем ходить... Зубы вставим... Найдем хорошую жилплощадь,— чего вам связываться с буржуями...

— Нет, Ванька, я погибший человек, у меня слишком необузданные желания,— отвечал Манцев, глядя на потолок, откуда между бревен свешивались клочья закопченного мха.— Семь лет под этой проклятой крышей бушевала моя фантазия... Я не хочу ждать больше ни одного дня...

Иван Гусев давно понял, какова была эта «французская экспедиция»,— он внимательно слушал, наблюдал и делал свои выводы.

За Манцевым он теперь ходил, как привязанный, и эту последнюю ночь не спал: когда начинали слипаться глаза, он совал в нос птичье перо или щипал себя где больнее.

На рассвете Артур Леви, сердито надев полушубок, обмотав горло шарфом, пошел на радиостанцию — она помещалась рядом в землянке. Иван не спускал глаз с Манцева. Едва Артур Леви вышел, Манцев оглянулся,— все ли спят,— осторожно слез с нар, пробрался в темный угол зимовища, поднял голову. Но, должно быть, глаза его плохо видели,— он вернулся, подбросил в очаг смолья. Когда огонь разгорелся, опять пошел в угол.

Иван догадался, на что он смотрит,— в углу, там, где скрещивались балки сруба, в потолке чернела щель между балками наката,— мох был содран. Это и беспокоило Манцева... Поднявшись на цыпочки, он сорвал с низкого потолка космы черного мха и, кряхтя, заткнул ими щель.

Иван бросил перышко, которым щекотал нос, повернулся на бок, прикрылся с головой одеялом и сейчас же заснул.

. . . .

Снежная буря не утихала. Вторые сутки огромный дирижабль висел над поляной, пришвартованный носом к причальной мачте. Мачта гнулась и трещала. Сигарообразное тело раскачивалось, и снизу казалось, что в воздухе повисло днище железной баржи. Экипаж едва успевал очищать от снега его борта.

Капитан, перегнувшись с гондолы, кричал стоявшему внизу Артуру Леви:

— Алло! Артур Артурович, какого черта! Нужно сниматься... Люди выбились из сил.

Леви ответил сквозь зубы:

— Я еще раз говорил с островом. Мальчишку приказано привезти во что бы то ни стало.

— Мачта не выдержит...

Леви только пожал плечами. Дело было, конечно, не в мальчишке. Иван пропал этой ночью. О нем никто и не спохватился. Пришвартовывали дирижабль, появившийся на рассвете и долго кружившийся над поляной в снежных облаках. Выгружали продовольствие. (Рабочие экспедиции Артура Леви заявили, что, если не получат вдоволь продовольствия и наградных, распорют дирижаблю брюхо пироксилиновой шашкой.) Узнав, что мальчишка пропал, Артур Леви махнул рукой:

— Неважно.

Но дело обернулось гораздо серьезнее.

Манцев первый влез в гондолу воздушного корабля. Через минуту, чем-то обеспокоенный, спустился на землю по алюминиевой лесенке и заковылял к зимовищу. Сейчас же оттуда донесся его отчаянный вопль. Манцев, как бешеный, выскочил из облаков снега, размахивая руками:

— Где моя жестяная коробка? Кто взял мои бумаги?.. Ты, ты украл, подлец!

Он схватил Леви за воротник, затряс с такой силой,— у того слетела шапка...

Было ясно: бесценные формулы, то, за чем прилетел сюда дирижабль, унесены проклятым мальчишкой. Манцев обезумел:

— Мои бумаги! Мои формулы! Человеческий мозг не в силах снова создать это!.. Что я передам Гарину? Я все забыл!..

Леви немедленно снарядил погоню за мальчишкой. Люди заворчали. Все же несколько человек согласились. Манцев повел их в сторону Шайтан-камня. Леви остался у гондолы, грызя ногти. Прошло много времени. Двое из ушедших в погоню вернулись.

— Там такое крутит — шагу не ступить...

— Куда вы дели Манцева? — закричал Леви.

— Кто его знает... Отбился...

— Найдите Манцева. Найдите мальчишку... За того и другого по десяти тысяч золотом.

Тучи мрачнели. Надвигалась ночь. Ветер усиливался. Капитан опять начал грозиться — перерезать причал и улететь к черту.

Наконец со стороны Шайтан-камня показался высокий человек в забитой снегом дохе. Он нес на руках Ивана Гусева. Леви кинулся к нему, сорвав перчатку, залез мальчишке под шубенку. Иван будто спал, застывшие руки его плотно прижимали к груди небольшую жестяную коробку с драгоценными формулами Манцева.

— Живой, живой, только застыл маленько,— проговорил высокий человек, раздвигая широкой улыбкой набитую снегом бороду.— Отойдет. Наверх его, что ли?— И, не дожидаясь ответа, понес Ивана в гондолу.

— Ну, что? — крикнул сверху капитан.— Летим?

Артур Леви нерешительно взглянул на него.

— Вы готовы к отлету?

— Есть,— ответил капитан.

Леви еще раз обернулся в сторону Шайтан-камня, где сплошной завесой из помрачневших облаков летел, крутился снег. В конце концов главное — формулы были бы на борту.

— Летим! — сказал он, вскакивая на алюминиевую лесенку.— Ребята, отдавай концы...

Он отворил горбатую дверцу и влез в гондолу. Наверху причальной мачты начали перерезать пеньковый трос, удерживающий корабль. Застучали, стреляя, моторы. Закрутились винты.

В это время, гонимый метелью, из снежных вихрей выскочил Манцев. Ветер дыбом вздымал его волосы. Протянутые руки хватали улетающие очертания корабля...

— Стойте!.. Стойте!..— хрипло вскрикивал он. Когда алюминиевая лесенка гондолы поднялась уже на метр над землей, он схватился за нижнюю ступеньку. Несколько человек поймали его за доху, чтобы отодрать. Он отпихнул их ногами. Металлическое днище

корабля раскачивалось. Стреляли моторы. Сердито ревели винты. Корабль шел вверх — в крутящиеся снежные облака.

Манцев вцепился, как клещ, в нижнюю ступеньку. Его быстро поднимало... Снизу было видно, как растопыренные ноги его, развевающиеся полы дохи понеслись в небо.

Далеко ли он улетел, на какой высоте сорвался и упал,— этого уже не видели стоявшие внизу люди.

97

Перегнувшись через окно алюминиевой гондолы, мадам Ламоль глядела в бинокль. Дирижабль еле двигался, описывая круг в лучезарном небе. Под ним, на глубине тысячи метров, расстилался на необъятную ширину прозрачный сине-зеленый океан. В центре его лежал остров неправильной формы. Сверху он походил на очертания Африки в крошечном масштабе. С юга, востока и северо-востока, как брызги около него, темнели окаймленные пеной каменистые островки и мели. С запада океан был чист.

Здесь в глубоком заливе, невдалеке от прибрежной полосы песка, лежали грузовые корабли. Зоя насчитала их двадцать четыре,— они походили на жуков, спящих на воде.

Остров был прорезан ниточками дорог,— они сходились у северо-восточной скалистой части его, где сверкали стеклянные крыши. Это достраивался дворец, опускавшийся тремя террасами к волнам маленькой песчаной бухты.

С южной стороны острова виднелись сооружения, похожие сверху на путаницу детского меккано: фермы, крепления, решетчатые краны, рельсы, бегающие вагонетки. Крутились десятки ветряных двигателей. Попыхивали трубы электростанций и водокачек.

В центре этих сооружений чернело круглое отверстие шахты. От нее к берегу двигались широкие железные транспортеры, относящие вынутую породу, и дальше в море уходили червяками красные понтоны

землечерпалок. Облачко пара, не переставая, курилось над отверстием шахты.

День и ночь — в шесть смен — шли работы в шахте: Гарин пробивал гранитную броню земной коры. Дерзость этого человека граничила с безумием. Мадам Ламоль глядела на облачко над шахтой, бинокль дрожал в ее руке, золотистой от загара.

По низкому берегу залива тянулись правильными рядами крыши складов и жилых строений. Муравьиные фигурки людей двигались по дорогам. Катились автомобили и мотоциклы. В центре острова синело озеро, из него к югу вытекала извилистая речка. По ее берегам лежали полосы полей и огородов. Весь восточный склон зеленел изумрудным покровом,— здесь, за изгородями, паслись стада. На северо-востоке перед дворцом, среди скал, пестрели причудливые фигуры цветников и древесных насаждений.

Еще полгода тому назад здесь была пустыня — колючая трава да камни, серые от морской соли, да чахлый кустарник. Корабли выбросили на остров тысячи тонн химических удобрений, были вырыты артезианские колодцы, привезены растения, целые деревья.

С высоты гондолы Зоя глядела на заброшенный в океане клочок земли, пышный и сверкающий, омываемый снежной пеной прибоя, любовалась им, как женщина, держащая в руке драгоценность.

98

Было семь чудес на свете. Народная память донесла до нас только три: храм Дианы Эфесской [1], сады Семирамиды [2] и медного колосса [3] в Родосе. Об остальных воспоминание погружено на дно Атлантического океана.

[1] Знаменитый храм Дианы, древнегреческой богини охоты и луны, в городе Эфесе, сожженный в 356 году до нашего летосчисления.

[2] Семирамида — легендарная царица, будто бы основавшая Вавилон.

[3] Колосс Родосский — исполинская статуя Гелиоса, древнегреческого бога солнца, стоявшая у входа в гавань острова Родоса.

Восьмым чудом, как это ежедневно повторяла мадам Ламоль, нужно было считать шахту на Золотом острове. За ужином в только что отделанном зале дворца, с огромными окнами, раскрытыми дуновению океана, мадам Ламоль поднимала бокал:

— За чудо, за гений, за дерзость!

Все избранное общество острова вставало и приветствовало мадам Ламоль и Гарина. Все были охвачены лихорадкой работы и фантастическими замыслами. Пусть там, на материках, вопят о нарушении прав. Плевать. Здесь день и ночь гудит подземным гулом шахта, гремят черпаки элеваторов, забираясь все глубже, глубже к неисчерпаемым запасам золота. Сибирские россыпи, овраги Калифорнии, снежные пустыни Клондайка — чушь, кустарный промысел. Золото здесь под ногами, в любом месте, только прорвись сквозь граниты и кипящий оливин.

В дневниках несчастного Манцева Гарин нашел такую запись:

«В настоящее время, то есть когда закончился четвертый ледниковый период и с чрезвычайной быстротой начала развиваться одна из пород животных, лишенных волосяного покрова, способных передвигаться на задних конечностях и снабженных удачным устройством ротовой полости для произношения разнообразных звуков,— земной шар представляет следующую картину:

Верхний его покров состоит из застывших гранитов и диоритов, толщиной от пяти до двадцати пяти километров. Эта корка снаружи покрыта морскими отложениями и слоями погибшей растительности (уголь) и погибших животных (нефть). Кора лежит на второй оболочке земного шара,— из расплавленных металлов,— на Оливиновом поясе.

Расплавленный Оливиновый пояс местами, как, например, в некоторых районах Тихого океана, подходит близко к поверхности земли, до глубины пяти километров.

Толщина этой второй расплавленной оболочки достигает в настоящее время свыше ста километров и увеличивается на километр в каждые сто тысяч лет.

В расплавленном Оливиновом поясе нужно различать три слоя: ближайший к земной коре — это шлаки, лава, выбрасываемая вулканами; средний слой — оливин, железо, никель, то есть то, из чего состоят метеориты, падающие в виде звезд на землю в осенние ночи, и, наконец, третий — нижний слой — золото, платина, цирконий, свинец, ртуть.

Эти три слоя Оливинового пояса покоятся, как на подушке, на слое сгущенного, до жидкого состояния, газа гелия, получающегося как продукт атомного распада.

И, наконец, под оболочкой жидкого газа находится земное ядро. Оно твердое, металлическое, температура его около двухсот семидесяти трех градусов ниже нуля, то есть температуры мирового пространства.

Земное ядро состоит из тяжелых радиоактивных металлов. Нам известны два из них, находящиеся в конце таблицы Менделеева,— это уран и торий. Но они сами являются продуктом распада основного, неизвестного до сих пор в природе сверхтяжелого металла.

Я обнаружил его следы в вулканических газах. Это металл *М*. Он в одиннадцать раз тяжелее платины. Он обладает чудовищной силы радиоактивностью. Если один килограмм этого металла извлечь на поверхность земли,— все живое на несколько километров в окружности будет убито, все предметы, покрытые его эманацией [1], будут светиться.

Так как удельный вес земного ядра составляет всего восемь единиц (удельный вес железа), что всегда наводило на ошибочную мысль, будто ядро железное, и так как нельзя предположить, что металл *М* находится в ядре земли под давлением в миллион атмосфер, в пористом состоянии, то нужно сделать единственный вывод:

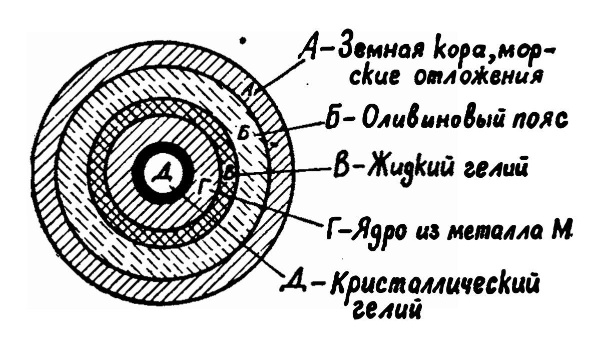
Ядро земли представляет пустотелый шар, или бомбу, из металла *М*, наполненную гелием, находящимся вследствие чудовищного давления в кристаллическом состоянии.

---

[1] Излучением.

В разрезе земной шар таков:

Металл *М*, составляющий ядро земли, непрерывно распадаясь и превращаясь в другие легкие металлы, освобождает чудовищное количество тепла. Ядро земли прогревается. Через несколько миллиардов лет земля должна прогреться насквозь, взорваться, как бомба, вспыхнуть, превратиться в газовый шар, диаметром с



орбиту, которую описывает луна вокруг земли, засиять, как маленькая звезда, и затем начать охлаждаться и снова сжиматься до размеров земного шара. Тогда снова возникнет на земле жизнь, через миллиарды лет появится человек, начнется стремительное развитие человечества, борьба за высшее социальное устройство мира.

Земля снова будет, не переставая, прогреваться атомным распадом, чтобы снова вспыхнуть маленькой звездой.

Это круговорот земной жизни. Их было бесчисленно много и бесчисленно много будет впереди. Смерти нет. Есть вечное обновление...»

Вот что прочел Гарин в дневнике Манцева.

99

Верхние края шахты были одеты стальной броней. Массивные цилиндры из тугоплавкой стали опускались в нее по мере ее углубления. Они доходили до того места, где температура в шахте поднималась до трехсот

градусов. Это случилось неожиданно, скачком, на глубине пяти километров от поверхности. Смена рабочих и два гиперболоида погибли на дне шахты.

Гарин был недоволен. Опускание и клепка цилиндров тормозили работу. Теперь, когда стены шахты были раскалены, их охлаждали сжатым воздухом, и они, застывая, сами образовывали мощную броню. Их распирали по диагоналям решетчатыми фермами.

Диаметр шахты был невелик — двадцать метров. Внутренность ее представляла сложную систему воздуходувных и отводных труб, креплений, сети проводов, дюралюминиевых колодцев, внутри которых двигались черпаки элеваторов, шкивов, площадок для элеваторной передачи и площадок, где стояли машины жидкого воздуха и гиперболоиды.

Все приводилось в движение электричеством: подъемные лифты, элеваторы, машины. С боков шахты пробивались пещеры для склада машин и отдыха рабочих. Чтобы разгрузить главную шахту, Гарин повел параллельно ей вторую в шесть метров диаметром,— она соединяла пещеры электрическими лифтами, двигающимися со скоростью пневматического ядра.

Важнейшая часть работ — бурение — происходила согласованным действием лучей гиперболоидов, охлаждения жидким воздухом и отчерпывания породы элеваторами. Двенадцать гиперболоидов особого устройства, берущих энергию от вольтовых дуг с углями из шамонита, пронизывали и расплавляли породу, струи жидкого воздуха мгновенно охлаждали ее, и она, распадаясь на мельчайшие частицы, попадала в черпаки элеваторов. Продукты горения и пары уносились вентиляторами.

100

Дворец с северо-восточной части Золотого острова был построен по фантастическим планам мадам Ламоль.

Это было огромное сооружение из стекла, стали, темно-красного камня и мрамора. В нем помещалось пятьсот зал и комнат. Главный фасад с двумя широкими

мраморными лестницами вырастал из моря. Волны разбивались о ступени и цоколи по сторонам лестниц, где вместо обычных статуй или ваз стояли четыре бронзовые решетчатые башенки, поддерживающие золоченые шары,— в них находились заряженные гиперболоиды, угрожающие подступам с океана.

Лестницы поднимались до открытой террасы,— с нее два глубоких входа, укрепленных квадратными колоннами, вели внутрь дома. Весь каменный фасад, слегка наклоненный, как на египетских постройках, скупо украшенный, с высокими, узкими окнами и плоской крышей, казался суровым и мрачным. Зато фасады, выходившие во внутренний двор, в цветники ползучих роз, вербены, орхидей, цветущей сирени, миндаля и лилиевых деревьев, были построены пышно, даже кокетливо.

Двое бронзовых ворот вели внутрь острова. Это был дом-крепость. Сбоку его на скале возвышалась на сто пятьдесят метров решетчатая башня, соединенная подземным ходом со спальней Гарина. На верхней площадке ее стояли мощные гиперболоиды. Бронированный лифт взлетал к ним от земли в несколько секунд. Всем, даже мадам Ламоль, было запрещено под страхом смерти подходить к основанию башни. Это был первый закон Золотого острова.

В левом крыле дома помещались комнаты мадам Ламоль, в правом — Гарина и Роллинга. Больше здесь никто не жил. Дом предназначался для того времени, когда величайшим счастьем для смертного будет получить приглашение на Золотой остров и увидеть ослепительное лицо властительницы мира.

Мадам Ламоль готовилась к этой роли. Дела у нее было по горло. Создавался этикет утреннего вставания, выходов, малых и больших приемов, обедов, ужинов, маскарадов и развлечений. Широко развернулся ее актерский темперамент. Она любила повторять, что рождена для мировой сцены. Хранителем этикета был намечен знаменитый балетный постановщик — русский эмигрант. С ним заключили контракт в Европе, пожаловали золотой, с бриллиантами на белой ленте, орден «Божественной Зои» и возвели в древнерусское звание постельничего (Chevalier de lit).

Кроме этих внутренних — дворцовых — законов, ею создавались, совместно с Гариным, «Заповеди Золотого века» — законы будущего человечества. Но это были скорее общие проекты и основные идеи, подлежащие впоследствии обработке юристов. Гарин был бешено занят,— ей приходилось выкраивать время. День и ночь в ее кабинете дежурили две стенографистки.

Гарин приходил прямо из шахты, измученный, грязный, пропахший землей и машинным маслом. Он торопливо ел, валился с ногами на атласный диван и закутывался дымом трубки (он был объявлен выше этикета, его привычки — священны и вне подражания). Зоя ходила по ковру, перебирая в худых пальцах огромные жемчужины ожерелья, и вызывала Гарина на беседу. Ему нужно было несколько минут мертвого покоя, чтобы мозг снова мог начать лихорадочную работу. В своих планах он не был ни зол, ни добр, ни жесток, ни милосерд. Его забавляло только остроумие в разрешении вопроса. Эта «прохладность» возмущала Зою. Большие ее глаза темнели, по нервной спине пробегала дрожь, низким, ненавидящим голосом она говорила (по-русски, чтобы не поняли стенографистки):

— Вы фат. Вы страшный человек, Гарин. Я понимаю, как можно хотеть содрать с вас с живого кожу,— посмотреть, как вы в первый раз в жизни станете мучиться. Неужели вы никого не ненавидите, никого не любите?

— Кроме вас,— скаля зубы, отвечал Гарин,— но ваша головка набита сумасшедшим вздором... А у меня считаны секунды. Я подожду, когда ваше честолюбие насытится до отвала. Но вы все же правы в одном, любовь моя: я слишком академичен. Идеи, не насыщенные влагой жизни, рассеиваются в пространстве. Влага жизни — это страсть. У вас ее переизбыток.

Он покосился на Зою,— она стояла перед ним, бледная, неподвижная.

— Страсть и кровь. Старый рецепт. Только зачем же именно с меня драть кожу? Можно с кого-нибудь другого. А вам, видимо, очень нужно для здоровья омочить платочек в этой жидкости.

— Я многого не могу простить людям.

— Например, коротеньких молодчиков с волосатыми пальцами?

— Да. Зачем вы вспоминаете об этом?

— Не можете простить самой себе... За пятьсот франков небось вызывали вас по телефону. Было. Чулочки шелковые штопали поспешно, откусывали нитки вот этими божественными зубками, когда торопились в ресторан. А бессонные ночки, когда в сумочке — два су, и ужас, что будет завтра, и ужас — пасть еще ниже... А собачий нос Роллинга — чего-нибудь да стоит.

С длинной усмешкой глядя ему в глаза, Зоя сказала:

— Этого разговора я тоже не забуду до смерти...

— Боже мой, только что вы меня упрекали в академичности...

— Будет моя власть, повешу вас на башне гиперболоида...

Гарин быстро поднялся, схватил Зою за локти, силой привлек к себе на колени и целовал ее закинутое лицо, стиснутые губы. Обе стенографистки, светловолосые, завитые, равнодушные, как куклы, отвернулись.

— Глупая, смешная женщина, пойми,— такой только тебя люблю... Единственное существо на земле... Если бы ты двадцать раз не умирала во вшивых вагонах, если бы тебя не покупали как девку,— разве бы ты постигла всю остроту дерзости человеческой... Разве бы ты ходила по коврам такой повелительницей... Разве бы я положил к твоим ногам самого себя...

Зоя молча освободилась, движением плеч оправила платье, отошла на середину комнаты и оттуда все еще дико глядела на Гарина. Он сказал:

— Итак, на чем же мы остановились?

Стенографистки записывали мысли. За ночь отпечатывали их и подавали поутру в постель мадам Ламоль.

Для экспертизы по некоторым вопросам приглашали Роллинга. Он жил в великолепных, не совсем еще законченных апартаментах. Выходил из них только к столу. Его воля и гордость были сломлены. Он сильно сдал за эти полгода. Гарина он боялся. С Зоей избегал оставаться с глазу на глаз. Никто не знал (и не интересовался), что он делает целыми днями. Книг он отроду не читал. Записок, кажется, не вел. Говорили, что будто бы

он пристрастился коллекционировать курительные трубки. Однажды вечером Зоя видела из окна, как на предпоследней ступени мраморной лестницы у воды сидел Роллинг и, пригорюнясь, глядел на океан, откуда сто миллионов лет тому назад вышел его предок в виде человекообразной ящерицы. Это было все, что осталось от великого химического короля.

Ни потеря трехсот миллионов долларов, ни плен на Золотом острове, ни даже измена Зои не сломили бы его. Двадцать пять лет тому назад он торговал ваксой на улице. Он умел, он любил бороться. Сколько приложено было усилий, таланта и воли, чтобы заставить людей платить ему, Роллингу, золотые кружочки. Европейская война, разорение Европы — вот какие силы были подняты для того, чтобы золото потекло в кассы «Анилин Роллинг».

И вдруг это золото, эквивалент силы и счастья, будут черпать из шахты, как глину, как грязь, элеваторными черпаками в *любом количестве.* Вот тут-то подошвы Роллинга повисли в пустоте, он перестал ощущать себя царем природы — «гомо сапиенсом». Оставалось только — коллекционировать трубки.

Но он все еще, по настоянию Гарина, ежедневно диктовал по радио свою волю директорам «Анилин Роллинг». Ответы их были неопределенны. Становилось ясным, что директора не верят в добровольное уединение Роллинга на Золотом острове. Его спрашивали:

«Что предпринять для вашего возвращения на континент?»

Роллинг отвечал:

«Курс нервного лечения проходит благоприятно».

По его приказу были получены еще пять миллионов фунтов стерлингов. Когда же через две недели он вновь приказал выдать такую же сумму, агенты Гарина, предъявившие чек Роллинга, были арестованы. Это было первым сигналом атаки континента на Золотой остров. Флот из восьми линейных судов, крейсировавший в Тихом океане, близ двадцать второго градуса южной широты и сто тридцатого градуса западной долготы, ожидал только боевого приказа атаковать остров Негодяев.

101

Шесть тысяч рабочих и служащих Золотого острова были набраны со всех концов света. Первый помощник Гарина, инженер Чермак, носивший звание губернатора, разместил рабочую силу по национальностям на пятнадцати участках, отгороженных друг от друга колючей проволокой.

На каждом участке были построены бараки и молельни по возможности в национальном вкусе. Консервы, бисквиты, мармелад, бочонки с капустой, рисом, маринованными медузами, сельдями, сосисками, и прочее, и прочее заказывались (американским заводам) также с национальными этикетками.

Два раза в месяц выдавалась прозодежда, выдержанная в национальном духе, и раз в полгода — праздничные национальные костюмы: славянам — поддевки и свитки, китайцам — сырцовые кофты, немцам — сюртуки и цилиндры, итальянцам — шелковое белье и лакированные ботинки, неграм — набедренники, украшенные крокодильими зубами и бусами, и т. д.

Чтобы оправдать в глазах населения эти колючие границы, инженер Чермак организовал штат провокаторов. Их было пятнадцать человек. Они раздували национальную вражду: в будни умеренно, по праздникам вплоть до кулачной потасовки.

Полиция острова из бывших врангелевских офицеров, носивших мундир ордена Зои — белого сукна короткую куртку с золотым шитьем и канареечные штаны в обтяжку,— поддерживала порядок, не допуская национальности до взаимного истребления.

Рабочие получали огромное в сравнении с континентом жалование. Иные посылали его на родину с ближайшим пароходом, иные сдавали на хранение. Расходовать было негде, так как только по праздникам в уединенном ущелье на юго-восточном берегу острова бывали открыты кабаки и Луна-парк. Там же функционировали пятнадцать домов терпимости, выдержанные также в национальном вкусе.

Рабочим было известно, для какой цели пробивается в глубь земли гигантская шахта. Гарин объявил всем,

что при расчете он разрешит каждому взять с собой столько золота, сколько можно унести на спине. И не было человека на острове, кто бы без волнения не смотрел на стальные ленты, уносящие породу из земных недр в океан, кого бы не опьянял желтоватый дымок над жерлом шахты.

. . . .

102

— Господа, наступил наиболее тревожный момент в нашей работе. Я ждал его и приготовился, но это, разумеется, не уменьшает опасности. Мы блокированы. Только что получено радио: два наших корабля, груженные фигурным железом для крепления шахты, консервами и мороженой бараниной, захвачены американским крейсером и объявлены призом. Это значит — война началась. С часу на час нужно ждать ее официального объявления. Одна из ближайших моих целей — война. Но она начинается раньше, чем мне нужно. На континенте слишком нервничают. Я предвижу их план: они боятся нас, они будут стараться уморить нас голодом. Справка: продовольствия на острове хватит на две недели, не считая живого скота. В эти четырнадцать дней мы должны будем прорвать блокаду и подвезти консервы. Задача трудная, но выполнимая. Кроме того, мои агенты, предъявившие чеки Роллинга, арестованы. Денег у нас в кассе нет. Триста пятьдесят миллионов долларов израсходованы до последнего цента. Через неделю мы должны платить жалованье, и, если расплатимся чеками, рабочие взбунтуются и остановят гиперболоид. Стало быть, в продолжение семи дней мы обязаны достать деньги.

Заседание происходило в сумерки в еще не оконченном кабинете Гарина. Присутствовали Чермак, инженер Шефер, Зоя, Шельга и Роллинг. Гарин, как всегда в минуты опасности и умственного напряжения, разговаривал, с усмешечкой покачиваясь на каблуках, засунув руки в карманы. Зоя председательствовала, держа в руке молоточек. Чермак, маленький, нервный, с воспаленными глазами, покашляв, сказал:

— Второй закон Золотого острова гласит: никто не должен пытаться проникнуть в тайну конструкции гиперболоида. Всякий, прикоснувшийся хотя бы к верхнему кожуху гиперболоида, подлежит смертной казни.

— Так,— подтвердил Гарин,— таков закон.

— Для успешного завершения указанных вами предприятий понадобится по крайней мере одновременная работа трех гиперболоидов: один для добычи денег, другой для прорыва блокады, третий для обороны острова. Вам придется сделать исключение из закона для двух помощников.

Наступило молчание. Мужчины следили за дымом сигар. Роллинг сосредоточенно нюхал трубку. Зоя повернула голову к Гарину. Он сказал:

— Хорошо. (Легкомысленный жест.) Опубликуйте. Исключение из второго закона делается для двух людей на острове: для мадам Ламоль и...

Он весело перегнулся через стол и хлопнул Шельгу по плечу:

— Ему, Шельге, второму человеку доверяю тайну аппарата...

— Ошиблись, товарищ,— ответил Шельга, снимая с плеча руку,— отказываюсь.

— Основание?

— Не обязан объяснять. Подумайте,— сами догадаетесь.

— Я поручаю вам уничтожить американский флот.

— Дело милое, что и говорить. Не могу.

— Почему, черт возьми?

— Как почему?.. Потому что путь скользкий...

— Смотрите, Шельга...

— Смотрю...

У Гарина торчком встала бородка, блеснули зубы. Он сдержался. Спросил тихо:

— Вы что-нибудь задумали?

— Моя линия, Петр Петрович, открытая. Я ничего не скрываю.

Короткий этот разговор был веден по-русски. Никто, кроме Зои, его не понял. Шельга снова принялся чертить завитушки на бумаге. Гарин сказал:

— Итак, помощником при гиперболоидах назначаю одного человека — мадам Ламоль. Если вы согласны, сударыня,— «Аризона» стоит под парами,— утром вы выходите в океан...

— Что я должна делать в океане? — спросила Зоя.

— Грабить все суда, которые попадутся на линиях Транспасифик. Через неделю мы должны заплатить рабочим.

103

В двадцать третьем часу с флагманского линейного корабля эскадры североамериканского флота было замечено постороннее тело над созвездием Южного Креста.

Голубоватые, как хвосты кометы, лучи прожекторов, омахивающие звездный небосвод, заметались и уперлись в постороннее тело. Оно засветилось. Сотни подзорных труб рассмотрели металлическую гондолу, прозрачные круги винтов и на борту дирижабля буквы П. и Г.

Защелкали огненные сигналы на судах. С флагманского корабля снялись четыре гидроплана и, рыча, стали круто забирать к звездам. Эскадра, увеличивая скорость, шла в кильватерном строе.

Гул самолетов становился все прозрачнее, все слабее. И вдруг воздушный корабль, к которому взвивались они, исчез из поля зрения. Много подзорных труб было протерто носовыми платками. Корабль пропал в ночном небе, сколько ни щупали прожекторы.

Но вот слабо донеслось туканье пулемета: нащупали. Туканье оборвалось. В небе, перевертываясь, понеслась отвесно вниз блестящая мушка. Смотревшие в трубы ахнули,— это падал гидроплан и где-то рухнул в черные волны. Что случилось?

И снова,— так-так-так-так,— застучали в небе пулеметы, и так же оборвался их стук, и, один за другим, все три самолета пролетели сквозь лучи прожекторов, кубарем, штопорами бухнулись в океан. Заплясали огненные сигналы с флагманского судна. Замигали до самого горизонта огни: что случилось?

Потом все увидели совсем близко бегущее против ветра — поперек кильватерной линии — черное рваное облако. Это снижался воздушный корабль, окутанный дымовой завесой. На флагмане дали сигнал: «Берегись, газ. Берегись, газ». Рявкнули зенитные орудия. И сейчас же на палубу, на мостики, на бронебойные башни упали, разорвались газовые бомбы.

Первым погиб адмирал, двадцативосьмилетний красавец, из гордости не надевший маски: схватился за горло и опрокинулся со вздутым, посиневшим лицом. В несколько секунд отравлены были все, кто находился на палубе,— противогазы оказались малодейстивительны. Флагманский корабль был атакован неизвестным газом.

Командование перешло к вице-адмиралу. Крейсера легли на правый галс и открыли зенитный огонь. Три залпа потрясли ночь. Три зарницы, вырвавшись из орудий, окровавили океан. Три роя стальных дьяволов, визжа слепыми головками, пронеслись черт знает куда и, лопнув, озарили звездное небо.

Вслед за залпами с крейсеров снялись шесть гидропланов,— все экипажи в масках. Было очевидно, что первые четыре аппарата погибли, налетев на отравленную дымовую завесу воздушного корабля. Вопрос теперь касался чести американского флота. На судах погасли огни. Остались только звезды. В темноте слышно было, как бились волны о стальные борта да пели в вышине самолеты.

Наконец-то!.. Так-так-так-так — из серебристого тумана Млечного Пути долетело таканье пулеметов... Затем — будто там откупоривали бутылки. Это началась атака гранатами. В зените засветилось буро-черным светом клубящееся облачко: из него выскользнула, наклонив тупой нос, металлическая сигара. По верхнему гребню ее плясали огненные язычки. Она неслась наклонно вниз, оставляя за собой светящийся хвост, и, вся охваченная пламенем, упала за горизонтом.

Через полчаса один из гидропланов донес, что снизился около горевшего дирижабля и расстрелял из пулемета все, что на нем и около него оставалось живого.

Победа дорого обошлась американской эскадре: по-

гибли четыре самолета со всем экипажем. Отравлено газами насмерть двадцать восемь офицеров, в том числе адмирал эскадры, и сто тридцать два матроса. Обиднее всего при таких потерях было то, что великолепные линейные крейсера с могучей артиллерией оказались на положении бескрылых пингвинов: противник бил их сверху каким-то неизвестным газом, как хотел. Необходимо было взять реванш, показать действительную мощь морской артиллерии.

В этом духе контр-адмирал в ту же ночь послал в Вашингтон донесение о всех происшествиях морского боя. Он настаивал на бомбардировке острова Негодяев.

Ответ морского министра пришел через сутки: идти к указанному острову и сравнять его с волнами океана.

104

— Ну, что? — вызывающе спросил Гарин, кладя на письменный стол наушники радиоприемника. (Заседание происходило в том же составе, кроме мадам Ламоль.) — Ну, что, милостивые государи?.. Могу поздравить... Блокады больше не существует... Американскому флоту отдан приказ о бомбардировке острова.

Роллинг сотрясся, поднялся с кресла, трубка вывалилась у него изо рта, лиловые губы искривились, точно он хотел и не мог произнести какое-то слово.

— Что с вами, старина? — спросил Гарин.— Вас так волнует приближение родного флота? Не терпится повесить меня на мачте? Или струсили бомбардировки?.. Глупо вам, разумеется, разлететься на мокрые кусочки от американского снаряда. Или совесть, черт возьми, у вас зашевелилась... Ведь как-никак воюем на ваши денежки.

Гарин коротко засмеялся, отвернулся от старика. Роллинг, так и не сказав ничего, опустился на место, прикрыл землистое лицо дрожащими руками.

— Нет, господа... Без риска можно наживать только три цента на доллар. Мы идем сейчас на огромный риск. Наш разведочный дирижабль отлично выполнил задачу... Прошу почтить вставанием двенадцать погиб-

них, в том числе командира дирижабля Александра Ивановича Волшина. Дирижабль успел протелефонировать подробно состав эскадры. Восемь линейных крейсеров новейшего типа, вооруженных четырьмя броневыми башнями, по три орудия в каждой. После боя у них должно остаться не менее двенадцати гидропланов. Кроме того, легкие крейсера, эсминцы и подводные лодки. Если считать удар каждого снаряда в семьдесят пять миллионов килограммов живой силы, залп всей эскадры по острову, в круглых цифрах, будет равен миллиарду килограммов живой силы.

— Тем лучше, тем лучше,— прошептал, наконец, Роллинг.

— Перестаньте хныкать, дедуля, стыдно... Я и забыл, господа,— мы должны поблагодарить мистера Роллинга за любезно предоставленное нам новейшее и пока еще секретнейшее изобретение: газ, под названием «Черный крест». Посредством его наши пилоты опрокинули в воду четыре гидроплана и вывели из строя флагманский корабль...

— Нет, я не предоставлял вам любезно «Черный крест», мистер Гарин! — хрипло крикнул Роллинг.— Под дулом револьвера вы у меня вырвали приказание послать на остров баллоны с «Черным крестом».

Он задохнулся и, шатаясь, вышел. Гарин стал развивать план защиты острова. Нападения эскадры нужно было ожидать на третьи сутки.

105

«Аризона» подняла пиратский флаг.

Это совсем не означало, что на ней взвилось черное с черепом и берцовыми костями романтическое знамя морских разбойников. Теперь разве только на бутылочках с сулемой изображались подобные ужасы.

Флага, собственно, на «Аризоне» не было поднято никакого. Две решетчатые башни с гиперболоидами слишком отличали ее профиль от всех судов на свете. Командовал судном Янсен, подчиненный мадам Ламоль.

Великолепное помещение Зои — спальня, ванная, туалетная, салон — заперто было на ключ. Зоя помещалась наверху, в капитанской рубке, вместе с Янсеном. Прежняя роскошь — синие шелковые тенты, ковры, подушки, кресла — все было убрано. Команда, взятая еще в Марселе, была вооружена кольтами и короткими винтовками. Команде объявлена цель выхода в море и призы с каждого захваченного судна.

Все свободное помещение на яхте было заполнено бидонами с бензином и пресной водой. При боковом ветре, под всеми парусами, с полной нагрузкой изумительных моторов рольс-ройс, «Аризона» летела, как альбатрос,— с гребня на гребень по взволнованному океану.

106

— Ветер подходит к семи баллам, капитан.

— Убрать марселя.

— Есть, капитан.

— Сменять каждый час вахты. Дозорного в бочку на грот.

— Есть, капитан.

— Будут замечены огни,— немедленно будить меня.

Янсен прищурился на непроглядную пустыню океана. Луна еще не всходила. Звезды были затянуты пеленой. За все эти пять суток пути на северо-запад у него не проходило ощущение восторженной легкой дрожи во всем теле. Что ж — пиратством жили прадеды. Он кивком простился с помощником и вошел в каюту.

Когда он вошел, мускулы его тела испытали знакомое сотрясение, обессиливающую отраву. Он неподвижно стоял под матовым полушарием потолочной лампы. Низкая комфортабельная, отделанная кожей и лакированным деревом капитанская каюта — строгое жилище одинокого моряка — была насыщена присутствием молодой женщины.

Прежде всего здесь пахло духами. Тысяча дьяволов... Предводительница пиратов душилась так, что у мертвого бы заходила селезенка. На спинку стула

небрежно кинула фланелевую юбку и золотистый свитер. На пол, прямо на коврик, сброшены чулки вместе с подвязками,— один чулок как будто еще хранил форму ноги.

Мадам Ламоль спала на его койке. (Янсен все эти пять дней, не раздеваясь, ложился на кожаный диванчик.) Она лежала на боку. Губы ее были приоткрыты. Лицо, осмугленное морским ветром, казалось спокойным, невинным. Голая рука закинута за голову. Пиратка!

Тяжелым испытанием было для Янсена это воинственное решение мадам Ламоль поселиться вместе с ним в капитанской каюте. С боевой точки зрения — правильно. Шли на разбой, быть может,— на смерть. Во всяком случае, если бы их поймали, обоих повесили бы рядом на мачте. Это его не смущало, это его даже вдохновляло. Он был подданным мадам Ламоль, королевы Золотого острова. Он любил ее.

Сколько там ни объясняй, любовь — темная история. Янсен видывал и девчонок из портовых кабаков и великолепных леди на пароходах, от скуки и любопытства падавших в его морские объятия. Иных он забыл, как пустую страницу пустой книжонки, иных приятно было вспоминать в часы спокойной вахты, похаживая на мостике под теплыми звездами.

Так и в Неаполе, когда Янсен дожидался в курительной звонка мадам Ламоль, было еще что-то похожее на его прежние похождения. Но то, что должно было случиться тогда — после ужина и танцев, не случилось. Прошло полгода, и Янсену теперь дико было даже вспоминать,— неужели вот этой рукой он когда-то в здравой памяти держал спину танцующей мадам Ламоль? Неужели какие-то несколько минут, половина выкуренной папиросы, отделяли его от немыслимого счастья. Теперь, услышав с другого конца яхты ее голос, он медленно вздрагивал, точно в нем разражалась тихая гроза. Когда он видел на палубе в плетеном кресле королеву Золотого острова, с глазами, блуждающими по краю неба и воды, у него где-то — за границами разумного — все пело и тосковало от преданности, от влюбленности.

Может быть, причиной всему были викинги, морские разбойники, предки Янсена,— те, которые плавали далеко от родной земли по морям в красных ладьях с поднятой кормой и носом в виде петушиного гребня, с повешенными по бортам щитами, с прямым парусом на ясеневой мачте. У такой мачты Янсен-пращур и пел о синих волнах, о грозовых тучах, о светловолосой деве, о той далекой, что ждет у берега моря и глядит вдаль,— проходят годы, и глаза ее как синее море, как грозовые тучи. Вот из какой давности налетала мечтательность на бедного Янсена.

Стоя в каюте, пахнущей кожей и духами, он с отчаянием и восторгом глядел на милое лицо, на свою любовь. Он боялся, что она проснется. Неслышно подошел к дивану, лег. Закрыл глаза. Шумели волны за бортом. Шумел океан. Пращур пел давнюю песню о прекрасной деве. Янсен закинул руки за голову, и сон и счастье прикрыли его.

107

— Капитан!.. (Стук в дверь.) Капитан!

— Янсен! — Встревоженный голос мадам Ламоль иглой прошел через мозг. Капитан Янсен вскочил,— вынырнул с одичавшими глазами из сновидений. Мадам Ламоль торопливо натягивала чулки. Рубашка ее спустилась, оголив плечо.

— Тревога,— сказала мадам Ламоль,— а вы спите...

В дверь опять стукнули, и — голос помощника:

— Капитан, огни с левого борта.

Янсен растворил дверь. Сырой ветер рванулся ему в легкие. Он закашлялся, вышел на мостик. Ночь была непроглядная. С левого борта, вдали, над волнами покачивались два огня.

Не сводя глаз с огней, Янсен пошарил на груди свисток. Свистнул. Ответили боцмана. Янсен скомандовал отчетливо:

— Аврал! Свистать всех наверх! Убрать паруса!

Раздались свистки, крики команды. С бака, с юта повысыпали матросы. Они, как кошки, полезли на мачты, закачались на реях. Заскрипели блоки. Задрав голову, боцман проклял все святое, что есть на свете. Паруса упали. Янсен командовал:

— Право руля! Вперед — полный! Гаси огни!

Идя теперь на одних моторах, «Аризона» сделала крутой поворот. С правого борта взвился гребень волны и покатился по палубе. Огни погасли. В полной темноте корпус яхты задрожал, развивая предельную скорость.

Замеченные огни быстро вырастали из-за горизонта. Скоро темным очертанием показалось сильно дымившее судно — двухтрубный пакетбот.

Мадам Ламоль вышла на капитанский мостик. На голову она надвинула вязаный колпачок с помпончиком, на шее — мохнатый шарф, вьющийся за спиной. Янсен подал ей бинокль. Она поднесла его к глазам, но так как сильно качало, пришлось положить руку с биноклем на плечо Янсену. Он слушал, как бьется ее сердце под теплым свитром.

— Нападем! — сказала она и близко, твердо посмотрела ему в глаза.

Метрах в пятистах «Аризона» была замечена с пакетбота. На нем со штурвального мостика замахали фонарем, затем низко завыла сирена. «Аризона» без огней, не отвечая на сигналы, мчалась под прямым углом к освещенному кораблю. Он замедлил ход, начал поворачивать, стараясь избежать столкновения...

. . . .

Вот как описывал неделю спустя корреспондент «Нью-Йорк-Геральд» это неслыханное дело:

«...Было без четверти пять, когда нас разбудил тревожный рев сирены. Пассажиры высыпали на палубу. После света кают ночь казалась похожей на чернила. Мы заметили тревогу на капитанском мостике и шарили биноклями в темноте. Никто толком не знал, что случилось. Наше судно замедлило ход. И вдруг мы увидели э т о... на нас мчался какой-то невиданный корабль. Узкий и длинный, с тремя высокими мачтами, похожий очертаниями на быстроходный клипер,

на корме и носу его возвышались странные решетчатые башни. Кто-то в шутку крикнул, что это — «Летучий голландец»... На минуту всех охватила паника. В ста метрах от нас таинственный корабль остановился, и резкий голос оттуда прокричал в мегафон по-английски:

«Остановить машины. Погасить топки».

Наш капитан ответил:

«Раньше чем исполнить приказание, нужно знать, кто приказывает».

С корабля крикнули:

«Приказывает королева Золотого острова».

Мы были ошеломлены,— что это — шутка? Новая наглость Пьера Гарри?

Капитан ответил:

«Предлагаю королеве свободную каюту и сытный завтрак, если она голодна».

Это были слова из фокстрота «Бедный Гарри». На палубе раздался дружный хохот. И сейчас же на таинственном корабле, на носовой башне, появился луч. Он был тонок, как вязальная игла, ослепительно белый, и шел из купола башни, не расширяясь. Никому в ту минуту не приходило в голову, что перед нами самое страшное оружие, когда-либо выдуманное человечеством. Мы были весело настроены.

Луч описал петлю в воздухе и упал на носовую часть нашего пакетбота. Послышалось ужасающее шипение, вспыхнуло зеленоватое пламя разрезаемой стали. Дико закричал матрос, стоявший на юте. Носовая надводная часть пакетбота обрушилась в море. Луч поднялся, задрожал в вышине и, снова опустившись, прошел параллельно над нами. С грохотом на палубу повалились верхушки обеих мачт. В панике пассажиры кинулись к трапам. Капитан был ранен обломком.

Остальное известно. Пираты подъехали на шлюпке, вооруженные короткими карабинами, поднялись на борт пакетбота и потребовали денег. Они взяли десять миллионов долларов,— все, что находилось в почтовых переводах и в карманах у пассажиров.

Когда шлюпка с награбленным вернулась к пират-

скому кораблю, на нем ярко осветилась палуба. Мы видели, как с решетчатой башни спустилась высокая худощавая женщина в вязаном колпачке, стремительно взошла на капитанский мостик и приложила ко рту мегафон. Откинувшись, она крикнула нам:

«Можете свободно продолжать путь».

Пиратский корабль сделал поворот и с необычайной быстротой скрылся за горизонтом».

108

События последних дней — нападение на американскую эскадру дирижабля «П. Г.» и приказ по флоту о бомбардировке — взбудоражили все население Золотого острова.

В контору посыпались заявления о расчете. Из сберегательной кассы брали вклады. Рабочие совещались за проволоками, не обращая внимания на желто-белых гвардейцев, с мрачными и решительными лицами шагавших по полицейским тропинкам. Поселок был похож на потревоженный улей. Напрасно завывали медные трубы и бухали турецкие барабаны в овраге перед публичными домами. Луна-парк и бары были пусты. Напрасно пятнадцать провокаторов прилагали нечеловеческие усилия, чтобы разрядить дурное настроение в национальную потасовку. Никто никому в эти дни не хотел сворачивать скул за то только, что он живет за другой проволокой.

Инженер Чермак расклеил по острову правительственное сообщение. Объявлялось военное положение, запрещались сборища и митинги, до особого распоряжения никто не имел права требовать расчета. Население предостерегалось от критики правительства. Работы в шахте должны продолжаться без перебоя день и ночь. «Тех, кто грудью поддержит в эти дни Гарина,— говорилось в сообщении,— тех ожидает сказочное богатство. Малодушных мы сами вышвырнем с острова. Помните, мы боремся против тех, кто мешает нам разбогатеть».

Несмотря на решительный дух этого сообщения,

утром, накануне дня, в который ожидалось нападение флота, шахтовые рабочие заявили, что они остановят гиперболоиды и машины жидкого воздуха, если сегодня до полудня не будет выплачено жалованье (это был день получки) и до полудня же не будет послано американскому правительству заявление о миролюбии и о прекращении всяких военных действий.

Остановить машины жидкого воздуха — значило взорвать шахту, быть может вызвать извержение расплавленной магмы. Угроза была сильна. Инженер Чермак сгоряча пригрозил расстрелом. У шахты стали сосредоточиваться беложелтые. Тогда сто человек рабочих спустились в шахту, в боковые пещеры и по телефону сообщили в контору:

«Нам не оставляют иного выхода, кроме смерти, к четырем часам взрываемся вместе с островом».

Все же это была отсрочка на четыре часа. Инженер Чермак убрал из района шахты гвардию и на мотоциклетке помчался во дворец. Он застал за беседой Гарина и Шельгу. Обоих — красных и встрепанных. Гарин вскочил, как бешеный, увидев Чермака.

— У кого вы учились административной глупости?

— Но...

— Молчать... Вы отставлены. Отправляйтесь в лабораторию, к черту или куда хотите... Вы — осел...

Гарин распахнул дверь и вытолкнул Чермака. Вернулся к столу, на углу которого сидел Шельга с сигарой в зубах.

— Шельга, настал час, я его предвидел,— один вы можете овладеть движением, спасти дело... То, что началось на острове, опаснее десяти американских флотов.

— Н-да,— сказал Шельга,— давно бы пора понять...

— К черту с вашей политграмотой... Я назначаю вас губернатором острова с чрезвычайными полномочиями... Попробуйте отказаться,— торопливо забирая на самые верхи, закричал Гарин, кинулся к столу, вытащил револьвер.— Коротко: если нет — я стреляю... Да или нет?

— Нет,— сказал Шельга, косясь на револьвер.

Гарин выстрелил. Шельга поднес руку, державшую сигару, к виску:

— Дермо собачье, сволочь...

— Ага, значит, согласны?

— Положите эту штуку.

— Хорошо. (Гарин швырнул револьвер в ящик.)

— Что вам нужно? Чтобы рабочие не взорвали шахты? Ладно. Не взорвут. Но — условие...

— Заранее согласен.

— Как я был частным лицом на острове, так я и остаюсь. Я вам не слуга и не наемник. Это первое. Все национальные границы сегодня же уничтожить, чтобы ни одной проволоки. Это второе...

— Согласен.

— Шайку ваших провокаторов...

— У меня нет провокаторов,— быстро сказал Гарин.

— Врете...

— Ладно,— вру. Что с ними? Утопить?

— Сегодня же ночью.

— Сделано. Считайте их утопленными. (Гарин быстро помечал карандашом на блокноте.)

— Последнее,— сказал Шельга,— полное невмешательство в мои отношения с рабочими.

— Ой ли? (Шельга сморщился, стал слезать со стола. Гарин схватил его за руку.) Согласен. Придет время,— я вам все равно обломаю бока. Что еще?

Шельга, сощурясь, раскуривал сигару, так что за дымом не стало видно его лукавого обветренного лица с короткими светлыми усиками, с приподнятым носом. В это время зазвонил телефон. Гарин взял трубку.

— Я. Что? Радио?

Гарин швырнул трубку и надел наушники. Слушал, кусал ноготь. Рот его пополз вкось усмешкой.

— Можете успокоить рабочих. Завтра мы платим. Мадам Ламоль достала десять миллионов долларов. Сейчас посылаю за деньгами прогулочный дирижабль. «Аризона» всего в четырехстах милях на северо-западе.

— Ну что же, это упрощает,— сказал Шельга. Засунув руки в карманы, он вышел.

Повиснув на потолочных ремнях так, чтобы ноги не касались пола, зажмурившись и на секунду задержав дыхание, Шельга рухнул вниз в стальной коробке лифта.

Охлаждение параллельной шахты было неравномерным, и от пещеры к пещере приходилось пролетать горячие пояса,— спасала только скорость падения.

На глубине восьми километров, глядя на красную стрелку указателя, Шельга включил реостаты и остановил лифт. Это была пещера номер тридцать семь. В трехстах метрах глубже нее на дне шахты гудели гиперболоиды и раздавались короткие, непрерывные взрывы раскаленной почвы, охлаждаемой сжатым воздухом. Позвякивали, шуршали черпаки элеваторов, уносящие породу на поверхность земли.

Пещера номер тридцать семь, как и все пещеры сбоку главной шахты, представляла собой внутренность железного клепаного куба. За стенками его испарялся жидкий воздух, охлаждая гранитную толщу. Пояс кипящей магмы, видимо, был неглубоко, ближе, чем это предполагалось по данным электромагнитных и сейсмографических разведок. Гранит был накален до пятисот градусов. Остановись хотя бы на несколько минут охлаждающие приборы жидкого воздуха, все живое мгновенно превратилось бы в пепел.

Внутри железного куба стояли койки, лавки, ведра с водой. На четырехчасовой смене рабочие приходили в такое состояние, что их полуживыми укладывали на койки, прежде чем поднять на поверхность земли. Шумели вентиляторы и воздуходувные трубы. Лампочка под клепаным потолком резко освещала мрачные, нездоровые, отечные лица двадцати пяти человек. Семьдесят пять рабочих находились в пещерах выше, соединенные телефонами.

Шельга вышел из лифта. Кое-кто обернулся к нему, но не поздоровались,— молчали. Очевидно, решение взорвать шахту было твердое.

— Переводчика. Я буду говорить по-русски,— сказал Шельга, садясь к столу и отодвигая локтем банки с мармеладом, с английской солью, недопитые стаканы вина. (Всем этим правительство острова щедро снабжало шахтеров.)

К столу подошел синевато-бледный, под щетиной бороды, сутулый, костлявый еврей.

— Я переводчик.

Шельга начал говорить:

— Гарин и его предприятие — не что иное, как крайняя точка капиталистического сознания. Дальше Гарина идти некуда: насильственное превращение трудящейся части человечества в животных путем мозговой операции, отбор избранных — «царей жизни», остановка хода цивилизации. Буржуа пока еще не понимают Гарина,— да он и сам не торопится, чтобы его поняли. Его считают бандитом и захватчиком. Но они в конце концов поймут, что империализм упирается в систему Гарина... Товарищи, мы должны предупредить самый опасный момент: чтобы Гарин с ними не сговорился. Тогда вам придется туго, товарищи. А вы в этой коробке решили умереть за то, чтобы Гарин не ссорился с американским правительством. Как же теперь быть, подумайте? Одолеет Гарин — плохо, одолеют капиталисты — плохо. Гарин с ними сговорится — тогда уже хуже некуда. Вы еще не знаете себе цены, товарищи,— сила на вашей стороне. И через месяц, когда черпаки погонят золото на поверхность земли, это будет на руку не Гарину, а вам, тому делу, которое мы должны совершить на земле. Если вы мне верите, но как верите,— до конца, свирепо,— тогда я — ваш вождь... Выбирайте единогласно... А если не верите...

Шельга приостановился, оглянул угрюмые лица рабочих, устремленные на него немигающие глаза,— сильно почесал в затылке...

— Если не верите,— еще буду разговаривать.

К столу подошел голый по пояс, весь в саже, плечистый юноша. Нагнувшись, посмотрел на Шельгу синими глазами. Поддернул штаны, повернулся к товарищам:

— Я верю.

— Верим,— сказали остальные. Через многоверстную гранитную толщину долетело по телефонам: «Верим, верим».

— Ну, верите, так ладно,— сказал Шельга,— теперь по пунктам: национальные границы к вечеру уберут. Зарплату получите завтра. Гвардейцы пусть охраняют дворец,— мы без них обойдемся. Пятнадцать душ провокаторов утопим,— это я первым условием поставил. Теперь задача — как можно скорее пробиться к золоту. Правильно, товарищи?

110

Ночью на северо-западе появился блуждающий свет прожекторов. В гавани тревожно завыли сирены. На рассвете, когда море еще лежало в тени, появились первые вестники приближающейся эскадры: высоко над островом закружились самолеты, поблескивая в розовой заре.

Гвардейцы открыли было по ним стрельбу из карабинов, но скоро перестали. Кучками собирались жители острова. Над шахтой продолжал куриться дымок. Били склянки на судах. На большом транспорте шла разгрузка — береговой кран выбрасывал на берег накрест перевязанные тюки.

Океан был спокоен в туманном мареве. В небе пели воздушные винты.

Поднялось солнце туманным шаром. И тогда все увидели на горизонте дымы. Они ложились длинной и плоской тучей, тянувшейся на юго-восток. Это приближалась смерть.

На острове все затихло, как будто перестали даже петь птицы, привезенные с континента. В одном месте кучка людей побежала к лодкам в гавани, и лодки, нагруженные до бортов, торопливо пошли в открытое море. Но лодок было мало, остров — как на ладони, укрыться негде. И жители стояли в столбняке, молча. Иные ложились лицом в песок.

Во дворце не было заметно движения. Бронзовые ворота заперты. Вдоль красноватых наклонных стен шагали, с карабинами за спиной, гвардейцы в широкополых высоких шляпах, в белых куртках, расшитых золотом. В стороне возвышалась прозрачная, как кружево, башня большого гиперболоида. Восходящая пелена тумана скрывала от глаз ее верхушку. Но мало кто надеялся на эту защиту: буро-черное облако на горизонте было слишком вещественно и угрожающе.

Многие с испугом обернулись в сторону шахты. Там заревел гудок третьей смены. Нашли время работать! Будь проклято золото! Затем часы на крыше замка пробили восемь. И тогда по океану покатился грохот — тяжелые, возрастающие громовые раскаты. Первый залп эскадры. Секунды ожидания, казалось, растянулись в пространстве, в звуках налетающих снарядов.

111

Когда раздался залп эскадры, Роллинг стоял на террасе, наверху лестницы, спускающейся к воде. Он вынул изо рта трубку и слушал рев налетающих снарядов: не менее девяноста стальных дьяволов, начиненных мелинитом и нарывным газом, мчались к острову прямо в мозг Роллингу. Они победоносно ревели. Сердце, казалось, не выдержит этих звуков. Роллинг попятился к двери в гранитной стене. (Он давно приготовил себе убежище в подвале на случай бомбардировки.) Снаряды разорвались в море, взлетев водяными столбами. Громыхнули. Недолет.

Тогда Роллинг стал смотреть на вершину сквозной башни. Там со вчерашнего вечера сидел Гарин. Круглый купол на башне вращался,— это было заметно по движениям меридиональных щелей. Роллинг надел пенсне и всматривался, задрав голову. Купол вращался очень быстро — направо и налево. При движении направо видно было, как по меридиональной щели ходит вверх и вниз блестящий ствол гиперболоида.

Самым страшным была та торопливость, с которой Гарин работал аппаратом. И — тишина. Ни звука на острове.

Но вот с океана долетел широкий и глухой звук, будто в небе лопнул пузырь. Роллинг поправил пенсне на взмокшем носу и глядел теперь в сторону эскадры. Там расплывались грибами три кучи бело-желтого дыма. Левее их вспучивались лохматые клубы, озарились кроваво, поднялись, и вырос, расплылся четвертый гриб. Докатился четвертый раскат грома.

Пенсне все сваливалось с носа Роллинга. Но он мужественно стоял и смотрел, как за горизонтом вырастали дымные грибы, как все восемь линейных кораблей американской эскадры взлетели на воздух.

Снова стало тихо на острове, на море и в небе. В сквозной башне сверху вниз мелькнул лифт. Хлопнули двери в доме, послышалось фальшивое насвистывание фокстрота, на террасу выбежал Гарин. Лицо у него было измученное, измятое, волосы — торчком.

Не замечая Роллинга, он стал раздеваться. Сошел по лестнице к самой воде, стащил подштанники цвета семги, шелковую рубашку. Глядя на море, где еще таял дым над местом погибшей эскадры, Гарин скреб себя под мышками. Он был, как женщина, белый телом, сытенький, в его наготе было что-то постыдное и отвратительное.

Он попробовал ногой воду, присел по-бабьи навстречу волне, поплыл, но сейчас же вылез и только тогда увидел Роллинга.

— А, — протянул он, — а вы что, тоже купаться собрались? Холодно, черт его дери.

Он вдруг рассмеялся дребезжащим смешком, захватил одежду и, помахивая подштанниками и не прикрываясь, во всей срамоте пошел в дом. Такого унижения Роллинг еще не переживал. От ненависти, от омерзения сердце его оледенело. Он был безоружен, беззащитен. В эту минуту слабости он почувствовал, как на него легло прошлое, — вся тяжесть

пстраченных сил, бычьей борьбы за первое место в жизни... И все для того, чтобы мимо него торжествующе прошествовал этот его победитель — голый бесстыдник.

Открывая огромные бронзовые двери, Гарин обернулся:

— Дядя, идем завтракать. Раздавим бутылочку шампанского.

112

Самое странное в дальнейшем поведении Роллинга было то, что он покорно поплелся завтракать. За столом, кроме них, сидела только мадам Ламоль, бледная и молчаливая от пережитого волнения. Когда она подносила ко рту стакан,— стекло дребезжало об ее ровные ослепительные зубы.

Роллинг, точно боясь потерять равновесие, напряженно глядел в одну точку — на золотую бутылочную пробку, сделанную в форме того самого проклятого аппарата, которым в несколько минут были уничтожены все прежние понятия Роллинга о мощи и могуществе.

Гарин, с мокрыми непричесанными волосами, без воротничка, в помятом и прожженном пиджаке, болтал какой-то вздор, жуя устрицы,— залпом выпил несколько стаканов вина:

— Вот теперь только понимаю, до чего проголодался.

— Вы хорошо поработали, мой друг,— тихо сказала Зоя.

— Да. Признаться, одну минуту было страшновато, когда горизонт окутался пушечным дымом... Они меня все-таки опередили... Черти... Возьми они на один кабельтов дальше — от этого дома, чего там — от всего острова остались бы пух и перья...

Он выпил еще стакан вина и, хотя сказал, что голоден, локтем оттолкнул ливрейного лакея, поднесшего блюдо.

— Ну как, дядя? — Он неожиданно повернулся к Роллингу и уже без смеха впился в него глазами.—

Пора бы нам поговорить серьезно. Или будете ждать еще более потрясающих эффектов?

Роллинг без стука положил на тарелку вилку и серебряный крючок для омаров, опустил глаза:

— Говорите, я вас слушаю.

— Давно бы так... Я вам уже два раза предлагал сотрудничество. Надеюсь — помните? Впрочем, я вас не виню: вы не мыслитель, вы из породы буйволов. Сейчас еще раз предлагаю. Удивляетесь? Объясню. Я — организатор. Я перестраиваю всю вашу тяжеловесную, набитую глупейшими предрассудками капиталистическую систему. Понятно? Если я не сделаю этого — коммунисты вас съедят с маслицем и еще сплюнут не без удовольствия. Коммунизм — это то единственное в жизни, что я ненавижу... Почему? Он уничтожает меня, Петра Гарина, целую вселенную замыслов в моем мозгу... Вы вправе спросить, для чего же мне нужны вы, Роллинг, когда у меня под ногами неисчерпаемое золото?

— Да, спрошу,— хрипло проговорил Роллинг.

— Дядя, выпейте стакан джину с кайенским перцем, это оживит ваше воображение. Неужели вы хотя на минуту могли подумать, что я намерен превратить золото в навоз? Действительно, я устрою несколько горячих денечков человечеству. Я подведу людей к самому краю страшной пропасти, когда они будут держать в руках килограмм золота, стоящий пять центов[1].

Роллинг вдруг поднял голову, тусклые глаза молодо блеснули, рот раздвинулся кривой усмешкой...

— Ага! — каркнул он.

— То-то — ага. Поняли, наконец?.. И тогда, в эти дни величайшей паники, мы, то есть я, вы и еще триста таких же буйволов, или мировых негодяев, или финансовых королей,— выбирайте название по своему вкусу,— возьмем мир за глотку... Мы покупаем все предприятия, все заводы, все железные дороги, весь воздушный и морской флот... Все, что нам нужно и что пригодится,— будет наше. Тогда мы взрываем этот ост-

[1] Около шести копеек.

ров вместе с шахтой и объявляем, что мировой запас золота ограничен, золото в наших руках и золоту возвращено его прежнее значение — быть единой мерой стоимости.

Роллинг слушал, откинувшись на спинку стула, рот его с золотыми зубами раздвинулся, как у акулы, лицо побагровело.

Так он сидел неподвижно, посверкивая маленькими глазами. Мадам Ламоль на минуту даже подумала: не хватит ли старика удар.

— Ага! — снова каркнул он.— Идея смела... Вы можете рассчитывать на успех... Но вы не учитываете опасности всяких забастовок, бунтов...

— Это учитываю в первую голову,— резко сказал Гарин.— Для начала мы построим громадные концентрационные лагери. Всех недовольных нашим режимом — за проволоку. Затем — проведем закон о мозговой кастрации... Итак, дорогой друг, вы избираете меня вождем?.. Ха! (Он неожиданно подмигнул, и это было почти страшно.)

Роллинг опустил лоб, насупился. Его спрашивали, он обязан был подумать.

— Вы принуждаете меня к этому, мистер Гарин?

— А вы как думали, дядя? На коленях, что ли, прошу? Принуждаю, если вы сами еще не поняли, что уже давно ждете меня как спасителя.

— Очень хорошо,— сквозь зубы сказал Роллинг и через стол протянул Гарину лиловую шершавую руку.

— Очень хорошо,— повторил Гарин.— События развиваются стремительно. Нужно, чтобы на континенте было подготовлено мнение трехсот королей. Вы напишете им письмо о всем безумии правительства, посылающего флот расстреливать мой остров. Вы постараетесь приготовить их к «золотой панике». (Он щелкнул пальцами; подскочил ливрейный лакей.) Налей-ка еще шампанского. Итак, Роллинг, выпьем за великий исторический переворот... Ну что, брат, а Муссолини какой-нибудь — щенок...

Петр Гарин договорился с мистером Роллингом... История была пришпорена, история понеслась вскачь, звеня золотыми подковами по черепам дураков.

113

Впечатление, произведенное в Америке и Европе гибелью тихоокеанской эскадры, было потрясающее, небывалое. Североамериканские Соединенные Штаты получили удар, отдавшийся по всей земле. Правительство Германии, Франции, Англии, Италии неожиданно с нездоровой нервностью воспрянули духом: показалось,— а вдруг в нынешнем году (а вдруг и совсем) не нужно будет платить процентов распухшей от золота Америке? «Колосс оказался на глиняных ногах,— писали в газетах,— не так-то просто завоевывать мир...»

Кроме того, сообщения о пиратских похождениях «Аризоны» внесли перебой в морскую торговлю. Владельцы пароходов отказывались от погрузки, капитаны боялись идти через океан, страховые общества подняли цены, в банковских переводах произошел хаос, начались протесты векселей, лопнуло несколько торговых домов, Япония поспешила просунуть на американские колониальные рынки свои дешевые и скверные товары.

Плачевный морской бой обошелся Америке в большие деньги. Пострадал престиж, или, как его называли, «национальная гордость». Промышленники требовали мобилизации всего морского и воздушного флотов,— войны до победного конца, чего бы это ни стоило. Американские газеты грозились, что «не снимут траура» (названия газет были обведены траурной рамкой,— это на многих производило впечатление, хотя типографски стоило недорого), покуда Пьер Гарри не будет привезен в железной клетке в Нью-Йорк и казнен на электрическом стуле. В города, в обывательскую толщу, проникали жуткие слухи об агентах Гарина, снабженных будто бы карманным инфракрасным лучом. Были случаи избиения неизвестных личностей и мгновенных паник на улицах, в кино, в ресторанах. Вашингтонское правительство гремело словами, но по существу показывало ужасную растерянность. Единственное из всей эскадры судно, миноносец, уцелевший от гибели под Золотым островом,

привез военному министру донесение о бое,— подробности настолько страшные, что их побоялись опубликовать. Семнадцатидюймовые орудия были бессильны против световой башни острова Негодяев.

Все эти неприятности заставили правительство Соединенных Штатов созвать в Вашингтоне конференцию. Ее лозунгом было: «Все люди суть дети одного бога, подумаем о мирном процветании человечества».

Когда был опубликован день конференции, редакции газет, радиостанции всего мира получили извещение о том, что инженер Гарин лично будет присутствовать на открытии.

114

Гарин, Чермак и инженер Шефер опускались в лифте в глубину главной шахты. За слюдяными окошками проходили бесконечные ряды труб, проводов, креплений, элеваторных колодцев, площадок, железных дверей.

Миновали восемнадцать поясов земной коры — восемнадцать слоев, по которым, как по слоям дерева, отмечались эпохи жизни планеты. Органическая жизнь начиналась с четвертого «от огня» слоя, образованного палеозойским океаном. Девственные воды его были насыщены неведомой нам жизненной силой. Они содержали радиоактивные соли и большое количество углекислоты. Это была «вода жизни».

На заре последующей — мезозойской — эры из вод его вышли гигантские чудовища. Миллионы лет они потрясали землю криками жадности и похоти. Еще выше, в слоях шахты, находили остатки птиц, еще выше — млекопитающих. А там уже близился ледниковый период — суровое снежное утро человечества.

Лифт опускался через последний, девятнадцатый, слой, произошедший из пламени и хаоса извержений. Это была земля архейской эры — сплошной черно-багровый, мелкозернистый гранит.

Гарин кусал ноготь от нетерпения. Все трое молчали. Было тяжело дышать. На спине у каждого

висел кислородный аппарат. Слышался рев гиперболоидов и взрывы.

Лифт вошел в полосу яркого света электрических ламп и остановился над огромной воронкой, собирающей газы. Гарин и Шефер надели резиновые круглые, как у водолазов, шлемы и проникли через один из люков воронки на узкую железную лестницу, которая вела отвесно вниз на глубину пятиэтажного дома. Они начали спускаться. Лестница окончилась кольцевой площадкой. На ней несколько голых по пояс рабочих, в круглых шлемах, с кислородными аппаратами за спиной, сидели на корточках над кожухами гиперболоидов. Глядя вниз, в гудящую пропасть, рабочие контролировали и направляли лучи.

Такие же отвесные, с круглыми прутьями-ступенями лестницы соединяли эту площадку с нижним кольцом. Там стояли охладители с жидким воздухом. Рабочие, одетые с ног до головы в прорезиненный войлок, в кислородных шлемах, руководили с нижней площадки охладителями и черпаками элеваторов. Это было наиболее опасное место работ. Неловкое движение, и человек попадал под режущий луч гиперболоида. Внизу раскаленная порода лопалась и взрывалась в струях жидкого воздуха. Снизу летели осколки породы и клубы газов.

Элеваторы вынимали в час до пятидесяти тонн. Работа шла споро. Вместе с углублением черпаков опускалась вся система — «железный крот»,— построенная по чертежам Манцева, верхнее кольцо с гиперболоидами и наверху газовая воронка. Крепления шахты начинались уже выше «кротовой» системы.

Шефер взял с пролетающего черпака горсть серой пыли. Гарин растер ее между пальцами. Нетерпеливым движением потребовал карандаш. Написал на коробке от папирос:

«Тяжелые шлаки. Лава».

Шефер закивал круглым очкастым шлемом. Осторожно передвигаясь по краю кольцевой площадки, они остановились перед приборами, висящими на монолитной стене шахты на стальных тросах и опускающимися по мере опускания всей системы «железного крота».

Это были барометры, сейсмографы, компасы, маятники, записывающие величину ускорения силы тяжести на данной глубине, электромагнитные измерители.

Шефер указал на маятник, взял у Гарина коробку от папирос и написал на ней не спеша аккуратным немецким почерком:

«Ускорение силы тяжести поднялось на девять сотых со вчерашнего утра. На этой глубине ускорение должно было упасть до 0,98, вместо этого мы получаем увеличение ускорения на 1,07...»

«Магниты?» — написал Гарин.

Шефер ответил:

«Сегодня с утра магнитные приборы стоят на нуле. Мы опустились ниже магнитного поля».

Уперев руки в колени, Гарин долго глядел вниз, в суживающийся до едва видимой точки черный колодец, где ворчал, вгрызаясь все глубже в землю, «железный крот». Сегодня с утра шахта начала проходить сквозь Оливиновый пояс.

115

— Ну, как, Иван, здоровьишко?

Шельга погладил мальчика по голове. Иван сидел у него в маленьком прибрежном домике, у окна, глядел на океан. Домик был сложен из прибрежных камней, обмазан светло-желтой глиной. За окном по синему океану шли волны, белея пеной, разбивались о рифы, о прибрежный песок уединенной бухточки, где жил Шельга.

Ивана привезли полумертвым на воздушном корабле. Шельга отходил его с большим трудом. Если бы не свой человек на острове, Иван навряд бы остался жить. Весь он был обморожен, застужен, и, ко всему, душа его была угнетена: поверил людям, старался из последних сил, а что вышло?

— Мне теперь, товарищ Шельга, в Советскую Россию въезда нет, засудят.

— Брось, дурачок: Ты ни в чем не виноват.

Сидел ли Иван на берегу, на камешке, ловил ли крабов, или бродил по острову среди чудес, кипучей работы, суетливых чужих людей,— глаза его с тоской нет-нет да и оборачивались на запад, где садился в океан пышный шар солнца, где еще дальше солнца лежала советская родина.

— На дворе ночь,— говорил он тихим голосом,— у нас в Ленинграде — утро. Товарищ Тарашкин чаю с ситником напился, пошел на работу. В клубе на Крестовке лодки конопатят, через две недели поднятие флага.

Когда мальчик поправился, Шельга начал осторожно объяснять ему положение вещей и увидел, так же как и Тарашкин в свое время, что Иван боек понимать с полуслова и настроен непримиримо, по-советски. Если бы только не скулил он по Ленинграду — золотой был бы мальчишка.

— Ну, Иван,— однажды весело сказал Шельга,— ну, Ванюшка, скоро отправлю тебя домой.

— Спасибо, Василий Витальевич.

— Только надо будет сначала одну штуку отгвоздить.

— Готов.

— Ты лазить ловок?

— В Сибири, Василий Витальевич, на пятидесятиметровые кедры лазил за шишками, влезешь,— земли оттуда не видно.

— Когда нужно будет, скажу тебе, что делать. Да зря не шатайся по острову. Возьми лучше удочку, лови морских ежей.

116

Гарин теперь уверенно двигался в своих работах по плану, найденному в записках и дневниках Манцева.

Черпаки прошли мощный слой магмы. На дне шахты слышался гул кипящего подземного океана. Стены шахты, замороженные в толщину на тридцать метров, образовывали несокрушимый цилиндр,— все же шахта получала такие вздрагивания и колебания, что пришлось бросить все силы на дальнейшее замораживание.

Элеваторы выкидывали теперь на поверхность кристаллическое железо, никель и оливин.

Начались странные явления. В море, куда уносилась по стальным лентам и понтонам поднятая на поверхность порода, появилось свечение. Оно усиливалось в продолжение нескольких суток. Наконец огромные массы воды, камней, песку вместе с частью понтонов взлетели на воздух. Взрыв настолько был силен, что ураганом снесло рабочие бараки и большая волна, хлынув на остров, едва не залила шахты.

Пришлось перегружать породу прямо на баржи и топить ее далеко в океане, где не прекращались свечение и взрывы. Объяснялось это еще неизвестными явлениями атомного распада элемента *М*.

Не менее странное происходило и на дне шахты. Началось с того, что магнитные приборы, показывавшие еще недавно нулевые деления, внезапно обнаружили магнитное поле чудовищного напряжения. Стрелки поднялись до отказа. Со дна шахты стал исходить лиловатый дрожащий свет. Самый воздух как будто перерождался. Азот и кислород воздуха, бомбардируемые мириадами альфа-частиц, распадались на гелий и водород.

Часть свободного водорода сгорала в лучах гиперболоидов,— по шахте пролетали огненные языки, раздавались точно пистолетные выстрелы. На рабочих загоралась одежда. Шахты потрясали какие-то приливы и отливы в океане магмы. Было замечено, что стальные черпаки и железные части покрываются землисто-красным налетом. В железных частях машин началось бурное распадение атомов. Многие из рабочих были обожжены невидимыми лучами. Все же с прежним упорством «железный крот» продолжал прогрызаться сквозь Оливиновый пояс.

Гарин почти не выходил из шахты. Только теперь он начал понимать все безумие своего предприятия. Никто не мог сказать, на какую глубину залегает слой кипящего подземного океана. Сколько еще километров придется проходить сквозь расплавленный оливин. Одно только было несомненно,— приборы указывали на при-

сутствие в центре земли магнитного твердого ядра чрезвычайно низкой температуры.

Опасность была, что замороженный цилиндр шахты, более плотный, чем расплавленная среда вокруг него, оторвется силой земного тяготения и увлечется к центру. Действительно, в стенках шахты начали появляться опасные трещины, через них с шипением пробивались газы. Пришлось уменьшить вдвое диаметр шахты и ставить мощные вертикальные крепления.

Много времени заняла установка нового, вдвое меньшего диаметром, «железного крота». Утешительными были только известия с «Аризоны». Ночью яхта, снова начавшая крейсировать под пиратским флагом, ворвалась в гавань Мельбурна, зажгла склады копры, чтобы известить о своем прибытии, и потребовала пять миллионов фунтов. (Для острастки был сбит движением луча бульвар на берегу моря.) В несколько часов город опустел, деньги были уплачены банками. При выходе из гавани «Аризона» была встречена английским стационаром, открывшим огонь. Яхта получила сквозную пробоину шестидюймовым снарядом выше ватерлинии и в свою очередь атаковала и искромсала военное судно. Боем командовала мадам Ламоль с верхушки башни гиперболоида.

Это сообщение развеселило Гарина. За последнее время на него нападали мрачные мысли. А вдруг Манцев ошибся в своих расчетах? Так же, как год тому назад в уединенном доме на Петроградской стороне, утомленный мозг его нащупывал возможности спасения, если постигнет неудача с шахтой.

Двадцать пятого апреля, стоя внутри кротовой системы на кольцевой площадке, Гарин наблюдал необычайное явление. Сверху, с воронки, собирающей газы, пошел ртутный дождь. Пришлось прекратить действие гиперболоидов. Ослабили замораживание на дне шахты. Черпаки прошли оливин и брали теперь чистую ртуть. Следующим номером, восемьдесят первым, по таблице Менделеева, за ртутью следовал металл талий. Золото (по атомному весу — 197,2 и номеру — 79) лежало выше ртути по таблице.

То, что произошла катастрофа и золота не оказа-

лось при прохождении сквозь слои металлов, расположенных по удельному весу, понимали только Гарин и инженер Шефер. Это была катастрофа! Проклятый Манцев ошибся!

Гарин опустил голову. Он ожидал чего угодно, но не такого жалкого конца... Шефер рассеянно протянул перед собой руку, ладонью вверх, ловя падающие из-под воронки капельки ртути. Вдруг он схватил Гарина за локоть и увлек к отвесной лестнице. Когда они взобрались наверх, сели в лифт и сняли резиновые шлемы, Шефер затопал тяжелыми башмаками. Костлявое, детски-простоватое лицо его светилось радостью.

— Это же золото! — крикнул он, хохоча.— Мы просто бараньи головы... Золото и ртуть кипят рядом. Что получается? Ртутное золото!.. Глядите же!—Он разжал ладонь, на которой лежали жидкие дробинки.— В ртути золотистый оттенок. Здесь девяносто процентов червонного золота!

117

Золото, как нефть, само шло из земли. Работы по углублению шахты приостановились. «Железный крот» был разобран и вынут. Временные фермовые крепления шахты снимались. Вместо них опускали во всю глубину массивные стальные цилиндры, в толще которых пролегала система охладительных труб.

Нужно было только регулировать температуру, чтобы получить выпираемое снизу раскаленными парами ртутное золото на любой высоте в шахте. Гарин вычислил, что после того, как стальные цилиндры будут опущены до самого дна, ртутное золото можно заставить подняться на всю высоту и черпать его прямо с поверхности земли.

От шахты на северо-восток спешно строился ртутопровод. В левом крыле замка, примыкающем к подножию башни большого гиперболоида, ставили печи и вмазывали фаянсовые тигли, где должно было выпариваться золото.

Гарин предполагал довести на первое время суточную продукцию золота до десяти тысяч пудов, то есть до ста миллионов долларов в сутки.

«Аризоне» был послан приказ вернуться на остров. Мадам Ламоль ответила поздравлением и по радио объявила всем, всем, всем, что прекращает пиратские нападения в Тихом океане.

118

Незадолго до открытия Вашингтонской конференции в гавань Сан-Франциско вошли пять океанских кораблей. Они мирно подняли голландский флаг и ошвартовались у набережной среди тысячи таких же торговых судов в широком и дымном заливе, залитом летним солнцем.

Капитаны съехали на берег. Все было в порядке. На кораблях сушились матросские подштанники. Мыли палубу. Некоторое изумление у таможенных чиновников вызвал груз на судах под голландским флагом. Но им объяснили, что литые, по пяти килограммов, бруски желтого металла не что иное, как золото, привезенное для продажи.

Чиновники посмеялись над такой забавной шуткой.

— Почем же вы продаете золото? Хе!

— По себестоимости,— ответили помощники капитанов. (На всех пяти кораблях происходил слово в слово один и тот же разговор.)

— А именно?

— По два с половиной доллара за килограмм.

— Недорого цените ваше золото.

— Продаем дешево, товару много,— ответили помощники капитанов, посасывая трубки.

Так чиновники и записали в журналах: «Груз — бруски желтого металла, под названием золото». Посмеялись и ушли. А смеяться совсем было нечему.

Через два дня в Сан-Франциско в утренних газетах, в отделе объявлений, на бело-желтых афишах, расклеенных по рекламным столбам и просто на тротуарах мелом, появилось сообщение:

«Инженер Петр Гарин, считая войну за независимость Золотого острова оконченной и глубоко сожалея о жертвах, понесенных противником, с почтением предлагает жителям Соединенных Штатов, в виде начала мирных торговых сношений, пять кораблей, груженных червонным золотом. Пятикилограммовые бруски золота продаются по цене два с половиной доллара за килограмм. Желающие могут получить их в табачных, москательных, мелочных лавках, в газетных киосках, у чистильщиков сапог и так далее... Прошу убедиться в подлинности золота, имеющегося у меня в неограниченном количестве. С почтением. Гарин».

Разумеется, ни один человек не поверил этим дурацким рекламам. Большинство контрагентов припрятали золотые слитки. Все же город заговорил о Петре Гарине, пирате и легендарном негодяе, снова тревожащем спокойствие честных людей. Вечерние газеты потребовали линчевания Пьера Гарри. В шестом часу вечера праздные толпы устремились в гавань и на летучих митингах выносили резолюцию — потопить гаринские пароходы и повесить команды на фонарных столбах. Полисмены едва сдерживали толпы.

В то же время портовые власти производили расследование. Все бумаги на пяти кораблях оказались в порядке, сами суда не подлежали секвестру, так как владельцем их была известная голландская транспортная компания. Все же власти требовали запрещения торговли брусками, возбуждающими население. Но ни один из чиновников не устоял, когда в карманы брюк ему опустили по два бруска. На зуб, на цвет, на вес — это было самое настоящее золото, хоть тресни. Вопрос о торговле оставили открытым, временно замяли.

В тридцать две редакции ежедневных газет какие-то неразговорчивые моряки втащили по мешку с загадочными брусками. Сказали только: «В подарок». Редакторы возмутились. В тридцати двух редакциях стоял страшный крик. Вызвали ювелиров. Предлагались кровавые меры против наглости Пьера Гарри. Но бруски неизвестно куда исчезли из редакций тридцати двух газет.

За ночь по городу были разбросаны золотые бруски прямо на тротуарах. К девяти часам в парикмахерских и табачных лавках вывесили объявление: «Здесь продается червонное золото по два с половиной доллара за кило».

Население дрогнуло.

Хуже всего было то, что никто не понимал, для чего продают золото по два с половиной доллара за килограмм. Но не купить — значило остаться в дураках. В городе начались давка и безобразие. Многотысячная толпа стояла в гавани перед кораблями и кричала: «Бруски, бруски, бруски!..» Золото продавали прямо на сходнях. В этот день остановились трамваи и подземная дорога. В конторах и казенных учреждениях стоял хаос: чиновники, вместо того чтобы заниматься делами, бегали по табачным лавкам, прося продать брусочек. Склады и магазины не торговали, приказчики разбегались, воры и взломщики хозяйничали по городу.

Прошел слух, будто золото привезено для продажи в ограниченном количестве и больше кораблей с брусками не будет.

На третий день во всех концах Америки началась золотая лихорадка. Тихоокеанские линии железных дорог повезли на запад взволнованных, недоумевающих, сомневающихся, взбудораженных искателей счастья. Поезда брались с бою. Была величайшая растерянность в этой волне человеческой глупости.

С опозданием, как всегда это бывает, из Вашингтона пришло правительственное распоряжение: «Заградить полицейскими войсками доступ к судам, груженным так называемым золотом, командиров и команды арестовать, суда опечатать». Приказ был исполнен.

Разъяренные толпы людей, прибывшие за счастьем с других концов страны, побросавшие дела, службу, чтобы заполнить раскаленные солнцем набережные Сан-Франциско, где все съестное было уничтожено, как саранчой,— одичавшие люди эти прорвали цепи полисменов, дрались, как бешеные, револьверами, ножами, зубами, побросали большое количество полисменов в залив, освободили команды гаринских пароходов и установили вооруженную очередь за золотом.

Пришли еще три парохода с Золотого острова. Они стали выгружать связки брусков кранами прямо на набережную, валили их в штабеля. В этом был какой-то нестерпимый ужас. Люди дрожали, глядя из очередей на сокровища, сверкающие прямо на мостовой.

В это время агенты Гарина окончили установку в больших городах уличных громкоговорителей. В субботний день, когда население городов, окончив службу и работу, наполнило улицы, раздался по всей Америке громкий, с варварским акцентом, но необычайно уверенный голос:

«Американцы! С вами говорит инженер Гарин, тот, кто объявлен вне закона, кем пугают детей. Американцы, я совершил много преступлений, но все они вели меня к одной цели: счастью человечества. Я присвоил клочок земли, ничтожный островок, чтобы на нем довести до конца грандиозное и небывалое предприятие. Я решил проникнуть в недра земли к девственным залежам золота. На глубине восьми километров шахта вошла в мощный слой кипящего золота. Американцы, каждый торгует тем, что у него есть. Я предлагаю вам свой товар — золото. Я наживаю на нем десять центов на доллар, при цене два с половиной доллара за килограмм. Это скромно. Но почему мне запрещают продавать мой товар? Где ваша свобода торговли? Ваше правительство попирает священные основы свободы и прогресса. Я готов возместить военные издержки. Я возвращаю государству, компаниям и частным людям все деньги, которые «Аризона» реквизировала на судах и банках в порядке обычаев военного времени. Я прошу только одного — дайте мне свободу торговать золотом. Ваше правительство запрещает мне это, накладывает арест на мои корабли. Я отдаюсь под защиту всего населения Соединенных Штатов».

Громкоговорители были уничтожены полисменами в ту же ночь. Правительство обратилось к благоразумию населения:

«...Пусть верно то, о чем сообщил пресловутый бандит, выходец из Советской России, инженер Гарин. Но тем скорее нужно засыпать шахту на Золотом острове, уничтожить самую возможность иметь неисчерпаемые

запасы золота. Что будет с эквивалентом труда, счастья, жизни, если золото начнут копать, как глину? Человечество неминуемо вернется к первобытным временам, к меновой торговле, к дикости и хаосу. Погибнет вся экономическая система, умрут промышленность и торговля. Людям незачем будет напрягать высшие силы своего духа. Умрут большие города. Зарастут травой железнодорожные пути. Погаснет свет в кинематографах и луна-парках. Человек снова кремневым копьем будет добывать себе пропитание. Инженер Гарин — величайший провокатор, слуга дьявола. Его задача — девальвировать доллар. Но этого он не добьется...»

Правительство нарисовало жалкую картину уничтожения золотого паритета. Но благоразумных нашлось мало. Безумие охватило всю страну. По примеру Сан-Франциско в городах останавливалась жизнь. Поезда и миллионы автомобилей мчались на запад. Чем ближе к Тихому океану, тем дороже становились продукты питания. Их не на чем было подвозить. Голодные искатели счастья разбивали съестные лавки. Фунт ветчины поднялся до ста долларов. В Сан-Франциско люди умирали на улицах. От голода, жажды, палящего зноя сходили с ума.

На узловых станциях, на путях валялись трупы убитых при штурме поездов. По дорогам, проселкам, через горы, леса, равнины брели — обратно на восток — кучки счастливцев, таща на спинах мешки с золотыми брусками. Отставших убивали местные жители и шайки бандитов.

Начиналась охота за золотоношами, на них нападали даже с аэропланов.

Правительство пошло, наконец, на крайние меры. Палата вотировала закон о всеобщей мобилизации возрастов от семнадцати до сорока пяти лет, уклоняющиеся подлежали военно-полевому суду. В Нью-Йорке в кварталах бедноты расстреляли несколько сот человек. На вокзалах появились вооруженные солдаты. Коекого хватали, стаскивали с площадок вагонов, стреляли в воздух и в людей. Но поезда отходили переполненными. Железные дороги, принадлежавшие частным

компаниям, находили более выгодным не обращать внимания на распоряжение правительства.

В Сан-Франциско прибыли еще пять пароходов Гарина, и на открытом рейде, в виду всего залива, стала на якорь красавица «Аризона» — «гроза морей». Под защитой ее двух гиперболоидов корабли разгружали золото.

Вот при каких условиях наступил день открытия Вашингтонской конференции. Месяц тому назад Америка владела половиной всего золота на земном шаре. Теперь, что ни говори, золотой фонд Америки расценивался дешевле ровно в двести пятьдесят раз. С трудом, с чудовищными потерями, пролив много крови, это еще можно было как-нибудь пережить. Но вдруг сумасшедшему негодяю, Гарину, вздумается продавать золото по доллару за килограмм или по десяти центов. Старые сенаторы и члены палаты ходили с белыми от ужаса глазами по кулуарам. Промышленные и финансовые короли разводили руками:

«Это мировая катастрофа,— хуже, чем столкновение с кометой».

«Кто такой инженер Гарин? — спрашивали.— Что ему в сущности нужно? Разорить страну? Глупо. Непонятно... Чего он добивается? Хочет быть диктатором? Пожалуйста, если ты самый богатый человек на свете. В конце концов нам и самим этот демократический строй надоел хуже маргарина... В стране безобразие, разбой, беспорядок, чепуха,— право, уж лучше пусть правит страной диктатор, вождь с волчьей хваткой».

Когда стало известно, что на заседании будет сам Гарин, публики в конференц-зале набралось столько, что висели на колоннах, на окнах. Появился президиум. Сели. Молчали. Ждали. Наконец председатель открыл рот, и все, кто был в зале, повернулись к высокой белой с золотом двери. Она раскрылась. Вошел небольшого роста человек, необычайно бледный, с острой темной бородкой, с темными глазами, обведенными тенью. Он был в сером обыкновенном пиджаке, красный галстук — бабочкой, башмаки коричневые, на толстой подошве, в левой руке новые перчатки.

Он остановился, глубоко втянул воздух сквозь ноздри. Коротко кивнул головой и уже бойко взошел по ступенькам трибуны. Вытянулся. Бородка его стала торчком. Отодвинул к краю графин с водой. (Во всей зале было слышно, как булькнула вода,— так было тихо.) Высоким голосом, с варварским произношением, он сказал:

— Джентльмены... Я — Гарин... Я принес миру золото...

Весь зал обрушился аплодисментами. Все, как один человек, поднялись и одной глоткой крикнули:

— Да здравствует мистер Гарин!.. Да здравствует диктатор!..

За окнами миллионная толпа ревела, топая в такт подошвами:

— Бруски!.. Бруски!.. Бруски!..

119

«Аризона» только что вернулась в гавань Золотого острова. Янсен докладывал мадам Ламоль о положении вещей на континенте. Зоя была еще в постели, среди кружевных подушек (малый утренний прием). Полутемную спальню наполнял острый запах цветов, идущий из сада. Над правой рукой ее работала маникюрша. В другой она держала зеркальце и, разговаривая, недовольно посматривала на себя.

— Но, мой друг, Гарин сходит с ума,— сказала она Янсену,— он обесценивает золото... Он хочет быть диктатором нищих.

Янсен искоса посматривал на великолепие только что отделанной спальни. Ответил, держа на коленях фуражку:

— Гарин сказал мне при свидании, чтобы вы не тревожились, мадам Ламоль. Он ни на шаг не отступает от задуманной программы. Повалив золото, он выиграл сражение. На будущей неделе сенат объявит его диктатором. Тогда он поднимет цену золота.

— Каким образом? Не понимаю.

— Издаст закон о запрещении ввоза и продажи зо-

лота. Через месяц оно поднимется до прежней цены. Продано не так уж много. Больше было шума.

— А шахта?

— Шахта будет уничтожена.

Мадам Ламоль нахмурилась. Закурила:

— Ничего не понимаю.

— Необходимо, чтобы количество золота было ограничено, иначе оно потеряет запах человеческого пота. Разумеется, перед тем как уничтожить шахту, будет извлечен запас с таким расчетом, чтобы за Гариным было обеспечено свыше пятидесяти процентов мирового количества золота. Таким образом, паритет если и упадет, то на несколько центов за доллар.

— Превосходно... но сколько же они ассигнуют на мой двор, на мои фантазии? Мне нужно ужасно много.

— Гарин просил вас составить смету. В порядке законодательства вам будет отпущено столько, сколько вы потребуете...

— Но разве я знаю, сколько мне нужно?.. Как это все глупо!.. Во-первых, на месте рабочего поселка, мастерских, складов будут построены театры, отели, цирки. Это будет город чудес... Мосты, как на старинных китайских рисунках, соединят остров с мелями и рифами. Там я построю купальни, павильоны для игр, гавани для яхт и воздушных кораблей. На юге острова будет огромное здание, видное за много миль: «Дом, где почиет гений». Я ограблю все музеи Европы. Я соберу все, что было создано человечеством. Милый мой, у меня голова трещит от всех этих планов. Я и во сне вижу какие-то мраморные лестницы, уходящие к облакам, праздники, карнавалы...

Янсен вытянулся на золоченом стульчике:

— Мадам Ламоль...

— Подождите,— нетерпеливо перебила она,— через три недели сюда приезжает мой двор. Весь этот сброд нужно кормить, развлекать и приводить в порядок. Я хочу пригласить из Европы двух-трех настоящих королей и дюжину принцев крови. Мы привезем папу из Рима на дирижабле. Я хочу быть помазанной и коронованной по всем правилам, чтобы перестали сочинять обо мне уличные фокстроты...

— Мадам Ламоль,— сказал Янсен умоляюще,— я не видал вас целый месяц. Покуда вы еще свободны. Пойдемте в море. «Аризона» отделана заново. Мне хотелось бы снова стоять с вами на мостике под звездами.

Зоя взглянула на него, лицо ее стало нежным. Усмехаясь, протянула руку. Он прижался к ней губами и долго оставался склоненным.

— Не знаю, Янсен, не знаю,— проговорила она, касаясь другой рукой его затылка,— иногда мне начинает казаться, что счастье — только в погоне за счастьем... И еще — в воспоминаниях... Но это в минуты усталости... Когда-нибудь я вернусь к вам, Янсен... Я знаю, вы будете ждать меня терпеливо... Вспомните... Средиземное море, лазурный день, когда я посвятила вас в командоры ордена «Божественной Зои»... (Она засмеялась и сжала пальцами его затылок.) А если не вернусь, Янсен, то мечта и тоска по мне — разве это не счастье? Ах, друг мой, никто не знает, что Золотой остров — это сон, приснившийся мне однажды в Средиземном море,— я задремала на палубе и увидела выходящие из моря лестницы и дворцы, дворцы — один над другим — уступами, один другого прекраснее... И множество красивых людей, моих людей, моих, понимаете. Нет, я не успокоюсь, покуда не построю приснившийся мне город. Знаю, верный друг мой, вы предлагаете мне себя, капитанский мостик и морскую пустыню взамен моего сумасшедшего бреда. Вы не знаете женщин, Янсен... Мы легкомысленны, мы расточительны... Я вышвырнула, как грязные перчатки, миллиарды Роллинга, потому что все равно они не спасли бы меня от старости, от увядания... Я побежала за нищим Гариным. У меня закружилась голова от сумасшедшей мечты. Но любила я его одну только ночь... С той ночи я не могу больше любить, как вы этого хотите. Милый, милый Янсен, что же мне делать с собой?.. Я должна лететь в эту головокружительную фантазию, покуда не остановится сердце... (Он поднялся со стула, она вдруг ухватилась за его руку.) Я знаю — один человек на свете любит меня. Вы, вы, Янсен. Разве я могу поручиться, что вдруг не прибегу к вам, скажу: «Янсен, спасите меня от меня самой...»

120

В белом домике на берегу уединенной бухты Золотого острова всю ночь шли горячие споры. Шельга прочел наспех набросанное им воззвание:

«Трудящиеся всего мира! Вам известны размеры и последствия паники, охватившей Соединенные Штаты, когда в гавань Сан-Франциско вошли корабли Гарина, груженные золотом.

Капитализм зашатался: золото обесценивается, все валюты летят кувырком, капиталистам нечем платить своим наемникам — полиции, карательным войскам, провокаторам и продажным народным трибунам. Во весь рост поднялся призрак пролетарской революции.

Но инженер Гарин, нанесший такой удар капитализму, меньше всего хочет, чтобы последствием его авантюр была революция.

Гарин идет к власти. Гарин ломает на своем пути сопротивление капиталистов, еще недостаточно ясно понявших, что Гарин — новое орудие борьбы с пролетарской революцией.

Гарин очень скоро договорится с крупнейшими из капиталистов.

Они объявят его диктатором и вождем. Он присвоит себе половину мирового золота и тогда прикажет засыпать шахту на Золотом острове, чтобы количество золота было ограничено.

Он вместе с шайкой крупнейших капиталистов ограбит все человечество и людей превратит в рабов.

Трудящиеся всего мира! Час решительной борьбы настал. Об этом объявляет Революционный комитет Золотого острова. Он объявляет, что Золотой остров вместе с шахтой и всеми гиперболоидами переходит в распоряжение восставших всего мира. Неисчерпаемые запасы золота отныне в руках трудящихся.

Гарин со своей шайкой будет жестоко защищаться. Чем скорее мы перейдем в наступление, тем вернее наша победа».

Не все члены Революционного комитета одобрили это воззвание,— часть из них колебалась, испуганная смелостью: удастся ли так быстро поднять рабочих?

Удастся ли достать оружие? У капиталистов и флот, и могучие армии, и полиция, вооруженная боевыми газами и пулеметами... Не лучше ли выждать или уж в крайней мере начать со всеобщей забастовки?..

Шельга, сдерживая бешенство, говорил колеблющимся:

— Революция — это высшая стратегия. А стратегия — наука побеждать. Побеждает тот, кто берет инициативу в свои руки, кто смел. Спокойно взвешивать вы будете потом, когда после победы вздумаете писать для будущих поколений историю нашей победы... Поднять восстание нам удастся, если мы напряжем все силы. Оружие мы достанем в бою. Победа обеспечена потому, что победить хочет все трудящееся человечество, а мы — его передовой отряд. Так говорят большевики. А большевики не знают поражений.

При этих его словах рослый парень с голубыми глазами — шахтер, молчавший во все время спора, вынул изо рта трубку.

— Баста! — сказал он густым голосом.— Довольно болтовни. За дело, ребята!..

121

Седой рослый камердинер, в ливрейном фраке и в чулках, беззвучно вошел в опочивальню, поставил чашку шоколаду и бисквиты на ночной столик и с тихим шелестом раздвинул шторы на окнах. Гарин раскрыл глаза:

— Папиросу.

От этой русской привычки — курить натощак — он не мог отделаться, хотя и знал, что американское высшее общество, интересующееся каждым его шагом, движением, словом, видит в курении натощак некоторый признак безнравственности.

В ежедневных фельетонах вся американская пресса совершенно обелила прошлое Петра Гарина. Если ему в прошлом приходилось пить вино, то только по принуждению, а на самом деле он был враг алкоголя; отношения его к мадам Ламоль были чисто братские, осно-

ванные на духовном общении; оказалось даже, что любимым занятием его и мадам Ламоль в часы отдыха было чтение вслух любимых глав из библии; некоторые его резкие поступки (история в Вилль Давре, взрыв химических заводов, потопление американской эскадры и др.) объяснялись одни — роковой случайностью, другие — неосторожным обращением с гиперболоидом, во всяком случае великий человек искренне и глубоко в них раскаивается и готовится вступить в лоно церкви, чтобы окончательно смыть с себя невольные грехи (между протестантской и католической церквами уже началась борьба за Петра Гарина), и, наконец, ему приписывали увлечение с детства по крайней мере десятью видами спорта.

Выкурив толстую папиросу, Гарин покосился на шоколад. Будь это в прежнее время, когда его считали негодяем и разбойником, он спросил бы содовой и коньяку, чтобы хорошенько вздернуть нервы, но пить диктатору полумира с утра коньяк! Такая безнравственность отшатнула бы всю солидную буржуазию, сплотившуюся, как наполеоновская гвардия, вокруг его трона.

Морщась, он хлебнул шоколаду. Камердинер, с торжественной грустью стоявший у дверей, спросил вполголоса:

— Господин диктатор разрешит войти личному секретарю?

Гарин лениво сел на кровати, натянул шелковую пижаму:

— Просите.

Вошел секретарь, достойно три раза — у дверей, посреди комнаты и близ кровати — поклонился диктатору. Пожелал доброго утра. Чуть-чуть покосился на стул.

— Садитесь,— сказал Гарин, зевнув так, что щелкнули зубы.

Личный секретарь сел. Это был одетый во все темное, средних лет костлявый мужчина с морщинистым лбом и провалившимися щеками. Веки его глаз были всегда полуопущены. Он считался самым элегантным человеком в Новом Свете и, как думал Петр Петрович,

был приставлен к нему крупными финансистами в виде шпиона.

— Что нового? — спросил Гарин.— Как золотой курс?

— Поднимается.

— Туговато все-таки. А?

Секретарь меланхолично поднял веки:

— Да, вяло. Все еще вяло.

— Мерзавцы!

Гарин сунул босые ноги в парчовые туфли и зашагал по белому ковру опочивальни:

— Мерзавцы, сукины дети, ослы!

Невольно левая рука его полезла за спину, большим пальцем правой он зацепился за связки пижамовых штанов и так шагал с упавшей на лоб прядью волос. Видимо, и секретарю эта минута казалась исторической: он вытянулся на стуле, вытянул шею из крахмального воротника,— казалось, прислушивался к шагам истории.

— Мерзавцы! — последний раз повторил Гарин.— Медленность поднятия курса я понимаю как недоверие ко мне. Мне! Вы понимаете? Я издам декрет о запрещении вольной продажи золотых брусков под страхом смертной казни... Пишите.

Он остановился и, строго глядя на пышно-розовый зад Авроры, летящей среди облаков и амуров на потолке, начал диктовать:

«От сего числа постановлением сената...»

Покончив с этим делом, он выкурил вторую папиросу. Бросил окурок в недопитую чашку шоколада. Спросил:

— Еще что нового? Покушений на мою жизнь не обнаружено?

Длинными пальцами с длинными отполированными ногтями секретарь взял из портфеля листочек, про себя прочел его, перевернул, опять перевернул:

— Вчера вечером и сегодня в половине седьмого утра полицией раскрыты два новых покушения на вас, сэр.

— Ага! Очень хорошо. Обнародовать в печати. Кто

же это такие? Надеюсь, толпа сама расправилась с негодяями? Что?

— Вчера вечером в парке перед дворцом был обнаружен молодой человек, с виду рабочий, в карманах его найдены две железные гайки, каждая весом в пятьсот граммов. К сожалению, было уже поздно, парк малолюден, и только нескольким прохожим, узнавшим, что покушаются на жизнь обожаемого диктатора, удалось ударить несколько раз негодяя. Он задержан.

— Эти прохожие были все же частные лица или агенты?

У секретаря затрепетали веки, он чуть-чуть усмехнулся уголком рта — единственной во всей Северной Америке, неподражаемой улыбкой:

— Разумеется, сэр, это были частные лица, честные торговцы, преданные вам, сэр.

— Узнать имена торговцев,— продиктовал Гарин,— в печати выразить им мою горячую признательность. Покушавшегося судить по всей строгости законов. После осуждения я его помилую.

— Второе покушение произошло также в парке,— продолжал секретарь.— Была обнаружена дама, смотревшая на окна вашей опочивальни, сэр. При даме найден небольшой револьвер.

— Молоденькая?

— Пятидесяти трех лет. Девица.

— И что же толпа?

— Толпа ограничилась тем, что сорвала с нее шляпу, изломала зонтик и растоптала сумочку. Такой сравнительно слабый энтузиазм объясняется ранним часом утра и жалким видом самой дамы, немедленно упавшей в обморок при виде разъяренной толпы.

— Выдать старой вороне заграничный паспорт и немедленно вывезти за пределы Соединенных Штатов. В печати говорить глухо об этом инциденте. Что еще?

. . . .

Без пяти девять Гарин взял душ, после чего отдал себя в работу парикмахеру и его четырем помощникам. Он сел в особое, вроде зубоврачебного, кресло, покрытое льняной простыней, перед тройным зеркалом. Одновременно лицо его было подвергнуто паровой ванне, над

ногтями обеих рук запорхали пилочками, ножичками, замшевыми подушечками две блондинки, над ногтями ног — две искуснейшие мулатки. Волосы на голове освежены в нескольких туалетных водах и эссенциях, тронуты щипцами и причесаны так, что стало незаметно плеши. Брадобрей, получивший титул баронета за удивительное искусство, побрил Петра Петровича, напудрил и надушил лицо и голову различными духами: шею — запахом роз, за ушами — шипром, виски — букетом Вернэ, около губ — веткой яблони (греб эпл), бородку — тончайшими духами «Сумерки».

После всех этих манипуляций диктатора можно было обернуть шелковой бумагой, положить в футляр и послать на выставку. Гарин с трудом дотерпел до конца, он подвергался этим манипуляциям каждое утро, и в газетах писали о его «четверти часа после ванны». Делать было нечего.

Затем он проследовал в гардеробную, где его ожидали два лакея и давешний камердинер с носками, рубашками, башмаками и прочим. На сегодня он выбрал коричневый костюм с искоркой. Сволочи-репортеры писали, что одним из удивительнейших талантов диктатора было уменье выбрать галстук. Приходилось подчиняться и держать ухо востро. Гарин выбрал галстук расцветки павлиньего пера. Ругаясь вполголоса по-русски, сам завязал его.

Следуя в столовую, отделанную в средневековом вкусе, Гарин подумал:

«Так долго не выдержать, вот черт, навязали режим».

За завтраком (опять-таки ни капли алкоголя) диктатор должен был просматривать корреспонденцию. На севрском подносе лежали сотни три писем. Жуя копченую поджаренную рыбу, безвкусную ветчину и овсяную кашу, варенную на воде без соли (утренняя пища спортсменов и нравственных людей), Гарин брал наугад хрустящие конверты. Распечатывал грязной вилкой, мельком прочитывал:

«Мое сердце бьется, от волнения моя рука едва выводит эти строки... Что вы подумаете обо мне? Боже! Я вас люблю. Я полюбила вас с той минуты, когда уви-

дела в газете (наименование) ваш портрет. Я молода. Я дочь достойных родителей. Я полна энтузиазма стать женой и матерью...»

Обычно прилагалась фотографическая карточка. Все это были любовные письма со всех концов Америки. От фотографий (за месяц их накопилось несколько десятков тысяч) этих мордашек, с пышными волосами, невинными глазами и глупыми носиками становилось ужасно, смертельно скучно. Проделать головокружительный путь от Крестовского острова до Вашингтона, от нетопленной комнаты в уединенном доме на Петроградской, где Гарин ходил из угла в угол, сжимая руку и разыскивая почти несуществующую лазейку спасения (бегство на «Бибигонде»), до золотого председательского кресла в сенате, куда он через двадцать минут должен ехать... Ужаснуть мир, овладеть подземным океаном золота, добиться власти мировой — все только затем, чтобы попасть в ловушку филистерской скучнейшей жизни.

— Тьфу ты, черт!

Гарин швырнул салфетку, забарабанил пальцами. Ничего не придумаешь. Добиваться нечего. Дошел до самого верха. Диктатор. Потребовать разве императорского титула? Тогда уж совсем замучают Удрать? Куда? И зачем? К Зое? Ах, Зоя! С ней порвалось что-то самое главное, что возникло в сырую, теплую ночь в старенькой гостинице в Вилль Давре. Тогда, под шелест листьев за окном, среди мучительных ласк, зародилась вся фантастика гаринской авантюры. Тогда был восторг наступающей борьбы. Тогда легко было сказать,— брошу к твоим ногам мир... И вот Гарин — победитель. Мир — у ног. Но Зоя — далекая, чужая, мадам Ламоль, королева Золотого острова. У кого-то другого кружится голова от запаха ее волос, от пристального взгляда ее холодных, мечтательных глаз. А он, Гарин, повелитель мира, кушает кашу без соли, рассматривает, зевая, глупые физиономии на карточках. Фантастический сон, приснившийся в Вилль Давре, отлетел от него... Издавай декреты, выламывайся под великого человека, будь приличным во всех отношениях... Вот черт!.. Хорошо бы потребовать коньяку...

Он обернулся к лакеям, стоявшим, как чучела в паноптикуме, в отдалении у дверей. Сейчас же двое выступили вперед, один склонился вопросительно, другой проговорил бесполым голосом:

— Автомобиль господина диктатора подан.

. . . .

В сенат диктатор вошел, нагло ступая каблуками. Сев в золоченое кресло, проговорил металлическим голосом формулу открытия заседания. Брови его были сдвинуты, лицо выражало энергию и решимость. Десятки аппаратов сфотографировали и киносняли его в эту минуту. Сотни прекрасных женщин в ложах для публики отдались ему энтузиастическими взглядами.

Сенат имел честь поднести ему на сегодня титулы: лорда Нижне-Уэльского, герцога Неаполитанского, графа Шарлеруа, барона Мюльгаузен и соимператора Всероссийского. От Североамериканских Соединенных Штатов, где, к сожалению, как в стране демократической, титулов не полагалось, поднесли звание «Бизмен оф готт», что, в переводе на русский язык, значило: «Купчина божьей милостью».

Гарин благодарил. Он с удовольствием плюнул бы на эти жирные лысины и уважаемые плеши, сидящие перед ним амфитеатром в двусветном зале. Но он понимал, что не плюнет, но сейчас встанет и поблагодарит.

«Подождите, сволочи,— думал он, стоя (бледный, маленький, с острой бородкой) перед аплодирующим ему амфитеатром,— поднесу я вам проект о чистоте расового отбора и первой тысяче...» Но и сам чувствовал, что опутан по рукам и ногам, и в звании лорда, герцога, графа, божьего купчины он ничего такого решительного не поднесет... А на банкет сейчас поедет из зала сената...

. . . .

На улице автомобиль диктатора приветствовали криками. Но присмотреться — кричали все какие-то рослые ребята, похожие на переодетых полицейских,— Гарин раскланивался и помахивал рукой, затянутой в лимонную перчатку. Эх, не родись он в России, не переживи он революции, наверное переезд по городу среди ликующего народа, выражающего криками «гип, гип»

и бросанием бутоньерок свои верноподданнейшие чувства, доставил бы ему живейшее удовольствие. Но Гарин был отравленным человеком. Он злился: «Дешевка, дешевка, заткните глотки, скоты, радоваться нечему». Он вылез из машины у подъезда городской думы, где десятки женских рук (дочерей керосиновых, железнодорожных, консервных и прочих королей) осыпали его цветами.

Взбегая по лестнице, он посылал воздушные поцелуйчики направо и налево. В зале грянула музыка в честь божьего купчины. Он сел, и сели все. Белоснежный стол в виде буквы «П» пестрел цветами, сверкал хрусталем. У каждого прибора лежало по одиннадцати серебряных ножей и одиннадцати вилок различных размеров (не считая ложек, ложечек, пинцетов для омаров и щипчиков для спаржи). Нужно было не ошибиться,— каким ножом и вилкой что есть.

Гарин скрипнул зубами от злости: аристократы, подумаешь,— из двухсот человек за столом три четверти торговали селедками на улице, а теперь иначе как при помощи одиннадцати вилок им неприлично кушать! Но глаза были устремлены на диктатора, и он и на этот раз подчинился общественному давлению — держал себя за столом образцово.

После черепахового супа начались речи. Гарин выслушивал их стоя, с бокалом шампанского. «Напьюсь!» — зигзагом проносилось в голове. Напрасная попытка.

Двум своим соседкам, болтливым красавицам, он даже подтвердил, что действительно по вечерам читает библию.

Между третьим сладким и кофе он ответил на речи:

«Господа, власть, которой вы меня облекли, я принимаю как перст божий, и священный долг моей совести повелевает употребить эту небывалую в истории власть на расширение наших рынков, на пышный расцвет нашей промышленности и торговли и на подавление безнравственных попыток черни к ниспровержению существующего строя...» И так далее...

Речь произвела отрадное впечатление. Правда, по окончании ее диктатор прибавил, как бы про себя, три

каких-то энергичных слова, но они были сказаны на непонятном, видимо русском, языке и прошли незамеченными. Затем Гарин поклонился на три стороны и вышел, сопровождаемый воем труб, грохотом литавр и радостными восклицаниями. Он поехал домой.

В вестибюле дворца швырнул на пол трость и шляпу (паника среди кинувшихся поднимать лакеев), глубоко засунул руки в карманы штанов и, зло задрав бородку, поднялся по пышному ковру. В кабинете его ожидал личный секретарь.

— В семь часов вечера в клубе «Пасифик» в честь господина диктатора состоится ужин, сопровождаемый симфоническим оркестром.

— Так,— сказал Гарин. (Опять прибавил три непонятных слова по-русски.) — Еще что?

— В одиннадцать часов сегодня же в белой зале отеля «Индиана» состоится бал в честь...

— Телефонируйте туда и туда, что я заболел, объевшись в городской ратуше крабами.

— Осмелюсь выразить опасение, что хлопот будет больше от мнимой болезни: к вам немедленно приедет весь город выражать соболезнование. Кроме того — газетные хроникеры. Они будут пытаться проникнуть даже через каминные трубы...

— Вы правы. Я еду.— Гарин позвонил.— Ванну. Приготовить вечернее платье, регалии и ордена.— Некоторое время он ходил, вернее — бегал по ковру.— Еще что?

— В приемной несколько дам ожидают аудиенции.

— Не принимаю.

— Они ждут с полудня.

— Не желаю. Отказать.

— С ними слишком трудно бороться. Осмелюсь заметить: это дамы высшего общества. Три знаменитых писательницы, две кинозвезды, одна путешественница в автомобиле с мировым стажем и одна известная благотворительница.

— Хорошо... Просите... Все равно какую-нибудь...

Гарин сел к столу (налево — радиоприемник, направо — телефоны, прямо — труба диктофона). Придви-

нул чистую четвертушку бумаги, обмакнул перо и вдруг задумался...

«Зоя,— начал писать он по-русски твердым, крупным почерком,— друг мой, только вы одна в состоянии понять, какого я сыграл дурака...»

— Тс-с-с,— послышалось у него за спиной.

Гарин резко всем телом повернулся в кресле. Секретарь уже ускользнул в боковую дверь,— посреди кабинета стояла дама в светло-зеленом. Она слабо вскрикнула, стискивая руки. На лице изобразилось именно то, что она стоит перед величайшим в истории человеком. Гарин секунду рассматривал ее. Пожал плечами.

— Раздевайтесь! — резко приказал он и повернулся в кресле, продолжая писать.

. . . .

Без четверти восемь Гарин поспешно подошел к столу. Он был во фраке, со звездами, регалиями и лентой поверх жилета. Раздавались резкие сигналы радиоприемника, всегда настроенного на волну станции Золотого острова. Гарин надел наушники. Голос Зои, явственный, но неживой, точно с другой планеты, повторял по-русски:

— Гарин, мы погибли... Гарин, мы погибли... На острове восстание. Большой гиперболоид захвачен... Янсен со мной... Если удастся,— бежим на «Аризоне».

Голос прервался. Гарин стоял у стола, не снимая наушников. Личный секретарь, с цилиндром и тростью Гарина, ждал у дверей. И вот приемник снова начал подавать сигналы. Но другой уже голос, мужской, резкий, заговорил по-английски:

«Трудящиеся всего мира. Вам известны размеры и последствия паники, охватившей Соединенные Штаты...»

. . . .

Дослушав до конца воззвание Шельги, Гарин снял наушники. Не спеша, с кривой усмешкой закурил сигару. Из ящиков стола вынул пачку стодолларовых бумажек и никелированный аппарат в виде револьвера с толстым дулом: это было его последнее изобретение — карманный гиперболоид. Взмахом бровей подозвал личного секретаря:

— Распорядитесь немедленно приготовить дорожную машину.

У секретаря первый раз за все время поднялись веки, рыжие глаза колюче взглянули на Гарина:

— Но, господин диктатор...

— Молчать! Немедленно передать начальнику войск, губернатору города и гражданским властям, что с семи часов вводится военное положение. Единственная мера пресечения беспорядка в городе — расстрел.

Секретарь мгновенно исчез за дверью.

Гарин подошел к тройному зеркалу. Он был в регалиях и звездах, бледный, похожий на восковую куклу из паноптикума. Он долго глядел на себя, и вдруг один глаз его сам собою насмешливо подмигнул... «Уноси ноги, Пьер Гарри, уноси ноги поскорее»,— проговорил он самому себе шепотом.

122

События на Золотом острове начались к вечеру двадцать третьего июня. Весь день бушевал океан. Грозовые тучи ползли с юго-запада. Трещало небо от огненных зигзагов. Водяная пыль перелетала бешеным туманом через весь остров.

В конце дня гроза ушла, молнии полыхали далеко за краем океана, но ветер с неослабеваемой силой клонил к земле деревья, гнул стрелы высоких фонарей, рвал проволоки, уносил бесформенными полотнищами крыши с бараков и выл и свистал по всему острову с такой сатанинской злобой, что все живое попряталось по домам. В гавани скрипели корабли на причалах, несколько барок было сорвано с якорных цепей и унесено в океан. Как поплавок, одна в небольшой гавани, против дворца прыгала на волнах «Аризона».

Население острова сильно уменьшилось за последнее время. Работы в шахте были приостановлены. Грандиозные постройки мадам Ламоль еще не начинались. Из шести тысяч рабочих осталось около пятисот. Остальные покинули остров, нагруженные золотом. Опу-

стевшие бараки рабочего поселка, Луна-парк, публичные дома сносили, землю выравнивали под будущую стройку.

Гвардейцам окончательно нечего было делать на этом мирном клочке земли. Прошло то время, когда желтобелые, как сторожевые псы, торчали с винтовками на скалах, шагали вдоль проволок, многозначительно пощелкивая затворами. Гвардейцы начали спиваться. Тосковали по большим городам, шикарным ресторанам, веселым женщинам. Просились в отпуск, грозили бунтом. Но было строгое распоряжение Гарина: ни отпусков, ни увольнений. Гвардейские казармы были под постоянным прицелом ствола большого гиперболоида.

В казармах шла отчаянная игра. Расплачивались именными записками, так как золото, лежавшее штабелями около казарм, надоело всем хуже горькой редьки. Играли на любовниц, на оружие, на обкуренные трубки, на бутылки старого коньяку или на — «раз-два по морде». К вечеру обычно вся казарма напивалась вдребезги. Генерал Субботин едва уже мог поддерживать не то что дисциплину,— какое там,— просто приличие.

— Господа офицеры, стыдно,— гремел ежевечерне голос генерала Субботина в офицерской столовой,— опустились, господа офицеры, на полу наблевано-с, воздух как в бардаке-с. В кальсонах изволите щеголять, штаны проиграли-с. Удручен, что имею несчастье командовать бандой сволочей-с.

Никакие меры воздействия не помогали. Но никогда еще не было такого пьянства, как в день шторма двадцать третьего июня. Завывающий ветер вогнал гвардейцев в дикую тоску, навеял давние воспоминания, заныли старые раны. Водяная пыль била дождем в окно. Ураганным огнем ухала и ахала небесная артиллерия. Дрожали стены, звенели стаканы на столах. Гвардейцы за длинными столами, положив на них локти, подпирая удалые головы, нечесаные, немытые, пели вражескую песню: «Эх, яблочко, куды котисся...» И песня эта, черт знает из какой далекой жизни завезенная на затерянный среди волн островок, казалась щепоткой родной соли. Мотались в слезах пьяные головы. Генерал Суб-

ботин охрип, воздействуя,— послал всех к чертям свинячьим, напился сам.

Разведка Ревкома (в лице Ивана Гусева) донесла о тяжком положении противника в казармах. В седьмом часу вечера Шельга с пятью рослыми шахтерами подошел к гауптвахте (перед казармами) и начал ругаться с двумя подвыпившими часовыми, стоявшими у винтовок в козлах. Увлеченные русскими оборотами речи, часовые утратили бдительность, внезапно были сбиты с ног, обезоружены и связаны. Шельга овладел сотней винтовок. Их сейчас же роздали рабочим, подходившим от фонаря к фонарю, прячась за деревьями и кустами, ползя через лужайки.

Сто человек ворвались в казармы. Начался чудовищный переполох, гвардейцы встретили наступающих бутылками и табуретами, отступили, организовались и открыли револьверный огонь. На лестницах, в коридорах, в дортуарах шел бой. Трезвые и пьяные дрались врукопашную. Из разбитых окон вырывались дикие вопли. Нападавших было мало,— один на пятерых,— но они молотили, как цепями, мозольными кулачищами изнеженных желтобелых. Подбегали подкрепления. Гвардейцы начали выкидываться из окошек. В нескольких местах вспыхнул пожар, казармы заволокло дымом.

123

Янсен бежал по пустынным неосвещенным комнатам дворца. С грохотом и шипеньем обрушивался прибой на веранду. Свистал ветер, потрясая оконные рамы. Янсен звал мадам Ламоль, прислушивался в ужасающей тревоге.

Он побежал вниз, на половину Гарина, летел саженными прыжками по лестницам. Внизу слышны были выстрелы, отдельные крики. Он выглянул во внутренний сад. Пусто, ни души. На противоположной стороне, под аркой, затянутой плющом, снаружи ломились в ворота. Как можно было так крепко спать, что только пуля, разбившая оконное стекло, разбудила Янсена. Мадам Ламоль бежала? Быть может, убита?

Он отворил какую-то дверь наугад. Вошел. Четыре голубоватых шара и пятый, висящий под мозаичным потолком, освещали столы, уставленные приборами, мраморные доски с измерителями, лакированные ящички и шкафчики с катодными лампами, провода динамо, письменный стол, заваленный чертежами. Это был кабинет Гарина. На ковре валялся скомканный платочек. Янсен схватил его,— он пахнул духами мадам Ламоль. Тогда он вспомнил, что из кабинета есть подземный ход к лифту большого гиперболоида и где-то здесь должна быть потайная дверь. Мадам Ламоль, конечно, при первых же выстрелах кинулась на башню,— как было не догадаться!

Он оглядывался, ища эту дверцу. Но вот послышался звон разбиваемых стекол, топот ног, за стеной начали перекликаться торопливые голоса. Во дворец ворвались. Так что же медлит мадам Ламоль? Он подскочил к двустворчатой резной двери и закрыл ее на ключ. Вынул револьвер. Казалось, весь дворец наполнился шагами, голосами, криками.

— Янсен!

Перед ним стояла мадам Ламоль. Ее побледневшие губы зашевелились, но он не слышал, что она сказала. Он глядел на нее, тяжело дыша.

— Мы погибли, Янсен, мы погибли! — повторила она.

На ней было черное платье. Руки, узкие и стиснутые, прижаты к груди. Глаза взволнованы, как синяя буря. Мадам Ламоль сказала:

— Лифт большого гиперболоида не действует, лифт поднят на самый верх. На башне кто-то сидит. Они забрались снаружи по перекладинам... Я уверена, что это — мальчишка Гусев...

Хрустнув пальцами, она глядела на резную дверь. Брови ее сдвигались. За дверью бешено протопали десятки ног. Раздался дикий вопль. Возня. Торопливые выстрелы. Мадам Ламоль стремительно села к столу, включила рубильник; мягко завыло динамо, лилово засветились грушевидные лампы. Застучал ключ, посылая сигналы.

— Гарин, мы погибли... Гарин, мы погибли...— заговорила, она нагнувшись над сеткой микрофона.

Через минуту резная дверь затрещала под ударами кулаков и ног.

— Отворите дверь! Отворяй!..— раздались голоса.

Мадам Ламоль схватила Янсена за руку, потащила к стене и ногой нажала на завиток резного украшения у самого пола. Штофная панель между двух полуколонок неслышно упала в глубину. Мадам Ламоль и Янсен проскользнули через потайное отверстие в подземный ход. Панель встала на прежнее место.

. . . .

После грозы особенно ярко мерцали и горели звезды над взволнованным океаном. Ветер валил с ног. Высоко взлетал прибой. Грохотали камни. Сквозь шум океана слышны были выстрелы. Мадам Ламоль и Янсен бежали, прячась за кустами и скалами, к северной бухте, где всегда стоял моторный катерок. Направо черной стеной поднимался дворец, налево — волны, светящиеся гривы пены и —далеко — огоньки танцующей «Аризоны». Позади решетчатым силуэтом, уходящим в небо, рисовалась башня большого гиперболоида. На самом верху ее был свет.

— Смотрите,—откинувшись на бегу и махнув рукой в сторону башни, крикнула мадам Ламоль,— там свет! Это смерть!

Она спустилась по крутому откосу к бухте, закрытой от волн. Здесь у лестницы, ведущей на веранду дворца, у небольших бонов, болтался катерок. Она прыгнула в него, перебежала на корму и трясущимися руками включила стартер.

— Скорее, скорее, Янсен!

Катерок был ошвартован на цепи. Засунув в кольцо ствол револьвера, Янсен ломал замок. Наверху, на веранде, со звоном распахнулись двери, появились вооруженные люди. Янсен бросил револьвер и захватил цепь у корня. Мускулы его затрещали, шея вздулась, лопнул крючок на вороте куртки. Внезапно застрелял включенный мотор. Люди на террасе побежали вниз по лестнице, размахивая оружием, крича: «Стой, стой!»

Последним усилием Янсен вырвал цепь, далеко отпихнул пыхтящий катер на волны и на четвереньках побежал вдоль борта к рулю.

Описав крутую дугу, катер полетел к узкому выходу из бухты. Вдогонку сверкнули выстрелы.

. . . .

— Трап, черти соленые! — заорал Янсен на катере, пляшущем под бортом «Аризоны».— Где старший помощник? Спит! Повешу!

— Здесь, здесь, капитан. Есть, капитан.

— Руби канаты! Включай моторы! Полный газ! Туши огни!

— Есть, есть, капитан.

Мадам Ламоль первая поднялась по штормовому трапу. Перегнувшись через борт, она увидела, что Янсен силится встать, и падает как-то на бок, и судорожно ловит брошенный конец. Волна покрыла его вместе с катером, и снова вынырнуло его отплевывающееся лицо, искаженное гримасой боли.

— Янсен, что с вами?

— Я ранен.

Четыре матроса спрыгнули в катерок, подхватили Янсена, подняли на борт. На палубе он упал, держась за бок, потерял сознание. Его отнесли в каюту.

Полным ходом, разрезая волны, зарываясь в водяные пропасти, «Аризона» уходила от острова. Командовал старший помощник. Мадам Ламоль стояла рядом с ним на мостике, вцепившись в перила. С нее лила вода, платье облепило ее. Она глядела, как разгорается зарево (горели казармы) и черный дым, проверченный огненными спиралями, застилает остров. Но вот она, видимо, что-то заметила, схватила командира за рукав:

— Поверните на юго-запад...

— Здесь рифы, мадам.

— Молчать, не ваше дело!.. Проходите, имея остров на левом борту.

Она побежала к решетчатой башенке гиперболоида. Пелена воды, летя от носа по палубе, покрыла мадам Ламоль, сбила с ног. Матрос подхватил ее, мокрую и взбесившуюся от злости. Она вырвалась, вскарабкалась на башенку.

На острове, высоко над дымом пожара, сверкала ослепительная звезда,— это работал большой гиперболоид, нащупывая «Аризону».

Мадам Ламоль решила драться, все равно никаким ходом не уйти от луча, хватающего с башни на много миль. Луч сначала метался по звездам, по горизонту, описывая в несколько секунд круг в четыреста километров. Но теперь он упорно нащупывал западный сектор океана, бежал по гребням волн, и след его обозначался густыми клубами пара.

«Аризона» шла полным ходом в семи милях вдоль острова. Зарываясь до мачт в шипящую воду, взлетала скорлупкой на волну, и тогда с кормовой башенки мадам Ламоль била ответным лучом по острову. Уже запылали на нем кое-где деревянные постройки. Снопы искр взносились высоко, будто раздуваемые гигантскими мехами. Зарево бросало отблески на весь черный, взволнованный океан. И вот, когда «Аризона» поднялась на гребень, с острова увидели силуэт яхты, и жгуче-белая игла заплясала вокруг нее, ударяя сверху вниз, зигзагами, и удары, совсем близко, сближаясь, падали то перед кормой, то перед носом.

Зое казалось, что ослепительная звезда колет ей прямо в глаза, и она сама старалась уткнуться стволом аппарата в эту звезду на далекой башне. Бешено гудели винты «Аризоны», корма обнажилась, и судно начало уже клониться носом, соскальзывая с волны. В это время луч, нащупав прицел, взвился, затрепетал, точно примериваясь, и, не колеблясь, стал падать на профиль яхты. Зоя закрыла глаза. Должно быть, у всех, кто на борту был свидетелем этой дуэли, остановилось сердце.

Когда Зоя открыла глаза, перед ней была стена воды, пропасть, куда соскользнула «Аризона». «Это еще не смерть»,— подумала Зоя. Сняла руки с аппарата, и руки ее без сил повисли.

Когда снова начался подъем на волну, стало понятно, почему миновала смерть. Огромные тучи дыма покрывали весь остров и башню,—должно быть, взорвались нефтяные цистерны. За дымовой завесой «Аризона» могла спокойно уходить.

Зоя не знала, удалось ли ей сбить большой гиперболоид, или только за дымом не стало видно звезды. Но не все ли теперь равно... Она с трудом спустилась с башенки. Придерживаясь за снасти, пробралась в каюту, где за синими занавесками тяжело дышал Янсен. Повалилась в кресло, зажгла восковую спичку, закурила.

. . . .

«Аризона» уходила на северо-запад. Ветер ослаб, но океан все еще был неспокоен. По многу раз в день яхта посылала условные сигналы, пытаясь связаться с Гариным, и в сотнях тысяч радиоприемников по всему свету раздавался голос Зои: «Что делать, куда идти? Мы на такой-то широте и долготе. Ждем приказаний».

Океанские пароходы, перехватывая эти радио, спешили уйти подальше от страшного места, где снова обнаружилась «Аризона» — «гроза морей».

124

Облака горящей нефти окутывали Золотой остров. После урагана наступил штиль, и черный дым поднимался к безоблачному небу, бросая на воды океана огромную тень в несколько километров.

Остров казался вымершим, и только в стороне шахты, как всегда, не переставая поскрипывали черпаки элеваторов.

Затем в тишине раздалась музыка: торжественный медленный марш. Сквозь дымовую мглу можно было видеть сотни две людей: они шли, подняв головы, их лица были суровы и решительны. Впереди четверо несли на плечах что-то завернутое в красное знамя. Они взобрались на скалу, где возвышалась решетчатая башня большого гиперболоида, и у подножия ее опустили длинный сверток.

Это было тело Ивана Гусева. Он погиб вчера во время боя с «Аризоной». Взобравшись, как кошка, снаружи по решетчатым креплениям башни, он включил большой гиперболоид, нащупал «Аризону» среди огромных волн.

Огненный шнур с «Аризоны» плясал по острову, поджигая постройки, срезывал фонарные столбы, деревья. «Гадюка»,— шептал Иван, поворачивая дуло аппарата, и так же, как во время письменного урока, когда Тарашкин учил его грамоте, помогал себе языком.

Он поймал «Аризону»» на фокус и бил лучом по воде перед кормой и перед носом, сближая угол. Мешали облака дыма от загоревшихся цистерн. Вдруг луч с «Аризоны» превратился в ослепительную звезду, и она, сверкая, ужалила Ивана в глаза. Пронзенный насквозь лучом, он упал на кожух большого гиперболоида...

— Спи спокойно, Ванюша, ты умер как герой,— сказал Шельга. Он опустился перед телом Ивана, отогнул край знамени и поцеловал мальчика в лоб.

Трубы заиграли, и голоса двухсот человек запели «Интернационал».

Немного времени спустя из клубов черного дыма вылетел двухмоторный мощный аэроплан. Забирая высоту, он повернул на запад...

125

— Все ваши распоряжения исполнены, господин диктатор...

Гарин запер выходную дверь на ключ, подошел к плоскому книжному шкафу и справа от него провел рукой.

Секретарь сказал с усмешкой:

— Кнопка потайной двери с левой стороны, господин диктатор...

Гарин быстро, странно взглянул на него. Нажал кнопку, книжный шкаф бесшумно отодвинулся, открывая узкий проход в потайные комнаты дворца.

— Прошу,— сказал Гарин, предлагая секретарю пройти туда первым. Секретарь побледнел, Гарин с ледяной вежливостью поднял лучевой револьвер в уровень его лба.— Благоразумнее подчиняться, господин секретарь...

126

Дверь из капитанской каюты была открыта настежь. На койке лежал Янсен.

Яхта едва двигалась. В тишине было слышно, как разбивалась о борт волна.

Желание Янсена сбылось,— он снова был в океане, один с мадам Ламоль. Он знал, что умирает. Несколько дней боролся за жизнь,— сквозная пулевая рана в живот,— и, наконец, затих. Глядел на звезды через открытую дверь, откуда лился воздух вечности. Не было ни желаний, ни страха, только важность перехода в покой.

Снаружи, появившись тенью на звездах, вошла мадам Ламоль. Наклонилась над ним. Спросила шепотом, как он себя чувствует. Он ответил движением век, и она поняла, что он хотел ей сказать: «Я счастлив, ты со мной». Когда у него несколько раз, захватывая воздух, судорожно поднялась грудь, Зоя села около койки и не двигалась. Должно быть, печальные мысли бродили в ее голове.

— Друг мой, друг мой единственный,— проговорила она с тихим отчаянием,— вы один на свете любили меня. Одному вам я была дорога. Вас не будет... Какой холод, какой холод...

Янсен не отвечал, только движением век будто подтвердил о наступающем холоде. Она видела, что нос его обострился, рот сложен в слабую улыбку. Еще недавно его лицо горело жаровым румянцем, теперь было как восковое. Она подождала еще много минут, потом губами дотронулась до его руки. Но он еще не умер. Медленно приоткрыл глаза, разлепил губы. Зое показалось, что он сказал: «Хорошо...»

Потом лицо его изменилось. Она отвернулась и осторожно задернула синие шторки.

127

Секретарь — самый элегантный человек в Соединенных Штатах — лежал ничком, вцепившись застывшими пальцами в ковер: он умер мгновенно, без крика. Гарин, покусывая дрожащие губы, медленно засовы-

вал в карман пиджака лучевой револьвер. Затем подошел к низенькой стальной двери. Набрал на медном диске одному ему известную комбинацию букв,— дверь раскрылась. Он вошел в железобетонную комнату без окон.

Это был личный сейф диктатора. Но вместо золота или бумаг здесь находилось нечто гораздо более ценное для Гарина: привезенный из Европы и сначала тайно содержавшийся на Золотом острове, затем — здесь — в потайных комнатах дворца, третий двойник Гарина — русский эмигрант, барон Корф, продавший себя за огромные деньги.

Он сидел в мягком кожаном кресле, задрав ноги на золоченый столик, где стояли в вазах фрукты и сласти (пить ему не разрешалось). На полу валялись книжки — английские уголовные романы. От скуки барон Корф плевал косточками вишен в круглый экран телевизорного аппарата, стоявшего в трех метрах от его кресла.

— Наконец-то,— сказал он, лениво обернувшись к вошедшему Гарину.— Куда вы, черт вас возьми, провалились?.. Слушайте, долго вы еще намерены меня мариновать в этом погребе? Ей-богу, я предпочитаю голодать в Париже...

Вместо ответа Гарин содрал с себя ленту, сбросил фрак с орденами и регалиями.

— Раздевайтесь.

— Зачем? — спросил барон Корф с некоторым любопытством.

— Давайте ваше платье.

— В чем дело?

— И — паспорт, все бумаги... Где ваша бритва?

Гарин подсел к туалетному столику. Не намыливая щек, морщась от боли, быстро сбрил усы и бороду.

— Между прочим, рядом в комнате лежит человек. Запомните — это ваш личный секретарь. Когда его хватятся, можете сказать, что услали его с секретным поручением... Понятно вам?

— В чем дело, я спрашиваю? — заорал барон Корф, хватая на лету гаринские брюки.

— Я пройду отсюда потайным ходом в парк, к моей

машине. Вы запрячете секретаря в камин и пройдете в мой кабинет. Немедленно вызовете по телефону Роллинга. Надеюсь, вы хорошо запомнили весь механизм моей диктатуры? Я, затем мой первый заместитель — начальник секретной полиции, затем мой второй заместитель — начальник отдела пропаганды, затем мой третий заместитель — начальник отдела провокации. Затем тайный совет трехсот, во главе стоит Роллинг. Если вы еще не совсем превратились в идиота, вы должны были все это вызубрить назубок... Снимайте же брюки, черт вас возьми!.. Роллингу по телефону скажите, что вы, то есть Пьер Гарин, становитесь во главе войск и полиции. Вам придется серьезно драться, милейший...

— Позвольте, а если Роллинг угадает по голосу, что это не вы, а я...

— А! В конце концов им наплевать... Был бы диктатор...

— Позвольте, позвольте,— значит с этой минуты я превращаюсь в Петра Петровича Гарина?

— Желаю успеха. Наслаждайтесь полнотой власти. Все инструкции на письменном столе... Я — исчезаю...

Гарин, так же, как давеча в зеркало, подмигнул своему двойнику и скрылся за дверью.

128

Едва только Гарин — один в закрытой машине — помчался через центральные улицы города, исчезло всякое сомнение: он вовремя унес ноги. Рабочие районы и предместья гудели стотысячными толпами... Кое-где уже плескались полотнища революционных знамен. Поперек улиц торопливо нагромождались баррикады из опрокинутых автобусов, мебели, выкидываемой в окошки, дверей, фонарных столбов, чугунных решеток.

Опытным глазом Гарин видел, что рабочие хорошо вооружены. На грузовиках, продирающихся сквозь толпы, развозили пулеметы, гранаты, винтовки... Несомненно это была работа Шельги...

Несколько часов тому назад Гарин со всей уверенностью бросил бы войска на восставших. Но сейчас он

лишь нервнее нажимал педаль машины, несущейся среди проклятий и криков: «Долой диктатора! Долой совет трехсот!»

Гиперболоид был в руках Шельги. Об этом знали, об этом кричали восставшие. Шельга разыграет революцию, как дирижер — героическую симфонию.

Громкоговорители, установленные по приказу Гарина еще во время продажи золота, теперь работали против него — разносили на весь мир вести о поголовном восстании.

Двойник Гарина, против всех ожиданий Петра Петровича, начал действовать решительно и даже не без успеха. Его отборные войска штурмовали баррикады. Полиция с аэропланов сбрасывала газовые бомбы. Конница рубила палашами людей на перекрестках. Особые бригады взламывали дверные замки, врывались в жилища рабочих, уничтожая все живое.

Но восставшие держались упорно. В других городах, в крупных фабричных центрах, они решительно переходили в наступление. К середине дня вся страна пылала восстанием...

Гарин выжимал из машины всю скорость ее шестнадцати цилиндров. Ураганом проносился по улице провинциальных городков, сбивал свиней, собак, давил кур. Иной прохожий не успевал выпучить глаза, как запыленная, черная огромная машина диктатора, уменьшаясь и ревя, скрывалась за поворотом...

Он останавливался только на несколько минут, чтобы набрать бензина, налить воды в радиатор... Мчался всю ночь.

Наутро власть диктатора еще не была свергнута. Столица пылала, зажженная термитными бомбами, на улицах валялось до пятидесяти тысяч трупов. «Вот тебе и барон!» — усмехнулся Гарин, когда на остановке громкоговоритель прохрипел эти вести...

В пять часов следующего дня его машину обстреляли...

В семь часов, пролетая по какому-то городку, он видел революционные флаги и поющих людей...

Он мчался всю вторую ночь — на запад, к Тихому океану. На рассвете, наливая бензин, услышал, нако-

нец, из черного горла громкоговорителя хорошо знакомый голос Шельги:

— Победа, победа... Товарищи, в моих руках — страшное орудие революции — гиперболоид...

Скрипнув зубами, не дослушав, Гарин помчался дальше. В десять часов утра он увидел первый плакат сбоку шоссе; на фанерном щите огромными буквами стояло:

«Товарищи... Диктатор взят живым... Но диктатор оказался двойником Гарина, подставным лицом. Петр Гарин скрылся. Он бежит на запад... Товарищи, проявляйте бдительность, задержите машину диктатора... (Следовали приметы.) Гарин не должен уйти от революционного суда...»

В середине дня Гарин обнаружил позади себя мотоцикл. Он не слышал выстрелов, но в десяти сантиметрах от его головы в стекле машины появилась пулевая дырка с трещинками. Затылку стало холодно. Он выжал весь газ, какой могла дать машина, метнулся за холм, свернул к лесистым горам. Через час влетел в ущелье. Мотор начал сдавать и заглох. Гарин выскочил, свернул руль, пустил машину под откос и, с трудом разминая ноги, стал взбираться по крутизне к сосновому бору.

Сверху он видел, как промчались по шоссе три мотоцикла. Задний остановился. Вооруженный, по пояс голый человек соскочил с него и нагнулся над пропастью, где валялась разбитая машина диктатора.

В лесу Петр Петрович снял с себя все, кроме штанов и нательной фуфайки, надрезал кожу на башмаках и пешком начал пробираться к ближайшей станции железной дороги.

На четвертый день он добрался до уединенной приморской мызы близ Лос-Анжелоса, где в ангаре висел, всегда наготове, его дирижабль.

129

Утренняя заря взошла на безоблачное небо. Розовым паром дымился океан. Гарин, перегнувшись в окно гондолы дирижабля, с трудом в бинокль разыскал глу-

боко внизу узенькую скорлупу яхты. Она дремала на зеркальной воде, просвечивающей сквозь легкий мглистый покров.

Дирижабль начал опускаться. Он весь сверкал в лучах солнца. С яхты его заметили, подняли флаг. Когда гондола коснулась воды, от яхты отделилась шлюпка. На руле сидела Зоя. Гарин едва узнал ее — так осунулось ее лицо. Он спрыгнул в шлюпку, с улыбочкой, как ни в чем не бывало, сел рядом с Зоей, потрепал ее по руке:

— Рад тебя видеть. Не грусти, крошка. Сорвалось — наплевать. Заварим новую кашу... Ну, чего ты повесила нос?..

Зоя, нахмурившись, отвернулась, чтобы не видеть его лица.

— Я только что похоронила Янсена. Я устала. Сейчас мне все — все равно.

Из-за края горизонта поднялось солнце,— огромный шар выкатился над синей пустыней, и туман растаял, как призрачный.

Протянулась солнечная дорога, переливаясь маслянистыми бликами, и черным силуэтом на ней рисовались три наклонных мачты и решетчатые башенки «Аризоны».

— Ванну, завтрак и — спать,— сказал Гарин.

130

«Аризона» повернула к Золотому острову. Гарин решил нанести удар в самое сердце восставших — овладеть большим гиперболоидом и шахтой.

На яхте были срублены мачты, оба гиперболоида на носу и корме замаскированы досками и парусиной,— для того чтобы изменить профиль судна и подойти незамеченными к Золотому острову.

Гарин был уверен в себе, решителен, весел,— к нему снова вернулось хорошее настроение.

Утром следующего дня помощник капитана, взявший команду на судне после смерти Янсена, с тревогой указал на перистые облака. Они быстро поднимались

из-за восточного края океана, покрывали небо на огромной, десятикилометровой высоте. Надвигался шторм, быть может ураган — тайфун.

Гарин, занятый своими соображениями, послал капитана к черту.

— Ну, тайфун — ерунда собачья. Прибавьте ходу...

Капитан угрюмо глядел с мостика на быстро заволакивающееся небо. Приказал задраить люки, крепить на палубе шлюпки и все, что могло быть снесено.

Океан мрачнел. Порывами налетал ветер, угрожающим свистом предупреждал моряков о близкой беде. На место вестников урагана — высоких перистых облаков — поползли клубящиеся низкие тучи. Ветер все грознее волновал океан, пробегал неспокойной рябью по огромным волнам.

И вот с востока начала налезать черная, как овчина, низкая туча, со свинцовой глубиной. Порывы ветра стали яростными. Волны перекатывались через борт. И уже не рябью мялись горбы серо-холодных волн,— ветер срывал с них целые пелены, застилал туманом водяной пыли...

Капитан сказал Зое и Гарину:

— Идите вниз. Через четверть часа мы будем в центре тайфуна. Моторы нас не спасут.

Ураган обрушился на «Аризону» со всей яростью одиннадцати баллов. Яхта, зарываясь, валясь с борта на борт так, что днище обнажалось до киля, уже не слушаясь ни руля, ни винтов, неслась по кругам суживающейся спирали к центру тайфуна, или «окну», как его называют моряки.

«Окно», диаметром иногда до пяти километров,— центр вращения тайфуна; ветры силою двенадцати баллов несутся со всех направлений кругом «окна», уравновешивая свои силы на его периферии.

Туда, в такое «окно», уносилась круговоротом жалкая скорлупка — «Аризона».

Черные тучи касались палубы. Стало темно, как ночью. Бока яхты трещали. Люди, чтобы не разбиться, цеплялись за что попало. Капитан приказал привязать себя к перилам мостика.

«Аризону» подняло на гребень водяной горы, положило на борт и швырнуло в пучину. И вдруг — ослепительное солнце, мгновенное безветрие и зелено-прозрачные, сверкающие, как из жидкого стекла, волны — десятиэтажные громады, сталкивающиеся с оглушительным плеском, будто сам царь морской, Нептун, взбесясь, шлепал в ладоши...

Это и было «окно», самое опасное место тайфуна. Здесь токи воздуха устремляются отвесно вверх, унося водяные пары на высоту десяти километров, и там раскидывают их пленками перистых облаков — верхних предвестников тайфуна...

С борта «Аризоны» было снесено волнами все: шлюпки, обе решетчатые башенки гиперболоидов, труба и капитанский мостик вместе с капитаном...

«Окно», окруженное тьмой и крутящимися ураганами, неслось по океану, увлекая на толчее чудовищных волн «Аризону».

Моторы перегорели, руль был сорван.

. . . .

— Я больше не могу,— простонала Зоя.

— Когда-нибудь это должно кончиться... О черт! — хрипло ответил Гарин.

Оба они были избиты, истерзаны ударами о стены и о мебель. У Гарина рассечен лоб, Зоя лежала на полу каюты, цепляясь за ножку привинченной койки. На полу вместе с людьми катались чемоданы, книги, вывалившиеся из шкафа, диванные подушки, пробковые пояса, апельсины, осколки посуды.

— Гарин, я не могу, выбрось меня в море...

От страшного толчка Зоя оторвалась от койки, покатилась. Гарин кувырком перелетел через нее, ударился о дверь...

Раздался треск, раздирающий хруст. Грохот падающей воды. Человеческий вопль. Каюта распалась. Мощный поток воды подхватил двух людей, швырнул их в кипящую зелено-холодную пучину...

. . . .

Когда Гарин открыл глаза, в десяти сантиметрах от его носа маленький рачок-отшельник, залезший до половины в перламутровую раковину, таращил глаза,

изумленно шевеля усами. Гарин с усилием понял: «Да, я жив...» Но еще долго не в силах был приподняться. Он лежал на боку, на песке. Правая рука была повреждена. Морщась от боли, он все же подобрал ноги, сел.

Невдалеке, нагнувши тонкий ствол, стояла пальма, свежий ветер трепал ее листья... Гарин поднялся, пошатываясь, пошел. Вокруг, куда бы он ни посмотрел, бежали и, добежав до низкого берега, с шумом разбивались зелено-синие, залитые солнцем волны... Несколько десятков пальм простирало по ветру широкие, как веера, листья. На песке там и сям валялись осколки дерева, ящики, какие-то тряпки, канаты... Это было все, что осталось от «Аризоны», разбившейся вместе со всем экипажем о рифы кораллового острова.

Гарин, прихрамывая, пошел в глубину островка, туда, где более возвышенные места заросли низким кустарником и ярко-зеленой травой. Там лежала Зоя на спине, раскинув руки. Гарин присел над ней, боясь прикоснуться к ее телу, чтобы не ощутить холода смерти. Но Зоя была жива,— веки ее задрожали, запекшиеся губы разлепились.

. . . .

На коралловом островке находилось озерцо дождевой воды, горьковатой, но годной для питья. На отмелях — раковины, мелкие ракушки, полипы, креветки — все, что некогда служило пищей первобытному человеку. Листья пальм могли служить одеждой и прикрывать от полдневного солнца.

Два голых человека, выброшенные на голую землю, могли кое-как жить... И они начали жить на этом островке, затерянном в пустыне Тихого океана. Не было даже надежды, что мимо пройдет корабль и, заметив их, возьмет на борт.

Гарин собирал раковины или рубашкой ловил рыбу в пресном озерце. Зоя нашла в одном из выброшенных ящиков с «Аризоны» пятьдесят экземпляров книги роскошного издания проектов дворцов и увеселительных павильонов на Золотом острове. Там же были законы и устав придворного этикета мадам Ламоль — повелительницы мира...

Целыми днями в тени шалаша из пальмовых листьев Зоя перелистывала эту книгу, созданную ее ненасытной фантазией. Оставшиеся сорок девять экземпляров, переплетенных в золото и сафьян, Гарин употребил в виде изгороди для защиты от ветра.

Гарин и Зоя не разговаривали. Зачем? О чем? Они всю жизнь были одиночками, и вот получили, наконец, полное, совершенное одиночество.

Они сбились в счете дней, перестали их считать. Когда проносились грозы над островом, озерцо наполнялось свежей дождевой водой. Тянулись месяцы, когда с безоблачного неба яростно жгло солнце. Тогда им приходилось пить тухлую воду...

Должно быть, и по нынешний день Гарин и Зоя собирают моллюсков и устриц на этом островке. Наевшись, Зоя садится перелистывать книгу с дивными проектами дворцов, где среди мраморных колоннад и цветов возвышается ее прекрасная статуя из мрамора,— Гарин, уткнувшись носом в песок и прикрывшись истлевшим пиджачком, похрапывает, должно быть тоже переживая во сне разные занимательные истории.

КОММЕНТАРИИ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

СОЮЗ ПЯТИ

Впервые под названием «Семь дней, в которые был ограблен мир» напечатан в первой книге альманаха «Ковш», ГИЗ, Л. 1925. Авторская дата — «Август 1924 г.».

Под названием «Союз пяти», без изменения текста опубликован в одноименном сборнике рассказов А. Толстого, ГИЗ, Л. 1925.

Примечание автора о достоверности в рассказе астрономических и физических данных не распространяется на изложенную инженером Корвиным теорию происхождения земли и луны, а также вычисленное им столкновение этих двух небесных тел через пятьдесят тысяч лет.

Инженер Лось, построивший в Петрограде в 1921 году аппарат для полета в космос, о котором говорит Корвин,— герой научно-фантастического романа А. Толстого «Аэлита» (см. т. 3 наст. изд.).

Идейный замысел рассказа «Союз пяти» — разоблачение магнатов американского капитала, стремящихся использовать достижения науки для захвата власти над миром,— получил свое более полное развитие в написанном год спустя научно-фантастическом романе «Гиперболоид инженера Гарина» (см. наст. том).

Включая «Союз пяти» в IX том Собрания сочинений, ГИЗ, М.— Л. 1927, автор провел незначительную стилистическую правку и дописал две фразы в финале рассказа: «Мы объявим

войну всех против всех, мы будем руководить этой бойней, где погибнет слабый и где сильный приобретет волчьи мускулы... И тогда мы наденем железную узду на возрожденного зверя...»

Печатается по тексту III тома Собрания сочинений Гос изд-ва «Художественная литература», Л. 1935, совпадающему с редакцией 1927 года.

ГОЛУБЫЕ ГОРОДА

Впервые с подзаголовком «Рассказ» напечатан в журнале «Красная новь», 1925, кн. 4 (май).

В ленинградской «Новой вечерней газете» от 11 апреля 1925 года в разделе «Литература наших дней. Кто и что пишет — о чем надо писать» напечатан ответ А. Толстого: «Я только что закончил рассказ «Голубые города» для журнала «Красная новь»... В автобиографии, написанной в последние годы жизни, писатель дает иное определение жанра этого произведения: «Началом работы по возвращении на родину были две вещи: повесть «Ибикус» и небольшая повесть «Голубые города», написанная после поездки на Украину...» (Краткая автобиография, см. т. 1 наст. изд.).

Это высказывание дает основание предполагать, что для общего фона, на котором развивается сюжет повести «Голубые города» — быта небольшого провинциального города в первые годы нэпа,— автор использовал впечатления своей поездки летом 1924 года, когда он совершил литературное турне по ряду городов Белоруссии и Украины.

Тема «Голубых городов» — драма участника гражданской войны, не сумевшего найти свое место в буднях строительства, пришедшего к трагическому столкновению с мещанством,— разрабатывается А. Толстым и в повести «Гадюка» (см. наст. том).

Незначительная стилистическая правка была проведена автором при публикации в IX томе Собрания сочинений, ГИЗ, М.— Л. 1927.

Печатается по тексту сборника А. Толстого «Избранные повести и рассказы», Гос. изд-во «Художественная литература», Л. 1937.

СЛУЧАЙ НА БАССЕЙНОЙ УЛИЦЕ

Впервые с подзаголовком «Из хроники Ленинградского губсуда» напечатан в журнале «Красная новь», 1926, кн. 12 (декабрь).

Без изменения текста под названием «Великосветские бандиты» и без подзаголовка вошел в одноименный сборник рассказов А. Толстого изд-ва «Огонек», М. 1927, и сборник того же названия, изд. «Orient», Рига, 1927.

Под первоначальным названием, с незначительными стилистическими исправлениями рассказ напечатан в сборнике «Древний путь», изд. «Круг», М. 1927.

С дальнейшими несущественными исправлениями рассказ вошел в XI том Собрания сочинений, ГИЗ, М.— Л. 1929, и III том Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935, по тексту которого и печатается в настоящем Собрании сочинений.

ВАСИЛИЙ СУЧКОВ
(*Картинки нравов Петербургской стороны*)

Впервые напечатан в журнале «Новый мир», 1927, кн. 1 (январь).

С незначительной стилистической правкой рассказ вошел в сборник А. Толстого «Древний путь», изд. «Круг», М. 1927.

Исправления того же порядка, но в большем количестве автор провел, включая рассказ в XI том Собрания сочинений, ГИЗ, М.— Л. 1929.

Печатается по тексту III тома Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935, совпадающему с редакцией 1929 года.

ДРЕВНИЙ ПУТЬ

Впервые под названием «На ржавом пароходе» напечатан в ленинградской «Красной газете», веч. вып., 1927, № 73, 19 марта, и № 74, 20 марта. Под названием «Древний путь», с подзаголовком «Рассказ», опубликован в журнале «Новый мир», 1927, № 3 (март).

С небольшими стилистическими исправлениями и авторской датой: «12 января 1927 г.» — вошел в сборник рассказов А. Толстого «Древний путь», изд. «Круг», М. 1927.

Дальнейшие, также небольшие, исправления стилистического характера автор последовательно проводил, включая «Древний путь» в XI том Собрания сочинений, ГИЗ, М.— Л. 1929, и затем в сборник «Повести и рассказы (1910—1943)», «Советский писатель», М. 1944.

Для истории создания «Древнего пути» интересный материал дают воспоминания Н. В. Крандиевской-Толстой. В главе «Карковадо» она рассказывает о поездке их семьи весной 1919 года на пароходе «Карковадо» из Константинополя в Марсель. Приводим отрывки из этих воспоминаний, показывающие, какой жизненный материал использован писателем для создания фона, на котором раскрываются тягостные раздумия умирающего французского офицера Поля Торена. «То, что старуха,— пишет Н. В. Крандиевская-Толстая об одной из пассажирок «Карковадо»,— была хозяйкой брошенного в Одессе веселого дома, а племянницы — двумя наиболее ценными экземплярами этого заведения, стало известно на пароходе с первого дня. Это вызвало волнение среди экипажа и в машинном отделении, но пока волнение клокотало под почвой и мало кто из пассажиров его замечал (стр. 8) [...]. Ночью мы вошли в Салоники, и до рассвета «Карковадо» грузил французские войска, возвращавшиеся с фронта [...]. Утром зуавы в красных фесках лежали на палубе вповалку. Пробираясь на кухню за кипятком, мы с детьми шагали через ноги в грязных обмотках, через ранцы и спящие тела. Признав в нас русских, солдаты ободряюще покрикивали нам вслед: «Ленин карашо, ле совьет — карашо!»

Один, загорелый, в берете, взял Никиту на руки и подбросил в воздухе несколько раз. Никите это понравилось [...].

Новые пассажиры, видимо, чувствовали себя хозяевами на пароходе. Их было много. Они были веселы и возбуждены, как люди, только что избежавшие смертельной опасности.

Несмотря на запрет, солдаты бродили по палубам первого класса, заглядывая в двери бара и в окна салона, разглядывая бесцеремонно публику, зубоскаля и отпуская шуточки, не всегда безобидные (стр. 13—14) [...]. Уже вторую неделю волочит «Карковадо» свой отяжелевший и дряхлый корпус, борясь с течениями, заносимый ими в сторону. Его винты надрываются из последних сил, одолевая водяные просторы, а Мессинский пролив все еще впереди [...].

...Странные вещи творятся на пароходе. Вчера, среди бела дня, совершенно голая женщина перебежала мне дорогу по коридору и скрылась, хлопнув дверью, в одной из кают. Я так и не разглядела, кто это был, Эсфирь или Клавдия («воспитанницы» старухи.— *Ю. К.*).

Целый день в темном конце коридора толкутся и шепчутся солдаты. В воздухе топором висит запах капораля — француз-

ской махорки. Организуется таинственная очередь. Визг и хохот доносятся из служебной каюты. За попытку подойти вне очереди к двери вчера ночью молодой зуав выгрыз кусок спины чернокожему полковому коку, после чего оба африканца, сцепившись в клубок и кровоточа, катались по коридору» (стр. 19) (цитируется по рукописи. Архив А. Толстого, хранится в Институте мировой литературы им. А. М. Горького).

Н. В. Крандиевская-Толстая рассказывает и о первом возникновении замысла «Древнего пути». Как-то А. Толстой просил подсказать ему тему для рассказа. «Мне пришло в голову,— пишет она,— натолкнуть его на один сюжет. Впрочем, это был даже не сюжет и даже не тема. Просто захотелось снова заразить его тем смутным, поэтическим волнением, которое охватило когда-то нас обоих по пути в Марсель, через Дарданеллы, мимо греческого Архипелага.

— Ты помнишь остров Имброс, мимо которого мы плыли? — спросила я,— грозу над ним?

— Ну?

Вероятно, я говорила очень путано, сама плохо понимая, что к чему. Я напомнила ему днища опрокинутых пароходов у берегов Трои, оливы на плоскогорьях Имброса и красные поросли маков, мимо которых мы плыли так близко.

— Ты помнишь мальчика с дудкой? Он шел за стадом овец, как Дафнис. Помнишь зуавов из Салоник? Закат над Олимпом?

Вытряхивая все это и многое другое из закоулков памяти, я заметила, что он насторожился, помаргивая глазами, и вдруг провел рукой по лицу, сверху вниз, словно снимая паутину. Знакомый жест, собирающий внимание. Я продолжала:

— Современному человеку, глядящему в бинокль с парохода на древние эти берега, в пустыню времени...

— Погоди,— остановил он меня,— довольно.

Медленно отвинтил паркер, полез за книжечкой в боковой карман и что-то отметил в ней. Потом простился и ушел к себе.

На другой день он, как всегда, с утра сел за работу.

Рассказ «Древний путь» писался медленно и трудно. В процессе работы был забыт первоначальный его размер — строк на триста.

Откуда взялся Поль Торен, умирающий французский офицер, герой рассказа? Чтобы понять это, надо оглянуться назад,

развернуть и проследить обратный ход ассоциаций,— война, Одесса, французская интервенция 1919 года.

А жирные, носатые, низкорослые греки, плывущие под парусами мимо древних пастухов — пелазгов,— откуда они?

Помню на одной из греческих ваз, в залах Лувра, Толстой указал мне однажды цепочку крутобоких кораблей с высокими гребнями. Черные силуэты пловцов под парусами были четки и как-то трагически выразительны.

— Похоже на то, что и у этих гиперборейцев не все благополучно с бытием,— заметил Толстой,— смотри; с каким отчаянием поднимают они руки к небу! — И, помолчав, добавил полувопросительно: — Завоеватели, купцы или просто искатели Золотого Руна?

Он долго рассматривал вазу, обходя ее со всех сторон, любуясь ею и,— кто знает? — быть может, уже откладывая впрок, в кладовые подсознания, драгоценный осадок своих впечатлений. Некоторые страницы «Древнего пути» дают основания предполагать, что так это и было» (там же, глава «О «Древнем пути», стр. 3—6).

В черновиках автобиографии, написанной в 1938 году, А. Толстой говорит о месте «Древнего пути» в своем творчестве второй половины 20-х и начала 30-х годов: «За этот же период написано несколько повестей, из которых наиболее значительны: «Древний путь» и «Гадюка» (Архив А Н. Толстого).

Печатается по тексту сборника А. Толстого «Повести и рассказы (1910—1943)», «Советский писатель», М. 1944.

МОРОЗНАЯ НОЧЬ

Впервые напечатан в сборнике «Писатели — Крыму», Литературный альманах, изд. Комитета содействия борьбе с последствиями землетрясения в Крыму, М. 1928.

Рассказ написан в период работы А. Толстого над второй частью трилогии «Хождение по мукам» — романом «Восемнадцатый год». Среди материалов по истории гражданской войны, находящихся в архиве писателя, отсутствуют документы, близкие к содержанию рассказа. По-видимому, он навеян каким-то устным воспоминанием одного из участников гражданской войны, с которыми писатель неоднократно встречался.

С очень незначительными сокращениями рассказ вошел в XI том Собрания сочинений, ГИЗ, М.— Л. 1929.

Включая «Морозную ночь» в III том Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935, автор снял следующее вступление: «Спасибо, дорогие друзья!.. Пауза. Звенят стаканы. Четверо у стола садятся. Пятый еще стоит. Вино из дрожащего стакана льется на пальцы его большой и слабой руки. Он высок ростом и костляв. Заросшее бородой его больное лицо с красным румянцем на скулах морщинисто улыбается. Большие глаза, блестящие от лихорадки, глядят из темных впадин на друзей и, кажется, не видят их.

— Итак, с новым годом!..

Затем он садится, тяжело кладет локти на стол, упирает волосатый подбородок в кулаки...

— Не очень-то весело сидеть с умирающим человеком... Э, бросьте, чего там!.. Умирать, честное слово, не страшно,— жалко покидать навек нашу планету — зеленую, шумную, скандальную... Я бы еще тысячу лет прожил, право... Весной поеду в Париж, к доктору Манухину освещать селезенку рентгеном. Мне Горький рассказывал в двадцать первом году, как его Манухин спас. Жил он на Капри, чахотка в сильнейшем градусе, доктора дали два месяца жизни. Приехал Манухин, сейчас же Алексея Максимовича на пароход — в Неаполь и сделал двенадцать освещений селезенки. А через два месяца вместе вино пили...

Расширенные зрачки его бегали по лицам друзей. Казалось, он боялся одного, что вот переглянутся друзья и скажут: «Ну, брат, прощай, тебе надо в постель, час поздний, выздоравливай». ...Простятся крепким рукопожатием и с облегчением пойдут в прихожую и там, надевая калоши, вполголоса заговорят о чем-то совсем уже постороннем и веселом...

— Да пейте же, товарищи... Угощение у меня слабое. Говорил старухе — расстарайся, купи чего-нибудь повкуснее... Надо бы самому было выйти... Прямо говорю — что хотите делайте, а я в постель не лягу... Знаете,— сколько я молчал на этом проклятом матрасе? Лихорадочное возбуждение,— чепуха... Весь мир в лихорадке трясется... А вспомните,— щадили мы себя? Щадили мы друг друга? Ого! Жизнь — для выполнения боевой задачи... Жизни, как цифры,— эти в расход, эти с переносом на следующую страницу — в актив... Слушайте, до вашего прихода я все припоминал и нашел... Дай-ка мне с подоконника синюю папку... Окна-то как замерзли... Такой же был мороз и в ту

ночь... Это была ночь под новый год тысяча девятьсот восемнадцатый.

Он взял синюю папку. Мусля палец, некоторое время переворачивал исписанные листки серой бумаги, телеграфные бланки. Покачивал головой, улыбался...

— Налей-ка мне рюмочку портвейну... Да, это была ночка...» (цитируется по тексту первой публикации).

Соответственно снято и заключение: «Договорив эти слова, рассказчик изнемог и весь опустился в кресле, полузакрыл погасшие глаза. В груди у него свистело. Долго молчали его товарищи, положив локти на стол, сдвинув брови, переживая снова в памяти дела минувших дней...»

Об упоминаемом рассказчиком враче, лечившем туберкулез, пишет А. М. Горький А. В. Амфитеатрову 23 марта 1914 года: «Молодчина Иван Манухин! Не будь его — писали бы Вы теперь воспоминания о преждевременно скончавшемся Горьком...» (М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 29, стр. 320).

Кроме сокращения приведенных выше вступления и заключения, других исправлений автор не внес.

Печатается по тексту III тома Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935.

ГАДЮКА

Впервые напечатана с подзаголовком «Повесть об одной девушке» в журнале «Красная новь», 1928, книга восьмая. Авторская дата — «15 июля 1928 года».

А. Толстой начал работать над этим произведением в конце июня 1928 года, сразу же после окончания второй части «Хождения по мукам» — романа «Восемнадцатый год». В одном из писем этого периода он сообщал: «Я начал писать рассказ, очень трудный, и работа идет медленно и трудно. Не знаю — должно быть, сказывается усталость после романа. Все же надеюсь в десять дней его закончить» (письмо к Н. В. Крандиевской-Толстой, без даты, Архив А. Н. Толстого). Новое определение жанра — повесть — появилось в подзаголовке.

По идейному замыслу «Гадюка» перекликается с написанной А. Толстым тремя годами раньше повестью «Голубые города» (см. наст. том).

Повесть «Гадюка» вызвала огромный интерес у читателей

В течение многих лет она обсуждалась на читательских конференциях. Устраивались своеобразные показательные суды, на которых разбиралось «дело» Ольги Зотовой. В некоторых случаях эти «процессы» по просьбе читателей вели настоящие судьи и прокуроры.

Значительный интерес представляют два ответа А. Толстого в переписке о повести.

Двенадцатого апреля 1935 года писатель, отвечая группе рабочих, приславших свой отзыв о «Гадюке», выступает против абстрактного образа «идеального героя» и отстаивает принцип правдивого художественного воплощения типического образа в конкретных исторических условиях. А. Толстой писал: «Товарищи, в общем, правильно ставят вопрос: Ольга совершила преступление потому, что до конца не была перевоспитана Красной Армией, одной ногой стояла в новой жизни, а другой в старой (откуда вышла). Это и не позволило ей стать выше личной обиды, и места в созидательной жизни она найти себе не смогла.

Это все верно. Но дальше товарищи ошибаются, упрекая меня в том, что я *не захотел* до конца перевоспитать Ольгу, поднять ее до высоты, когда она знала бы, за что дралась в 19 году, когда в годы нэпа она сознательно пошла бы на партийную работу, когда задачи революции стали бы для нее выше ее личных дел.

Я нарочно написал Ольгу такой, какая она есть. Не нужно забывать, что литература: 1) описывает типичных *живых* людей, а не идеальные абстрактные типы (Ольга была одним из живых типов эпохи нэпа. Сейчас таких людей уже нет) и 2) что время, в которое Ольга совершила свое преступление, было до начала пятилеток, то есть в то время, когда не началось еще массовое перевоспитание людей.

Для перевоспитания людей нужно изменить материальные и общественные условия. Не забывайте, что в эпоху нэпа был еще жив и кулак, и единоличник, и купец, и концессионер. И перед всей страной не был еще поставлен конкретный план строительства бесклассового общества... Тогда такой, как Ольга, легко было соскользнуть к индивидуализму» (Архив А. Н. Толстого).

В ответе участникам читательской конференции в Петрозаводске, на которой разбиралось «дело» Зотовой, А. Толстой писал: «Дорогие товарищи! ...Вы рассудили правильно, по советской совести, как должно судить в нашем бесклассовом

обществе, борющемся с тяжелыми, отвратительными пережитками. Зотова сама прекрасно понимает бессмысленность и преступность своего выстрела. Не выстрелами мы боремся за повышение нашей культуры и за очищение нашего общества от всяких буржуазных пережитков. Зотова прекрасно понимает, что своим выстрелом она сама себя отбросила на уровень тех людей, с которыми боролась, которых ненавидела. Зотова сама себя жестоко осудила и наказала, и наше общество должно ей помочь подняться.

Эту мысль, хотя и не совсем так высказанную, и выразил ваш суд над «Гадюкой» (А. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 13, стр. 595).

Подготавливая повесть в 1934 году для отдельного издания в серии «Библиотека начинающего читателя», Гос. изд-во «Художественная литература», Л. 1934, автор внес ряд исправлений и сокращений. В кратком предисловии к этой книжке написано: «Гадюка», или, как сказано в подзаголовке, «Повесть об одной девушке», для настоящего издания заново просмотрена и отредактирована автором. В результате этого повесть, не изменившись по существу, стала более сжатой и для начинающего читателя более доступной по языку».

Для этого издания была дописана концовка, по-видимому, и вызвавшая определенную реакцию читателей: «Через две недели в народном суде слушалось дело Ольги Вячеславовны Зотовой... Суд... Нет, пусть лучше сами читатели судят и вынесут приговор...»

Без существенных изменений текст отдельного издания вошел в «Избранные повести и рассказы», Гос. изд-во «Художественная литература», Л. 1937.

В сборник А. Толстого «Повести и рассказы (1910—1943)», «Советский писатель», М. 1944, «Гадюка» вошла со многими восстановленными ранее сокращениями и несколько иными исправлениями, чем те, которые были сделаны в 1934 и 1937 годах. Писатель явно подверг правке текст не 1937 года, а опубликованный в XI томе Собрания сочинений, ГИЗ, М.— Л. 1929. Скорее всего, это был сознательный отказ от тех купюр, которые сделаны для серии «Библиотека начинающего читателя».

Печатается по тексту сборника А. Толстого «Повести и рассказы (1910—1943)».

ГОБЕЛЕН МАРИИ-АНТУАНЕТТЫ

Впервые напечатан в «Женском журнале», 1928, №№ 7, 8. Почти без изменений вошел в XI том Собрания сочинений, ГИЗ, М.—Л. 1929, в VIII том Собрания сочинений изд-ва «Недра», М. 1930, и в III том Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935, по тексту которого печатается в настоящем Собрании сочинений.

Гобелен Марии-Антуанетты (1755—1793), находившийся в 20-х годах в Александровском дворце в Детском Селе, сделан с портрета работы художницы Элизабет Луиз Виже-Лебрен (1755—1842).

А. Н. Толстой назвал автором портрета Ф. Буше (1703—1770), по-видимому для того, чтобы сочиненная им история не имела отношения к определенному гобелену.

ЭМИГРАНТЫ

Впервые под названием «Черное золото», с подзаголовком «Роман», с эпиграфами: «Рим — это мир. Остальное — варвары», «На карту поставлено пятнадцать миллионов трупов. Русская революция спутала карты», повесть напечатана в журнале «Новый мир», 1931, №№ 1—12. Авторская дата окончания произведения — «12 декабря 1931 г.».

Произведение тематически примыкает к трилогии «Хождение по мукам». Автор в феврале 1936 года писал, что когда он окончит третью часть «Хождения по мукам», «то во всю эпопею войдут пять книг: «Сестры», «Восемнадцатый год», «Оборона Царицына», «Черное золото» и последняя книга» (А. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 13, стр. 579—580). О некоторой связи с трилогией говорит и история создания «Черного золота». 10 сентября 1930 года, сообщая план продолжения «Хождения по мукам» — роман «Девятнадцатый год», А. Толстой писал: «Я возьму фрагменты вместо всей картины, как я пытался делать в «Восемнадцатом году». Будет Париж, тыл Доброармии, Махно, Григорьев, Одесса, фрагменты Сибири, Волга, Царицын, Кавказ. Период от ноября 18-го года по декабрь 19-го...» (Архив А. Н. Толстого).

Для создания в начале романа «Девятнадцатый год» картин белоэмигрантского Парижа и тыла белой армии писатель

собирал документальные данные и свидетельства современников.

Материалом, особенно заинтересовавшим А. Толстого, была брошюра В. Воровского «В мире мерзости запустения. Русская белогвардейская лига убийц в Стокгольме», опубликованная в конце 1919 года в Москве. Автор книжки, по данным предварительного следствия, напечатанным в шведских газетах от 12 и 13 сентября 1919 года, а также материалам советского полпредства в Стокгольме, рассказывал о белогвардейской «Военной организации для восстановления империи», которая была возглавлена авантюристом — казачьим полковником Магометом Бек Хаджет Лаше (до первой мировой войны сотрудничал в черносотенном журнале «Братская помощь», позднее был редактором-издателем реакционного парижского журнала «Мусульманин», автор бульварных романов: «Записки начальника тайной турецкой полиции», «На каторге», «За стенами сераля», «Любимцы Ильдыза» и др.). Эта «организация», в которую входили генералы и офицеры бывшей царской армии, объявив своей задачей борьбу с большевиками, совершала убийства частных лиц, грабеж их имущества, получение по подложным подписям денег из банков и прочие уголовные преступления. В. Воровский приводит документы, доказывающие поддержку этой «лиги» английским, американским и французским военными штабами при попустительстве со стороны шведских властей.

Этот материал увлек А. Н. Толстого яркой характеристикой разного плана противников большевизма в 1919 году. Для того времени он был весьма актуален: империалистические круги на рубеже 20—30-х годов начали новую антисоветскую кампанию. В ход пускались любые методы провокации и шантажа. В 1927 году в Лондоне был организован налет на «Аркос» (Советское общество по торговле с Англией), и английское правительство порвало дипломатические отношения с Россией. В Варшаве белоэмигрантом был убит советский посол П. Л. Войков. Провокационным налетам подвергся ряд полпредств и торгпредств СССР. Шпионы и диверсанты, комплектуемые большей частью из белоэмигрантов, засылались иностранными разведками на территорию Советского Союза. До 1928 года в Шахтинском районе Донбасса орудовала вредительская организация, связанная с иностранными правительствами. Летом 1929 года произошел военный конфликт

на КВЖД. В ноябре 1930 года стало известно о деятельности «промпартии», связанной с заграничной контрреволюцией.

Провокационные и преступные действия антисоветских кругов в известной мере повторяли авантюристическую и уголовную деятельность сил контрреволюции в 1919 году.

Начиная писать «Черное золото», автор, по-видимому, считал этот роман продолжением «Хождения по мукам», то есть теми частями, которые покажут белую эмиграцию 1919 года.

Первые главы романа, посвященные обстановке в Западной Европе весной 1919 года, по художественно-публицистической форме близки началу романа «Восемнадцатый год», а также тем отступлениям во второй и третьей книгах «Хождения по мукам», в которых дается общая картина событий.

Но по мере развертывания сюжета материал, положенный в его основу, заставлял писателя избирать иную, чем в трилогии, форму.

Писать о белой эмиграции, о конце ее пути, было невозможно в той эпической форме, в которой создавалась трилогия. Не только героического, но даже и трагического не было в процессе морального распада и полной деградации хозяев закончившей свое существование русской империи. Тема произведения — разоблачение международной и русской контрреволюции, сплетавшей в грязный клубок политические и уголовные авантюры, развязка романа, построенная на убийствах в Баль Станэсе,— привели к форме, сочетающей некоторые черты детективно-авантюрного романа и памфлета. Художественную убедительность произведению придает знание автором белой эмиграции. Не только общая обстановка в Париже 1919 года и настроения «бывших» людей, но и портреты многих из них написаны с натуры по памяти. За исключением Налымова и трех женщин, завербованных Хаджет Лаше, большинство эмигрантов, действующих в романе,— исторические лица, с которыми А. Толстому приходилось не раз сталкиваться. Личные воспоминания автора дали ему возможность создать яркие образы бывшего премьера Временного правительства князя Г. Е. Львова и его друга — либерального елецкого помещика М. А. Стаховича, англизированного барина К. Д. Набокова, нефтяных магнатов Л. Манташева и Т. Чермоева, редактора белогвардейской газеты «Общее дело» В. Л. Бурцева и банкира Н. Х. Денисова.

В послесловии к первой публикации автор писал: «С пер-

вых же глав «Черного золота» меня начали упрекать в несерьезности, в авантюризме, в халтурности и еще много кое в чем. Иногда казалось, что это делается для того, чтобы сорвать писание романа. Все же, к удовольствию или неудовольствию читателей, я его окончил. Мне нужно только прибавить, что все факты романа исторически точны и подлинны, вплоть до имен участников стокгольмских убийств (см. книгу Воровского). Шведский профессор Г. Г. Александров — теперь директор II МХАТ — сообщил мне подробности этого дела. (Александров был приговорен шайкой Хаджет Лаше к смерти и только случайно избежал ее,— во время обыска на даче в Баль Станэсе он нашел приготовленный для него мешок.) Остальные сцены романа взяты по возможности документально точно из архивных материалов, устных рассказов и моих наблюдений».

В архиве А. Толстого сохранились черновые наброски романа и заметки к нему. Краткий план, озаглавленный «Конец романа», свидетельствует, что для двух персонажей писатель намечал судьбу не похожую на ту, которая сложилась в произведении. «Вера Юрьевна уговаривает Налымова бежать в Россию. (Эта фраза зачеркнута.— *Ю. К.*) Он — только для нее. Он погибает, она одна. Дикое отчаяние. Ночь в теплушке с N. Ее рассказ. Она чувствует, как [те]ни жизни наливаются кровью, как ее отчаяние находит исход, содержание. Это другой мир. (Смотри вначале «Прояснение идеи романа».) Налымов не может перейти,— он выжжен. Вера полна трагизма, т. е. человеческого содержания, т. е. жизни. Он тень. Она горячая жизнь» (Архив А. Н. Толстого).

Трудно судить, на какой стадии создания романа появилась эта запись на листке из блокнота.

А. Толстой дважды перерабатывал «Черное золото». Первый раз, готовя роман к изданию отдельной книгой в Гос. изд-ве «Художественная литература», М.— Л. 1932, автор подверг журнальный текст небольшой стилистической правке и незначительным сокращениям. В этом издании появился новый подзаголовок: «Зарисовки девятнадцатого года», снят был первый эпиграф, а часть послесловия, говорящая о подлинности фактов в романе, стала предисловием.

Без существенных дальнейших изменений роман перепечатан в книге «Черное золото», изд-во «Советская литература», 1933, и вошел в VII том Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935.

Гораздо более существенную переработку романа автор провел в 1939 году. Правка коснулась почти каждой страницы произведения и во многом носит не только стилистический, но смысловой и композиционный характер.

В новой редакции А. Толстой добавил ряд сцен, а некоторые написал почти заново или дополнил, преследуя задачу более глубокого раскрытия характеров персонажей и четкого выявления социально-политических вопросов.

Так, например, вставлена беседа Денисова с Лисовским в ресторане; коренным образом переделан диалог между Налымовым и Верой Юрьевной в Севре, после приезда Хаджет Лаше, диалог между Милюковым и англичанином Вильямсом, Хаджет Лаше и полковником Пети. Заново переписан рассказ Бистрема Ардашеву о поездке в Советскую Россию и сцена суда,— выступления Налымова и Бистрема.

Автор также изменил композиционное построение начала произведения. В первых редакциях две главы, посвященные описанию дачи в Севре и приезду туда Налымова, следовали после эпизодов ужина у Львова и прогулки Набокова с Чермоевым по ночному Парижу, разрывая логически следующие за этим сцены у Уманского и в редакции газеты «Общее дело». Писатель изменил эту композицию чередующихся картин, собрав в более крупные полотна сцены, связанные общим содержанием.

При редактуре текст подвергся значительным сокращениям. Автор снял главу 12-ю об истории банкирского дома Ротшильдов; главу 35-ю, описывающую белогвардейское Северо-западное правительство; большое вступление публицистического характера в главе 52-й; эпизод встречи Воровского с Бистремом после его речи в суде.

Снят был и второй эпиграф. В конце текста дата — «1931—1939» — говорит о времени написания и переработки.

Эта новая редакция под названием «Эмигранты», более близким к основной теме произведения, и с подзаголовком «Повесть» вышла отдельной книгой в издательстве «Советский писатель» в 1940 году.

По этой последней прижизненной публикации и воспроизводится текст.

А. Толстой, давая новое определение жанра «Эмигрантов», в черновике вначале написал «Хроника», но потом переправил на «Повесть».

ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ГАРИНА

Впервые с подзаголовком «Роман в трех книгах» опубликован: книга первая — «Угольные пирамидки» — в журнале «Красная новь», 1925, №№ 7, 8, 9; книга вторая — «Сквозь Оливиновый пояс» — в том же журнале, 1926, №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Первая книга заканчивалась сценой расправы Гарина с шайкой Гастона, вторая — смертью мадам Ламоль во время бегства с капитаном Янсеном от восставших на Золотом острове.

В финальном абзаце говорилось: «Узнав о захвате Золотого острова Ревкомом, разъяренная толпа ворвалась в Вашингтоне в Белый дом, ища растерзать Пьера Гарри, но его не могли найти. Он исчез. Этим заканчивается одна из необычайных авантюр инженера Гарина».

В 1927 году в журнале «Красная новь», № 2 (февраль), опубликован новый текст под заглавием «Гарин — диктатор» и с подзаголовком «Новый вариант конца романа «Гиперболоид инженера Гарина». Второй вариант во многом совпадает с главами 121, 122, 123, 126 и 129-й последней редакции, а оканчивается встречей на «Аризоне» Гарина, сбежавшего из Вашингтона, с Зоей, только что похоронившей Янсена. Последняя фраза: «На этом заканчивается одна из необычайных авантюр инженера Гарина» — повторяла конец первого варианта и оставляла за автором возможность написать обещанную в подзаголовке при начале публикации третью книгу. Но она так и не была написана.

«Гиперболоид инженера Гарина» — не первый опыт обращения писателя к научной фантастике. В этом же жанре в 1922 году А. Толстым был написан роман «Аэлита» (см. т. 3 наст. изд.), в 1924 году — пьеса «Бунт машин» и рассказ «Союз пяти» (см. наст. том), перекликающийся с «Гиперболоидом инженера Гарина» тематически и некоторыми персонажами.

В «Гиперболоиде инженера Гарина», так же как и в предыдущих произведениях этого жанра, большую роль в фантастическом сюжете играют научно-технические и социальные проблемы.

Некоторые сведения о том, что послужило ему материалом для романа, автор сообщил в статье «Как мы пишем» (декабрь 1929 г.): «Когда писал «Гиперболоид инженера Гарина» (старый знакомый, Оленин, рассказал мне действительную историю

постройки такого двойного гиперболоида; инженер, сделавший это открытие, погиб в 1918 году в Сибири), пришлось ознакомиться с новейшими теориями молекулярной физики. Много помог мне академик П. П. Лазарев» (А. Толстой, О литературе, «Советский писатель», М. 1956, стр. 107).

В одной из записных книжек А. Толстого есть пометки, сделанные в начале 20-х годов:

«*Оленин П. В.*

Концентрация света, химических лучей. Луч — волос. Ультрафиолет[овый] луч — вместо электрич[еского] провода. Бурение скал. Бурение земли. Лаборатория на острову в Тих[ом] океане. Владычество над миром.

Начало — тундра. Ледовит[ый] океан.

Комната электр[ической] спайки. Все желтое.

Шамонит — чистый углерод.

Удельный вес земли 8, оболочка земли 3. В центре земли — платина, золото, уран, торий, цирконий.

Оливиновый пояс: железо, оливин, никель (метеориты).

Постройка прибора из парафина. Обложили серебряной фольгой. Гальванопластика медью.

Бурение земли.

Охлаждение жидким воздухом. Подъем электромоторными вагонетками.

Игра на бирже на понижение.

Взрыв мостов. Взрыв фабрик» (Записные книжки А. Н. Толстого. Хранится у Л. И. Толстой).

Трудно сказать точно, что здесь А. Толстой записал непосредственно по данным Оленина, что является уже домыслом писателя.

В июле 1924 года А. Толстой составил план романа в трех частях — заявку в Государственное издательство. В творчестве писателя это редкий случай развернутого плана задуманного произведения.

В начале плана говорится: «Время действия — около 1930 года. Роман развертывается на фоне кануна второй мировой войны. С середины романа — происходит воздушно-химическая война. В конце — европейская революция» (цитируется здесь и дальше по тексту рукописи, Архив А. Н. Толстого).

Далее в плане следует перечень действующих лиц, которые вошли в роман «Гиперболоид инженера Гарина», за исключением «сыщика Кера», работающего на Роллинга. Роль этого персо-

нажа автор в дальнейшем в какой-то мере распределил между Семеновым и Тыклинским. Гастон Утиный Нос, вошедший в роман, в плане назван Мишелем — танцором, бандитом.

Интересна данная в перечне действующих лиц характеристика Хлынова: «Тип нового русского человека. Сын рабочего, бывший рабочий на военно-химическом заводе». По первоначальному замыслу студент-химик Степан Хлынов был одной из центральных фигур романа — сначала помощником Гарина, изготовлявшим для него пирамидки, затем его противником.

Названия первой и второй части романа в плане совпадают с названиями в журнальной публикации. В сноске к части первой А. Толстой пишет: «Эту часть плана, как имеющую авантюрный характер, я разрабатываю несколько более детально, остальные части схематично. В романе первая часть будет меньше двух остальных. Вторая часть будет носить героический характер. Третья часть — утопический.

Таким образом, роман будет авантюрный, героический и утопический.

Намеченный планом сюжет довольно существенно отличается от сюжета написанного романа. В нем изменена не только роль Хлынова, но и многие другие моменты. По плану — в первой части, после убийства двойников Гарина в Москве и в Париже, действие снова переносится в Москву, где Хлынов в контакте с Гариным готовит пирамидки. Зоя и Кер охотятся за Гариным. Шельга входит в соглашение с Хлыновым. Гарин уничтожает агентов уголовного розыска, пытающихся окружить дом, где он скрылся, и похищает Зою.

Во второй части развитие действия в романе более близко к намеченному планом. Только взрывы предприятий Гарин, играющий на понижение, осуществляет не в Европе, а в Америке и не в контакте с Роллингом. Не вошел в роман намеченный планом показ деятельности Хлынова с немецким ученым Херцем по строительству огромных химических заводов удобрения в России и похищение Гариным обоих ученых для работы по добыванию золота.

По плану вторая часть романа оканчивалась объявлением Гарина о своих несметных запасах золота и предложением избрать его императором мира. «Страны, обезумевшие от вожделения овладеть этим золотом, вырывают друг у друга преимущественное право иметь Гарина императором. Вспыхивает европейская война».

План третьей части, названной «Судьба мира», приводим полностью: «Война и уничтожение городов. Роллинг во главе американских капиталистов разрушает и грабит Европу, как некогда Лукулл и Помпей ограбили Малую Азию.

На сцену опять выступает Шельга. Борьба его с Кером и убийство Кера.

Россия переоснащивает свои химические заводы на оборону.

В Париже начинается революция.

Роллинг руководит при помощи Мишеля бандами анархистов.

В то же время на острове Гарин готовится стать властелином мира.

Зоя Монроз страстно влюблена в Хлынова.

Гениальный план Хлынова. При помощи Зои выполняет его. Гибель Гарина. Хлынов взрывает остров.

Хлынов летит в Париж и бросается в гущу борьбы.

Поражение анархистов. Гибель Роллинга.

Победа европейской революции.

Картины мирной, роскошной жизни, царство труда, науки и грандиозного искусства».

В статье о научно-фантастическом романе, в 1934 году, А. Толстой требовал от авторов, обращающихся к этому жанру: *«Писателю надо вооружиться действительно глубокими знаниями, способностью оперировать точными цифрами и формулами.* Могу привести пример: в «Гиперболоиде инж. Гарина» я писал о ядре, пущенном в землю на глубину в 25 км. И только сейчас, перерабатывая своего «Гарина», я обнаружил эту ошибку. Ведь *ядро, падая на 25 километров, будет совершенно расплющено.* Хотя я по образованию инженер-технолог и много поработал над «Гариным», но вижу, что все еще недоработал. Новые открытия в области химии и металлургии позволили бы перерабатывать его еще и еще» (А. Толстой, О литературе, «Советский писатель», М. 1956, стр. 247).

В «Гиперболоиде инженера Гарина» и вымышленные научные изобретения имеют под собой некоторые реальные основания. Даже гиперболоид, вокруг которого строится сюжет, не в такой уж мере фантастичен, как кажется; и весьма возможно, что существовал аппарат, изобретенный безвестным инженером, из рассказа Оленина, хотя и не такой, как гаринский, но подобный ему.

Современная техника знает так называемое кумулятивное действие при взрывах, которым пользуются для прожигания брони, дробления больших камней и т. д. Хотя кумулятивное действие ограничено расстоянием, в какой-то мере принцип концентрирования энергии взрыва вокруг общей оси по заданному направлению перекликается с идеей гаринского гиперболоида.

Приводимая писателем в 98-й главе, в дневниках Манцева, схема строения земного шара в известной мере отражает одну из существовавших ранее научных гипотез. В настоящее время по изучению скорости прохождения сейсмических волн доказано отсутствие в недрах земли сплошного расплавленного слоя. Существуют лишь отдельные изолированные очаги расплавленной магмы, образующиеся в результате распада радиоактивных элементов.

А. Толстой перерабатывал «Гиперболоид инженера Гарина» четыре раза.

Готовя роман для X тома Собрания сочинений, ГИЗ, М.— Л. 1927, автор подверг журнальный текст, включавший второй вариант финала, сравнительно небольшой правке и сокращению. Значительные изменения внесены лишь в 1-ю главу первой книги и в 75-ю второй (1-я и 119-я главы последней редакции).

Проведена общая нумерация глав, которых стало 124.

В издании 1927 года дана авторская дата написания: «Май 1925— декабрь 1926 год».

В IV том Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература» роман вошел со сноской «Издание переработанное».

Кроме стилистических исправлений, писатель провел многочисленные сокращения. Снята полностью глава 4-я о русском военном флоте, носящая характер авторского отступления, и 90-я о занятиях Тарашкина с Иваном Гусевым. Сокращения сделаны также в главах: 5, 28, 37, 49, 72, 78, 85, 87, 89, 117-й (соответствуют в последней редакции 4, 27, 36, 48, 71, 77, 84, 86, 88, 115-й).

Третью, и наиболее значительную, переработку «Гиперболоида инженера Гарина» писатель провел в 1936 году, готовя роман к изданию для юношества в Детгизе.

При редактуре были написаны новые главы: об учении Ивана Гусева, отличающаяся от аналогичной, исключенной в 1934 году, о смерти мальчика, об убийстве Гариным своего

секретаря, о двойнике диктатора и заключительная — новый финал романа.

Существенно изменены главы о Манцеве и Гусеве и экспедиции Волшина. В предыдущих редакциях Гарин посылал дирижабли в тайгу за добытыми Манцевым огромными количествами радия, чтобы построить новое, еще более страшное, чем гиперболоид, оружие. При переработке романа писатель снял все, что говорилось о радии, так как в известной мере это уводило основную сюжетную линию в сторону. Дописанные сцены встречи Манцева и Гусева у кратера вулкана, приведенные выписки из дневника Манцева, более определенно говорят о том, что все гаринские идеи украдены у Манцева.

В новой редакции писатель меняет историю Роллинга. До переработки романа анилиновый король кончал жизнь самоубийством на камнях Золотого острова, потрясенный картиной потопления Гариным американской эскадры.

Кроме всех этих изменений, автор провел значительную стилистическую правку и довольно большие сокращения. Некоторые из них сделаны с учетом того, что роман предназначался для юношества. Другие продолжали начатую еше в предыдущих редакциях разгрузку текста от научных терминов. Так сняты почти две страницы рассуждений профессора Рейхера о квантовой механике, о соотношении энергии и материи.

Дальнейшие, менее значительные исправления, носящие в основном стилистический характер и восстанавливающие некоторые сокращения, сделанные для Детгиза, писатель внес при четвертой редакции, готовя «Гиперболоид инженера Гарина» вместе с «Аэлитой» в издании «Советский писатель», 1939.

По этому, последнему прижизненному изданию и воспроизводится текст романа.

СОДЕРЖАНИЕ

Алексей Николаевич ТОЛСТОЙ
Собрание сочинений, т. 4

Редактор *Л. Красноглядова*
Худож. редактор *Ю. Боярский*
Технич. редактор *Ф. Артемьева*
Корректоры *Е. Козлова* и *В. Седова*

Сдано в набор 20/XII 1957 г. Подписано к печати 4/IV 1958 г. А02992. Бумага 84×108[1]/32. 26 печ. л.=42,64 усл. печ. л. 39,68 уч.-изд. л. + 1 вкл.=39,73 л. Тираж 675 000. Заказ № 1299. Цена 14 руб.
Гослитиздат. Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Московского городского Совнархоза.
Москва, Ж-54, Валовая, 28.

АЛЕКСЕЙ
ТОЛСТОЙ

4